

СЕРГЕЙ · САМСОНОВ

Железная кость



И ВСЕГДА ТАК: РАБОТА, КОТОРУЮ ТЫ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО
НИКТО ЗА ТЕБЯ ЕЕ БОЛЬШЕ НЕ СДЕЛАЕТ. – РАСШАТАЮТСЯ, ВЫПАДУТ ВСЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ СКРЕПЫ, ВСЕ СВАИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И СИЛА ВСЕХ РУССКИХ.

НОВАЯ КЛАССИКА / NOVUM CLASSIC

Annotation

Один — царь и бог металлургического города, способного 23 раза опоясать стальным прокатом Землю по экватору. Другой — потомственный рабочий, живущий в подножии огненной домны высотой со статую Свободы. Один решает участи ста тысяч сталеваров, другой обреченно бунтует против железной предопределенности судьбы. Хозяин и раб. Первая строчка в русском «Форбс» и «серый ватник на обочине». Кто мог знать, что они завтра будут дышать одним воздухом.

- [Сергей Самсонов](#)
 - [I. ДЕТИ ЧУГУННЫХ БОГОВ](#)
 - [ФАМИЛИЯ РОДА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [БРАТЬЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- 4
- 5
- 6
- ОСАДА
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- ГУ-ГУГ-Г-ГЕЛЬ!
 - 1
 - 2
 - 3
- РАСКОЛ
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- ОБРАТНАЯ ТЯГА
 - 1
 - 2
 - 3
- ОТЕЦ

- 1
- 2
- 3
- 4

○ II. СТАЛЬНОЙ АВТОКРАТОР

■ МОГУТОВ — 5000

- 1
- 2
- 3

■ «ГОЛИАФЫ» И «МАМОНТЫ»

- 1
- 2
- 3
- 4

■ ПЕРВЫЙ НА ПЕРВОМ

- 1
- 2
- 3
- 4

■ УГЛАНОВ II

- 1
- 2
- 3

- 4

- 5

- РАБЫ НЕ МЫ

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- ПЛОХИЕ ПРИМЕТЫ

- 1

- 2

- 3

- ПРОСЯЩИЙ

- 1

- 2

- III. ТЯЖЕЛЫЙ УТЮГ

- СВОБОДА ЛЮБВИ

- 1

- 2

- 3

- СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

- 1

- 2

- 3

- СВИДЕТЕЛИ ЗАЩИТЫ

- 1

- 2

- ЧУГУННЫЙ ПЕРЕВАЛ

- 1

- 2

- 3

- 4

- ЧТО-ТО ОТ ЧЕЛОВЕКА

- 1

- 2

- 3

- ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

- 1

- 2

- 3

- 4

- ДЕТАЛИ ДЛЯ СБОРКИ

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- IV. МОЗОЛИ И ШЕПОТ

- ФАМ ФАТАЛЬ

- 1
 - 2
 - 3

- НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ

- 1
 - 2
 - 3

- ИЩЕЙКИ И ВОЛКИ

- 1
 - 2
 - 3
 - 4

- ГРОБОВЫЕ ДЕЛА

- 1
 - 2

- ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)



Сергей Самсонов
Железная кость

I. ДЕТИ ЧУГУННЫХ БОГОВ

Чугуев навсегда запомнил день, когда отец впервые взял его с собой на завод. Как все в цеху мгновенно озарилось едва переносимым солнечным свечением расплава, когда открылась лётка и рванулась безудержная магма на свободу, и как метались доменщики с длинными баграми, с бесстрашием привычки бросаясь на огонь и управляя этой рекой с непогрешимой выверенной точностью, заставляя разбиться ее и потечь по проложенным в чистом песке желобам, и как он сам в себе почуял распускавшуюся огненную силу, и как это чугунное пламя, которому он причастился, стало кровью вообще всей советской земли, всего мира — никогда не могущей остыть и катящейся только туда, куда ей приказали вот эти всеильные, обыкновенные, диковинные люди.

Завод стал для него единственной сказкой, таинственным влекущим миром превращения уродливо-бесформенного первовещества в законченные прочные литые человеческие вещи, которые нельзя сломать и израсходовать в пределах целой жизни. Там, на пространстве, не вмещаемом в рассудок, ярился и ревел протяжный зверь подвластных человеку колоссальных сил природы; там можно было увидеть живое, дышащее солнце, туда, прямо в солнце, в бездонную жрущую глотку, ты мог швырнуть за хвост придушенную крысу и увидеть, как она сразу разрывается и от нее не остается ничего.

Огромны и полны высокого значения были люди, соединявшие чугун и пламя воедино, и самым главным великаном среди них — отец, хотя, конечно, были все они черны, в маслах и копоты и плохонько одеты, все сплошь в обтерханных фуфайках и разбитых сапогах, беспрерывно курящие и плюющие темной слюной, состоящей из шихтовой пыли, набившейся в легкие за истекшую смену — и за всю проходящую жизнь.

По эту сторону ворот сталеплавильного могутовского царства был тесный мир барачного поселка — дощатых стен, отхлестанных дождями и ветрами до седины, серебряного блеска; подслеповатых лампочек на голых проводах, железных бачков с кипяченой водой, застиранных линялых парусов, вздувавшихся и хлопавших на бельевых веревках во дворе, нехватки дров, обманчивого чувства горячей тяжести в желудке после тарелки пшенной каши или постных щей; чадающих примусов, цветастой занавески перед родительской панцирной кроватью, пошитых матерью из байкового одеяла шаровар, окаменелых залежей дерьма в отхожей яме под щелястой будкой, черного хлеба, чуть присыпанного сахарным песком из размозженной грязно-белой головы или пропитанного золотым башкирским медом, — единственного лакомства чугуевского детства; общих длинных дощатых столов, сдвигаемых для свадеб и поминок вместе под открытым небом, отскобленных ножами и окаченных чистой речной водой из ведра, гор дымящейся белой картошки, помидоров, прохваченных солью до жил сердцевины, самогонных бутылей, налитых молочным туманом по горлышко, заунывных, звенящих острожной тоской, слезно-жалобных песен уральских старателей, каторжан и разбойников и напористо-яростных новых, советских... уже вотвот должна была возвыситься и воцариться от

конца до края над землей, уничтожая, вымывая из человеческого слуха все другие голоса, на смертный бой зовущая единственная песня.

«Вставай, страна огромная!..» — вот этот голос, сплавленный из прорвы отдельных волей рабочих и крестьян, потребовал от комбината ежедневных рекордов по выпуску броневго листа.

Он, Толик, тоже — хоть и был по современным меркам освобожающе, неосудимо мал — встал в сорок третьем в строй к станку обтачивать болванку минного снаряда: брызгала стружка, извиваясь блестящей лентой; гладким сиянием начальной новизны показывалась сталь — головкой смертоносного ребенка между ног неумолимой и неистовой роженицы.

Все это делалось вдали от торжищ выставочных митингов, велеречивого вещания партийных воевод — упитанных и бодрых как раз потому, что они не пехота, не рядовые комсомольской, подростковой, стариковской и женской трудармии уральского металлургического тыла; вдали от повторенных миллионы раз «Да здравствует Коммунистическая Партия Советского Союза и ее великий вождь...» — Чугуев сизмальства и накрепко вознелюбил «людишек на бумагах», «конторских крыс», трибунных болтунов — всех, сроду не производивших ничего, кроме библейских кип отчетов и воззваний, но получавших калачи и сливочное масло в доступных только высшей расе спецраспределителях.

Вечно полуголодные (выдавался кусок провонявшей селедки и по двести граммов черного хлеба по карточкам, воровали которые по ночам друг у друга иные), изнуренно-больные, обтянутые по костям заскорузлой брезентовой кожей, тыловые рабочие люди с угасавшими от недосыпа глазами и кованными вместе с оружием

руками исполняли все молча и с остервенением, понимая: теперь можно строить одни самолеты и танки, за танковой броней с бронебойными снарядами в стволах наших людей так много убивать не будут, нельзя такого допустить, чтоб наших убивали слишком много.

И всегда так: работа, которую ты должен делать, потому что никто за тебя ее больше не сделает, — расшатываются, выпадут все железные скрепы, все сваи, на которых стоит справедливость и сила всех русских. Лишь когда люди стронулись и цехами поехали из барачных в квартиры — лишь получив возможность сличать разные уровни материального достатка, он, Анатолий, стал осознавать ту нищету как нищету, ту проголодь — как нечто ненормальное и унижительное даже для трудового человека, а не единственный возможный способ бытия. То есть желание удобных комнат, мягкой мебели, горячих ванн, белого хлеба с колбасой, кожаных бот на каучуковой подошве (а не брезентовых на деревянной), путевок в Крым по профсоюзной линии могло возникнуть только после главного и общего железного. Вот сперва бронеброневые листы, а потом уж комфорт. Он, Чугуев, иными словами, считал, что надо только добросовестно, всей своей силой вкладываться в дело — и постепенно будешь родиной за то вознаграждаться, получать по заслугам за отданное.

Двадцать колен его предков, земляных и уперто-живучих, пахали и сеяли, молча гнули хребты на помещика, воевали, забритые в рекруты, брали приступом Плевну для «Царя и Отечества», хоронили младенцев и сходили с земли, как трава... и так, пока не просияла Революция, освобождая темных, несознательных, им говоря: настало ваше время — не исчезать безмолвно и бесследно, будто и не было вас вовсе

на земле; вам построить своими руками себе все, что вы захотите, и оставить все, что захотите, на глобусе; вам построить страну на началах справедливости, собственной правды... И отец подорвался от сохи в областную Самару, пятнадцати годов, в единственной посконной рубахе и лаптях.

Не то чтобы город тянул его к себе с неодолимой силой — скорее, родная деревня выдавливала, как злая мачеха непрошеного пасынка из дома, а может быть, наоборот, как мать, что всей остатней силой тужится дать жизнь упершемуся плоду и умирает, обескровев, с первым криком освобожденного ребенка. Голод, голод толкал переменить свои семь десятин и остающуюся после продразверсток горстку хлеба на дым и грохот зачинающейся в муках индустрии, на гарантированную пайку и отравленную машинным маслом и мазутом землю. И он пахал, отец, все явственнее слыша в лязге и рокоте станков пульс становящегося будущего, которым может управлять освобожденный пролетарий, и вот когда уже проникся в должной мере пониманием себя как частицы рабочего класса, завербовался вместе с сотнями других на стройку нового сталелитейного завода на Урале. Двести тысяч крестьян и рабочих раскачались, корчуга себя из отцовской земли, и ручьями и речками покатили в Могутов — неведомый город, про который им всем говорили так, будто он уже существует, в то время как его на самом деле еще не было.

Была одна сплошная выжженная степь, без края простиравшаяся ровно и глядевшая на человека так, будто никакого еще человека не появилось в этом неподвижном, мертвом мире и не должно было явиться никогда. Была одна великая река, делившая сплошное тело родины на два материка, была казачья глинобитная станица Могутовка — десяток съеденных степным простором хуторов,

разбросанных в степи и жмущихся к подножию горы, была сама Магнитная гора — родящая на километры вглубь неразработанную прорву магнитного железяка на сшибке осадочных известняков с низверженным гранитом. И не было у этих двухсот тысяч поселившихся в землянках голодных и холодных почти что ничего — только голые руки с лопатами, ломami и каелками и безмерно живучая, вне рассуждения, решимость исполнить то, что им поручила абсолютная сила — Коммунистическая Партия большевиков Советского Союза.

Рос в глубину и ширился уступами великий котлован — лопата за лопатой, грабарка за грабаркой, и пока двести тысяч Чугуевых с остервенением вгрызались в кремнезем и пригибавшиеся в жилистых ногах от тяжести верблюды несли распиленные бревна на горбах к подножию Магнитной — три миллиона золотых рублей, отлитых из драгоценной утвари разгромленных церквей, перетекли из недр Гохрана в частные хранилища немецких Круппов и британских Трайлоров — за пневматические молоты и башенные краны, электровозы, думпкары, бурильные машины. Привыкшие к горячим ваннам и крахмаленым рубашкам инженеры компании «MacCee», штат Кливленд, прибывшие в страну большевиков вести проектировку металлургического города, с брезгливым ужасом и сладким, самолюбивым состраданием смотрели на параллельную и несомненно тупиковую ветвь человеческого рода: в то, что безграмотным, безумным, узколобым этим русским удастся здесь, в Siberia, выстроить машину, неверие их не содержало грана посторонних примесей. И наблюдали человечески необъяснимый переход землепашцев с червячьей на вторую космическую: «в темпе, посильном раньше лишь для разрушения», бригады Варочкиных, Климовых, Чугуевых без остановки

вырубили первые шурфы и отвалили первые пудовые отломки словно ржавой от крови руды с невиданно высоким содержанием чистого железа; воронкой подземной башни, возводимой не ввысь, а в глубину, разросся циклопический карьер — впервые в мире горная добыча повелась открытым способом. Отец потом рассказывал Чугуеву, как Сталин присылал в Могутов своего безмозглого кавалериста Ворошилова, и Ворошилов палкой, как шашкой, указывал дрожащим инженерам: «рубите штольню в данном направлении», и им пришлось рубить и вынуть из горы сто метров каменной породы за неделю: обязанность немедленно предъявить правительству СССР плоть своей правоты и полезности родине придала им выносливость землеройных машин — Климент забрал с собой в Кремль полдюжины кусков магнитного железяка и положил на стол беспримесной правдой перед Сталиным.

Наемные британцы, немцы, янки заворуженно вглядывались в мощно дышащую пропасть — шестидесятитонные дробильные машины Трайлора монтировали с помощью одних лебедок эти безумные, белогорячечные русские, не дожидаясь, пока башенные краны в трюмах пароходов переплывут через Атлантику; в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско всем стало видно странное свечение на Востоке — алтарные отсветы первых могутовских плавок. С вершин Магнитной открывалась ошеломляющая беспредельность умной жизни; дышала там, не помещаясь в окоем, и клочкотала вулканическая лава, надежно заключенная в динасовые стены и неразломные стальные кожухи и хоботы, распределенная по уйме отводящих желобов и рвущаяся к небу косматыми столбами фиолетовых дымов и языками, мускулами пламени.

Спрессованный из яростной несметы выдохов и хрипов, протяжных и прерывистых гудков, неявный колоссальный шум поработавшие валился в черепа, и вне плавильного дыхания завода ты лично более не мог существовать. Ручными бабами вколачивая сваи в замороженную землю, ты строил этот вот завод из ничего, из себя самого, своих жил и костей, но и завод тебя ковал и плавил непрерывно, и, не рассыпавшись в труху, ты начинал свое существование сначала — уже другим, стальным, огнеупорным слитком переродившегося человеческого вещества, изжившим узкий эгоизм утробы и перекованным по высшей мерке трудового послушания.

Пузатыми, окатистыми идолами вечно беременных, вечно рожающих богинь советского народа незыблемо торчали из земли и неприступно уходили в небо стоохватные, неумолимо воцарившиеся над Уралом доменные печи — выше Кремля и Дома Совнаркома, сами купол и небо, заключавшие солнце в себе. Сквозь слоновьи их стены был слышен подземный стон магмы: мне тесно, отпусти меня, вызволи, — и ты, подходя с пикой к лётке, своей рукой отворял кровь земли; явлением высшей воли веяло от домны, не идущим в сравнение с деревянной приземистой церковью и ночными коптилками отмененного Бога.

Крестьянский сын Семен Чугуев становился перед домной — мало сказать: причастным к этой силе, но разгоняющим ее и проводящим, ее вмещающим в себя. Постичь вот этот умный хаос, гудящий и кипящий в сочлененных конусах и трубах, им овладеть и вместе с тем служить ему, усиливать, так, чтобы все внутри печи не меркло, не слабело, не останавливалось, не зачленело, быть с этой домной, как с женщиной, и помыкать ее живородящим огненным нутром — вот что представилось

ему единственной стоящей задачей. И то же веяние в свой срок так же безжалостно и чисто опалило его сына.

2

У девятой он домны, самой крупной и мощной на всем континенте, горбатится, чувствует лишнюю силу в натянутых мышцах спины и ручищ, когда каупер он переводит с Мишаней вручную на другую площадку, — цилиндрический кожух стальной над ячейками пышет остаточным жаром, пропекает ладони; когда в низких и тесных, как мамкина норка, перешейках технических кланяется домне; когда мастер Борзыкин за пультом командует: «Эй, Валерка, уснул там, на северной? Кто за буром там, ну?!». «Я Валерка!» — в горячем спокойствии направляет бур в лётку — заглубиться нажимом одним на длину ее всю — как до матки, достать до заваренной магмы, но вот плохо идет, в мерзлоту будто вечную хером, распиковка вручную нужна... поднажали, открыли — ломанулся чугун, затопить все пространство под ногами в кратчайшее дление способный, и воюет Валерка с чугунной рекой, густоалой сияющей лаве не давая хлестнуть за края желобов, в берегах понуждая держаться.

В неподъемном глухом прибывающем гуле печь пустеет до дна, сдав чугунную кровь и малиновый шлак в подведенные ковшики. «Закрываем!» — Борзыкин разевает пасть в крике, и Мишаня изогнутой пикой сбивает перевал на своей стороне, и Валерка подводит к зияющей лётке гидропушку с полуторатонной глиняной бомбой. Вот и кончена смена, на загрузку бригада Долгушиных — близнецов и их деток, таких же с лица одинаковых, — заступает вместо

борзыкинской. Доломит раскаленный, хоть и пеплом подернулся, обжигает ступни сквозь подметки, и из цеха они — в раздевалку, под душ; прокопченные дымные комбинезоны отстают, словно кожа; топчут плиточный пол — голых тел самый полный сортамент: худосочных, с просвечивающей через кожу решеткой ребер; располневших, с наплывами на боках жировыми; мускулистых, литых, толстошеих, безволосых, заросших жестким волосом сплошь.

Из кабинок друг дружке через стенки кричат, у кого есть охота: «А сифон-то ни к черту!» — «Что ж затворы опять не проверил? Ну а газ рванет — что? Все на воздух и в рай?» — «Не, намрай не положен». — «Ну а что же нам — ад?» — «Ну так ад нам чего? Ведь курорт после домны». — «Ад, он выше, над нами, а мы тут не горим»... И в поток первой смены вливаются, все в гражданке уже, в олимпийках и трениках, кто в костюмных брючатах и рубашках цивильных, а навстречу вторая им смена валит.

На простор вырываются — небо сизое, хмарное, ледяное конца октября непрерывно меняет себя, оставаясь все тем же, неизбывным, глухим и незрячим, не знакомым с людьми; неизменный встречает их скудный пейзаж, если можно сказать так — «пейзаж» — про бетон и асфальт, про кирпичную кладку забора с узловатыми дебрями сизой колючки вверх.

— Власть на заводе-то меняется, слышали? — по дороге к шалману, которого не миновать, Степа всех будоражит.

— Чего-о?!

— А хозяин вот новый какой-то московский. Что ли банк. С потрохами купил, и директора скоро поставит нам нового. В общем, всех сверху донизу в управление

опять непонятно кого.

— Это как? — пучит зенки Борзыкин. — Наши ж акции — нет? Трудовой коллектив и хозяин. Никакого ж собрания не было, никому мы бумажек своих не давали и вообще хрен кому отдадим.

— Вот ты дятел, Мартыныч! — взвизгивает Степа. — Нет, ты мастер хороший, нормальный мужик, но вот в этих делах — все одно что чугунная чушка, прости. Никому не сдавал, а вон Бурову продал. И Сашке Чугуеву.

— Так себе же и продал! Заводу! Для того вот и продал, чтоб акции на заводе оставить. Никаких чтоб извне. Все ж так сделали, весь трудовой коллектив.

— Ну ты дятел и есть. У правительства тоже же акции есть... У такого! Кремлевского! Половина завода у нас, а другая — у Чубайса в портфеле. Вот Чубайс нас и продал — встречайте хозяина нового.

— Что ж за время-то сучье такое? — плюется Борзыкин. — Ни о чем же таком раньше просто не думали. Есть задание, есть план — и вперед, как по рельсам. Все ж народное... чьими руками построено? Вот сама постановка вопроса смешная: а чье? Да мое!

Вон его, вон его! Кто построил, кто пашет, вот тот и хозяин. А теперь — зао, шмао, аохэзэтэ!.. И хээржэ на выходе одно! Вот вскормили сучат на народные деньги! Тот же Сашка Чугуев — а кто он такой? Вот таким сопляком у меня под ногами, когда я тридцать лет беспорочно у домны. Да со мной Ракитин здоровался за руку! А теперь он на «мерсе», вон дом себе строит размером с силикатный завод, а работяги по помойкам подбираются. Не хотел, а ударил Валерку, попал: и привык уже вроде Валерка, что при нем постоянно имя брата полощут, и фамилию отца

заодно поневоле, но кольнуло сейчас все равно.

— Ладно, ладно, Мартыныч, отваливай. — Мишка, будто почуяв состояние Валерки, старика обрывает: чего зря лишний раз парню душу мытарить? Сам-то вон он, Валерка: локоть к локтю с тобой, кирпичом в общей кладке, уже век, как срослись, словно эти, сиамские, жаром домны скрепленные-спаянные; разве ж он виноват, что брательник такой у него? Ну а батя, Чугуев Анатолий Семенович? Сам такому исчадию, надо думать, не рад. — А мы тут совещание акционеров проведем в сепаратном порядке, — на шалман, подмигнув, всем кивает — грубо сваренный из листового железа сарай, где толкуются уже мужики первой смены.

Водка крепко припахивает ацетоном и жженой резиной, но про водку со вкусом просто водки забыли давно — заскорузлые толстые пальцы сжимают хрусткий пластик стаканчиков и несут к жестким ртам, опрокидывают разом.

— А по мне, один хрен, — чуть подшипники первой порцией смазав, наконец-то Валерка свой мыслительный и речевой механизм с пробуксовкой в движение приводит. — Что московский хозяин, что нынешний. Что Савчук был, что Буров. Все как рыба башкой об лед. Мы и так по полгода зарплаты не видим.

— А увидим — хватает на две поллитровки.

— Вот именно. Так что пусть хоть китайцы приходят. — Зло Валерку берет непонятное: прямо хочется даже, чтобы гикнулось все поскорее, окончательно, вдрызг, лишь бы так, как сейчас, не тянулось, беспросветно, паскудно. — Ведь и так уж на дне, так что хуже не будет.

— Ну даешь ты, могутовец! — Степа zenки выкатывает. — А завод как, завод? Что отцы наши строили?!

— А сейчас что завод?

— Да стоит сейчас, в смысле вот дышит! Буров хоть производство-то держит. А придет этот банк? Пустит все с молотка! Черным ломом, отходами, силикатной продукцией. Вторсырьем за бугор. Разберет комбинат по кирпичику! Нас вот, нас, работаг, всех уволит под корень!

— Это что, целый город? Двести тыщ, что ли, всех человек, что вокруг комбината? Не бывает такого! В природе! — Мишка вправду не верит — все равно как к могиле его подвели и кивнули: ложись.

— А санация — слышал такое? Оборудование тупо распилить и продать — и на Фиджи с бабосами — тусоваться красиво! Вот что им, москвичам! Саранча! Я чего... надо грудью всем встать за завод, монолитом.

— Это что ж — за Чугуева?

— За Чугуева, да! За него вон, Чугуева! — на Валерку кивок. — Вот за этого — не за того. За самих вот себя!

— Это что значит «встать»? Есть вообще-то закон — кто считается собственник. Если все по закону, то что ж мы? Мы ж в законах ни в зуб все ногой.

— Да закон — как дубина, чтоб нас ей гвоздырить. Они ж сами себе его пишут, под себя, чтобы недра из России высасывать. Поросенок вот этот специально, чтобы людям простым не понять... — Степа чмокает воздух слюняво, с досадливым присвистом, показав им Гайдара пухлявого. — Ну а мы чего, а? Нас ... а мы терпим? Вон шахтеры — молодчики: общей массой всегда за свои интересы, как штык, до Москвы всем Кузбассом доходят. Ну а мы чего, мы?! Тоже можем потребовать. Уважения, сука, к человеку труда! Ну, что скажешь, Валерка?

— А ему, может, сладко при порядке-то нынешнем, — поддевает Митяй. — Брат лопатой гребет все, что мы наварили. Хмель чего-то не брал, и не чуял Валерка гудения крови в себе, ожидаемой радости высвобождения души из-под спуда. Он впихивал, а жизнь его не продвигалась никуда, так и застряв на личном унижительном безденежье и на позорной слабости, падении общего всего. Раньше ведь каждая загрузка, каждый выпуск, каждый забитый гвоздь и каждая проглоченная макаронина — все приближало время наступления на земле какой-то всеобщей, окончательной правды всех русских. А теперь, что теперь?

Решили: то было неправдой, все советское, баландой для скудных рабочекрестьянских мозгов, пустыми лозунгами только, чтобы некормленные рты законопатить? Ну хорошо. А что взамен? Пусть каждый работает сам на себя и получает по приложенным усилиям? Он сам, Валерка, первым в эти акции поверил — что станет собственником своего завода вправду, не придатком живым к своей домне, а ее настоящим хозяином, отольется ему его пахота в прочное будущее, в полновесный достаток и ровную сытость. А на поверку вышло что? Какие там проценты жирные на эти акции его с каждой сменой набегают? Жизнь сокращается бесцельно — это только.

Будто бы кто закупорил в Валерке, как чугунную лаву в печи, просящуюся выйти, разгуляться кипящую немереную силу, которую в себе с молодых ногтей он чуял, употребить ее способный с равной страстью на созидание и на слом, лишь бы какую точку приложения показали. Так что этой вот вести о московских варягах, норовящих подмять под себя комбинат, отупевший Валерка скорее обрадовался — как возможности вырваться из непродышной трясины; сразу жгуче прихватывало у

него в животе от одной только мысли вот об этом нашествии, о какой-то неведомой искре, что возникнет, конечно, на контакте могутовских с пришлыми, хоть какая-то в этом обещалась ему новизна, совпадавшая с самой сильной мыслью, что порою в нем вспыхивала: «Поскорей бы хоть, что ли, война началась».

3

Ни разу в жизни он, Чугуев, не посчитал себя ничемным человеком. Жизнь его смысл имела, вложенную цель. Вот надо только добросовестно, всей личной силой вкладываться в порученное дело — и постепенно будешь родиной за то вознаграждаться. И главное, все так оно и выходило: отец его, Семен Антипович Чугуев, насельник промороженной землянки и барака, стал знатным доменщиком и хозяином белокирпичного четырехкомнатного дома с яблоневым садом и шестью сотками под огород на правом берегу Урала.

Страна и партия обожествовали сталеваров. Для металлургов строили высотные микрорайоны, универмаги, детские сады, кинотеатры, стадионы, дворцы культуры, санатории на крымском побережье, снимали мерку для отливки идолов громадного размера и хоронили вместе с красными эмалевыми звездами на плывущих за гробом кумачовых подушках. И это продолжалось, было, не тускнея: Могутовский металлургический, имени Ленина, орденоносный комбинат ежеминутно, круглосуточно давал прирост стальных артерий и броневого панциря страны; каждая пятая газопроводная труба, каждый второй встающий на вооружение Т-90Б, бронеусиленный, каждый четвертый новый рельс на всем пространстве от

Норильска до Чимкента плотью были от плоти всесветно знаменитого их ММК, так что восьмидесяти тысячам могутовских рабочих с первых шагов по заводской земле и до кончины ясно виделось: здесь — центр Родины, ось мира, и ни один советский колосок не будет убран и искусственный спутник Земли не уйдет в ледяное беспределье без них.

И в трудовой и личной жизни Анатолия все совершалось, наступало с неотвратимостью написанного на роду и неизбежностью положенного по инструкции. Отец был для него как мерка и как выкройка: нет, речь не шла о том, чтоб повторить отца во всем, — такого и не надо, — но что касалось отношения к делу, к долгу, тут был отец непогрешимо верным ориентиром. Самим собой он, Анатолий, становился, только когда заворуженно замирал над чертежом какой-нибудь машины, чьи устройство и принцип работы превышали пока что его разумение. Вот и пошел вальцовщиком на стан горячего проката — чтоб, переполнившись хищной радостью познания и нестораемой любовной жадностью к машине, смена за сменой отлаживать валки, без пресыщения и устали горбатиться в прямках и колодцах, перебирая становящимися зрячими, как у слепца, ошкуренными пальцами каждую вилку роликотдержателя, каждую ось и втулку арматуры непрерывного качения, по щепоти соскребывая с них наросшие грязь и окалину, отшлифовывая и полируя, пока те вновь не станут такими же чистыми и сияюще гладкими, как при рождении, и какими должны быть всегда все узлы и опоры живой нежно-ломкой машины в сострадающих и берегущих руках.

«Женился ты на стане, Анатолий. Машину больше любишь, а не человека: всех за нее удавишь — надо будет», — говорили ребята в цеху. «Ну не тебя же, бестолочь

ленивую, любить, — отвечал он на то шутнику. — Ты сам себя прокормишь, а машина без человека при себе не обойдется».

Стан подавлял громадными размерами и совокупной расчисленной мощью, но только каждая деталь в нем по отдельности была настолько беззащитной и слабой, что он, Чугуев, вздрагивал от внутренних ударов ревности и страха, как только видел, как увечится она обезьяньими лапами равнодушных невежд. Бывало, только стук какой неладный, плаксивый визг и пробуксовывающий хруст ему послышится в железных сочленениях, как сразу весь он превращался в скручивающую жалость и нетерпение выявить дефект, который лишь при остановке выявлен быть может. Так что, пожалуй, даже странно в самом деле, что в нем, Чугуеве, любви хватило и на бабу. Надо было нести через время фамилию рода, с отцом они шутили, что вот он, мол, тот редкий случай в бытии, когда «надо» уже целиком совпадает с выпирающим из штанов «хочется». Был он при том не то чтоб робок и стыдлив, а как-то неудобно неуклюж в общении с женским племенем и, говоря с какой-нибудь девчонкой, всегда имел такое чувство, будто бы он сдает экзамен по немецкому, — невнятно ныл «пык-мык» и добро, смирно улыбался. Вот не было в нем этого нахрапа, вальяжной наглости мужской, и статью он не выделялся, был с детства чахлым, тонкошеим — ввиду, наверное, неважного питания в годы войны и продуктовых карточек, только потом стал прочным мясом обростать, широкогрудой наследственной мощью наливаясь, в каждой руке почувствовал пудовую кувалду — словно отец, Семен Антипович, в нем проступил со временем вполне, и вот уж все в цеху ребята расступались перед ним вполне себе завистливо-почтительно.

Невесту себе высматривал по преимуществу в цехах, среди крановщиц, учетчиц,

калибровщиц, как деревенские высматривали раньше девушек в церквах. Все знали всех, за тонкой стенкой женской душевой звучали звонкие, неподотчетно зазывающие словно голоса, плиточный пол охлестывала струями вода — до первородной гладкости вылизывая ляжки визгливых заводских русалок, таких окатистых, округлых, налитых, на проходной даривших каждый вечер будоражащий запах своей чистой молодости — словно антоновского яблока и зимнего морозного, первоснежного, хрусткого, разудалого дня.

До тридцати трех лет Чугуев прожил бобылем — довольствуясь пунктирной связью с официанткой Маринкой, слишком охочей до транзитных пассажиров, чтоб можно было сладить с ней взаимовросшее существование до гроба. А дальше все устроилось руками одной такой вот бескорыстной сводни по соседству: под сокрушенные обрядовые причитания «такой мужик без дела пропадает» несколько связанных друг с дружкой женщин прошерстили обширный круг знакомых парикмахерш, швей-мотористок, продавщиц, библиотекарей и привели и вытолкнули замуж за Чугуева простую, скромную, неизбалованную девушку с застенчивой теплой улыбкой и ясными зелеными глазами. Ну не то чтобы прямо уж так и свели, словно бычка и телку за рога, а вот без них, без этих кумушек-подружек, самой бы встречи не было вот этой, и так бы весь свой век и проходили они с Марией по дорожкам параллельным, друг дружку не найдя в людской несмети, что ежеутренне запруживает улицы.

Он поглядел в ее лицо и сразу ясно понял значение встречи, важность, долг не потерять, не променять, не выпустить вот это счастье скользкой рыбиной из рук.

Шестнадцати годов Мария подалась в райцентр из оренбургской своей

маленькой деревни, оторвалась от мамы, от отца — инвалида войны, принужденного переучиться делать все одной левой, так как из-за гангрены выше локтя отрезали правую, — закончила с отличием педучилище и переехала в Могутов по распределению — воспитывать детишек на построенном заводе детском комбинате. Ей привелось вживаться в чуждую среду; по первости была она, конечно, большим Могутовым совсем оглушена — многоголосьем, спешкой, толчеей не знакомых друг с другом и не желающих знакомиться людей; держалась отчужденно, настороженно и строго, боясь на волю отпустить чистосердечную, доверчивую ясную улыбку, страшась ошибиться, быть кем-то обманутой. Ребята, жившие в соседнем от них крыле, пускали в окна женской половины солнечные зайчики, неугомонно зазывали ее, стыдливую, на танцы и в кино и, уж конечно, тонкие намеки делали на толстые, как говорится, обстоятельства, но эти все блудливые поползновения она, Мария, сразу пресекала, не то наученная мамой, не то самой своей природой наставляемая блюсти себя для настоящей жизни с мужем и не растрачиваться некрасиво и бесплодно.

После «смотрин», прогулок по бульварам, свиданий у гранитных идолов абстрактных сталеваров Мария стала понемногу оживать, в лицо ее, застывшее, глухое, пришел светящийся, горячий, жадный сок, словно весной в нетвердые и чистые листочки, и все от макушки до пяток в ней отозвалось Чугуеву помимовольным пробуждением женской сути, так что спустя полгода дружбы они уже сыграли свадьбу как положено: с белой «Волгой», с поздравлениями начальства, с пристыженными лицами самих молодоженов, надевавших друг дружке обручальные кольца с таким выражением, будто вдевали нить в игольное ушко, с

накрытыми в саду родительской усадьбы общими столами, с упорным, неотступным требованием «Горько!»... Со врезавшейся галстучной удавкой, Чугуев вставал и тянулся оструганной будто бы мордой к надушенному гладкому лицу своей чужой, неведомой жены — та поднимала на него тревожные глаза, смотрела удивленно-глупо и вместе с тем доверчиво-признательно, вот с этим чувством, что и счастьем-то нельзя было назвать, а просто начало сбываться у нее, у них обоих то, что заповедано от века и вложено простым великим назначением в любую дышащую тварь.

Через полгода у Марии стал расти живот, что взволновало Анатолия не меньше, чем предстоящий пуск отремонтированного стана, когда не знаешь, как завертятся валки и не дадут ли брака при прокатке, — с той только разницей, что от тебя тут не зависит ничего и нужен был ты только на одну, теперь уже далекую минуту, — и вместе с тем вогнало в немоту и отупение, в непонимание вообще, что должен он испытывать при новом состоянии жены. Под новый год у них родился сын — четыре килограмма триста восемьдесят граммов, «богатырь» — после отсасывания слизи брызнул негодующим, непримиримо-требовательным криком, грудь брал охотно и сосал активно. Когда Чугуев взял впервые на руки Валерку, тот, до того спокойный и безгласный, наморщил личико в потешном озлоблении и заревел протестно-возмущенно, своим захлебывающимся плачем будто требуя незамедлительного возвращения на материнские, единственно приемлемые руки... а он, Чугуев, все глядел в беззубый рот вот этого родного червяка — не то совсем еще бессильного детеныша, не то уже беспомощного старичка, — и было чувство, будто сам родился еще раз, вмиг сделавшись на выходе из жениной утробы великаном, своим железным

телом занимающим пространство бесконечное, как вся природа родины, и время беспредельное, как то, что начинается за гробом.

Валерка рос смышленным крепышом, с первых шагов тянул отца за палец к господствующим надо всем пространством жизни таинственным громадам комбината. Чугуев вел Валерку вдоль бетонных стен завода, как по огромному металлургическому букварю — все называл по имени и объяснял, как мог, доступными словами происхождение того или иного зарева и дыма, причудливое внешнее обличье и потаенно-скрытое устройство неподвижных и самодвижущихся будто исполинов; Валерка внимательно слушал и пил чистую воду знания голодными и ненасытными огромными глазами.

4

На четыре пятнадцать будильник поставлен теперь — вот по нынешней жизни паскудной — и взорвался в башке, дребезжит, выдирая из тьмы, из забвения всего, что коробит и гложет. И садится Чугуев на койке рядом с теплой, привычной, обмятой женой, из подушечной одури вырывается сразу, из покойного облака жара, что наспали с женой за всю ночь, и слоновьи ноги с кровати спускает, с полминуты сидит, провалившись в себя и простукивая изнутри свое днище, борта и к работе мотора прислушиваясь. Ничего пока вроде не сбоят, не хрустит... в туалет шкандыбает, на кухню. Миску вчерашней, разогретой в ковшике лапши с размоченной в ней горбушкой зачерствевающей выхлебывает. Вдевает ноги в раструбы промасленного старого комбеза. И на дворе уже поеживается от воздуха студеного.

Дверь за собой закрыть на полный оборот — по новой жизни мало на щеколду. И Валерке в окно тарабанит настойчиво: фамильный дом они с Валеркой на две части поделили, в двух комнатах Валерка со своей гагарой обитают, в оставшихся двух и пристройке — Чугуевы-старшие. Ну сынок — что ж домкратом его подымать?

— Это что, уже утро? — Из окна голый высунулся.

— Ноги в руки давай, выметайся. Пропускаем разгрузку, балда.

Застучал, загремел, на одной ноге прыгая в брюках, спотыкнулся и полку с посудой задел — взорвалось, расколосось. И на двор — как ошпаренный, телогрейку натягивая:

— Не бойсь, бать, успеем. Самородного золота все равно ведь не сбросят ни сейчас, ни когда.

— Инструмент доставай, самородок распутицы.

— Бать, а если вот правда податься в старатели? — заблажил будто спяну Валерка.

— Топай, топай давай. Счас те будет хита. Довели до хиты реформаторы — по помойкам заставили шарить на старости лет.

— Да ну, бать, ты и раньше ведь тоже по отвалу шорохался.

И ведь не по нужде, бать, — из жадности. Ты ж как этот... как Плюшкин. Вот любую железку, ни винтика по пути не пропустишь — все в дом.

— Много ты, обормот, понимаешь. Я гараж себе весь из таких вот отбросов построил. Это ж огнеупор, вот шамот настоящий — нигде ни за какие деньги не найдешь. Стальные балки нержавеющей — с комель толщиной. Все оттуда, с отвала, — от пола до кровли. Заводу не надо, а мне пригодилось.

Он и вправду, Чугуев, не мог пройти мимо любого отброса промышленности — будь то хоть самый малый обрезок уголка или швеллера, будь то хоть истонченный до дыр жестяной лоскуток, что в руках уже крошится, словно высохший до сердцевины древесный листок, будь то хоть ржавый гвоздь, весь в бугристых наростах, похожий на окаменелость каких-то мезозойских эпох. Попадался как только такой ему сор, поднималось в нем чувство соболезнающей нежности к умаленной вещественности безымянных останков чужого труда. Каждая стертая в производительных усилиях деталь, каждый железный труженик, потерянный для пользы, молча просили из земли: верните нас, мы еще пригодимся, не хотим быть навсегда потерянными — и никто их не слышал, и только Чугуев мог и должен был дать каждой вещи еще одну жизнь, возрождение в первоначальном чистом виде и предназначении.

Пересекли пути многолинейного разъезда — в прифронтной как будто очутились полосе: над колючей проволокой, дебрями ржавыми разве только сигнальной ракеты в вышине не хватает, озаряющей белым трепещущим светом простор. Не в первый раз они сюда, за линию, — знают, где пролезть. И пошли на растущий, напирющий грохот и лязг, и уже не одни — в десяти шагах тени маячат и справа, и слева, слышен шорох шагов в полутьме: много, много еще одиночек и семейных отрядов таких же шагают в одном направлении, вон туда, где, черней небосвода, подымается тяжело гора высотой с хрущевскую пятиэтажку, и как будто из недр ее всходят, прут и прут, нарастая, тяжкий гул и страдальчески-нудное пение тормозов и железных колес. Как проснулся вулкан — бледно-красное зарево над горой зачинается. Собралась уже целая армия из бредущих поврозь мужиков и

артелек со своим инструментом. Лязг и звон выросли до предела, поманив работяг, намагнитив, и на бег сорвались уже многие — вот на приступ взять гору как будто. И Валерка рванул напролом самым первым, как подранок-кабан сквозь чащобу, сквозь стадо, мешанину бегущих людей.

Ипуская пары, на исходном дыхании будто, проползает по гребню старик-тепловоз, волоча с вязким грохотом по невидимым рельсам налитые до краев густокрасным свечением ванны — ну и все, тормозные колодки сработали, всех защитный инстинкт взял в тиски. Лишь Валерка один как ломил, так и ломит на штурм, по отвалу взбегаёт прыжками с ломом наперевес, полоумный.

— Стой, мудило! — кричат ему в спину.

И железной дужкой замка защемило Чугуеву сердце, и подобрал каждой по рой скрежещущий крен вагонеток и сброс многотонных глыб шлака — валуны покатались, запрыгали, хороня его вместе с Валеркой, расшибая все встречные глыбы и груды и раскалываясь сами, как хряснутый оземь арбуз, обнажая горящую мякоть и брызгая во все стороны огненным соком; разлилось вниз по склону, ветвясь, нутряное их пламя — исполинских ублюдков могутовских домен; канонада салюта отгремела и смолкла — никакого Валерки нигде не видать!

— Ну, Валерка, на этот раз все! Не прощается, крышка! У Чугуева ноги не шли — из последним царем раскаленной, истекавшей дымами помойной горы вырос там вдруг, на склоне, хохочущий черт-антрацит: только бельма и зубы на оскаленной маске негритянской сверкают, встал на двух кучах шлака, расставив ноги циркулем на недоступной для живых высоте, и орет:

— Ваше — все, что пониже! А это мое! Наше, наше, Чугуевых! — И курочит уже

глыбы ломиком, искровую пургу подымая, новый ворох за ворохом огненной пыли. — Мой костер в тумане светит... — разбивает, крушит, выкорчевывает.

Увильнул, увернулся, допущением безумным ведомый, что сможет всегда, целиком, до конца своей волей сужденное определять, — прыгнул живо в расщелину, втиснулся, словно в мамкину норку, перед самым обвалом грохочущих чушек и в ней, неприметной расщелине, сжавшись в комок эмбриона, прокатившийся поверху камнепад переждал. Может, не был бы крепок, как обжатый на слябинге слиток, так бы там и остался, прокатом продавленный вглубь, но что людям — кирдык, то метизам таким нипочем.

— Не горю я, бать, вечный! Мы, Чугуевы, — глыба, ничем не пробьешь... — И осекся вдруг, морда осунулась, стала мягкой, телячьей, не глыбой. — Ну чего ты, бать, че? Я же знал свой маневр. Распрямилась пружина в Чугуеве, механизм невозвратный в движение по цепи приведя, и кулак — сыну в зубы, пока тот улыбался заискивающе. Уж на что был сыночек остойчив, а мотнуло его, как тряпичнонабитого. Просиял от отцовской прибывающей ласки:

— Вот как рельсом, бать! Тайсон! Так и надо мне, да! Это ж мало еще, ты мне дай, не жалей!

И уже они оба, как один человек, разбивают, ворочают глыбы в молчании. Продохнуть распрямятся — друг на друга не смотрят. Чуть Валерка копнет, ковырнет его взглядом — отводит, не стерпев ломового отцовского встречного. Вот как кошка воюет с собакой: чуть напрыгнет — и сразу отскочит, так и этот глазами. А вокруг копошатся всю остальную, схватили деланки по склону и роются, позабыв о Валеркином воскрешении, как не было. И нет-нет и упрется чей-то штык в

ископаемое: то в кирпич закопченный, то в обрезок стального уголка или швеллера, то в графитовый вдруг электрод, то в зубастую гусеницу — транспортерную ленту проклепанную, то в сгоревший электромотор, словно в череп бронтозавра какого, — вот сокровище-то! если с целой обмоткой, с накрученной медной проволокой! За черный лом дают копейки на приемке, а вот цветмет — по высшему ранжиру. Шлакоотвал родной давно Клондайком окрестили: как новая Россия началась и сгорели в сберкассе все деньги, так и начали шастать сюда вот и лом производства откапывать, уж бригадами целыми, семьями превратились в старателей, жены приходили к горе с термосами и укутанными в одеяла кастрюльками — подкормить мужиков своих пищей горячей. Килограммы и тонны металла залежали здесь, в шлаковых недрах. Откопашь вот рельс — и его на горбу в пункт приемки, расплодилось их, пунктов, немерено. Подфартит — за неделю сумму месячного своего заводского оклада из горы этой вынешь, горнового, вальцовщика, агломератчика, ведь зарплат-то законных месяцами не видят с тех пор, как Гайдар в телевизоре, поросенок, губами зачмокал: «дефицит», «волатильность», «инфляция». После смены сюда, выходные все здесь. Вот шурфы даже многие стали в горе пробивать, ставить крепи в глубоких забоях по всем правилам горного дела. Эскаваторщики уводили машины состроек и вгрызались ковшом в спрессованный, спекшийся шлак. Объявлявшихся на стратегическом этом объекте бичей, мужиков со всей области пришедших злобным лаем отваживали, поколачивали жестко порою, вбивая: вас тут не было, не проходило.

Груды черного лома на санях самосваренных тащат — как бурлаки на Волге это самое. Среди белого дня по своей родной улице — не привыкать, но порой все равно

оживет и прихватит рабочее нутро на мгновение стыд: это ж ты, тот же самый, который на всю область гремел трудовой своей славой, скульпторам, было, даже позировал, прикрывая ладонью глаза, словно витязь в дозоре, — победитель социалистических соревнований и вершитель Истории... ну и вот на что жизнь извелась — не скрипел даже больше зубами Чугуев, словно стер их по жизни такой до корней.

5

И когда это все и с чего началось? Все же было в могутовской и советской всей жизни отлажено, заведено, как безотказные великие часы. Предназначение, вложенная цель им исполнялись с равномерным напряженным постоянством, и можно было любоваться делом рук своих и по дороге на работу, и с нее. Фотографическая карточка Чугуева — как знатного вальцовщика и неумемного творца рациональных предложений — прилипла к кумачовой доске рабочей славы комбината, и каждый год ему давали грамоты и каждый месяц — денежные премии. Двухкамерный был куплен холодильник Минского завода и черно-белый телевизор «Темп» с зеленоватым выпуклым экраном, в красивом корпусе из полированной древесностружечной плиты; вместо фанерного серванта встал во всю стену в зале ленинградский гарнитур; Мария жучила детишек в своем садике и все боялась, что не уследит за кем-то из вверенных ей тридцати несмышленьшей — неугомонных, каждую минуту могущих за ее спиной сверзиться с качелей или дерева... Годы текли размеренно, нестрашно, словно катила свои воды мощная река, — спокойствие,

уверенность и сытость были основными ингредиентами в химическом составе времени.

Ну да, не все, конечно, было так безоблачно: кого-кого, а уж его, Чугуева, корежило, как видел, что никто — от самого высокого начальства до вальцовщиков — не думает о состоянии механизмов и замене разношенной, усталой арматуры, бездарно повинуюсь букве Государственного плана, гонясь только за новым мировым рекордом по производству чугуна и стали на душу населения. По дурости начальства, озабоченного лишь воплем-рапортом «исполнено!» наверх, по нерадивости и равнодушию невежд, желающих лишь кончить смену побыстрее и не блюдущих технологию совершенно, случалось так, что домны коченели чугуном и по цехам обрушивались фермы. Видно, не мог все время человек жить в постоянном напряжении сердца и ума — быть вечно сжатым, как пружина, и не потребовать себе у самого себя хотя б минуты расслабления; другое дело, что вот это расслабление — попробуй только раз себя разжать — настолько приходилось иному человеку по нутру, что он и напрягаться больше не хотел, — так и работал в этом состоянии разболтанности страшной.

Тут еще вот о чем задумывался он — об убывании в человеке силы жизни. Не по себе еще судил, а по отцу. Когда Мария забеременела вновь — всего-то через год после Валерки, — отец на шестьдесят четвертом году жизни заболел: врачи нашли опухоль в толстой кишке; герой Соцтруда, знатный доменщик, сгорал ровно с такой же скоростью, с какой делились клетки, формировался костный мозг и личное неповторимое содержание будущего человека, — первый призывно-негодующий захлебывающийся крик Чугуева-второго совпал с последней судорогой посиневших

губ Чугуева Семена — родоначальника стальной могутовской династии. Не останавливалась жизнь... Валерка пошел в первый класс и быстро вывел из себя учителей своим неугомонным буйством и непослушанием; не мог никак на месте усидеть, самый горластый в классе, самый исцарапанный. К наукам склонности большой не проявлял, зато к разного рода разбойничьим забавам — как то: плевать жеваной бумагой через трубку, драться со всяким, кто желал и не желал, бить из рогатки голубей и кошек, мучить девчонок приставаниями «Машка-промокашка» — страсть приобрел неистребимую. Превосходивший сверстников воинственной наглостью и силой, заделался грозой школы и района — и наказанием для матери, измучившейся потуплять глаза на каждом родительском собрании. Что хорошо — к ремеслам вот тянулся, с прежней жадностью рвался за отцом на завод, так что Чугуев успокаивался, — не сомневаясь, что Валерка сможет в будущем держать на уровне солидную чугуевскую марку.

Родившийся на год позднее Сашка во всем старался старшему Валерке подражать — и в добром, и в дурном, но все же видно было, что Валеркины бесчинства не вызывают в нем, серьезном и прилежном, подлинного отклика. Самим собой он становился лишь за школьной партией, за сложной математической задачей или физической загадкой самой жизни, что занимала его вьедливо-дотошный ум сверх школьной нормы заданного на дом. Учился хорошо и без натуги, но не в одной охоте было дело, а в странном самолюбии, которого Чугуев за собой не замечал и не считал наследственной чугуевской чертой: быть похваленным прежде других, награжденным щедрее других — вот какая потребность, казалось, вела его, Сашку, с первых классов по жизни. Он и дрался-то в кровь через день, вот и в

секцию самбо пошел лишь затем, чтоб предъявить всем на районе пацанам выражение телесное, мускулы своего превосходства.

Сам он, Чугуев, рос по заводской рабочей линии, не отставать старался от летящей со скоростью ракетносителя «Союз» советской инженерной мысли, прочитывал узкоспециальных технических учебников не меньше, чем бригадиры и начальники цехов, и неизменно в числе первых на заводе овладевал новым прокатным оборудованием. На стан любой его спокойно можно было ставить: на рельсобалочный и непрерывный заготовочный, на листовой и тонколистовой, на сортамент любой, на черновую группу и на чистовую. К сорокалетию получил седьмой разряд — самый высокий в сетке для вальцовщиков — и стал командовать не парой подручных, а уже целой бригадой; задания получал в заводууправлении от инженеров персональные, и инженеры к нему всегда по имени и отчеству, и мастера цехов перед Чугуевым заискивали: «Смотри, Семеныч, что инженера удумали. Как — сделаем пуск к ноябрю? Надо, Семеныч! Можешь ведь — бог!».

Страной правил шамкающий Брежнев, своими «сосисками сраными» и отращенной по колено орденой чешуей в народе порождая разные глумливые потешки, но непосредственно в железно-беспощадной хватке комбинатского директора Ракитина весь Могутов работал, как часы на руке великана «Советский Союз», вырастая, размахиваясь, насаждая сады, возводя по округе все новые микрорайоны кирпичных и бетонных высоток, разводя в образцовых в подсобных хозяйствах коров и свиней, свежим мясом которых кормили сто одиннадцать тысяч рабочих. Валерка кончил девять классов и пошел проторенной дорожкой в профтехучилище. Немного ошалевший от избытка силищи, литой, широкогрудый

вырвидуб, он и лицом, и статью — всем напоминал Чугуеву покойного отца, разве что только тяга «к забегам небольшим в ширину» до того доводила, что малый то и дело терял берега, и ни одни воскресные танцульки во Дворце культуры металлургов не обходились, как зима без снега, без учиненного Валеркой побоища. То утешало, что в цеху работал он толково, разворотливо и ловко, с той же захватчивой страстью, что и бедокурил, — только здесь вот, у домны, направляемый в нужное русло созидательной волей завода.

На пятьдесят девятом году жизни прямо во время совещания по селектору приварился ладонью к груди и скончался казавшийся вечным всесильный Ракитин, вместо него Москва прислала нового — рекордсмена по бегу по красной ковровой дорожке, знакомого с железным делом только на бумаге. Через месяц московский засланец безмозгло поднял норму могутовской суточной выплавки, рапортовав наверх о шестисотмиллионной тонне к годовщине Октября, и через день на пятой домне с рельсов сошел и опрокинулся налитый до краев чугуновоз: моментальный чугунный разлив захватил под ногами бетон, прожигая, проваривая сквозь подметки и брюки сладковато запахшее человеческое мясо, заискрила проводка, и бригада Валеркина заметалась с баграми и пожарными шлангами среди ручьев и столбов мускулистого пламени — усмирить половодье, сбить встающих по кровлю огневых великанов.

Ну авария, да, ну забыл человек на участке своей личной ответственности об изношенной цапфе, сговорился с собой, что стальная деталь еще выдержит. Да вот только все так и пошло теперь — вкривь, прорываясь бедой то там, то вот здесь, будто шел не по цеху ты, а по топи болотной, то и дело ступая на непрочную кочку.

Он сперва не заметил, Чугуев, как людям вокруг впервые вдруг чего-то не хватило, а потом беспрерывно начало не хватать: разных деликатесов — утробе, не сытой одним только хлебом, рассудку — понимания: зачем жить так, как нам завещано, — то есть по принципу самоотдачи, в вечном поте лица, наживая горбы и мозоли и пожизненно не получая от родины что-то взамен, получая все время не ту колбасу, не имея машин, потому что их мало и все они до людей низовых не доходят (а по стали на душу населения — рекорды! по ракетам, по спутникам, по дивизиям танковым те рекорды, которые лично тебя не согреют), не имея удобных, просторных квартир, получая не те, не такие, не там... У людей появилось слишком много желаний, у новых поколений, не видевших войны, как будто жизнь, в которой вдосталь хлеба и налажена бесперебойная подача электричества, есть нечто само собой разумеющееся, нужно что-то еще, нужно много чего дефицитного.

По телевизору пошли сплошные заседания народных депутатов: высоколысолобые, очкастые, лощеные профессора и шелкоперы, трепеща от хищной радости, вещали, что у высших партийных начальников — осетрина в пайках и икра, а народ обделен, обворован, объединен и что, главное, «гласность» нужна — говорить, говорить... В общем, все так и шло: мы в дерьме, мы на дне, надо грянуть «долой!», надо «мыслить по-новому».

Незыблемо торчали из земли и подпирали небо изваяния изначальных чугунных богов, не сломать в одночасье такую машину, но как будто из домен, из станов выпаривались смысл, понимание, знание, зачем они, станы и домны. Сталеварам, исконным могутовским людям, сказали: ваша сталь не нужна, столько стали не нужно, броневой, бронебойной, огнестойкой, легированной, вы уже наварили с

запасом на столетия вперед, и ржавеет она невостребованной, нам не скрепы стальные нужны, а жратва, вашей сталью людей, вас самих не накормишь.

Невидимые глазу безучастному, неуследимо, неостановимо множились очередные нарушения технологии, разбухали, спекались в давящий, не разбиваемый ломами монолит. Не хватать стало остро угля, что всегда шел в Могутов нескончаемым и непрерывным потоком — газожирный и жирный, кузбасский, стало нечем кормить батареи, и завод начал стопорить домны одну за другой, а что такое домна, которая закоченела чугуном, — это ж ведь не расскажешь, как нельзя рассказать с того света про смерть. Как без рук, как без члена, десятки бригад вдруг остались без дела — раньше пили по праздникам, с радости, после трудной работы, а теперь — каждый день, от давящего чувства, что некуда жить. Остальные, как с виселичных табуреток, глядели на цепную реакцию остановок цехов и машин — на зигзаг черной трещины, что должна доползти до тебя не сегодня, так завтра, и тогда уже лично под тобой проломится. Деньги были еще, а на что обменять их из товаров питания и быта — хоть шаром покати; весь могутовский люд, озлобляясь, толкался и мерз на морозе в подышающе ползших к прилавку свальных очередях; молодые мамыши приводили с собой в гастрономы писклявых детей, на руках приносили младенцев: «на ребенка» давали второй килограмм колбасы в одни руки, и еще одну тощую синеватую куру, и еще одну связку рулонов туалетной бумаги на шею. Винно-водочный брали на приступ, словно Зимний в семнадцатом.

Там Валерка был первый боец, в винно-водочном, — как Матросов на дзот, на прилавок бросался и с бутылками в лапах прорубался назад сквозь людскую халву, балагурил, юродствовал, потрясая добычей: мол, беру на себя обязательство

троекратно превысить ежедневную норму потребления спирта. Человечьего облика все же пока что держался, но вот если и дальше продолжит в том же духе позорном — рассыплется, не собрать уже будет себя.

А вот Сашка, тот, наоборот, подымался стремительно в люди, подгадав угодить в восходящий поток самого будто воздуха времени; вот умом уродился непонятно в кого — это он, Анатолий, когда еще понял, и расперла Чугуева гордость, когда сын после школы протаранил кирпичную кладку огромного конкурса в Московский(!) институт(!) народного хозяйства им. Плеханова, выжал красный диплом и вернулся по распределению в Могутов — в синих джинсовых брюках и кожаной куртке, все такой же и неузнаваемый, причастившийся будто в Москве чрезвычайного тайного знания, недоступного темной родне и рабочему классу вообще, — будто меченый, избранный, навсегда оторвавшийся от изначального предназначения сталеварного рода Чугуевых, навсегда прикрепившийся к строю, отряду образованных высоколобых. Младшим экономистом устроился в плановый комбинатский отдел — высоко над землей, над цехами. Пригласили инструктором в заводской комитет комсомола, и по этой вот линии комсомольской пошел вверх и вверх. С кумачовой трибуны перед массой одно говорил — ну, «да здравствует...» там и «крепи...», а вот дома — диаметрально противоположное. Что завод их великий — давно живой труп, динозавр умирающий, просто слишком большой, чтоб увидеть, что он умирает; да и что там завод? СССР целиком — тот же самый начавший подыхать динозавр, скоро гикнется все, экономика плановая, и начнется такое, что и самой мощной башкой не постичь, а не то что чугунной чушкой рядового могутовца.

И ведь вправду теперь каждый день начинался с «чего там, в Москве?», с

понимания, что уж куда-то совсем не туда прет клейменный чернильной кляксой комбайнер ставропольский... Новый год был какой-то совсем не такой, бой курантов похож на обратный отсчет... И вот на тебе! Грянуло! Всю страну и Могутов, словно мамкина норка, накрыла реформа, выводившая из обращения сторублевки с полтинниками, и рабоче-крестьянские полчища осадили сберкассы, безнадежно давились, продираясь к приходно-расходным бойницам, — ничего уже больше не держало Чугуевых в покупательной силе, все двенадцать их тысяч, что скопили за жизнь, отсекали от них, словно стальным полотном, перемычкой стеклянной в окошке сберкассы.

Через сутки Чугуев свихнулся от стыда, суеверного ужаса, став опять богачом, невозможным, — это Сашка, уехав в Челябинск дней за пять до начала «всего», начал слать им оттуда переводы из разных отделений почтовых. Будто лично ему кто-то прямо из Кремля позвонил, из Минфина. И ведь знал, голова, как все можно сберечь до копейки, — вот как раз переводом почтовым, — позвонил по межгороду: мама, требуй выдачи только червонцами. В извещениях желтых картонных были бисерной прописью страшные суммы — пять тысяч рублей! и умножить на пять! а кому вот еще, кроме матери с батей, если он высылал переводы такие же? Это что ж за зарплата такая, откуда? Двести двадцать же эр у сыночка оклад. Аж с рычанием на сына по приезду набросился: это где ж заработал ты столько, сколько мы всей бригадой за год не подыдем? И услышал в ответ: бизнесмен я, ты понял? Ну а как ты хотел? Это вам, извини, к подаянию не привыкать, а я жить хочу так, чтоб иметь эту жизнь, чтоб она подо мной прогибалась, а не я чтоб под ней. Нет, ничего уже не понимал Чугуев в новой жизни, в прибывающей быстро воде, проломившей и

вырвавшей все стальные затворы всесоюзных плотин. Обесценивалось все: могутовская сталь и человечесье усилие по производству негиблемо-прочного изделия, исполинские идолы прежних богов и погибших героев, проржавевшие кости под домнами-жертвенниками, русский пласт чернозема, торжество покорения открытого космоса, беззащитное детство, рабочая старость, и фамилия рода, и имя отца, и значение родины в целом.

Хорошо воевать с ясно определенным врагом, знать, откуда ударит, и паскудно — страшиться неизвестно чего, день за днем изнывая от пытки пустотой неизвестности: что там дальше готовится вслед за мгновенным обнищанием масс, за порожними полками гастрономов и универсамов. Может, кончится хлеб вслед за мясом и маслом — ведь опять легли в руки народу продуктовые карточки. Ничего не осталось в химической формуле времени, кроме чистого страха, страх стал воздухом будущего, страх стоял по глаза. И паскудней всего было то, что ты сам, вроде сильный, не старый еще, ничего тут поправить не можешь и не годен вообще ни на что. Только рыскать и грызться в помойке за кусок пропитания — вот к чему свелись жизнь, назначение их рода и чугуевской личности.

Водитель Коля подогнал к крыльцу заводууправления «мерседес» — Чугуев влез на заднее господское и двинулся по своему металлургическому городу: четвертый год уже, а все никак не мог привыкнуть к ощущению: неужели вот «он» — это я? Это я и никто другой больше стал в неполные тридцать самодержцем всех этих восьми тысяч гектаров углеподготовительных, коксовых, доменных, кислородно-конвертерных, сталепрокатных цехов, агломерационных двух фабрик, сортировочных станций, газгольдеров, ступок теплоцентрали и восьмидесяти тысяч живых крепостных сталеваров... пусть теперь и стоит половина египетских по размеру и мощности домен, мертво зачоченев чугуном изнутри, — как брюхатые идола древнего племени, чье имя никогда не будет произнесено и письма на каменных боках болванов — расшифрованы.

Шансы его, Чугуева, стать кем-то кроме того, кем было предназначено, изначально равнялись нулю. Вранье, когда вздыхают о лифтах социализма, способных вознести детей простолудинов под рубиновые звезды; сперва, конечно, было еще можно, на заре прекрасного и яростного мира, до претворения в реальность плана ГОЭЛРО, взмыть в академики, в министры — из горячего цеха, от черных котлов, но к рождению Саша лифтовые кабины вмерзли в лед низовых этажей, остались нарисованные двери; дети рабочих и крестьян вставляли с

малолетства к фрезеровочным станкам на основных для них уроках трудового послушания, чтоб простоять за ними будущую жизнь и передать мозоли по наследству. «Ломоносовский тип» отличался от чернорабочих дебилов только локализацией и природой «мозолей» — на подушечках пальцев и под лобной костью: жрали то же, оттуда же. Высоко над землей жили отпрыски красных князей — у этих было все: спецшколы с преподаванием предметов на английском языке, черная «Волга» с молчаливым холуем-шофером, синие джинсы с медной молнией в ширинке, по папиной «вертушке» заказанное место в МГУ или МГИМО... А были еще выродки директоров универсальных магазинов, начальников отделов маннонебесного распределения и сбыта, главных врачей и главных инженеров... И только потом, подо всеми — Чугуев.

Жизнь коротка, настолько, что сил хватает на один рывок: дед вырвался из хаты на завод, в барак, орденоносцы и в могилу, отец — в частный дом с огородом, Валерка, старший брат, — по рельсам проложенной отцом однокорейки, с досрочным перевыполнением нормативов и пенсионным подаянием на дожитие. С первых, казалось, проблесков сознания Саша понял: он другой. Нет, не умней, не даровитей, не сильнее всех окружающих могутовских детей — дело не в этом, главное не это. Он ненавидит предопределенность. Вот до сих пор не знал, откуда в нем подобное взялось: как все, пионерскую клятву давал, как все, намеревался стать пожарным, летчиком-полярником, как все, смотрел на собственного брата с восхищением, завистливо и безнадежно силясь во всем ему, Валерке, уподобиться. Руками могущий гнуть гвозди, антоновские яблоки давить в сочащуюся смятку, немного сам как будто изумленный избытком даровой врожденной силы, Валерка

был кумиром главным на районе, и девки все к Валерику магнитились — к его грубо-красивому, тяжелому лицу, к осклабу белозубому каленому, к нагло-веселым плутовским глазам, умеющим вклеваться и не отпускать добычу, вот прямо обмиравшую в предчувствии эротического чуда, — а он, Чугуев-младший, рядом с братом приобретал прозрачность пустоты, настолько его все не замечали. Все время ощущал непокрываемую пропасть превосходства, полученного братом при зачатии задарма. Пока не залипали оба на одну, еще ему дышалось как-то, Саше, но вот хлестнула их обоих по глазам безумная, кривая сила женского начала — вот эта девочка, меняющая улицу, погоду... и, не колеблясь, сразу же к Валерке подалась... о, это ошалелое от счастья Натахино горячее лицо... А он остался, Саша, на обочине отбросом, плевком в каблучной вмятине, окурком, растертым по асфальту братским сапогом. Не совладать, не заселиться, не втолкнуться туда, где тебя не хотят. Но жило в нем неубиваемое убеждение, что сможет он, не нужный, отбракованный, за счет других достоинств извернуться — за счет проворного и гибкого ума, за счет терпения, за счет чугунной задницы — и не мытьем, так катаньем взять над Валеркой верх и, уж само собой, надо всеми остальными... себе такой добыть удел, что эта девочка будет кусать подушку по ночам, не понимая: как же проглядела, не на того поставила, купившись на бессмысленную статью, на эти мускулы стальные и прищур непогрешимый — пустозвона, болванки, из которой ни капли загаданной жизни не выжать.

Теперь все это было даже не смешно, и удивлялся Саша, как могло это ничтожное — «не любит девушка», самцовое самолюбие — так его жечь и даже прямо делать его несуществующим. Теперь он жил во власти, ни с чем не сравнимой

по силе, изматывающей, пыточной власти над самым большим в Европе циклопом стальной индустрии, и ни на что другое, что поменьше, — вроде любви и прочих человеческих «хочу» — сил у него уже не оставалось.

2

Родной порог переступил — и ничего не понимает: Натаха у стола, заваленного яствами, как подожженная шарахается, вьется. Как самобранку перед ней кто расстелил: пузатые, фигурные, резные, с винтами, с пробками хрустальными, бутылки, по горлышко налитые багровыми и золотыми пойлами заморскими, колонны, монументы, глыбы окороков невиданных, икра — белужья черная и лососевая красная, поленница из палок копченой колбасы с сургучной печатью на бечевке, вот просто рай мичуринский граненых ананасов, стыдливых персиков, огромных апельсинов, с крокодила размером осетр и арбуз со слоновью голову, перевязанный ленточкой розовой, словно новорожденный в роддоме.

— Это откуда прилетело... — хрипнул, — все?

— От брата, брата твоего, «откуда»! Сашка завез, пока вы с батей на свалке шурували. У тети Маши завтра ж день рождения, забыл? Ну и тетя Маша к нам вот это все — ну чтоб Семеныча не злить, то-се там, все дела.

«У нас вон горб растет, а у него карман», — хотел Валерка рявкнуть с голоса отца, но придушило что-то в нем привычную, автоматически рванувшуюся злобу — угрюмо зыркнул и расшибся злобным чувством о полыхавшее Натахино лицо: жена сияла, ожила, тугой, звонкой сделалась, как струнка, какой ее, сказать по правде, он

не видывал давно: синющие глаза горели ведьминским огнем — не нищенская бабья радость полыхала в них, не жадность, а предвкушение перемены участи на новую, другую. Вот этого как раз Валерка и не мог — жизнь повернуть, судьбу переломить, такую жизнь построить самому, в которой все у них наоборот с Натахой будет и прекратят тянуться дни бетонные, пустые, в непрерывно сосущей тоске, в непрерывном насекомо-ползучем выживании впроголодь.

— А что? И угостимся! Нормальной водкой в кои-то веки, а не паленкой этой ацетоновой! — Собою не командуя вполне, бутылку ледяную сцапал со стола. — Чего там нам брательник от щедрот? «Финляндия Сранберри», ух ты ж! — с погано извивавшейся ухмылкой покачивал бутылку на ладони — не то сейчас об стенку ею хрястнуть, не то одним движением голову скрутить и, раскрутив винтом, в раззявленную глотку опрокинуть. Впилась меж тесных ребер и протискивалась в глубь Чугуева обида, а еще больше злоба его жгла — на самого себя, бессмысленно здорового, настолько дюжего, настолько и никчемного, и вот уж сам за раскаленный прутик взялся — сам у себя внутри пошуровать. — Ведь это счастье, а, когда такой брательник! Сила! Вагоны с чушками гоняет по карте мира, как по этому столу! С такой головой! Не пропадем! Придет и вытащит родного брата из говна! И ничего за это не потребует взамен! Ведь голос крови, да?!

— Ну что ты так, Валер, все выворачиваешь? Ты это брось. Уничуждение паче гордости — это сейчас, Валера, про тебя. А ты ведь можешь, тоже мог бы у меня...

— Чего я мог бы?! Что я могу такого, а?!

— Ну, вслед за Сашкой, с ним, при нем вот как-то. Вот если б с самого начала вдрызг не разругались... — взяла опять электродрель и двинулась по миллиметру в

глубь Валеркиного черепа. — Ведь мог бы он тебя... ну как-то подтянуть. Работу дать...

— Какую?! Человеческую?! А что, моя уже не человеческая, да?! Это теперь у нас барыга — человек? Или в охранники к нему, хозяину завода, в бандюки? Свой лоб под пули за него, уж если сам умом не вышел?

— А как сейчас горбатиться в две смены? Бесперспективно, Валерочка. Душно, болото.

— А, ну конечно, да! Красивой жизни захотела?! — ощерился на скатерть-самобранку. — Как белые люди? Так что? Так давай! Вон Сашка-то — свободен! Еще с каких времен пускает слюни на тебя! Вот и давай! На золоте с ним будешь! В шелках и в брюликах, в зеленом «мерседесе»! Вот кто мужик! Имеет комбинат! Всю эту жизнь имеет в хвост и в гриву! А я, он вот какой! — Карманы наизнанку с треском вывернув, чуть не вприсядку с грохотом пустился ломовым. — Хоть на говно весь изойду — другим не стану!

— Ну ты дурак, дурак совсем пробитый! — К нему шагнула и припала жаркой тяжестью, въедаясь горькими тревожными глазами в его позорно воротящуюся морду. — Не в золоте счастье, Валерочка! Я ж ведь всегда с тобой, без разницы, кто там имеет что... Имеет — и чего? Мне самого тебя, Валерка, подавай! Другого нет, не будет и не надо. Но только больно мне смотреть, пойми, вот на тебя такого — как ты все бьешься головой об лед. Не говори: другим не стану. Я, может, тоже никогда не думала, что буду шапками на рынке торговать, а не с детишками всю жизнь, как тетя Маша. И вот пришлось. Чтоб не одну картошку есть и кверху задом в огороде. И если завод ничего не дает, то надо искать както что-то, Валера. Переломить себя,

заставить! Не в золотых горах же дело, а вот хоть что-то пусть зависит от тебя. Вон твои сверстники вокруг — и не умней тебя! — кто шмотки возит из Москвы, кто этот спирт в цистернах дальнобойщиком. Опять ты скажешь, что барыжить тебе рабочая гордость не позволит? Это твой батя может рассуждать в подобных категориях, он прожил жизнь уже, застрял, заостенел. Но ты-то нет, но мы-то молодые!

Затиснул жену, зашептал наугад:

— Наташка, заживем! Я заработаю, добуду! Вот наизнанку вывернусь... не знаю как!..

— Это из домны выпустишь своей? — Она и плачет, и смеется.

— А все из домны и берется! Деньжищи-доллары. Сперва чугун, потом и это все.

— Так это надо превращать уметь.

— И превращу, ты только верь мне, верь! Наймусь мыть золото... вербовщики-то, вон, шныряют повсеместно... и с грамма по десять процентов в мой личный карман. Хоть в Казахстан, хоть за хребет спокойно! Пойду вот в черные! Чтоб все себе, что из природы лично выжму. Уж я-то выжму, ну!

Нет, никому ее он не отдаст, вот для него ее, Натаху, сделали, отлили всю как из Валеркиного сердца и молотком разбили форму, чтобы одна она была такая, чтобы — ему и больше никому. Без слов, без слов ее в себя вжимает с такой силой, чтоб приварилась навсегда, чтобы вросли друг в дружку до способности уже вообще смотреть один сон на двоих.

Заехал к матери поздравить с днем рождения, в дом, в который его привезли из роддома, — не его теперь дом. Выбрал время, когда дома точно не будет отца, водитель Коля — словно из огня — втащил под кров огромные пакеты с рационом людей высшей расы; мать есть мать, ей ты нужен и важен любым — одноногий, урод, кровопийца, ей тебя прощать не за что, а отец-сталевар вот не принял — стыдится! — его, Сашиной, сущности, взмыва со второй космической в небо, в самодержцы завода. Все цеха говорили о том, как с наступлением новой эпохи поделились Чугуевы — на хозяина и на рабов; в неподвижном и непрошибаемом убеждении отца Саша был разрушителем — их, чугуевской, металлургической родины: дед построил, отец укрепил, без остатка вложившись своим существом в арматурные кости, станины, валки, ну а сын вот навыворот это стальное добро прожирал, от него растекались, отщепенца и выроodka пролетарского рода, разложение и ржа по заводу, и вот что мог ответить на это отцу? Рассказать ему, слесарю, о мировом росте цен на энергоносители и падении — на сталь, о лавинах и штормах, порождаемых в мире виртуальной силой с огромной мощностью связи? Он, отец, видел только свой стан, слышать мог лишь урчание в собственном брюхе. То, что можно потрогать руками, взять в ум. Разраставшееся по цехам беспредельное кладбище остановленных, зачочневших машин.

Дела на комбинате были швах: не бежал больше ток по сети, по единой системе промышленных левиафанов оборонной чугунной командной промышленности; курский магнитный железняк и казахстанская железная руда, кузбасский уголь и

могутовская сталь пластались мертвым грузом в разрозненных местах земли, словно добро челюскинцев на льдинах, в соседних измерениях, галактиках — расплачиваться шахтам и заводам друг с другом стало нечем, последний ставленник Москвы на комбинат Андрей Сергеич Буров — по-свойски выбивавший для завода многомиллионные кредиты в кремлевских термах и обкомовских парилках — был интеллектуально уничтожен этой уймой пробоин; не много и не мало — трехсоттысячный, отдельно от завода не существовавший город со всеми школами и детскими садами, микрорайонами подведомственных зданий, чугунной болванкой повис на шее великана-комбината и потянул его на илистое дно.

Рабочим говорили: сами видите — нам шахты не дают угля, дерут втридорога ублюдочные новые хозяева Кузбасса, сталь заставляют отдавать по бартеру в обмен на газожирный уголь, поэтому и денег нету на зарплаты, загрузка батарей на треть, поэтому и дом ны подыхают, поэтому убытки терпим постоянные, и это было правдой беспримесной. Он, Саша, даже никого не увольнял: молодняк начал сам утекать с комбината весенними ручейками и речками: самые дикие и вольные — в «бригады», в «мясники», на место выбитых и взорванных миасских, уралмашевских и прочих бритолобых троглодитов, еще большие тысячи — в грузчики, челноки и водители дальнобойного транспорта... и вот наметилась пока еще не пропасть, но поколенческая вымоина, что ли: старики, отслужив, выпадали в осадок, а молодняк либо сбегал, либо, оставшись у машин, рыхлел от вымывания мертвой водой безнадёги и безразличия к собственной судьбе; новых железных на заводе больше не выковывалось, прежних ела ржа. Все держалось на нынешних сорокалетних и пятидесятилетних; отец перевалил за шестьдесят, возраст дожития, пенсии, и никуда

от своего безостановочно катящегося стана не ушел; цеховое начальство ушатывало: «Надо, Анатолий, остаться! Вообще же нам некого вместо тебя!», да и сам он, отец, ждал от них, цеховых мастеров, жаждал именно этого — уговоров, остаться и дожить жизнь со смыслом, отведенным ему, несгораемым смыслом: здесь, в прокатном цеху, его фронт, место службы, собачья будка, пусть началось «необратимое разложение» всего (сквозь зубовое стискивание выжимал из себя: «разложение!») и окончательно завалится завод — он не способен сдать его, предать, признать, что все его и дедовы усилия растратятся бесследно спустя полвека каторги, страды и литургии. И еще оставались на заводе такие же, и оставалось лишь удивиться той сверхъестественной покорности, с которой тысячи железных перемалывали, перемогали собственное знание, что эта адова работа не принесет им ничего, даже грошей прожиточного подаяния, — будто отдельно от своих машин никто из них не мог существовать, будто сама идея бунта против безысходности не могла зародиться вот в этих мозгах вообще.

Саша все понимал: не чужой — среди этих железных родился.

И про бунт понимал, знал предание об аномальном могутовском бунте 1963 года — что бывает, когда эту вот терпеливую, непроницаемую корневую породу наконец довести до плавления, когда в этих дремучих черепах начинает крушиться вера в собственный смысл — понимание, зачем они, кто они. Саша мало что знал о случившемся задолго до рождения его, мало что — от дымящейся правды, в чистом виде, с клеймом «стоцентная правда», вот отец никогда ничего не рассказывал, всем свидетелям вырвали в тот еще год языки; все убийцы и самоубийцы, все трупы того, больше чем невозможного, бунта были сброшены в шахты и засыпаны

известью, все следы на земле — перепаханы, забетонированы; усмиренный, задавленный — танками! — город без истечения срока давности накрыт свинцовой крышкой и наглухо запаян изнутри, ничего не узнала страна — то, чего быть не может, то, во что все равно не поверила бы: гегемоны Могутова, мозг от костного мозга рабочего класса, поднялись на свою мать родную — советскую власть.

Началось, по преданию, с чего? Перестали давать, завозить в металлургическую крепость СССР парное мясо, исчезли масло, молоко, все, кроме хлеба, и какой-то сановный ублюдок, привыкший выходить к чернолицему и мозолистурукому быдлу без палки, вколотил им, железным, со своей высоты, с кумачовой трибуны: «пирожки жрите с ливером вон, если мяса вам хочется», «я скажу, что и сколько вы будете жрать». И стальные вскипели: это им, на которых все держится, это им, из которых получают самые крепкие гвозди?

Саша думал порой, что сейчас много хуже, чем было тогда, унижительней и беспросветней. И все оставшиеся на заводе восемьдесят тысяч смотрят на него: наверху теперь он, он решает теперь, как они будут жить. Динозавр-завод подышал, просто слишком большой, чтобы вымерзнуть сразу. Прибыль? Прибыль была. Не одноклеточным он был, чтобы из такой машины общей площадью с пол-Бельгии не выжать прибыли в эпоху, когда взломаны, сокрушены поднявшейся водой все плотины и люди ввысь уходят, как ракета с Байконура, тронулось все, растопленный ледник СССР; все содержимое глубинных русских недр безостановочно ползло составами на Запад — Памиры, Джомолунгмы, Эвересты алюминия, электролитного ванадия, легированной стали...

Саша выстроил схему и гнал через пару прокладок тонны слябов в Германию,

Турцию, Польшу, и маржа со стальных эшелонов достигала и ста, и трехсот сумасшедших процентов (а когда-то с тоской дожидался он распределения на родной людоедский завод и вертел головой в кресле старшего экономиста: куда бы сбежать из тюрьмы исполинских размеров — в насекомые кооперативы!.. пока не прорубило: он уже сидит в нужном сверхтяжелом ракетоносителе, в мозге всенароднопостроенной ленинско-сталинской и теперь — на мгновение первого и последнего шанса — ничейной машины, можно взять ее всю, навсегда — одному!). Только вот без посредников не обходилось: текли его, Чугуева, стальные ручейки и денежные речки сквозь плотины, системы очистных сооружений двух столичных банков — «Финвал-инвеста» и «Империаала», не говоря уже о терминалах, взятых в собственность подростками ублюдками внешторговских князей или гэбистских генералов: этим в правительстве легко подписывали все — по части исключительных прав экспорта через четыре государственные границы, так что ему, хозяину огромного завода, тут оставалось только бегать низкопородной приبلудной собакой вдоль колючей проволоки и предлагать могутовскую сталь за полцены: «Возьмите! Купите?!» — корежила необходимость каждый раз делиться половиной(!) своих сливок со всеми этими царьками стивидоров, с кровососущими «Империаалом» и «Финвалом», в которых он, Чугуев, и кредитовался.

Не понимал он разве, хомо сапиенс, что хватит трети выжимаемой им прибыли, чтоб смазать все могутовские заржавевшие, остановившиеся рычаги и шестерни, чтоб оросить живой наличностью существование голодающих железных, но даже этой трети не было в руках. Потому что не кинешь переделъную сталь за треть лондонской мировой, справедливой цены — и затворы плотин, терминалов

опустятся для тебя навсегда, сдохнешь вместе с заводом! «Финвал-инвест» дает кредит под сорок годовых в валюте! И бандиты — все эти бывшие боксеры и коронованные на сибирских зонах уркаганы — подъезжали со скучной неотвратимостью снега и паводка, брали Сашу за ворот, притягивали, звероподобно вглядываясь в него из-под отсутствующих лбов и низких челок и обдавая бешеным дыханием, и замахивались! Так что руки хозяина самого страшного по размеру в Евразии сталелитейного монстра сами собой взлетали к темени, к лицу, к ощущению удара тяжелой железкой по черепу. И с обессиливающим скрутом в животе, с каким-то девственничским, заячьим дрожанием в паху, с чугунной тяжестью, скопившейся вот почемуто в области крестца, он, автократор комбината, вздрагивал от крика: «Ты че, сука, не понял?! Ты за кого нас принимаешь?! В день по проценту счетчик, знаешь наши правила. На Новый год отдашь со всем накрутом. А нет, гондон, — по кругу будем паялить! Ты чего ждешь?! Чего ты — „понимаете“? Я понимаю, б..., когда я вынимаю! Мне положить, куда ты что вложил и что тебе там на границе перекрыли».

Поставленный на подоконник, парапет, на виселичной табуретке, Саша извивался: вас слишком много, я один, ты пойми, я работать могу только с кем-то одним, так что вы там сперва между собой порешайте. И бандиты решали: по пустырям, заброшенным промзонам, по ресторанам «Русский лес», «Венеция», «Аркадия» стучали с бешеной, швейной частотой АКМы; приобретенные на распродажах в воинских частях, опорожнялись тубусы складных гранатометов и полыхали развороченные джипы пацанов — могло задеть, и Певзнер Игорь Соломонович не выдержал — начальник планового отдела комбината, с которым он,

Чугуев, вместе, напололам акционировал завод, — продал Чугуеву за бесценку свою долю и улетел за горизонт в здоровое и сытое небытие швейцарского кантона. А он, Чугуев, ловко и увертливо продлевал свою жизнь — свою власть над терявшим плавучесть заводом, поскольку выпустить ее из рук для него означало стать космической пылью, абсолютным ничем, и никакой другой, обыкновенной смерти — от свинорезки в брюхо — не существовало.

4

— Слушай сюда, второй сталеплавильный! Чтоб после смены в «Металлурга» все как штык! — клич по цехам проносится сквозь гул. — Там в первый, в первый ККЦ ребятам передайте.

— Слышь там, на переднем краю обороны, — собрание в пол-восьмого, собственники, поняли?!

— А что такое там опять без объявления? Чего опять правление мутит? Семеро с ложкой эти наши, а?

Кран-великан над головами вопрошающих проносит в пятиэтажной высоте контейнер, полный стального хлама передельного, — дно разверзается, и ломанно-перекорезанные кости производства мгновенной осыпью срываются в конвертерную глотку.

— Так известно чего: было семеро — теперь еще восьмого позовут. Еще бандоса нового в правление.

— Были двугорбые — теперь какие будем?

Чугунный ковш ползет по рельсам неостановимо и, поравнявшись с печью, медленно крениться начинает, как в Судный день над головами грешного народа, — парад планет на расстоянии протянутой руки; в самой башке твоей вот, кажется, встает переполняющее солнце чугуна — и, повинаясь тяготению, выливается в жрущую масть конвертерной печи. Весь конвертер гудит, раскаленный форсажем, как реактивный истребитель при отрыве. Кислородный поток выдувает из сопел ключья желтого пламени, и расплавленный воздух дрожит, истекая беспримесным ужасом.

— По поводу чего собрание, не слышали? Вот чего нас так вдруг сверхурочно?

— То, то! Дождались, про что вам говорил!.. Хуже, хуже банкротства! Прилетели к нам грачи — пидорасы-москвичи. Комбинат теперь их, и мы все теперь ихние.

— Да откуда такое?!

— Из надежных источников, приближенных к верхам... А Кристинка-бухгалтерша по секрету на ушко шепнула. Ну а кто у начальства со стола не слезает? Это ж уши-локаторы. Все ж при ней меж собой решают.

И шагают, лавиной катятся — толком так и не смывшие въевшейся угольной пыли и копоты — вот так все и идут с подведенными, словно у баб для соблазна, глазами. Весь Дворец металлурга гудит, все подходы забиты, вся площадь: вон молодняк Валеркиной бригады скалит зубы, вон ветераны славы трудовой — в чистых синих спецовках сатиновых, обомшелые, полуседые, с последней жидкой прядкой на голых черепах, встающей на ветру казачьим оселедцем, — насупленно-угрюмые одни, с ухмылкой недоброго предчувствия другие, вон среди них Чугуев-

старший с широкоскулой каменной мордой и ртом, пробитым словно штыковой лопатой.

— Это что же выходит? Что ли наши нас продали, москвичам — комбинат?

— Ну а что, для того и сосали из нас эти акции: «Продавайте давайте правлению».

— Вот своих теперь продали, суки!

— У них нету своих! Только брюхо их собственное!

— Трудовой человек для них мусор. Шлак, который из домны сливают.

— Все, пропал комбинат. С молотка нас теперь москвичи.

— О, о, о!.. Поглядите, выходят, — поднимается гул, уплотняется воздух, прет тугой стеной от рабочей несметы навстречу появившимся членам правления. Первым тащится будто не собственной силой председатель Совета могутовских директоров жирномясо-одышливый Буров, не вертя и не двигая будто не собственной, пересаженной и не прижившейся, наново скверно пришитой ему головой, отрывая с усилием ступни, продвигаясь как будто по разъезженной глине к оставшейся от Первوماев кумачовой трибуне. Следом Саша Чугуев — вот кто все решает, все давно уже поняли на комбинате до последнего чернокотельщика, — молодой и стремительный, гладкий, лощеный, из рекламы про брокеров: галстук, костюм, льдинки тонких очков, телефон портативный с антенной... Ну и свита за ним — Кузьмичев и Люцилин, Васнецов и Остапенко, все. Что-то сделалось с ними, заболели одной на всех, им самим до конца не понятной болезнью, только ясно: само не пройдет, неизвестно чем ле чится, есть ли вот такая вакцина вообще. Морды, морды кривились от необходимости что-то противное, нестерпимо вонючее

вот сейчас проглотить, пересилиться, выпить и все-таки вылечиться, всплыть и вынырнуть из-под льдов с разеваемым на полную ртом. И стоял Буров скорбно, как будто над невидимым гробом с дорогим человеком: не найти такие слова, чтобы высказать... и — как молния преобразила ударом его — сделал шаг и возвысился над рабочей массой один:

— Товарищи, ребята, мужики...

— Заговорил — «товарищи», — в ответ ему прислали по рядам. — Вчера-то господами вроде были.

— Могутовцы! — Настроил голос так, чтоб все увидели у него на лице заигравшие отблески первых мартеновских алтарей комбината. — Мы вас сейчас собрали здесь, чтоб объявить: враждебные тучи сгустились над нашим заводом... Все было как: одной половиной акций до сегодняшнего дня владело государство, второй половиной — мы, правление и рабочий коллектив. И вот те акции, которые принадлежали государству... сорок девять процентов... вот их правительство решило продавать с аукциона... — и сморщился от нестерпимой ненависти, — передает их частному инвестору. Московскому коммерческому банку, «Финвал-инвест» такому, понимаете? В обход нас с вами, сталеваров, не ставя нас в известность вообще! Это Чубайс, — назвал им зло по имени. — Между собой решили все в кремлевских кулуарах. И значит, что? Чья власть теперь на комбинате? Кто будет все решения принимать, от которых зависит, будет жить наш завод или нет? Это мы будем с вами? Или эти вот новые... с горы станут прибыль выкачивать в личный карман? Захотят вообще наш завод распилить и продать по частям? Вот чтобы все, что было в муках, в кровавых корчах родовых построено, пошло бы

прахом и бурьяном заросло? Наша гордость! Наша память о дедах! Вот на какие нам тяжелые вопросы предстоит ответить! И вот сейчас нам Александр Анатольевич конкретно растолкует...

И настоящий собственник, держатель рабочих акций, жизней — к микрофону. Скривился так, как будто бы слепило его какое-то болезненное для застекленных глаз мигание сварочного света, но пересилился и, глянув куда-то поверх всех рабочих голов, заговорил с подрагивающим напором:

— Эта сделка по акциям нашего с вами завода, она уже заключена, тут все железно по закону. Но то, что надо с самого начала понимать: они пока еще тут не хозяева, пока еще хозяева мы с вами. По акциям мы с вами имеем большинство: у нас, правления, сорок шесть процентов, и у вас, рабочих, на руках пока что остается пять процентов. Вроде, совсем смешная цифра, но решающая. Если мы вместе с вами сложимся и будем голосовать по всем вопросам заодно. Сейчас вот эти москвичи приедут и будут вас просто ушатывать, чтоб вы им продали свои вот эти акции. Хорошие вам деньги будут предлагать — по меркам вашей нищеты сегодняшней хорошие. А по сути копейки. Вам заплатят копейки, а сами тогда продадут наш завод за десятки, за сотни миллионов какому-то иностранному собственнику. Они этим, банкиры, живут — покупают завод за копейки, а потом продают его за настоящую стоимость. Про нас вам будут говорить, что это мы угробили завод, что мозгов у нас нет, а они вот пришли — и на головы ваши прольется просто манна небесная. Ну а сами тайком будут с нами, со мной вот лично торговаться за акции. Лично мне миллион, в мой карман. Я могу и продать, понимаете? Вас продать, как крестьян крепостных, барин — новому барину! И они

тогда будут иметь вас и делать с вами, что захотят! Увольнять и с завода выбрасывать тыщами! Тоже все по закону. Ну а я получу от них столько, что хватит и детям, и внукам на красивую жизнь. Улечу на Багамы, в Америку! Но я так не хочу! Не хочу, не могу вас продать, зная, что отдаю свой завод им фактически на разграбление! Но и вас попрошу тоже не продавать — ведь от вас тут, от вас все зависит! Если каждый из вас принесет им в зубах десять штук своих акций, то тогда на заводе хозяева будут они. Завод сейчас в тяжелом положении. У вас к нам накопились, мягко говоря, претензии. Мы понимаем, отдаем отчет, что мы во многом не оправдали вашего доверия. Не имели возможности вовремя вам выплачивать зарплаты за ваш честный труд. Не наладили должных отношений со смежниками. Но чтоб родной завод заведомо банкротить и без работы целый город оставлять — такого у нас в мыслях не было! Я ж ведь лично не с боку припека. Я родился вот тут. Вы все знаете... — И вернул то, что мог обратить себе перед рабочей массой на пользу, поглядел людям в лица с некрасивым, позорным подражанием теплу: мы одной с вами крови: — У меня на заводе работают старший брат и отец. Честно, многие годы у прокатного стана, вы тут все его знаете. Кто такие Чугуевы, зна... ете... — и споткнулся, нечаянно найдя среди лиц, провалился в отцовский чугуевский взгляд и, не скрыв неудобства, откачнулся, отпрянул от обдавшей его отчуждающей силы родного, мерзлоты неприятия, кроме которой ничего не осталось для сына в глазах у отца — даже горькой усмешки: вона как ты запел, зашаталось как только у тебя под ногами. Про отца сразу вспомнил, про брата. Узнал, сынок, теперь, с какой болью врезается в кадык неправота? Худо стало тебе? А как нам ты?.. Совладал с оборвавшимся, детски дрогнувшим голосом и нажал опять с мобилизующим пылом: — А они тут

чужие! Наша земля для них чужая! Так что мы в одной лодке теперь. Из одного только инстинкта самосохранения должны во всем держаться вместе против пришлых! Акций не отдавать! Я даже знаю, больше чем уверен, что по-другому просто вы не сможете! Спасибо за внимание вам и понимание... — И не мигал уже, не морщился, не отводил трусливые, болящие глаза — вымогающе вглядывался в обожженно-немые рабочие лики, нажимал, выжимал солидарность из динасовых огнеупорных закопченных, седых кирпичей и действительно верил в то, что говорил, что его еще могут железные люди услышать, да и даже не верил, а просто другого ему не осталось, уже только и вправду инстинкт разжимал ему челюсти и толкал из него: «Помогите!»

Рабочая орда качнулась, забурлила, заброшенные сверху реактивы переваривая: «Вот, значит, снова стали мы нужны, рабочие», «Никак у них без наших акций не выходит», «От нашей воли все зависит, поняли? В кои-то веки все от нашей воли!». «Завод, завод под нож!» — устойчиво гудело в самой глубине. «Так че мы, как мы? С акциями что?» — «А сам подумай что! Без вариантов!» — «Без вариантов за правление, за Чугуева!» — ярился на предельных оборотах и разгонял волну усердствующий Степка. «А за Сашку Чугуева что? Сосали кровь из нас — и мы теперь за них?! Ведь ни во грош не ставил нас Сашок! Он, Сашка, что теперь — Чугуев я, Чугуев, из тех Чугуевых вот самых, заводских, вам всем тут брат, давайте, мужики... Да за свою мощну вот только и трясется! Что от кормушки за уши оттащат эти новые. Он понятно за что, ну а мы? За него?! За коттеджи их в три этажа вон в Нахаловке? Пускай почует, каково, как с комбината их под зад коленом!» — «Вот ты чудак на букву „эм“! Под москвичей ложиться предлагаешь?! Чтоб к чертям

поувольняли до единого?! Чтоб по кирпичику завод растеребили?! Под москвичами вообще не жизнь!» — «А что там Жорка Егзарьян молчит? Пусть коллективу скажет, что он там мозгует!» И оборачиваются все к «экономически подкованному» — седой, заслуженный старик с мясистым шнобелем на перекрестье взглядов голос пробует:

— А что тут скажешь, мужики? Тут Сашка прав. Вот этот наш довесок акций, он решающий: на чьи весы — того и верх. Правление наше — тот еще подарочек, вор на воре, давно уж это поняли. Рабочим — крохи с барского стола, чтоб не загнулись только с голодухи. Но те, которые приходят, москвичи, — это ж вообще чубайсовское племя. Чубайс все это и затеял, рыжий... прихватизацию очередную, чтобы заводы окончательно по всей России развалить, американской колонией нас сделать. Они ж долги искусственно специально создают. И глазом не моргнешь, как скажут, что надо срочно половину рабочей силы с комбината увольнять. Для них же главные издержки — это люди. И если есть у нас какая-то возможность по закону не дать клешни им запустить на комбинат, то надо пользоваться ею, как господин Чугуев говорит.

И все, пошла реакция плавления, соединения в единовздошный монолит: «Пусть только сунутся — ногами вперед вынесем!», «Все за Чугуева тогда уж, за Чугуева!», «Слышь, Сашка, радуйся — тебе поддержка полная!».

ударить, чтобы не слышать явственного тиканья адской машинки, подведенной под него.

Как покатилаь от Москвы к Уральскому хребту та еще первая волна приватизации, он уже знал, Чугуев, с хищной радостью, что делать. Сто тысяч заводских аборигенов в едином инстинктивно-охранительном порыве обменяли свои ваучеры-фантики на акции родного комбината — вложились в свое, в знакомые до заусенцев валки и арматуры непрерывного качения. «Трудовой коллектив» был объявлен держателем контрольного пакета ОАО в равных долях не с кем-нибудь, а с абсолютной силой государства, которое за заводом каждое мгновение по-отечески следит; Чугуев прилепил к рукам всего-то три процента и начал планомерно, методом «катка и пылесоса» вынимать у железных рассеянные по комодам и тумбочкам, по шкатулкам и вазочкам в старых советских сервантах напечатанные на Гознаке фиолетовые сертификаты на акции: учрежденный им «Могутовский металл» по копейке за тонну покупал у завода холодный прокат и двухтонные слябы и сдавал перекупщикам на границе уже по рублю; официально прибыль комбината составляла 0,0000001, из самого понятия «зарплата» выпарился смысл, животы прилипали к хребтам, и голодным вколачивалось: есть возможность нажраться — продать ваши акции, мы уж ими, правление, распорядимся, все равно, так и так на заводе останутся, все равно государство держит в сейфах Центрального банка половину другую могутовских акций — если что, всех спасет в половодье добрым дедом Мазаем. И рабочие верили.

Вот уж в чем была правда: государство держало 49 %. Знал, откуда ударит, но когда, как отбиться, как выстроить линию Мажино, Маннергейма — это вне

разумения. И взорвалось в Кремле намного раньше, чем задрожала тут под ним, в Могутове, земля. Он еще мнил себя единоличным, навсегдашним хозяином металлургического города, а сжатая предельно во времени цепная реакция все более рослых взрывов неслышно разбегалась от Кремля, корчуга, выворачивая кресла директоров и председателей советов акционерных обществ высшего порядка из земли. Мир сократился под нажимом каменной породы — Саша почувствовал себя придавленным жуком, горняком, похороненным заживо взрывом в забое: неделимая доля секунды — и гранитом расплющит грудину.

И ведь кто-то вот этой силой «там», «из Москвы» управлял, изворотливый чей-то рассудок придумал этот план «Барбаросса», беспримерный по голой, топорной своей простоте и бесстыдству. Говорили — Угланов, из Москвы докатилось легендой до Саши — Угланов. Саша с ним общался по кредитным и прачечным нуждам все время («Финвал-Инвестбанк»), не с самим человеком, которого он ни разу не видел, а с явлением «Угланов». Дано: Кремль кровно нуждается в орошении пустой федеральной кормушки — нефть идет по семь долларов страшных за баррель, пятьдесят миллионов голов застонали от Хабаровска до Кенигсберга: дайте пенсии, дайте зарплаты. «Эти деньги есть только у нас, — втемяшивал Угланов Мише-Боре-Славе, чудовищам российского финансового капитала. — Немедленно, вчера срастись в конгломерат и предложить Кремлю спасительный кредит, затребовав в обеспечение долга акции российского „всего“.

Смотри, мы создадим иллюзию, что Кремль сможет через год обратно эти недра получить или реальную их стоимость. Мы скажем: в случае невозврата мы выставяем эти вот бумажки на торги, только о времени и месте этих распродаж

будем знать только мы, „больше всех“ сможем дать только мы». Акционировали одну шестую суши — бесплатно: кредит Кремлю давали его же собственными деньгами, «долг — в долг»: давно уже закачанный Минфином в их ходорковские, углановские банки миллиард — на прямые субсидии тонущим и затонувшим машинам Красноярска, Тагила, Норильска, Могутова — Угланов разворачивал на скупку русских недр и заводов, чтоб с беззастенчивостью первого миссионера, обожествленного туземцами за солнечные зайчики и порох, не потратить на всем протяжении залоговых этих глистов ни рубля.

С первых дней своей власти в Могутове он, Чугуев, повел половину расчетов через этот всеильный, надкремлевский «Финвал»: Угланов дал ему надежные каналы в панамские и лихтенштейнские офшоры, головоломную структуру очистных сооружений, ведущую в глубинные налоговые бункеры. У Саши, проследившего впервые движение сотен тысяч своих долларов от импортера через Тихий океан на острова, враз наступило прекращение электрической активности — при первой же примерочной потуге вообразить себе надмировую систему ирригации, по отводящим желобам, по рекам кабелей которой Угланов гнал, распределял и сепарировал чужие миллионы как свои: артериальные, аортные потоки делились на несметь вливающих капиллярных ручейков, и нитяные ручейки неуследимо разбегались, чтобы всего через каких-то пару «банковских часов» со световой скоростью собраться в нужном месте, и вот теперь вся эта денежная масса была повернута группой армий «Центр» на Могутов. Еще не ожили отбитые аукционным молотком у Саши перепонки, как раскаленный факс в приемной испустил приказно-похоронное, без знаков препинания, предписание начать переговоры о продаже принадлежащего Чугуеву

пакета — семь(!) миллионов долларов за третью по размеру в мире сталелитейную машину оценочной стоимостью в вечные, арктические триста миллионов! Не дали голоса, руки, а факсовым плевком: тебя здесь нет, тебя склевала бешеная курица.

Чугуев вскинулся с безмозгло полыхнувшим в нем «подавитесь!» и обвалился в кресло сразу от подступающих со всех сторон подкашивающих известий: поставщики застопорили намертво отгрузки коксовых сортов на комбинат, все как один ссылаясь на шахтерские восстания, — через неделю комбинат зачоченеет, через две его убытки разрастутся в миллиард... и через дление кратчайшее Чугуева пробила упавшая на темя бандероль: счета, транзакции, налоговые схемы, все на него, Чугуева, количеством страниц грозящее перерасти в надгробие лишения свободы. И под библейской пачкой запросов в Генпрокуратуру — роскошно иллюстрированный рекламный каталог «Элитный ритуал»: гробы из ценных пород дерева, гранитные и мраморные статуи и плиты... По всей стране погашенные, стертые директора промышленных циклопов, получив вот такую посылку от новых хозяев своего бытия, хватались за ребра над сердцем и клешнями скребли по столешнице, смертно на шаривая в ледяной пустоте валидол и коньячные рюмки. И защиты искать было не у кого — это, наоборот, у Угланова были партнеры по теннису, вот тот самый, который самый главный в России по теннису, — «сам». Пока живой, — проскакивало искрой в башке, — продать похорошему им свой контрольный, поторговаться с ним, Углановым, и вымучить не унижительные, нищенские семь, а соразмерные себе, Чугуеву, хотя бы пятьдесят, хотя бы тридцать, двадцать миллионов, взять что дают, пока дают, и уползти непокаленным, как Певзнер, перелететь в приватную вселенную, беленый дом средь апельсиновых

деревьев на Ривьере. И кипятком окатывали мозг и сердце изнутри и затопляли его, Сашу, бешенство и злоба: он не способен сдать то, что его, Чугуева, делает большим, он не может простить и смириться с понижением своим до ничтожества.

Большинство голосующих акций — за ним, с пятью процентами в руках могутовских железных он может бить, ответить, возразить. Вот последнее, что остается, Саша сделает — поставит на этих вот дремучих, низколобых, им обмишуренных, обобранных, объединенных. Боялся, что железные просто посмотрят на него, как на сплавляемого к устью подо льдом утопленника: да сдохни, туда и дорога. Но положился все-таки на «душу», самосознание могутовской породы. И не ошибся — сразу же подперла его сила: он, Саша, был для них, железных, злом привычным и понятным, а вот неведомый углановский «Финвал» — пришельцами «оттуда», в мохнатых щупальцах, антеннах и шипах. Надо было лишь верно расставить акценты, и Чугуев расставил — в мозг рабочему пару увесистых, крепких гвоздей... и посмотрим, как теперь запоешь ты, Угланов, воткнувшись и застряв во внезапном понимании: живая стена, надо ехать вперед по живому, не по мелким костям одиночек — по рабочей несмети, ревушей так, что слышно в Кремле и Женевском суде по правам человека. Чугуева ты можешь смолоть и прожевать, порвать прокуратурой и УБЭПом, попробуй-ка с живой силой совладать, когда она из берегов выходит — за Чугуева!

— Да ты чего, Валерочка? Да разве ж такую машину закроешь? Это ж такое

будет вообще, чего ни умом, ничем не понять... — Жена Валерке в ухо шепчет в темноте, и волна за волной под тугой ее кожей прокатывается, и вот рад он, Валерка, что она ожила, из инерции существования вырвавшись, словно из барабана стиральной машины, ожила, пусть и страх перед завтрашним днем, обещание развала, нищеты уже полной так Натаху встряхнули — вот все лучше, чем вовсе отсутствие воздуха хоть каких перемен, хоть в какую-то сторону.

— Все едины — угробят завод москвичи. И наш Сашка с трибуны об этом, да и все мужики так меркуют.

— Ну а их-то кто видел, москвичей этих самых?

— Посмотреть больно хочешь?

— Ну а что они скажут? Может, это они на завод, инвестиции? Наоборот, завод чтоб с мертвой точки сдвинуть?

— Вот где мертвая точка у нас, — в лоб ей пальцем — стук-стук. — Мерзлота и целинные земли у нас в голове.

— Да иди ты, профессор! Сам силен, посмотрю, был по жизни мозгами раскидывать.

— Да тут мозгом не надо вообще никаким!.. это детям известно, что в дома на Канарах у них все инвестиции. Подчистую съедают все, что можно продать, и на головы срут нам, а мы обтекаем. «Инвестиции» — тоже мне, знает слова. Так что надо их выдавить с комбината хоть как.

— Это кто же выдавливать будет?

— А вот все как один, всем заводом. У нас ведь с тобой акции, собственница! И у бати есть акции, у Мишани, у Степки, у многих еще. Вот с правлением скинемся в

общий котел, и у нас против них, москвичей, большинство.

— Это значит, теперь ты за Сашку? Брат за брата, ага?

— Голос крови, скажи еще! Это при чем? Мы, Чугуевы, — мошки, когда речь о заводе. Его дед мой горбом, по кирпичику строил. А они — все прожрать? Хер им в чавку за это, а не акции наши!

— Ой, Валерочка, способ найдут, как им все ваши акции в пыль.

— К проходной пусть сперва подойдут. Мы и брифинг им там, и консенсус! — Руку в локте согнул и ладонью по сгибу. — Надо будет — задавим физически.

— Это как?! А закон? — Отлепилась щекой от груди, полыхнули кошачьи глаза в темноте. — А с милицией вас?

— Тут дивизией танковой надо. Задавим!

— Что ж ты такое говоришь, Валерочка?! Это ж подсудное ведь дело!

— Это когда один, тогда оно подсудное. А когда все — народное восстание. И не власть уже судит, а мы ее, власть, раз она теперь, власть, вот над нами такая.

— Только это, Валерочка... ты не очень там, ладно? Чтоб не в первых рядах.

— Это как я? А где?

— Да действительно, господи, — я ведь с кем говорю! Обрадовался, да?! Кулаки зачесались? Есть теперь разгуляться где, да?! Ты смотри у меня! Слышишь, нет?! — Кулачком его в ребра пихает — хоть на сколь-нибудь глыбу вот эту подвинуть, тягу сбить в нем, Валерке, на зряшные подвиги.

— Что смотри-то, чего?

— Чтобы я без тебя не осталась — «чего»!

И опять к нему льнет, ищет губы, глаза, своим телом связать его хочет,

придавить, не пустить воевать, и ее, не стерпев, опрокидывает и звереет над ней, подминая, — от ее жадной силы телесной, от ее звонкой крови, что под кожей бьется, толкаясь в него: прорываются будто под руками незримые русла, брызжет сок, что их склеивает так, что не разорвать, — это с мясом придется, и она ему в ухо — в кратчайшее дление их предельной сродненности — с непонятной, новой, подгоняющей жадностью: «до конца... разрешаю...» — вот какие права ему и свободы дарованы, вот его, значит, чем привязать к себе хочет, вот какой самой сильной и самой простой связью-завязью в чреве, ну а если и эта порвется, то тогда уж и вправду, значит, света конец.

Ждали-ждали, готовились — все равно как на голову снег, сходом селя, Мамаем, в полвосьмого утра в понедельник. Рассекли город надвое плугом мгновенным, ломовым многосильным пролетом вороных вездеходов: тут таких и не видели — высоченных, подъятых на огромных колесах, ростом чуть не с БелАЗ, лакированных, сыто лоснящихся, с наварными таранными рамами, в каждой мелочи облика американских... прямиком на завод по натянутой хорде моста над Уралом.

Волочились Валерка с отцом по извечному руслу в составе многоногой ползучей могутовской силы, что втекала в ворота второй проходной, и вот тут загудели им в спины в спокойной уверенности, что расступятся все и отхлынут к обочинам, и почудилось каждому в лаве, в реке, что качнуло тебя, потянуло с дороги и стоишь на коленях, пропуская вот эти стальные вороные куски и колючие злые мигалки: все равно не заметят и проедут вперед, раздавив, и качнулась внутри и плеснулась Чугуеву в голову злоба, руки сами собой налились раскаляющим зудом и свелись в кулаки... «Ну, видали теперь? За людей не считают!» — проскрипел за спиной у Чугуевых Степка, но пока только молча — что ли от неожиданности? — провожали глазами текущие свои отражения на зеркальных боках проплывающих джипов: не давали им эти бока, затемненные стекла ни секундной задержки их рабочего облика, не впускали, не видели. Поднимая метель из березовой палой

листвы, ломанулись прочерченным резко маршрутом к трехэтажному белому дому правления.

Распахнулись все разом, как крылья, вороненые дверцы — волкодавы, бычье, скорохваты поднялись, озираясь рывками, в президентскую службу охраны играя всерьез: «пятый, пятый, ответьте второму», открывая хозяевам дверцы, прикрывая их спинами — поднимавшихся с задних сидений лысолобых, лощеных, сверкающих золотыми очками, часами из-под снежных манжет, тонколицых, с одной усмешкой на всех — неподвижного знания: будет все так, как скажут они.

— Деловые! Здраваться надо вообще! — Степа в спину пришельцам кричит. — Когда входят, стучатся вообще-то, перед тем как зайти. Или что, мы стеклянные? Че ты лыбишься, лысый?! Да тебе я, тебе! — Это длинному он, с головой лобастой плешивой, — морда прям как у фрица в 41-м на марше. — Что, не терпится к креслу примериться, лысый? Только кресло вот это на наших плечах, на горбах наших, понял?!

И у Валерки челюсти сами собой расцепляются:

— Жарко тут, как в аду, — вошебойка! Все бациллы московские дохнут на нас!

И рвануло — улюлюканье, гогот, свист и гул прут стеной от рабочей толпы, только те-то, пришельцы, как шли, так и дальше шагают, не вздрагивая от ударов воздушных, от гогота. С нерушимой улыбочкой этой своей — на крыльцо и под вывеской скрылись, лишь охрана осталась одна у дверей мертвоглазая.

— Когда уголь дадут нам, который зажилили, — вот бы это спросить у господ, — выдает кто-то из стариков. — Не зашли на завод и уже ползавода угробили! Ледниковый период по цехам — это как?!

— Что, и уголь они нам?

— А ты думал как? Все заточено на истребление, — подтверждает всем Степка. — Знают, суки, что мы от угля, как от хлеба, зависим! В чистом виде блокада!

— Может, прямо сейчас из правления выкинем гадов? — Кровь в Валерке гудит, распирает, бьется в стиснутых пальцах, в висках тупиково.

— А вот выйдут пускай и ответят, что они там решили с нашим Сашкой в верхах. Что, и дальше продолжают морозить завод или как? — Егзарьян приговор свой выносит.

— Не расходимся, слышь, мужики, не расходимся! — над толпой Степа голос возвышает до срыва. — Не предъявим сейчас наше право — завтра нас и не спросит никто!

2

Голосил, заливался в припадке на столе телефон, секретарша Раиса грызуном пропищала по громкой: «Алексананатолич, тут к вам... из Москвы». Слабой, слизистой плотью, выскребаемой из раковины, влип Чугуев в высокое тронное кресло и бессмысленно слушал, вбирал нарастающий грохот шагов выдворяющих... дверь взрывом распахнулась и вошли, как в аварийное, дизентерийное, разбомбленное помещение, трое.

— Шаги командора, Сашок, принимай, — тот из трех, кто был Сашей узнан, — Ермолов, с длинной, чуть лошадиной иностранноарийской мордой, двинул стул к

гендиректорской перекладине «Т» и подсел, навалившись на локти. — Ты что, Сашок, за митинг нам устроил? — Разглядывал с глумливой укоризной, примечая в чугуевском смятом лице то же, что и во всех лицах уничтожаемых, — усилия скрыть дрожь. — Ну-ну, понимаю, играешь рабочую карту. Создать нам обстановку нетерпимости. Твое вот это стадо, допустим, встанет грудью. Только где же тут ты, дурачок? Ты посылку мою получил? Читать вообще умеешь? Это даже не вилы — это нет тебя больше вообще. Давай сдавай нам скипетр с державой, бери в зубы сколько ты стоишь — и сгинул, исчез. Семь миллионов, оно лучше, согласишься, чем десять лет лишения свободы.

— Завтра, — усилился морозным тоном отчеканить, — мы проведем по вашему вопросу собрание акционеров, вот тех самых, которых вы под окнами счастье имеете видеть. — Да почему же сразу голос у него срывается на какой-то щенячий раздавленный писк? Перед этим Ермоловым, правой или левой рукой углановской, чутким носом, клыками, языком для общения с низшими, третьим или четвертым человеком в «Финвале»? — Большинством голосующих акций утверждаем эмиссию и размываем твою долю до нуля.

— Тю! — Ермолов с состраданием разглядывал знакомые повороты хорошо изученной болезни, известные науке проявления активности предсмертной. — Нет у тебя, Чугуев, никакого завтра, не говоря уже о том, что все твои эмиссии — чистейший онанизм. Слив фантиков себе же самому по доллару за тонну — с понтом размещение, — да в эти игры нынче даже самые старперы не играют, которые еще Брежнева застали молодым. Мы это в Высшем арбитражном оспорим за минуту... Да, кстати, я что, вас еще не представил? — оглянувшись испуганно на

подчиненно молчащих своих. — Алексей Николаич Костенко, первый зампредседателя УФС по Уральскому округу. Ну а это полковник Ахметьев, УБЭП. Будешь плохо вести себя, Саша, — дядя Слава тебя заберет. Потроха твои вынет из сейфа сейчас, и перешьем учредилку на дядю Борю из четвертого подъезда. Или чего, под доверителя пакетик свой увел, сидишь теперь и радуешься, да? Ну ниче, нарисуем арест тебе задним числом... — Уморился и от страшной тоски простонал: — Что ж тугой ты такой? Мы чего, твою хату родную сожгли с ребятней и старушкой-матерью, чтобы ты на нас с вилами? Забирай свой кусок по размеру ротка и живи. И спасибо скажи, что повадки у нас не бандитские. Что пыхтишь еще благодаря нашей элементарной безгливости.

— Что-то слишком ты, слишком меня уговариваешь. — Чугуев упирался, напрягал отсутствующие мускулы, шарил, шарил впотьмах по подмышному скользкому склону, сползая...

— Еще раз для особо понятливых: я хочу сделать все без нарывов, без воню.

— Без нарывов, ага, в виде массовых выступлений толпы с арматурными прутьями. — Только это держало Чугуева.

— Вячеслав Алексеич, придется его в изолятор, — с дежурной интонацией главного врача продиктовал Ермолов санитару. — И посмотрим, кому тебя надо, трибун ты народный, в этой самой толпе. Может, эта толпа нам сейчас аплодировать будет, в последний путь тебя, родного, провожая. — И как раз, подгадав, пароходом у него под рукой загудела «моторола» массивная. — Да!.. Ну и что?.. Вотжежматьтвоюа! — И затлелось в его немигающих ровных глазах разумение: что-то сделалось там, на земле, в сталеварном бродильном котле законном, не так; с

говорящей трубкой у уха, проворно вскочил, выбрел на этот трубочный голос к окну, повернул жалюзи, запуская вовнутрь стальной, полосующий, режущий свет комбинатского утра. — Вот порода-то, а! — С недоумением брезгливым вглядывался сквозь щели в заклокотавшую могутовскую лаву, в шевеления червей земляных, столь устойчивых к перепадам давлений и температур. — Это мозгом каким обладать надо, а? За кого лбом об стенку, бараны? Вас же этот хозяин как только не драл, с перестройки годами дерьмом вас без хлеба — и чего, за него? — Обернулся на Сашу с каким-то насилу смиряемым непониманием: — Объясни мне — вот как?! Как ты их сагитировал? Как они вообще тебя сами до сих пор еще не разорвали? Это ты им про нас — что вредители с Запада, марсиане, масоны, Пентагон нас заслал? Это ж каким дерьмом должны быть бошки набиты вот у этого народа, чтоб верить в эту большевистскую риторику о расхитителях народного добра? Что ж, вечно надо с ветряными мельницами драться и вечно, тварь, страдать не от того, что реальной причиной твоих бедствий является? Проблема же в одном хозяине конкретном. Нет, образ врага себе надо придумать, буржуев, которые во всем и виноваты — в том, что ты сам работать не умеешь и не хочешь, с молочной кухни, с мамкиной, блин, титьки!

— А ты пойди им это объясни! — Саша почуял подымавшую его, в нем распускавшуюся силу: нет, он не хрустнул, он не камушек в углановском ботинке, не своротить его, не выломать отсюда, пусть эту прочность придавала — ни за что и вопреки чугуевским «грехам» — ему сейчас могутовская масса, которая не за него стояла — за себя, но вот и за Чугуева ведь тоже.

— Чему ты радуешься, debil, чему?! — Рука Ермолова взметнулась вспугнутой

птицей — мазнуть его по морде скрюченными пальцами. — Пускай твой дом сгорит, по логике, лишь бы у нас корова сдохла? Живых людишек под бульдозер подставляешь — и не жалко?

В дверь постучали — всунулся поживший, с непримечательным лицом и стертыми о снайперский прицел глазами:

— Андрей, обложили. Не менее двух тысяч человек. Настрой агрессивный. Возможен силовой контакт. Самим с территории не выйти. Если без мокрого, тогда задавят массой.

— А если с мокрым, то на части разорвут. — Ермолов уже не присаживался, туда-сюда шагами мерил кабинет.

— Они хотят, чтоб этот ихний вышел к ним и подтвердил, что вы тут ничего не подписали. Если «гена» не с нами, — мертвоглазо кивнул на Чугуева, — нам отсюда бумажки не вынести. Не дураки — устроят шмон. Их лидеры явно уже подготовлены.

— «Тяжелых» вызывай — по стойлам пусть разгонят это стадо.

— Ну, это не сейчас, Андрюш. Сейчас бы нам самим отсюда ноги унести, без преувеличения. И разговаривать с людьми придется, мое мнение, чтоб красненьким эту промплощадку не сбрызнуть... Да и ладно бы сбрызнуть — сколько их, посмотри.

единый организм спаялся молодняк, из сотен мощных глоток, словно из одной, скандирование беспрерывно извергается: «А ну-ка давай-ка ... отсюда! Родного! Завода! Вора́м не отдадим!»

— Что требуем?! Собрания требуем! — В первых рядах Степаша лаем надрывается. — Хозяин твой, хозяин сюда чтоб вышел к нам! Чугуева, Сашку нам, Сашку сюда! Пусть подтвердит, что ничего вам не подписывал и все по документам нашим уставным осталось, как и было! И вон пошли отсюда — так не входят!

— Ну так все и должно быть, мужики! Мы просто сейчас сядем и уедем! — Начальник охраны банкирской бросает обещания жирные в рабочие разинутые глотки. — Там ничего не решено, не будет сегодня решаться вообще! Голосование, собрание — все будет!

— Чугуева, Чугуева сначала! Пусть подтвердит, что вы тут не хозяева! А если нет — замесим только так!

— Да повыкидывать их всех отсюда без порток! В Урале искупать козлов! На память!

— Про уголь, про уголь вопрос! Когда на кокс откроете, душителы?! Кокс, кокс! В природе есть такой, слыхали, металлурги?! Завод же гробите — чего, не понимаете?! Пусть уголь нам дадут сперва! Без этого вообще не будет разговора! — Кричат все те, кто чует заводские батареи как продолжение собственного существа, свои кишки, печенку, селезенку.

Только в ответ им — взрывом! — рев и грохот: грузовики армейские огромные прут в разведенные центральные ворота и с равнодушной, слепой, словно без водителей, неотвратимостью — в рабочую халву! Из-под тентов защитных картохой

заломились, посыпались, раскатились по площади топотом ног в вездеходных протекторах — туши в бронезащите, железные головы — и сомкнулись, составили жестяные корыта в напорные стены, в метростроевский щит, чтоб пойти, грохоча, молотить их, рабочих, дубинками, и отрывистый в лай в мегафон над всей площадью: «Граждане! Прошу вас сохранять порядок и выполнять все требования сотрудников милиции! Мы находимся здесь для того, чтоб пресечь незаконные действия. Не надо обострять и усугублять!»

— Я тебе сейчас так усугублю, что из земли не встанешь, мусор! — Из Валерки Чугуева рвется, как зверь, все, что внутри под ребрами копилось и не переваривалось — гнев на бессилие свое, на то, что можно человека так непрерывно, невозбранно принижать и только так и будет продолжаться, будто бы кто его с рождения, Валерку, в это бессилие, как гвоздь по шляпку, вбил.

И точно так же каждого в несмети вот это пламя-злоба прожигает — неумолимой тягой подхватывает, мгновенно начисто защитный навык убивая, и вся их тьма рабочая, качнувшись, из берегов выходит разом, общим вздохом — затрещала, враз просела стена щитов омовских под лавой, под ломовой, молотобойщицкой силой: уж тут какой ОМОН, какая жесть смешная, когда вот так, насосом сквозь тебя качают — так, что вмещаешь в свою маленькую душу всех железных, — общую кровь, вот вся она в тебе?

И, разгромленный, Валерка самым первым, будто передним, самым крупным камнем в камнепаде, в строй гуманоидов омовских врубается — кладку за кладку, уровень за уровнем бетонобойной бомбой пробивая, в белом калении свободы, в первом крике новорожденного достоинства: он есть! Жмет всею массой, за хоботы

резиновые по одному бойцов из строя вырывает, перехватив дубиночный удар, — и нет уже через мгновение никакого строя перед ним, все замешались в кашу, словно в барабане завертевшемся: где тут чужие, в панцирях и касках? Одни свои уже, рабочие, защемили его, Чугуева, в плечах и потащили... Уже крыльцо заводоуправления перед ними — и вот сейчас под общей грудью рухнут двери, и хлынут внутрь, ликует он, Валерка: победил, поставил так себя, что поперек ему не становись, но только в горле запершило вдруг, царапнуло как наждаком или зернистой теркой изнутри — дым повалил навстречу им, рабочим, все становясь тягучей, едче, злей на вдохе, встал непродышной, теснящей белой тьмой; будто набили в глотку, в грудь горячей ваты, которую не выхаркать в сгибающем и выворачивающем кашле, все от жжения злого ослепли, друг дружки не видя, — каждый ломится в этой давяльне в одиночку к отдушине, за куском, за глотком промывного проточного воздуха... и Валерка с налитыми жгучей мутью глазами — туда же... и по спинам, по ляжкам, по ладоням утопленников продавился на волю, вобрал, разодрав рот на полную, воздух, и тотчас темнотою хлестнуло его по затылку, и еще раз, еще — резиновыми разрядами, жгутами электричества, и стоит все, чугунный, не валится: в восемь рук его, в восемь дубинок охаживают, и в ответ он, в разливе совершенно звериного остервенения, наугад кулаками молотит, попадая во что-то мясное и твердое, еще больше ментов распаяя и вводя в безразличие, куда попадать, лишь бы только свалить его, бивня такого, и стоит все, стоит, не ломается, пока в башке его, последнего рабочего бойца, не полыхнет и не взорвется лютым белым электрическая лампочка и не станет Валерка вообще не в курсах, на каком он, на этом или том уже свете.

Лучше б уж кончился в отмеренных мучениях, не дожил до этих дней позора и распада, чем видеть то, что уготовано заводу, чем оставаться на агонию его. Как драчевым напильником кто-то проходилась ему по нутру, и когтистая лапка сжималась на горле при виде застывшего в лётке расплава, при виде замерших, замерзших на катках, покрывшихся неразбиваемой окалиной слябов — уже унылой череды могильных плит, а не живых, малиново светящихся первородным калением слитков, — при виде разносившихся вконец, держащихся на честном только слове осей и втулок арматуры непрерывного качения, при виде испохабленных, надтреснутых, внутри себя надломленных валков, пошедших трещинами в самой сердцевине, покрытых сеткой сколов безобразных, пропаханных кривых, извилистых бороздок, будто отлежанная гладкая округлая щека железного ребенка, в которую впечатался узор от складок тяжелой слябовой подушки, при виде полного отсутствия запасных деталей с Уралмаша... и все равно без выбора горбатился в прямках и колодцах, перебирая становящимися чуткими, как у слепца, большими черными руками каждый винт, каждую вилку роликoderжателя, по миллиметру на коленях проползал весь километр от машины непрерывного литья до концевых летучих ножниц и клеймения — чтобы вращал валки и ролики, катился его стан, не превратился в протянувшуюся вдоль немого выставшего цеха груды хлама, загадочного вследствие утраты назначения и не могущего жить в верном напряжении службы. Но опускались уже руки, не в силах охватить растущую скрежещущую, стонущую уйму всех новых срывов, переклинов и надломов, при виде криворукого,

бездарно-равнодушного, ленивого, нахального молодняка, который заступал на смену старым мастерам, до полусмерти износившимся в работе — лишь для того, чтоб безразлично множить мелкие халатности, перерастающие в беды страшной тяжести. Даже его, чугуевская, собственная бригада более работать не хотела и выходила из повиновения с регулярностью вот этих бабьих течек из влагалища.

Люди напивались мертвой водой предрешенности и безучастия к тому, за что были ответственны, к самим себе, желавшим только жрать и спать и злящимся, что жрать и спать им вдосталь не дают. Вот это знание, что хоть ты тресни, а все продолжит точно так идти, как шло, угля не будет, хлынет безработица, уже как будто не страшило никого, но проникало в кровь и мозг баюкающей силой: страх оборачивался радостью исчезновения добровольного с земли, почти не греющей радостью повиновения безличной высшей воле, постановившей, что заводу навсегда не быть.

Мерзлый город-покойник, в котором уволили с комбината всех жителей, больше не был угрозой, перспективой — на глазах становился заключением прозектора. Он, Семеныч, нисколько не сомневался, что московские гости пришли развалить комбинат и продать по кускам за границу промышленным ломом (никакой другой цели и смысла у этой породы не могло просто быть), и готов был с другими могутовскими могиканами голосовать за сохранение прежней власти до последнего. И когда заявили во плоти москвичи, вышел вместе со всеми на площадь врубить: не трогайте машины, производящей все железные опоры и основы, материал, без которого ничего невозможно построить: от ракет до последней поварешки несчастной — под вами же самими проломаются мосты и на головы рухнут вам

кровли и стены, вы этого не понимаете и не хотите понимать, мы это понимаем, этим кормимся, тут наше место службы, тут наш хлеб, другого мы не знаем и переделывать себя в торгашеское племя не хотим. Эх, был он от природы неспособен к выражению того, что ясно теплилось в нем говорением немым: имея поделиться чем, все точно понимая про смысл жизни собственной и назначение человека, в слова была бессильна переплавить это знание чугуевская безъязыкая душа.

В соединении с такими же, как сам, в сцеплении, в монолите имеющих одно и то же убеждение работяг куда как легче было высказать свои потребности и волю. Ну да, пожалуй, слишком уж нахально повел себя рабочий молодняк, но понимал Чугуев: накопилось — когда уже вот прямо речь заходит о распаде всего, на чем ты держишься, то выражения не выбирает человек. Он еще верил: будет разговор; он еще думал: стоя здесь, они, рабочие, не позволяют совершиться окончательному страшному, чего от Сашки новые хозяева хотят и что сейчас из Сашки за закрытыми дверями выжимают. Но вот как только вместо всех ответов на вопросы на них ОМОН с дубинками спустили, все стало ясно вмиг и окончательно: все едино полезут вперед и раздавят, и можно только уходить, как в землю, в нерассуждающую скотскую покорность под нажимом или уж брать тогда в ручищи арматуру и молотить по черепам вот эту власть, которая вжимает рабочий класс обратно в состояние до революции 17-го года. Только это уже без него. Он свое уже прожил, Чугуев: все, что успеет он увидеть, — это смерть завода; с каждой минутой бунта, забастовок будет расти слой вечной мерзлоты на стенках домен и машинах непрерывного литья — и сдохнет в сознании бесплодности прожитой жизни, порушенного смысла, самой плоти всех трудовых его, чугуевских, усилий — вот как

с ним жизнь паскудно рассчиталась за все усердие, за верность, за любовь.

Как из песочной кучи паялся на полыхнувшее короткое побоище: как накатила и проломил омовскую стену не стерпевший такого обращения с собою молодняк, как заходили бешено дубинки по головам и спинам безоружных, как без следа его Валерка канул в самой гуще и повалил и стал душить рабочих белый дым, и вот уже у самого в глазах отчаянно защищало, и зашлись в раздрающем кашле и они, старики, в отдалении от дома правления стоявшие смирно; затиснутый собратями металлургических пород, так за ворота проходной и выбрел слепо в составе многоногого ползучего, хрипящего, перхающего гада. И чуть вот надыхался впрок, промыл свои окуляры воздушной струей — уже в толпе глазами шарит: где Валерка? На каждый чей-то хрип и кашель оборачивается, как на Валеркин голос, чудящийся всюду. Чуть посвободней стало — заметался, вставая на пути, сграбастывая встречающих:

— Валерка где, Валерка? Валерку видел, нет?.. С тобой же был — как «нет»?!

И все молчат, таращатся бессмысленно и головами отрицательно мотают — сгинул Валерка, там остался, на задымленной площади перед заводоуправлением.

— Ниче, ниче... — сплошь сверстники Валеркины перхают, с лицами красными, как сваренные раки. — Сегодня вы, а завтра мы вас палками железными! Срок только дайте! Поперек горла газы вам сегодняшние встанут, мусора!.. На кого тянете, фашисты?! За кого?! На свой народ — за пидоров московских?! Друзья, блин, школьные, росли в одном дворе!.. Да кто?! В пальто! Михеев Витька, не узнал? Володька Кривокрасов с «мебельного», он! Глаза в глаза мне через дырки — узнаёт! Вот узнаёт и бьет! Вот бьет и плачет!.. Чего?! «Приказ»?! Своих мочить — приказ?!

Нет, как вы с нами, так и мы! Раз вы вот так — кровью завтра умоетесь! Так и бредут в магнитном поле, из которого нет выхода, да и не надо выхода уже, а вот как раз наоборот — с неумолимостью их тащит, молодых, обратно на завод, и есть особое, болезненное наслаждение в этой тяге, все раскаляющей и раскаляющей всем мозг.

— Валерку — видел?! Сына?! — Один лишь он, Чугуев, поперек течения становится. — С тобой был — ну?!

Нет сил вздохнуть, растет оборванное чувство к сыну в пустоту. И видит: вон несут кого-то на руках — и что-то вклинилось рывком меж тесных ребер, как стамеска в щель, и с каждым скоком внутрь просаживало, как побежал вот к этим четверым, связанным ношей, туловищем чьим-то... нет, не Валерка, щуплый для Валерки. Ну а Валерка где ж тогда?!. и выперлась из толчеи еще четверка санитаров:

— Ну вот, Семеныч, принимай. В полном комплекте механизм, вроде исправный, не разобранный. И обвалился перед сыном на колени: разбито все, валун, надутый кровью, — не лицо, но шевельнулся, замычал, дубинушка, и сразу истине исконной подтверждение, что если умер человек, это надолго — если дурак, то это навсегда:

— Это мы что? Согнули нас, хозяева?! С земли своей, с завода отступили?! — В бой снова вырвется, вырвидуб несломанный, огромной неваляшкой чугунной поднимается, руки товарищей, как плети, сбрасывая с плеч, — насилу вновь его в шесть рук дается усадить.

— Тих, тих, Валерка, тих! Ты посиди маленько. Это тебе башку, видать, встряхнули здорово. Дай только срок, Валерка, — будет! Отольются им наши кровавые слезки — умоются!

И слышит он, Семеныч, это все, с новой силой страха понимая: не удержать ему и никому вот эту безмозглую немереную силу молодых, которая сейчас, в них запертая намертво, ни на какое созидание быть направлена не может, и только так они сейчас и могут ответить власти, жизни вот самой на унижение и бессмыслицу существования своего — лишь незаконно и уродливо, лишь кулаками, смертным боем.

— Стой, мужики, нельзя нам по домам сейчас! — откуда ни возьмись Степаша опять рабочую ораву баламутит. — А что с заводом может за ночь — не подумали?! А то, что опечатают все за ночь приставы с ментами! Все входы-выходы задрят изнутри! Такое может быть? Реально! Сейчас уйдем — обратно не зайдем! А для чего же выдворяли нас дубинками? И пустят только тех, кто в ножки им поклонится! Кто акции свои отдаст, вот только тот в родной свой цех иди горбаться дальше!

— Ну так а что нам, как?! Что ли вот к мэру с красными знаменами? Или на рельсы, как шахтеры: Ельцин пусть услышит?!

— Да что ж мы лаз на свой завод, пока не поздно, не найдем? — Степаша наушает. — Пока они там чухнутя-освоятся, а мы тут все, каждую трещинку в заборе — как у жены спустя пять лет совместной жизни!

— Так это ж вон сейчас мы — через третий ККЦ! И по путям через депо к заводууправлению!

— Вот именно! Но только надо, чтоб сейчас! А как залезем, уже сами все входы-выходы заварим изнутри. Завалим так — бульдозером не сдвинуть! Ну, мужики, желающие есть? — Степаша бешено глазами всех обводит, а все и так уже чуть не дерутся за место в этой группе штурмовой: «Я! Я, друг, я! Да хоть сейчас

меня бери — о чем базар?!»

Ну и Валерка, битый-перебитый, — мозг из ушей не вылез — снова, значит, в бойню, как под откос, как в прорубь, до конца!

Будто с зашитым ртом, ни мускулом единым не дернулся за сыном он, Чугуев, — бессмысленность любых увещаний понимая.

Черносмородиновой ночью ледяной прут сквозь кусты упрямые, бодливые — вниз под уклон, в бурьяне утонув, и шустро вверх по склону, вырвавшись из дебрей. И вдоль бетонного забора двухметрового в молчании крадутся. Встали, толпа парней рабочих, как один. Спинай к плите, отвесно врытой в землю, руки в замок — подножкой для собрата. Заброс на гребень. Могут кое-что. Один, другой, последний — и вот уже ползут по потолочным трубам муравьями и с ловкостью древесных жителей по ригелям спускаются. И тишина такая, что в животе прихватывает аж, и слышно собственное сердце, бьющееся часто и весома, и оглушает собственная кровь. «Спокойной ночи, малыши, уснули, самое время тепленькими брать!» И, не таясь уже, шагают в простершейся на много километров пустоте, в чернильной тьме конвертерного цеха словно белым днем, настолько всем им тут на ощупь, до заусенца, трещинки знакомо. Три километра напрямую через цех и по путям примерно столько же еще. И другие еще штурмовые отряды сейчас к точке сбора шагают-крадутся — ручейками, речушками по цехам и железнодорожным путям. Взять телеграф и почту в свои руки.

И вдруг какой-то звук железный в отдалении — вот вне пределов собственного ставшего оглушительно слышным огромного тела.

— Стой, мужики! Слышь, впереди шорохается кто!

— Да кто там? Показалось, дура!

Но снова стук тяжелоозвонкий. Не шорох — поступь кованая там. Остановились, замерли — и стихло. Снялись вот только с места — и опять!

— Есть кто-то, есть! Кто может?

— Да работяга, кто! Свои, свои, раз так наверх залезли просто. Пошли, пошли — сейчас узнаем.

И в вышину уже все смотрят, в тьму высотную на марше.

И вроде тень, еще черней, чем обнимающая тьма, там завиднелась впереди, на храмовой зиявшей высоте. И загорелась огненная точка, словно глаз, — ну зрачок сигаретный, понятно, — и все равно вот жуть прохватывает, необъяснимый холод, ужас тот из детства, когда их всех в кроватках на ночь Гугелем пугали.

— Э, слышь! Ты кто там такой?! — Степаша шепотом, шипением выкрикивает.

И железный удар им в ответ, сигаретный зрачок полыхнул на затяжке опять и царапнул тьму огненной пылью.

— Слышь, не молчи там, чучело, дай голос!

И ничего — молчание... гром железный в вышине — человечески необъяснимый хохот всем в уши ломится, гнет лопатой к земле. Вот будто ковш у них над головами свои стальные жвала расцепил, с пятиэтажной высоты обрушив металлоломную проламывающую груду, будто состав чугуновозов с рельсов опрокинулся и покатились под откос, взрываясь, шлаковые глыбы — и увидели: не человека, незыблемо вросшего в сталь меж мостками и кровлей, не бывает таких, не бывает башки у людей на такой высоте, не бывает трех метров от макушки до пяток. Освещалась костистая морда-череп затяжками, нос остался, но будто в лице — одна

кость или только литое железо.

— Кто ты, кто?! — сквозь катящийся хохот, загулявшее эхо Степаша надсаживается — голос рвется сквозь щель и уже не проходит, у губ обрывается.

— Хозяин твой, хозяин! Новый, старый и вечный! Бог всех богов твоих чугунных, сталевар!

— Гуг... гу... гу-гуг-г-гель!.. — самый зеленый из всех них, штурмовиков, вмиг дурачком становится, от стужи помертвев, крик из себя насилу выжимает, обеспамятев.

— Я его сейчас, этого Гугеля! — Никаких великанов, чудовищ, восходящих из донных отложений наследственной памяти, не боится Валерка. — Фонарь мне, фонарь! Счас посмотрим, какой это Гугель! — И срывается с места, к которому всех приварило; свет фонарный — рывком в потолок, на мостки: кто бы ни был там, что за шутник великанского роста, человек или не человек — мимо лесенки спустит сейчас за такую потешку глумливую... только нет никого уже на верхотуре — пустота в белом поле наведенного света. И вот кто это был? Или что это было?

Как рассудок миллионов современных хозяев компьютеров, тепловизоров, атомных станций приколочен гвоздями «НЛЮ» и «пришельцы» к действительности и во многих местах поднимаются ночью могильные камни, исцеляет святая вода и душистой смолой сочатся иконы, так свои есть в Могутове у железных предания о всегдашнем присутствии, осязаемом веянии силы, и одно из них, главное, страшное, как и все, во что верят язычники, — о хозяине подлинном, первом комбинатском директоре Гугеле, людоеде гигантского роста, что стоял в 31-м над самой котлованной бездной на Магнитной горе, и решал, сколько русских положить в

основание завода, и клал — сваебойной рукой — рядовых той бесплатной трудармии без разбора на зэков и истово-пламенных добровольцев строительства, деревнями, родами, бараками непрерывно подбрасывал в адову топку — от мигнувшей во мраке ледяной искры Замысла до алтарного зарева, грохота непрерывного тока броневых листов, и вот сам полетел бы, машинист, в ту же топку, если бы стройка запнулась хоть на час, хоть на дление, если двигаться все начало бы со скоростью меньшей, чем вторая космическая, если бы в срок он не выдал социалистической родине все, что он ей обещал. Столько стали, наваренной на рабочих костях, сколько надо ей, родине, чтобы из лапотной, пахотной и деревянной стать железной до негибкости, непреклонности ни перед кем. И, все выдав, исполнив, сам в огонь полетел — сам объявлен врагом был народу и вырезан из всех групповых фотографий, из могутовских святцев, которые он открывал, расстреляли строителя за шпионаж и вредительство, только весь — даже после расстрела — не умер, настолько перешел и впитался своим чистым духом в самую плоть завода: каждой ночью встает и обходит владения свои; можно встретить его по ночам — тяжело, на железных подметках ступающего великана в пальто, да и днем чистым духом приблизится, встанет за спиной работяги невидимо, за разливкой следя через синее стекло, и как гаркнет со своей высоты, примораживая к месту: «Что ж ты, гнида, за корочкой ни черта не следишь?! Почему не играет на двух сантиметрах от стенки?! Второсортица, падла! Снова брак при прокате?! Раздавлю тебя, пыль!» — крановщиков, разливщиков, вальцовщиков хватала иногда огромная рука, так и туда бросая, что от человека не оставалось вовсе ничего, на валки, под валки, на налившийся алым сиянием сляб на рольганге, конвертеры взрывались, как

хлопушки, под невидимой ногой, окатывая огненными брызгами литейщиков, до костей их проваривая и приваривая к полу вонять сладковатым прожаренным мясом; могутовских детей пугали этим ужасом ночным: «Будешь мамку не слушаться — как придет к тебе Гугель...»

Разделились, короче, во мнениях, кто там был — человек или Гугель — и что им, авангарду рабочих бойцов за завод, сообщить хотел этим появлением своим: вот кому он завод отдает, у кого забирает — у захватчиков диких московских или вот вообще у людей, отчуждая все домны и станы в свою замогильную собственность, наказав всех железных за их вырождение, ничего не оставив бесхребетным и млявым рабочим для жизни. И смеялись, конечно, одни над другими, что наслушались бредней стариков суеверных, но сами вот, сами человеческого объяснения найти не могли. Человек? Тогда кто? Чтобы так вот шутить? «Ну а делся куда?!» — «Да на кровлю ушел вверх по лесенке, дурочка!» — «Ну а рост, рост три метра?! Все же видели, все!» — «Да в темноте не то еще покажется!» — «По башке менты били? Котелок повредили — лечись!» — «Может, с газов все это, которыми нас? Что они там такое пустили на нас? Есть такие, с которых — видения». — «Да какие видения?! Ясен перец, что перец обычный, черемуха! Глотку жжет и глаза!» — «Все равно дядя Степа как минимум! Кто у нас такой рослый, кто знает?»

— Да ну хватит ла-ла! — еле сглатывает Степа клокотнувшую злость. — Дело кто будет делать? Ну вот чего такое было-то, чего?

— А, что ли, не было, Степаш?

— Ну было! Ну и что, так давайте назад повернем теперь, а?! Чтобы Гугель нас всмятку не дай бог своей пяткой железной. Ну вот кто, кроме нас, свой завод

Растирают подошвы гранитную крошку. Угловатые кучи камней под ногой как на тормоз поставлены: нажимаешь — и туго скрежещут в колодках, рассчитанных на столетия службы, но нетнет и утопишь в пустоту педаль спуска рокочущей осыпи. Вверх по склону Магнитной горы черно-синей ночью карабкаются — кто давно уж ко взлету на лифте привык, на ракетоносителе, все другое уже не устраивает: слишком медленно, слишком настойчиво, оскорбительно напоминает о давно позабытой, отмененной телесности, о земном их замесе, из того же податливо-ломкого теста, что и все земнородные, — что еще не совсем они, не навсегда сведены к чистой власти, господству без телесного марева, без оболочки, что когда-то где-то способна испытывать притеснение трудностью — унижение вообще невозможностью получить сразу все и любое, про что только помыслишь: «мое». Очень длинный один, долгоногий, как цапля, нескладный — тот, кто первым идет и прицепами остальных за собой в гору тащит, — наступает на шаткую кучу, обрывается вниз, обдирая колени и локти, и подхватывают тотчас его берегущие руки, как ребенка огромного: «Все в порядке, Артем Леонидыч?»

И уже на вершине они, в полный рост свой пугающий распрямился «Артем Леонидыч», он же Гугель ночной, царь Магнитной горы, вечный бог всех окрестных пространств; вид на город открыт с верхотуры — вдоль реки по равнине размазанную лягушачью икру фонарей, окон многоквартирных домов и огней

сортировочных станций в тьме крошечной падающей свободной с самолетных небес — протяни и возьми, зачерпни — уместишь огненное скопление низовой этой жизни в горсти... тянет к самому краю Артем Леонидыч второго: «С фонарями сюда». К винтовому провалу карьера, в котором можно захоронить целый город, — в пропасть следующий шаг, в пустоту опрокинутой, врезанной в глубь земли многоярусной башни, по лекалам расчерченной, гармонической незаживающей раны колоссального взлома и добычи из матерых гранитных пластов. Свет сильных фонарей вылизывает срезы доисторических, ацтекских горизонтов, вниз спускается по круговым великанским ступеням, доходя до предела сужения, затопленного непроглядно-дегтярной донной тьмой.

— Вот отсюда, Ерма, начинался завод.

— Эх, чую, Темочкин, потащит нас на это дно вот этот комбинатик.

— Ты ничего не понимаешь. Что такое сталь? Сталь, сталь, металл и топливо — вот истинные деньги человеческого мира, вечно живые, вечно покупающие. Все остальное — резанные фантики. Только помыслить: миллиард — и вот он, миллиард. Это рассудок твой тебе вот этот миллиард дает в кредит. А вот это — порода. Кредитов она не дает. Природа только то тебе отдаст, что ты сам у нее сможешь взять. И квоты на добычу самые жесткие — повсюду упираешься в конечность и невосполнимость, и хоть обратно в шкуры одевайся, чтобы выжить.

— Что-то, Тема, тебя понесло в экологию.

— Не в экологии дело, а во власти над реальностью, которая прирастать должна, а не наоборот. А власть над пустотой прожранного — это не власть уже, а нищета. Вся денежная масса мира сегодня обеспечена реальными активами

процентов от силы на десять — пятнадцать. Что мы сейчас имеем — цифры на счетах? Виртуальную сущность, которую мы бесконечно гоняем по миру, как лысого у себя в кулаке? Взяв комбинат, мы власть над плотью денег получаем, вот над причиной их возникновения, дебил.

— Охрененная власть! Всю жизнь о такой вот мечтал. Взять на прокорм сто тысяч ртов голодных, которые уже сегодня на куски порвать тебя готовы. И груды ржавого металлолома невхеренную, которую чтоб оживить — нет у нас таких денег сегодня вообще. Угля жрет, электричества немерено... — загибать начал пальцы, кляня аппетиты ненасытно прожорливой твари, махины, из-под которой им живьем уже не выбраться. — И от всего зависит непрерывно: от нефтей, валютных курсов, банков, индексов, погоды, от ипотеки в штате Флорида и наводнения в Новом Орлеане. И с домнами ты ничего не сделаешь, со спутника не сбросишь на Багамы. Мы, Тема, были теми, кто имел бюджет Российской Федерации, а теперь нас, как тряпку, все будут крутить, чтобы этот бюджет оросить. Вот не готов я как-то на такие донорские жертвы.

— Что, надорвался уже, да? Струхнул, еще не вставив? — Рывком обернулся, давяще навис. — Вы вбили себе в голову, что можно только так, что либо ты баран, либо мясник, а человеком никогда не станешь. Хозяином своей земли, хозяином завода. Что те, кто что-то производит, пашет, — это рабочий скот, навоз, судьба у них такая. А ты, пока ты банк, имеешь все, эта система тебе сразу вываливает все, что пожелаешь: держит рублевый курс такой, который нужен нам для наших форвардов, и ГКО вот эти сраные печатает, чтоб завтра в собственном дерьме и захлебнуться... круговорот мертворожденных и бесплодных денег. Сколько можно гонять миллионы

дохлых сперматозоидов? Ну насосеешься под завязку, на разрыв. Такой же бесполезной тварью и останешься, навозом тем же самым, на который весь изойдешь, когда настанет срок удобрить собой землю. И нехера оправдываться тем, что по-другому ты не можешь, — иначе от кормушки отлучат. Это твой выбор, твой, надо ломать систему под себя, чтоб стало, как надо тебе, а не ей от тебя. Это мой завод, Дрюпа... Я родился в Могутове. Это моя земля, ее мой дед разведаль и Сталину в зубах принес проект вот этого всего. Словно Сибирь Ивану Грозному... Не говорил, но думал непрерывно. С детства. У нас в детдоме на заборе была надпись — черной краской, огромными буквами — ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН. И я ходил мимо нее два раза в день, и у меня одно стучало в голове, как дятел: я должен доказать. Открытие сделать там, изобретение, стать космонавтом — в термосферу выше всех... ну что еще тот мальчик мог себе представить? Сделать что-то такое, что могу один я. А потом нас, щенков, лет в двенадцать повели вот на этот завод — предназначая нам такое будущее, да, прекрасен труд советских сталеваров, бла-бла-бла, ну а куда еще девать нас было, беспризорных? В ПТУ. И я увидел льющуюся сталь, она стояла у меня перед глазами, вечно живая, вечно новая, как кровь, метаморфозы эти все расплавленного чугуна, и ничего я равного не видел этому по силе, вот по тому, как может человек гнуть под себя исходную реальность, — это осталось тут, в башке, в подкорке. Все, что я делал в своей жизни, еще и сам того не зная, я делал, чтобы откупить себе вот это все... Чего ты боишься, Ерма? Все потерять боишься? А что такое это «все»? Того, что жрать тебе с семьей будет нечего, боишься? Что дочку с сыном в первый класс не соберешь? Ты боишься за свой лишний жир. И поэтому надо купить комбинат за копейку и скинуть поскорее

индусу за рубль. Что ж без толку горбатиться — лучше уж сразу в яму и баиньки.

— В наших реалиях, кстати, логика железная.

— У, мать твою, да с кем я говорю? — заметался по гребню и, развернувшись, накатил, подпихивая очкастого Ермо к самому краю. — Тебе чего, обосновать реально и конкретно, что сколько будет стоить через год и где кто будет через десять лет? Я тебе что тут — комсомолец первого призыва? Я стопроцентный сопроматчик, ты забыл? Я целиком сувайвер, выживальщик. Ты в состоянии видеть будущее дальше, чем на год вперед? Ну ринулись с Брешковским вы в нефтя. Брешковский ручки потирает, чуя перспективочку подорожания барреля за сотку. Наш дядя Боря, царь демократический, протянет максимум еще года четыре. Один раз в президенты его на больничной каталке протащим, чтоб получить вот это все, про что мы договаривались, а дальше все, износ материала. Кто будет следующий, ты можешь мне сказать?

— Следующий будет лысый, — пообещал Ермо авторитетно. — Горбач был лысый, Ельцин — волосатый. Я, кстати, вот лысый, а что, Тем?.. давай.

— Лысый, лысый. И я тебе скажу, какой он будет, — подтянутый, спортивный, аккуратный действующий гэбист, отличник боевой и политической, с приказной четкой речью и несущий что-то такое прочно-обнадеживающее людям, как дядя Степа веру во всемогущество и доброту родной милиции, с лицом таким, чтоб каждый русский мог подставить в пустой овал свою физиономию.

— Вы его что, с Березой уже выбрали?

— Это надо быть яйцами глист, чтобы верить, что можешь в Кремль кого-то поставить. Это поток, Ермо, поток народного заказа, и он выносит наверх того, в

ком есть потребность именно сейчас. Сейчас потребность в том вот самом, что мы потеряли. В государстве, которого как такового сейчас нет вообще. Это сейчас силовики в загоне и обслуживают нас, без вариантов отдавая в наши руки недра и заводы, поскольку сами на балансе и держать не в состоянии. Как ты там говоришь: кто имеет бюджет, тот и правящий класс. Дрюпа, держать бюджет будут они. Они вернут, «обобществят», — взметнулись в воздух руки с пальцами «кавычек». — Основные потоки. Кто там у нас обсел сейчас все нефтяные лужи от Январска до Ноябрьска? Олег Ордынский с Мишей Ходорковским? Ну вот их... — И пошлепал ладонью в кулак недвусмысленно. — И никаких залоговых аттракционов и прочих инвестиционных шапито, а право на убийство, раз, и право на посадку, это два, вот такая у них монополия, самая главная.

— Так ведь и комбинат забрать с такой же легкостью реально.

— А комбинат не скважина — запарка, геморрой. Кто только что мне это говорил? Для сталеваров во всем мире норма прибыли — семь-восемь процентов, предел. И на заводе ты как на подводной лодке: нажал не на ту кнопку — и хлынула вода в открытые кингстоны. Не говоря уже о том, что к каждой такой лодке по сотне тысяч работяг пожизненно приковано. Затопишь лодку — это будут орды лишившихся работы и жратвы. Как раз и хорошо, что можно в случае чего спихнуть ответственность на нас. В систему подчинения можно все включить, но комбинат есть сам система. Автономная. Заточенная изначально на управление изнутри, а не из центра сверху. Это как самая далекая колония в империи, с той только разницей, что нашу автономию не удаленность в километрах от метрополии обеспечивает, а степень непонятности самой твоей машины для всех, кто в полном аути и домны от

мартена не может отличить. И ты в этой машине — деталь незаменимая. Что будет с этим ледоколом, то и с нами. Взаимная зависимость смертельная. Ты гонишь полтора миллиарда виртуальных денег, а ты попробуй город на плаву сталелитейный удержать. Построить государство в государстве — вот где драйв истинный, Ерма, и понимание, кто ты есть на самом деле. И еще одно главное — в чем наш ресурс. Вот эти самые десятки тысяч работяг, машине приданный особой человек, он ничего не понимает про добавленную стоимость и сокращение издержек, мы за него все это будем понимать, надо всего лишь изначальный, отведенный смысл ему вернуть, завести в нем пружину вот эту опять, к отреставрированной машине прикрепить и тупо кормить хорошо. Он дешево обходится, рабочий, — в шестнадцать(!) раз дешевле, чем во Франции, Германии, Канаде, дешевле только даром и в Китае. Этот народ, он даст тебе такую синергию и прорыв, что это уже будет космос натуральный.

— Если только на части прямо сейчас не разорвет. А к этому все, к этому идет.

3

За ночь власть на заводе сменилась, рабочим — вся власть.

Весь ОМОН у правления в кучу стеснили ломовым своим натиском — пусть с дубинками все, с автоматами, а вот вмиг дурачками заделались, отморозило руки на крючках спусковых, только обдало их дыханием рабочих в упор.

Баррикадами за ночь перекрыли все въезды — уж что-что, а ворочать бетонные блоки за железные ушки умели, в три ряда их составили, в стену высоты

двухметровой на главных воротах, арматурными связками ошестинились, ломом, кирпичей навалили, чтоб метать их в ментов; надо будет — из слябов завтра выстроят стены, уложив их, как маты в спортзале.

Только дальше вот что — дальше собственных этих баррикад и не видят. Сколько так длиться может? Сколько можно по «ящику» в новостях про себя репортажи смотреть и лощенные морды новых властных скотов, выходящих к народу, наблюдать по ту сторону голубого экрана и пустые посулы их вживе из-за стенки бетонной выслушивать? Столько так вот в осаде просидят днем и ночью — без жратвы, без всего? Дети мал мала меньше у каждого, жены. Может, только того им и надо, хозяевам новым, — чтобы все они тут, на своих баррикадах, передохли естественной смертью, и бери не хочу тогда вымерший, опустевший завод?

Сутки так вот проходят, другие, и на пятые сутки — движение на том берегу, по мосту над стальной рекой, по которому протянулись в тумане отвернувшиеся от воды фонари в ореолах белесого слабого света, похожие на пушистые головки одуванчиков. Зашумели моторами и вспороли мглу лезвиями раскаленных злых фар членовозы, кареты, джипы сопровождения власти; поехали все: гаишники на белосиних «жигулях», губернатор и мэр на своих черных «Волгах», целых двадцать машин скорой помощи, вездеходы защитных окрасов, тащившие полевые, с дымящими трубами, кухни... поползли по мосту вереницей в понимании, что сделалось на заводе совсем уж не то, — старики еще помнили бунт и расправу 63-го года, перемалывающий скрежет и стальные ручки бронетанковых траков — и уперлись в последнюю, непроницаемую полоску злого воздуха. Распахнулись все дверцы, и земные правители к ним, рабочим, пошли непривычно пешком,

принужденно, набыченно, с дополнительным явным усилием отрывая ступни от земли, проходя трудный путь к «обретению консенсуса», оделись поскромнее, в курточки, без меховых воротников, но уж выкорма, лоска наеденных ряшек не скроешь... И как будто затворы плотин поднялись одновременно — прорвались, разом хлынули отовсюду рабочие ручьи, захлестнув, затопив площадь перед воротами, не вмещаясь, давясь, прибывая; спрессовались в халву, но никто меньше не становился, не чувял тесноты и удушья в несмети — напротив, вырастал и прочнел сам в себе, ощущая прямящую силу в сцеплении со всеми своими: вот мы все, наша правда, не пропрешь, не задавишь теперь.

Меж Жоркой Егзарьяном и Борзыкиным зажатый, Чугуев озирался и не видел ничего, кроме поля упрямых рабочих голов, кроме синих сатиновых и землисто-зеленых брезентовых спин молодых и согбенных, видел сына Валерку, что залез на фонарь и висел под плафоном, обнимая ногами железную шею. Грузовик подогнали активисты рабочие, и в него, на него забрались делегаты — выше массы рабочей, над нею стоят, но вот жалкой, жмущейся кучкой, с беззащитными новыми лицами и насилиу нацеженным выражением тактичности, дружелюбия, участия, приглашения выслушать и поладить добром. Мэр могутовский вон, Чумаков, вон московские гости — мышцы в лицах холеных, прежде производившие ровную полуулыбку презрения, занемели теперь, и другие мышцы в лицах невольнo работали, заставляя приметно подрагивать кожу — в ожидании будто удара, попадания в голову чем-то прилетевшим тяжелым. А на самом краю, над откинутым в пропасть бортом, притулился, застыл в напряженном упоре — не сорваться с платформы в рабочее море — чугуевский Сашка, беспризорный, отвязанный, ничему, никому уже тут не

хозяин. И вот не было жалко Анатолию сына сейчас: сам себя так поставил — жрешь сначала своих, работяг, а потом жрут тебя — кто умней и сильнее, чужие; вот тогда-то все и началось, когда Сашка начал перерождаться в носителя собственной, узкой эгоистической правды; труд в сознании русских людей — вырождаться из естественной, данной человеку потребности — внятной каждому тяги к созиданию прочных изделий — в жадноскотский инстинкт присвоения и обладания. Каждый, кто присвоением живет, забывает о том, что уже он — хозяин вещей, и чем злее грызется за частную собственность, тем только больше похабит растения природы и изделия рук мастеров.

Целый замгубернатора области долго проигрывал ту же пластинку: что пришли москвичи на завод по закону, что противиться этому баррикадами и арматурой — это значит самим встать против главных законов страны и подпасть под ответственность; что «Финвал-Инвестбанк» — это добрая сила, которая приведет в регион миллионы рублей на поправку могутовских станов и домен, на постройку больниц, поликлиник и школ, что не будет, он голову лично кладет, никаких увольнений... но вот как-то все так ненадежно-виляюще, скользким мылом в руках излагал, что своими посулами поднял брожение, клочкотание в могутовской массе, и уже раскрывал рот безмозглой рыбиной в нарастающем гуде и реве. Но как будто бы что-то стряслось у него за спиной — закачались и загомонили иначе возле самой платформы ряды работяг; задрожал, заискрил от высокого напряжения воздух, как под самой мачтой ЛЭП, и почуяли все, кто стоял на гектаре, дуновение силы — вот каким-то особым, отведенным для этого органом слуха, железой, что у каждого есть, вот хребтом, даже он, Анатолий, находившийся так далеко от передних, почуял

животом непонятное «это». Кто-то новый вошел в онемевшее столпотворение, как в воду, как таран, ледокол, и вот тут всем стало на площади тесно по-настоящему, так себе много места потребовало это явление. И тем с большей готовностью расступались железные перед этим нажимом, что ничем человечески ясным, понимаемым каждым двуногим как сила — там погоны, оружие, проходческий щит — это требование не было подкреплено, ни на чем не держалось, кроме полного, голого, безоружно-душевнобольного отсутствия страха. Это было его — ну того, кто пришел, — естество, как если бы в толпу вломилась лошадь, и наконец и он, Чугуев, увидал — над головами всех — качавшуюся голову, жирафа, так несуразно высоко торчал тот над толпой, двухметровый жердина, и жалкий, и страшный своей неуместимостью в человечьи рамки по росту, по облику, с чем-то внутренним сильным в себе, совершенно отдельным от облика, вот таким, что магнитило всех, заставляя молчать и заслушаться.

— Так ведь он это, он! — крик мальчишеский чей-то в толпе. — Ночью, ночью в цеху! Гуг-гу-гугель!

Протолкнулся к платформе и — руку, чтоб его затянули вверх, еле вытерпел краткое промедление встречающих рук, неделимую долю секунды, что ему — как недели простоя; подтянули, взлетел с неприязненным, нескрываемо всех презиравшим лицом — всех его тормозящих, от него отстающих, скудоумных, дебилов наверху, на платформе, и внизу, на земле, вот еще вырос вдвое над всеми, вырвав сразу из рук окончательно отключенного замгубернатора рупор, и смотрел на рабочие головы сверху, как на кладку, которую будет сейчас разбивать и в которую он задолбался долбиться, как на глину, которую будет месить и, вот как бы она ни была

неподатлива, все равно из породы могутовской сделает то, что надо ему. Крикнул что-то беззвучно, позабыв нажать кнопку и немедленно снова скривившись: вот тварь! матюгальник, и тот подают невключенным! Убивающе ткнул пусковую и двинулся в глубь рабочего мозга сверлом:

— Всем рабочий привет, гегемоны! Три минуты молчания, а потом что хотите творите, вы тут сила и власть, и никто вас с завода, никакие ОМОНЫ не выкинут. Я — Угланов Артем Леонидович, вот тот самый владелец заводов, газет, пароходов, который вас всех с потрохами купил. Вон он я, гад, пришел разграбить ваш завод. Распилить на куски все прокатные станы и продать их на вес за бугор. Вас на улицу выкинуть, чтоб вы сдохли от голода. Так вам сказали ваши прежние хозяева. Ну допустим, я вор. Вор, вор, вор, мироед и жучило, поискать таких надо! Да только вор, он выгоду имеет! Что такого могу я на вашем заводе украсть? Восемь домен огромных, которые чугуном закозлели? Станы мертвые, да, на которых не то что валки, а станины от старости треснули? А в третьем ККЦ чего?! Металл под кровлей, наплавленный за годы! Такие трещины — кулак засунуть можно! Все стыки по нижнему поясу — швах! Опорные фасонки — в любой момент любая оторваться может! Ну и сколько цехов таких, где не сегодня, так завтра вам на головы кровля обрушится на хрен?..

Откуда знает это все, Чугуев поражается. Совсем вот на заводе новый человек? По самой своей породе изначально, неизлечимо для завода чужеродный. Как будто сам горбатился в прямках и колодцах и на карачках ползал под клетями и станинами.

— Я, что ли, в этом виноват? Я, что ли, полвека стальные пролеты растягивал?

Я в аварийные цеха вас, как баранов, загонял? Я, что ли, домны столько месяцев таким говном кормил? Вместо нормального КСНР лишь бы только купить где-нибудь уголек по дешевке? Я, что ли, так вот рассуждал, что это все сегодня еще выдержит, а завтра тут меня уже не будет — и гори оно синим огнем?! Я тут рулил заводом десять лет? Ну и кого сейчас отсюда гнать? Меня?! Или вот тех — не будем пальцами показывать? И вот он я, залез вот в эту вашу жопу мира и поживиться чем хочу — дерьмом? Вы что ж — «Норильский никель»? На мировых запасах платины сидите? Кому вас надо, а?! Да во всем мире вас никто теперь не купит даже за копейку, никакие буржуи заморские! Я заплатил правительству России сто миллионов долларов за акции Могутова. А оборудования тут у вас, железа на десять — двадцать миллионов, если я его, допустим, захочу куда-то там как вторсырье продать. Ну, посчитали мой навар? Купил за рубль и продал за копейку. Тогда зачем я вообще сюда пришел? Ответ один: поставить дело. А потому что тупо больше незачем! Вы тут сейчас стоите и думаете все: явился хер с горы, спаситель комбината самозванный. Не верите — и с полным правом! Буржуй же ведь московский, который со своих вершин ни разу не спускался до земли.

Рефлекс безусловный сработал. Хер ты в чавку, Угланов, получишь, а не наш комбинат! Горбатиться на вора не хотите. А на кого хотите? На государство, да, великую идею? Нет больше государства, нет абсолютной силы, которая нуждалась в вашей стали, в самолетах и танках из могутовской стали. И на кого тогда? На Сашу Чугуева с Буровым? Так они пятилетку уже тут у вас отрулили. И где вы, и кто вы, и с чем вы? Хозяева вам ваши говорят, что это мы там из Москвы все развалили: систему сбыта, связи отраслей, задрали цены до небес на все, что только можно, на

электричество, на газ, на уголь, на железную дорогу, что это мы перекупаем вашу сталь у Саши за бесценок, что это мы даем кредиты под грабительский процент, что это мы вогнали вас в долги. Я даже этого не буду отрицать. Пальтишко это видите? — рванул за ворот на себе невзрачный серый плащик. — Стоит тысячу долларов. Полугодовую зарплату вальцовщика! И ту, которую вам всем сто лет уже не платят. Да только на ваших хозяевах точно такие пальтишки. На машинках таких же они ездят, как я. Так что же это получается? Что Саша Чугуев, что Тема Угланов! Один и тот же хер, только вид сбоку! Они вам что все это время заливали, Сашка с Буровым? Что спрос на сталь в России нулевой, что во всем мире спрос упал почти до нуля. Поэтому вы нищие? Да тогда бы у вас были горы неотгруженных слябов и стального листа. Где они, эти горы? Не вижу! Да потому что шли отгрузки, шли, бесперебойные.

В Германию, в Турцию, в Польшу. Не похоже на правду, которую знать не хотите? Да, я перекупал весь этот ваш металл — вот у него! Так я на то и банк, «купи-продай». А он себе в карман как будто ничего не складывал. И где все это сложенное, где? В ремонт цехов и кислородных печек вложено? Ну и чего? Вы за него стоите? За его миллионы на секретных счетах за бугром, те, которые вашим горбом нацедил? Железные люди — железная логика! Убиться лбом об стену за того, кто вас и обирал, мозги вам ежедневно трахал с перестройки. Поймите вы одно, элементарное, что сами понимать должны: быть может, лучше жить вы подомной не станете... допустим!.. но ведь и хуже, чем сейчас, уже не станет. Так и так подышать! Вас всех страшат массовыми увольнениями. Так половина вас уже уволена по факту! Ведь половина мощностей стоит! На каждую исправную машину

вас по десять, по двадцать человек дармоедов, там, где справиться может с машиной свободно один человек. Один вот этот пашет, а остальные водку жрут и анекдоты травят. И тащат, тащат через проходную все до последнего гвоздя — на вторчермет чтоб за копейку сдать и еще две поллитры купить и залить себе мозг этой водкой, из себя чтобы выжечь к хренам изначальный нормальный человеческий инстинкт созидания. Вы ж скоро сами, сами, без меня все свои станы по кускам растащите. На валках молибден, никель, хром — можно это все скупщикам сдать и детей своих раз и другой накормить, пока все до конца не прожрете! Так вы завод свой любите и за него стоите, пролетарии?! — Гвоздил и раз за разом попадал: Чугуев проседал под этими ударами и чуял, как чуть ли не каждый в могутовской кладке рабочий вот так же, как он, подается. — Так вы завод свой из говна хотите вытащить? Меня-то, понятно, заслали ЦРУ и марсиане. А вы откуда сами прилетели?! С Марса? И тут есть только два, ребята, варианта. Можно оставить все, как есть, можно оставить тут за каждым из вас вот эти вот рабочие места, которые на самом деле никакие не рабочие, и продолжать у государства кланчить деньги на зарплату. Стоять на паперти с протянутой рукой. И вам так нравится, вы к этому привыкли. Получайте и дальше раз в год подавание. А завод будет гнить, вы его же и топите. Потому что сегодня завод, он как плот, может сотню людей только взять, тех, которые будут вот сами грести, а возьмет если тысячу всю, то под тяжестью потонет. И отсюда второй вариант, он тяжелый, он страшный, вы его не хотите — половину отправить из вас в неоплачиваемый отпуск. Мне нечем вам платить зарплаты, государству — тем более нечем, вот поэтому-то оно вас мне и продало, чтобы я вас кормил — не оно. Да, у меня есть «мерседес», да, у меня есть миллионы. Да только что же я их — жру, в

себя закидываю лопатой? Деньги — это же жидкость, это кровь, это топливо, которое в машину надо заливать, чтобы она и дальше ехала. Я могу вам всем выплатить разом сегодня зарплаты, всем восьмидесяти тысячам, вот один только раз — ну и все, нету больше моих миллионов. Вы один раз нажретесь, а с машиной что будет, со станом, с конвертером, с домной? Вот и стоит передо мной выбор — или вашей машине быть живой или сытой, или вас накормить. А зарплата выплачивается с прибыли. По ре-а-ли-зации! Вот вложиться в железо надо будет сперва, а потом уж в людей. Вот сперва научиться такую прокатывать сталь, какую на сегодня больше в мире не делает никто — ни немцы, ни французы, ни китайцы, и предлагать ее на рынке во всем мире так задешево, как больше, кроме нас, никто не сможет предложить. Без вас я этого, конечно, не смогу, без вас, людей, все комбинатское железо — груда хлама. Но и вы без меня. Потому что я снег эскимосам зимой продам, бедуинам в пустыне песок, ну а вы никому даже сталь свою втюхать не можете. Поэтому вы мне нужны довольные и сытые. Поэтому вам нужен я. Я, я, головка от часов «Заря». Взаимная зависимость смертельная. — Рассверливал рабочим череп в мегафон, вскрывая, пробивая слой за слоем, этаж за этажом, в спокойствии, в уверенности полной, что скоро он дойдет сверлом до мозжечка, до корневой породы спящего инстинкта пробурится. — Но сперва надо выбрать тут каждому. Сегодня не уволим треть рабочих — физически не будет завтра самого завода. А уволим — получим возможность вложить миллионы в ремонт и отладку машины. А те, кто остаются на заводе, лучшие спецы... вы сами знаете их тут, кто лучшие из вас... вот те тогда и будут пахать и за себя, и за уволенных. Иначе никак. Вот все! Теперь решайте сами. Я никакого рая вам не обещаю, потому что не будет

его на земле никогда. Все одно работяге вставать каждый день в полседьмого. Но поднять свой завод и самим себя снова через это начать уважать — вот задача реальная. Ну и что мы решили? — Засадил, не давая им продыха, будто надо решать это было сейчас. — Вот чего вы стоите и меня на завод не пускаете? А я вам скажу почему. Потому что вам страшно! Боитесь жизнь свою менять, судьбу свою взять и сломать об колено. Вы так привыкли, что вас все имеют в хвост и гриву — Чубайс, правительство, московские банкиры, — что уже никакой другой жизни для себя и помыслить не можете. У вас одна мыслишка — не было бы хуже. Так вам хоть жрать дают, а я сейчас у государства эти ваши акции пришел и откупил — надежды больше нету никакой — на большого и сильного. Ну а сами вы, сами? Не большие и сильные разве? Но в одиночку жить вам страшно! Своим умом жить страшно. Вас этот страх погнал на баррикады, а не желание завод от разорения уберечь, никакая не гордость рабочая — что вас, как крепостных скотов, с заводом вместе покупают. А когда ваших дедов забросили в эту голую степь? Построили бы они вот здесь завод с такой психологией?

— Тогда была идея, — по-стариковски кто-то хрипнул из толпы.

— Идея? А вот тебе моя идея. Моя страна, которая имеет в недрах всю таблицу Менделеева, сегодня на карачках перед миром ползает и кланится: «Купите мою нефть, купите мою сталь хотя бы за копеечку», — вот в чем моя идея. Это дело менять. И самим диктовать, что почем. Вот я стою тут перед вами — человек, который столько денег насосал, что и за жизнь теперь не переваришь. Деньги что — сколько ты их ни жри, а все равно на выходе одно только говно, а эти деньги могут кровью быть живой, которая вот эту машину разгоняет. Это как с бабой — можно

изнасиловать, можно купить и выбросить через неделю на помойку, как одноразовую грелку, а можно — если ты нормальный человек — на жизнь до смерти под одной крышей заложиться, чтоб щи-борщи варила, да чтоб род твой продолжался. Ну вот что нужно человеку, мужику прежде всего? Что, только жрать, подмять как можно больше людишек под себя? Мужик живет инстинктом созидания. Не производишь ничего — считай, ты не живешь. Ну, это как потомства не оставить. Вот ваш прокат, ваш рельс — это такое же потомство, это ваши стальные дети, на которых и после смерти держится весь мир. Вот я зачем пришел — вот это вам поставить. Я все сказал, спасибо за внимание.

Что с ними сделал этот человек. Вломил — и сразу грохот ледохода, ударная волна разбегом по цехам — бегущая по тверди, под ногами, растущая невидимая ломаная трещина, и вот уже кричат, друг дружку окликают, как со льдины, челюскинцы — папанинцев: ау! С одной кричали тысячи, бригады: «За Угланова!». С другой — и тоже тысячи — надсаживали глотки: «За Чугуева!», до дыр, до пустоты проигрывая старое: «Родного! Завода! Ворам не отдадим!» И третьи еще были — большинство, которое как в воду провалилось, не зная, куда плыть, не то, наоборот, осталось на земле, под придавившим всех сомнением: за кого? — впустую не желали глотки драть, толкались и простаивали сутки на собраниях, выслушивая прения враждующих сторон — акционеров, рабочими мозгами усиленно скрипя и ни на что бесповоротно не решаясь. А баррикады вот они — остались, ничьей, ничьей нет власти над заводом, и сам завод стоит и умирает. И днем и ночью по цехам чугунный гул неразбиваемый стоит, спаявшийся из криков костерящих друг дружку на чем свет стоит агломератчиков, вальцовщиков, литейщиков, грохотчиков, коксовиков, сварных и слесарей-инструментальщиков.

Уж глотки шершавятся, как наждаком, ободранные лаем, нет больше слов, нет голоса, чтоб выхрипеть свою единственную правду-правоту: скопилась вся внутри без выхода и ломится — лишь кулаком уже, похоже, и могущая быть вбитой в

чугунок того, кто не согласен, кто не слышит, стоит, тупарь, за смерть завода своего и сам того, чушка, не понимает. И непрерывное, растущее в руке желание ударить, и даже сам себе никто не удивляется: сколь люто! И сорвалась одна рука, не вытерпев каления, и полетела молнией пудовой в чей-то котелок — со взбесившейся силой, которой все едино, в кого и куда попадать: в своего вот! рабочий — рабочего! И бьются горновые первой домны с цехом холодного проката № 2, и полыхнуло по цехам, как от проводки заискрившей, и в самой гуще он, Валерка, — как же без него? — своими машет рельсами-ручищами, друзьям по детству челюсти сворачивая и мастерамнаставникам раскраивая лбы. Уже и сам не знает, бьется за кого, — вместе со всеми глотку надрывает: «За Чугуева!» — и вроде как сам за себя, но и за Сашку-брата, как иначе? Хотя чего ему вот Сашка, если так-то? Что ль кучу денег отвалил, чтоб он, Валерка, за него тут крови не жалел? Чтоб брат за брата персейчас на брата? Заговорился аж — вот так уже запутался! Что он, Валерка, вместе с Сашкой теряет? Кто вообще ему, Валерке, может что-то дать, кроме рабочей каторги и знания, что чем упорней вкалываешь ты, тем только больше рассыпается завод, а с ним и личная твоя вся будущая жизнь? Как, как ему, Чугуеву, достоинство вернуть, вот это чувство верное прямое, что в жизни что-то от него, Валерки, самого зависит и меняется? Только в побоище последний смысл находит, спасение от вопросов без ответов, что бьются мухами чугунными в башке, — срубает с ног, заваливает, топчет, ударов встречных пробивающих не чуя... вместе со всеми по путям бежит куда-то. Беспощадный прожекторный свет бьет в лицо, разрезает глаза, раскаляет мозги, в слепоту замуровывает, и откуда-то сбоку табун на них ломит — словно зрячие против слепых; с торжествующим ревом врубилась, и уже он один, неваляшка,

кулаками молотит, размахивая налетающих по сторонам, в пустоту раскаленную белую наугад кулаки отправляет, и христосят его вчетвером — выключателем щелкает кто-то в башке: чернота, белизна, чернота от ударов, потянуло к земле, головой вперевес, и уже не командует больше собою — колода. И вот радость какая-то, что его больше нет... Только есть он, Валерка, не дают ему кончиться: потянула какая-то сила с земли — и стоит на ногах, макаронинах словно вареных. Держат трое в клещах. И дуплетом вопрос в оба уха, сквозь горячую муть в голове:

— За кого?! Чугуева?! Угланова?! Кого?!

— Чуг-гуева, Чуг-гуева... — вот себя называет, фамилию рода.

— Неправильный ответ! — И рельсом сразу в ребра, под вздох ему без жалости.

— Да стой ты, стой! Чугуев он, Чугуев! Чугуев в смысле самтЧугуев он и есть! Брательник Сашкин, ну! Чугуев-брат, рабочий!.. Валерка, как?! А ну-ка, брат, вставай! — И с братской уже заботой теребят, ощупывают: цел ли.

А он, Валерка, чухнулся, как кнопку в нем какую под ребрами нажали, — насосами, рывками расперла его сила...

— Да ты чего, алло, Валерка, ты чего?! Тимоха я, Тимоха! Ну крановщик с плавильного, смотри! А это Колян с Витьком, ну?! Мы ж все на свадьбе у тебя! Сервиз вам с нею чайный — это мы! Ну, то есть, не мы, а Людка наши с Катькой! Сам хоть себя-то помнишь, кто ты есть?! Валерка ты, Валерка! — Сковали, задавили буйного тройной своей тяжестью и сами, обессилев, рядом повалились, измученно воздух в себя широкими хватками набирая. — Вот ведь, Валерка, как — ты с нами тут, а братец твой над нами, иуда, без зазрения! Так за кого — ты, так мы и не поняли?

— За Сашу Чугуева! — как есть, им выдыхает в рожи.

— Вот номер, а! Ты че ж, мы, значит, правильно тебя?

— Зачем, Валерка, почему? Ты ж с нами тута, на земле, а братец сверху над тобой куражится. Тебя, брат брата, обирает! Чего ж, не понимаешь?! Какой тут голос крови?! Озолотил тебя по-родственному, может, чтоб ты вот так сейчас тут за него?

— Ага, вон весь прям в шоколаде! — Смех начинает бить его, безудержный, как кашель.

— Тогда зачем, Валерка, за него?!

— А вот чтоб вы меня тут положили наглушняк, наверное! — Крупнозернистой теркой смех по отбитому нутру его проходит: и больно — жуть, и мочи нет сдержаться.

— Совсем дурак, Валерка? Надо жить! Жизнь поворачивать свою своею волей!

Паяльником ему, Валерке, — в мозжечок! И вспышка лютым белым, замыкание:

— Сейчас своею волей! Ждите! Как на карачках ползали, так дальше все и будете! — В душник Коляну локтем! И на ноги рывком! — На тысячу баксов углановских клювы разинули?! Что на заводе вас оставит?! На рай рабочий, да?! За пазухой у пидора московского! Нагнет вас втрое прежнего — такой вам будет рай!

— Смотри, Валер, обратно сейчас вот заперцуем, как просил! — как с островка, со льдины, беззлобно-обреченно ему в спину.

Куда бредет — не знает. Полсотни даже метров в звенящем оту пении не пробрел, как новый топот сзади, табун нахлынул новый, потащил, врубили под ногами словно ленту транспортера: бежит со всеми вместе, не зная, за кого — Угланова, Чугуева, — плечами и ребрами бьется о камни катящихся плеч и голов, и

встречная лавина на них, как под уклон, срывается в молчании... схлестнулись и вошли, как вилы в вилы. Сгорели все вопросы, как спичка отсыревшая во мраке, и снова он, Валерка, рубит лес, взбесившейся проходческой машиной дорожку пробивает в хрипящей и надсадно кхыкающей массе, чугуевцам наотмашь челюсти круша, углановцам раскалывая ребра — все без разницы. И вот уже один — прошел насквозь всю кучу. Не видит и не слышит, не хочет даже знать, чья верх взяла, вбирает только воздух непрерывно со сладкой распирающей болью: болит — значит, живой он, настоящий. И снова налетели со спины, объятиями сковали, радостные очень:

— Свои, свои, Валерка! Ну даешь! Уделали углановских как нехер! И ты опять, вот ты! Машина наша врубовая, сила! А мы уж было думали, что все, Чугуева в больничку положили! А он, Чугуев, вот — стоит опять и машет! — И рожи все знакомые до трещин, до прожилок — Митяй, Мишаня, Викыч, с борзыкинской бригады все ребята, с кем языком глухонемых давно уж научился возле домны изъясняться... ну и Степаша тут же, главный закоперщик, вот разжигатель бунта — как же без него? — Нет, ну откуда столько их, углановцев?! Плодятся почкованием — Угланову поверили!.. Да ты чего, Валер, как неродной? Ну не сегодня — завтра выдавим паскуд! Они ж врасплох нас, светом ослепили — только из-за этого!.. Куда, куда?! В обход давай! Не вырвемся!

И вместе — вдоль бетонного забора. И по шлаковой куче на гребень. И с гребня — кубарем по склону, сквозь кусты. Прокатились и вырвались прямо к черной реке. Продышались, поправились.

— Ты, Валерка, давай, — на ходу выдыхает Степаша, — завтра утром опять

приходи. Без тебя нам никак, ты — наш главный таран. Если мы перед ними прогнемся сейчас, то уж больше не встанем. Эх, Угланов, ну сука! Половине народа башку задурил! Про подъем производства, рабочую честь! Крысолов, блин, умеет на дудочке! И вот, главное, да, половину под зад с комбината, признает это, сука, в глаза, все он так и задумал... и что?! Все равно половина за ним: увольняй нас, москвич, мы согласные! Это мозгом каким вообще?! Так что завтра как штык чтоб, Валерка!

И во что-то в Валерке попал: прохватило волной безнадёги и злобы на бессмыслицу этих штурмовых их приливов и отливов с завода, на какую-то безличную, непонятную, неумолимую силу, что магнитит их и волочит, куда надо ей и куда ему лично, Валерке, не надо. Молотить с первобытным озверением своих, вот одной с собой крови, породы — оно ему надо? И рванулся, попятился от дружков-собрагидников, как от чужих, зараженных, засаженных в новое тело:

— А идите вы все со своей войной! Все конем оно кройся!

— Да ты чего, Валерка?! Мозг тебе встряхнули? Ведь завод же за нами, завод! — Заклинание Степаша выдыхает всегдашнее, от лица высшей силы вещает, проводя в массы волю чугунных богов.

Но замкнулся Валерка в себе уже наглухо — верит, что насовсем изнутри запаялся, не подцепишь его, не потащишь никогда уже больше в дробильню, как вот этих всех осумасшедшевших, — и сорвался так резко, словно выдернул провод какой из себя, побежал своей собственной волей, в праве быть там, где выберет сам, отделенный от всех, только вот с каждым шагом не прочнеет, а наоборот, все пустее, прозрачнее, жиже становится, на бегу погибается вот от этой свободы своей,

неприкаянности, непричастности к правде какой бы то ни было: видно, сделан таким, что не может он сам по себе, слишком легкий и маленький, чтобы в нем отдельно нуждалась земля.

Вот куда он теперь, вот к кому, как же он без завода? — бьется гирькой чугуновой в башке. И спасибо, хотя бы на один из вопросов дается ответ — взглядом в этот ответ на бегу упирается, сразу и не поняв, что там вдруг за явление: у моста, на мосту в кучу сбились и глядят, как на зарево заводского пожара, сотни баб, утеплившихся телогрейками мужниными и платками пуховыми, чуть не весь женский город. И качнулась толпа мягкотелая, слабая, будто брюхом единым, Валерке навстречу — поскорей разглядеть, кто там вышел еще невредимым из боя. Жили только глаза на старушечьих лицах, усохших и сжавшихся в бурый комок, словно палые листья, на морозно горячих и свежих, налитых молодыми звенящими соками. Беспокойные черные ранки, сколь голодные, сколь терпеливые, выедали Валерку в упор, разрывали, расклеывали, кляли — будто было из них что-то вырвано и нельзя приживить, вернуть, пока муж или сын не вернется. Вот один вопрос в каждой пронимающей паре наставленных: где там мой? что там с ним? вы когда отдадите мне назад моего?

Побрел среди причитаний бабьих, всхлипов: «Они между собой воют, а нам тут стой трясись, куда его ударят, мужик он или клоун после будет!» — меж мягких толстых спин, в покорность стекших рук, среди грудей кормящих, откормивших, среди животов округлых и наполненно твердеющих, выпирающих в мир беззастенчиво и беззащитно — предъявлением зреющей в них новой жизни, выставляемых перед собой бессильной и огромной по силе нутряной укоризной: на

кого нас оставили с животами, мужья?

«А Кольку, Кольку видел моего?! С Трактористов мы, Ключевы, ну?!» — от цепляний настойчивых он отбивается, от знакомых, соседок, у которых на свадьбе гулял, от старух, кому с детства божился не тащить больше сына их за собой на бесчинства и в увечные драки... и по брюху вдруг крик полоснул его, вскрыл, охлестнул ликованием: «Валерочка!» И Натаха, Натаха к нему сквозь толпу, как с горы, полетела, с разгона вцепилась в него, дурака, всей своей задохнувшейся огненной тяжестью, жалким телом, зазябшим на ветру и юру.

— Никуда тебя больше не пушу, гад, запомни! — детски шмыгая носом забитым, по щекам его гладила безостановочно — не то кровь с его морды разбитой стирая, не то будто стараясь сберечь его, гада, лицевою штамповку, единственность черт под защитной стяжкой слез и соплей и чего-то еще, что текло в него жадной бессловесной мольбой, оставаясь надолго, высыхая не сразу.

2

— Ты что ж это творишь?! — Человек покупательной силы огромной в гостиничный номер ворвался, будто бы из огня, и навис над жердиной, воткнулся в лежащего сквозь очки убивающе. — Трибун народный херов! Схлестнул между собою гегемонов, поп Гапон! Месилово, война полномасштабная! Уже такое, что вообще нам не отмыться никогда... от крови. Ты, когда делал это, думал вообще?! Виртуальное измерение, виртуальное измерение! Решил теперь в живых людишек поиграть?! В рабочих, блин, солдатиков?! Ты понимал, что вот они — живые, ты

понимал, что кровь у них течет, понимал или нет?! Менты обделались: в забив уже не сунутся! — И заметался, шастает по номеру: вот здесь, у него под ногами, уже разлилось, и некуда ступить — замарывает ноги.

— И как там, трупы есть? — с койки ответ пустым и ровным голосом, с какой-то беспощадной властью знания, что все идет так, как не может уже не идти.

Ермо прожгло, остановило, развернуло:

— А иди посмотри, посчитай, сколько там их уже! Сколько ты! их уже!

— Если б не я, то кто-нибудь другой. Это реактор, Дрюпа, он рванул, и никакие фартуки свинцовые не сдержат. В них всех сейчас уже такая злоба, что только с кровью может выйти. Им все равно, кого ломать и за кого. А если б мы на них ОМОН? Дивизию внутренних войск? Ты так бы хотел? Сколько тогда бы было трупов? Гарантированно. Ты знаешь, что здесь было в шестьсят третьем? Когда им власть советская единокровная сказала: жрать будете то, что дадим. Их только танками тогда загнали в стойла. Здесь аномалия магнитная, Ермо. Ты думаешь, кто они? Люди? Они даже не русские. У них не то что пугачевщина — у них новгородское вече в подкорке. И с ними надо разговаривать. Чтоб за тебя кричали, за Угланова. А иначе тут не утвердишься. На каждом шагу под тобой проламываться будет.

— И ты поговорил!

— Я с ними так поговорил, что половина из них на площади стоит и продолжает меня слушать. А еще больше тех, кому все фиолетово — чья на заводе будет власть. А напусти на них ОМОН? Тогда бы все на нас пошли, все те, которые сейчас засели тихомирно по домам.

— А подождать вот тупо — не приходило в голову такое?

— Подождать, пока сдохнут все домны? И никакой нам «Свисс Кредит» и «Стандарт Чартер» таких объемов не дадут, во сколько встанет такой завод реанимировать? Мне сейчас надо этих железных поставить к машинам — сейчас! Вот насколько их хватит? На три дня, на четыре? Пару бошек друг дружке пробьют, кровь увидят — и встанут.

— Кровь же, Тема, ведь кровь!

— Ну а какие роды могут быть без крови? Главное, чтобы выжила роженица. И плод. Вот прогорит сейчас в них без остатка эта злоба, и озираться станут: где мы, кто мы? И вот тогда уж, на пустые головы, я окончательно им это объясню.

3

— Нет, нет и нет! — Натаха на нем виснет — в пустившем корни, запустившем когти страхе, что он, Валерка, завтра на вой ну еще раз побежит. Волочит за собой какой-то материнской уже властью, в дом загоняет наказание свое, и топает послушно огромный малыш, без единого взбрыка повинуюсь пока что. — Еще, Валера, только раз — не знаю, что тогда с тобою сделаю! Ты не молчи, ты «да» скажи, Валера! Пообещай, что больше никогда!

— Судьба завода вообще-то, — автоответчик в нем, Чугуеве, включается, под всей разламывающей болью в голове, под спудом знания, как все оно бессмысленно, как безнадежно, как непоправимо.

— И как она, вот как она решается?! Что вы, рабочие, друг друга кулаками?! Что

за война такая, кто на вас напал?! Чем это кончится?! Это ж, Валера, могут так тебя ударить... и можешь ты ударить, ты, что это все, Валерочка, тюрьма! Они там все, дружки твои, воюют — ну и пусть! А ты умнее будь, с людей бери пример! На батю посмотри вон, на Семеныча! Он не пошел, Борзыкин не пошел, Клименко оба, Сомовы, Самсоновы — вот все, кто умнее, никто!

— Куда им, старперам?

— Целее тебя, молодого, зато будут все! У Нинки с Веркой дома их мужья! Вот просто голову имеют на плечах. И ты б, Валерик, тоже вон лучше б на собрания тихо-мирно походил, вник, что к чему, чего кто обещает, ясней бы разобрался, что и как.

— Да уж куда ясней! И под Углановым кирдык, и под брательником родным уже не жизнь. Чего-то я совсем запутался, Натаха.

— Ну так домой пойдем, Валерочка, распутаемся, — зазябшим телом, внутренне горячим, прижимается: туда, где просто все, уже не промахнешься, Валерку тянет огненной лаской. И притянула, затянула — в их частный сектор переулками ночными. Вон отец с папиросой на крыльце полуночничает — уж которые сутки не спит.

— Ну что, навоевался? — прохрустел. — Котелок еще не раскололи?

— Иди, — толкнул Натаху взглядом, — я сейчас... Да уж лучше бы, батя, видать раскололи, — потянуло к земле, на ступеньки, сел рядом, захватив в обе лапы загнувшую голову.

— Несешь чего-то... это самое... совсем уж... — клокотнув, кулаком сунул в спину отец — протрясти, выбить дурь, да уж где там — обессилела, рухнула на

ступеньку рука.

— А как мне жить-то, батя, как, скажи! — От черепушки оторвал приваренные руки и надавил кричащими глазами на отца.

— От тебя же зависит.

— Так ведь в том вся и штука: от меня — ничего! Что же я — не работник? Пашу! Не смыкаю очей, как завещано. Домна дышит еще до сих пор только лишь потому, что вот я! Ну дышит — и что? И еще только хуже! За себя поднялись — показать, что мы есть, не скоты, чтоб терпеть, — и опять только хуже!

— Все еще может повернуться, — толкнул отец с какой-то неживой убежденностью, так, будто сам в себе неверие пересиливал.

— Кто повернет-то, кто?! — стиснутым ртом Валерка простонал. — Угланов этот, может, балабол? Тоже ему на старости поверил, крысолову?

— Так дело ж говорит. Сашка потек, а этот — все по полочкам. Послушал бы сначала, охламон, вместо того чтоб рогом упираться. Все расписал по пунктам, что намерен делать на заводе. Руду под Бакалом нашел. Считай, что у нас под ногами, вот новая Магнитная гора — возить ниоткуда не надо. Экономия какая. И с углем то же самое. Вот уже у казахов два разреза купил. «Богатырь!» И опять от нас в ста километрах. Прокатный стан на две пятьсот — четыре новых клетки методических с шагающими балками. Пять новых слябовых машин пятиручьевых. Вот в самую точку сажает прицельно, в больные места. Я вообще после Ракитина не слышал, чтоб кто-то масло так в башке гонял за комбинат. Он же не только в бухгалтерию уткнулся — он существо машины понимает. Вот он прошел по моему, чугуевскому, цеху и сразу все стыки по нижнему поясу видит. Что надо делать, чтоб на бошки кровля не упала.

А кто у нас когда в правлении про это говорил? Мы им говорили — они нас не слышали. И главное — про воровство. Вон конторские наши за Сашку горой — почему? А инженеры, Новоженцев-жулик почему? А потому что воровать он им дает! Валков новых нет, а по бумажкам они все у нас закуплены. И я их по пять раз на дню меняю — по бумажкам. А деньги себе инженеры в карман. Начальники цехов с конторскими на пару. Они вон у Сашки воруют, а Сашка у них, и все они вместе — у нас, у рабочих. Так он чего, Угланов, — вешать будет, говорит. Я, говорит, в тюрьму не верю, а только в возвращение телесных наказаний. Такой контракт вот с каждым трудовой, что в трех поколениях потом отдавать им придется. Полицию свою на каждой проходной.

— Ну прямо Пиночет какой-то, а не сам главный вор. Вот это что тут у тебя?.. Лапша с ушей свисает до колен. Не проходили разве, нет? Все за рабочий класс, пока на шею нам не сели. Они же только этому обучены — ла-ла.

— А Сашка с Буровым все эти годы не ла-ла?! Ты думаешь, я слепой, ты думаешь, я дурак? Все заразились, вплоть до слесарей! Валки своими же руками, твари, гробили, до голых мест, паскуды, шкурили, чтоб никель на продажу. Сталь нержавеющей, никель, молибден. Через забор связка за связкой катапульты. Не цех ремонтный — черная дыра! И все всё видели, и всем всё было похеру! Складские лыбятся, начальники облопались, а работяги — надо ж как-то жить, не проживем, Семеныч, без иудиной копейки.

— И вот Угланов, значит, с этим кончит?

— Кончит! — Захрустели в отце рычаги, завращались валы, перемалывая знание, опыт, что вот ни разу так не сделалось с приходом новой власти, чтоб

прекратилось или хоть убавилось от наведенного на человека страха воровство и каждый зажил навсегда в непогрешимом напряжении службы. — Если не он, тогда вообще никто. Давай, Валерка...

— Чего давай-то? Воевать заканчивай?

— И это тоже. Давай мы это... акции ему... — как что-то стыдное, стыдящееся собственной наивности, но все равно живучее выдалил отец.

— Давай, бать, давай! — аж до кишок озлился на отцову вот эту душевнобольную надежду. — Я, правда, думал ими стенки в туалете, но для такого дела, бать, в зубах их завтра принесу. Мало мы, что ли, им в зубах вот эти фантики? Сначала Сашке, Савчуку, потом обратно Сашке, а как на брюхе, батя, ползал, так вот до смерти уж теперь и доползешь! — Что-то совсем не то, слетев с катушек, выплюнул и задохнулся собственным паскудством, увидел, как лицо сломалось у отца. — Да погоди ты, бать, да я не в этом смысле!

Отец толкнулся, встал с превозмогающей натугой, и на мгновение почуял он, Валерка, что как-то уж слишком просторно заклокотали силы жизни в мощном, грузном теле совсем еще не старого железного — слишком свободно помещаясь и просясь наружу из разношенной клетки и истершихся в службе кузнечных мехов, и отчаянным необъяснимым детским ужасом страшно стало вдруг за отца, что пошел в дом без слов и в чьей поступи явственно слышалась перетруженность материала.

облучения — наоборот, три раза надо с ног срубить, чтобы уже не встал железный; незаживающей дырой, жрущей пастью глотает упертых бойцов комбинат. И не хотел Валерка снова в этот кипятик, а ноги сами принесли.

— Валерка! Молоток! Знал, что придешь, Валерка!

— Так это я так — обстановку.

— А сам же первым кинешься — доложим обстановку! — Степаша его зенками своими выедает, так, словно уж совсем он запаршивел, вот без него его зарезали, пока его тут не было. — Уволен ты, Валерка! Приказ на воротах! Вот кто-то стукнул, что ты застрельщик, в первых рядах старался больше всех — кувалдами своими за Чугуева. А как ты думал, если выдавили нас? Самое то — зачинщиков уволить и остальных, кто водит жалом, запугать. И кто ты, кто, Валерка, вот без домны? Какой же ты тогда Чугуев, а?! — вворачивает в мозг ему Степаша.

И верно ведь, правда последняя! Впустили свежий воздух в прогоревшее Валеркино нутро, с новой силою в нем полыхнула почти уже затухшая, растроченная злоба — гнев на то, что его, в поколениях стального, кость от кости завода, можно так от печи оторвать, по живому, одним только росчерком твари, решающей, где и кем ему жить. И другим, добела раскаленным куском — все прожжет и приварится — бьется в толпе, самый ловкий и страшный из всех, в гущу самую лезет, в чашобу, где пруты арматурные хлещут по рукам, головам, словно ветки, и вот только прочнее становится от облегчающей, радостной боли и ударом ломающим на удар отвечает, возвращает с процентами, под которыми гнутся, проседают тяжелые туши. Кровь ударила в голову, запах выбитой крови чужой и своей. И вот так гасит каждого, кто подвернется, что как будто нашел наконец-то того, кто во всем виноват, и себя сам

казнит, в одиночку под палки стальные бросаясь, и уже расступаются, пятятся перед ним нападающие, лишь бы только под эту кувалду котелок не подставить еще один раз, и чугуевцы метр за метром берут-отвоевывают, и Валерка уже на плечах отступающих первым несется... чтобы вынырнуть — где, непонятно — из блаженного этого помрачения бойни. Бьют прожекторы прямо в лицо, заливая всю площадь безжалостным светом; перед зданием правления он, все дороги сюда — и глядит вот на эту цитадель, белый дом, пароход, что все дальше и дальше отплывает от берега, с какой бы ты силой к нему ни ломился и сколько голов бы ни пробил по дороге. Видит белую стену, текущую к черному небу, как порог, как ступень много больше Чугуева: вот какая-то правда своя в равнодушно-незыблемой этой стене — не углановской даже, а вообще все равно какой власти, навсегда безучастной ко всему, что не есть ее собственный смысл — превращать передельных людей в передельный чугун и отлитую сталь — и в свою, нелюдскую, незыблемость.

И так ясно Валерка почуял убывание собственных сил, из него выжимаемых этой плитой по капле, что кулак сам собою взмыл в воздух, этим окнам грозя, этой кладке... и качнулся, попер на ворота, и толпа за ним следом, толкачом ему в спину, и уперлись в шеренги тяжелых бойцов спецзащиты — в лакированных гоночных шлемах, со щитами, в хоккейных доспехах, прикрывающих туловища, яйца и локти, — не ОМОН никакой, а уж личная армия бога-Угланова замахала дубинками... будто конь над Чугуевым встал на дыбы и обрушился прямо на темя копытами... и бегут уже все в направлении обратном, как коровье стадо от раскатистых выстрелов сотни пастушьих кнутов, о своих же товарищей запинаясь поваленных, о Валеркину тушу, о бошку, попаданием прямым целиком

обесточенную.

...И неизвестно где бредет, куда, мир слыша, как из-под воды, вброд переходит беспредельную асфальтовую реку, проваливаясь в донные ловушки то и дело... и весь мир во вращательный танец пускается, гончарным кругом под ногами вертится земля с хороводом панельных высоток и голых мертвых черных деревьев, похожих на корявые трещины в небе. И ничего уже не хочет, мозгом обессилев, — ввинтиться только в мерзлую ноябрьскую землю, как шуруп. Рукой отшибленной калитку силится толкнуть и погружается ладонью в дерево, как в воду. А за калиткой — густорозовым пятном пуховика сквозь горячую наволочь в зенках — жена, звонкой стрункой с коленками голыми, и пар мятущийся ее дыхания на морозе. Как будто здесь все это время и стояла, на ветру, свое проклятие — Валерку дожидаясь. Глаза огромные и горько-пересохшие, казнящие.

— Опять туда, вояка, ну, туда?! — стиснутым горлом проклинаяще шипит. — Ведь обещал, что всё, ведь обещал!

— Да, — только это выпихнуть он может.

— Что «да»?! Зачем?! — Одним лицом своим, глазами его сейчас к себе не подпускает — не может шага сделать к ней, как приварился.

— Натаха, сам не знаю... засосало...

— Нет, нет, — неверяще поводит головой, больше, чем сам в себе, в Валерке понимая. — Ты! Ты! Ты это сам!

— Ну я... и я! А как не озвереть? Ведь в шлак меня слили, уволили. Пошел им сказать... был должен сказать...

— Нет, нет... — глазами кричит. — Чтобы не жить, чтобы совсем пришибли —

вот почему, Валера, ты пошел. А то, что я... что мы...

— Да, да... — вклешился, вдыхал ее, пил — всю ледяную под цыплячьим пухом, рыбьим мехом... она не зашипела, не рванулась, но и в него не влипла, отдавая ему все сильное в себе, как это прежде было в их объятии всегда. — Я думал, всё, Натах, вот точно всё, вернулся, повоевал разок и хватит, больше ни в какую! Ну а меня под нож, под увольнение. И где я, кто я без завода?! Никто и звать меня, Чугуева, никак! Сломалась жизнь.

— Ты, ты сломал! — в тисках его шипит.

— Я, я! — Ее в себя вжимает, пьет с лица, ни оторваться, ни напиться все не может. — Как лапками взбиваю и барахтаюсь — и сам себя топлю вот только, сам себя!

— Так что ж, не жить вообще — такой отсюда вывод, сволочь, гад?!

— А я могу? Могу я — жить?!

— А я... я могу, если ты?! — истерзанным голосом режет таким, что в них, как в одном человеке, дыхание срывает. И мертво, не собственной волей, не мамкиной уже угрозой неслуху — всерьез: — Еще раз пойдешь — меня не найдешь.

Прожгло — как вдоль хребта огрели арматуриной, и со сладкой, радостной болью опять:

— А ты давай, Натах, давай! Ты в самом деле... ты не жди! Изпод меня вот выбраться — и выход! — И сам с собой внутрих опять воюет — на разграбление отдает их общее единственное то, что беречь заложился с самых первых совместных шагов, первых дней изначального счастья, не загсовскими полуфабрикатами вот этими: «беречь и уважать», «быть вместе в радости и в горе», а говорением немим в

самом себе поклялся, взяв ее за руку со знанием, что только с этим человеком ты бессмертен. — Ты это... ты бросай меня, раз так... бросай совсем, пока еще не поздно. Пока детей нет, ну! Еще успеешь. Еще найдешь себе, с кем можно жить по-человечески. И еще как найдешь — тебе-то только свистнуть! А то я кто? Сегодня безработный, завтра бич! Вот на одни портки за жизнь и заработал. Так что давай, давай! Вон Сашка мается один в своих хоробах. Другой Чугуев, мощный, не нам, другим Чугуевым, чета!.. — остановиться все никак не может, себя известно с чем мешая и радость подлюю в своем уничижении находя.

— Раз ты не хочешь, то и я не буду, — вновь на Валерку — закричавшие глаза.

И продрало Чугуева вот этой бесповоротной, неживой ее решимостью:

— Натаха, что ж такое говорю?! Чего ж творю-то, а?! Да я клянусь тебе — вот все! Забыто, похоронено! И проживем, и заживем еще, клянусь! Натаха, верь мне, слышишь, верь!

— И ты мне... — эхом отзывается.

5

Не мог поверить, что живой. Непрожеванный, сплюнутый, с обслюнявленной биркой «Директор ОАО „ММК“», он, Чугуев А. А., то сидел, то стоял в пяти метрах от служившего сталелитейную мессу двухметрового монстра Угланова и мертвел, сокращался, прекращал свое существование от хирургически точных углановских попаданий в хребет, костный мозг сталевара. Он, Угланов, магнитил рабочую массу и рассверливал общий могутовский череп, проходя корневую породу насквозь

нестираемой алмазной коронкой, буром беспощадно расчисленной, ясной программы «возрождения завода»: двадцать два миллиона в разработку Бакальского месторождения, что на двадцать лет минимум(!) станет страшным по дешевизне и запасам руды новым донором для комбината, а еще будут куплены им Святогорские и Качканарские рудные жилы и ГОКи: удешевление агломерата и окатыша в 7,5 — 18 раз в зависимости от конъюнктуры электрических и транспортных издержек. Экибастузские разрезы «Богатырь» и «Западный» — удешевление угля в 7 — 10 раз. Включить до 10 % прибыли в зарплату каждого железного — сновал углановский разогнанный до частоты швейной машины пневмомолот, сбивая тысячи внимающего люда в плиту согласного молчания и одобрительного гула, и чуял он, Чугуев, сдвиг по миллиметру заочневшей, замороженной унынием могутовской породы и задыхался от признания себе, что этот монстр делает все то, что сам он, Саша, должен сделать был, и он бы сделал это САМ на комбинате, если б ему на это доставало тупо денежной массы и ресурса влияния в «системе»... но он всегда был, Саша, нищим, изначально — не подключенным к самым мощным источникам бесперебойного питания в Кремле, а этот, этот — с Ельциным(!) по воскресеньям перебрасывался мячиком на корте.

Полыхнуло, в увечные сшибки друг с дружкой пошел заводской молодняк — Саша вздрагивал от законных ударов и совсем уж не верил, что он это, он так настроил людей на явление Угланова; о себе много думает — что способен разжечь и поднять эту силу и тем более ею владеть, направлять, куда надо ему, — все рвануло само, не могло не рвануть в головах и грудинах человечески необъяснимое «это», не сводимое к словам «унижение», «ненависть», «вымещение», «отчаяние», что-то не

позволяющее уловить себя для называния, что-то более темное, близкое к самым нижним пластам человеческой сути. Стало нечем дрожать — даже за собственную, эту, в физическом обличье, единственную жизнь; можешь меньше, чем заяц, чем мышь, сделать для сохранения своей... уж какой тут завод, восемь тысяч гектаров цехов и железнодорожных путей? Все сделается само, сомнут его, Чугуева, его собственные, придавшие ему прозрачность рабочие — поднявшейся водой бескормицы и злобы, и есть в этом какая-то окончательная правда и даже красота возмездия, что ли, — по делам, по стальным урожаем его, Саши, бесплодного царствования. Никто теперь с ним больше уже не торговался за пакет: зачем, когда завтра рабочие сами на бархатной подушке вынесут Угланову железный скипетр с чугунной державой?

Чугуева затопило слабоумие, и самому уже хотелось перейти остаточной малостью в подножный глинозем — утечь, протянуться, пробить ростком почву в заморском, оранжерейном, европейском «там». Гнев на свое бессилие больше не душил — только б слиться «отсюда», только это осталось, но на пятые сутки войны — ниоткуда, с небес — угодила в него телефонная молния, обвитая жгутами электричества огромная рука взяла его за голову и вырвала из ямы, из вмятины углановской каблучной: хотите из «ничто» обратно в сильные? Мы — банк «Империяль», мы можем вам помочь. Давайте завтра встретимся в Челябинске — реестр у вас в руках, насколько понимаем?

Отснятую с маниакальным, подавляющим размахом рекламную «Всемирную историю. Банк „Империяль“» — Чингисхан, Тамерлан, Македонский, бутафорское золото, горы костей в основаниях великих империй — через каждые десять минут

ежедневно крутили на всех федеральных каналах лишь затем, чтобы двадцать, от силы пятьдесят русских правящей расы в Белом доме, Кремле, Горках-9, Барвихе невзначай зацепили, царапнули взглядом экран и у них отложилось: вот такие заходят на прием к ним ребята. Вот не меньше, а может, и больше Угланова сила — «Верхозин» — подзывала его; Саша, поднятый зовом, полетел воскрешению навстречу, сбывавшимся, когда уже не верится, мечтам найти сильного друга, и спастись, и жутко отомстить за унижение, вонзился в ресторанное тепло, в отдельный кабинет, поверив, что и ему теперь, Чугуеву, предстоит переливать стальные реки по наклонной совместно с этими ребятами, акционерами одной шестой, которые... просто его сейчас перекупали. Вворачивали в темя: у вас есть по уставу 43 000 000 объявленных акций, но не размещенных, по рублю за кило сам себе ты продать их не можешь, и Угланов, конечно, над тобою смеется, но теперь появляемся мы и берем у вас этот пакет за реальные деньги, предлагаем 175 000 000 на открытых торгах, и Угланов не перешибет, у него сейчас нет таких денег, отдал все за «Тюменскую нефть», весь в кредитах, на завод мы заходим и давим Углана эмиссией до 0,000001 %, стадо не при делах, а вы лично получите 25 000 000, ну и место в Совете, вообще оставайтесь директором, если хотите, ну под нашим, конечно, контролем.

И Саша потерпел, насилиу удерживая бешеную радость: деньги были ничто, но вот он — не ничто, не слизняк под углановским вмявшим, не почуявшим и раздавившим его каблуком; он решает, под кем быть заводу, и пускай самодержцем Магнитной горы самому ему больше не быть, но и огромному Угланову не утвердиться над заводом никогда. Оставались бумаги, бумажная труха, в которой он

за сутки дорожку прогрызет... и только на лету обратном, к дому, подумал наконец про САМ завод: кому он его отдает — чтобы стал завод чем, размахался и вырос во что, сократился и пал до чего?

И была в этом снова красота наказания, расплаты: на подлете к Могутову тормознули одетые, словно дети для зимней прогулки, с автоматами, в бронежилетах, гаишники — махнули полосатой палкой на придорожную стекляшку: там тебя ждут, пешком давай, по-резвому. Кукан прошел сквозь жабры, и по натянутой струне он двинулся к стекляшке напрямик, по ледяной грязи слитого мазута; нет времени на выбор места — ввели черным входом, дорожкой из кафельных плиток между стальных пивных бочонков и алюминиевых бачков с блевотными отбросами — чтобы не дать его, Чугуева, заметить, опознать кому-то из стучащих ложками туземных сталеваров, приехавших из пунктов сдачи вторчермета, водители транзитных фур не в счет; прохлопали сноровисто по голням, коленям и бокам безликие охранники, шагнул через порог под хирургический направленный свет и увидел — мгновенно узнаваемого по росту нескладного большого человека, сидевшего в углу с такой скучной незыблемостью, словно ни маленького Саши, ни даже целого Верхозина с его «Всемирной историей. Банк „Имперяль“» для него осязаемо не существует.

Утром в субботу старый свой «москвич» из гаража выталкивают общими усилиями — сын и отец Чугуевы, Валерка и Семеныч. Боль по ушибам бьется и разламывает череп — расплатой за участие в могутовской войне, и в замороженном салоне еще долго тыркает в зажигании батя ключом, кривясь страдальчески и стискивая зубы, как будто в собственном нутре он ковыряется, и еще долго под откинутым капотом Валерка возится, отверткой подчищая карбюратор... И наконец-то сговорился батя с чахнувшим движком, заклил его своим шипением, умолил — чихнул мотор, прокашлялся с вонючим синим дымом и зарычал в погибельном насаде: ну, значит, могут ехать, и прицеп в молчании заваливают ломом, натасканным со шлаковой горы за месяцы разведки, копошения: двутавровую балку, которую в одиночку не поднять, обрезки уголков чумазных, швеллера... со двора на своем «башмаке» выползают, скрежеща и кряхтя, проседая в рессорах под взятой тяжестью, и подушку тумана светом фар понемногу пропихивают по дороге вперед, в изводящем молчании по шоссе километры накручивают. И не выдержал первым отец, покачал, как один на двоих воспалившийся зуб:

— Жди теперь и терпи — только это осталось. Это вам всем шурупы на место вворачивают — больше чтоб воевать не ходили, на запчасти друг дружку разбирать

почем зря и вокруг материальные ценности портить. Как еще удержать дураков? Это ж предупреждение было, а не увольнение — неизвестно, повесил его еще кто и имеет ли эта бумага законную силу. Понимать должен был... Да когда ты, балбес, в чем-то мог разобраться? Крутит этот Степаша тобой, поджигатель, это надо еще разобраться, из-под чьей это дудки он все. И вообще помешались — сами в петлю себя, молодежь. Не за завод уже, не завод, а вот будто и жить не хотите. Вон в больничке уж коек свободных от вас не осталось, а хоть бы вам хны, только искры сильнее летят. Ну а стукнешь кого — и под суд? На минуту хотя бы сообразилку включаешь? Что такое вот можешь своей колотушкой? Так что жди и терпи. Мастеров, их беречь теперь надо, мастеров за неделю не сделаешь.

— Ну одна у тебя теперь, батя, пластинка. Бог Угланов все сделает. И вот ты ему нужен, первый мастер проката. Да твой горб нужен им, забесплатно, на горбу твоём слябы катать — только это.

— А вот хоть бы и так! За копейку несчастную, без уважения, но нужен.

— Не бывает так, батя, не бывает.

— Ну а кто создает материальные ценности? Ну вот нет уважения к мастеру, торгаши повсеместно одни процветают, управленцы конторские вон на нас морды кривят: мол, мы белые люди, ты черная кость, а все равно на мастере все держится, береги его, мастера, потому что не будет его — ничего тогда вовсе не будет на русской земле. Ножик мать вон вчера принесла. «Мэйд ин Чайна». В Могутове! Я его, этот ножик, в двух пальцах сломаю.

— Кто же спорит-то, батя? Только где оно, где?

— Это что значит «где»? Вон он я, вот он ты! Предназначения своего рабочего

держаться — это прежде всего, как бы ни было. И это неправда, что ты говоришь. Что все так живут — лишь бы только пропить и прожрать, — и раз все, то и ты по-другому не будешь. Что вообще тогда не хочешь жить. Ты смотри, вот сегодня не хочешь, а как завтра обратно захочешь? А захочешь — тогда будет поздно, развалился уже, не собрать.

— Жизнь потащила, жизнь сама — куда самой ей надо, а не мне. Я, может, и сам не хочу, а иду. Вот только встану, бать, и по башке опять мне, по башке! Вчера опять с Натахой... ну, из-за этого всего она вот начинает... ну, разбежаться нам с ней, может, насовсем...

— Куда разбежаться, дурак?! И не вздумай! Да ты еще цел, потому что она! Она ж тебя и держит, заземляет. Ответственность все время — что вот она, душа живая, за тобой. Держись ее, держись, ведь пропадете друг без дружки в этой жизни... она-то без тебя вот, может быть, и нет, а ты-то без нее — уж точно.

— Так лучше ей, Натахе, лучше без меня.

— Ну, логика! А ты не бедокурь. Не бедокурь, чтобы она не отдувалась. Проникся, осознал, что бабе худо, — ну вот и держи себя в рамках тогда. А ты ее с воза и сам под откос — вот как здорово! Вот наградила сыновьями жизнь-то меня, а! Чего ж детей-то с ней за время все не сделали? Не прокормить боитесь, что ли? Да нас троих вон батя с мамкой — на лебеде одной, картохе, уж не в пример был голод, вообще война, и ничего, все выжили и зажили. Был бы свой потрох — сразу бы мозги на место встали.

— Так что ж, сейчас нам с нею, может, сделать?

— Да уж молчи теперь, производитель! Сперва вот землю под ногами снова

ощути. Крышку держи обеими руками, чтоб не сорвало.

И все, приехали, движок их старый выдюжил — свернули, затряслись каждой железной отрывающейся частью по колдобинам вдоль мертвого бетонного забора, поверх которого просматривались горы рыжих от ржавчины поломанных и искореженных костей могутовского монстра; у крытых выцветшей голубенькой краской ворот образовалась медленная очередь из ошетилившихся связками заржавленного профиля и разбитых рекордами грузоподъемности «москвичонков», «ижей», «жигулят» (ископаемых, жалких, пестрящих, как политическая карта мира, пятнами шпатлевки), незаглушенных «муравьев», «планет», «юпитеров» с колясками... Под ленивым приглядом двух охранничьих туш в камуфляжных бушлатах встали в хвост вереницы вот этой ползучей, продвигаются по сантиметрам навстречу позору и легковесному комку бумажных денег, не греющих тяжелую, как слиток, широкую разбитую рабочую ладонь. Пустырь им открывается, заставленный египетскими пирамидами промышленного лома, два бульдозера тут же, маневровый «Ивановец»-кран, заползли и бегом разгружаться: вторчермет весь налево, медь и никель направо, все в молчании делают, добавляя еще сантиметры, килограммы вот к этим могильным курганам... и какой-то нажим вдруг на затылок Валеркин: припекает сильнее и сильнее — что такое? Обернулся — то самое! У соседней машины старьевщики, четверо, на него неотрывно глядят. Кто такие? Чего он им, а? И все четверо разом к нему, и еще двое к ним от весов, обступили:

— Этот, это, он самый, амбал. — Тяжелее все и тяжелее на Валерку глазами надавливают. — Что, паскуда, не ждал?! Не признаешь никак?! Как Кирюхе скворечник раскокал вчера?! Только так ломал наших, злее всех за Чугуева, гнида!

— Пересеклись пути-дорожки, прихвостень чугуевский! Все, бугай, мы сейчас тебя будем месить!

Ну конечно, месить — прямо счас... ему что — ничего под буравящим натиском этим: отродясь не дрожал, в животе не прихватывало перед кем бы то ни было, будь хоть трое, хоть пятеро, но ведь он обещал же, Валерка, заложился не лезть ни в какую зарубу — перед батей, перед Натахой поклялся... вот ведь жизнь: и не хочешь, а дерись, отвечай, никуда от войны ему этой не деться, и взмолился аж даже, на себя не похожий:

— Это самое, ребят... мож, не надо. Ну вот было и было, забыли, проехали. Еще больше ведь дров вот сейчас наломаем!

— Как ломал нас, забыл?! — И ногой его в ляжку, за ворот, наскочили втроем, навалились, на капот опрокинули скопом, безрукого, — не пускает он руки в простые движения, еле-еле себя пересиливая и смиряя вот в этих тисках: не вломить, не рвануться всей мочью в ответную!

— Э, вы что там такое? — обернулся отец. — Э, пусти его, вы!.. вы чего, мужики?!

— Уйди, отец, пока не схлопотал! — Самый рьяный из всех отмахнулся — летит уже наземь, отцовской рукой за шкирмо, как кутенок, сграбастанный.

И споткнулись все, обмерли в непонимании, почему это он, их дружок, не встает, не встает прямо сразу... и уже на отцовский кулак все таращатся, взглядом пристыв, — руку каменотеса, вальцовщика, огородника, молотобойца, на штырек металлический, что зажат в кулаке этом черном и гнется под нажимом большого заскорузлого пальца в скобу.

— Да ты чего, мужик?! Да наше это дело!

— А вот того! Рядком не ляжете, но одного уж точно положу! — с клыкастым оскалом, звериным упором, отец их глазами, отпрянувших, рвет. — Что ж мне в сторонке, когда на сына впятером?! Когда вот так рабочие рабочего? Свои своего! Совсем с нарезки сбились, сопляки?! Так я сейчас резьбу вам прогоню! Он, может, и дурак пробитый, но он мой! Ну так чего, забыли, разбежались? Или друг дружке котелки расколошматим? Так чтоб на пару меньше рабочих человек на свете стало и на пару вот клоунов больше? Прибьете идиота, а мучиться-то будете как из-за человека! И расступаются, глаза у всех куда-то подевались: нет сил поднять и прямо поглядеть ни на отца, ни друг на дружку даже... И на пути уже обратном, с пустым прицепом тряским на хвосте, Валерка не выдерживает, фыркает:

— Слышь, бать, а я уж и не вспомню, когда ты за меня в последний раз вот так впрягался — было ли такое.

— Поржать бы лишь, негодник. Лежал бы сейчас сломанный, и я с тобою рядом — вот смешно!

— Да мы б их, бать, с тобой там в штабель уложили! Слышь, бать, признать хочу: напрасно я тебя списал в утиль так рано. Смотрю — а ты еще любого на ручонках пережмешь. Теперь таких не делают! Вот мне б таким, как ты, в твои-то годы.

— Ты доживи до них, дурилка, до моих! С умом своим, скворечником дырявым... Ведь чуть же не убил, — сознался, как из-под земли.

— Кого, бать, кого?

— Кого сейчас вот от тебя оттаскивал и бросил, этого сейчас! Замкнуло все в

башке, собою больше не команду. Уж если я такой, это какой тогда быть должен ты? Это ж вообще тогда неуправляемый.

— Так ведь за кровь родную, батя, если так-то! Наверно, правильно, считаю, правомочно.

— Не лезь, Валерка, больше никуда! — с каким-то хнычущим бессилием попросил, и затрясло его, и с мукой выпускал — из-под плиты Валеркиной природы: — Как хочешь, понял?! Хоть руки «Моментом» по швам, но не лезь!

— Так я чего... я даже пальцем вон сейчас. Ну ты же видел: вытерпел, не стукнул. Значит, могу, могу себя держать. Давай за это, батя... — И на стекляшку придорожную кивает — вон она выплыла манком для всех закончивших тяжелую работу и надорвавшихся в бесплодии тягловых усилий, стоит вот тут с начала перестройки и ржавчины на всем могутовском железном, одна дорога в город, одна — не миновать.

Отец только по праздникам большим рюмашку пропускает — не знает этой радости угарной скоротечной, такой вот организм, не принимает, но червячка сейчас согласен заморить, от драки этой вот, задушенной в зачатке, отойти. Зашли, знакомым покивали. Графинчик у Томки со стойки забрали, тарелки с горящим борщом — мясо вон на желтых костях, кольца жира.

— Ну, батя, давай, — костяшками сведенными ткнул в отцовы фаланги, опрокинули оба по капле, над тарелками молча склонились, заработали ложками, жвалами.

Исподлобья глазами стекляшку обводит — кирпично-обожженные знакомые все лица, угрюмо-терпеливые, жующие, распаленные. Жует — и поперхнулся, ложку

даже выронил, расшибшись ровным взглядом о лицо сидящего в углу — лоб и скулы того, с кем когда-то на соседних горшках заседал и захлебывался смехом на всемогущих руках изначальной молодой общей мамы; то лицо, первых дней, мягко-круглое личико, брызнуть готовое безутешной обидой, ревом, водой, проступило сквозь это намученное ежедневной бессонницей, страхами, затвердевшее в штурмах, осадах, акционерных подкопах кротовых... Сашка, брат, там в углу! Невозможно живой, настоящий, непонятно, вообще какой силой занесенный сюда, в их босяцкий шалман придорожный, — с длинным кем-то, не видным в лицо, сепаратно о чем-то шушукается и не видит Валерку, не чувствует наведенного братского взгляда совсем, так его сейчас длинный собеседник магнитит, обращенный к Валерке пиджачной спиной.

— Ты что это, Валерка? Не в то горло? — Отец мосол обсосанный бросает.

— Ты глянь, бать, только глянь, — выпихивает еле из гортани. — Вот кто? Узнаешь?

И батя уже, обернувшись, на сына выпучивается — другого, второго, который от яблони очень... ушел вертикально во власть навсегда, на спутник сорвавшийся околоземный:

— Сашок! С Углановым Сашка, они! Чего они тут это, а?

С Углановым, точно — жираф же, жердина! Враги, выпить мозг друг у дружки готовые! С машерочкой шерочка! Нажала на темя Валерке последняя правда, и с режущей, вспоровшей ясностью увидел он сошедшее все: рабочую несметь, кипящую перловку у заводууправления, себя — стальным зерном, с такими же, как сам, спеченным и расплавленным в клочущую лаву, ничтожного, затерянного,

верящего, что сам определяет сужденное заводу и себе, и махачи ночные по цехам, и речи, поджигающие искры, гремучие заклятия вот этих вот двоих — зависших над схлестнувшимися лавами расходно-передельных сталеваров на сберегающей от брызг и щепок высоте. Из живота плеснуло чем-то в голову — уже и сам не знает, что такое захлестало и сквозь него качается насосами, чего теперь от них он хочет, даже не сам он, а еще вот кто-то в нем, Валерке, поселившийся, — сама собой пасть в крике раздирается:

— Сашка, брат! Не продавай Углану акции, не надо! Брат, я же кровь за тебя проливал! Ты же, брат, за завод! Ведь сожрет же нас, гад, вместе с домами — ты же сам говорил! От него вся поруха! Ты ж наш могутовский, исконный, заводской! Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев, мы! Вот тут же батя наш, а ты нас продаешь! Да ты живой сейчас лишь потому, что были мы! А то бы он тебя, Угланов, с корнем в первый день! Почем завод-то, Сашка, просто интересно! Вся наша жизнь — за сколько ты нас продал?! А эти двое как сидели, так и сидят, угнувшись, маскировщики, со своей высоты будто вправду Валерки не слыша.

— Э, брат, Иудушка, чего как неродной?! Чего ж теперь? Ты брат мне все равно! Вот батя твой, на батю посмотри! Обнимемся, чего?! Проводим тебя с батей на личный самолет! — юродствует Валерка истово, но чувствует: вот на тот свет кричит, в могилу или сам — как из могилы в небо, в высоту, в буржуйскую галактику соседнюю, и не добить в глубь того космоса, в глубь мозга вот этих двух пришельцев высшей расы. — Угланов, э! За сколько взял нас оптом?! Ты не стесняйся, что там, ты ж не переплатишь! Уж через хрен-то кинул Сашку-дурака!

И поглядел тут Сашка на него из своего надзвездного далека, брат на брата, как

на докучливую мелочь, как на утопленника вот, что подо льдом перед глазами проплывает и зацепился за корягу, не уходит. А этот, монстр, Угланов, божество, не шевельнулся даже, не потратился, и от упорства непроломной этой толщи, их поделившей навсегда на низших и верховных, в башку его, Чугуева, рванулся кислород и распустилось в нем остаточное пламя: затопило взрывной потребностью вбить, доказать, что он есть, что живой, настоящий, есть в нем сила, которой нельзя не почуять, — потащило, сорвало с нестерпимого рабского места, из прозрачной вот этой его пустоты, не простит он которую им, разобьет:

— Что, сука, совсем там оглох, наверху?! Слышь, поверни ты свое рыло, когда с тобою разговаривают, величество!.. Ниче-ниче! Сейчас услышишь! Сейчас я, сука, до тебя предметно достучусь! — И в чугунном наплыве, расплаве сцапал ощупью твердое что-то и занес как гранату над башкой закипевшей — в голову!

— Стоять, Валерка, стой!

Отец вклешился в руку — в ощеренном больном усилии уберечь, но хлопнула уже граната монстру в голову, и взрывом повалилось все, и грохот: через поваленные стулья брызнули охранники — по головам и спинам смятых и разбросанных — и уже их ломают, обоих Чугуевых, гнут, и уже обвалился на колени отец с оскалом будто бы уже незаживающим, и мордой его в пол, в плечах ему вылушивая руки без пощады, а в нем, Валерке, — смысл уже последний: только не лечь тут мордой в пол, не поклониться, и не ломается, не гнется, разрывает, бьется о стены вместе с тушами, которые его в тисках своих сковали, приварившись... и вот менты уже вокруг, железо оружейное, кокарды-звездочки законной русской власти, один вцепился — в лоб ему Валерка, рассвирепели серые бушлаты:

— Руки, паскуда, руки в гору! Вот только рыпнись — на запчасти разберем!

Да только он, наоборот, их разбирает, несет на стены, на столы взбесившейся силой, в единой сцепке, спайке с ними разом рушится. И батя, батя с пола придавленную голову заламывает кверху, оскаленным лицом к Валерке тянется в предельном натяжении всех жил:

— Не надо, стой, сынок, не надо! Прошу, сынок, сдайся!.. Сын-о-о-ок!.. — И оборвался батин рык, словно упало, перерубив его, стальное полотно — так он кого-то снова молотнул, раз только двинул — и простор ему, дорога... во что-то мягкое, мясное наступил, заголосившее придавленной свиньей, и на свободу выломился, воздух... кусал его, всей ширью набирал, незыблемо себя поставивший, железно утвердивший перед властью ублюдочной, инопланетной вот этой, набирал и не мог надышаться никак, с такой режущей болью, с такой сладкой неспособностью вместить, что как будто была впереди еще целая жизнь, непочатая воля и как будто совсем ничего ему от беспредельности этой уже не осталось.

2

Неудержавшийся, бессильно обвалившийся на деревянную скамейку у стены, Саша впервые видел настоящего Углового так близко — человека из кожи, с морщинами, родинками и заметной стерней на впалых щеках: сильный выпуклый лоб — словно кожух реактора на тепловых или быстрых нейтронах (ну навязывал, видимо, Сашин рассудок Углового нечеловеческие, inferнальные прямо черты), псы карие глаза с оттянутыми книзу острыми наружными углами, обезжиренное,

состоящее из одних только острых, упрямых бугров, костяное лицо с прямым таким обыкновенным русским носом и тонкогубым, плотно сжатым ртом; какой-то изъязн челюстного строения, недоразвитие, ущербный подбородок, но как-то вот не замечается, не видится как слабость — угадывается сила по тому, как смотрит человек. В прямом пустом и сильном этом взгляде не только Саши — вообще людей не содержалось никаких — настолько, насколько фасеточный глаз насекомого не дарит человеку ни малейшей задержки впечатления в своих несметных омматидиях; глядя вот в эти стершиеся о людей, не то еврейские, не то татарские глаза, Саша не мог отделаться от чувства, что монстр видит не лицо, не норы, не повадки — лишь электрические вспышки разной яркости, и только то, что может бить и резать, — явление ощутимой для Угланова покупательной силы, проходческой мощности — фиксируется этими участками открытой чуткой слизи.

— Женат? — поверх дымящегося кипятком прозрачного стаканчика бесцветно шевельнулись губы, и Саша обомлел от этого вопроса — казалось, навсегда обрезанного этой углановской фасеточной незрячестью — о человеческом, обыкновенном, земляном, расколошмаченной посуде, визгах, сварак...

— В смысле? — Он отозвался, как дебил, не понимая, зачем Угланову касаться личной правды позвоночного, млекопитающего Саши, перед тем как его уничтожить. Неужели ему интересно, охота тратить время на игры в «человечность» и «доброе»?

— В смысле детей еще не сделал?

— Нет. Пока нет... вот как-то не сложилось... — спохватчиво затараторил, вываливая перед Углановым свое интимно-нутряное, вытягивая кишки, струну отцовской гордости и прочих малоценный ливер... сейчас еще спросит: «А что

так?» — и будет долго слушать и кивать тому, как у него, Чугуева, не вышло, и главное, он, Саша, сам себе не веря, почуял благодарную собачью готовность «поделиться»...

— А у Демида трое, — Угланов прохрустел завистливо. — Когда только успел. И палки мне в колеса, и эти вот... палки... А от меня жена ушла. Сбежала со всемирно знаменитым композитором. От меня, человека, который может дать вообще все. Я когда слышу что-то там про равные возможности, «всем по-о-о-ровну», меня всего прям так и выворачивает. Какое нахрен «поровну» в природе, когда другого любят — не тебя? Вот бабы не делятся поровну. Мясо с дырками — да, то, которое с подиумов продается в купальниках, а вот бабы живые, настоящие — нет. Даются одному. И никаких блокирующих пакетов. Исключительно личный стопроцентный контроль. И почему не мне-то, а? Несправедливо. И одно утешает: обязательно сдохнем когда-нибудь все и тогда уравниемся. — Нет, не с Сашей он — сам с собой говорил. И сломал сам в себе эту тягу — редчайшее счастье? — отключиться от акционерной войны за Могутов хотя бы на дление, сократиться до личного, до «души», «до любви», до того, в чем он нищим оставался, Угланов: — Ну так сколько Демид обещал тебе за размещение откинуть?

— Хочешь перекупить? — Пусть почует Угланов, что может не все, не всегда, пусть почует потерю, пустоту в своей пасти, когда самый крупный в России железный кусок вырывает из жвал его кто-то другой.

— Ты не в том месте пищевой цепочки, чтобы тебя перекупать, — сказал Угланов без желания унижить.

— Что ж, с Верховиным будешь в арбитраже тягаться? — Чугуев упирался,

напрягал заемные, подаренные мускулы, но не мог перестать быть червячьей слизистой плотью даже сам для себя.

— Это только ускорит... и не твою агонию, а завода. Пока я буду месяцы с Демидом воевать, опротестовывать, замораживать, арестовывать, временщиков своих тут ставить по банкротству — что от домен останется завтра? Ты же, вроде, туземец, Чугуев, ты должен, по идее, понимать, что такое огромная домна, которая зачоченела чугуном. На какое еще дерьмо надо перейти вместо кокса, чтоб ты понял одно — что хозяин заводу был нужен вчера? Что забрасывать эти вот двести миллионов в машину надо было вчера? Чтобы ты расплатился за тонны, кубометры и ватты сегодня?

— Ну мы же вроде не на митинге. — Саша, не вытерпев, ослабился. — Ты про судьбу завода и рабочих для самих рабочих припаси. У тебя хорошо получается.

— Ну и мудак, — сказал Угланов даже без презрения. — Зачем ты живешь вообще? Ну, предположим, заведешь ты завтра Демида на завод, ворота крепостные ему откроешь ночью изнутри. Будешь считать, что нового хозяина на комбинат поставил — ты? Мне в спину что-нибудь пошепчешь мелко-гаденько: мол, получил, Угланов, обломился. «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север». Ну кинет тебе в кормушку Демид чуть побольше, чтоб от сладкого в заднице слиплось. И будешь утешаться тем, что есть еще меньше тебя и слабее ничто. И в этом весь твой смысл, Чугуев, в этом? Хозяином ты здесь по существу и не был никогда, потому что хозяин — это тот, кто завод может двинуть, поднять, а не только сосать из него. Или чего, пятнадцать миллионов разницы — цена вопроса самоуважения? Взять по размеру ротика с завода, — сложил из пальцев мышью пасть, — и сделаться богатым

навсегда? А ты никогда не задумывался о происхождении слова «богатый»? Богатый, бог, богатство дал бог, богатый под богом и с богом, во что слабо верится, да? Сознание неправды денег в русской душе невытравимо, как сказала Цветаева или кто-то там, не помню, Толстой, может быть. Так кто такой богатый? И кто такой бог? Бог — тот, кто все может? Вон Березовский мне недавно: как, говорит, мне все тут, на Земле, обрыдло, а давай, Тема, в космос с тобою слетаем, снимем станцию «Мир» на двоих, чтоб из космоса на эту жалкую планетку посмотреть. И что он — бог? Принципиальной является способность к созиданию. Бог может создавать. Ну и богатый, значит, тоже. Сталелитейную машину, пашню, свиноферму, сооружения исполинского размера и дикой красоты вроде Амьенского собора, Днепрогэс и прочих пирамид Хеопса. А если ты создать не хочешь и не можешь ничего, богатым все равно не будешь, потому что нет воли к творению в тебе и под тобой земля не богатеет. За тобой сейчас выбор, Чугуев. Пугать тебя не буду, что посажу, в Урале утоплю, — перечислил с тоской немногие варианты он Сашиной участи. — Ты сам себя делаешь нищим и мертвым. Я взял себе этот завод, я сейчас под него подгребаю кузбасские шахты и сибирские ГОКи, это мой план творения, а Демид заигрался, в ГКО заигрался, в небесную манну и в валютные форварды, слишком много подгрел под себя без разбору: алюминия, меди, нефтей, чтоб он смог удержать это все. Ты знаешь, сколько у него в портфеле ГКО? На триста пятьдесят. И долларовых форвардов на столько же. При объемах таких он соломки себе подстелить не успеет, и как только рванет в Сингапуре и рубль упадет до упора, он мне сам этот город за копейку отдаст, да еще половину пакета Сургутнефтегаза в придачу. Поделиться с тобой, когда рубль обвалится? Веришь в то, что я знаю? Я тебе на салфетке сейчас

нарисую зависимость от тайландского бата, чтоб ты понял наглядно, какой это будет накат, я тебе даже год, но не месяц скажу, когда все это будет, это, уж извини, мое личное, слишком интимное, чтоб делиться со всяким. Так что давай, Чугуев, втюхивай ему свои не размещенные на двести миллионов, я тебе лишь спасибо за это скажу — за то, что еще больше Демида обескровишь, привязав ему этот завод, как болванку, к ногам. Я хочу не об этом с тобой говорить, а о смысле. Иди под меня, работай со мной, и ты со мной свой родной завод разгонишь так, что рядом с нами Миттал карликом покажется... — Показал, как способен он нечеловечески далеко заглянуть; зацепила Чугуева и потащила сквозь валки беспощадно-машинная сила, затягивая в следующее по классу измерение мышления, и в этом не было нисколько почему-то унижения — в том, что Угланов брал его на службу: не становился Саша меньше, меньшим, чем ничто, на отведенном ему месте, под Углановым, а вырастал, наоборот, вместе с могутовским заводом, что поднимался, весь обросший ржавчиной и илом, из трясины и становился великаном на словах, все объясняющих углановских словах... Но вдруг споткнулось все, Угланов замолчал — из-за мелко-досадного рядом: просто в хозяйстве судомоек за стеной упала со стола тарелка или сцепились спьяну двое работяг... Кто-то кричал, и он не сразу понял, что это им кричат с Углановым, ему:

— Не продавай Углану акции, не надо! Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев, мы!.. — Брат-идиот, Валерик, глотку рвал на том конце сарая, стальной колун безмозглый, питекантроп, пролетарий восставший, не знающий сам, чего хочет, и отец их, отец, пролетарий прикованный, в обороте ел Сашу глазами — безнадежно-взыскующе и с гадливой мукой, со знакомым, всегдашним при взгляде на сына

выражением лица, и ничего не чуял Саша, только стыд за надрывавшегося лаем кровного дебила, да и не стыд, а просто неудобство: не имеет значения, что брат, — просто вырвался вот из палаты для буйных какой-то... просто сейчас они с Углановым подымутся и выйдут, заградят их от крика, аварийного рева охранные спины...

— Брат в смысле брат? — спросил Угланов с мигнувшим спичечно-коротким интересом: тоже сейчас его, наверное, насмешило, как поделились братья, род, семья: один пошел вверх навсегда, в стратосферу, другой окликает с земли того: «Брат!»

— В семье не без урода, — пожаловался он Угланову, похвастался: видишь, я из каких, из простых, худородных, и поднялся откуда, себя сделал сам — Угланов надломился какой-то лицевой долей от гадливости — не к низовому брату-доменщику, чернорабочему железному, а к Саше... И не успел он, Саша, даже вздрогнуть — так сразу ударило в кость, в обшивку реактора твердым предметом — Угланов ужаленно дернул бесценной термоядерной башкой, как дергает ей засыпающий: где я?.. поймал закипевший затылок руками, и взрывом обрушилось все — ломанулись, как лошади через барьеры, к разбитому — не устоявшему?! — углановскому черепу охранники.

— Тема?! Живой?! — ощупывали мамки голову дитяти-переростка, размазывая по затылку выжимавшуюся кровь: кровь полыхнула, яркая, внезапная, точно такая же проворная и красная, как и во всех обыкновенных человеческих устройствах, как из разбитого в четвертом классе носа... и с ликованием, испражняющейся мускульной дрожью спасенного парнокопытного: — Цела! Ниче-ниче, целая! Полет нормальный!

Метрах в пяти метался, вскидывался конь, раскалывал пластик столов, переборок; отец что-то кричал, придавленный коленом к полу и заламывая голову с незаживающим, собачьим, рвущимся к детенышу оскалом; взбесившаяся сила бросала оплетенного руками, обвешанного тушами Валерика на стены, без разницы, чем, обо что, — Чугуев ничего не чувствовал к Чугуеву, не чувствовал: брат, сейчас там убивает себя брат, сейчас станет меньше Чугуевых на одного; какой-то отключился в Саше переводчик со внешнего на внутренний язык, а может, он уже давно в нем отключился, порвалась эта жила в нем, нить, отведенная в каждом для голоса крови.

Угланов качался стоячим утопленником в подперших охраннических верных руках, ослепший, оглохший, но точно живой... затлелось разумение в глазах — рванулся, стряхнул с себя с бешенством руки: не трогать! он сам!.. мазнул по затылку ладонью, взгляделся — в размазанного слизня, в собственное масло, во что-то насочившееся из разрывов топливного шланга... в металлических искрах и грохоте завалились менты с автоматами, и как зверь, из отца рвется так, что у Саши кипятком обливается сердце:

— Не надо, не надо, сынок, я прошу! Отставить, Валерка!.. С-с-сыно-о-о-к!..

Кто-то упал из серых с костяным стуком тяжелого предмета о широкую и твердую поверхность, крики «Стоять! Положим, падла! Стой!», и стенобитной гирей, лосем, в осенний гон лишившимся и зрения, и слуха, Валерка — в дверь, на волю, за флажки, стоптав еще кого-то закричавшего от боли, и нет его уже, за ним метнулись серые, срывая автоматы с плеч, ремни... есть только тот, кто растянулся, грохнувшись, и не встает с упорством неправдивым. Угланов дление кратчайшее

повглядывался туда — во что-то связанное с болью в собственном затылке, вбитой в него так скотски глупо и нелепо, с непредсказуемой кривизной, камнем в небо, — и без вопросов двинулся на выход. Со всех сторон прикрыли его спины, плечи берегущих, зацепив, потянув за собой и Сашу, по маршруту хозяина, крупного зверя: не отставай, если ты взят на службу, в состав углановской проходческой машины, не становись преградой для нее... но зацепился за косяк и развернулся, словно на веревочке, телесной нити, отведенной в нем для родственного чувства и не порвавшейся, выходит, все же в нем.

Четверо серых сгрудились над срубленным и тормозили, дергали, тянули на себя, как из невидимой воды, из проруби, накачанную тяжестью, непоправимо обесточенную тушу, с надсадом корчуга и тут же обваливаясь скопом под этим грузом несомненности: «Ну что ж ты, Палыч, что ж ты?..» — еще его как будто уговаривали, не признавая этой недвижимости, не умеющая эту окончательность: как же могло так быстро и так плево это сделаться? — и обижаясь, злясь на своего, всех придавившего, связавшего их Палыча: что ж ты дал себя грохнуть, когда должен быть цел?

— Ну, сука, все! Валить его, валить! Предупредительный в башку, на поражение! Пошли, пошли за ним на трассу! Пока в кусты не гушанулся, отморозь... валить! — Прогрохотало, стихло — и во вмуровывающей Сашу в отупение тишине прорвался, как из-под земли, утробно выкипающий, с бесповоротностью задавленный подвыв, и будто что-то хрустнуло в отце, самое сильное, что было в нем, скрепляло: всеми забытый, брошенный отец стоял средь кафельной пустыни на коленях, глядя на Сашу и сквозь Сашу со стариковски-хнычуще затрясшимся лицом, и выжимал из

разоренного нутра насилиу собираемое, словно у Саши спрашивал, вот с Саши за Валерку:

— Что ж ты наделал-то такое, а, сынок?..

3

Дышал и не мог надышаться никак.

— Стоять, паскуда! Лег! На землю! Мордой в землю!

Вот даже ни полвздоха — настиг один, вцепился, повисли уже двое на плечах... одна уже потребность у Валерки — в просторном вольном холоде: чтоб длился, не кончался... Рванулса, сам себя как будто выкорчевывая, как из земли, как из корней, его оплетших, — опять идет свободным, не оглядываясь.

— Стой, сука, завалю!

И лязг уже железный за спиной, и треск сухой и крепкий, словно в самой его башке сломали об колено толстый сук, — обдуло, опалило порывом смертным темя, и вздрогнул всею тушей, как корова, вмиг резвым став при выстреле пастушьего кнута, и снова треск в ушах, и стекла в «москвичонке» их ослепли, обындевели, провалились снежным крошевом, и в проварившей его стуже через дорогу ломанулса, под колеса, в резиново упругие, бодливые кусты, на сучьях оставляя клочья всего чего угодно — кожи, мяса, лишь бы уйти от стука этого прострачивающего швейного, лишь бы дышать, лишь бы сейчас не продырявили... Как лось, все принимающий, что движется, за самку: найти ее, настичь, предназначение исполнить, что внушено всему живому... срезало ветки,

размочаливало рядом — защитным навыком неведомым валился и вжимался в окаменевшую нехоженую грязь и подрывался снова сквозь валежник, с каждым скачком все дальше оставляя хруст наступающий и треск, что полыхал в чащобе за спиной... И все, ушел, продрался на простор и задыхался ликованием, бесповоротно отсеченный от охотников ночной тьмой и буреломом...

И, не разорванный, не чующий, помимо силы жизни, ничего, неуязвимым, невредимым ванькой-встанькой спотыкался и падал, толкался, бежал по кочковатой мерзлой пахотной земле, всей силой жизни заставляя с каждым скоком жилые башни вырастать на горизонте, пока не станет видно прутики антенн и бельевые паруса на проводах... Чего ж шмалять они в него так сразу?.. И вроде вырвался, живой, не жрет его животный страх перед «не жить» вне разумения, но продолжался будто гон, летел за ним, чье-то дыхание, накатывая мощно, било в спину, не человеческое, нет, а вроде доменного жара, и раскаляла, жгла потребность оглянуться: точно ушел? точно за следом никого? И еще пуще припускал, не уставая, и все никак не мог порвать и выскочить Валерка, как из штанов своих, из кожи, из ощущения беды несправедливой, в которой он, Валерка, виноват, из недозволенности, что ли, незаконности, недопустимости своей свободной жизни, не за спиной, не вдали, не на плечах, а в нем самом, Валерке, это было — невытравимая, непродышная подсудность, кровь останавливающий гнет нечаянно вышедшей, содеянной неправды. Вот ничего вокруг не поменялось, и от того еще страшнее: родные улицы — родной кусок земли со вкусом ледяной воды с колонки у калитки бабы Фроси — его как будто совсем не узнавали: не человека, человечески понять его нельзя... Быть может, собственный вот дом его узнает: там его ждут,

любим там будут его, Чугуева, любить, прощая и спасая... И завыл — от этой мысли вот о доме, о прощении, — и чем сильнее ломился к дому, тем от него, Валерки, больше убывало. На потерявших прочности ногах, сам отставая от себя, как разварившееся мясо от костей, вбежал в калитку, на крыльцо, толкнул незапертую дверь — и никого: забросили, разграбили, он отдал, он свой дом на разграбление, тут ему верили: что не способен он предать, не возвратиться... и не сдержал он, не исполнил службу... Гнал по цепочке свет из комнаты в другую — уперся в стенку, дальнюю, последнюю, в ковер над ледяной заправленной кроватью... И вот на двор опять, пропажей зараженный, через забор скакнул, по улице несется. Ушла, ушла, как обещала, — смех по нутру Валерку хлещет, и снова вой напрасно-покаянный «ау-ы-ы-ы!» из пасти его рвется... в морозном поле, на ветру, под небом... И вот услышан он — бежит к нему она, на этот вой его пропащий о спасении метнувшись, с лицом как скачущее пламя, сбиваемое ветром на лету, почти что гаснущее, но неубиваемое... Не долетела — налетела как на чугунную плиту: все поняла, увидела насквозь, что он принес в себе и вывалит ей под ноги... И тут же хлынул, ослепил, сожрал ее лицо жестокий белый свет, из-за спины Валеркиной ударил и затопил всю улицу, природу... Оборвалось в нем сердце, рухнуло, вернулось, толкнув к Натахе — жить биением в ней, и в белом поле слепоты сцепились руки, за собой рванул, побежали, как один человек, от машины, от света.

Полотнища косые метались за спиной, свет обрезался поворотом, вырастал, свет, от которого не деться никуда, — полз милицейский «воронок» неотвратимо... и на зады, через плетень поваленный они, по огородным грядкам бабы Фроси и под откос с разбега кубарем, в овраг, в кровь разбиваясь общим телом. И приземлились

непонятно где и как, и темнота, и боли нет совсем, среди будыльев рослых, в дебрях берегущих, как ложка в ложке, в тесноте лежат, как лезвие в рукоятке складного ножа, дружка в дружке.

— Натаха, это... видишь... — в лицо ее горящее выдыхает, — чего-то наломал я дров... совсем...

— Что сделал, что?! — под ним она шипит и из него глазами тащит.

— Да сам не знаю, сам, но сделал. Натаха, я раз только двинул — а он так разлегся!

— Ведь знал же, гад, знал про себя: убьешь, если пойдешь... Себя убьешь, всех нас...

— Так я не пошел! У бати спроси, не пошел! В шалман зашел с батей, в кафешку! И Сашка там с Углановым, Натаха!.. Встреча у них там, тайный стговор, как им между собой завод наш поделить. Так я сказать хотел, чего они нас так-то... Ну и менты тут эти прицепились... Наверно, все, Натаха, больше не отцепятся.

— Зачем, гад, зачем?! — не то его выпихивает вон из своей жизни, не своего уже Валерку, вот не человека, не то, наоборот, не может отпустить, так он в нее вошел, так вьелся, глубже некуда. — Ты же себя, ты же меня, ты все во мне убил! — И с непонятной, напугавшей его силой что-то утробно дрогнуло в жене, надорвалось под ним в ее кричащем животе, и ничего не понимал, лишь стискивал ее порывисто забившееся тело, исхоженное вдоль и поперек, как собственный кусок, надел земли, полученный в кормление от жизни, и в то же время небывалое, совсем вот незнакомое ему, настолько оно стало им самим, его, Валеркиной, частью и вместилищем — Валеркиной крови, всей будущей жизни... Впилося ему в кадык,

стамеской меж ребер понимание, что ближе и роднее, чем сейчас, она ему еще, Натаха, не была, не будет человека ближе никогда, и только это началось, так тут же и кончается.

— Что?! Что?! — выпрашивал у родного, отнимаемого тела, расплющивая нос о мокрую скулу и силясь что-то внятное расслышать сквозь подступающую к горлу ее воду... И услышал то, что его, Валерку, оживило и тотчас же обратно уничтожило, добавив «без отца» к невнятной «...щине». — Что ты сказала?! Это ты про что?!

— То, то! Про что беременна... — и обмерла, не билась больше, оцепенелое, глухое, ниже травы, само себе не нужное и никого не греющее тело. — Без обмана, Валерик, я знаю по-женски. Как нарочно вот, да? — словно сослалась на чужую волю. И так вот это страшно было, больно: то, что должно было им дать несокрушимость общей жизни, теперь ее, Натахиным, отдельным грузом стало — и как она теперь должна его нести? Одна надолго, столько не живут... из-за него, он сделал так, Чугуев, как не должно, как не имеет права у людей!

И тут же шорох в вышине растет на головами и пережевывающий, перемалывающий хруст, лучи фонариков по склону заскользили, по ледяной траве заиндевелой, по кустам, в земляную постель, в травяную их норку просунулись, полоснули, вспороли — затопил весь овражек безжалостный свет.

— Чугуев, гражданин Чугуев! Знаю, знаю, ты там! Добегался, лосяра, вылезай! Вылезай или там и останешься!

А вот бы и остаться тут ему, без разницы, запустив в себя медленный холод земли и почувствовав радость подчинения чужой окончательной воле, стать только этой отцветшей, ожесточившейся травой, только бездумным сорняком, молчанием

перегноя, и не мог сократиться до травы он, паскудник, — вот такой под ним нестерпимо живой Натаха была, не могущая принадлежать земляной этой смерти, в которую он ее вдавливал, пусть и оцепенела, оглохла сейчас — с Валеркиной частицей, что вобрала в себя всей силой женской сути, с зачатком новой жизни, что неслышно, до жути беззащитно зреет в ней с великой безрассудной жадностью и собственной, целиком подчиняющей бабу себе правотой.

— Вылазь, вылазь, сказал, Чугуев! Девчонку пожалей! Перед посадкой не натешись. Потомство, что ль, решил перед концом заделать в лопухах?

И смех их продирает, любовников овражных, сорняковых: заделали, заделали уже они, успели, сами не зная, отчего такая спешка, сами не ведая, что если не «сейчас», то никогда уже у них не будет.

— Мочить не будем, слышишь?! Отвечаю! Жизнь гарантируем, Чугуев, жизнь!

— Жизнь гарантируют, Натаха, — надо жить!.. — Как один человек, смехом давятся рвущим и не вытравят горечи этой никак.

Цеплялся за руки, за плечи, за погоны тех, кто топтал его, чугуевскую, правду, всю его прочность, в сына перелитую, и запинаясь, падал, отставал, вновь подрывался, снова настигал, снова молил по-рабьи, по-собачьи:

— Прошу, не надо, мужики! Не надо, брат, стой, не стреляй, я прошу! Я приведу, я сам его доставлю! Ну сын мой, сын! У вас ведь тоже отцы... Ну вот прибил — заплатит по закону... — И ничего не мог: отпихивали, стряхивали его в горячем помутнении охотничьего гона, вис на плечах, по автоматам бил плюющим, раскаленное дуло тянул на себя и к земле, проржавевший железный старик с издыхавшим сипением в дырявых, навсегда разрывавшихся на бегу в нем кузнечных мехах.

— Уйди, отец, уйди!.. — Сами себя в догоне измочалили: не их, охотников, — так жизнь саму, выходит, он за Валерку умолил.

А для чего? Чтоб дальше что? Вот что его остановило, проморозило, когда из тьмы ночной, из дебрей выперлись на свет менты со ведомым, понукаемым Валеркой, который смеркся всей своей широкорудой грузной мощью, который весь стянулся, каждой каплей жизни в то место, где защелкнулись железные браслеты; будто какой жизненно важного значения сильный сок ушел из мышц его, из опустелого лица. И то же самое с Наташкой Валеркиной было — не голосившей

похоронно, не цеплявшейся за рукава усталых конвоиров, будто уже отплакавшей свое, до горькой сухости, до пустоты в осадке.

Уж лучше б шлепнули — такое накатило, противное родительскому естеству, — чем дальше жить ему вот так, приговоренным и в окружении ублюдков человечества, быть зверем там, где можно — только зверем, да вот и то не факт, что долго проживешь. Десяток лет — убийство есть убийство — срок наказания, заранее известный, его, Чугуева, проламывал: уж не дождется он, скорей всего, Валерки, не дождется.

Мать, как узнала, что Валерку забирают, охнула так задавленно-утробно, будто «роди меня обратно» вдруг у нее большой Валерка попросил, будто пропихивали сквозь ее сухое, отвоевавшее за жизнь детей живородящее естество и раньше срока загоняли первенца в могилу, всею слабой остатной силой противилась, не пускала и не отдавала.

А общая жизнь заводская катилась мимо них, Чугуевых, по ним, ничем не отозвавшись на исчезновение Валерки, не заметив всего-то одного в несмети друг с дружкой воевавших работяг, как не заметила еще десятков покалеченных, убитых и убивших в помутнении, как не заметила окаменения Наташки, паралича еще десятка разбитых личным горем жен и матерей; рабочий молодняк рубился по цехам еще семь суток кряду... и внезапно у всех над головами отключился сам собой источник излучения, всем вынимающего мозг, и закричал обыкновенный, созывающий на проходные всех могутовских железных, неистребимо настоящий гудок, с такой привычностью, словно кричал все это время и никто из воющих его просто не слышал.

Отсеченный, отставший от жизни завода, он, Чугуев, пошел на гудок и попал в первомайскую демонстрацию будто: машинисты, литейщики, агломератчики шли рядами единообразной, про себя понимающей что-то новое важное силы, с навсегда позабытым, казалось, ощущением сцепления каждого с каждым; перепутались эры, эпохи, состояния умов, поколения; люди с ясной решимостью двигались в направлении чего-то обнадеживающе прочного, щурясь будто на солнце, которого не было. Вместо солнца горело на фасаде дирекции, полоскалось и хлопало огневое полотнище с новой комбинатской эмблемой — треугольником черным Магнитной горы, заключенным в зубастую шестерню-колесо, и повсюду гремела и лязгала новая музыка, совершенно не схожая с маршами прежней эпохи, из которых за время разграбления родины испарился их смысл, но с такою же властностью бившая в уши, подымавшая всех на работу тем же вещим предчувствием невозможности остановить и сломать жизнь завода, вечный ток чугуна и вращение валков, что раскатывают сляб в полотно высшей прочности; непонятно откуда взялась эта музыка — приобщающая человека телесно к еще только задуманной и еще не построенной новой стране, где железные умные мощности побеждают начальную земляную бесформенность и бездарную мерзость новой русской разрухи.

И пошло по рядам уже всюду братание: те, кто бились вчера смертным боем, с тем же остервенением теперь обнимались, так, что ребра едва не тресали в тисках, и Чугуева тоже ловили и тискали: «Э, Семеныч, очнись! Что ты как неродной? Миру мир, отец, все! Миру мир и зарплату за три месяца всем. Ну а там поглядим! Там упрямся и вытащим себя сами за волосы! Уголек и руда — что еще сталевару для жизни-то надо?» — «Как и не было, да?» — Он свое выжимает сквозь зубы, никому

не понятное. — «А что ж такое было-то, Семеныч? Ну, того мы малеха, походили в забив, покалечились. Так ведь не насовсем! Заживет все до свадьбы! Жизнь, она продолжается! Жизнь!» — «А Валерка мой как же? Тоже не насовсем? Где Валерка мой, а? Тоже не было?» Столбенели, терялись на короткое самое время: «Ну, такой он, Валерка. Валерка, он и есть Валерка — что уж тут?»

2

Сын-убийца сидел на скамье подсудимых ссутуленно: пристывший взгляд упрятан внутрь, уперт во внутреннее небо, до горизонта полоненное колючей проволокой будущего; лишь временами что-то у него проскакивало искрою в зрачках — мгновенный промельк разума большего, чем у растения, у камня, и, будто тронутый родной рукой за плечо, начинал озираться вокруг и проваливался в опустошающий взгляд своей матери, которую так глупо обнесчастил, — темнел лицом, пошедшим желваками, в немилосердном скруте боли и стыда; крутила в жгут его вина — перед заметно, по минутам старившейся матерью, перед своей Натахой, опрокинутой в безлюбье и бездетность, в сухую воду непосильной верности и неизбежного вдовства... перед всей силой общей крови их, чугуевской, которая теперь не может течь свободно, и перед всей чужой остановленной кровью — вот перед маленькой, сухой женой и такой же маленькой, щуплой матерью пришибленного насмерть им сержанта Красовца: пришли на суд они и выедали убийцу своего зеленого Алешки с запоминающей, пустой, не приносящей заживления ненавистью.

Вот в этом все и было дело — соль суда после выпаривания прозвучавших показаний, пустой воды допросов, протоколов, экспертиз — не в том, что люди власти и закона хотели самой полной меры для Валерки (и что для них, ментов, убийство одного из них было серьезней, чем убийство просто человека), а в том, что сам Валерка осязал: зрел приговор не в голове потливого судьи — в самом продавленном виной Валеркином нутре, в готовом, чистом виде содержался в воздухе, которым нельзя отказаться дышать, и если б сделалось сейчас как-то само — купил бы Сашка судей всех за миллион — судья бы вышел к вставшему народу и огласил с бумаги: «невиновен», «освобождаем из-под стражи», «уходи», то он бы сам, Валерка, не ушел, не смог бы выползти на собственных ногах из-под плиты корежащей неправды, вот он бы сам, отец-Чугуев, отказался иметь с Валеркой дело как с живым. По нижнему пределу? За что? За человека? Две правды в нем, отце, за сына, против сына воевали: вот должен был Валерка ответить с полной выкладкой, зиянием, провалом законного, положенного срока — по справедливости, по мере непоправимости того, что натворил, и если суждено ему, Валерке, остаться в том провале насовсем, то значит, так тому и быть; но пустотой незаживающей в нутре, вне разума, вне совести хотелось, чтобы сын поменьше получил, чтоб он его еще дождался, Анатолий. И знал, что невозможно дождаться его прежнего, железного и не поеденного ржою созидателя: ломаются там люди еще больше, не выправляются тюрьмою, а, наоборот, выходят не годящимися для нормальной жизни человеческой, — вот что в нем, Анатолии, кровило и не могло зажить до самого конца. Все, все, стервец, убил. Их с матерью, что из себя его, такого бугая, выдавливала с кровью. Жену свою Наташку. Сам себя. Нерожденных детей своих

будущих. Сноха, она чего — простужалась стоямя на ноябрьском лютном ветру перед задраенной железной дверью изолятора — передать от себя хоть частичку Валерке, разрешенные жалкие вещи первой необходимости: кружку, суповую глубокую миску, тарелку, туалетное мыло, безопасную бритву, сигареты в прозрачных пакетах. С неутешной надеждой повстречаться глазами, вобрать, на минуту припасть к стервецу своей мягкой, легкой тяжестью, за минуту сцепления рук, спайки губ, животов передать ему веру, Валерке, поверить самой: не закончилось то, что когда-то начиналось у них у ДК металлурга на летней танцплощадке под белой тополиной метелью, начиналось с обмерки взглядом с ног до макушки, и нахальным осклабом вот этого бивня, и сердечным обрывом, обмиранием в ответ, теплой тяжестью мокрого платья и рубашки под ливнем, одуряющим вкусом грозового июньского воздуха, оглушительной радостью первых совместных шагов, ненасытной близостью первого раза — не забудется это, не может пропасть, прогореть без остатка, как не было; что бы ни было, кем бы он, Валерка, ни сделал себя, все равно не предаст она изначальное счастье первых дней и ночей, никогда не признает, что оно не имело значения; как бы ни было, а не растащат их с Валеркой суд и тюрьма, пополам не разрубишь магнит, и его не согнут, не сломают, Валерку, ведь она будет ждать, и поэтому там его не сломают, с ней еще он сильнее, с ней он знает, зачем ему жить и к кому выходить на свободу. Пусть пройдет много лет и устанут все ждать, позабудут, что вообще был под солнцем Валерка такой, вот на этом заводе, на этой вот улице, но она не забудет, простила ему, что их общую жизнь испохабил; будет жить для того, чтоб в последней день неволи, тюремного срока его наконец-то пойти ему, гаду, навстречу, с вещим чувством заслуженной, сбывшейся правды, пусть какому

удовно Валерке навстречу — потемневшему, выгнившему изнутри за все годы, зараженно-больному и униженно-ожесточенному, ничего не несущему больше в себе, кроме голой, обугленной злобы... вот в глаза ему снова — только это имеет значение.

Так она обещала им всем, хотя он, Анатолий, не верил, что сноха будет помнить Валерку омертвлением женского своего естества, молодого, здорового, щедро-жадно способного к деторождению. Дело было не в слабости на передок и не в падкости на удовольствия материального рода — дело было в природе самой, в бабьем предназначении: это может сейчас она клясться, даже верить сама, что дождется, переможет и вытерпит, но с годами сильней и сильней будет жечь ее — собственная неизменная бабья сущность: перестать быть порожней, неплодной, сладить новую жизнь еще с кем-то, быть кормящей матерью под надежной мужской защитой, и, конечно, она будет неосудима в своей этой потребности, тяге, что потащит ее от казенных ворот, от колючки, за которой Валерка, и выдавит замуж за ближайшего сильного, прочного, пробивного, надежного да и в общем какого угодно, лишь бы мог ее матерью сделать... И опять его с силой остегивала и сосала нутро боль за сына: сам себя он, Валерка, отрезал от будущего, бьется кровь молодая его в тупике, не могущая больше предъявить себя миру ни в чугунном потоке, ни в режущем крике новой подслеповатой человеческой гусеницы.

Нанятый Сашкою речистый адвокат Рожновский увертливо и ловко нажимал на невозможность установить причинно-следственную связь между Валеркиным ударом парню в лоб и оказавшейся смертельной затылочной травмой; никакого Углового — как еще одного пострадавшего — не было, «человека, с которого все

началось»: не явился, конечно, он в суд, рыбащеры не выползают на сушу, и судья через три с половиной недели удалился писать приговор и вернулся спустя полчаса, как вбежал, — «суд идет!», и стоял он, отец, в скруте точного знания, чем кончится, перестав быть обычным человеческим устройством, судья в черной мантии вырос и, прокашлявшись, скороговоркой зачитал с листа неразличимое, прошуршавшее и прогремевшее каменной осыпью в шахтовой тишине ожидания, и, заваленный, сдавленный, замурованный в эту породу стоймя, он, Чугуев-отец, различил только главное: «...к тринадцати годам лишения свободы...», и из этой вот кучи породы видел только сыновье, с фамильными скулами, подбородком и носом, лицо: ничего нового Валерка не услышал, глаз на лице его не обнаруживалось, никого не искали глаза, и, повинувшись, двинулся из клетки туда, куда его продавливали скучно конвоиры... и вдруг застрял в дверях, как дал по тормозам, — будто на крик башку заворотил, а может, и вправду на крик заклинаящий: кто первым был, и не понять: не то Наташка полетела криком вслед за ним, не то он сам сначала, первым натянулся в усилии остановить прорвавшее плотину, хлынувшее время.

— Валерочка, рожу, не сомневайся! — Натахин крик Чугуевуотцу меж ребер впился, проткнув до чего-то, способного торжествовать. — Рожу тебе, рожу, и будем тебя ждать! Валерка, слышишь?! Будем ждать! Ты это помни, этого держись! Что это будет ты и я!

И устоял Валерка перед черной прямоугольной пустотой, и на мгновение расперла его сила, сделав негибачимым, не насовсем, но вот сейчас слышал то единственное, что не давало ему сразу развалиться.

Вот, значит, как, постиг Чугуев с режущей, освобождающей болью и

любовью, — будто бы чуяли они и постарались перед разлучением очень сильно... Сын отпустил дверные косяки, протолкнули его в черноту, в пустоту, и Натаха без видимых сил, но с какой-то внутренней, кровной наполненностью опустилась на чьи-то подхватившие руки, стало ясно Чугуевым всем, остающимся без Валерки на страшное время, — появилось, куда дальше жить: полыхнет сквозь седую кору ослепительно новая искра, распуская нетвердый чистый, слабый зеленый листочек, завелась в животе Наташки машинка будущего, жизни, не признающая никаких «устал» и «не хочу», зацепила Чугуевых — мать и отца и тащила, заставляя вертеться, заставляя тащить.

Не могла зарости, затянуть пробитая в каждом Валеркой дыра, но и с этой опустошенностью продолжали они вместе с Машкой Валерке служить, делать будущее, которое не мог теперь тот делать сам, и носилась Мария с Наташкой, как курица, говоря про себя и сноху постоянно: «мы», «мы» — «мы ходили», «мы ждем», «мы поедем»; третий был в этом «мы» — пока еще неслышимый, не выперший во внешний мир надутым материнским чревом, и Валерка был тоже заключен в это бабье служилое, терпеливое, радостно-горькое «мы» — словно в невидимый какой, но осязаемый шар берегущего тепла и убежденности в возможности спасения. Только это им было оставлено, бабам, как хлеб, — беречь мужа семя, растить сына плод и без усталости, пыточно ждать, когда будет дозволено первое им с Валеркой свидание — право вжаться и впиться, захватить и ощупать, накормить его, бритого, сытной домашней пищей хоть на день, хоть на час, вот лицом своим, телом, живой водой... а Сашке ничего не стоило устроить, чтобы местом отбытия срока Валерке назначили не Крайний Север, не тайгу, а — всего в трех часах на машине езды! —

обнадеживающе близкий Бакал, бакальскую колонию строгого режима, назначенного всем убийцам и насильникам: над переменной режима даже Сашка был не властен.

3

Ежедневное кровотечение в нутре, и чтоб как-то унять его, каждый день подымался в шесть часов и шагал в свой родной ЛПЦ № 2, только в стане, изношенном так же сильно, как сам он, Чугуев, находя на служебное время спасение, способность не думать уже ни о чем, кроме смены проставочных полуколец и доводки винтов нажимных в поперечине каждой станины, чтобы до заусенца был выдержан каждый зазор меж валками. С еще большей жестокой нежностью воевал за живучесть прокатной машины, с еще большими остервенением и злобой на промашки и тупость подчиненных бригадников: «Что ж ты, сволочь, гужену вкрутил мне в валок и через это мне все дело перепутал?! Что, трудно шпон пробить было под винт, а не валок засверливать, абортная ты жертва?! Это ж погиб валок, продольно завтра треснет! Что, каждый раз так будешь пересверливать? И после этого чтоб я тебя к машине подпустил?! Какую гайку, бездарь?! Основную! А ты мне контргайку, бестолочь, свернул! Ведь основную, основную на полнитки — разницу сечешь? Это каким вообще сознанием надо обладать?!».

Захлебывался гневом на этих вот вредителей-скотов, и что ж ты думаешь: забегали, как будто пятки скипидаром им намазали, раньше вот только скалившие зубы на все его, Чугуева, плюющееся бешенство и равнодушные до квелости

молодчики. Срывались с ног поджать указанную гайку и отлизать ее, огромную, до гладкости новорожденного железного младенца — будто почуяли, прониклись, наконец, его, чугуевской, правдой, правдою машины, что теперь растекалась, казалось, не только от него одного, не от одних лишь старых мастеров по всем цехам, а откуда-то сверху... Ничего не менялось вещественно ни в одном из цехов, точно так же скелеты и артерии их на пределе терпения, умаленной живучести старика, инвалида, выносили нагрузки, форсировку литья, обороты проката, надорваться готовые в самых нежных, ответственных, ломких местах, но вот что-то при этом в самом, что ли, воздухе сделалось, что уже не давало рабочим с равнодушием скота относиться к доверенным им участкам плавильной и прокатной цепи... Он, Чугуев, давно и забыл о явлении нового собственника, воцарение которого на комбинате обошлось ему — в сына.

И вот сделалось так прямо здесь, в ЛПЦ, на его месте службы, что вспомнил. На своих вот орал, на Витька Колотилина из-за бронзовой гайки нажимного винта: «Расколос! Кто мне бронзу сейчас даст взамен?! Может, ты?!» И еще чей-то крик к его крику добавился, долетел и добил до ушей сквозь литой, ровный гул, из которого для рабочего и состоит тишина, — невозможный крик-выдох придавленной и зарезанной в сердце свиньи, и на крик все, конечно, повернулись рывками: что такое? откуда и куда кто упал, вот во что затянуло и на что намотало?

И такое, чего быть не может вообще: Куренной и Бакуткин лосями бегут — вдоль прокатного стана, как вдоль разогнавшегося отходящего поезда за сбежавшим, захваченным и утащенным с необратимостью счастьем, за жизнью, двое крупных и сильных, отменного выкорма, сановитых мужчин, сократившихся вмиг до

трясущейся парнокопытной потребности жить, чуть ли не испражняющихся на бегу от огромного страха... И за ними, над ними с неуклонностью катится и летит над валками налитой обожженным вишневым сиянием сляб, вырастая, вытягиваясь в огневое литое подземное щупальце: все едино достанет, прожжет и приварится — Гугель, Гугель повинных в аварийных разломах и срывах, тот, чья эта рука... И вот точно — из шипящего белого пара там, где хлещут стальное полотно водяные напорные струи, вырывается он, новый Гугель, хозяин, двухметровый Угланов с изуродованным злобой лицом и с железным прутом в отведенной для удара руке, несуразный, как страус, как жираф на шоссе, очень это смешно все... и страшно.

Куренного макнули мордой в кровь его собственную, обливается ею на бегу, издыхает... «Залови его там, завали!» — помертвевшим рабочим Угланов кричит и уже сейчас их вот, рабочего рубанет по дороге за неисполнение: приварило их всех, приморозило... «Взять!» — и какие-то брызнули следом за живой добычей, атукнутые, ну охранники, кто, эти вот «полицаи» в униформе своей... и Бакуткин — начальник его многолетний, Чугуева, — разбежавшись, воткнулся в Семеныча прямо: подыхающей мордой, как рубанком оструганной, так вот все в ней открылось, каждой дышащей по рой, так вот больно в ней билась и противилась кровь... отпихнул — и на лесенку, сцапав перила, и с помоста над станом на ту сторону ссыпался по ступенькам, как к воду, как в крещенскую прорубь, закричав от ожога, ударов, пересчитывая копчиком ребра железные, — в яму! двухэтажной, считай, глубины, там зашибся о дно и давил в себе рвущийся крик: его нет, под землей он, в могиле, не достанет его огневая рука.

Куренного поймали, завалили спиной на лесенку — главного инженера

завода! — и Угланов навис над ним всей своей росломачтовой, свайной тяжестью; Куренной передергивался в животе и в паху, пол-лица ему залило липкой кровью, но проклеенный глаз разлеплялся и пучился — на Угланова, смерть; его кожа, встречая углановский взгляд, шевелилась и пухла, как от жара, от пресса, открывая сосущие поры и вздрагивая...

— Ты, сука, страховал конвертер, ты?! — Угланов вглядывался в него, как в омерзительно живучую и до конца неубиваемую падаль, как в земляного червяка, что оказался неожиданно устойчивым ко введенному им на заводе режиму. — Ты страховал его на случай ядерной войны?! Петитом, сука, очень мелким шрифтом на восемнадцатой странице, что договор вступает в силу только в случае ядерной войны?! Ремонта на два миллиарда рублей! Взял, сука, премию у «Ренессанса», взял?! Ты что, животное, ты думал, не увижу?! Что мои мощности тебе в кормление даны, чтоб ты в ломбард за две копейки их закладывал? Тебе на них посрать, которые тут горбятся, — царапнул Чугуева взглядом, — и языком мне гайку каждую вылизывают тут до мокрой чистоты... но ты мой завод кинул, ты Угланова кинул! Руку сюда его мне, руку!.. — и по тому, как смотрит, стало понятно, что не остановится.

Руку с треском рванули, большую мясистую, толстокожую, гладкую, чистую, никакой работой физической не натертую руку, придавили к ступеньке ее за запястье, как к плахе, и пусто, на какое-то дление кратчайшее глянув, примерившись, он, Угланов, ударил по мясу железом... и все вздрогнули возле, как один человек... и еще раз, еще раз, мозга костяную, мясную ладонь. «А-а-а-а-ы-ы!» — закричал Куренной и кричал уже взрывами, словно отбивали его по куску;

передергивались семенящие ноги и скребли каблуками добротных ботинок по бетонному полу — пропахать борозду...

Человек за работой, мясник, кочегар, Угланов запрокинул лицо в перекрытое небо, в высотную кровлю, потянул воздух ртом и ноздрями и выдохнул, как спускающий пар тепловоз, — только передохнуть, в нем завод не закончился, — отшвырнул с мерзлым звоном железку и мотнул головой своим на избитого:

— Ну-ка сделайте пугало мне из него. Зацепите за что-нибудь и поднимите над валками вот прямо, над станом. Вы стоите чего?! — рвал глазами рабочих по кругу, Чугуева... и опять на охрану свою, на опричников: — Ну и где эти все? Слишком медленно, Вова, вы все! Не терплю, когда медленно.

И все делаться быстро в цеху начинает: раскрываются в гуле беззвучно ворота и беззвучно втекает в грохочущий цех человечесьё стадо, под перепончатую кровлю храмовой, глотающей простором высоты, пиджачно-галстучное стадо из начальников одних, всех тех, кто ведаёт на комбинате распределением и закупкой газожирного и жирного угля, завозом щебня, битума, бетона, кирпича, реализацией за валюту и рубли всех сотен тысяч тонн стального урожая, всех кабинетных, кто командует там, наверху, неосязаемой, нематериальной денежной водой... и вот сюда их всех сгоняют, под плиту, во вмуровывающий гул станового потока, в разрывающий грохот, в котором и себя самого не услышать, и ничего они не понимают так же, как рабочие: для чего их сюда? И уже понимают: тут из них что-то сделают, с каждым шагом все ниже, все меньше становятся — и так, изначально в сравнении с прокатной машиной ничтожные. Семят мелко-мелко, друг дружкой стиснутые, многоногим ползучим лакированно-туфельным гадом, морщась от осязаемого жара,

обдающего лица волна за волной, и построились, сами построились вдоль грохочущей ленты проката шеренгами, словно делалось что-то хорошо им знакомое, позабытое, но остающееся по наследству в хребтах, мозговом веществе; вмуровал в себя каждого воздух, поменявшийся, новый, изначальный, единственный воздух — абсолютная сила чугунных богов, настоящих хозяев Могутова, что хотели всегда от людей одного — существования по правде жертвоприношения. И, уничтоженные, сниженные до своего исходного размера, все как один смотрели на Уланова, который дирижировал своей опричниной с помоста над валками, как этот самый... ну, который на пирамиде самый главный... служитель культа людоедского... поднимайте, показывал, дергая обращенными к небу ладонями.

И рывками над станом поднялось неправдивое что-то — все смотрели на тушу, повисшую в воздухе на продетых в подмышки железных тросах, на корову, на лошадь: сквозь все мощное тело плескали, прокачивались равномерные разнообъемные судороги, инженер, ЧЕ-ЛО-ВЕК передергивал буйно ногами, даже вывихнутой рукой с отбивной, разможенной ладонью — как не сдох и не сдохнет никак от разрыва мозга, сердца, всего?.. Метрах где-то в полутора под сокращавшимися всей остатней силой ногами проносилась, вибрировала нескончаемая лента проката — не вишневая, нет, но и после охлестки ледяной водой сохранившая восемьсот верных градусов под обманной ровной серостью: припекались подметки, враз сожжет и приварится, ну а дальше протащит, затянет в валки, нажимные винты одни только которых — тяжелее и толще, чем слоновья нога: ничего от куска не останется.

И все триста — четыреста жрали эту агонию, и какой-то извечный,

неподсудный, до жалости, людоедский восторг, стукнув в голову кровью, стоял в их глазах; все почуяли это — добавление стали в свой исходный состав, вот то самое, что первобытным давало ощущение бессмертия. И с Чугуевым тоже сейчас это делалось, отключилось в нем что-то, отведенное в каждом для сознания ценности единоличной человеческой жизни: он глядел на дорожку под бьющейся, навалившей в штаны, подышающей слабостью, на поточную чистую сталь, что всегда приводила его в восхищение: вот таким должно быть выходящее из рук человека изделие всегда, только так никогда не умрет человек, выдавая изделие, что намного живучей, выносливей, чище, долговечней него самого... и в башке отсыревшей спичкой мигнула вот совсем неуместная мысль: как попортит сейчас эта жертва стальное полотно приварившимся, сплюсненным мясом, соплями, что сейчас намотаются на оправку совместно с листом... и пробило его, и волною сняла с неподвижного места правда непослушания, жалости вот как будто бы не к человеку, а к собственной стали, что нельзя никому дать испортить — вот так, и со скоростью, равной биению в нем крови, понесла напролом его, к пульту... проломился, сшибая и разметывая окостеневших, и вдавил пальцем кнопку — отключить это воющее от животного страха, неуклонно ползущее все... Полотно проскользило под ногами несдохшего и прошло в чистовую грохотавшую клеть под ногами Угланова; новый огненный сляб грузно-коротко дернулся и застыл на катках, истекая подземным конвертерным жаром... и к нему, за Семенычем топот копыт: разорвут сейчас, что ли, с Куренным рядом тоже подвешат?

— Ты чего мне машину застопорил? — за спиной и над ним сказал кто-то срывающимся, но вот вроде беззлобным, прочищенным голосом. И Угланов, живой,

осязаемый, тык-в-притык перед ним, работягой, что посмел сделать что-то царю поперек.

— Это ты, это ты мне машину!.. — закричал, обеспамятев, и трясло перед этой властной высшей силой, что его с испытательским интересом разглядывала, расковыривая что-то внутри него: разобрать и понять, как Чугуев устроен.

— Так для нее я это делаю сейчас, для машины, она чтоб крутила. Ты кого пожалел? Тварь, которая тебя вместе с этой машиной обворовала?

— И чего, значит, лист теперь надо человечинной мне испохабить?! Не для того эту машину люди строили, чтоб человека на ней плющить и ломать! Что нельзя вот такого — в школе не проходил?! Очень нравится, да?! Взять, как крысу, за хвост и на сляб, сквозь валки? Сила, сила ты, да?! Ну а больше тебя если сила?! Хоть и крыса, допустим, но вот все же живой человек!..

И Угланову это понравилось — то вот, первое самое, про испорченный лист: жалко целый рулон-то марать этой падалью — перехваченный немилосердной скобкой рот приоткрылся в осклабе, и дальше он, Угланов, как будто не слушал: про свое людоедство, про живых человеков... отпустил его гнев. Да и был ли он, гнев? Может, только расчет — застрашать всех своих управленцев повальной лютостью неминуемых расправ, задрожать их заставить и трястись над могутовской каждой священной копейкой?

— Ну а ты тут — вальцовщик? Как звать?

— Анатолий Семенович, — горделиво брыкнулся: мол, в отцы тебе, бивень, вообще-то гожусь и на мне этот стан тут держался, когда ты еще, мелочь, на горшке заседал... но сорвался вот голос и дал петуха.

— Ну, пойдём-те за мной, Анатолий Семенович...

И его потащило вот за той жердиной, хотя вроде никто не тянул, не пихал. Расступались, откатывали волнами все эти в белых рубашках и свои же рабочие в чумазных комбезах и оранжевых касках, глядя все на Чугуева странными, не узнающими, особыми глазами, то ли с завистью, то ли со страхом: его выбрал Угланов, и теперь будто должен был сделаться навсегда он, Чугуев, другим, обнесла, облекла его сила... На тросах опустили на бетонное дно все мясное, тряпичнонабитое то, что осталось от главного инженера завода — спец-то он был не самый худой, только вор, — и никто не смотрел уже больше на пластавшегося на полу и кусавшего воздух большого мужчину.

— Вот скажи мне, Анатолий Семенович, — глядя прямо в глаза, начал быстро Угланов в хорошо проводящей слова тишине, — сколько раз надо в смену валки переваливать? Вот на этом вот стане твоём?

— Эх хватил — переваливать! — Подключили Чугуева к стану, возвратили в железные, в место службы его, назначения, и страха в нем уже больше не было. — Ты мне дай их сначала, валки, чтобы было мне что переваливать. А пока их они вот, — мотнул головой на ряды управленцев, — на бумажках своих перева...

— Ну а где они, где, говори! Где валки?

— На цветмет растащили, молибденом и хромом упроченные. Катапультной через забор — и тью-тью.

— Кто это делает, я полагаю, спрашивать не надо? Кто мне в бумажках пишет, что он тут по шестнадцать! раз! в сутки! Roll change! — щерясь от ненависти, пнул кровососущую, непроницаемую, гадящую сущность, одновременно вязкую, словно

клей, и тяжелую, как чугун на ногах: отрубить, отключить! — Как же стан-то живой до сих пор? Как справляетесь, а?

— Да вот как-то все ручками, дедовским методом. Абразивами там, напылением тут. Голь на выдумки, долго рассказывать... вам чего уж вникать?

— Ясно. А как вы отнесетесь, Анатолий Семенович, к тому, что я вместо вот этого... — шевельнул ногой в мокрое место, — то есть второго, того... тут поставлю тебя? Начальником листопркатного — пойдешь? Главным тут над своей машиной?

— А я и так над нею главный. Не по названию, а по существу.

— Значит, этого, — ткнул в Чугуева пальцем, — старшим мастером стана.

И почувал тот: вырос, подымает, прямит его сила, как прямил когда-то перед прежним последним настоящим царем комбината Ракитиным, когда тот при всей массе награждал его знаком ударника и пожимал ему руку с такой же привычностью, как и сотням других награжденных железных.

Ничего от Валерки долго не было, не было, не приходило... и пришло через шесть только месяцев первое из бакальской колонии письмо: сообщил, что живой, невредим, обитает в нормальных условиях — чисто всюду, как в амбулатории, и питание сносное, отношение начальства к заключенным хорошее, а работает он (это больше отцу сообщалось, чем бабам) на железном карьере бурильщиком: перфоратором, значит, орудует и электросверлом в тридцать пять кило весом, и вот этого вовсе Чугуев не понял: кто ж их, зэков, на строгом режиме допустил до

карьера, до машин, до взрывчатки вообще? Если так-то подумать, подорвут ведь друг дружку по заводке какой или просто вот в силу безграмотности... Или что, ничего, что ли, в новой России в этом плане и не поменялось для эзков с тех времен, когда тыщами загоняли их в шахты и укладывал Гугель таких же вот каторжных в ненасытную жрущую пропасть карьера на Магнитной горе: пусть дадут только родине много руды и помрут, надорвавшись в бесплатном усилии?

А с другой стороны: пусть в работе сжигает Валерка тоску, неизбывную муку лишения всего, что дано невиновному, честному, все полегче в труде оно, это ж можно свихнуться взаперти от безделья, неподвижности времени и бесцельности жизни, проходящей впустую, бесследно.

Понимал он, Чугуев, то, о чем сын молчит и не хочет сказать: «там» живет в непрерывном ожидании удара, вот где технику безопасности надо блюсти — не с машиной, нет, а с людьми в обращении, с «черной костью», жульем. Много он за свой век повидал, Анатолий, блатных, много было в Могутове отсидевших и снова уходивших на зоны (где рудник на Урале, там и каторга, зона), на поверку трусливых, гнилых, чуть копни, и серьезных, всерьез ничего не боявшихся, с каждой ходкой все больше покрывавшихся синей чешуей наколок — вот так и человек в них был наполовину будто бы в шерсти, с одной большой невытравимой потребностью возвратить миру то, что от мира он сперва получил: били, гнули его, и теперь он в ответную должен кого-то согнуть, отыскать еще меньше, слабее себя человека и над ним покуражиться. Вот на какие рельсы встал теперь Валерка, вот на какие рельсы его с самого начала повело, таким и был он с самого начала, уродился, что чуть задень его хоть мало-мальским принижением, хоть на полнитки провернуть его

против резьбы попробуй, как полыхнет, не стерпит, дел наделает: вот наделал уже, не хотел, а убил и попал к тем, которые приохотились кровь человеческую пускать. Силовой изоляции нет, каждый урка — зачищенный провод, все на этом построено, на «подмять и сожрать», «подчинить и унижить», и чего же он стерпит такое, Валерка?

Незаметным стараешься быть — не получится: обязательно высветят молчаливого ищущим взглядом, как в ночной воде рыбу горящим смольем, не сегодня, так завтра копнут, кто ты есть; молчаливым быть можно — безответным нельзя. Ну и долго он сможет, Валерка, со своим изначальным, неизменным характером порохом на границе вот этой, на гудящей струне удержаться — меж терпением и безответностью, а? Вот ведь в чем наказание зоной — самому себе равным, собой не быть, человеком, который ничего не боится, а Валерка и должен теперь был на зоне бояться первым делом себя самого, колотушки своей, взрывника в голове, что еще раз рванет — и тогда уже точно ему будет высшая мера.

Шла машина могутовской жизни вперед, не заметив пропажи Валерки: перемены копились, копились и, рванув, покатались по заводу весенней ломовой, ледоходной водой, с равнодушной силой снимая с рабочего места сразу сотни и тысячи лишних железных — унося их в безденежье полное, в голод, в неизбежность, быть может, вообще навсегда распрощаться с заводом и сгинуть далеко от Могутова в поисках заработка; никого не жалевший Угланов делал ровно то страшное, что обещал, что вколачивал с первого дня в их рабочие головы: увольнения будут, потому что людей слишком много, а живых мощностей слишком мало. Это ж сколько так сгинет рабочих людей, потеряет себя, из спецов превратится просто в чернорабочих

широкого профиля, не поднимется вовсе из шлака, сопьется, думал он, Анатолий, на заводе оставленный сам и возвышенный даже углановской милостью из вальцовщика в старшего мастера стана. «Людоедская логика капитализма, — золотыми зубами скрипел Егзарьян, не ржавевший в своей вере в Маркса и Ленина, — за счет нас вот, рабочего класса, сокращать все издержки. Да он всех вообще бы на улицу выкинул, если сталь бы сама, без людей выплавлялась и прокат сам собой бы на оправку наматывался». Очень было похоже на правду: никого не жалел, людоежор, и не видел новых митингов и демонстраций, состоящих теперь из одних только женских людей — жен уволенных, списанных: выходили на площадь под окна могутовской мэрии и на главный могутовский мост меж заводом и левобережьем — перекрыть своей мягкой бабьей малостью ломовое, летящее движение Углanova на работу, с работы, — прозябая, простаивая на огромном жестоком, ледяном во все время, кроме лета, ветру, поднимая навстречу вороному кортежу плакаты «За сколько вы продали совесть?!», «Кто накормит детей?!», на лету нечитаемый, разметаемый ветром сопутствующий мусор, над собой воздевая, как иконы, орущих детей: посмотри и побойся!

Десять тысяч уволили, двадцать спецов, но и выше, не только в горячих цехах, а до самого верха в правлении корчевали теперь командиров — восемь из десяти головастых, пронырливых, хватких мужчин, что сидели на снабжении и сбыте и заведовали материальным богатством Могутова. Выносили всех тех, кто привычно, это самое... самозабвенно воровал у завода; беспощадно-машинная рациональность была в людоедстве Углanova, в очистительных мерах вот этих — соскрести, сбить брандспойтной водой всю ржавчину со стальных сочленений завода, чтоб ничто не

мешало неуклонному ходу могутовских поршней и вращению валов, и без разницы было, что смыть эту ржавчину можно только с самими железными, вот и с теми железными, на которых самих этой ржавчины не было.

На каждой проходной, на каждом переезде появились плечистые тяжелые ребята, пугающе и раздражающе нерусские в американской своей черной униформе, в перчатках, проводах, в антеннах, с автоматами! Первое время только «фрицами» и звали: на проходных прохлопывали каждого, словно не черный лом по килограмму работяги, а золотой песок с завода выносили. Мели метлой новою по-новому, с овчарками цепными, алабаями, вот эти караулы-патрули, и через пять примерно месяцев от воцарения Угланова весь комбинат был наглухо запаян в этом плане изнутри, так что и полкило железной стружки теперь было в карманах вынести нельзя — ноги не шли, придавливало знание о климатическом явлении «расправа». Да и не только одной лютостью держал их всех, железных, новый царь и бог: не страх лишиться места и куска прожиточного хлеба, не стимул небывало жирной премии за качество проката и превышение нормы выплавки принес им на завод Угланов, а что-то большее, затрагивающее сущность сталевара — невесть откуда бравшееся в каждом ощущение своей силы, вот это многими забытое, а многим и вообще с рождения неведомое чувство: что твоя жизненная сила напрямую проявляется в ровном дыхании умного машинного железа — очень долго томилась в тебе безо всякой надежды на выход и теперь вот рванулась законным, естественным руслом, переходя в плавильный жар и безустанное прокатное усилие валков. Перестали железные киснуть в разъедавшем растворе апатии и знания о неизменности жизни, которая как текла, так и движется по направлению к

истощению и смерти, никак не отзывая на твое старание развернуть ее в обратном направлении. И это было, было, не казалось, не одному ему, Чугуеву, казалось — вошло, входило, пусть и медленно, в плоть самых нерадивых: разгоняй и форсируй машину своим существом, чтобы не оторвали тебя от нее, чтобы не изрыгнула тебя она вон.

Материальный стимул — да, куда уж без него? И он, Чугуев, лично не согласен вечно работать за одни тычки и вытолчки, но вот сейчас, когда оклады не росли и не могли, конечно, вырасти так быстро, всем им, железным, сообщилось от Угланова, что деньги все, какие есть у комбината на сегодня, уходят не на сторону куда-то и не в личную углановскую пасть, а непосредственно на орошение кладбищенских и аварийных, подышающих цехов, — а иначе откуда было взяться сияющим чистой сталью, отшлифованной бронзой, никелем, хромом, настоящим, живым, осязаемым новым деталям машин? Их пока было мало, но они уже были — станины и приводы, нажимные винты и летучие ножницы, только что извлеченные будто из огромных скорлуп-кокилей, приводившие в трепет валки — много больше него самого вот, Чугуева, по размеру и силе стальные младенцы, неправдивой тяжестью принимаемые на руки из покрашенных в яркие, как на детских площадках, цвета герметичных вагонов-контейнеров. Продырявленный горем отнятия Валерки, он, Чугуев, ловил себя то и дело на том, что какой-то вечной частицей в себе с недозволенной больше ему хищной радостью примечает повсюду эти первые искры и стальные ростки поворота, очищения, переустройства; стал он нужным опять, настоящим, Чугуев, вот опять чуял радость отдачи и законченной трудной работы, выражения себя, воплощения в стальном полотне, что не сломится и не сотрется

раньше, чем человек, — это было как радость и счастье возвращения первой любви, способности делать детей с молодой, начальной силой, и от этого только острее защемляли сердце жалость и боль — что Валерка, Валерка не дожил, просто не дотерпел, гад такой, до вот этой минуты, до начала подъема завода из мерзости запустения и старческой немощи. Оступился так глупо — в мокруху, а ведь мог бы сейчас тоже жить в этом ритме подъема и роста, вместе с целым заводом набираясь железных и огненных сил, — пусть и медленно, но неуклонно, по копейке сварить свою частную честную жизнь... Эх, Валерка, Валерка, как же так перемкнуло тебя, как же я не успел, не сорвал в тебе этот стопкран?

Возвращался со смены домой — в округленный и звонкий живот онемелой снохи, и опять был жестокий скрут боли и радости. Сноха его сидела у окна, придавленная тяжестью наполненного пуза, — с таким неподвижным, пристывшим лицом, что сердце, казалось, не бьется над плодом; Чугуев со страхом приглядывался к ней и видел, как это пустое лицо заливается простым и несказанным тихим светом подчиненности растущему в ней существу: дыхание Валеркиного будущего, дыхание плода, носимого под сердцем, свободно, как вода, как масло сквозь бумагу, проступало в Натахином лице, и с облегчающей, необманивающей ясностью он чувал, что все она, Натаха, исполнит, как сказала, все, что пообещала Валерке на суде, поклявшись ему выносить и выкормить их плод — для него, от него... для самой себя тоже, конечно, но ведь и для него: чтобы знал — не конец. Пусть вот он и мокрушник, но еще не конец. Есть куда выходить ему из-за колючки, для чего все терпеть, для чего человека в себе сохранять, с той же силой терпения, что и она — его сына в своем округлявшемся чреве.

II. СТАЛЬНОЙ АВТОКРАТОР

Монстра должны были пускать уже сегодня. Сегодня он предъявит миру своего новорожденного сталепрокатного циклопа, ребенка колоссальных сил, любимого с щемящей нежностью и страхом, в возможность ни зачать, ни выносить которого не верил никто ни в России, ни в мире, и многие сильные делали все, чтоб задавить его, углановское, детище еще в первооснове.

И вот теперь раздастся лютый свет, ворота нового отдельного металлургического города раздвинутся, и под бетонными незыблемыми сводами он потечет протяжно, нескончаемо, изначальной Волгой катков-исполинов и валков-мастодонтов, могущих проломить до земли сталагмиты в Дубае и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, — с самым мощным на этой планете прокатным усилием в двенадцать тысяч тонн на каждый миллиметр стального полотна, с непогрешимой системой прерванной закалки и ледяными гейзерами управляемого охлаждения, с несметью нервных, скрученных в косицы ответвлений, пронизывающих стальные мышцы и суставы организма, с 55 командными компьютерными головами, с золотой, палладиевой, кремниевой и графеновой микровселенной существующих только на скорости света безмассовых квантов, с электронной средой, проводящей твою волю до каждого привода, с машинами раскройки и обрезки, с плывущими над головой в гулкой вышине магнитными захватами, которые снимают проклеянный

лист с рольганга, с обширными полями холодильников, равнинами инспекторских столов, с контрольной установкой ультразвука, просвечивающей готовый лист насквозь, с туннелями обжарочных печей, пройдя через которые сталь начинает жить отлично прокаленным веществом со сроком службы, близким к человеческому представлению о вечности.

И распирала его сила: проломился, ПЕРВЫМ, за смехотворные 34 месяца войны построил на своем заводе он машину, какую не смогла построить вся система, империя СССР и в новой России не смог в одиночку осилить никто: Гусманов со своим «Металл-Инвестом» в Выксе, Верхозин со своим «Теургом» на Ижоре...

Что это было — стан 5000? Великий индийский поход в Новый Свет? Причаливший корабль, земля обетованная и дарование небесной манны навсегда? Нет, все это слабо, не передает. «Короткий шов». Чтобы сварить трубу, через которую может пройти двуногий в полный рост, необходим короткий шов. Тогда она не лопнет. Труба для «Роснефти», труба для «Газпрома». Балтийский поток, Голубой. Божественный ВСТО. Десятки тысяч километров стальных кишок, протянутых по тундре и тайге, по вечной мерзлоте, по дну Каспийского и Баренцева морей. А кроме труб, крупнотоннажные суда: ледоколы и авианосцы, сухогрузы и танкеры. Мосты исполинских и просто очень крупных размеров.

Такой нужен был стан — просто очень большой. И все то, во что он заключен и с чем связан, без чего обходиться не может: без ремонтных цехов и железных дорог, без комплектной системы обращения крови. 375 миллионов в котлованную бездну. Это первой лопатой, а потом — как пойдет. Город в городе, новый отдельный завод был у немцев, японцев, у американцев, запустивших свои «пятитысячники», когда

мы запускали Гагарина в космос. У русских его не было — и русским нужен был только один, хватило б одного, способного давать до десяти миллионов тонн проката ежегодно. И впряглись в эту стройку, в эту гонку ползком — бурлаками, кометами — пять мастодонтов русской металлургии, от «Русстали» Угланова до «Теурга» Верхозина: из-под ногтей полезли когти, изо ртов — клыки. «В живых должен остаться только один!» — с раздирающим воплем вбегал к нему Ленька из своей войны рыцарей, воскресающих в новых столетиях и странах и умирающих, только когда наточенной железкой отхватишь голову от целого.

У Демида отгрызенная голова вырастала опять и опять, у Равиля, у Лешки Могильного. Он, Угланов, залез в паровоз раньше всех и пять лет полз по этим вот рельсам — с перелетами через Европу, Атлантику, пробивая кредитные линии в Goldman Sax, Standard Chartered, Credit Lyonnais... выжимая лишь капли из скрученных в жгут пересушенных скепсисом и еврейской иронией банкирских мозгов, подписав два подвешенно-виселечных и подпиленноногих контракта с немецкими Siemens и Demag Cranes & Components на поставку всей умной автоматики стана, тепловых генераторов, пневмонасосов, низковольтных устройств коммутации... Заводская машина, загрузив батареи и домны на полную, на пределе форсажа работала только на затеянный стан, а еще обеспечивала половину областного бюджета, отчисляла в бюджет федеральный всего до хера, и углановский ум изощрялся в новых головоломных, извилистых схемах «налоговой оптимизации» прибыли из-под гребущей федеральной руки; становой хребет рос позвонок за стальным позвонком — к декабрю прорывало магистральные трубы в Могутове, из земли били дымные гейзеры, и крутой кипяток настывал ледяными пластами на

заснеженных улицах, сквозняки били в щели шириной со стены, замерзали больницы и школы, деньги падали в руки железных только редкими каплями, тая на раскаленных ладонях, как на сковородках: инфляция, и он к ним выходил с заклинанием-рефреном: строим стан на пять метров — себе, своим детям и внукам, Уралу, всем русским... оплачу вам потом, закормлю заработанным верой и правдой, мозолями, только пустим и выйдем на проектную мощность сперва, — и считал, сколько он еще месяцев сможет опираться на это молчание железных.

Может, и не пришлось бы затягивать так пояса, если б с низкого старта, чуть не в самое мгновение отрыва его не окликнули, молча не показали: забудь про 5000, сюда вот кто заходит — ОМК, по соседству с тобой присевшие питерские федералы с такой кремлевской покрывшей, что лопатой к земле нагибают любого... Они везде теперь садились, эти питерские, — еще вчера лишённые в глазах Угланова всех свойств, кроме прозрачности, заместители глав насекоморазмерных префектур и управ и подполковники запаса ФСБ взлетали с первой космической в Полпреды и заместители руководителя Администрации Президента и рыбацерам углановского класса, происхождения, истории эволюции умели непривычно жестко выговаривать: «тут» вашего нет ничего, все ваше «тут» отдано нам.

Позвонил ему Зюзин, под этих федералов пошедший: есть разговор, подтягивайся в «Царскую охоту». Из подкатившей черной туши «Ауди А8» с синей мигалкой-прыщом и цифрами дарованной неуязвимости под радиаторной решеткой выбрались «они»: сам Витя Зюзин и «вот этот», неоспоримый отблеск Президента на земле, из тех, что тянут головы из третьего-четвертого рядов в ежевечерних репортажах о посещении Президентом образцовых животноводческих хозяйств и

всенощных на Пасху — и я тут, и я, и меня опалило снизошедшим огнем «самого»... Пару раз где-то виданный им, Углановым, мусор, пыль ковровой дорожки Ленсовета и питерской мэрии... Бесстужий или как его там?.. Сухопарый такой, с неприязненной и безрадостной мордой язвенника. И, прогнав официанта за водой без газа: прекращай это дело, Артем Леонидыч, ты же все всегда очень хорошо понимал, потому и сидишь до сих пор на всем том, что загреб в 90-х, сделай жест доброй воли, чтобы ровные были у нас отношения. Все равно уже увязнешь со своим этим станом и вторым приползешь, это я уж тебе обещаю.

Он всегда упирался, когда кто-то ему говорил: будешь делать, что мы тебе скажем; не везде, не всегда ты хозяин, посмотри — над тобой не одно только небо. И уперся сейчас: хрен ты в сраку получишь, а не русский стан номер один. Покачал сокрушенно Бесстужий башкой: еще один сгорает на работе — достал свой «Вертю» на-...-как-хочу и показал, как быстро у него отыскиваются кнопки.

В Могутовский завод вклезились все: Генеральная прокуратура, сенаторы, депутаты «Единой России» и КПРФ (немедленно остановить хищение русской стали и ограбление трудового человека!), ФНС и УБЭП, Федеральная антимонопольная служба, Высший суд арбитражный, многодетные матери, вдовы, разведенки с ходатайствами в суд какой-нибудь Южной Осетии о наложении ареста на все сорок миллиардов акций компании «Руссталь», Росприроднадзор, вертолетные подразделения «Гринписа»: губишь чистые реки, Угланов, отравляешь детей, разрушаешь, чтоб строить, и строишь, чтоб разрушить у нас окончательно все, покажи, где у вас тут установлены воздухоочистные системы XXI века, ради будущих где поколений, ради жизни самой! Но вот самое страшное — отключили всех

смежников: на юге, на востоке защелкали рубильники и заскрипели вентили монополистов, отсекая завод от Единой Энергосистемы, от воды, от всего; отделения Российских железных дорог световыми столетиями не замечали на своих сортировочных станциях все ползущие с севера, с юга, с востока и пристывшие к рельсам составы с углем и рудой для Могутова — на завод опустили свинцовый колпак, временами постукивая: ну ты как там, не хочешь все еще по-нормальному? вообще жить не хочешь? Ну давай — доходи.

Но они его просто не знали. Знали, что рычаги у него, что «свои» — в федеральных министрах и советниках по экономике, в самом верхнем отделе кремлевского неба, но не знали другого: у него была сталь и он знал, что из стали всегда, изначально главным образом делали русские. Танки и самолеты. Броню. Он над этой броней когда-то в Институте проблем безопасности и колдовал, и когда в эру гласности и распродажи стального, броневое «всего» закричали: конверсия, переплавить все танки и подводные лодки в скороварки и сковороды, понимал он уже, что начнется обратный процесс: скороварок не надо, нужны русским новые танки и подводные лодки — из упрямой потребности русских в величии, в оправдании мощью на планете и в космосе своего неустройства «внутри»: пусть в лаптях мы, но вмазать кулаком по планете можем страшно — всегда. Он и сам хотел вмазать и залить мир промышленной, «мирной» русской сталью. Взял еще в 94-м на баланс НПО «Щит-Антей»: танки Т-90, прицепы, стволы, тепловые головки (ну как тут без Фрейда?), матерые академики Зацепин и Рассадин, не устающие выращивать в мозгу рецепты и системы защиты и убийства, аналогов которым не будет еще лет пятнадцать — двадцать.

По разветвляющимся кабелям, корням правительственной связи, задействовав свои высокоскоростные подключения в системе «Белый дом — Старая площадь — Архангельское — НовоОгарево», подкопами, измором дотянулся до зама Председателя Правительства Яшметова, ответственного перед родиной за производство новых комплексов фронтовой авиации и атомоходов, и вот уже на дымном полигоне перед глазами зазванного в гости человека государева завораживающе мощно, неправдиво-изящно вальсировали два могутовских опытных танка не дающейся определению, опознанию новой породы — с ровным остервенением лили ручьи хищных траков, расходились, сходились, выписывали циркульно чистые эллипсы на расстоянии волоска от зрячего, расчисленного бешенства друг друга, попадали в воронку, вращались, будто закручивая огромную невидимую гайку; разгонялись до крейсерской скорости, тяжким плугом пропахивая земляную пустыню увал за увалом, взлетая на валы и пролетая надо рвами, возносясь к небу пушкой и рушась всеми тоннами траков, брони, экипажей в закипевшую муть рукотворных болот — броненосцем, рептилией выползая на сушу и на полном ходу, на ухабах выплевывая из стволов подступившую краткую судорогу, разнося попаданием условную цель на ошметья.

А Угланов вколачивал припаявшемуся к окулярам Яшметову: даже землетрясение восемь баллов — без разницы, цель в прицеле у нас остается всегда, алгоритм наведения такой, дальномер мы поставили исключительный лазерный, все считается автоматически с недоступной американцам космической скоростью, испытайте броню, это наша броня, держит все.

— И чего хочешь ты? — И в пожаре, влечении к завораживающей танковой силе

сохранилась брезгливость к воровавшему русские недра Угланову, видовое упрямое предубеждение, но уже осязаемо, зримо подтопленное.

— А чего хотел Крупп, когда делал свои бронеплиты для вермахта?

— Ты б полегче с такими сравнениями.

— Ну так я тебе смысл. Я хочу оборонный заказ. Закрепить отношения. То, что я показал, — это только зачаток колоссальных возможностей роста. Стан «пять тысяч» построю — это будут подлодки и авианосцы. Все, что мне нужно для того, чтобы поставить вот такую броню на поток, — это скидка всего на две вещи: электричество и перевозки. Ну какая вот разница, кто богатеет, если вместе со мной сильнее становится, ты же сам понимаешь, страна.

Технология сборки изделия простейшая: создается еще один холдинг с участием госкапитала, назовем его, скажем, «Оборонмашресурс», и у этого холдинга 75-процентный(!) дисконт от всех естественных монополистов, для «Русстали» — разрыв электрической и железнодорожной блокады окончательно и навсегда.

Два с половиной месяца ждал от правительства ответа по своему сталепрокатному всему, и ночью, американской небоскрежной пылающей ночью в пустынном съюте «Мариотта» прозвенел сигнал телефонного вызова в Кремль: поднимали их всех, крупный бизнес стальной, алюминиевый, и взлетели «гольфстримы» и «боинги» над огоньками, золотой лягушачьей икрой мегаполисов, и Угланов вступил в самый чистый, по исследованиям авторитетных экологов, воздух в стране — сконцентрированный в кубе, в невидимо очерченном пространстве Ново-Огарева; в этом режущем воздухе, словно снимающем с каждого старый кожный покров, все у всех стало новым: позвоночник, глаза, «как идет человек»...

Заходили когда-то сюда, великаны, игроки высшей лиги, свободно... А теперь ненадежно, нетвердо рассаживались за овальным столом, соглашаясь с именными табличками, и не спрятать, как бьется под прозрачной кожей тревожная кровь, как вспухают в мозгу подозрения-догадки, что «он» мне приготовил, что решил про меня, и как плавают в черепе предохранители «я же с властью не бился, всерьез не грубил». И явление им «самого» — с чуть утиной верхней мягкой губой, даже с лопнувшим, видимо от недосыпа, сосудцем в глазу, но другого, другого при всей простоте, несомненной обычной телесной природе позвоночного млекопитающего — куска огненной плоти, источника окончательной силы и правды всех русских. И не важно, что эта абсолютная сила — не сам он, средних лет, с несуразным лицом человек, а ему ее дали... И с тронного места, из единственной точки пространства защелкал, зазвенел его голос — часовым механизмом, машинкой раздачи всех наград и смертей... И дошел до Углanova: познакомился я с предложением вашим, Артем Леонидович, кто не знает, по запуску броневго листа, и оно показалось нам очень привлекательным и перспективным... — подкатывали слова, поднявшейся водой снимая Углanova с блокадного сидения, — все развернулось и направилось туда, куда хотел и разворачивал Угланов.

И еще даже больше, чем Угланов хотел: с каким-то жадно-уважительным вниманием к его, углановскому, личному кроветворению президент спросил: «А какие еще на сегодня у вашей компании проблемы? Что у вас там по стану „пять тысяч“?» И Угланов почуял: может бесповоротно он сейчас продавить свою правду. И — хотя что-то тронуло стужей череп: не проси, всех озлобишь, слишком многие в «системе» пойдут на снижение своих аппетитов и тебе не простят — засадил до

упора стамеску в приоткрытую щель: не дают мне построить «пять тысяч», защемили и душат, ОМК — своим властным ресурсом.

Президент (перестав вдруг мигать и нажав на Артема глазами, привыкшими повсеместно встречать пустоту, когда давит на кого-нибудь он, и слегка удивленными, что Угланов исчез не мгновенно, не весь):

— А быть может, вы просто не привыкли к открытой конкурентной борьбе? Все никак не отвыкнете от залоговых аукционов?

Он, Угланов (уперто):

— В конкурентной борьбе я давно б уже наглухо всех участников заперцовал, извините.

Президент:

— Выражения у вас интересные — «заперцовал».

Угланов:

— Так было у кого учиться. Вот стране нужно что? Нужно, чтобы страна перестала закупать лист для труб у китайцев и немцев, заместить этот импорт чем скорее, тем лучше. Чтобы стан был построен, и не важно совсем, кем он будет построен, ОМК ли, Углановым, — важно только, какого он качества, да? Вот давайте сравним две компании по результатам и по прямым потерям для бюджета, коль скоро в капитале ОМК участвует государство. Себестоимость тонны самая низкая в Европе, одна из самых низких в мире — у кого? Мне ведь в отличие от ОМК, которая с госзакупок кормится, необходимы качество и демпинг, чтоб удержаться на всех рынках от Норвегии до Малайзии. Второе: в Могутове накоплен опыт просто исключительный по части холодного проката, там за мной двадцать тысяч отборных

спецов, мы сохранили старое, мы вырастили новое поколение, и любого из них хоть сегодня можно к стану «пять тысяч» поставить, в Германии, в Канаде, где угодно — хоть вырви им глаза, найдут все моментально одной безошибочной ошупью, одними только зрячими руками. А что у ОМК есть на сегодня? Литейщики фасонного литья, которые работают по инструкциям 1935 года? Я понимаю, как вы заняты все время, но я вас приглашаю на завод. Посмотреть, как работают люди, что мы можем уже на сегодня. — В эти ровно-стальные глаза, под залысины круто-высокого, с нитяными морщинками, лба, напряженного словно в непрерывном усилии понять, как лучше будет сделать для страны — без личного и видового предубеждения к кому-то и прочего мешающего делу человеческого мусора. — И я, заметьте, ни копейки из бюджета не прошу и стан могу построить ровно за три года.

Все, дальше было нечего и некуда вворачивать, и президент с внезапной цепкостью, готовностью вчитаться в прибыльную схему:

— С собой у вас все данные по этому вопросу? Давайте сюда. — И получив, накрыв ладонью, освятив доставленную по столешнице углановскую папку: — Вы как будто заранее знали и мне это специально сейчас принесли.

Угланов:

— А это мое личное евангелие. Всегда ношу с собой.

Президент:

— Так, значит, за три года? За слова отвечаете?

Угланов:

— Абсолютно. Тридцать четыре месяца — наш срок.

Президент (предлагая присутствующим посмеяться нешутке):

— Приглашаете в гости к себе на открытие?

Угланов:

— Будем ждать вас в Могутове. Право запуска вам.

И оторвался от земли и уходил на огненных столпах под президентское: «Стройте свой стан совершенно спокойно. Только не думайте, что это означает, что у нас к вам вообще теперь больше не возникнет вопросов».

...Не мог уснуть от расширения собственного бытия, так распирала его сила и планету переполняло неисполненное. Он думал о рынках Европы: автомобильный лист «Русстали», идущий на конвейеры «Фольксвагена», «Рено» и «БМВ»; смешили «Миттал Стил» и «Арселор» — скоро другой сталелитейный великан подыметесь над миром и вышибет всем зубы русским кулаком. И думал: он есть, теперь он действительно есть, а когда-то, с рождения загибался от страха не существовать, зачисленный в живые по ошибке, любовью двух уже не существующих, ни разу им не виденных людей, слишком легкий и слишком случайный, чтобы в нем осязаемо нуждался хоть кто-то.

2

Вот это у него обострено, вот это у него в первооснове. Еще был двухклеточным только мальком — и уже, изначально, с предопределенностью: ничего своего, никого из своих, сразу нет и не будет всесильных берегущих и греющих рук, единственного взгляда, сердца, которому ты важен, как никто, а каждый человек ведь должен обязательно быть нужным кому-то, как никто. Трудно смириться с тем,

что за тобой, таким единственным, никто поматерински не следит, передавая тебе все свое тепло, что никому не больно за тебя и никому тебя не жалко.

Он «не хотел» родиться. По медицинской карте, раскопанной в подвале верхнеуральского роддома поисковой командой четверть века спустя, мать измочалила нутро и обескровела родовыми потугами неоправимо — маме делали кесарево, занесли в кровь какую-то абракадабру латиницей, не заметили сразу гноеродную мелочь в сокровенной ее женской тьме. Когда был вырезан из чрева, когда увесистый шлепок по сморщенной и красной маленькой спине прочистил ему легкие, отец его уже лежал в могиле. Мать не могла его, Уланова, коснуться, только смотрела на него через стекло в специализированной по инфекциям могутовской больнице и вязала из солнечной шерсти пинетки для Темочки: «пусть он желтеньким будет у нее, как цыпленок» — донесла, дожила передать медсестра.

Человек себя помнит с уверенностью только после пяти — и поэтому сразу: черноострожский детский дом совсем неподалеку от Могутова, от завода-циклопа, чудовища, вид на который изначально был ему открыт: ступы теплоцентрали и дымящие трубы от левого края до правого — там живут великаны, выдыхают огонь, там, за краем земли, по ночам всходит алое зарево — откровение, видение нечеловеческой силы, и мгновениями чувлось страшно: вот оттуда придут за ним и заберут, бросят в топку, сожгут, чтоб исправить ошибку его появления на свет, он смотрел на бетонные стены и трубы, на железных болванов и каменных баб и не знал тогда, что это промысел; завод — вот что увидел самым первым в жизни он, вот что ему запомнилось как первое, как то, что, показавшись один раз, уже не могло ослабеть и забыться.

Был один общий дом и житье под приглядом существ-воспитателей (женские люди в накрахмаленных халатах назывались «воспитатели»), с коллективными играми в «ручеек», «вышибалу», с принудительным и добровольным питанием: манной кашей, овсяной, рисовой (искусно вырезанный ложкой заиндевелый белый шарик сливочного масла, пожелтев, оплывает, растекается лужицей по мокрым манным барханам, по горячей молочной медузе), рассольником с перловой крупой, картофельным пюре, похожими на пороссячи уши серыми кусками отварной колбасы, морковной, творожной, вермишелевой запеканкой, рыжей, словно покрытой ржавчиной, жареной рыбой, морщинистыми яблоками, грушами, арбузами, какао, кипяченым молоком с противной собирающей пленкой на поверхности, компотом из дегтярных сухофруктов, оладьями с яблочным джемом на праздник...

До сытого рыжка закармливала родина, усыновившая их всех: растекались тепло и довольство по казенным кроватям, доходили до каждого с одинаковой плотностью. В раздевалке за каждым закреплен личный шкафчик с потешной наклейкой на дверце, чтобы никто не перепутал свой с чужим — веселый гусь, умильный медвежонок, задиристый бобер в боксерской стойке и перчатках. У каждого в шкафу: подбитое ватином толстое пальто с тяжелым меховым загривком-капюшоном, негнушиеся валенки с заботливо прошитыми цветною ниткою для различения на «левый — правый» голенищами, гладко-блестящие калоши с розовым нутром, шерстяные рейтузы, рыжеватые, серые, желтые, в рубчик, колготки, фланелевые платья с утятами для девочек и рубашки со знаками дорожного движения для мальчиков, — всем им было, сиротам, отмерено, роздано поровну.

Да, тепло и довольство, радость закладки первых кирпичей: алфавита и счета, названий вещей, своевременных даже ответов на «зачем?», «почему?» и «откуда?» — но уже было в каждом, как нечистая кровь, сообщенное по пуповине это знание, чувство, что ты обворован. Невозможно смириться с тем, что тебя однажды не станет навсегда, с тем, что все умирают и главное — ты, но как вместить то, что тебя не нужно было с самого начала, не должно было быть никогда и ты есть потому, что тебя просто недодушили в утробе. «Мы живем в самой светлой, счастливой стране», «добрый дедушка Ленин», ото всех окружающих женских людей пахнет сдобой, парным молоком, а из ласковых, нежных щенков, так похожих на обыкновенных человеческих детенышей, с сорняковым упрямством вырастает зверье, пополнение колонии для малолетних, ничего из них не вырастает, из допившихся и захлебнувшихся собственной рвотой, из несомых помоечным ветром по жизни забракованных, меченых клеток... «Если мама меня не хотела, то и сам я не буду». «Не могу». «Не умею». Когда тебе с рождения отводят подаяние: мы дадим тебе все, что сочтем дать возможным, мы скажем, где и как тебе жить, — то ничего уже не можешь сделать сам. Все подаяние: от койки до посуды, а с человеком, у которого нет ни на рубль своего, никто не думает считаться никогда. Так равно в них, черноострожских пацанах, проснувшаяся тяга к присвоению вещей была не просто детской естественной потребностью провести борозду, круговую границу, за которой кончаешься ты и начинаются другие, остальные, — обратной стороной несмирения, ненависти к миру, в котором для тебя не предусмотрено неповторимых собственных вещей.

Чем становился он настойчивей в потугах разгадать загадку своего

происхождения («где я был, когда тут меня не было?»), тем сильнее входило в него порабощающее чувство странности существования как такового. Его слабый зачаточный ум простывал, уничтоженный сразу бессилием постичь даже такую малость, как причина его лично, Артема, появления на свет (вот почему есть дети, у которых персональная единственная мама, и почему его, Угланова, никто не ждал и не хотел?), мир вокруг становился ледяным пробирающим ветром и сам он — слишком легким, уже не могущим устоять на земле. В отчаянную минуту ломового ветряного натиска жизнь начинала вдруг просматриваться глубже самого его рождения: он будто вновь выдерживал те перегрузки, которые претерпел за миллионы лет отсюда, в материнском животе; то, что передалось при родах — страх и боль, — замещало ему весь состав; вот это чувство, что не должен был родиться, что слишком многим за его рождение заплачено, уничтожало, разносило его по ветру.

Он помнит: все такие же по участи, как он, детские маленькие люди неизлечимо, откровенно или затаенно ждали маму, не умея высказать того огромного по силе, что пока не потухло и теплилось непрерывным немym говорением в глазах. При появлении у калитки незнакомой женщины у всех половодьем в глазах разливалось: «Вдруг мама?» Когда Ваня Захарченко объявил ему лично, что его, Вани, мама отдала его, Ваню, сюда, «в детский сад», лишь на время и что скоро вернется за ним, чтоб забрать, — он не смог эту правду и неправду вместить, он сказал, закричал: «Ты тупой баран, Ваня! Никто! Никогда! За тобой! Не придет! Потому что твои родители умерли! А живые родители никогда никуда бы не стали тебя отдавать! Если бы твоя мама могла за тобой прийти, то тогда бы давно за

тобой пришла!». У Вани задрожали губы, плечи, он побежал в мир детской справедливости, потребовать, чтобы взрослые люди сказали: у него мама есть, чтоб его возвратили в прежнюю жизнь, что-то сделалось непоправимое с ним — и с Углановым тоже. И воспитательница Зоя Вячеславовна прикусила язык, потеряла глаза и смогла из себя выжать только: да, есть такие дети, у которых родители на самом деле просто... оступились, не захотели сами воспитать своих детей, но это не про маму Вани, мама Вани его не бросала, просто есть обстоятельства жизни, по которым она не могла позаботиться о его воспитании сама, могут просто родители тяжело заболеть, оказаться надолго от своих сыновей далеко, на выполнении секретного военного задания, на Крайнем Севере, в подлодке под арктическими льдами... Но мы живем в прекрасной, самой лучшей на свете советской стране, наш народ не допустит, чтоб кто-то из таких, потерявших маму с папой детей оставался голодным, раздетым, не согретым заботой и лаской. Вас всех усыновила Родина!.. — со стыдом из себя выжимала, цедила, молотила по книжке-пособию для воспитателей специализированных дошкольных учреждений и понимала: ничего не может объяснить, залечить вот у этих двух сломанных детских людей, вот у этого хмурого долговязого мальчика с карими овчарочьи-щенячьими глазами: он уже понял все, иначе, чем написано во всех известных руководствах по подражанию родительской любви.

Он помнит: «Здравствуй, школа!», огромная надмировая сила, которая должна была решить, какой он, зачем он, к чему он пригоден, как будто избрала для проведения своей воли молодую, но серолицую, сухую, близорукую учительницу Анну Алексеевну, трудовика Уварова и физкультурницу Грозу. И мало сказать: «он

старался» — он вкладывался всем своим зачаточным умишком в таблицу умножения и действия с дробями, остругивая и обтесывая заготовочные чурки и бруски, — чтобы его однажды не признали слабоумным и не наметили на отбраковку, сброс в какую-то совсем уж зарешеченную «школу дураков». С лицом, в котором начисто отсутствовали мышцы, производящие улыбку, Анна Алексеевна позволила ему, Угланову, дышать, единственное — морщилась брезгливо при виде потекшего стержня, замаранных синей пастой ладоней: трешь, трешь о брюки синей школьной формы, пламенея ушами от позора неряшества и достигая только больших обширности и едкости чернильных поражений. Но зато както очень уж быстро, всех быстрее спускал по доске меловыми отметинами к острию « $x = \dots$ », опрокинутых всех пирамид с неизвестными, как-то очень уж быстро их строил, и по-зимнему трогало что-то затылок, когда новая, математичка, одышливогрузная и носато-чернявая Марья Сергеевна вставала над душой и вчитывалась в бег раскаленного кратким мыслительным приступом стержня... и однажды, не вытерпев, привалилась, затиснула его мелкую голову меж своих низко стекших к горячему пузу огромных грудей и, поглаживая жесткую шерстку его, приговаривала вот с такой интонацией, словно ей теперь точно придется его для чего-то кому-то отдать: «Головенка-то варит, а ведь варит у нас головенка».

Поляризация «кто умный, кто дурак» за пределами школьной тюрьмы «не считалась», не на ней все выстраивалось в их детдомовской жизни. Воспитанников разделяли сила и голая, бесповоротная готовность вложить эту силу в удар, простейшее из человеческих умений — умение без жалости ударить человека. Иерархия по старшинству, возрастным габаритам, размерам больших кулаков.

Повсеместный закон вымещения: кого больше всех мучают по малолетству, тот больше всех и зверствует потом. «Старшаки» называют себя «паханами», «буграми» и ночами проводят над всеми, кто меньше их самих, экзекуции: накрывают тебя с головой одеялом, и ты должен угадывать, кто ударил тебя кулаком по башке или в пузо (называется «хитрый сосед»), заставляют тебя снять штаны и лупцуют туго скрученной из полотенца тяжелой мокрой «морковкой»: зад горит, словно хлещет по нему кипяток и слезает вся кожа.

Он помнит. Тот день, когда впервые увидел льющийся расплавленный металл. Не тот настоящий прозрачный и алый железный поток, не то подчиненное только десятку людей половодье, дыхание, магму чугунного Солнца, которое им, пацанам, показали, пригнав на экскурсию прямо к могутовским топкам, а просто — на костровом пламени расплавленный в заржавленной банке свинец: дрожит, выливается и застывает по форме вдавленного в глинистую землю кулака. Они сидят на пустыре, взгляд его приварился к дрожащему зеркальцу: вот каление белое это открылось ему, как какое-то высшее, просветленное, чистое состояние вскрытого человеческой волей куска вещества. То, что творилось на границах разновеликих плотностей и разносильных прочностей, сопровождалось производством небывалого, магнитящего смысла: способность выжать огненную воду из куска, который не сомнешь руками, — растворить эту твердость, разрушить бесформенность, переплавить во все, что захочешь, возратить веществу изначальную и придать ему большую прочность, взять ее, эту новую вещь в свои руки, не обжегшись и не приварившись, — вот что должен уметь и иметь человек, вот каким должен быть он всегда. Подчиняющим собственной силе железо и сам,

как железо, выносящим огонь. Сопротивляемость явилась ему высшим достоинством любого железного устройства и живого существа, действительной ценой каждого лица, и надо было научиться у железа именно вот этому — никогда не ломаться, у огня — своей собственной температурой прожигать и расплавлять внешний неподатливый мир.

Этот день весь пропитан нестерпимой, как нашатырь, достоверностью. Скачет рыжее пламя, царапая огненной пылью темно-синюю тьму, и из этих чернил появляется Витя Курбан, высоченный, плечистый, садится, вынимает из пальцев Камбалы сигарету и обводит всех выпуклым, опустело-невидящим, подмороженным взглядом — все знают эту Витину тяжелую задумчивость с похожей на кривую трещину в расколотой доске, незаживающей ухмылкой, и внезапные волны его дикой злобы, и отстраненность странную от результатов собственного зла.

— Вот ты! Иди сюда! — подзывает он Ваню Захарченко, самого крупного и как бы сильного из всех, начинает с него: если этот нагнется, то тогда и другие, поменьше, построятся в очередь.

Ваня — круглоголовый здоровяк с кулаками, но встает и подходит с тоской и покорностью в каждой клеточке крупного, плотного тела.

— Ближе! Нагнись! Нагнись, Харчок! Убью!

И Ваня нагибается и уйкает, схватив заклокотавший нос обеими руками.

— Вот ты!.. — подзывал всех по очереди, и каждый получал в скулу или под челюсть кулаком, откидываясь соломеннонабитым телом или складно валясь на колени, и Угланов почувствовал общность состава со всеми, себя — накачанной горячей водою половой тряпкой, поднялся и пополз за своей порцией на щупальцах,

на потерявших мускулы и кости вздрагивающих ногах... и пересилился и прямо поглядел в пустой и набиравший тяжесть взгляд Курбана, в спокойную уверенность, что он, Угланов, тоже нагнется и подставит позорную подрагивающую морду под кулак.

Курбан все тяжелее вглядывался в него и вдруг — заметив в углановских глазах что-то такое, что не устроило его, что не стирается, не гасится стандартной зуботычиной, — погусиному вытянул шею и харкнул студенистой меткой Угланову в морду. Угланов мазнул рукавом по горящему, каким-то наитием припал на колено, схватил, обрезаясь, за крышку консервную банку, налитую белым дрожащим свинцом, и единым, по скорости равным течению крови движением плеснул из нее все, что было, на толстую ногу Курбана... и закричал от прожигавшей боли сам — и видел ноги, которые забились с судорожной силой, и каблук, что, взрывая суглинок, прокопал борозду от ступни до колена длиной.

А потом он, Угланов, мочился в лекарственных целях на свою ухватившую банку и как будто с облупленной кожей-краской ладонь, и Курбан с корешами приходил его бить и пригнуть его мордой к воняющей хлоркой и мочою параше, но обрывы дыхания, электрический ток по зашибленным ребрам и соленый вкус крови у шатких зубов ничего не могли в нем, Угланове, выправить, возратить его в прежнее состояние, место, сорвать и задавить в нем распутившуюся — пускай еще размером с пламя газовой горелки — огненную силу. Его били пять дней, пока он на слесарных трудах не достал упрятанный за плинтусом трехгранный заточенный напильник и не прибил мясистую ладонь Курбана к верстаку — кровь брызнула из дырки, ударила в ноздрю, пробив до мозговых корней звериным ликованием.

Способ существования был продиктован: блатные кореша, чернильные наколки-клейма на предплечьях, внедряться через форточки в квартиры, запутываясь в бельевых веревках и тряпье и выгребая из комодов трудовые смявшиеся трешки... и вот тут в отдалении непредставимом, в Москве, в цитадели имперской науки закрипели дежурные рычаги и колесики, запуская машину сезонных отборов, рассылая во все концы родины контрольные всесоюзной математической олимпиады для учащихся 7–9 классов, в республиканские столицы и таежные поселки, в специализированные школы с преподаванием предметов на английском языке и основных понятий жизни кулаками. Преподаватель трудового обучения Уваров, с огромными ручищами мастерового и обожженной багровой поролоновой мордой алкоголика, явился непонятно по какому случаю чисто выбритым, в похоронном парадном костюме и застегнутой доверху снежной сорочке и сказал: «Собирайся. Поедем с тобой в город, чемберлен». Он так всех называл пацанов — «чемберленами».

И была то запруженная автомобильными лавинами, то пустая на много километров дорога, безостановочное расширение исхоженного мира, который оказался только пустыней летней пыли для жука, для гусеницы по фамилии Угланов... Изумрудной патиной покрывшийся Ленин на полированном гранитном пьедестале среди площади, столпотворение одетых, как на праздник, восьмиклассников — со сведенными страхом наказания бровями, губами, коленями и глазами назначенных на заклание детенышей нерпы; идиотки беззвучно молились какому-то богу, возводя застекленные и необутые глаза к мозаичному куполу с изображениями сталевара, доярки, ученого, держащего в ладони мирный атом;

идиоты с отчаянно-запоздалой жадностью жрали из раскрытых тетрадных и книжных корыт: отыскать там спасение — ну а вдруг это все, что уже изучили, совпадет с тем, что им вот сейчас зададут... тоже, что ли, все жили с рождения, как он, в пробирающем страхе не быть, оказаться отмеченными и отбракованными? Но вокруг хлопотали, вились, как пчела над цветком, над любым вот из этих явно оранжерейных детенышей педагоги и матери — матери, да, с «Буратино», с «Байкалом» в бутылках, с печеньем «курабье» в промасленных кульках, с шоколадными плитками... И увидев в упор, как дается все им, этим вот не покинутым матерями «нормальным», он почувствовал жжение в груди — нет, не злобу, не ненависть, а его просто снова не стало: исходящие от матерей теплокровно-живые любовные волны обтекали его, не ему предназначенные, и когда их позвали подыматься по мраморной лестнице в «аудиторию», он пошел не за грамотой и почетной латунной медалькой, даже не за возможностью взлета из ничтожества «в люди» (лифтом «в МФТИ без экзаменов», в НИИЯФ и Курчатовский, он про это тогда и не знал — что решается это «прямо здесь и сейчас»), а затем, чтобы сделать себя настоящим, живым, существующим.

Ничего не боялся и сразу увидел в вопрошающем рое, пчелиной сумятице приданных скоростей и приложенных сил — сошедшее в стройное космическое целое и с ответом арктическое «все», записал, словно кто-то ему диктовал, и, не вытерпев, встал и пошел по ступенькам на дно, в котлованный провал — сдать задание первым. Корпевшие вокруг, терзавшие виски и прикрывшие ладонью от соседей свою тайнопись, словно невидимые огоньки церковных свечек, отчетливо страдающие вундеркинды глядели на него с презрением и ужасом, но одновременно

— с догадкой, допущением: а вдруг! а вдруг и вправду он, «детдомовский», все правильно решил?

А к началу учебного года пришло приглашение в лучший в стране интернат для юных математиков и физиков. В неполные четырнадцать один он выломился из кирпичной предопределенности.

3

Монстра должны были пускать уже сегодня. И неведомо было, что захочет увидеть приглашенный на запуск президент, кроме стана-5000, еще, — обязательно ведь: «Ну а как живут люди?» Как живут многодетные матери, старики, ветераны и дети? На всю эту жилищно-коммунальную прорву Угланов бросил Сашу Чугуева. Губернатор и мэрия — что? Все решает сейчас на Урале «Руссталь», наполняет бюджеты, жилищные и дорожные фонды миллионами денег «Руссталь». Чугуев разрывался над подвижной, текучей, изменчивой картой металлургического города и области, все держал в голове: каждый метр аварийных домов и полезную площадь квартир матерей-одиночек, носился по закрытым на капитальный ремонт поликлиникам, перебирал, как врач рентгеновские снимки, инженерные планы и сметы могутовских строек: затянулось, срослось, восстановлено, не осталось полипов в желудке и каверн в продымленных, изношенных легких? Ну а это что за уплотнение в подмышке, новообразование в толстой кишке?.. И успел, успевал заварить все прорывы в магистральных могутовских жилах; оставалось одно — детский сад, «наше будущее», на тысячу детей могутовских рабочих детский

комбинат, бетонный монолит, два этажа, построенный в конце шестидесятых, и зеленый и черный лоскут изначальной земли, на котором он сам, Саша, вырос; их водили с Валеркой сюда, мать всю жизнь — воспитателем... и полетел сейчас на улицу Литейную, в невозможное прошло, в детство, что нельзя возвратить, зная, что ничего там уже не осталось, все построили новое, нет там больше разошедшихся деревянных веранд и железных скелетных ракет, каруселей, качелей, стало лучше, просторнее, чище, богаче, но все это уже не его — для другой уж могутовской поросли. Вот не то чтоб жалел он себя, свое срытое, смытое время, но на полном лету вдруг впивалась в Чугуева боль — боль за время, когда был всемогущий отец, когда мама была молода и Валерка еще жег свечу с трех концов на свободе.

Машина с ровным бешенством летела по проспектам — такой же, как у всех в топ-20 «Русстали», вороной, сияющий рояльным лаком «Мерседес S-65», — обгоняя автобусы, грузовых мастодонтов, седаны, кроссоверы экономных, кредитных пород: стало много в Могутове только-только сошедших с конвейера и сияющих свежей лакировкой машин, на душу населения — не меньше, чем в миллионниках Новосибирске, Омске, Екатеринбурге. Стальное полотно, могутовский прокат стандарта ASAS-P летит по рольгангам, кроится летучими ножницами, состав за составом идет на заводы «Ниссана», «Фольксвагена», «Форда», «Рено» в Восточной Европе, в Калуге, под Питером, в забитом людской халвой Китае, обратно в Могутов, «по бартеру» — тысячи моторов японских, немецких кровей.

Автократор Угланов питался рекордами: «У меня каждый пятый рабочий — на джипе», в пресс-службе «Русстали» обучились подкармливать самолюбие хозяина, поставляя на корпоративный черно-бело-оранжевый сайт статистические отбивные

и торты: «Длина холодного проката, произведенного „Руссталью“, равна 147 расстояниям от Земли до Луны и 1/3 расстояния Земля — Солнце», «Могутовскими рельсами 24,5 раза можно опоясать Землю по экватору», а на самое сладкое — ткнуть в Карлов мост, отреставрированный под эгидой ЮНЕСКО: все железное в этой исторической кладке — отсюда и на двести лет с гаком — мое, на моей стали держатся Красота и История.

Да, Угланов был болен железной мегаломанией, и, летя по проспектам, по берегу неизменной реки, Саша видел повсюду всходы этой болезни: трепетание сварки в железных костях этажей, строй решетчатых мачтовых кранов от левого края до правого, котлованы, в которых ворочались экскаваторы, грузовики, и все это он видел сейчас и любил, как свое, — это было углановское, но и неотделимо его лично, Сашино, это было могутовское; он мчался по своей, могутовской, земле, отделяя, как плугом свое от чужого, что лежит за пределами сталелитейного города.

То, что он чуял с ясностью все последние годы, не сводилось к кормушечному «навсегда ушел вверх» или «жизнь удалась», к земляному, кротовьему «у детей будет все». С первых минут зачатого Углановым могутовского роста он непрерывно понимал и ощущал, что исполняет чей-то замысел о том, каким он должен быть; что хорошо, так хорошо, как может, проводит волю этой вот земли; он понимал теперь, что у природы — может, Бога — есть свой замысел о каждом человеке: для чего он рожден, что он может построить, чему послужить, ты несешь в себе эту идею, как зачаток кристалла, и себя либо делаешь тем, кем задуман ты был, либо движешься вкривь, «не туда», дальше все вот и дальше от себя настоящего, прожирая задаток, «что вложили в тебя», превращаясь в урод, способного лишь испражняться и

ничего, кроме дерьма, за свою жизнь на свет не произведшего.

На четвертом вот только десятке наконец-то он понял отца, которого не видел из брезгливого далека и презирал за «рабство», за обыкновенное: за мозоли, за соль, проступавшую вдоль хребта на рубашке, за разбитые руки вальцовщика, огородника, плотника. А отец просто знал, для чего он задуман, и вырастил этот самый кристалл, воплотил этот замысел жизни о нем настоящем, железном. И при этом всегда ведь твердил он, отец: «человек измеряется производением», «ты скажи мне, какую ты машину построил и способен обслуживать, и тогда я скажу, кто ты сам есть такой», — выходило, что оба с отцом они понимали и чувляли каждый по-своему эту одну несомненную правду, не совпав, два Чугуева, только во времени, и разделяло их с отцом только вот это невозвратное, упущенное время, за которое Саша догнал в понимании отца; разводила их только неправда личных денег, богатства, которая начала выпариваться, как только Угланов смог платить всем старшим мастерам по 2000–2500 долларов... И как он мог, Чугуев, думать, что никто не понимает то же самое, что он? Как мог думать отец, что он, Саша, никогда не поймет его правды, не дотянется, не дорастет? А теперь, когда их завод снова стал стальным великаном, с осязаемой бесповоротностью начала продвигаться, сбываться отцовская правда, он, отец, теперь «точно уже» умирал, и впивалось в живот, сквозь пупок протыкая до чего-то, способного только завывать: никогда он не сможет теперь уже рассказать отцу, как он — хорошо, целиком — его понял, что давно у них правда — одна, остается он, Саша, с этой правдой, отцовской, жить.

«Рак — болезнь угнетенной души» — есть такое расхожее выражение, глупость, как и «инфаркт — болезнь равнодушных», но у отца в нутре и вправду

незаживающе болело за Валерку, нестерпимо родного, отлитого по могутовской мерке живучести первенца, настоящего мастерового, в котором, а не в Саше, конечно, он видел свое продолжение. И какие-то железы, клетки, телесные нити, отведенные в каждом для связи с родным и любви, стали перерождаться в отца, умирать — ежедневное кровотечение: не дожидаться Валерки, не дожидаться того настоящего, прежнего и сломавшего замысел жизни о нем настоящем, не просохнут от крови Валеркины руки... Это Саше казалось похожим на правду... Впрочем, как бы то ни было, у отца «нашли рак», както походя, буднично, «со среды на четверг»: обратился-то с жалобой на ломоту в коленях, на которых полвека проползал под клетями прокатного стана и, наверно, прополз расстояние, «равное 150 расстояниям от Земли до Луны» — пусть дадут для втирания какую-то мазь, раз в полвека железный обращался с какой-то суставной ржавчиной, а врачи заодно: «А вот это... со стулом?... ага, с деревянным... а вот здесь нажимаю — болит?»

Девять лет от лишения свободы Валерки. Отец успел увидеть, как по углановскому плану творения ломami разбираются закоченевшие мартены и на места сталеплавильных ископаемых встают новорожденные сферические поды и купола электродуговых печей, это в него вдохнуло огненную силу, и восемь лет еще служил у черновых и чистовых клетей свою вальцовщицкую мессу, но и боль за Валерку, отрезанного вот от этого жизнестроительства, увеличила градус и жгла: жизнь продырявливалась тем, что она уже не для Валерки, происходит без сына, творится не им. Жизнь дала отцу внука, Валеркину копию: будто смог он окликнуть, отец, вот того своего, из прошедшего, мальчика, и он тут же примчался, захлебываясь смехом, этот чистый, с живой водою в глазах, ничего еще не понимающий мальчик,

разбежался с порога и вцепился в огромного деда-отца, привалился и замер, дав почуять отцу силу тайного роста под чистой и крепкой изначальной кожей, и отец нагляделся, напился этой радостью пройденных ввысь сантиметров, отмечаемых химическим карандашом, ножевыми зарубками на дверном косяке, и вот эта по силе обновления ни с чем не сравнимая радость тоже скручивалась с болью в нутре: без Валерки растет этот новый Валерка, быстро вырастет и не узнает, отвернется, откажется от такого отца.

И у Саши, у Вики — в растущем, выпирающем куполом в мир животе — появился и зажил, словно за световые столетия отсюда, их маленький, а отец умирал: не увидит уже сквозь свинцовый наплыв, не почует своей крови — от Саши. Саша ринулся из акушерского центра в Женеве к онкологам — все решить, все купить, что возможно, купить, для отца — и услышал: «промедлили», «если бы раньше...», «операцией все не решается», и отец не хотел, чтобы вывели в брюхо кишку, не желал оставаться в кроватной трясине неподъемным, недвижимым, потрошенным обрубком; оставалось — дожждаться, убавлять наркотическим средством растущую в брюхе огромную боль и убавить последнюю в ту минуту, когда ничего он не сможет уже понимать (дед кричал перед смертью: покатился из домны огонь, затопляя весь цех, и ругался: дайте пику, багор!), и из огненной лавы, из отсутствия цвета и света, из-под сердца всплывет, размыкая спеченные губы: «с-сынок». И кого позовет он? Валерку? Может быть, и его, Сашу, тоже? Он хотел быть окликнутым, он хотел, чтоб нашлось напоследок у отца для него, Саши, место.

Подкатали к детсаду: от яблоневой рощи чугуевского детства не осталось ничего — на рыжем пустыре торчали только голые пеньки с давно ороговевшими,

отполированными спилами. Оштукатуренные стены П-образных корпусов светились девственной охрой, панорамные окна полыхали на солнце, чумазые азиатские строители киянками вбивали в растворную основу плиточные пазлы. Главный прораб с кирпичной мордой и глазами окуня показывал дорогу, примчалась директриса с золотом в ушах: вот медицинский кабинет с массажными кушетками, спортивный зал с батутом, шведской стенкой и корабельными пиратскими канатами, вот бассейн, бельевая, а здесь у нас кухня... Чугуев застрял посреди отсырелого голого бетонного пространства и с бешенством разглядывал растущие из стен и уходящие в подвал гофрированные хоботы: это что? тут должны уже дети по кроватям сопеть, дети где, покажите. Провели в «групповую». Разномастные дети четырех-пяти лет, по четверо сидевшие за столиками, терзали вилками творожно-вермишелевую, с румяной коркой и кисельной подливой, запеканку — вмиг повернулись головенки с бубликами кос, жесткой шерсткой, сабельками вихров, во все свои полтинники, озерца, родники лупились на Чугуева, опустошая тайной, что же из них вырастет, что за будущий в них человек. И перестали его видеть, все головенки разом повернулись на что-то более важное и сильное, и «До свидания, Наталья Николаевна!» вперегонки рванулось, зазвенело из раскрывшихся клювов в потеках какао и творожных крошках: посмотрел — и хлестнула его по глазам незнакомая женщина... Как же он позабыл, что она тут всегда?.. Уже без белого врачебного халата, в синей вязаной кофте и джинсах, с зачесанными как-то постарушечьи и собранными в узел волосами, Наташа шла к нему, Чугуеву, и мимо, прямо глядя в глаза и не видя: потеряла лицо молодого, начального, ежедневного счастья, первых дней нищеты, всемогущества, когда из мебели нужна двоим только

кровать и денег им на все хватает и железных — когда на всё и всех смотрела будто сквозь Валеркино лицо, так, словно каждое мгновение они с Валеркой глядели в лицо друг другу ненасытными глазами; пустота ожидания сожрала, погасила весенний размах, но никуда не делась режущая синь из этих глаз, что магнитила и вынимала дыхание из многих, из него вот, Чугуева, тоже, никуда не ушла из них та живая вода, просто стала другой, проводящей другое, выносившей со дна этих синих колодцев — постоянство терпения и страха за отсеченного тринадцатью годами и двумястами километрами Валерку: как он там, что там с ним могут сделать еще.

Он зачем-то шагнул ей навстречу — поздороваться по протоколу с «родней», «не чужой»: «я уже ухожу», «провожу», «подвезу» — она молча кивнула: без разницы. На улице от них почтительно отстали подрядчики, прорабы, ординарцы, и молча двинулись кратчайшей дорожкой к машине брат и жена убийцы, идиота, — мимо подстриженных, как по линейке, голых кустарниковых изгородей и возрождавшихся, пускавших светло-зеленые нетвердые листочки тополей. Он пожалел, что зацепил, сцепился с этой раненной, заболевшей отнятием родного мужчины и живущей без солнца, в одиночестве и одноночестве, и, открывая для Наташи дверцу с напряженно-почтительным, как над гробом, лицом, задыхался от стона омерзения к себе: да зачем?! Ему нечего дать ей, ничего он не может для Валерки купить, и в песочном сыпучем молчании будут ехать сейчас, под асфальтовым небом, под плитой невозможности развернуть, возвратить их, Натахи с Валеркой, жизнь. Соударившись с нею, он не мог себя вытащить из ощущения вины, прихватившей и давящей вне разума: это он ее обворовал, эту девочку, это он ничего для нее не поправил. Дело было не в том, что Валерка в тот день начал

делать «все» из-за него, из-за них вот с Углановым вообще началась заводская война. Дело даже не в том, что в те первые дни он, Чугуев, боялся — остерегся впрягаться всей своей покупательной силой за брата: он тогда потерял настоящую силу, способную все купить и решить, больше не самодержец завода; сквозь него проходили взгляды всех, кто вчера не сводил с него переполненных рабской любовью глазниц, — такова участь всех уничтоженных, сниженных: только ты зашатаешься — сразу набегут по кровавым следам, чтобы рвать за компанию и отгрызть свой кусок. И Валерка — мокрушник! — стал еще одним Сашиным незащищенным, легко пробиваемым местом в те дни. И решалось-то все за минуту, за смешную десятку «зеленых» следаку и дежурному, за полтинник судье, чтоб они написали про труп: «сам упал», и плевать на «шестнадцать свидетелей» и на то, что ломал он, Валерик, ментов, зашибал, как взбесившийся экскаватор ковшом, — он бы дал за Валерку достаточно, чтоб слюна потекла и до хруста разинулись пасти, но вот только не в те ненадежные, безопорные дни, когда он потерял свои мышцы и кости. И душила Чугуева злота на брата-урода: отцепить, сбросить в шахту, засыпать, соскрести с биографии, с имени!..

Но теперь жгло не это — коржила невозможность хоть что-нибудь сделать для Валерки сейчас. Вот когда прошло время, испытательный срок службы верой и правдой Угланову, он, Чугуев, поправился и набрался опять покупательной мощи, он хотел — и не мог. Начало в нем, Чугуеве, что-то болеть, словно фантом отпиленной конечности, культи, словно Саша не чувал, не чувал, а потом, с опозданием обнаружил пропажу: не переделывался брат в однофамильца — наоборот, наоборот, с неумолимо давящей силой в однофамильце проступал Чугуев-брат; бытие его, Саши,

уже не кончалось там, где обрывались, у отрогов Тянь-Шаня, владения «Русстали», — был Валерка включен в него с той же надзаконной, необсуждаемой правотой, что и Сашина Вика с ребенком, пусть и дальше, конечно, был Валерка от стержня, от ядра его «я». И с какой-то минуты и уже навсегда Саша не захотел отдавать брата «им», оставлять брата «там» — на съедение времени, на весь срок, за который в человеке сменяется полностью кровь и «душа» покрывается шерстью, — вот этого белогорячечно-беспутного, самого виноватого в собственной участи бивня — быть может, уже проржавевшего в зоне и ни на что не годного в нормальной жизни старика.

Это делалось просто — безо всяких мечтаний подростка, насмотревшегося фантастических боевиков: вертолет зависает над зоной, выкидывает трос, размыкает наручники скрепкой, спичкой герой, выбирается из монолитной одиночки подкопом, перебежками рвется, залегает и прыгает в отходящий вагон, солдаты караульной службы на всю длину засаживают зазубренные пики в кубометры сыпучего груза, лесопилочной желтой щепы, с какой-то фокусничьей ловкостью не зацепив, не прободав незакричавшего счастливец... а просто за полтинник «зелени» тюремный врач напишет протокол осмотра тела, свидетельство о смерти и кремации: брат родится еще один раз с новым паспортом и трудовой, чтобы жить под чужой фамилией, но своей единственной, настоящей, полной жизнью, тем же самым отменным могутовским мастеровым, прощенным своим еще маленьким сыном и дышащим со своей Натахой одним ртом на двоих.

И Саша купил, оплатил работу типового транспортера, подающего живых людей на волю, — он думал: только поднеси к рассудку брата эту спичку: можно выйти и

жить невозбранно, как брат сразу ринется, подхваченный естественной, нерассуждающей тягой к свободе, неумолимой надзаконной потребностью, глубже которой и сильнее нет в человеке ничего, — а брат не сдвинулся, брат сам не захотел. Машина пришла в место встречи пустой, как будто после переплавки в топке крематория от брата в самом деле не осталось ничего, и Саша полетел в Бакал всех уничтожить, взявших деньги его и сорвавших доставку: «Где мой человек?!», и, влетев невидимкой в зону, уперся в редчайшее в мире явление — окаменевшего по собственному выбору, не ломанувшегося к воздуху живому человека.

— Почему не пошел, почему?! Живи, пока не прожевали! Жизнь забирай свою обратно, идиот!

— А я могу? Обратно жизнь свою забрать — имею право? — Все у него, Валерки, было прежнее: могутовскойковки хребет, могутовской отливки руки, плечи, челюсти, только из глаз как будто что-то вырвано — не потому что били и согнули: физически мог выносить он огонь, а потому что сам он что-то про себя решил, Валерка, в эти первые три года, и это было заполярной мерзлотой — Валеркою решенное.

— Это ты что? Это ты в смысле — на свободу с чистой совестью? — затопила его неспособность понять: не то чтобы совсем не верил Саша в «душу», в силу раскаяния, «нравственных страданий», в то, что слабое, жадное существо — человек может сам захотеть искупить совершенное непоправимое подвигом, как вот эти мифические уходившие в скит душегубы-разбойники. Только что это все — свечка совести — по сравнению с данной человеку возможностью прямо сейчас сдвинуть с мертвого места свою замертвевшую жизнь, никогда и ни в ком не могущую быть

повторенной, прожитой не «сейчас», а когда-то «потом»?

— А как еще? Ты крови-то не пробовал. Я убил — раз вот-вот двинул и все, он лежит. Весь лежит, насовсем. Был живой человек. У него тоже мать, у него тоже сын. Мать его на суде мне в глаза. И жена. Ладно вот бы хотели загрызть, «будь ты проклят», тосе, а они уже просто не видят. Как им всем без него? Ну а мне, значит, можно, живи? Выходи, мол, Валерка. К Натахе, к Валерке. Завтра робу надену и к домне. Снова в силу войду: вот он я тут хозяин. Буду жрать, буду с батей опять на рыбалку, буду дом себе строить, все брать, что дано человеку, пока он живой. Жизнь за жизнь — если так-то, если брать по всей строгости правды, а не вот по закону.

— То есть так, значит, да? Только смотри: это сейчас ты выходить не хочешь, жить не хочешь, а потом ты захочешь, Валерка, ох, как ты захочешь... и потом будет поздно! Мне сейчас только пальцем одним шевельнуть — и тебя здесь не будет, вообще тебя больше не будет нигде, вот Валерки-мокрушника. Будет просто Валерка — у Натахи, у сына, у матери. Я сейчас это сделать могу. На каталке тебя из мертвецкой на волю. А потом — я не знаю. Ведь это же не рейсовый автобус. Да и дело не в том, что автобус ходить перестанет, — тупо на остановку никто не придет. Ты не сможешь прийти, пассажир! Тут тебя доконают, не физически, нет, не побоями там и болезнями — просто к этой жизни привыкнешь, в ограде, а на воле совсем жить разучишься. Так отстанешь от жизни, что когда наконец-то отпустят на волю — ты обратно запросишься. Ты свою эту жизнь, что дается один только раз, можешь или сейчас прожить, или уж никогда!

— Ну а как сам с собой я буду, внутрях?

— А Натаха как будет?! От нее что останется? У тебя растет сын! Кто их будет

кормить, кто подымет? Ну допустим, что сами они проживут, ну допустим, что я помогу, ну а ты?.. Бесполезное ты существо, если так! Будешь тут со своей виной сидеть, и кому будет лучше от этого? Хоть одному живому человеку будет лучше? Будешь медленно гнить и сгниешь тут, на зоне, — хорошо искупление!

— Я свое отсижу, что мне дали. Десять лет — не впритык. Буду тут вот исправно пахать, оттяну свою лямку и выйду после двух третей срока.

— Да тебя десять раз чуть уже не пришибли! За сержанта, которого ты, за мента! Шила в спину совали, ножи, с крана — кучу руды на башку! Что, думаешь, не знаю?! Да ты жив до сих пор, потому что есть я! Ты же не человека — ты мента завалил! На тебя пришел в зону заказ, и он действует! Хорошо, допускаю, уворачиваться сможешь всегда, доживешь. До чего только вот доживешь?! Кем ты выйдешь? Куда? Кем ты будешь работать? На родной свой завод? А это не завод уже — космический корабль! И будешь ты смотреть с обочины, отброс, на то, как работяги, такие же, как ты, работают на новых мощностях, на то, как они жизнь достойную сварили. Вокруг всех станешь ненавидеть за то, что у других все полюдски, и будешь знать, что сам во всем и виноват, и оттого только сильнее будет злоба, и уж тогда только одна дорога — или в петлю, или по-новому на зону, до конца!

Он кричал выкипающим голосом, словно со дна запаянного чайника, резал брата уже без надежды спасти, вмерзнув в знание, чем может ответить Валерка — что какой он для сына пример справедливости, правды, всеисилия, что он сыну расскажет, убийца, про себя, если выйдет на волю к нему, что предъявит он сыну в оправдание себе, в доказательство, что прожил жизнь не бесследно, не в низости, не

в грязи и крови: ничего же не выстроил, не заработал, не выковал — даже единственного человека, вот Натаху свою золотую счастливой не сделал... А Валерка молчал, приварившись локтями к коленям всей своей литой, не могущей быть взятой даже ломом телесной тяжестью и вклепившись когтями в обритую голову, словно что-то в себе зажимал, не впуская слова, не впуская все то, что про себя знал и так, и без Сашиных режущих криков, словно силясь в башке отключить этот звон окончательной правды: уродам не место в сердце сына и в памяти настоящих железных людей.

Саша ставил себя на страшное вот это место брата: если бы он кого-то продырявил, если он бы годами чуял вес и давление могильной плиты — разве он бы не вспыхнул, стирая на раз тормозные колодки покаяния, совести, разве он бы не прыгнул в последнюю вагонетку на волю? Что страшнее вот этого погребения заживо на тринадцать, на десять лет, на пять даже лет? Идея какого и когда наказания? Бог? Невозможность спасения, отказ в воскрешении? Как-то это все... недостоверно. Как-то стоит недорого по сравнению с живой огневой Натахой и маленьким сыном, невыносимой потребностью схватить единственную маленькую эту родность на руки, чтобы почувствовать себя защитой этого тепла и этого дыхания. Вот спасение, в этом. И наказание — в лишении вот этого. Неужели считает, что, если нарушить приговор и осмелиться жить, тогда жизнь обязательно отберет у тебя твоих любящих и любимых единственных? Как-то не подтверждается опытным это путем. Сколько таких, которые убьют и никогда о том потом не вспоминают, сколько таких, все на крови построивших: дома, заводы, пароходы... да вот тот же Угланов — неужели он чист? Да вся разница в том, что не рвал

человечину сам, напрямую, своими зубами. И не проламывается под ними, не накрывают и не вдавливают в койку неумолимые болезни, не пожирает что-то рак родившихся детей и не сшибаются в воздушных коридорах самолеты. Убил — и никакого воздаяния. Не убил — все равно раздавило бетонной плитой. Откуда же в брате тогда, таком вот... животном, здоровом, мясном — такое по силе раскаяние? Или не в покаянии дело, не только? В ощущении клейма, навсегдашной отмеченности, в том, что чувствует он сам, как разит от него этой глупой смертью: это знание, ток, излучение, запах всегда отделять от людей его будут, и на сына, Натаху от него перекинется эта постоянная, невытравимая вонь. Отсидит — вот тогда излучение ослабнет. Проползет эти 5 300 или сколько там дней — и очистится. Так очистится, что, кроме совести, от него ничего не останется. Время, старость сожрут его силу, как жучок-древоточец стирает в труху неохватные бревна. Это ты понимаешь, святая скотина? Как сцепляются мысли в твоей голове? Что ж тебе тут такое, в затворе, в скиту, под бетонной плитой, в ШИЗО, в одиночке, явилось — от сидения часами в темноте, в пустоте? Что за голос тебе повелел привариться хребтиной к шконке и терпеть, не сходя с неподвижного места все эти вот годы? Саша не понимал:

— Я даю тебе новое имя! Ты уедешь с Натахой туда, где вас с нею никто не узнает! У нас много заводов! Тагил, Качканар — и все это Россия, все русские люди! Выходи и живи!... Да ну и хрен с тобой! И спрашивать не буду! Не хочешь сам — так я тебя отсюда бандеролью! На поводке тебя, скотину, за рога! Вот обещал себе, что вытащу, — и вытащу!

И даже слов не ждал от брата никаких в ответ на лижущие волны искушающего

жара, бессильной дьявольской горелки, не могущей в нем ничего, Валерке, распаять:

— Тогда на первом же углу пойду и сдамся. Я уже бегал, брат... тогда... не получилось. Из себя самого, брат, не выбежишь. Чем быстрее бежишь, тем вот только сильнее — по башке, по башке. Так что не трать зря деньги, брат, не надо. Ты сделал все, как понимал, и будь спокоен. Ну все, ушел, исчез?

И сейчас он зашел, Александр Анатольевич, вслед за Наташей в дом и сидел перед старой матерью: мать говорила про отца, который не дает себя переворачивать на просоленной болью постели, чуть притронешься — сразу кричит, на спине начинаются пролежни... господи, неужели он чем заслужил, чтобы мучиться так?.. Как в сознание после лекарства придет, так Валерку, Валерку сразу звать начинает.

Ночь усиливала звуки: скрипы и выстрелы пружин под заворочавшейся тушей, отборный лошадиный ровный храп, нет-нет и пропускавший сквозь себя безусые мальчишеские бормотания, подрагивающие жалобы единственной на свете, кто утешит, кто всегда утешал, исцеляя все болячки и страхи теплым прикосновением всесильной руки, и наждачные хрипы в разъеденных дырчатых легких, и кашель, и притворившиеся этим кашлем чьи-то сдавленные, не умиряемые до конца рыдания в подушку, проклинаящий стон сквозь зубовное стискивание — непокой и раздрай ста придавленных лагерных душ, что никак не уснут и не вымолят для себя тишины, не дождутся, когда же накроет и вынесет из тебя все, что думает, помнит, болит, настоящая ровная тьма... И слышал он, Чугуев, собственное тело, будто само себя и придавившее своей запрещенной к применению и нерастраченной мощью, и сердце ныло в бешеном надсаде, словно дерево, что изуродованным выросло меж двух заборных прутьев.

А когда провалился в дегтярную топь сквозь матрац, все равно то и дело натыкался в горячей вязкой тьме на коряги, и в нахлынувшем белом калении снова бежал без участия собственной воли в потоке, в табуне озверелых железных людей, хоть и силился чем-то в себе, самой слабой частью своей совладать с излучением, магнитной силой, что его понесла и бросала на своих, одной крови, родных работяг,

рос с которыми вместе с песочницы и которых теперь молотил кулаками, будто кто-то его засадил, как в машину, в его же собственное, но взбесившееся тело... Сам с собой воевал, сам себя направлял на отбойную стену, что должна задержать и отбросить от края, но ее пробивал раз за разом, и размахивалась снова для удара рука, и опять, потеряв что-то необходимое для жизни в башке, от удара валился на кафель тот парень в милицейском бушлате, с мягким, розовым, пухлым, безликим лицом... Он не помнил, Чугуев, лица — только силу молодой этой крови, которую остановил, один раз только дернув своей колотушкой, и Натахино видел лицо, разоренную стылую синь в закричавших глазах, и ломился к нему — чем сильнее, колотясь грузным сердцем о ребра, тем еще только дальше, таким же по силе рывком от него отлетало родное лицо.

Как всегда в шесть часов шуранули подъем, и пчелиный густой, раскаленный звонок взрезал каждого и распухал резиновыми нажатиями на темя — подыматься и жить, помнить все про себя, понимать, кто ты есть, кем ты был и кем ты себя сделал; день и ночь для тебя наступают по нажатию кнопок, кнопки «день», кнопки «ночь»; над башкой сетка хрустнула, скрипнула — по еще не изжитой армейской привычке там Алимущкин вскинулся — раньше, было, и вовсе сразу с пальмы слетал, приземляясь сперва, а потом просыпаясь, лишь когда уже ногу в штанину продел. И полгода на воле после армии не отгулял: подвернулись какие-то двое, погодки, на крутой иномарке — непонятно откуда у них это все, ведь погодки же, в армии тоже должны — и Кирюхе: с дороги, отошел от машины, пока не обгадил, я сейчас твоей кровью колеса помою — керосина в Кирюхин постоянный огонь — ну и дал по башке одному и зашиб... На Валерку все очень похоже. Тут у многих похоже. И

могутовских много — большой заводской войной поломанных железных. Как Угланов явился на завод со своими ментами и приставами, так и хлынул с завода на зоны народ: кто омовцу в сшибке чего повредил, котелок встряхнул малость — это ж целое ведь покушение на представителя власти, — кто вот просто разбойничать начал под пожарный набат, по ларькам, магазинам бутылки прихватывать. И еще прибывали, как ручьи по весне, с комбината уволенные, чтобы лишние рты не кормить, барильетчики, агломератчики, каждой твари рабочей по паре: как его открепили от железного дела, так и не устоял человек, покатился под горку известным маршрутом: пьянки, драки, разбой, воровство — с голодухи, с высасывающей душу тоски, с нездоровой потребности самому доломать свою жизнь, раз и так уже не получилась.

Пятый год непрерывно вбирал каждый шорох и вздрог. Все началось еще в могутовском СИЗО — тогда-то ничего не ждал Валерка: вот хоть его три раза убивай и подымай обратно из могилы, он уже больше бы все равно не помертвел. И когда на прогулке в бетонном бассейне под белесым пустым зарешеченным небом этот самый Лисихин ткнул его жалом в бок — даже если бы он и почуял, поймал то короткое, близкое, без замаха движение, все равно бы не стал перехватывать и закрываться... Все тогда бы уже было кончено, но вот то ли убойного навыка не достало Лисихину, то ли ножик попался такой, сильно сточенный, то ли все вместе взятое — вот уперлась железка Чугуеву в кость и об нее сломалась острым кончиком.

Прояснилось со скоростью звука: на Валерку заказ от ментов, хоть Лисихин корчил блажного из себя на допросах потом: мол, какие-то были ему голоса, на

Валерку ему указали — сатана в человеческом обличье, убей. Жди теперь постоянно, сказали Чугуеву в камере, даванут тебя, смертник, за то, что мента завалил, дальше так всё и будет тянуться для тебя в изводящем ожидании расправы — да вот только горохом бились эти слова о промерзлое темя: он, Валерка, тогда бы еще и спасибо за такое сказал. И вот только Натаха когда на суде прокричала ему — про детеныша: помни, помни, Валерка, о нем, он теперь навсегда существует, он твой, наш с тобой, он тебя будет ждать, — этот крик наконец-то прорезал его до чего-то внутри, что отдельно, вне разума, закричало: «хочу». Все Натахин тот крик в нем, Чугуеве, перевернул: он уже все решил — прогнать ее, Натаху, от себя, убрать себя, урод, из ее дальнейшей жизни, которая должна потечь свободно, а не по руслу вдоль бетонного забора, который их с Валеркой на полжизни разделил. Время — это такая вода: точит камень и ржавит железо до дыр, и как же это страшно — отцветая, ослабнет, потускнеет эта девочка, которую схватил когда-то за руку, щедро способное к деторождению естество ее из верности Валерке омертвеет, и не может он с этим смириться, такого от Натахи принять: ей надо полнокровно, истинно любить, а не захлебываться сухой водой безлюбья — и все равно его, Валерки, не дожидаться. Что из него, мокрушника, за муж и за отец? Но только все уже так с ними сделалось само, кто-то решил за них двоих и сделал им с Натахой: их сын уже был, должен был шевельнуться под бьющимся сердцем неведомый кто-то, состоящий из них, из него, дурака, и Натахи — и только из-за этого, не собственной волей Чугуев начал ждать удара в спину, день за днем продлевая свою жизнь на зоне затем, чтоб впервые, хоть один только раз увидеть и потрогать, кто же там от него получился.

А когда он родился и Натаха его привезла, потащила с собою на зону их

двухгодовалого сына, предъявила Валерке — Валерку, как живую горячую печку, в которой, вот такой еще маленькой, — самый великий, беспредельный запас нестерпимо родного тепла: смотри, Валерик, это вот твой папка, его тоже Валерой зовут, он к нам скоро приедет, не бойся, ну-ка, дай папке ручку, сынок, — он, Чугуев, расплавился в самой своей сердцевине, где одно только мягкое даже в железных, даже в закостеневших от взятой на себя человеческой крови; подступила к глазам его, к горлу, затопила колючая вода, и, один раз взяв на руки эту меховую глазастую гусеницу, от затылка которой пахло прелой пшеницей, испеченным вот только что хлебом, длил и длил свою жизнь день за днем лишь затем, чтоб еще один раз подхватить и уткнуться лицом в это невыносимое место меж плечом и головкой Валерки-второго. Чтоб хотя бы на дление почувствовать: ты! ты — защита вот этих тепла и дыхания. Чтоб себя — человеком. А потом — будь что будет: вот устанет Натаха, не захочет одна оставаться, вдовою при живом нем, Валерке, — он ее не осудит, даже слово такое «осудит» из пасти не выпихнет. Это она, она его должна навсегда не простить за такое. А ему от нее — вопреки — всепрощение.

И вот когда к нему полезли в следующий раз с наточенным жалилом среди ночи, то словно будильник сработал прям в брюхе, подбросив пружиной вклеваться и выломать сжимающую сталь забойщицкую руку. И, вмазав так, что в стенку влип торпедоносец, он помертвел от стужи: вдруг опять?! Вдруг опять «раз ударил — и всё, он лежит»? Еще одна чугунная плита наляжет поверх первой на грудину, вгоняя его в землю целиком — окончательной тяжестью нового срока!

Так и шли его дни, в постоянном качании на узкой и до скользкого блеска натертой полоске между «бей» и «не бей», между «ты» и «тебя». Никогда не

смирятся подполковник и старший лейтенант Красовцы с тем, что сын их, брат и под землей, а убийца его топчет землю, что ему продолжают даваться вседневно: трудовая напряженность мускулов в разгоняющей кровь и захватчивой потной работе, вкус еды, табака и весеннего пьяного воздуха, радость прикосновения почти невесомых детских рук, захвативших отцовскую шею, — только это вот все прекратив в себе, остановив, мог Чугуев выйти в ноль с этим парнем, который не почувствует больше ничего никогда.

Работай и помни всегда о нависших над башкой ковшах, у которых вдруг с лязгом отвалится челюсть для мгновенного срыва породы с высоты трехэтажного дома... так и будет теперь всплывать и всплывать, напоминая о себе в каждом железном лязге механизмов: остановились закурить они с Кирюхой, и на них прям заходит стрела, зависает — что ль, ослеп там, на грейфере, кто? Быстро очень все, искрою, он и не понял, что за сила пихнула его меж лопаток — ломануться, скакнуть от высотного гнета: вагонеткой снес он Кирюху с пяточка, осененного грейферной чашей, и сразу за охлестнутой стужей спиной проламывающе рухнуло — срывом всех шести тонн прямо в сорванный, перерубленный крик Брондукова Володьки, шел за ними тот третьим — примерз, рот открыв на гигантские челюсти, что над ним в вышине расцепились. От него ничего не осталось — из-под груды породы выпрастывались только руки и ноги, торчавшие, как какие-то ветки, как корни...

У обоих полезли когти из-под ногтей — разорвать эту падлу слепую на грейфере, и на кран они оба, по отвалам, по кучам, и Чугуев на лесенку первым взлетел — и навстречу ему Соловец из кабины, только-только вот от рычагов, от сидушки своей отварился, и уже ему не разминуться с Валеркой на высотном ветру в

пустоте, на Валерку тарашил побелевшие зенки и Валерку не видел, протираться полез вниз по лесенке, и Валерка за горло его:

— Ты-и-и-и што?! Посмотри, что ты сделал! Ты! Ты! — И рукой, тисками вжимал в горло твари все, чего не мог выплюнуть, выжать.

— Пусти! Электрика, электрика — не я! Ну не я, брат, не надо!.. — Гад сипел издыхающе над пустотой, хрящевые преграды теряя внутри и стальные опоры под ногами снаружи.

— Бросаю, паскуда! На кого?! На меня, говори, на меня?! По натырке все сделал, натырке?!

И задержались ноги уже в пустоте, и зашлепали ластами руки, и сейчас уже сдохнет у Валерки в клещах, прежде чем полетит с захлебнувшимся воющим ужасом.

«Вышка, вышка, Чугуев! — звон в башке ниоткуда. — Ведь убьешь его, гада, а сядешь как за человека!» И добило в глубь мозга, вернув его в ум, — набежали с карьера мужики с дубаками, и кричал ему кто-то с земли то единственное, что кричали всегда, испокон всем мокрушникам, чтоб вернуть в берега, из которых раз уже вырывались, — пересилился, вздернул почти что издохшее тело на лесенку — и остался жить прежним, один раз убийцей.

Была все та же в небе ночь, что при подъеме, лишь на самой земле, на плацу только было светло от неподвижного прожекторного света. Еще они успели до развода, бригада, дотянуть по сигаретке; звонок — и зашагали через плац заученным

маршрутом на автопилоте. На построение к разводной площадке: там, впереди, уже темнело от бушлатов, равнялся строй, пока еще колеблясь, и надрывались лаем цирики с дубинками и еще даже больше старались козлы, с красными бирками отличников режима на груди. «По-рыхлому, по-рыхлому! Алимушкин! Опух?! Опять, тринадцатая, тянетесь, как глист!» Издалека уже послышалось и по бригадам пробежало ненавидящим шипением: сегодня Маркин, Маркин на разводе заправляет; этот до кожи всех на КПП разденет, на воздухе студеного ноябрьского утра, и под кожу залезет, проверено. Чего ж искать у зэка утром перед выводом на промку? Ножи-заточки под подметкой разве? Так их не с зоны носят, а на зону. И марафет, и чиф, и курево — в жилуху. Что, не затырил птюху кто за завтраком за пазухой? Так за тем прямо в жральне козлы проследили, чтоб ни клиночка хлеба там никто не умыкнул. Вот и выходит: из одной лишь чистой сладости так их шкурит всегда сука-Маркин — тем еще большей сладости, что возразить никто не может даже взглядом, и пока один кто-то на вахте голяком приседает и раком корячится, остальные на холоде мнутя и дубеют в отрядных колоннах.

На земле, том же уровне, но как будто и выше всех зэков стоял царь и бог по фамилии Маркин и учетной дощечкой себя по натянутым ляжкам похлопывал, зная, что каждый зэк сейчас молится, чтобы на нем — на нем! — не прервалось и не замедлилось размеренное это движение руки с учетной табличкой. Шеренгами по пять к воротам продвигались. И встречало их пятеро сук в отличительных красных повязках. И придирчиво-часто обхлопывали поднимающих руки бригадников, шуровали проворными пальцами по бокам, по спине, по коленям, по голеньям, лезли зэку в подмышки и в промежности щупали, мяли яйца всерьез — мужики мужикам,

вот такие же зэки подобным себе. Те ж самые воры, бандиты, да не те уже, новые — перекрасились в красную масть, в услужение лагерной власти пошли своей волей, из инстинкта защитного, страха — помогать этой власти оставшихся зэков в черном теле держать. За такую им службу скощуха обещана.

Проходила бригада — Маркин вскидывал перед собой планшетку, пересчитывал бритые бошки глазами, отмечал у себя и отмахивал: пшли. Две бригады еще оставались перед ними, тринадцатой: рассупонивали только бушлаты, разводя полы в стороны и давая прохлопать себя сверху донизу, ну а как до тринадцатой дело дошло, так команда назло: раздеваться до пояса! Пока все складки-швы на бушлатах прощупают — задубеешь, не скоро обратно согреешься. Делать нечего — скинули: щупай, прохлопывай. Ну и суки усердствуют — шовчик за шовчиком. И одежду прощупанную без зазрения — под ноги. Нагибайся, подхватывай. А одеться — все ж время какое-то нужно. Завозились, замешкались чуть, и конвой уже лает снаружи: «Загоняй, загоняй, не задерживай!». И досмотрщики в спину кулаками: «Пошел!» И пинка под колено — для резвости хода.

Так вот если подумать: смешное, ничтожное по сравнению с тем, что действительно ты заслужил как мокрушник — и не так еще, если по строгости спроса, волохатить должны. Но в то же время и неправда была в том, как на зоне делили людей. Еще когда при прежнем строе власть вот до такого искуса додумалась: кто-то умный и очень хорошо понимавший человеческую сущность и слабость сообразил, что не может придавленный тяжким сроком лишения свободы, трясущийся за живот человек устоять перед этим огромным соблазном — заслужить себе волю досрочно за счет ущемления другого, так же тяжело виновного, как и он

сам. «Твердо встали на путь исправления», «покаяние» и «искупление» аршинными буквами на растянутых красных полотнищах. А на деле: пей кровь из другого, такого же зэка из расчета: его капля жизни — это твой лишний день на свободе. Нарушение формы одежды заметишь — и зарубка тебе: отличился. С чифирем, с анашой кого-то застукаешь — еще больше похвалит хозяин. Ну а скрадку найдешь, ухорон с рукодельной приблудой, с любым запрещенным — так и вовсе возвысишься у хозяев в глазах, чуть ли не наравне с бесподобно нюхастой овчаркой Динкой будешь в зоне цениться. И еще куда злее, пристрастнее, цепче и зорче надсмотрщики выходили из ссученных зэков, нашивавших на черную грудь активистские бирки, чем из тянущих лямку служивых. Те-то, стершие в зоне о зэков глаза капитаны и прапоры, лишний раз и ленились доглядеть и прищучить. Ну а этих, козлов, — как поток восходящего воздуха пусть немного, но все же подымал над землей, над ровными рядами остального лагерного стада: с обещанием воли, условно-досрочного им давалась и власть — держать в своих руках живое существо, которое виновато так же, как ты, ну, может быть, потяжелее виновато, и вот уже он — тварь, а ты — вновь человек, и ты сейчас решаешь, что сделать с этой тварью, которая обмирает, как только появишься, заметишь и прикрикнешь на нее; ты можешь отвести ей место — в горячем и сухом тепле барака или в сыром стоячем холоде ШИЗО, на несколько суток, на месяц определить саму температуру ее тела, ты можешь даже удлинить ей срок лишения свободы, пусть на несколько суток всего, но зато лично ты, самовластно.

Вот вам «путь исправления». Да если б можно было в самом деле «искупить» — производительным трудом, то он бы вот, Валерка, первым в активисты записался

— хоть на урановую шахту, хоть за круг Полярный, хоть вообще каким штрафным солдатом на Кавказ: тогда б его, Чугуева, вина и начала его подхлестывать, а не сидела бы без выхода внутри.

В хвост колонны уткнулась тринадцатая — и Валерка в последней пятерке ее, меж Наилем-Казанцем и своим бригадиром Колей-Колей Бычуткиным. Помначкар Иванцов сосчитал поголовье и залаял обрыдлое:

— Колонна, внимание! В ходе следования соблюдать строгий порядок следования колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить! Шаг влево, шаг вправо — считается побег. Прыжок на месте — конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий! Ша-а-агом марш!

Колыхнулась колонна, далеко впереди поплавками заходили цилиндры фуражек, с перемалывающим шорохом, рокотом, не растягиваясь, двинулись все — триста душ работяг, конвоиры — по обочинам мерзлой бетонки, с автоматами через плечо книзу дулом, на которые зэки смотрели с такой же привычностью, как на тяпки и грабли в руках огородников в транспорте, и вот уже небо из черного пепельным сделалось и светлело, все шире открывая пейзаж большой зоны — протяженную серую каменистую степь и холмы там, где небо сходилось с землей.

В зоне нету природы, нет ландшафта и нет горизонта. Из пейзажей — бороздки меж серых кирпичей или кафельных плит да цементная «шуба» на стенах ПКТ и ШИЗО, вот тебе все холмы и овраги, перепады ландшафта, которые видит ползущий по нему таракан, пауки да мокрицы и приравненный к ним остывающий взгляд человека. Чтобы как-то раздвинуть, разбавить эту ровную серость бетонной плиты, изнутри на жилухе все стены покрашены в голубой и оранжевый, сочно-зеленый, во

все самые яркие, светлые, как для детского глаза, цвета — просто «комнаты сказок» какие-то с лебедями и пальмами, с бирюзовыми волнами дальних морей и абстрактно-прекрасными женщинами в белых платьях и с тонкими талиями, воплощениями Веры, Надежды, Материнства, Свободы — расписали умельцы-художники по заказу начальства все комнаты отдыха, и санчасть, и столовую, но от этого только паскуднее.

А вот с выводом, здесь, за воротами, каждый раз с одинаковой силой с Чугуевым делалось что-то: сам собой распрямлялся, расправляя навстречу любому, пусть и злomu, студеному ветру, беспредельному воздуху каждую пядь своего нестерпимо здорового тела: пусть «шаг влево, шаг вправо» нельзя, но в груди, в нутре что-то высвобождалось — с ржавым скрипом сдвигался, подымался железный затвор, запуская вовнутрь половодье простора, открытого неба; открывалась природа — голубой проточной синью и пахучей, мокрой, черной, весенней землей, а вот хоть бы и мерзлой, как сейчас, в ноябре, и покрытой жесткой клочковатой травой, да, посохшей, серой, но не беззащитной, отверделой и режущей руки, попытайся ее кто вот тут, вдоль обочины, выполоть. Были эти будылья на него, арестанта, похожи: не сгибались, кололись, топорщились с той же нерассуждающей силой, не хотели сходить с выстывавшей земли, хоть и знали, что солнца им больше не будет, и упорство их, твердость означали зачатую смерть.

И чем дальше в колонне шагал — дать работу голодным, от безделья дряхлеющим мышцам, — тем больше и слаще защемляло железной скобкой грудь: так засмотришься на эту землю, на волну, что-то немо поющей о себе, для себя красоты, на далекие скальные склоны, пробитые мачтовым лесом, устремленными

ввысь по отвесу матерыми соснами, все в такой чистоте и прозрачности, что ты каждый валун, все хвоинки, чешуйки на медной коре различаешь, так глотнешь, задохнешься колодезным воздухом, от которого сердце заломит, как зубы, — и подымет тебя снова вещь чувство: невозможно вытравить, выжить тебя вот из этой природы. И, рванувшись, как к матери, что прощает за все и всегда, крикнешь сердцем из самой своей глубины: «Поживем еще, а?!» Ничего не ответит природа, промолчит всей своей торжественной каменной силой, но так чисто, так бережно примет, разнесет твой немой, нутряной этот оклик, что как будто слышала все же, простила, унося, унимая сердечную боль ледяной водой своей тишины.

Вот ведь тварь он, Валерка, грех на нем, тяжелее которого нет, а дышал под открывшимся небом и верил: и ему — вот такому, каким себя сделал, — дается, как и прежде, глоток чистоты. И уже своей волей, с затаенной радостью молча идешь по бетонке мимо зябких берез и упертых дубков и украдкой вытягиваешь руку, вспоминая ладонью то усилие роста, движение соков, что таит в себе каждое дерево под седой морщинистой стариковской корой.

А за рощицей голой откроется зона объекта — трехметровый бетонный забор с хищнозубыми кольцами проволоки Бруно, и кирпичные серые вышки, и въездные ворота; расползутся с натужным поскрипыванием покрытые облупленной серебрянкой створки, и под лай конвоиров: «...пошла... вторая пятерка пошла, третья пошла» — переступишь вот эту границу трусцой и шагнешь в новый воздух, который тебя изменяет: гаражи вот увидишь с тяжелыми шеститонными МАЗами, галереи, висячие фермы допотопной дробильной фабрички вдали и стальные хребты неподвижных до времени кранов — и уже не убийцы, не воры на бетонной

площадке густятся — шофера, взрывники, слесаря, что полезут сейчас под капоты и днища своих грузовых стариков — ковыряться в узлах, сочленениях большого железного труженика, что под их заскорузлыми черными лапами засияют опять гладким блеском пригодности к делу, когда смоешь с них черную маслянистую грязь, все каналы прочистишь ершом, кислотой протравишь все мелкие трещины, абразивами и наждаком отшлифуешь и сам через эту заботу и ласку к машине оживешь и окрепнешь. Это им повезло, что в Бакале карьер не забросили и гоняют их всех, кто имеет профессию или навык какой, каждый день на работу, да еще и подхлестывают, чтоб быстрее вгрызались в гранит, словно время в Бакале повернулось вдруг вспять и немедленно надо перевыполнить план пятилетки.

Потомились немного на бетонной площадке в шеренгах, дожидаясь своих бригадиров, что трусцой побежали от бригад за нарядом в «контору» — щитовой, утепленный пенопластом сарай, и выходит уже Коля-Коля с нарядом, весь какой-то посмеркшийся, хмурый, хотя по нему не поймешь: всю дорогу такой — неподвижно-угрюмый, непрерывно о чем-то своем тяжело размышляющий; ни на стужу не морщится, ни на солнце не лыбится, лишний раз и не спросишь о чем, не нарушишь отдельность его и тяжелую думу. И сейчас ничего не сказал им, лишь башкой мотнул: мол, дорогу все знаете, — и качнулись, потопали этой дорожкой мимо авторемонтных мастерских с гаражами.

Бригадир он толковый, на объекте три шкуры со всех них дерет, но ведь спрос-то по делу, а не чтобы хозяевам показать и поставить в заслугу себе. Не об одном своем УДО он думает все время, а в захватчивой, рьяной, умно-точной работе, одной только ней, здесь, на зоне, спасение находит. Как и многие. Как и Валерка. Тут у

каждого в зоне, над каждым своя личная глыба-плита, что сильнее налегает на грудь в одиночестве и по ночам — мысль о тех, кто на воле: мать-старуха тебя не дождется, сын вырастет и жена перестала писать, вот уже третий год ни ответа, ни весточки; непрерывное тление, вечное пламя — как бы все повернуться иначе могло, если б ты не сдурил, не позарился, не обозлился, не вскипел, не ударил тогда.

Вот Бычуткин за что тянет срок, бригадир? Сам про то ни полслова, конечно. Да по зоне и так все известно про каждого: был Бычуткин на воле тем же самым, кем здесь, — бригадиром, он еще в материнской утробе им был; бурильщиком на Качканарском ГОКе начинал, ванадиевые руды, жил крепко и чисто, в достатке и силе, дом выстроил прочный, с запасом на будущих многих детей, которые следом за первой дочкой родятся. И пошатнулось все и повалилось в одночасье. Сосед, что ли, по даче или по чему ротвейлера завел, щенками-то они — ну чистые бельки, а вырос и набросился на девочку, от лица ничего не осталось — семилетней девчонки, невесты, ну а как там все дальше у них закрутилось, то один Коля-Коля и знает, только факт, что схватил молоток и положил обоих этих самых, собаку и хозяина, которые ему залаяли навстречу, видно, одинаково.

Уперлась дорога в карьер. Пошли по краю пропасти к вагончикам своим, овальная чаша карьера поворачиваться стала под ними, открывая свои закоулки, закругленные срезы, пласты, выплывавшие из белой дымки... и уже у вагончика внутрь набились, сел Бычуткин за столик фанерный, расстелил под фонариком карту участка — как один отпечаток бугристой ладони и огромного пальца поверх: завихрялись, тянулись папиллярные линии. И химическим карандашом вырисовывал вруб им, бурильщикам, и клевками указывал точки отбойных шпуров. И уже

инструмент разбирают они, перфораторы, штанги, моторы берут и на спуск, по траншеям, мосткам деревянным, по лесенкам.

Просветлело совсем уже в небе, но еще тишина, в тишину все запаяно в пропасти, будто эта воронка — и вовсе не дело человеческих рук и машин, а вот как на Луне, человека не знала, человека не ждет. Они как бы и вовсе не видели эту таинственность, в каждодневной работе давно уже стерли глаза вот об эту уродливую красоту обнаженного, вскрытого камня, замороженной скальной породы, буро-красных, расколотых взрывами глыб среди россыпей желтых песков и массивов свинцовой, отливающей в голубизну донной глины — они эту породу пришли сокрушить, по щепотке откалывая от монолита, и уже расставляли в забое колонки под свои перфораторы, и уже под жестоким давлением рванулся, захлестал сжатый воздух из крана, проходя сквозь зубчатые кольца и втулки, разгоняя до ровного бешенства поршни, что задвигались сразу со скоростью швейномашинной иглы, — вклеился он, Валерка, в рукояти и всем своим составом в пушку перешел. Хорошая штанга попалась, не гнутая, а то б сейчас из пасти чуть ли не выпрыгивали зубы. Недвижимо в упоре стоял, как приваренный, и внедрялся в горячем спокойствии в тысячелетний гранит, не давая вильнуть двухпудовой игрушке, со знакомой радостью чуя, как под кожей толкнулась, задвигалась кровь, как своим существом умирят ручную буровую машинку и она разгоняет в нем сердце в ответ.

И победитовой коронкой вот так по миллиметру прорезал упрямую породу, и заглублялся буром на расчетные два с половиной метра в монолит, и — доведя, втолкнув всю штангу до упора — переводил, перенацеливал свой бур на новую отметку, белевшую над чернотой свежего зиявшего шпура; подымала волной и

тащила Чугуева собственная, наконец-то нашедшая выход, наконец-то свободная сила — перетекала под давлением в бьющуюся пушку из приварившихся к горячему железу рук его, и уже словно поршень ходило в груди тяжелое сердце, возвратно-поступательно о ребра колотясь. Но и в запале этой вот захватчивой долбежки он чувал бур в шпуре, как в собственном здоровом зубе, ну то есть наоборот, с обратными границами: бур, бур живым был, оголенным и болящим — от шестигранного хвостовика до победитовой коронки. И с этой чуткостью зачищенного нерва двигался все время, зная, где вгрызться и нажать всею машинной и мускульной пневматикой, где оттормаживать, где останов дать полный, чтоб не заклинило вращающийся бур, ровно такой выдерживая угол поворота между двумя ударами по буру, ровно такой давая осевой нажим, какой и нужен вот на этом и вот на этом, следующем сантиметровом отрезке хода в глубину породы, то разрушистой, рыхлой, то опять становящейся твердой, словно железо. И неподъемное, сплошное на сотни километров вглубь молчание монолита, в котором ничего не отзывалось на атмосферное усилие подачи и вращения, лишь еще больше его взвинчивало; настолько больше человека с его ручным орудием взлома было вот это изначальное молчание земли, что непрерывный монолит вмуровывал Чугуева в свою доисторическую вечность, в свой собственный смысл, сквозь который никакому живому ростку не пробиться, и оттого только отчаяннее вкручивался буром, словно в череп действительного своего огромного врага, занимавшего каменным телом все пространство природы, воевал с этой вечностьюсмертью — изничтожая, вырезая мертвые часы, дни и недели собственного срока.

Уже и взмокла, и просохла трижды майка под бушлатом, второй кожей по

ребрам обтянув; уже и в тишине не оживали отшибленные перепонки под распухшими подушками наушников, когда надстраивал он штангу подлинней и заменял сточившуюся полностью коронку, — так бил шпур, он в два ряда, и каждый шпур, готовый для закладки, от каменной крошки струей продувал, и в довершение деревянный клинышек кувалдочкой заколачивал в устье шпура.

А рядом ребята в таком же примерно вот темпе врубались — и не глядели друг на друга, не покрикивали. Им окликать друг дружку ни к чему — все по центральному отвесу и по рейке у них семь раз отмерено в забое и размечено: и где вворачиваться им, и под каким углом куда свой шпур вести, и где оконтуривать каждому, и где на сколько каждому за контур выходить. Все Коля-Коля расписал им от и до — на то и горный инженер, с понятием человек, чтоб в своей сильной голове все увязать: и крепость породы, и площадь забоя, и силу отрыва.

И к обеду все врубовых десять, и отбойных двенадцать, и по контуру все пробурили. И долой пять часов, целых жалких полдня от всех тысяч и сотен дней лишения свободы. И уже вверх по лестницам — на законный обед — наострились карабкаться, заспешили — и на тебе вдруг! Зашуршало, зацокало сверху: контролеры спускаются, ОТК, твою мать! И вот это уже что-то новое — сам главный инженер до них, тринадцатой, снисходит, Петрушевский, и еще как снисходит: весь в ознобе, как от врача, к врачу, словно что-то сказали ему про здоровье и еще что-то большее, пострашнее, добавляют сейчас, и торопится сам поскорее шагнуть за порог и узнать про болезнь свою новую окончательно все, угадать беспощадное по глазам медицинским работников... Суется, руками чего-то Коле-Коле показывает.

Он, Валерка, не слышал, не вслушивался — перепонки надолго отшибло, хотя

ясно примерно, о чем инженер говорит: что вот здесь, прямо здесь, в их забое, пролегает та самая жилка, и сегодня уже, вот сегодняшним клином они могут врубиться в нее: может, да, может, нет, и тогда, если нет, значит, вовсе не в том направлении траншею вели и зазря сотни тонн по щепотке вот из этой земли вынимали. Чуть одыбал он слухом, и дошли до него, как сквозь вату, слова, что кричал КоляКоля:

— Да не буду я хором отпаливать! Смысл?! Это ж будет тебе не отрыв, а помойка! Аммонита сожжем в полтора раза больше — это хрен с ним, тебе за расходы отчитываться, — а моим ребятишкам опять перебуривать? Ничего, подождет! Вот вольно ж ему было сегодня приезжать, твоему генералу! Прямо вынь ему синьку сейчас да положи! Это как можно было ему обещать? Я вот лично такого обещать не могу. На три раза отпаливать будем! Кто приехал-то, кто? Кто такой подождет, кто не хочет ждать категорически?.. И уже выгоняет Бычуткин их всех из забоя — на обед все пошли, на обед. И сами рады побежать, а интересно:

— Что за аврал такой, а, Коля-Коля? Отпалка эта срочная к чему?

— Костылями давай шевели. Твое дело — отрыв полноценный дать сегодня к семнадцати ровно. А чего тут хозяевам надо, того, может, вообще тут на сто километров во все стороны нет. Гражданин инженер обещал там кому-то настоящую жилу — вот с него пусть и спрашивают. Ну а с нас спрос какой? Глубже в землю уже не зароят.

— Не скажи, не скажи. Могут и докрутить, если что.

— Это что за хозяин такой, интересно?

— А тебе не без разницы? Кто на этой руде, если есть она тут, хочет руки

погреть. Он тебя не помилует и амнистию не выпишет. Кто бы ни был, а ты для него — только палка-копалка с глазами.

3

В столовой — гвалт да теснота непроходимая, один прям к одному стоят бригадники и спинами, плечами у кормушки, как в щековой дробилке, трутся. И музыка уже за занятым бригадой столом — в двадцать рук исполняют на мисках наилучшую музыку, выгребая кулеш и выскабливая нифеля свои до чистоты. Напоролись до тяжести в брюхе — и к себе по вагончикам — рухнуть, растянуться у печки, сомлеть, это их уж законное время, полчаса до гудка, что погонит всех вниз, но вот только дошли, прикорнули, как бегут уже к ним контролеры: «Подымай свою шоблу, Бычуткин, прям сейчас заряжать начинайте». И у всех в глазах — счетчик, обратный отсчет. И чего ж им, бригаде, права, что ль, качать?

Пересилили сытую, сонную тяжесть и опять — в глубь земли по дощатым ступенькам, сто ступенек — меняется цвет горизонта: рыжина, темнота глинозема, серо-желтая толща песков, грязнобелый бугристый, ноздреватый ракушечник... и опять уже донный матерый гранит. У забоя — комиссия: контролеры, нарядчики, Петрушевский с планшетом. Толчею создают, и прирявкнул Бычуткин на них, нажимая глазами: уйдите! И работают молча в забое уже, не смотря друг на друга, каждый зная свое назначение: из забоя колонки выносят и пушки, под дощатым навесом Тимошенки колдуют — сквозь воронки в патроны заливают водичку, снаряженные пробки вворачивают в трубки; с трансформаторной будки катушку

Крохалев с Савчуком покатили, по траншее разматывая кабель двухжильный, и вот уже патроны-пальники со всею нежностью в забой передаются, таящие в себе гремучий студень недоноски с длиннющими корявыми хвостами проводов: ко дну их первыми решил Бычуткин ставить, чтоб сконцентрировать взрывную силу в глубине, — словно новорожденных котят, их Валерка с Казанцем у зияющих в камне шпуров принимают, облепляют мягчайшей глиной по темечку и тишайше, грабительски в устье вставляют. Словно свечку какую — в это самое, как гинекологи. И теперь вот продвинуть алюминиевым мягким забойником их на всю глубину до упора. Не встряхнуть только капсуль внутри, а не то сам себя abortируешь. Продвигаются плавно по гладким гранитным стволам. И провод тянется по стенке двух с половиной метрового шпура. Упирается в дно боевик, и за ним еще по три зарядных патрона вдвигаешь. Пыж из глины и клин деревянный. Забиваешь кувалдочкой в устье. И хвосты проводов из забитых пробоеин свисают и стелются — подрывная электропроводка двадцатого века по породе дремучего палеозоя или как его там? — все вот эти слои, под которыми кости динозавров и прочих рептилий в глубинные недра вмурованы. И сплетается сеть из корявых медных жил в силовой изоляции — лишь пятнадцать минут на коленях ползком, чтобы дрогнула эта гранитная вечность.

Быстро делали всё, все патроны загнали, все клинья, но на правом отбойном краю вдруг уперлись Кирюха с Казанцем во что-то негаданное, и тут же порскнуло сквозь зубы матерное слово — в понимании, что нарушилось в плане закладки решительно все и придется с начала. Вот то самое, страшное — ни туда ни сюда. Застрял у них там пальник — в самом устье. И уже не нажмешь на него даже с самой

малой силой!

— Ты чем забуривал, порчак?! — Коля-Коля скатился в забой и Казанца с тяжелой мукой неузнавания рассверливал: кто же это такой? — Ты коронку своими глазами смотрел?! Видел, она сработанная, видел?! Видел, диаметр не выдержать на протяжении шпура?! Или чего — только бы кончить побыстрее? Сука, впадлу коронку лишний раз поменять?! Ты ж нормальный был парень, Казанец, всегда! И чего нам теперь? Ты зубами мне этот вот пальник достанешь?! — С позорным, вывернутым наискось лицом стоял Казанец перед ним и глазами искал пятый угол. — Мамкиной норкой отпалка вся накрылась! Все пошли из забоя!

И полезли гуськом, встали кругом и смотрят друг на друга, как нищие шарят в карманах. «Где коронки-то на „поменять“? Лишних нет, не дают. Ну а эти хоть как перетачивай — толку?» — «Да что теперь про это? Все, уже сидит. Чего делать-то, а?» И вон «Урал» ползет уже по съезду с горизонта и неуклонно хищной мордой нарастает, зубами вездеходных протекторов огромных, и Маркин на подножке — ну чистой легавой в камуфляже с натянутого рвется поводка. А за ним сам хозяин из кабины вываливается — подполковник Меньжухин, отрастивший брюшко на сидячей работе, с плоским, мягким, уступчивым вроде лицом, но с колючим ледком в неподвижно наставленных, немигающих глазках.

— Вы чего тут латаетесь, черти?! — убивающе выпучился на бригаду, что стыла крестами на кладбище, на понурое быдло, что с рождения росло вкривь и вкось и впервые сейчас зацепило вот этой кривизной и его жизнь, его неуклонный, миллиметрами рост к генеральскому небу, и не капнут ему на погоны заветные звезды, что набухли уже вон в небесных начальственных кранах, и не только не

капнут, но и эти погоны, теперешние, затрещат на плечах, если эти вот выродки, косорукая шваль, не дадут прямо здесь и сейчас, на карьере, отрыва.

— Нарушение допущено, брак. — Коля-Коля не прятал глаза: хоть бы хны ему перед зазвеневшим от бешенства, показалось, хозяином. — За текущую смену забой отпалить не представляется возможным.

Меньжухина подбросило, словно внутри задребезжал будильник, разрывая, и, шагнув на Бычуткина и не слыша уже ничего, кроме того, что должен был вот в эти головы ввинтить, заговорил не ртом, а животом, не собственной волей выпуская закачанные в брюхо ноющие звуки:

— Короче, бандерлоги. Сейчас сюда в четыре часа дня приедет человек, у которого, сука, такие ботинки с подбоем, что он всех!.. начиная с министра юстиции! может нахрен под землю убрать. — Мигал на лбу зашкаливающим красным датчик, замерявший давление извне. — И если вы, обглодки, шантрапа, мне до пяти часов не сделаете отпалки, то свою жизнь тут можете считать во всех смыслах законченной. Сам лично позабочусь, чтобы каждый еще один срок получил. Я даже вас не буду на карьере зарывать, просто убить вас за такое — это мало. Я вам такой душняк устрою... изо дня в день, изо дня в день, что вы сами себе потроха очень скоро расшить захотите. Взяли патроны, суки, в зубы и пошли! Хоть смертника среди себя ищите тут, бен Ладена!

Так и стыли в звенящем отупении все, каждый видел — вмурованный в общую обреченность-беду — свою личную, уж давно покосившуюся и сейчас окончательно, с корнем валиться начавшую жизнь, словно столб под напором бульдозера, за собой потянувший внатяг провода, и трещали под кожей заветные, главные жилы,

отведенные каждому для смычки с родственной кровью, последние нитки гнилые, что кого-то еще как-то связывали с будущей волей.

— Ну что, в бен Ладены желающие есть? — Коля-Коля проныл.

— Отдельно палить, отдельно боевик Наилевский вот этот! Есть, есть еще время! Потом перебури́м! — Алимущкин качнулся и по кругу въедался в каждого бригадника глазами, рвал на себя, в забой тянул, в забой.

— Ну сейчас вот — за час! — Коля-Коля заткнул его, взглядом приварил к неподвижному месту. — Все нижние шпуры к хренам засыплет! Бульдозером помойку до завтрашнего дня не разгребешь! — И что-то в нем торкнулось — преобразился: — Я думаю, что... — С усилием захрустели в бригадире рычаги, собирая из слов ненадежное, шаткое то, во что сам он не верил. — Ну а если трамбовкой его пропихнуть, боевик? Кувалдочкой, а? Чисто глиняным пыжиком попытать, а не штревелем?.. — И уже и в лице просветлел — показалось, нащупав дорожку, что их выведет всех из огня. И обратно потух, только-только примерился, и рукой с досады махнул: — А, рулетка! И если бы хотя бы пятьдесят на пятьдесят! Чуть встряхнешь его, суку, и все, собирай меня, мама, по косточкам.

— Так загонял Валерка-то трамбовкой, загонял! — прорубило кого-то, Алимущкина, и на Валерке все замкнулось с режущей силой, среди белого дня на него упал свет, все глаза на него — КолиКоли, Кирюхи, Наиля, дубаков, инженеров глаза, уже какой-то вымогающей любовью переполненные.

— Да вы чего? Я ж зарядный, зарядный патрон забивал — так ему хоть бы хны, хоть как хочешь... по нему! Ну а тут боевик — и кувалдой по детонатору... как?! — Чугуев не попятился от этого буравящего натиска, запроса всеобщего на то, что он

умеет, он не отбрыкивался, нет — он думал: пойдет и не сделает дела, что вручную вот так по патрону сработать нельзя, все закончится точно таким же завалом в забое, а то, что его самого сразу там, при ударе, убьет, ему и в голову сейчас не приходило.

— Я пойду, — хрипнул кто-то незнакомым придушенным голосом: посмотрели — Казанец. — Шпур-то мой, мой косячный. Значит, мне и патрон загонять.

— Да куда?! — простонал Коля-Коля от гнева на такую пустую, негодную жертвенность. — Руки под хер заточены — пошел он забивать! — И зашарил глазами по отпрянувшим лицам бригадников — без надежды, что кто-то пойдет на трамбовку, ни в ком не находя способности не дрогнуть, ни у кого — такой руки, которой всегда бы двигало непогрешимое чутье и выверенный опыт. Всех оббежал по кругу, выбраковывая, и на себе самом споткнулся, вслушался в себя: — Нет, не смогу. Уже совсем не слышу мышцей ничего. Тут надо мышцей чують, как он там, гад, поведет себя в шпуре.

— Валерка, Валерка один! — вдруг зачастил, как школьник, кто-то с интонацией «а чего сразу я?!». — Уж у кого-кого, а у него удар наметан. Яйцо кувалдой может надколоть, но не разбить! И разбежалось, полыхнуло:

— Валерка, ну! Ты не молчи, скажи! Нет так нет — значит, все, пропадать... Пропадем же, Валерка! Задушит Меньжухин! Всем накрутит по самой поганой статье! Ты не думай, Валерка! Ну вот что мы тебя это самое... в жертву, что тобой этот шпур затыкаем. Ну вот хочешь: любой тут из нас без вопросов с тобою на пару пойдет?! Ну того... чтоб тебе одному, если что, не обидно...

— Да любой тут готов! Выбирай, кто с тобой! У тебя просто навыка больше, Валерка! Ну вот ты, а не я, можешь это, кувалдочкой! Я пыжи тебе буду лепить, как

ты скажешь! Вместе это... взлетим... — окликали его, как сквозь стенку, сквозь воду.

Провалился Чугуев в себя и прощупывал днище, опоры, напрягаемые прутья, проводящие кабели-жилы в себе, осязая такое свое и такое сейчас постороннее тело, до ничтожности малое, ломкое по сравнению с засевшею в устье шпура разрывной гремучей силой. Он когда-то всегда с упоением шел в самое полымя, полный самодовольства: он стерпит огонь, выжмет воду из камня, увернется от шлаковой чушки — может всюду, всегда сам себе выбрать участь, не отдать свою жизнь, устояв там, где больше не сможет никто. Вроде как на себя навлекал, вызывал: попробуй меня, выжать попробуй — и каким же смешным и ничтожным показался сейчас ему тот его молодецкий бунтарский размах; дешевизну такого бесстрашия — вот когда еще не за что человеку бояться — он увидел, Чугуев, сейчас и почуял, как вонь от себя, так отчетливо, что, не выдержав, фыркнул, клокотнул от поддонного смеха.

— Да чего ты, Валерка, чего?! — Все услышали, как он сглотнул клокотание, и отпрянули, как от прорыва горячей воды, в понимании, конечно, что включил дурака он, Валерка, забоялся, потек и в забой не пойдет, это, в общем, нормально, ожидать что и следовало...

— Отголосили? — Он обвел всех глазами в показавшемся всем нездоровым спокойствии. Приведенный в движение состав вагонеток потянул его в пропасть: все равно его нет, все равно если он не пойдет, сразу кончится все для него, всех зарует Меньжухин и Чугуева лично затолкает под лед, под плиту, палеозойскую породу нового, добавленного срока, сквозь который уже никакой алмазной коронкой и за целую жизнь будет не пробуриться. — Так теперь я пойду... это самое... что уж.

— С тобой пойду, Валерка. — Коля-Коля с нажимом повглядывался, покачивая что-то в нем, Чугуеве, под ребрами — на прочность, и дернул головою позволяюще. — С пыжами помогу. А ты уж забивай.

— На, на, Валерка, потяни... — протянулись к нему отовсюду закопченные руки с чинариками... он выбрал побогаче, добил его до пальцев, раздавил и принял в руку длинную двуручную кувалду, и рукоять, отполированная зэковской ладонью, не протекла сквозь его стиснутые пальцы.

Попробовал на вес, потрогал крепко насаженную сталь пудового бойка, шагнул по устоявшей, не качнувшейся, не проломившейся земле к магнитному забою, размахивая по сторонам почтительных людей, а где-то далеко, внизу, как под мостом, весомо грохотало его сердце, словно наверстывающий время ломовым нагоном поезд, и тугие, горячие волны гуляли по всему его крепко державшемуся в своем контуре телу.

Вот он, этот Наилевский суженный шпур, четким стылым зрачковым провалом Валерку магнитящий так, что больше ничего перед глазами не осталось: всего на полпальца от устья, и ушел боевик в глубину, вон краснеется там и как будто бы тикает. Коля-Коля из кучки пыжей, друг за дружкой общупывая, выбрал глиняный столбик, померил рулеткой, облепил свежей глиной его, подмягчая, и с тяжелым от крови лицом вставил этот умасленный, влажный цилиндрик сострадательно в устье, словно меж разведенных ног гранитной роженицы — поддавил, миллиметрами плюща в канале, и ослаб, опустел, отошел метра на два по стеночке, и ввинтился в Валерку глазами, живя своим сердцебиением не в себе, а в чугуевском теле, рукояти, бойке. «Без оттяжки, Валерка. С самым малым замахом».

И Чугуев пристыл на какое-то время к земле, чуя струны в паху и чугунную тяжесть в крестце, оторвался, качнул на руках инструмент, чтобы стать с ним единым, чтобы руки не жили ни кратчайшего дления отдельно от его головы, провалился в себя и ходил по себе, пока не почуял сошедшееся и железно сцепившееся в ощущении все: тяготение бойка, меру вложенной силы, тормозные тяжи от затылка до пяток и от шеи до пальцев в себе, меру сдвига и силу сотрясения в устье... и единым, коротким, начавшимся в нем давно, постоянным движением молотнул по патрону сквозь плотно сидящую глину. И не вырвало, не разорвало — с воровским ликованием меж ударами сердца услышал сдвиг приплющенной глиняной пробки и засевшего пальника на сантиметр. И ударил еще раз движением обыкновенным, и еще раз, еще, вот с такой, показалось, привычностью, словно делал такое полжизни, всегда — основную часть силы закладывая не на размах, а на то, чтоб не дать разогнаться, разлететься кувалде, трамбовал эту вязкую пробку еще и еще, до детонатора на мыший зуб не добивая... И через первые одиннадцать ударов пыж ушел, и деревянный клинышек к нему приставил Коля-Коля, держал его в стволе с мучительной улыбкой натуги. И пару еще раз ударил он по клинышку, Чугуев, и еще на полпальца, и на палец ушел в глубь шпура мягкий глиняный пыж, и стало можно следующий пыж вслед за первым, засаженным, вставить, и полегче уже стало им в понимании, что теперь куда большая толща прокладочной глины разделяет патрон и железный боек.

И так проделали еще два раза с новыми пыжами, и два раза Чугуев перед жерлом, забитым новой порцией, передыхал — как начинала проходить сквозь его ставшие текучими ладони рукоять, так он сразу же ставил инструмент на боек, и

приваливался к стенке забоя пропотевшей, просохшей и промерзшей спиной, и вот так отдыхал, глядя в серое безучастное небо, становясь оглушительно слышным себе от макушки до пяток, заходившимся сердцем колотясь в корневой промороженный камень, и как будто уже незнакомый с человеком гранит отзывался на эти удары и гудел там, дышал в дальних недрах, в этом бешеном ритме чугуевской мышцы, принимая в себя, сквозь себя пропуская эту жадную волю и слабую силу живого... И как чуял, что зрячесть, проводимость вернулись рукам, снова брал инструмент, чтобы с малым замахом прикладываться к уходившему глубже и глубже пыжу, добавляя по страшному килограмму в удар, так, что с каждым ударом кожа трескалась, лопалась по обмерзшему черепу, на лице и над сердцем, обнажая опоры и крепи нутряного устройства, что гудели и ныли в Чугуеве, как железные фермы моста под растягивающей тяжестью... и в наступившей предпоследней лютот тишине молотнул и добил до последней отсечки патрон, непробитым — до дна! И в ноющем ознобе чуть не уронил очугуневшую кувалду в пустоту, вот такой волной подкатило к нему облегчение.

Подхватил бригадир его, стиснул, огромного ребенка-бугая, и вместе, одним телом оползли по стеночке на дно, приварившись к гранитной породе и перейдя в нее с такой окончательностью, что никаким уже зарядом их от нее, пустых, не оторвать. И небо из забоя видели — не сотрясенное, незыблемое небо, и небо их своей беспредельной высотой совсем-совсем не видело, но все равно как будто становилось ближе с каждым вздохом и подымалось в вышину обратно с каждым выдохом.

— Ну зверь, Валерка, бог!..

В толпе перед забоем лопнула пружина, вцепились в него все и дергали, трясли, словно каждый хотел от него получить по куску, все хотели, чтоб понял Чугуев: живые! все они тут живые опять и лично он, Чугуев, больше всех!

— Мы ж думали, все! Сейчас вот рванет! Сейчас вот, сейчас — и опять ничего! Эх, долго ты, дятел, стучал! Такое, чего вообще вот, казалось, не может! А может, того... детонатор забыли?! А как вот еще объяснить?!

— Да хрен тебе в зубы — забыли! Я лично его, лично снаряжал! Сейчас вот подорвем — поверишь, что он там... и был все это время!

— Валерка, слышь? — Ессентуки в глаза ему заглядывает. — Посылка будет мне! Так ты что хочешь из нее бери, хоть целиком ее всю забирай! Ну ты же знаешь, я же царская невеста! Сеструха на оптовом у меня! Пришлет колбасу «Брауншвейгскую»!.. все забирай!

— Валерка, слышь, чего, — Балда с другого бока привалился, — ко мне тут Марьянка приедет на днях... ну, это, заочница. На карточке ты ж видел — закачаешься! Так хочешь — ты это, возьми ее, сделай! Она ж ведь меня толком и не видела, какой я из себя. Литеров уломаем, чтобы ты к ней пошел, с понтом ты — это я!

— Хорош гужеваться, невесты-заочницы! — Коля-Коля, одыбав, кричит. — Шпуры все остальные кто будет заряжать? Алимка, Казанец, Балда, а ну-ка по забойнику все в руки! А то ж сейчас к шестнадцати ноль-ноль обратно закопают.

И точно — рев движков на нижнем горизонте. Рывками обернулись: джипы! ползут по выездной траншее между глинистых откосов. Чисто «Буря в пустыне», вездеходные монстры поперек себя шире. И мгновенно, налетом какого-то ветра, наступлением ядерной в зоне зимы, изменилось начальство все в лицах, в искривлениях и отклонениях позвоночных столбов от оси, побежали Меньжухин и Маркин машинам навстречу, становясь меньше ростом, шнырями, в обратном направлении по дороге эволюции, превращаясь из прямоходячих обратно в согбенных... и махали руками: сюда! на меня!

Джипы выперлись к красным треугольным флажкам оцепления, распахнулись все дверцы, выпуская тяжелые камуфляжные туши с большими погонами и плетеными кантами, — генералы сошли со ступенек, наливаясь свирепым, оскорбленным вниманием, не вполне понимая, что вообще здесь творится, но ступая весомо и страшно, в уверенности: генерал и не должен ничего понимать. Одновременно с ними выбирались из джипов гражданские, и один вдруг из них распрямился и вымахал так, что все сразу обернулись на башенный кран, на жирафа, на лошадь... и со взбрыком сердечным Чугуев узнал, не в лицо, а по росту — человека, которого он не знал даже, как и назвать... ведь не скажешь: «который во всем виноват», человека, с которого все началось, что пришел и качнул, раскачал коченеющий, вмерзший во льды, как «Челюскин», завод, покотив по наклонной железных людей.

Неправдиво живой, снова близкий, как в тот день в намагниченной им забегаловке, настоящий Угланов полез за флажки, не нагнувшись, а перешагнув доходившую разве до ляжек запретную проволоку, и пошел на Чугуева, никакого

Чугуева у забоя не видя — только целое, в недрах и в будущем, то, во что он воткнет, то, к чему присосется, и ничто не проткнуло Чугуева, не впилось между ребер раскалившейся и приварившейся злобой: вот идет человек, для которого он, Чугуев, — стальная прокладка, одноразовый глиняный пыж, лоб, которым в шуры забивают патроны; он владел его жизнью тогда и владеет теперь, но ничего сейчас от этого внутри Валерки не кричит, не полыхнуло дикой, безмозглой потребностью во что бы то ни стало доказать, достучаться до этих вот глаз и до этого мозга: я есть!

Все показалось под открывшимся ему незыблемым, высоким вечным небом освобождающе ничтожным и смешным: смотрел он и не мог поверить, что все зависит вот от этого нескладного, безостановочно бегущего, безостановочно боящегося сдохнуть человека, который все не может бросить свою трубку, пульт управления сталепрокатными цехами и существующими только в представлении его нематериальными деньгами... Смотрел и поверить не мог, что это Угланов построил все так, что треснула его, чугуевская, жизнь; нет, все устроилось и дальше крутится само, это он сам, Чугуев, сделал над собой; не мог поверить, что в угоду этому, жирафу, «по улице водили большую крокодилу» — тринадцать мужиков, здоровых еще, сильных, не увечных, должны были решать между собой, кому из них идти в забой и загонять кувалдой патрон в гранитную породу, и этот вот смешной, усталый людоед смотрел бы на тебя, разметанного в клочья, таким же стылым глазом, что и на живого.

А все шуры уже были заряжены и провода, идущие из них, связаны в сеть и законтачены с двухжильным взрывником, черной змеей ползущим из забоя к трансформатору; Кукушка побежал к хозяевам сказать, чтобы они выметывались на

хрен из карьера и отогнали свои джипы, чтоб невзначай их не покоцало осколками. Заревела и длилась надсадным вытьем нестерпимая сирена, и Угланов привычным стегающим, подымающим стадо движением махнул всем своим пехотинцам: исчезните! — и полез сам кратчайшей дорожкой наверх, раскидав, словно плети, охранные берегущие руки... И стоял уже на самой кромке последнего горизонта над пропастью — завязав на груди беспокойные руки и подавшись в наклоне вперед, выедавая глазами то место на дне, где десятки тонн мерзлой породы сейчас встанут дыбом. С тринадцати шагов Чугуев видел эту, словно запитанную постоянным током, спину, такую привлекательную для внезапного короткого тычка: пихнуть его ладонью меж лопаток — и полетел бы вниз хозяин тысяч русских жизней, расходных и оптом меняемых на сотни тысяч тонн легированной стали, и раскололся вдрызг бы его мощный котелок... Но будоражила его, Чугуева, сейчас редчайшая возможность подстеречь хозяина могутовской земли в человеческом, смертном, уязвимом для боли обличье не сильнее, чем мушиный пролет перед носом в сентябрьский полдень. Любой человек для Чугуева теперь одинаково весил и стоил, и точно так же слаб и жалок был Угланов, сделанный из мяса и костей, перед вот этим винтовым провалом и разрывной силой, выворачивающей глыбы из земли, перед вот этим небом, воздуха которого он заглотить, Угланов, мог не больше, чем Валерка, — и ничего не убавляется от неба.

Коля-Коля скомандовал взрыв, и Кукушка повис на рубильнике — ухнуло, на версту разбежалось, заполнило всю воронку карьера низовым, отдаленным, наросшим и ворвавшимся в уши сухим и отрывистым треском, словно кто разодрал на лоскутья огромный податливый ситец; по цепи друг за дружкой порскнули из

породы двенадцать фонтанов, потерялся им счет, затопил пропасть грохот, моментально разлившийся каменноугольный мрак; великаны, деревья из черного, серого, желтого, рыжего праха, разрастаясь, клубясь мускулистыми кронами, поднялись выше всех горизонтов, так что пыль, хоть частица ничтожная тверди, но хрустит у тебя на зубах. И еще с полминуты под этой крошечной земляной, гранитной взвесью что-то трескалось, глухо ворочалось, подвигалось, срывалось, перекатывалось по уступам и рушилось, расшибаясь на части, — отворачало, хрустя и крошась, и замолкло.

Караульной овчаркой вдоль невидимой проволочной изгороди заметался Угланов по кромке, убивающе вглядываясь в мрак, что никак не хотел опадать, и уже словно видя сквозь пыль — кровеносную рваную рану: быть должна она там или сдохнет, станет нечем и незачем жить. Приварил к уху трубку и лаял: «Калягин, ты пока договор наш с Лебедянским похерь, я сказал, время, время чутка потяни, попроси их отъехать до сотки за тонну, пусть пока поломают башку, что за наглость такая, ты только мне до завтра, до завтра потяни...» Вот уже проходила перед взглядом его заповедная здешняя синька, наполняла ковши и валилась в разверстые жерла грохочущих бункеров, высекая холодные синеватые искры из стальной их обшивки, содрогалась, тряслась на зубцах транспортеров, втекая в щековую дробилку разбитыми глыбами, чтобы быть в ней размолотой и перетертой ходящими справа налево медлительными челюстями, — третью домну кормите из старых запасов пока... И почуял Валерка дыхание родного Могутова и тоску сожаления, тяги к потерянной силе, к которой был с рождения причастен. На мгновение, но с режущей болью проткнуло: выходило, вот этот Угланов был причастен к могутовской силе

сейчас, с нею сплавился, спекся, растил, разгоняя своим существом, как был должен Валерка.

И снова сотрясением был вынут воздух из карьера, и пронеслись по контурам забоя, взметываясь, новые столбы, словно по дну прошла невидимая швейномашинная огромная иглолка; заворочался грохот отколотых от монолита кусков, и тугое гудение прокатилось наверх по ступеням и добило Чугуеву в ноги, поднимаясь все выше, пробирая все тело. Земляной мрак просел занавеской, втянутой в форточку, возвратился на землю, и пошли все, пошли посмотреть на отрыв, и Чугуев пошел в направлении к знакомой круто падающей лесенке и уже было начал спускаться, как кто-то вдруг пихнул его в спину без слов и зашелся шипением от гнева на его неподатливость, тупость — инстинктивно уперся Чугуев, как всегда на карьере, при всяком тычке, что его мог убить, и рывком обернулся, заготовив, сведя для удара кулак... «Уйди, мужик!» — Угланов с безумными глазами кобеля, напавшего на след потекшей сучки, пропихивался мимо, лез на спуск, ненавидя всех медленных, всех ползущих со скоростью слизняка по поверхности, не исчезающих, не проминающихся сразу же, когда он лезет и протягивает руку за своим. Сомкнулись плечи, ребра их, потерлись, как у столовочной кормушки плечи эзков, — цепляясь за Валерку, как за мертвую бугристую поверхность, валуны, Угланов продавился и спускался, оскальзываясь часто на ступеньках: ну а вдруг, царь завода, сорвется, — слабой искрой насмешки проскочило опять у Валерки в мозгу, он видел под собой суetyащиеся подслеповато-дерганые руки и поплавком качавшееся темя с напотевшими и все сильнее седевшими со спуском волосами. Но ничего, сдержался, устоял и ломанулся в гущу оседающего праха — на

развороченный забой, к нагромождениям отколотых глыб много больше него самого; в столпотворении гранитной этой боли, там, где под клин забуривал Валерка, виднелось несколько других как бы кусков, запеченных в обычной буро-красной породе.

И в наступившей после взрыва тишине, такой, что можно резать на куски, Угланов, лосем разбежавшись, съехал в рытвину и бился грудью там о каменные стенки, словно птенец в пробитой скорлупе, — лез и лез, оступаясь на туго скрежещущих кучах, в глубь клина, по засыпанным красной пылью отломкам, как по разбитым черепам и содранным коленям, все краснее вымазываясь в этой пыли и сдирая холеную кожу на локтях и запястьях до крови... Наконец-то продравшись, упал на колени и скребся, выцарапывая и выбирая из раны куски, — те вываливались сами, как расшатанный зуб, как затычка из бочки.

Чего лезть-то, чудило? Вон как выбросило далеко из забоя — приглядевшись, Чугуев подобрал под ногами осколки вот этого нового камня. Вроде с виду гранит, та же тяжесть, те же острые кромки, но обтер о штаны и поднес на ладони к глазам: точно сварен из многих пластинок, грязно-бурый, как ржавый от крови, а еще если ближе — с сильным жилчататым проблеском сини с переходом в тяжелый свинец. Он вздрогнул от удара изнутри, и ноющий озноб растекся из-под сердца по всему слабеющему телу. Это было оно — тут уж он не обманется — раскаленное в горне до свечения железо, с ровной малой силой мерцавшее сквозь окалину и грязный пепел.

— Жила, ну?! Говори! Это — жила?! — только тут и добил до ушей вымогающий режущий крик, крик как будто ребенка, вот такой, когда счастливы и орут над рекой на рыбалке: поймали! — но и будто разбавленный подступающей к

горлу и готовой плеснуться наружу огромной обидой: не прощу, не прощу! Со сбитыми костяшками, кровавыми руками, спасенным из-под шахтного завала горняком Угланов зацепил за ворот Петрушевского и вынимал глазами правду из него. — Пробились в большую руду, говори? Так же ты тут стоишь?! Машину вниз, машину, в забой пошли руками отрывать!

И погнали опять их, тринадцатую, меж обрывистых длинных откосов в забой, побежали без палки по крику — ломami раскурочивать кровоточащую рану, пока там подползет экскаватор и начнет разгребать по щепоти завал, и Чугуев крушил пятачок оголенного рудного тела кувалдой, отбивая кусками большую руду или — как тут узнать? — может, просто большую железную глыбу, вмурованную во все тот же пустой монолит. И она не кончалась, кровавая железная глыба, отдавая кусок за куском со всем тем же магнитным, магнитящим проблеском... и когда с пережевывающим хрустом подполз экскаватор и со скрежетом вгрызся зубастым ковшом в непрерывную рудную рану, набралось не на ковш, не на бункер — на колонну уже самосвалов, все увидели с освобождающей ясностью, что пробились, пробились, а не извлекли! Это было железное дерево, тысячелетний тихорост уральских недр, чистокровная жила, аорта, способная годами полностью запитывать огромно-ненасытные могутовские домны и конвертеры, что коченеют намертво, родные, не покорми ты их неделю этим мясом. Вот и теперь, теперешним Валерка послужил заводу-родине, пробился для него, завода, к этой жиле, и ощутил от этого такую подгибающую слабость, как будто половина его крови ушла в оголение вот этого истока, железной первородной силы, глубоко заваренной в земле.

Избитые сегодняшней работой и никому уже не нужные бурильщики

тринадцатой, они сидели на отвальной куче над забоем и не могли никак себя нащупать, глядя пристывшими глазами на огромного стального богомола, который выворачивал из раны и подымал в ковше все новые куски, на ручки экскаваторных траков и чумазые морды ковшей, что безвольно отваливали нижние челюсти, чтобы с грохотом сбросить тонны синьки в подставленный мазовский кузов, и на то, как старик грузовой проседал под обрушенной, взятой тяжестью, и на то, как холодное красное солнце окрасило груды оторванной синьки алым цветом сосновой коры на закате и сияло на стали и олове режущих и грызущих открытое рудное тело машин, полыхавших червонной медью.

Будто зарево, отблески будущих, завтрашних баснословных могутовских плавок ложились на все, и в неподвижной бригаде каждый чувал одно — так вот сразу не скажешь, что именно, но, наверное, что-то похожее чувствует мать с первым криком покрытого смазкой детеныша, осознав, что сама умерла в этих родах.

— Амба, братцы, закончилась наша с вами работа на воздухе. — Коля-Коля толкнул из себя, словно что-то у него заболело, как зубы. Будто жил он теперь — с этой самой минуты и уже навсегда — в новом воздухе: запираемых бараков, бетонного неба, неподвижной тоски, пустоты в постоянно голодных до работы руках, убывания жизненной силы, впустую прогорающей в мускулах, ежедневной напрасности — этой ржавчины всех заключенных людей, выедающей душу твою, существо, то немного все, что осталось в тебе еще от человека.

— Ты о чем, Коля-Коля? Мы ж пробились в большую руду.

— Так вот именно. Как вот только пробились, так на этом и кончились. Мы зачем были, зэки, нужны? Обеспечивать площадь охвата. Еще одно направление

поисков. Этот самый Угланов и придумал использовать нас, я так понял, как бесплатную силу. И пока жилы нет, неизвестно, а есть ли она, — ковыряемся мы зубочистками. А теперь уже вот она жила, аномалия, синька та самая. Уж какие тут зэки, зачем? И теперь уж недели, считай, не пройдет, как вот этот Угланов нагонит сюда настоящих машин, это будут «голиафы» и «мамонты». Ну а мы в лучшем случае будем рукавицы им шить. А скорее всего, вообще на хрен зону снесут, чтобы мы под ногами не мешались, обглодки.

Опять от Угланова, от того, что затеял и построил Угланов, исходила вот эта волна, что снимала их всех с этих глыб, вырывая из рук перфораторы, буры и штанги, отнимая — отсюда и уже навсегда — у Чугуева смысл, работу, в которой находил он спасение от придавившего, как могильной плитой, ощущения напрасности и бесплодности собственной жизни. Больше не было этого продыха, потому что сюда приползут «голиафы» и «мамонты», втопчут в землю стальными ступнями колючие изгороди и бетонные стены их зоны, коробка только спичечного для большого Угланова. Но сейчас в нем, Чугуеве, не было злобы. Навсегда перестал он считать, что во всем виноват этот вот человек, и сейчас было в нем ощущение естественности непрерывного хода всей жизни: вырастал, подымался на востоке родной его городзавод, беспощадная воля и правда чугунных богов убирала Валерку сейчас под плиту, позволяя Угланову делать все, что потребно для вхождения Могутова в силу. Происходило все с Чугуевым с неумолимостью положенного за то, что он, Чугуев, натворил: дозволения жить трудовым человеком сейчас от родного Могутова не было.

ПЕРВЫЙ НА ПЕРВОМ

1

Монстра должны были пускать уже сейчас. Решили никого не выставлять на пути следования спустившегося на могутовскую землю «самого» — никаких живых изгородей из рабочих в оранжевых касках и черных спецовках, со строгими и тягостно-почтительными лицами, надломленными новым, ни разу не испытанным волнением от грубого, прямого прикосновения к верховной власти русских. Все по своим кабинам и постам, все у своих клетей и агрегатов — вот так ему, Угланову, хотелось показать: благодатный огонь не спускается с неба, оттуда, куда повернулись все головы и несметь телекамер; тут алтарь — стан-5000, который он, Угланов, построил один, построили его, Углanova, железные, тут только он, Угланов, служит литургию. Мы все тут строим сами, мы жизнь свою делаем сами, не надо нам только мешать, а тот, кто приехал, — лишь функция, королева Маргрете Вторая, принц Чарльз, нетленные мощи в ларце, которые несут и водружают там, где в стране сегодня запускают что-то новое.

Встречали: инженерная проектная бригада, послы машины Siemens фон Бройх и Миттерних (с лукаво-заговорщицкой улыбкой собравшихся вокруг кровати именинника с единственным на всех — зато каким! — подарком за спиной), костюмной ратью топ-20 «Русстали» — держа кто наготове, кто уже нацепив оранжевые каски с могутовской Магнитной горой, охваченной хищной шестерней с

зубцами-языками-лезвиями пламени; ушедшие в могутовское небо из вальцовщиков и мастеров цехов Балуев, Олейников, Сужилов, Дванов, Хрусталеv ожесточенно теребили петли галстуков на натертых углановским мылом и веревками шеях — похожие на слесарей, второй раз в жизни надевших для чего-то свадебный костюм (вот слесарями они все, железные, и были, с наследными мозолями на выразительных руках мастеровых и доносившие свои идеи до Углanova посредством выражений «Леонидыч, командуй останов, а то нам шпинделя все нахер посрыывает», «Да мы ее продуем, Ивановну родимую, шлак в ноль уйдет, отвечу» и «Тут в штанах размер не сходится вообще»).

— Что ж ты все-таки длинный такой? — хмыкнул Ермо, с юродским осуждением и состраданием снимая с него мерку. — Как ты с ним в телевизоре будешь рядом смотреться, представил? Вообще за предел — Тарапунька и Штепсель. И слоган — «не вписался в вертикаль». Так что ты от него бы держался шажка на три сзади. Чтоб как-то акцентировать на том, кто возглавляет наш забег. Встань на колени, встань. Лучше встать на колени, чем сесть на скамью.

Вокруг, под рафинадной плитой заводууправления, колеблющимся строем изнывала орда разноплеменных телевизионщиков, со скоростью 120 раз в минуту бросались взгляды — ну когда?! — на мертвоглазого агента федеральной физзащиты, ведущего отсчет оставшихся секунд и километров... И уже пронеслись по натянутой хорде моста ледяные мигалки, преобразил всех молнийный разряд, ворвались «Гелендвагены», «Пульманы» — полоснувшим по площади и затухающим вороним полукругом, журналистское стадо с металлоискателями ломанулось на мины и уперлось, отхлынуло от невидимой высоковольтной отражающей изгороди,

коридора священного воздуха, и, опалемый фотовспышками, поднялся с заднего сиденья президент и, поискав глазами, придавая всем неотмеченным прозрачность пустоты, пошел прямой дорожкой прямо на Углового, торчавшего над всеми ориентиром, водонапорной башней, сваей, каланчой; надо было толкнуться, наверное, президенту навстречу и пройти половину разделяющих их с президентом шагов, но Углов промедлил, задавил в себе эту инстинктивно рванувшуюся распрямиться пружину или, может, она не сработала в нем, просто не было, — не было в нем изначально вот этой пружины — и поздно, невозможно сменить механизм; президент шел к нему, равномерно помахивая правой рукой сильнее, чем левой; Углов вслушался в себя — нет, не дрожит, в нутре не затрещало, не расходятся швы, лишь немного заныло в животе, словно перед рядовой, две тысячи сто пятнадцатой дракой или экзаменом, про который ты точно знаешь, что его сдашь, уничтожишь их всех, «шестьдесят, сто пятнадцать и триста на место», если, конечно, будет все по-честному и на твое, законное, по праву дарования, место не заходит убудок, родившийся с серебряной ложкой во рту... И, оторвавшись наконец-то от планшета, сделал шаг навстречу — разглядывая сверху лоснящийся высокий лоб с залысинами, выдерживая этот по-доброму насмешливый голубой и безоблачный плюсовой ясный взгляд, не раньше и не позже — одновременно — двинув руку навстречу президентской, натруженной ежедневными сотнями рукопожатий с Украиной, Сирией и Буркина-Фасо, с последнего звена возобновляя оборванный тому два года разговор. И без готовного, неподотчетно-самовольного расползания губ с обнажением кромки зубов прослушал обязательную для понимания всеми шутку президента: «Я к вам сейчас тут ехал и подумал, что

народная поговорка — „Обещанного три года ждут“ раскрыла в вашем случае новый смысл», и осиянные, вбирающие губкой слово государя, возле роддомовски-растроганные лица окружения — замироточили одною на всех — любовно воздающей должное улыбкой, выставлением высшего балла остроте: «Ну, дал!», капитулирующе, сломленно и узнающе соглашаясь с великой простотой «самого»: ну кто еще так может «разрядить»? сразу стать таким близким и понятным народу? только наш, только этот, пусть еще на пять лет остается шутить ради дела стабильности и процветания единой России!.. передавая по рядам и проводя до самых дальних: слышали все, слышали, как сказал?! на ходу и в контексте, не в бровь, КВН отдыхает!.. опуская в копилку президентского юмора, сберегая сокровище, зарабатывая новые лицевые морщины дарованным смехом и тотчас же вытягиваясь, супясь, наливаясь тревожным вниманием: посмеялись и хватит, мы тут делаем дело, эффективность и модернизация — это прежде всего!

— Ну так что, мы, наверное, прямо сразу пройдемся.

— Слишком долго идти.

— Да, у вас комбинат, говорят, со Швейцарию площадью. Даже не город, а отдельная страна. — Это он «намекнул»? Тот же плюс, та же ясность во взгляде.

— Урал — хребет страны, хребет. Как может быть хребет отдельным от всего? — И махнул длиннотенной рукой, которую так хотелось обрезать Ермаков — чтобы меньше размаха, охвата, — сразу рядом возник, проявился на свободном от свиты пространстве оранжевый экскурсионный минивэн с открытым верхом, «смотровой площадкой» на втором этаже.

Президент полез первым, не руками, не взглядом, а чем-то еще — ультразвуком,

могущим уловленным быть специальным лишь органом, жировой китовой, дельфиньей линзой — сообщая охране и свите, кого подымает к себе, забирает с собой вот на этот оранжевый борт, как сейчас, «на сегодня» поделятся люди, отмеченные, избранные клетки многоклеточного организма «Правительство Российской Федерации»: кто пойдет за ним вверх, кто опустится вниз, а кого вообще уже вычеркнули и «не взяли в поездку». Цепким глазохватом Угланов подобрал и заметил, кто идет с президентом, кто — за, кто вообще идет за оцеплением: в минивэн забрались двое «профильных» вице-премьеров Иванов и Юсупов и советник Татарцев, не мигая, мигнувший Угланову: «Все пока у тебя хорошо»; остальные места президент отдал аборигенам, железным: он сегодня поедет с «народом». Остальных отсеки, отцепили, загружали в подогнанный следом автобус, и туда, во второй, заползал заболевший, но пока еще переносивший болезнь на ногах, уцелевший Бесстужий и шурился от какой-то мучительной рези: было больно улюлюкать смотреть на углановский сталепрокатный алтарь, от конца и до края видеть только углановское — ничего своего... Но ведь, тварь, зацепился, не сдох, остается пожить в приближенных шеренгах... Вот зачем вообще президент его держит? Чтоб полипом, व्यюном, пыльной тлей, древоточцем при малейшем удобном нашептывал: слишком, слишком вознесся и занесся заводчик Угланов, вот великим могутовским князем открыто называют его, это что ж получается — что где он, там уже не Россия?

На «втором этаже» президент поудобней поусаживался в кресле, замеряя пространство для жизни, свое, и, уютно устроив руки на животе, добродушно пожаловался разбросавшему и распрямившему ноги Угланову:

— Как вы много, Артем Леонидович, места занимаете рядом. — Растягивались, длились юмористические нотки — невзначай, ни о чем или как бы, пока ни о чем: продлевал для Углового небезоблачность, неокончателъность: знай, что я про тебя ничего еще целиком, навсегда не решил; просто так было надо ему, как и всем до него: чтобы каждый жил под высшей русской властью с нервной сверхпроводимостью чующих приближение землетрясения крыс, в страхе перед возможным — каждый день — «пересмотром вопроса».

Замурлыкав движком, плавно стронулись, покатили, летели в глубь города, государства железнодорожных путей и решетчатых мачт-великанов, опрокинутых ступ на гигантском языческом капище теплоцентрали, скифских каменных баб исполинских размеров, закрывавших полнеба, когда поравняешься, вдоль полей ярко-желтых и снежных газгольдеров, вдоль динасовых огнеупорных соборов и положенных набок небоскребов грохочущих сталепрокатных цехов, вдоль железных лесов рослых мачтовых, мультдо-завалочных, самоходных, строительных кранов... и все тою же длинной, навсегда не трясущейся и отлитой из чистой автократорской власти рукой он, Углов, показывал: это новый у нас ЭСПЦ, за два года построен с котлована до кровли, в нем поставили пять двухсоттонных дуговых жаропрочных печей, а раньше был пустырь, руины, ископаемые мартеновского века... — резал цифрами грузоподъемности, проектных мощностей, рабочих мест, которых было столько-то, а стало вдвое больше, заколачивал, впрыскивал, вкачивал вот под этот высокий лоснящийся лоб: он, Углов, тут делает дело, сталь для русских, для русской земли, все его двадцать три миллиарда — не воздух, не пушинки, несущие сорняковое семя, не в ирландских, панамских и виргинских налоговых схронах, не в

дворцах и доходных домах в Сан-Тропе и Белгравии — в чистом огненном слитке в этом кристаллизаторе, все бегут вот по этим железным кишкам, на своем он тут месте, кочегар, машинист, тут его признают за хозяина и человека железные так же молча и просто, как сами себя — за натертый загривок и руки в мозолях.

И по быстрым, снующим по железным деталям машины, признающим, что сделано все тут на совесть, глазам президента навсегда для себя хотел что-то понять, не пропустить момента обнажения утаенной донной сути: что же там у него, президента, на дне, под текучим его напряженным вниманием, под сличением углановских выкладок с теми, что ему принесли по «Русстали» советники, — продавился ли он до упора, президент, навсегда согласившись с углановской правдой, с тем, как сам он, Угланов, давно уже мыслит себя — самодержцем «Русстали» и больше никем? Или можно сейчас быть уже лишь в «системе», «внутри», непременно под кем-то — никому не дадут расти так, как растешь?

2

Он долго ничего не знал про деда — рожденный в городе, который дед построил, не помнящий родства, затерянный детдомовский малек. А когда устоял, уцелел, утвердился, набрался покупательных сил — послал людей узнать: откуда он, Угланов, «есть пошел». Универсальными отмычками «сто долларов» открывались замшелые двери архивов райбольниц, поликлиник и загсов, из-под гор заржавевшей бумажной коры извлекались свидетельства, отпечатки единственной жизни, сквозь туман проявились остатки отобранного у него бесконечно-всесильного «мама»:

Тихомирова Алла Сергеевна, тихо с миром исчезла из мира, умерла, как природа прозрачной осенью, родами вот такого единственного, вот такого меня; уроженка Могутова, родилась в 1933-м, в смертоносное время расстрелов по три тысячи в сутки, в семье инженера, отец — Тихомиров Сергей Николаевич, член партии большевиков с 24-го. Он сперва не рванулся туда, в перегнойное прошлое, к деду — магнитили оставшиеся две единственные фотографии: сквозь гляцевую муть мерцанием проступало гладкое и чистое, как молоко из ледника, лицо: широкий выточенный лоб, бегущие вразлет и переломленные брови, еврейский тонкий нос с еле заметной горбинкой — был усечен на самом кончике и получался там как бы такой ежиный пятачок, очень смешной и необыкновенно трогательный, тем более в соединении с ямочками на морозно горячих и свежих щеках. Одновременно царственно-идольское и беззащитное до жалкости, до задыхания лицо.

Почему же не дали ей жить — если так много дали в мгновение зачатия, если так филигранно вытачивали, шлифовали всей кровью поколений неведомых могилевских и витебских лавочников, куаферов и часовщиков? — вымогал он, Угланов, и не мог себя вытащить из ощущения незаслуженной, несправедливой беды, понимая, родившись со знанием: никакой справедливости — и уже различая в лице этом грань, переход от здоровой, светящейся молодости к подступающей неумолимо болезни.

Молодой педагог гарнизонной, при Доме офицеров, музыкальной школы (вот куда ее распределили, породу, — в полигонную грязь — и, выходит, для встречи с отцом, капитаном бронетанковых войск Леонидом Углановым, для того, чтобы он появился, Угланов, а не кто-то другой из несмети возможных хромосомных наборов)

неуклюже позировала в новом пальто с чернобуркой: улыбка любования собой остерегалась распусться на губах, затопленные черным блеском древние персидские глаза смотрели с деланой мечтательностью в никуда, в распаханное небо будущего счастья, но заготовленное выражение это перетекало, как вода, в оцепенение, в замерцавшую радость смирения с тем, что назначено ей и как будто уже началось для нее; мать, с ним еще, Артемом, не знакомая, словно уже с немой признательностью чуяла тишину и покой потаенного роста в самой своей сути — вот с такой подчиненностью вглядываясь внутрь себя, словно было уже там, внутри, в тишине, их с Углановым двое; мать его неугадывающе трогала внутренним слухом: попытаться, какой он, каким же он будет — и уже с ним прощалась, улыбаясь ему через силу и с горечью; мать уже понимала про себя что-то важное, что понимает про себя осенняя трава... или так ему только казалось сейчас, с его знанием, чем кончится жизнь ее?..

3

И они уже вылетели — словно из-под земли к настоящему небу, на простор судоверфи, на взлетную. Серо-стальной и голубой авианосец вымахал навстречу, словно сойдя со стапеля в асфальтовую реку, и не кончался, не кончался на лету своими изначально чистыми и гладкими высотными бортами, монолитным бетоном, облицованным плитами цвета «раскаленный чугун» и «морской кислород», закаленным стеклом, полыхавшим на солнце — президенту в глаза.

Налившийся вниманием к масштабу президент шагнул вместе с Углановым под

своды: тек простор в высоту, простиралась пустыня нехоженной, целиком рукотворной планеты, и в наступившей сразу лютой тишине необитаемости, прорезаемой только распаковывающим шорохом фотокамер со вспышками, он, Угланов, повел президента по морозно скрипящей чистотою дорожке, но было всем понятно, миллионам подданных телевизора и новостей, кто причина движения и остановки всех собравшихся здесь и сейчас. А причина — вот этот человек средних лет и спортивного телосложения, невысокого роста и с утиной, детской складкой губ, остающейся той же, такой же со времен чернобелых фотографий на школьных дворах в синей форме и огненном галстуке, — все давно про себя понимала и держалась подчеркнуто скромно, подчиненно: «ведите» — и в спокойной уверенности: остановятся сразу и все, когда он скажет им: «ну-ка, стойте».

Лифт вмещал восьмерых. С пятиэтажной высоты открылась новорожденная сталепрокатная страна, овеществленный план его, Углanova, творения — для нового глаза пространством настолько построенным и существующим по собственным законам, что нечего и силиться постичь и охватить, вместить и уложить в мозг машинный этот космос: пятиручьевого литья, глиссажных труб, инжекторных горелок методических печей, провалов нагревательных колодцев, автоматической системы прерванной закалки и водяного охлаждения стального полотна... Протянулся под ними стан Волгой, продольно рассекающей пространство, равное по площади трем десяткам футбольных полей; все стояло и стыло под ними, приварившись друг к другу, — контргайки размером с обычный валок и валки вышиной с «голиафов» и «мамонтов». Ни единого не было видно внизу человека, и не верилось вовсе, что все это задышит и поедет само.

С перекрещенных в воздухе мостков давал он президенту разглядеть все, что его, стального, делает Углановым, то, что уже его, Углanova, спасло, потому что продолжит вращаться и плющить раскаленные плиты могильной толщины в полотно высшей прочности даже после того, как в самом нем, Угланове, щелкнет выключатель черноты навсегда. Вновь спустились на землю, снова сделавшись теми, кем были физически, — позвоночными млекопитающими одинаково жалких, ничтожных размеров; оставалось то самое, «главное», что покажут сегодня всем по телевизору; крепостные телевизионщики стадом качнулись, нажимая, давясь, вознося свои камеры и металлоискатели над головами, переламываясь в спинах в предельном отклонении назад, от оси... и прямой зеленой дорожкой — в ногу с президентом — к алтарным вратам, к метровой стойке-кафедре как раз под руку человека среднестатистического роста, к божественной, простой, как детская игрушка, красной кнопке, поднимающей в небо, запускающей «все».

Президент на кратчайшее дление замер, словно не в силах одолеть последнюю воздушную полосу и коснуться — не своего, того, что выстроил не он, — и обернулся на Углanova с двухполюсным, неясным по значению «разрешаешь?» в насмешливо выпытывающих глазах:

— Может, все-таки вы, а, Артем Леонидович? Ваше детище, ваши бессонные ночи.

Угланов только отмахнулся, дернув мордой и рукой: да закончи ты это уже побыстрее; вот эта кнопка для тебя — не понимаешь? — на самом деле ни к чему тут не подключена, запускаешь не ты и завертится не потому, что ты хочешь. И может, что-то президента в нетерпеливом этом подгоняющем углановском движении

не устроило: «ну а может быть — вместе?» — вот что Угланов не дослушал, не захотел услышать — от него... Но сейчас: протокол, «на него сейчас смотрит страна» — и, закрепив привычно-типовые «бодрость», «деловитость», «в рабочей обстановке» на лице, быстро-кратко примерился и весомо приклепнул ладонью торчащую перед ним из столешницы красную кнопку.

Тишину, от которой твердело уже в животе, разорвал тепловозный гудок, протянулся, потух, не заполнив пространства, и беззвучно, невидимо, но осязаемо, заструившимся по позвоночнику холодом, сквозняком из соседнего измерения-времени запустилось и двинулось объединенное, беспощадно сцепившееся — как одно существо, задышавшее «все» — первой искрой, пролетом углановской воли со скоростью миллионов безмассовых квантов по графеновой микровселенной центрального мозга, мыслью сталепрокатной машины о себе же самой... И опять повели президента посмотреть с верхотуры, как пополз по рольгангам просвеченный нестерпимым вишневым сиянием сляб — негасимое адское пламя в чудовищном слитке, вес могильной плиты, уготованной самому страшному грешнику, — и понесся, потек, полетел сквозь валки, удлиняясь, вытягиваясь, плющась, как тесто, не в силах одолеть железного потока необратимого по всем параметрам перерождения — в разглаженный, как простыня утюгом, чистый лист однородного серого цвета, что, каленый, ошпаренный ледяной водой, не лопнет и в арктическом холоде; шум колоссальный огненных столбов пошедшего на взлет ракетносителя «Протон» — маниакально-яростно-настойчивый и одновременно спокойно-величавый, неуклонный — ввалился в уши, в черепа и наводнил пространство тридцати футбольных стадионов... И президент, которого вели к

далеким, как Китай, участкам резки и клеймения, вдруг, показалось, полетел, несомый одним только воздушным течением, как шарик, — уже физически ни для чего не нужный в этом мире, в котором все размеренно дышало и неуклонно двигалось само, проводя и усиливая только одну абсолютную волю, только его, Угланова, господство над могутовской землей, на которой один только он все замыслил и выстроил.

Президент — улетел.

4

Видел он справедливость и промысел — в том, что он, он, Угланов, возвратился хозяином на завод, что задумал и построил на голой земле его дед.

С перестройкой во многих родившихся и живущих на общих основаниях советских проснулась эта тяга к корням: ну а вдруг у меня там «графья»? — плебейское желание поиметь в роду «больших» и «настоящих». И многие из копавших родословную нашли «там» бородатых сахарозаводчиков, владельцев пароходов, маслобоен, текстильных фабричонок, «русских провидансов», построенных с бельгийским капиталом на паях, и, проходя мимо невзятых временем и ломом кирпичных стен, гранитных монументов, кивали на доходные дома, особняки и гастрономы: это наше, это было построено прадедом, он имел, а теперь хочу я.

У него же, Угланова, было другое: цвет крови устраивал, он искал под асфальтом, в перегное — своих. И нашарил случайно в земляной этой тьме —

пропеченные, смуглые карточки загсов — исчезающе бледные синие и лиловые строчки вмиг сложились в послание, в «кто-то хорошо это дело придумал». Инженер Тихомиров — ископаемый блюминг и первые станы железного века — в жизни мамы возник не с начала, прикрепился потом: значит, мать его тоже потеряла отца — то же самое лишение нормальной, комплектной семьи, «родовое проклятие» просто, на Угланова павшее круглым сиротством. Тихомирова Софья Мироновна — урожденная Левина, в первом замужестве — Гугель! — подала на развод на трехлетие Аллочки в 37-м, Тихомиров уже был готов — на замену, в мужья. Подвела к нему Соню и выдала замуж лично мужнина, Гугеля, все решившая бесповоротно рука, вот она же «Сережку» немедленно и уничтожила — перетерев в песок фамилию в приказе об увольнении с новорожденного циклопа «волюнтаристски» и «необоснованно», под видом пошлой мелкой мести «за жену»: ворочавший могутовской прокатной машиной Тихомиров скатился под откос до паровозного депо в Верхнеуральске и через это дело уцелел.

Дед, короче, по матери оказался тем самым могутовским Гугелем, что почуял тогда своевременно, в 37-м, притяжение топки, в которую побросают их всех, старых большевиков и железных наркомов. Дед уже понимал, как ложится клеймо «враг народа», приварившись пожизненно, выжигая дальнейшее, на семью, на детей: Соне с Аллочкой не уцелеть — и с запасом по времени начал стирать себя с их биографий штыковой лопатой «вы больше не Гугели», сделал все, что был должен и мог, без гарантии, что за ними никто не пройдет и по новому адресу, новому мужу, но вот так — хоть какая-то будет дистанция, на которую Соня с трехлетней дочкой отбежала от срубленного...

Ну а дед... он спустил свою свору ищеек, Угланов, принести в зубах все, что осталось от деда: подкопченно-седую учетную карточку члена ВКП(б) с Октября, наручные часы со стрелками, застывшими на полвторого ночи (на времени, когда для деда все закончилось?), позолота, металл, гравировка «Товарищу Гугелю от Совнаркома РСФСР», фото в черном застегнутом наглухо кителе, в москвошвеевской тройке.

В коллективном сознании могутовских аборигенов дед жил великаном, железным сапогом вминающим ослушников в низверженный гранит, — с фотографий смотрел долговязый, тонкошей, взъерошенный, близорукий еврей с напряженно-бодающим купольным лбом и в бухгалтерских круглых очках, мягкогубый, испуганный. Год рождения 1894, город Горки в черте постоянной еврейской оседлости.

С двенадцати лет Яша Гугель пахал относчиком посуды на пивоваренном заводе, чернокотельщиком Петровского чугунного завода, — там увидел впервые железную магму — и сразу влюбился? До революции поступил в «среднетехническое» училище в Одессе, но сразу же — в окопы Первой мировой, шинель не по росту, солдатские митинги, Февральское восстание... Октябрь встречает командиром батальона Красной гвардии. Вот во что превращаются дети с глазами попрошаек, когда кто-то скажет над их головами: вы теперь не отбросы, вы вершите Историю. Кого-то они тоже там, конечно, в Бессарабии, рубили с седла и пускали в расход.

Через год он опять на лежащем в запустении Петровском заводе, строит новую домну: что ж, выходит, магнитило деда железное дело? или только — на все воля

Партии, бо льшая, чем какая-то Божья? И дальше шаровой молнией, меняя траектории, орбиты, с отличием оканчивает Харьковский технологический и к двадцати шести годам — директор трубопрокатного завода в Таганроге, там запускает свою первую железную машинку, которая забуксовала только в годы перестройки, в 26-м его бросают в Мариуполь на воскрешение из мертвых сталелитейного завода «Русский Провиданс» — до революции был монстр, русско-бельгийское новаторское детище, и под дедом опять задышал, размахался в громаду с чудовищным ковочным прессом и цехом холодной прокатки за одну(!) пятилетку.

Дед показал, чего он стоит, и различила, подняла его с земли, призвала абсолютная сила: «Вас вызывает Совнарком, можете выехать в Москву незамедлительно? Товарищ Гугель, в планах нашей партии — в кратчайшие сроки создать на Урале металлургическое предприятие высочайшей техники. Товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить это дело?» Он посмотрел на это так, как все они смотрели: его выбрали режущей частью машины, и он это должен и может, а если не может, то тогда его нет.

Это была еще одна «великая стройка коммунизма», Гугель стал ее движителем, машинистом, бросающим в топку добровольцев трудармии и несметных каналоармейцев, поверивших и не верящих в то, что от «жаркой работы растает твой срок»: сильный слоган в сравнении с нынешними; он, Угланов, подставил бы вместо «твой срок» — «нищета», «бесполезность», «бесплодие», «ничтожество» — для своих, проводящих сейчас его волю железных, для всех нынешних русских мозгов, из которых кредитами и рекламой не выжгли инстинкт созидания.

Сохранились, дошли до Углanova в полном порядке показатели темпа

строительства, нажимного усилия, порога терпения, неправдивых объемов извлеченной за сутки из забоя руды, превышения пределов возможностей состоящих из мяса и костей теплокровных устройств: «Мастер доменной печи № 1 Семен Антипович Чугуев за 6 часов 14 минут работы сварил плавку в 470 тонн...» И через день опять этот Чугуев — или неубиваемый Климов, Бурлаков, Кузнецов — «снял с квадратного метра пода печи 24,5 тонны чугуна, установив тем самым мировой рекорд». Это все закрепилось в могутовских святцах, но исчезли мотивы, наполнение, ток, излучение, душа.

На одном только страхе и потребности жрать, чтоб не сдохнуть, далеко не протащишься, а они протащились, взлетели из котлованной этой вот могилы — в космос. Ценою самого большого в истории русских жертвоприношения. Да. Но и прыгали — сами. Хотели. Что-то им обещали такое. От стального наркома до последнего чернокотельщика. Вместо Бога и веры в воскрешение из мертвых.

Он, Угланов, не мог не смотреться в это зеркало в зеркале, не сличать себя с дедом: он и дед подымали завод с одинаковой, сопоставимой скоростью, но на этом их сходство кончалось. Для Углanova определяющим было, что завод — его собственность, целиком, навсегда, от природы, если хочешь, «от бога», от того, каким был он, Угланов, рожден; что вся прорва могутовской стали — его... Ну, она, для людей, для упрочения жизни всех русских, конечно, но хозяин-то — он, эта сталь — его семья, он ею заливает весь мир, и она дает всходы, потомство, детей; без несгибаемого постоянства осязания «ребенок от меня» — для него ничего не имеет значения.

А для деда, скорее всего, наоборот — его «я» не имело значения; важным было,

что дети — его, не его — существуют в составе броневой, ледокольной, самолетной и пушечной стали, в напрягаемом скелете, в артериях великана «Советский Союз». Чтобы дед себя мыслил тогда самодержцем Могутова? Ну а может быть — да, только так? И все это «...и в первую очередь лично товарища Сталина могло создать такой завод в такой короткий срок» было только для митингов, только в глаза, для отвода, а на деле, «внутри» — со спокойной, холодной расчетливостью продлевал свою жизнь в людоедско-расстрельное время и считал себя «втайне» и фактически был полновластным хозяином «мирового гиганта». И это не просто казалось ему, представлялось в минуту насекомой гордыни — это существовало: каждый ковочный пресс, каждый блюминг, каждый стан оживает, когда скажет он, все идет от него, сотня тысяч железных проводит его, вездесущего Гугеля, волю, Кремль — очень далекий летающий остров, и завод автономен, как «Челюскин» во льдах, с флагом красного цвета, но бог на нем — Гугель. Может быть, вот за это «они» его и уничтожили. За железное самостояние. От деда не осталось дневников, личных писем, в которых говорил бы он сам. Установить, как думал дед на самом деле, невозможно.

В 38-м могутовского князя Гугеля наметили на взлет в наркомы черной металлургии СССР (дед уже рассказал своей Соне, в какой из томов «Технологии обработки металлов давлением» положил он свидетельство о расторжении брака, дед уже спас единственную Аллочку от круглого сиротства), в 39-м деда взяли по штампованному обвинению: ты — германский шпион и вредитель. Ну такой вот вредитель, уничтоживший 3 000 000 тонн могутовской стали, подорвавший две первые могутовские домны, торговавшийся до хрипоты за копейку с золотого рубля с

Маннесманом и Крупном, которые подсовывали русским всякое старье под видом новейших машин: «Покупайте, зер гутт, вот дотошный еврей, ты же мне говорил, Фриц, что он идиот». Неужели никто сверху донизу не понимал, что он, дед, на своем месте лучший? Это ж видно по цифрам, на выходе, в тоннах, по показанной скорости превращения сказки в железную быль. Хорошо понимали. Просто смысл империи был только в том, что никого она не пощадит, ни с кем не почитается, ни с чьей личной силой, ни с чьей жалкой малостью: все весят одинаково — не весят ничего. Все всё знали и были готовы, никто не боялся, ровно так же, как первохристиане — физической смерти, хотя эти, стальные наркомы, не верили, что настоящая карьера человека начинается за гробом, и ничего из той крошечной тьмы навстречу им не брезжило: обещали бессмертие им на земле, на земном этом шарике, на котором построят они коммунизм, после них «тут» останется то, во что без остатка они перешли, зачиная стальное потомство, которое после их личной смерти должно править миром.

Что самое смешное, он, Угланов, был согласен с таким вот подходом к бессмертию. «Оставить потомство» — это ему казалось понадежней, чем рай на цветочных качелях и ад с инъекционными горелками под гробом. Но вот отказ от личной силы, хозяйского клейма на всем, что произвел и выстроил, на каждой двутавровой балке, на каждом листе — для него это было, мягко скажем, немислимо. Вот тут и проходил меж ним, Углановым, и дедом «тектонический разлом». Они принадлежали к разным видам, и пропасть между ними была больше, чем между кроманьонцем и неандертальцем: в тот череп, в тот мозг не поселишься, своим не заменишь. Дело было не в «жертвах», не в «правах человека» и прочем

дерьме, заместившем двуногим мозги, но не меняющем нисколько сущность бытия (природа прав не знает, в природе существует лишь способность продавливать силой ума или мышцы свое). Дело было в одном: хозяин ли ты делу своему. Угланов состоял из убежденности: любить можно только свое, настолько же свое, как собственные дети; по-настоящему любить обобществленное нельзя — землю, что пахешь ты, а урожай с нее «по справедливости» распределяют между всеми (да и какими, нахрен, «всеми», когда «всё» спецпайками на золоте подается наверх на немногие подмосковные дачи?). Своего ты ребенка отдашь на съедение? А чужих можно и не жалеть. Можно и обедать, как вот в черноострожском детдоме поварихи тащили по домам тяжеленные сумки с говяжьим филе и куриными грудками. Не потому ли после сталинского «Братья и сестры» в микрофон, после того как победили саранчу в железных бронях, делая все для фронта, для победы, как один человек, начали гнить вместе со Сталиным имперские артерии: не «империя страха» развалилась тогда, а пространство ничейности?

Дед подписал дебильное «я вел диверсионно-вредительскую деятельность», но остался ночной, страшный Гугель в коллективном сознании могутовского сталеварного племени, но остался завод — непрерывно живою и дышащей дедовой правдой. И Угланов смотрел каждый вечер на его-свой завод с верхотуры — протянувшую от конца и до края неоглядную тушу железного мегалодона — и верил: никакой уже силой ни деда, ни его самого из земли этой больше не вывернуть.

Под перепончатым, из закаленного стекла и стали, куполом, в морозном воздухе, в пустом амфитеатре укомплектованный позимнему Угланов смотрел за тем, как монструозный правый крайний армейской тройки нападения Колтыгин муштрует выводок чирикающих птенцов — казалось, с тою же клокочущей яростью, с какой наводил когда-то оторопь на жвачных родоначальников канадского хоккея, а заодно и на весь мир американского капитализма, остолбеневший перед «красной машиной», которая неубиваемо стояла на коньках.

Еще не до конца умея совладать с земной гравитацией, вооруженные, в доспехах, маломерки, растущие бутузы, ваньки-встаньки без строя и порядка ползали по льду за ускользящей шайбой и то и дело, в перевес отяжеленные своими крагами, решетчатыми шлемами, валились набок, на коленки, на зады, чтоб, разгоняясь, заскользить по матовому блеску уже ничком, на пузе, четвереньках, а не на этих спотыкающихся лезвиях. И кое-кто, встав на зубец и рухнув ватнонабитым маленьким кулем, как-то повзрослому, с неубывающим терпением, с упрямством будущего человека подымался. Другие, растянувшись, колотили лед карбоновыми клюшками, побивая, казня, проклиная не лед, а себя, раз неспособен устоять и полететь к воротам шаровой молнией, как Ковальчук, Овечкин и Буре.

«Куда?! Куда, тыр-пыр-ёпт?! — кроваво багровел мясистой мордой Колтыгин. —

Ну ты стянул двоих — куда ты дальше лезешь сам?! Ну ё-о-ожики-серёжики! Ну ты отдай ему на пяточок — он там один стоит и замерзает! Чего ты встал и хлопаешь глазами, Леня, на меня?! Пошел за ним в прессинг, пошел! Повис на нем сразу, дышать не давай! Ахтыебытьтвоюраскудрить!» — это он Леньке в зарешеченную, неразличимую за прутьями морденку.

Угланов сына узнавал не по наспинному восьмому номеру на красном свитере «Россия», не по зеленым «бауэрским» крагам, не по оранжевым протуберанцам на ботинках, а целиком и сразу — по необъяснимому, не прерывавшемуся тепловому излучению, выделенной тяге. И то ли это сильной линзой любования облекалось его отцовское, углановское, зрение, то ли на самом деле так оно и было: этот единственный малек стоял надежней прочих на коньках, греб в силовые, разгонялся и кружил с хищной статью будущего монстра, резко давая вдруг по тормозам и ошетиливаясь крошечком, — головастый птенец в непомерном лакированном шлеме, разлетавшемся свитере и доспехах на вырост, на упроченных только шерстяными рейтузами голенастых цыплячьих ногах, уворачивался, подцеплял, уводил, налетал, ставил лезвия так, словно жил уже в следующем возрастном измерении скоростей и сноровки, не по графику роста проникнув в него, а досрочно, обогнав тихоходов и увальней сверстников. Да и даже не это сейчас было главным, разгонявшим в Угланове кровь, а то, как он бросается в оголтелые сшибки с куда более рослым и крупным детенышем. Ничего не боится — лишь бы взять свое там, где он видит свое. Не потому, что он, Угланов, покупает Леньке все, что тот захочет; нет, его сын не должен чувствовать, что мир вращается вокруг него, единственного, и все дается сразу же, любое, как только он к чему-нибудь протягивает руку; нет, его сын не

должен вырасти в ничтожество, привыкшее брать все чужими руками, чужими зубами, — с нутром, костным мозгом «а ну-ка подать мне!», не отличающимся от «подайте Христа ради!», — надо давать ему то поле, по которому он будет двигаться к загаданному через сопротивление и преодоление. Чтоб, спотыкаясь, набивая шишки, плача, кусая воздух от стыда и гнева на свое бессилие, вставать и падать, падать и вставать и, проползя на четвереньках, проломившись к заветному щелчку под штангу, подымающему внутри тебя огромный ветер торжества, запомнить ноющими ребрами, разбитыми коленками, что это ты свое заветное взял сам.

Одиннадцатикратный чемпион планеты по хоккею дунул в приваренный к губам свисток, показывая: все, закончили, свободны, встал у двери и тыкал каждого вступавшего в проем щенка, как на конвейере, в знак поощрения промеж лопаток кулаком — размером с головы вот этих семилетних: «Молодец, хорошо отработал»... Угланов Леонид катился предпоследним, переломившись чуть не вдвое в низком приседе, упершись клюшкой в обманчиво упитанные ляжки, и могучий старик его встретил пространным: «Ну, Леонид, когда научимся смотреть по сторонам? Не играй один, Ленька, не играй один...» — и по загровку его лапищей, вколачивая под шлем краугольную идею, идеал советского хоккейного коллективизма. Ленька угнулся по-щенячьи от шлепка и, распрямившись, двинул дальше, стучая коньками по дорожке и помогая себе клюшкой, словно посохом. Завертел зарешеченной головой: где отец? сегодня он на льду все делал для отца: мол, посмотри, как я несусь, как торможу и разворачиваюсь резко на ведении, как режут лед летучие коньки...

Он, Угланов, не думал о хоккейном восходе, первом номере драфта, о комете

Угланов, пронесшейся по ледовым полям НХЛ, — не имело значения это по сравнению с главным: сын родился без страха и растет вот без этого страха не существовать, сын его не узнает лишения нормальной, изначальной и цельной, комплектной, постоянной любви; он, Угланов, родился еще один раз и дает теперь сыну то простое, нормальное, чего сам был лишен. Он, Угланов, живет за двоих — за себя самого и отца, которого убили за полгода до его, Углanova, рождения.

2

Щенком, отбросом, узником черноострожского питомника жил в полноте неведения о том, куда и почему исчезли двое, втравившие его, Артема, в это дело. И никаких двоюродных сестер, дядьев из Витебска, Ленинабада, Соликамска — приехавших забрать на воспитание: после войны с чужими и своими родовые деревья лишились ветвей, разветвленности, вообще завалились и сгнили, оставляя горелые пни и пушинки, несущие семя на новое место, где пробьется нестойкий зеленый росток, чистый в том еще смысле, что на нем ничего не написано, неизвестна порода, откуда он, чей.

Но вот все-таки раньше намного, чем вырос и смог все купить, все открыть, что возможно открыть, все архивы ФСБ и Уральского окружного суда рассказали ему про отца «почти все» и «почти ничего». В те пятнадцать своих он не думал, куда «они» делись, — он тогда вскрыл замок, отвалилась плита, выпуская его на свободу, в Москву, и уже был Казанский вокзал и проточная жизнь миллионов моряков всех советских флотов, пограничников, жадноглазых цыганок с младенцами, онемевших

узбеков в полосатых халатах, тубетейках, чалмах, и уже начался для него колмогоровский, самый лучший в империи физмат-интернат — чистый, обеззараженный мир, где седые, лобастые, страшно умные учителя обращались к Угланову только на вы, полоумные, сумрачно-запертые, никого вокруг не замечавшие ученики вдруг набрасывались на него с разговорами о кварковой природе черных дыр и скоростях, которые способны развивать протоны в синхротронах.

И тут он появился. Из-за кирпичного угла спального корпуса на Кременчугской улице, 11. «Стой, парень, подожди! — вцепился, сбив дыхание, и держал матерым своим пальцевым железом — тяжелый, коренастый, краснолицый, в скрипучей черной кожанке блатных, буровиков с далеких Северов. — Ведь ты Артем? Угланов ты, Угланов! — вбивал, как будто он, Угланов, позабыл, не знал настоящей фамилии рода. Каленое кирпичное лицо ломалось от какого-то позора, изжелта-серые безумные глаза впились в него с едва переносимым сожалением о том, что протекло сквозь пальцы, не вернуть, его, Угланова, ощупывали с жадностью, с каким-то образом как будто бы сличая. — Послушай меня, Тема! Ты не бойся! Я батю твоего знал, батю! Ты мамки не помнишь, не помнишь отца. А его друг... был, отца твоего. В одной мы с ним роте в Суворовском. И дальше с ним служили не тужили. Меня зовут Володя, Владимир Алексеевич. Отец твой, Тема, — Лео нид Сергеевич Угланов, — кричал как в телефон по тугоухому межгороду: записывай! — Отличный офицер Советской армии, танкист. Никто не сомневался, кто будет генералом. Нам это... тут не надо. Давай-ка отойдем... Искал тебя, в Могутове искал, а там мне: ты в Москве, грызешь гранит науки.

Служили мы с твоим отцом в Верхнеуральске. Тут мама твоя, Алла, у нас там

появилась, музыкантша, ну, музыке детишек приехала учить при Доме офицеров, красивая — аж шеи сворачивались набок. И все ей в кавалеры набивались. Ну вот, тут твой отец... как он ее, такую, кому-нибудь отдаст? Он, он во всем был первым среди нас. Как только увольнительная — к ней! Летел как на крыльях на всех видах транспорта. И вот образовался ты... ну, ты уже большой, давно все понимаешь. И мы б у них еще на свадьбе погуляли. Вся жизнь была впереди! Но папка твой погиб. Ты смотришь — и правильно смотришь. Ведь не было войны. Как мне тебе такое объяснить? Я сам себе, сам не могу объяснить! Что это вот было такое тогда. Была бы война — такой, как твой отец, он стал бы героем этой войны... Послушай меня, Тема! Я тебе сейчас все расскажу — ты услышь и в себе завари это наглухо, сам для себя знай это про отца, и больше никому!.. Ты тогда не родился еще. Нас подняли по боевой тревоге среди ночи. Гвардейский наш танковый полк. Нам ничего никто не говорил! У командира запечатанный пакет — на месте вскрыть, в Могутове, не раньше. Могутов это что — это такой завод огромный, металлургическая крепость СССР! Сто тысяч рабочих! И вот нам говорят: заблокировать ее. И ничего никто не понимает: это что же? Там же советские все люди! А нам говорят: уголовники, очень силен там уголовный элемент. Призывы там к свержению социалистического строя! Что с ними всеми сделалось, рабочими, не знаю! Какая-то вообще вот смена магнитных полюсов Земли! Какие уголовники? Рабочая же кость! Сталевары те самые, на которых и держится вся советская власть! Только когда, когда нам было разбираться?! Получен приказ! Неисполнение, промедление — трибунал! И мы все выполняем, и сами не свои, и Ленька мне: Володька, что ж такое?! Нас ведь учили как: прорыв и окружение, нас огневую мощь противника учили подавлять, а не

переть на свой народ машинами. Мы с ним, твоим отцом, под Оренбургом прошли сто километров сквозь ядерное облако, вот одни офицеры под броней пошли в эпицентр, и тогда мы не задали ни одного командирам вопроса, потому что мы люди присяги. Там безоружных русских не было, там были только мы. А тут перед тобой прорва обыкновенного рабочего народа: глядишь сквозь смотровую щель — как на себя, сам на себя и прешь, с самим собой воюешь! Уж не знаю, как я извернулся на той проходной, чтоб никого из них не задавить. А работяг, их наши танки только больше разъярили. Я там, на проходной, на левом берегу, а батя твой на правом, на мосту между Европой и Азией стоит — не пропустить любой ценой рабочих к исполкому! Понимаешь, тогда в этом городе с продовольствием дело обстояло не очень. Хлеб еще был, конечно, а насчет мяса, масла, всего прочего... Почему всего этого не было? Я не совет министров, чтобы знать. Ну вот такое, значит, мудрое, в кавычках, руководство. Мы и сами тогда в гарнизоне тоже не жировали. Магазин вон в военгородке открывался три раза в неделю. Все из-за этого в Могутове тогда. Вот сталевары потерпели, потерпели... кончилось терпение. Как же это вот так, извините: пашут, пашут они каждый день у мартенов — и чего ж, с голодухи им пухнуть? Кашу вон из своей кочерги? Надо было вот просто с ними поговорить полюдски: так и так, мужики, потерпите, проявите сознательность, вы ж советские люди, это мы наверху малость криво насадили с питанием, извините, исправим, и люди бы поняли... Но нашелся один на трибуне мудака, скот сановный не то что без совести — без мозгов вообще. Там киоск был у них с пирожками — жрите с ливером вон пирожки, говорит, если мяса хотите. Керосина в огонь. Ну и все, полыхнуло. Раньше сотни бурлили, а теперь уж все тысячи. Не стерпели такого с собой

обращения... Что отец? Он всегда слишком много, твой отец, рассуждал.

По всей жизни держался своей собственной линии. Хотя и звездочки маленькие. И он сказал: людей давить не будет. Это ж страшно, Артемка, да и ладно бы страшно, а такое, чего вообще не понять: вот твой отец и на него — колонна первомайская, с портретом Ленина, под красными знаменами. Отцу — дави, встречай предупредительным, чтобы у всех поджилки затряслись и ноги сами уже дальше не пошли, а он: отставить, стопори моторы! Мы в центре России — какой на хрен враг?! Ну и народ как сквозь плотину на ту сторону, через броню — отец их пропустил. Меня там не было, Артемка, но я тебе точно, уверенно: если бы мог он их остановить... так, чтобы это... ни одного чтобы рабочего не ранило... уж непременно бы тогда остановил. А пропустил — отца под трибунал. Измена Родине, присяге! Лишить наград, сорвать с него погоны. С человека, который был создан для воинской службы! И в тюрьму, понимаешь? Для отца это было все равно что не жить. Люди, люди погибли там, Тема, тогда. В них стреляли другие... солдаты. И отец это дело... ну, гибель людей вот отнес на свой счет. Как бы он виноват. И все это вот вместе — твой отец надорвался, не выдержал, Тема, он не смог дальше жить... Да никак. Остановилось сердце человека, думай так. Его держали под замком, на гауптвахте, и никого из нас к нему, конечно, не пустили. С ним занимались особисты, комитетчики. Да ну не надо тебе этого пока — про комитетчиков. Ты знай одно: отец был честный человек, он поступил в тот день по совести, в тот день, когда погибли люди, а твой отец хотел, чтоб они жили. Ну вот хоть разорвись ему там было, на мосту! Вот как тросами к двум „Уралам“ прикрутили: один туда, другой сюда — и на разрыв! Не будешь стрелять по команде

— предатель. А выстрелишь в людей — уже не человек! „Честь офицера“, знаешь ты такое? А когда в безоружных, своих, то какая тут честь? Кому ж ты присягал тогда, вопрос! Ведь этому народу, а не тому скоту, который жрите „пирожки“! И твой отец, он сделал все по чести. И в том, что ты один остался, нет его вины. Это на нас вина лежит, его товарищах.

Ты же ведь спросишь: что же мы, вот я, считавший себя другом твоего отца, потом ни разу про тебя не вспомнили. Я не буду оправдываться. Но нас вот сразу после тех событий всех за хребет забросили, в Маньжурию — на закрытый объект, под колпак, чтоб никому не рассказали, что там было. И к телеграфу никого не подпускали. И про тебя мы думали: ты с мамкой, жива твоя мама, жива. А дальше как-то закрутилось все само. Я был женат уже, Маринка-дочка, двойня, по гарнизонам все, по гарнизонам, потом в запас при первой же возможности и на Север за длинным рублем, стал строителем там, надо было детей подымать... ну виноват я, виноват, что лишь сейчас перед тобой объявился. Ты уже взрослый вон, в Москву самостоятельно прорвался. Уж как-то сам, раз головенка варит, выйдешь в люди. Но я помочь могу тебе, помочь! Не потому что это тебе надо, а потому что это надо мне, ты понимаешь, мне, вот долг мой перед Ленькой! В том, чтобы что-то сделать для его единственного сына. И я прошу тебя сейчас: не отворачивайся! Я уж теперь-то многое могу — насчет жилья, насчет устройства в жизни. Я знаешь дачи кому строю? Цека партии. Это люди с вертушкой вообще. В отцы тебе навязываться не буду. Но не должно быть так, что человек совсем один!»

Раскрылись двери взрывом, наводнением, и повалил хоккейный маленький народ, заметно отошавший после сброса панцирей и тяжело, до шаткости навьюченный баулами, — со снегириными, морозно раскаленными щеками, верещащей волной, ручьями и каплями растекаясь навстречу плечистым отцам, что звенели ключами от кредитных «Кашкаев» и «Фокусов», словно собачьими подманивающими поводками, молодым матерям, что держали наготове толстенные шарфы, чтобы немедленно защитить распаренное горло, и термосы и шоколадные батончики, чтобы на месте отпить и подкормить оголодавший, обезвоженный растущий организм. И Ленька выкатился тоже — ртутно живо, всклоченный, горящий, какие-то еще мгновения живущий чувством ледового полета и перепалкой со своими в раздевалке...

И вдруг в какое-то мгновение его, Угланова, увидел — как примагнитило, почуял излучение — и припустил встающему отцу навстречу, и, разбежавшись, ткнулся головенкой в углановский живот, вмиг приварившись всей своею легкой тяжестью и отдавая свое стойкое, неубывающе великое тепло, которое необъяснимо может развивать такая маленькая печка, передавая свой покой, живую неподвижность и что-то еще тайное внутри, о чем так сразу не сказать, но что и делает тебя несокрушимым. Вот что ему, Угланову, единственное дали, даровали поистине — все остальное мог он взять у жизни сам, сталелитейные рекорды, но не это.

«Видел, как я его такой?..» — и вместе двинулись (он не забрал у сына длинного баула с торчащей из него титановой клюшкой: сын не отдаст, потащит сам, он не слабак, он может так — «хоть двадцать километров пехом»), сошли с крыльца

и оба замерли под небом, как один маленький, забывший свое имя человек. Из синечерной пустоты валил искристый снежный дым — громадными полотнищами, словно развешанными на невидимых веревках, снежными мухами, роящимися точками, алмазно-твердыми крупцами, проплывал перед взглядом безукоризненной структурой чистого кристалла, принесенного из ледяной надмирной вышины. Снег падал бесконечно, безмолвно, благодарно, почти целиком растворяясь в полете и даже самой ничтожной своей частью не касаясь, казалось, лица и земли, и Угланов смотрел, как глядит его Ленька на снег, и казалось ему: это чья-то любовь так течет в его сына, кормя изначальной чистой и строгой красотой вот эти устремленные в небо глаза, ненасытные и до отказа удивленные силой, способной сотворить со всем воздухом неба такое, и его любовь тоже, Угланова, — затерянной частицей в составе непостижимо и разумно созданного целого, что и дало ему вот этого горластого и замолчавшего под небом вдруг птенца. Протоптали тропинку, выкраивая из белизны куски по размеру и форме подметок. Угланов дал Леньке с сопящей натугой закинуть доспехи в кубический «брабус вайдстар» и сам сел за руль, чтобы выехать меж низкородных, пресмыкающихся автомобильных спин на Ленинградку: он должен быть, все время оставаться великаном в Ленькиных глазах, детский взгляд все меняет, дети сразу и с непогрешимостью чувствуют силу в каждом мужском существе и не прощают с самого начала слабости отцам: а почему ты этого не можешь? а почему другие могут, а ты нет? а почему тебя согнули и вдавили?.. дело не в деньгах, не во «все куплю», а в том, как смотрит человек, как он стоит ногами на земле; восхищение силой и потребность немедленно стать, как отец, уподобиться — вот что тянет всегда за тобой пацана: если этот, такой, каким

должен всегда быть мужской человек, оказался твоим, от него ты родился, то тогда без обмана тебе от него передастся — сможешь тоже когда-нибудь воду выжимать, как отец, из камней. Это нужно ему инстинктивно, пацану, в непрерывном и неравном сражении со сверстниками — чтобы мог он всегда предъявить тебя миру на правах эталона могущества.

Он выкручивал руль, крейсер неся неуклонно и неодолимо, своим резко прочерченным и не могущим быть скривленным кому-то в угоду маршрутом; по своим разделительным, встречным они с Ленькой летели высоко над тягучими лавами вороного тунца, над расплавленной медью, лакированной сталью низового потока; сын вертел головенкой по сторонам и захлебывался перечнем мощностей под капотом...

— И у меня такой же будет, когда вырасту!

— Заработаешь сам — значит, будет.

— А ты мне твой, вот этот твой, вот этот.

— Пока ты вырастешь, это будет уже не машина, а ржавая банка. Да и с какого перепуга я должен отдавать его тебе? Ты деньги зарабатываешь? Нет. Это только пока ты на нем со мной можешь раскатывать. Ну а так он не твой. Это ведь только от тебя будет зависеть, когда вырастешь, на чем ты будешь ездить — на новом «брабусе» или на вшивом «дэу нексия».

— А мама говорит, что ты, когда был маленьким, жил бедно и хочешь, чтобы я теперь жил так же, как и ты, — выпалил Ленька неожиданно для самого себя и, дрогнув от понимания, что выпустил из-за зубов совсем не то, метнул исподлобья испуганный взгляд на Углового — угадавший, отчаянно спрашивающий: теперь вы с

мамой еще сильнее поругаетесь?

— Твоя мама... ничего не понимает. — Угланов подавил рванувшееся «дура!»... чего ж ты делаешь-то, а? зачем вбивать понадобилось в мозг единственному мальчику, что рос отец его ущербным, обворованным, и выворачивать еще вот это так, что он, Угланов, все на сыне вымещает? Пусть мальчик знает: папа ненормальный, папа не хочет так его любить, как все нормальные отцы... Хотя, быть может, Ленька просто мог подслушать, как орали за стенкой друг на друга они: «Ты хочешь, чтобы он — как ты?! Тебе было трудно — и сын должен так же? Ну так давай отдай его тогда...». — А то, что я отдам тебя в суворовцы и будешь жить в казарме, а не дома, она тебе не говорила? Послушай меня, Леня, хорошо послушай: у тебя уже есть много всего — велик есть, снегоход и так далее, и я могу тебе купить гораздо больше самых лучших вещей, вот любую машину, как только ты вырастешь, но ты пойми: если я дам тебе все эти вещи, это не сделает тебя сильнее, а наоборот. У тебя может быть очень много самых лучших машин, много денег, но если ты за них не дрался сам, то ты слабак. Ты какое-то время будешь этим вот всем наслаждаться, а потом придет сильный, намного сильнее тебя человек и все это у тебя заберет. Потому что, пока ты сидел на всем этом, что я тебе дал, дармовом, он качал свои мышцы, мозги, а ты нет. И поэтому он тебя сможет согнуть. Так устроена жизнь. Как война. Все мужчины воюют друг с другом. Везде. На хоккейной площадке. На разных заводах — чей завод может делать самые быстрые и сильные машины. Сделай то, что не может больше сделать никто, то, что можешь один только ты, и тогда ты хозяин, ты крут, все реально лежат под тобою, врубается?

Ленька вбирал углановскую правду раскрытыми на полную щенячьими глазами,

точно такими же, какие были в детстве у Углонова и которые станут такими же, как у него, Углонова, сейчас — с неумолимо давящей силой крови, повторяющей в каждом мужчине их рода все те же черты, — и казалось Углонову: его правда течет сейчас в Леньку, как ключ, как протравка, как то, что не может не оставить следа. Замолчали, неслись по свободной дороге — сын какое-то время ощупывал все, что забил ему в мозг, что хотел ему впрыснуть под кожу Углонов, и внезапно толкнул себя, прорывая какую-то в горле преграду, — вообще не о том, о чем был разговор, но о главном, том самом, с чего для него, для любого детеныша начинается все:

— А почему вы с мамой теперь не разговариваете?

— Да ну кто тебе это сказал? — Вот и все... воспитание... вот про эти, про эти кирпичи ты забыл? Что закладкой первых кирпичей вообще-то занимаются двое, обязательно оба должны каждый день, а иначе закладка не получится прочной, не достанет любовных ферментов в растворе.

— Да никто не сказал! Я же вижу все сам! Когда ты приезжаешь, мама сразу уезжает, лишь бы только не видеть тебя! Ты приезжаешь, только потому что я! Ты думаешь, не вижу?! Поздно было бросать в эту топку глаза: ты же знаешь, мужик, у меня просто много работы в Могутове, ты же знаешь, какой у меня там завод, я один за него отвечаю, и поэтому мы живем с мамой так часто отдельно, маме это не нравится, то, что я не могу прилетать к вам так часто, и она на меня из-за этого иногда обижается сильно и не хочет со мной разговаривать, но мы с ней обязательно скоро помиримся, потому что мы любим и всегда будем с мамой друг друга любить.

Сын давно это все не впускал, не проглатывал, видя, как было раньше и как стало сейчас: он, Углонов, и раньше, изначально, всегда пропадал на заводе

неделями, но как только звонил, что приедет, мама сразу сама выходила навстречу и тащила навстречу Угланову Леньку: собирайся, поехали папу встречать, проезжала свою половину пути вместе с Ленькой по городу и Угланов — свою половину, чтобы встретиться в месте наступившего счастья, и они обнимались все трое и шли, взявшись за руки, — с Ленькой посередине, возвращались домой, и какой-то невидимый, но осязаемый шар теплоты облекал всех троих, отделяя от мира. А теперь этот шар разорвался, руки мамы и папы не сцепляются больше, каждый хочет взять за руку Леньку отдельно, так как оба имеют отношение к нему, но уже не имеют — друг к другу.

Глядя только вперед, только в зеркало заднего вида, но не в эти, такие свои, вымогавшие правду глаза, нестерпимо сейчас для него все менявшие, он, Угланов, искал так, как нищие шарят в карманах: чем же их накормить, залечить, как поставить вот эту пружинку на место; мог управляться он с дивизией самоходных «голиафов», как с одним пистолетом, но не с этой машинкой семьи, слишком маленькой, ломкой, живой; ну давай, он же верит, твой сын, что ты можешь решить в жизни все, а выходит, и этого столь ничтожного, главного — сохранить целостность жизни одной на троих, сделать снова, как было, — не можешь.

— Завод, он у тебя уже сто лет, но раньше все было не так: когда ты приезжал, вы с мамой все время были вместе. Весь день вместе со мной вы оба были, оба. — И продавив вовнутрь с усилием комок: — Мы что, теперь все вместе жить уже не будем? Ты хочешь с мамой развестись?!

Угланову — в дыхательное горло, перекосило, дал по тормозам.

— Это мама сказала такое тебе? — Тварь распаленная, слепая, мстительная

крыса! Неужели уже распахала, начала засеивать, начинять его мальчика: папа нас бросил, папа нас не любит, всегда любить буду тебя одна я... выдавливать из жизни сына обязательного, незаменимого, не сдохшего отца?

— Я вижу сам! Я не маленький, вижу! Вот ты мне сам скажи сейчас: ты хочешь с нами жить?! — Хорошо подготовила Алка! Не хочет жить с ней — значит, с ними! и с Ленькой не хочет! Не любит! — Ну что ты молчишь? Ты хочешь с мамой помириться? Будешь ты жить со мною и с мамой, будешь или нет?! Ты сейчас ее любишь? — Упорные углановские, переполненные непримиримым требованием глаза.

— Не знаю, Лень, не знаю. Я постараюсь, обещаю.

— Что «постараешься» — любить?

— Чтобы все у нас стало, как было.

— Попросишь у мамы прощения? Ты должен, ты первый!

— Да, Ленька, первым попрошу.

— И тогда вы помиритесь?

— Я не могу пообещать. Надо, чтоб мама тоже этого хотела. Надо, чтобы мы оба. А если хочу только я, тогда ничего не получится.

— А если я ее к тебе мириться приведу, тогда помиритесь?

— Не знаю, Лень, не знаю. — Вот как, оказывается, мало — ничего! — не может дать он собственным, углановским, глазам, наполненным огромным по силе «не хочу», «не хочу, чтобы вы перестали друг друга любить», «не хочу, чтобы вы меня с мамой любили по очереди».

Он, Угланов, — когда Ленька жил только в будущем, впереди, в животе —

заложился на то, что у сына будет все, чего сам был лишен: наконец-то в роду у кого-то из Углановых-Гугелей будет — семья, сын с рождения и навсегда не узнает вот этой беды, страха перед «не быть»: тебя нет, если мама живет не с тобой, а «на небе» или если отец бросил вас навсегда.

Ленька был, Ленька верил в то, что он настоящий: все у него, Угланова второго, началось и будет, как «у всех», и даже еще лучше, а теперь пошатнулся и начал заваливаться его ясный и цельный, законченный мир — это было у сына в глазах, и, проваливаясь в эти глаза, он, Угланов, почуял решимость: это не Ленька к матери сейчас, а он потащит Леньку за руку мириться: посмотри, вот наш сын, ему плохо, если мы с тобой врозь, так что ты никуда не уйдешь, остаешься со мной — для него; у нас есть он — и это все меняет, отменяет все наши «хочу — не хочу», взаимные плевки, укусы, непощение, заготовленный лай, накопившийся яд и гранитную толщу молчания, мы не имеем права на взаимное желание разойтись, должны мы забыть про себя, ведь ты же тут, вот тут носила его, Леньку, — от меня, и не последнее значение для тебя имело то, что от меня... Схватил бы Аллу за упершиеся плечи и показал ей, где она носила и как они втравили Леньку в эту жизнь, и все неодолимое, что разделяет и рассоривает их, стало бы смехом, пеплом по сравнению с долгом перед сыном. Вот в эту минуту казалось: возможно — все позабыть, загладить, зарастить. Он думал, как: вот вы идете, взявшись за руки, и может сцепление это распасться, кто-то один устанет, не захочет, почуяв среди ночи, что проснулся с совершенно чужим человеком под крышей, но только появляется меж вами упруго семенящий третий, новый, вложивший раскаленные ладони в ваши руки: «ведите, покажите этот мир!» — расцепиться уже невозможно, любовь его

течет в обоих вас, как клей, его скрепляющая вера в вас обоих, в то, что вы оба Леньку не отпустите.

4

Приехали... домой. Сквозь капли, сквозь прилипшие, потекшие снежинки поплыли за стеклом подсвеченные матовые бежевые стены, французские балконы, лжеколонны, краснокирпичные, с белеными карнизами, наследные гнезда Йоркшира и Суссекса, шале, палаццо, виллы, пересаженные в рублево-успенскую грязь, перелетевшие по воздуху гранитные и мраморные острова для существ высшей расы, все это кладбище чугунных кованых решеток, тимпанов, пилястр, балюстрад, шаровидных наверший, замковых камней, фонтанов, ротонд, кипарисов, вазонов, скамеек, скульптурных групп скорби.

Угланов втопил — к отдельным четырем гектарам мачтового леса, к архитектурному проекту сбывшегося, но не устоявшего, сломавшегося счастья: как он когда-то в перерывах арбитражных заседаний выхаживал с карандашом генплан и чертежи, рассчитывая углы горизонтальных несущих балок и раскосов, коэффициенты прочности и жесткости железного каркаса, только хотел он выстроить вот этот фахверк из закаленного стекла и тесаного камня не здесь, а в Могутове, на прозрачном, просвеченном солнцем до дна Тургояке, полном сигов и карпов, жить там у себя... Ну, в Москве, населенной глистами и кишачей бациллами, тоже приходится, и в других городах от Нью-Йорка до Токио, но их дом, настоящий их дом он хотел и сейчас хочет выстроить там, чтобы сын его видел

настоящее небо... Но вот эта... жена... захотела, впилась, присосалась ко «все как у людей»: обязательно нужно жить в правильном месте, обязательно — в каждом из правильных мест, обязательно нужно, чтобы видели все, где и как и ты живешь. Для нее вот за этой оградой, за летающим островом для «настоящих» начиналась «Сибирь»: не пушу, не поеду, не отдам тебе сына «туда», там отравлено все, там чадит твой завод, там кыштымские карлики и телята-мутанты о трех головах, там земли проклятых, законченных, убитых, ряболицых людей в некрасивой одежде и с вонючими ртами, обезличивающих, нищедушных, неправильных школ — «личность» было любимое Аллино слово: «чтоб ребенок рос личностью» — и горбатых гор металлолома, «убивающих воображение ребенка»... Идиотка безмозглая! Чем беднее, пустыней вещественный мир, тем сильнее потребность застроить его, заселить порожденными детским умом великанами, тем безумней работает это самое воображение — над завязкой в узел параллельных прямых.

Ленька с сопением выволок баул свой из багажника: «соединение прервано», и «абонент не отвечает», провалился в себя и закрылся изнутри на замок: если не можешь помириться с мамой, то и я с тобой не разговариваю. Стеклопакеты сами, витые сталактиты из муранского стекла и врезанные в черный мореный пол иллюминаторы от приближения загорались и по пятнам тускнели сами, навстречу выплывали мощные квадратные колонны из сланцевых кладок, «природного камня», обитые белой кожей диваны, китайские воины из терракоты, ацтекские боги, зулусские маски, семейства кошачьих — тотемные Аллины звери: любила, мурлыкать, потягиваясь, — пошлость... Последнее время в жене раздражало Углова — все, последний весь год они не терпели друг в друге все

несовпадения с тем, каким должен быть человек, друг в друге презирая то, что изучили, взаимно отточив самые точные слова для выражения превосходства над убожеством и нащупав места, куда бить, чтобы сделать друг другу более всего.

На раздавшийся топот маленьких ног вышла сразу Мари, «Мэри Поппинс», с улыбкой восхищения мальчиком, поставленной на курсах по дрессировке человеческих щенков: постоянно ему говорить, что он «самый красивый и умный»; если в дом не воткнулся вместе с Ленькой хозяин, то она бы немедленно: «Ну, рассказывай, Леня, как сегодня прошло...», ну а так — лишь «бонжур». «Через жопу абажур», — он, Угланов, для Леньки расчетливо бросил: растрясти, рассмешить. — Ленька фыркнул, но сразу пересилился и отвернулся, ломанулся к себе по ступенькам вверх... девка вспыхнула, смуглокожая, с гладкой тюленьей головкой, ничего так себе — притаенно-шальные глаза и набухшие новые, свежие губы, под стандартной юбкой «трусы пионерки» — разложить ее, что ли, как-нибудь на столешнице и воткнуть так, чтоб вскрикнула. Чтобы как-то начать соответствовать — что там Алка кричала про его «проституток»?

По широким дубовым ступеням — за Ленькой, в отъединенную приватную вселенную: здесь когда-то они с сыном жили в беспредельной двухмерной стране алюминиевых поездов и железных дорог, и вот в этой ворсистой снежно-белой Сахаре расставлял сын свои оловянные армии, сосредоточивая на флангах танковые кулаки и выводя из огненных колец истерзанные батальоны; у него никогда вот, Угланова, не было таких волнующе тяжелых вездеходов, Т-90, «тигров» и «пантер» и таких ювелирно сработанных пехотинцев, гусар, гренадеров, псов-рыцарей... гладко сияли намертво прикрученные к стенам деревянные шведские лестницы и с

беленого неба свисали эластичные кольца, трапеции, корабельные снасти-канаты, тренажеры под детские руки и ноги поблескивали хромированными коромыслами, рычагами, рогами, футуристический велостанок и «кукла для битья» — анатомический муляж из вспененного каучука — доукомплектовывали ЦП к космическим полетам на красную планету; у плексигласового стола с 17-дюймовой доской «макинтоша» огромно, невесомо светился синий глобус, пятнистый от глубинных внутренних нашлепок океанических разломов, впадин, котловин и ночью загоравшийся несметью млечных зерен, тускнеющих и гаснущих по мере того, как у Леньки смежаются веки. Поверх бегущих по обоям мишек и машинок Ленька наклеил широкополосные плакаты с румянощеками Овечиным, Ковальчуком и прочими в своих бойцовских стойках... все было здесь, как хочется ему, — пространство его личного живого, дышащего хаоса, захламленное клюшками, шлемами, водолазными масками, вертолетными лопастями, деталями для сборки тех машин, на которых он скоро помчится, и самолетов, на которых полетит, — план творения будущей личности, человека, который уже несгибаемо ни на кого не похож, разве только вот в чем-то — на него, на Углового, открывавшего и обмиравшего от открытия, как много сыну передалось от него: это его, его, Углового, у Леньки нос, и лоб, и затылок, и темя, и челюсть, и это все уже сейчас просвечивает сквозь, а с какой еще силой прорастет это сходство. Это еще одно рождение его, и каким бы катком по нему ни проехали, уже никто из сильных в этом мире не сделает его, Углового, небывшим, не уничтожит его правду целиком.

И разве женщина, которая дала ему вот это, не заслуживает — углового примирения, прощения... да и при чем тут вообще прощение? прощают не за это;

какой бы ни была, он должен ей теперь всю жизнь за Леньку «ноги мыть»... Ну вот зажавшаяся, забалованная, да, съезжающая каждый день с катушек от того, что ей нечего больше хотеть. Ну и что? Все такие, дай им только привыкнуть, она еще, Алла, себя поприличнее многих ведет, есть какая-то мера, есть вкус, отсекающий все эти дикие вечеринки с ублюдками королевских кровей... Хотя вообще как раз то самое Углонова и резало, то, что Алла пропихивает его сына туда, в исключительность, не подкрепленную ничем, кроме закупленного титула и виртуальных денег на счетах.

Он, Угланов, уже навидался достаточно золоченых сынков премиального выкорма, так поразившихся отсутствию преград, чего-то недоступного, что ничего уже потяжелее ценников на Сэвил-Роу и в Милане самостоятельно осилить не могли... А начиналось все с чего — да с детских копий «мерседесов» и «феррари», продающихся в ГУМе по цене настоящих, — и продолжается сейчас вот бултыханием в райских рыбьих садках с подогреваемым шампанским и запускаемой белужьей икрой, со специально предусмотренными в клубных туалетах полками для собирания кокаиновой поземки кредитной карточкой в ровные дорожки и золотыми унитазами с гидромассажем, подмыванием каких-то дополнительных отверстий, что открываются у них, как третий глаз у восходящих на облаках на небо бодхисатв. Что ему было делать с Ленькой? Как уберечь от выпадения в осадок, от ничтожества собственных мозговых и животных усилий? Перенести его по воздуху в обеззараженно-закрытую среду швейцарского лица, ну вот такой приличной школы, чтобы не было там выроdkов арабских шейхов и российских депутатов. Да только где ж их нет? Теперь даже в Суворовском — сплошь одни отпрыски не совладавших с

воспитанием сильных отцов. Да и не мог он Леньку от себя с концами оторвать, постоянно не видеть, пропустить, как растет его сын, отказаться от радости новых зарубок на дверном косяке, отмечающих сантиметровое прибавление в росте. Ленька возился на балконе с телескопом: просто сбежал, забился в самый угол, вцепившись в первое, во что возможно хотя бы попытаться погрузиться.

— Ну-ка двинься, — пихнул сына в бок — растолкать, привариться: всегда он подавался так легко, немедленно, с восторгом становясь на отцовскую силу сильнее, даже смешных обид, ничтожных между ними не было, но вот сейчас озлился он — за маму.

Схватил его за сжавшиеся плечи, развернул и, заглядывая в горькие, злые глаза, закричал тихим, ровным, нажимающим голосом:

— Значит, вот что, мужик, я скажу тебе. Твоя мама хорошая, очень хорошая. Мы с твоей мамой встретились — и я сразу увидел, какая она, что она лучше всех, что других таких нет, и мы с ней поженились, и у нас появился с ней ты, и мы с мамой думали, что будем вместе всегда, но пойми, так бывает, что взрослые люди начинают ругаться, в общем, по пустякам... Они перестают друг друга понимать... Ведь и ты, мужик, тоже на нее обижался... Помнишь, не отпустила тебя с пацанами в летний лагерь, и ты после этого с ней не хотел разговаривать. Ну вот, и у нас с твоей мамой такое, только намного все серьезнее. У меня своя правда, у меня свой завод, на котором действительно, Леня, всегда может что-то взорваться, и тогда я немедленно еду туда, на завод, потушить там пожар, за меня его там не потушит никто. Я, конечно, бросаю ее. Я тебе обещаю, мужик, что я сделаю все, чтоб у нас с твоей мамой все стало, как было. — Угланов напрягал в себе какие-то раскаляемые нити, в

нем отведенные для выделения тепла, для «быть с ней добрым хотя бы ради общего ребенка»: перетерпеть, забыть, не замечать — но не мог сделать эти слова правдивыми хотя бы для себя. — Но... все-таки мы можем с твоей мамой разойтись. Я этого, честно, мужик, не хочу, но все-таки возможно и такое, что я больше не буду мужем твоей мамы. Но мама, она и тогда для меня останется самой хорошей и доброй, я буду всегда ее очень... любить... — Сын может понять, живые, маленькие люди понимают только это слово, а не ублюдочные все «ценить» и «уважать».

— Зачем, если ты ее любишь, тогда расходиться?! — с отчетливо бездонным, беспредельным презрением заорал.

— Ты очень логичный пацан. Но, Леня, так тоже бывает. Что лучше разойтись и жить отдельно, даже если любишь.

— А я тогда, я?! — Крик вышел несвободно, пробивая какието преграды в маленькой груди, и в закричавших Ленькиных глазах увидел то, чего боялся, больше всего для сына не хотел: «я из-за вас теперь ненастоящий!», мама с папой больше не вместе (про любовь не соврешь), их любви, от которой он, Ленька, родился, теперь больше нет — и поэтому сам он живет понарошку. — Если ты больше маме не муж — и меня тогда бросишь совсем?!

— Да ты чего, мужик? Ты же сын мой, сынок, и я буду с тобой всегда! Ты же мой, ты Угланов, мы оба Углановы! Просто мама и я — мы будем видеться с тобой по очереди. Я буду забирать тебя к себе, как только ты захочешь и на сколько ты захочешь. Мы будем жить в Могутове, летать на вертолете над горами, смотреть мои машины, краны, вездеходы...

— А если у тебя потом... как ты уйдешь... будет другая, новая жена? А если у

мамы потом будет муж? Не ты, не ты! — Сын смотрел убивающе: ты, ты подсунешь мне вместо себя какого-то уроды, ты уложишь в постель к моей маме холодного гада — сжимаясь от невыносимости навязанного чужака, от неизбежности поползшего, потекшего в него: «подойди поздоровайся с Игорем», «посмотри, что нам Ивлин принес», «скажи Саше большое спасибо», «я прошу тебя, ради меня, ну скажи ему „папа“, Витя так тебя любит», «он тебе настоящий отец, а тот папа нас бросил». — У меня тогда будет одна только мама! А я так не хочу! Я хочу, чтобы ты! Чтобы оба!

Кто-то, видимо, в классе ему рассказал, что случается после того, как родители с раздирающим треском расходятся, да и что там рассказывать — видит, много там у них, в школе, таких: отцы бросают мам, выкидывают родивших, отработавших и женятся на новых, ни разу не надеванных моделях человека, двадцатии шестнадцатилетних студентках филфака с покраской глаз «невинное дитя» и функцией «собачья преданность в глазах» — Шипелов, «Первый Трубный», вон женился и поджидает дочь у школьного порога воровски, это вот младшую, Полину, Ленькину «невесту», а старшая уже с шипящим наслаждением вонзает: «Ты предал нас с мамой и бросил! Запомни, ты мне больше не отец!»

— ...Я не слышу ответа! Кто тогда мой отец?! — резал Ленька.

И, жжением в руке почувствовав желание ударить, Угланов единым движением вынул давно припасенное, скальпель, тесак:

— А это тебе, Леонид, выбирать. — Со знанием, как Ленька вопьется в то, как ему не потерять — отца и себя самого. — Если у мамы будет новый муж, тогда тебе, мужик, придется выбирать, с кем ты хочешь остаться, со мной или с мамой. — Загнал в живого Леньку это «или», стальное полотно. — Или со мной ты будешь

жить всегда, или с мамой и ее новым мужем — всегда. Я лично ни на ком жениться, кроме мамы, вообще не собираюсь. Я никогда не приведу к себе домой чужого человека. — Ага, буду трахаться на стороне, в медицински стерильных условиях, мне это проще. — А мама — не знаю. Маме хочется счастья. А без мужа, как правило, женщины не бывают счастливыми. И поэтому, после того как расходятся, обязательно рано или поздно находят себе нового мужа. Скажи, мужик, ты хочешь жить со мной? Чтобы мы с тобой жили вдвоем? Постоянно, все время, в Могутове. Мы построим там дом, в настоящем лесу. И хоккей у меня там, в Могутове, есть, ты же знаешь. Круче нету команды в России, в ней и Ягр, и Койву, Каспарайтис, Самсонов, Набоков. Да мы Малкина купим! Вот такая арена, больше, чем «Олимпийский»! Мы с тобой каждый день на хоккей! На рыбалку, на горные лыжи, все будет! По козлам с вертолета! А мама будет приезжать к тебе, когда она захочет. И забирать тебя с собой, на сколько ты захочешь! — А вот это уж хрен! — А потом мы с ней, может, и сможем вообще насовсем помириться! Очень даже возможно! Ведь у нас же есть ты! — Что мог ответить цельный его мальчик, которого зубами делят двое и который не хочет делиться, не делится? — Не надо сейчас ничего говорить. Ты просто подумай на будущее. Ну а сейчас давай пойдем пожрем, ты же голодный...

Вертел в руках столовый нож и думал: как легко убить. Выдавить тварь с концами из-под кожи, чтоб не жалила. Два-три нажатия телефонной кнопки — и опека напишет по вот этой крысе заключение: «В ходе общения с ребенком установлено, что мать, раздевшись донага, летает по ночам на шабаши», плешистый Добровинский слизняком выгрызет мозг судье, представив всем на обозрение ее

«пренебрежение долгом матери», и будет бегать вдоль вот этого забора, собачьей мордой протискиваясь к сыну между прутьев, как Пospelова — караульной овчаркой бросаясь на железно-решетчатое, что теперь навсегда между ней и детьми, продираясь сквозь заросли по вскопиченной ордами гастарбайтеров глине к своему толстячку, ненаглядному солнышку: «Сте-оо-опа! Богда-а-а-н!» — обожженно скуля и обваливаясь на руки чернокурточных приставов, привезенных физически обеспечить законный доступ матери к детям... Ты этого хочешь? Он, Угланов, себе признавался: да, хочет — руки сами тянулись к намагниченной кнопке. Поорет — перестанет. Так просто. Из жизни Леньки выдавить живую, необходимую, единственную маму.

Пospelовых-детей возили в школу и обратно, как будто сберегая от возмездия всех колумбийских кокаиновых баронов, вместе взятых: а вдруг с утробным визгом на детей набросится их мать! Отличники по недоверию к «этой тете», надрессированные ничего не брать из «посторонних» рук съестного, мягкоигрушечного, яркого, начиненного ядом, тротилом, щенки были похожи на упитанных, каких-то наизнанку вывернутых Маугли, проживших год на свалке подаренных отцом видеоигр и моделей «мерседесов»; в глазах у них, закормленных, стоял блокадный голод, — и он, Угланов, хочет сделать с Ленькой то же самое?

Он к Алле ничего не чувствовал: чужая; желание ударить проходило так же, как и вспыхивало, — как можно воевать всерьез с беспомощной бабой? Никаких сильных чувств, но... любил. Любил глазами Леньки, нуждался в ней уже не для себя: само собой, Ленька с той же силой, что и к нему, Угланову, срывался навстречу маминым единственным рукам — настолько ясная, необсуждаемая тяга, что и не

Тетка Олеся, украинка (от филиппинок у кого-то в доме передергивало: черный человек), толсто-уютная такая повариха родом из углановского детства, на обожженных глиняных тарелках подавала: с «черной ноги» наструганный хамон, козий сыр, помидоры, пирожки с луком-яйцами и осетровой молокой, золотистую стерлядь, пельмени из баранины и оленины, ледяное бургундское, красное папское, клюквенный морс, пропотевшую яблочной влагой шарлотку... они с Ленькой работали жвалами, друг по дружке сверяя свирепость вгрызания и громкость чавканья: здорово! Помирились Углановы... И неожиданно сказал ему сын: «Расскажи про то, как вы познакомились с мамой».

Детям трудно представить, что мама и папа жили собственной жизнью задолго до них, не появились в этом мире одновременно с твоим рождением на свет; необходимо для начала вырасти и, может, даже сделать собственных детей, чтобы понять, что у родителей твоих есть своя общая, священная история: где и когда они друг друга первый раз увидели, какие первые слова он ей сказал, как она поняла, что вот этот — тот самый... Сын, хитрец, про «историю» спрашивал с явным расчетом, что Угланов сейчас, отвечая, вспомнит все, что у них с мамой было, и об этом, что было, о счастье первых дней и ночей пожалеет, и все злое, колючее, что его отделяет от мамы, сразу станет ничтожным, исчезнет.

«А может, снова все начать? Я не хочу-у-у тебя терять». У него очень умный

пацан, очень быстро растет, все уже понимает и верит в постоянство любви, что зачислила его, Ленку, в живые. А была ли она в самом деле, любовь? Как они познакомились? Как в кино, Леонид. Ну, почти как в кино. Потому что сначала я просто твою маму увидел. В одних гостях увидел, у заклятых друзей, закадычных врагов, на открытии нового телеканала, там было много празднично наряженных людей: хоккеистов, гимнасток, теннисисток, синхронных пловчих, крепостных журналистов дяди Бори и дяди Володи. Стегнула его сразу по глазам, как распрямившаяся гибкая, тугая, злая ветка, — антилопия какая-то тонкость, звонко-хлесткая сила, свобода от макушки до пяток, удивительно стройные ноги, не кобыла, которую снять с каблуков — и все это литое, звенящее, хлесткое сразу исчезнет... И какое-то дление думал: вот сейчас обернется и покажет ему — или что-то совсем обезьянье, или штампованно-рельефную, жадно-губастую дичащуюся морду 2145-й королевы красоты, встающей на колени перед мужиком, едва сошла с конвейерного подиума. Высокородноидольское, древнее, каленое и вместе с тем какое-то совсем еще девчоночье лицо, пионерски пытлиное, комсомольски серьезное, — словно было иглой в нем вырезано что-то нерасшифрованное, угаритская клинопись, первое слово. Чуть раскосые, миндалевидные, от каких-то неведомых, сгинувших, небывалых племен и священных животных глаза, смоляной их горячий, немигающий блеск, очень странного очерка скулы и какая-то смешинка, живущая в строго очерченных тонковатых упрямых губах... Все в ней было так, как не бывает, так, как больше ни в ком... Так что я ее даже, мужик, испугался тогда в первый раз. Ну вот так, испугался. Ты, когда подрастешь, тоже это узнаешь, что твориться с тобой начинает, когда встретишь особую девочку, не похожую ни на кого. Я подумал: такой,

как она, вряд ли будет охота общаться с такой обезьяной, как я.

Налетел Березовский, зацепил, затянул, поселяясь Угланову в печень, в кишечник и оттуда уже — восходящим продуктом брожения — в мозг: «Тема, Тема, ты мне нужен, как мать и как женщина...» — Он смотрел в лицо этого флюгера, вечной машинки, и, отворачиваясь от болотной гнили, искал вокруг вот эту удивительную девушку: исчезла, потерял, жизнь для живых, а из него, Угланова, торчала стальная арматура, и глаза отливали могутовским пламенем.

Протолкнулся на воздух и брел с телефоном у уха: на границе с хохлами застрял длинный, как бычий цепень, состав с белой жестью... И вдруг чем-то с силой пихнуло в бедро, подкосило, подкинуло с запоздало добившим до слуха гудком — устоял, отшибая запястье и локоть о красный полыхнувший капот — отшвырнуло рывком, и ожгло его бешенство, человека, который всегда пропирает любое пространство, как пустое, как воздух, и всадил носок в длящийся, раскаляющий вой, в эту красную тушу, молотил кулаками по зачпокавшей крыше, спине жестяного жука на колесах, неподатливой в этом, земном, измерении вещи, разбивая мослы в ощущении, что просадит сейчас до асфальта, рванул — не успела задраиться, тварь, изнутри! — эту дверку и за ветку-запястье, словно гибкий ольховник, потащил из машины и выдрал с корнями... он не видел, кого... существо, закричавшую... и воткнулся в те самые царски-священные, аварийные, полные совершенно кошачьего отвращения глаза... и уже не орал в них: «разуй!..», задохнувшись. Да, боялась его, ясно чужая, что сейчас как засадит, горилла, кулаком со всей силы, но все равно царапалась и резала глазами — за себя, за «посмел ее тронуть руками». Твоя мама наехала на меня на своем, Ленька, красном «фольксвагене», ну, не сильно, на

маленькой скорости, и тогда-то я, брат, и назвал в первый раз твою маму «овцой», потому что не видел, на кого я ору, а как только увидел, мне сразу расхотелось орать ей в лицо эти злые и грубые вещи. Твоя мама смотрела на меня, разумеется, с глубочайшим презрением... и краснела, мужик, от того, как я пристально, непрерывно смотрю на нее, и чем сильнее она краснела, тем еще красивей становилась, ну, короче, ты понял, мужик.

Он почуял, как чуешь два-три раза за жизнь: эту девушку только что показали ему неспроста, в это время и в это счастливое место запустили — к нему, для него одного, было не миновать этой сшибки, если он, он, Угланов, увидев ее, пожалел с такой силой, что она пройдет мимо... И сейчас уже видел, представлял, каким жадным станет это лицо, когда он будет с нею и в ней, как на этих вот скулах, не стерпев, проступает багрец — две сигнальные метки наследием самки примата сквозь кожу церемонной, надменной примы русской гимнастики, захотелось не просто воткнуть, как хотелось — в любую с литыми ногами и крупом, а законной, плавильной, пожирающей близости целиком и надолго, такой, что тебя поменяет, «после» станешь другим, вновь поверилось в это — что с этой, только с этой женщиной станешь другим.

«Простите, это рефлекторное...» — «Не надо на меня вот так смотреть». — «Как так?» — «Как сбежавший из мест заключения на женщину». — «Ну так я и сбежал, угадали». — «Что, такие проблемы? А на вид не похоже. Или что — стрессы, нервы, работа?» — «В этом роде, ага. Вот не там просто плаваю. Очень редко встречаются человекообразные». — «Комплимент просто самый изысканный». — «Вы меня поразили, как финский нож в сердце. Я, как видите,

мастер. Хотите еще?» — «Может, лучше не надо?» — «Не надо. Но от жжения и покраснений на разных местах вы не скоро избавитесь. На меня, на меня аллергия». — «Жалко, жалко мне вас». — «И почему же это вам меня так жалко?» — «А потому что не видите. Покраснений на этих вот самых местах». — «Да почему же это не увижу? Что же я — просто так отпущу вас теперь?» — «Неужели и времени, трудоголик, не жалко? Может, все-таки что-то вам быстрого приготовления, вот с доставкой на дом?» — Все одно, об одном, слово за слово, контрольную отметку за отметкой проходя, уровни доступа вот к этому надменному, скрытно стыдливому, бесстыдному лицу; он давно позабыл это вот ощущение, когда рядом с тобой идет девушка, согласуя свои шаги с длинными, как у цапли, твоими, и глаза ее ждут от тебя, что ты скажешь что-то необычайно смешное, поведешь туда, где никогда не бывала она, — уж давно распрощался, казалось, со временем, когда он вместе с Дрюпой и Бадриком — первокурсники, три мушкетера — мог делить себя между той смешной их, дикой катакомбной коммерцией и весенними девушками, и все деньги тогда уходили на них, темно-синий «левайс» и шампанское в «Узбекистане»...

Он, Угланов, наверное, и не хотел ничего возвращать, вот того, молодого, что нельзя вернуть и не надо.

Все у них было с Аллой по-взрослому. Тридцатишестилетний, он почувствовал время, порог, тот речной поворот, за которым из закоренелого станет он бирюком окончательным. Алла тоже обрушилась на Угланова девочкой «с прошлым». В каком-то глянцевом журнале прочитал про чистокровную английскую кобылу, повязанную с зеброй-жеребцом: через одно-два поколения на коже жеребят вновь

проступили африканские полосы, смысл был такой: с неумолимостью природного закона с каждой близостью становятся «они» пусть хоть на гран, но «нами», дело, конечно, не в нетронутости, но не хотелось все же «перебора» — и, заказывая столики в «Царской охоте», «Украине», «Ванили» и прочих «актуальных» местах над речной водой, на причалах с крахмаленными парусами и алыми скатертями на мачтах, меж плетеных загонов с живыми ягнятами и бассейнов с морскими, океанскими рыбами из Красной книги, приказал принести из стирального барабана все Аллино, за двенадцать лет жизни «после детства», белье. Ничего там такого, никаких неотстирываемых пятен, от многих. Вообще совершенно другая история.

Детства у этой не принадлежащей обыкновенной жизни девочки, как выяснилось, не было. И в силу этого — и «бурной молодости» тоже. Он и сам, безо всякого розыска, мог догадаться — по постановке ног, посадке головы, безукоризненной и безуспешной струнной стройности — в какой особой пыточной конюшне Аллу выводили. Немилосердные прогибы, растяжения, вывороты, ласточки в ломающих природно гуттаперчевое тельце педагогических тисках — гладко причесанные жалкие тюленьи головки дрессируемых, нитки проборов, выпирающая галька позвонков, как перед жерлом, амбразурой, стиснутые губы, бесповоротная решимость маленькой весталки, кладущей на алтарь все бабушкины с яйцами и луком пирожки, домашние эклеры, пробуждения, когда захочешь ты, а не в будильничные семь часов утра, шальную беготню по школьным коридорам и весенним улицам, свободное горение в гормональном взрыве, взрыхляющем прыщами гладкое лицо.

Алла брала медали высшего достоинства на юниорских первенствах России и

Европы — явление той телесной одаренности, что позволяет позвоночному, из мяса, существу взлетать и перекручиваться в воздухе по законам иных измерений, нечеловеческим, не плотским, огненным куском, перелетала, проносила с первой космической сквозь возрастные категории для обычных земнородных, меняя стиснутые в шрам искусанные губы на царскую улыбку дарительницы милости изголодавшемуся миру, в неполные пятнадцать — третьим номером в первую сборную страны... Пока нестрашная в системе мер живородящих и питающих сосцами травма позвоночника вдруг не поставила для Аллы в этом царствовании точку. Мамочка вытряхнула в мусор всю домашнюю аптечку, папочка выковырял из межкомнатных дверей щеколды и замки, чтоб, не дай, их девочка с собой что-нибудь не сделала. Их девочка была слишком живучим, жадным существом, слишком брезгливым, слишком любящим свое единственное тело, слишком жалеющим то, что жалеешь более всего, — свою неповторимость, чтоб причинить себе огромную и окончательную боль из принципа «раз ты со мною так, тогда я и не буду, получай!». И придавленным, вмятым побегом, привыкающим жить без прямого эфирного солнца, жадно-цепкой лозой протянулась и пробила весенним ростком там, где все они, пенсионерки двадцати пяти лет, «находили себя» — в редакции спортивного вещания ВГТРК, чтобы красивой говорящей головой, в строгом костюме для конторских дел, делиться с мужским народонаселением страны зачитанными по бегущему суфлеру новостями с грунтовых кортов и ледовых стадионов, чтобы диваннозалежное быдло пускало слюни под напластованиями чипсовых крошек и лузги третичного периода на придавивших главное мужское место животах: а ничего такая девка, и жопа гладкая, поди, как у кобылы.

Дальше — все как у всех, сотворенных и впущенных в эту жизнь обжигать и магнитить все мужское, что дышит и движется; в центре внимания мужчин телеканала города Москвы предельно взвинченное самомнение этой девочки, само собой, не упало ни на градус: жизнь ей много должна за украденное олимпийское золото, все у нее должно быть, как ни у кого, и мужчина — под стать, исключительный, приз. Варианты «надежный», «перспективный», «талантливый», «подающий надежды», «успешный» и другие синонимы слов «импотент» и «никто» рассматривались ею так же, как серебро и бронза в прошлой жизни. Она так и сказала, на том поплавке над речной водой: «Мужчиной я должна гордиться, а без этого нет ничего, не зажжется, не будет». Угланов подходил — явление проламывающей силы. Сработали, конечно, измерительные датчики в ее породистой точеной голове, как и во всяком женском существе, пусть даже с виду оно питается одной пылью и росой. Через него, такого, как Угланов, сможет она — всегда и целиком, как ей хотелось, — править миром, вот за таким, как он, Угланов, мужем жизнь ей оплатит все, что в прошлой жизни она оплакала, не дали, отобрали. Можно закладываться на «вместе до могилы».

Была вообще в ней, Алле, — несмотря на откровенную, пылающую пятнами на скулах, неудержимо рвущуюся чувственность — непобедимая прохладность и рассудочность: разогретый ручей так в жару остывает над омутом. Да. Ну и что? Обыкновенная для многих, не женатых полунищими студенческими браками, маниакальная вот эта подозрительность и невозможность вскрыть рентгеном женское нутро: кого полюбила — меня или деньги? Да только ведь сам он, Угланов, и есть его деньги, стальной Могутов — это он, стальные урожаи, обращаемые в

надмировые мыслящие деньги, — это он, равновеликий, равносильный своей стальной машине созидания. А то, что Алла его взвесила, — да хорошо, да даже еще лучше с этой охлажденностью. Как вот стальное полотно должно пройти сквозь ледяные хлещущие струи, чтоб получить предзаданную прочность, так и под страстью, после вожделенного соединения двух кусков должно начаться неразрывное взаимовросшее семейное существование — со всей наплавленной окалиной и грязной посудой.

Да и не думал он тогда об этом всем, вообще не думал — вела его одна неумолимая, чисто животная, нерассуждающая тяга, и ненавидел, как всегда и с еще большей силой, чем с другими, необходимость долго токовать и расправлять павлиньи хвосты, все эти брачно-ритуальные условности, такие же прозрачно-тонкие и неподатливые, как вот эти бельевые, сквозящие сквозь платье бабьи латы. Он вообще не думал, когда, распертый бешеной кровью, развернул ее к себе и криво впился в еще что-то говорившие, смеявшиеся губы, ел ее будто брызнувший соком живой, мягкий рот, и она клокотала в его защемивших руках, билась сильной гибкой рыбиной, выдыхаясь, слабея, наполняясь горячей покорностью, словно в ней прорывались под кожей горячие русла, и с внезапной судорожной силой вцепилась в него, словно ей в одиночку не выплыть... Выкручиваясь, вылезая, как из кожи, из своего змеино-го чутка, помогая его задрожавшим рукам расцепить у себя меж лопаток крючки, слишком мелкие по сравнению с огромным, слепым, что рвалось из него, бушевало внутри. Выгибалась мостом, когда остервенело вцеловывался в набухавшую мякоть, подожженно рвалась, обмякала, прекрасные каленые черты ее размазались, словно икра по мокнущему хлебу, распухало лицо, губы, горло — тут он

мог целиком уже торжествовать: все по-честному, с ним могла она быть только собственным подлинником... Колотился в нее, как взбесившийся ковочный пресс, пробивая этаж за живым этажом — скорей к истоку белого пробоя, в место сшибки двух поездных огней во тьме кратчайшего туннеля, когда все озаряется какой-то неуместимой радостью не быть и разлетается на части.

И тогда — после первой, наконец-то продавленной, ненасытной, начавшейся, длящейся близости — он был полностью счастлив, ощущением цельности, тока, вырастающей силы на всех этажах своего бытия: он теперь побеждает везде — взял женщину, в которой все, как хочется ему, и нет такой другой, и нет такой ни у кого, со смехом погашены взятые, подешевевшие в пять раз рублевые кредиты Центробанка, нащупаны на карте точки гиперболического роста спроса на могутовскую сталь, захвачены Иран и Пакистан, Китай готов заглатывать семь миллионов тонн его холодного проката ежегодно, и главное — распаяна и прорвана всеевропейская союзная плотина: использовав картельный сговор «Арселора» с «Фестальпине» по удержанию цен на напрягаемый костяк для зданий исполинского размера, он продавился наконец в Европу со своей стальной арматурой, и весь Евросоюз от Португалии до Польши начал закупаться у него, самое время загонять в пробитую расщелину автомобильный лист «Русстали», и обожравшиеся, одряхлевшие сталелитейные империи Европы скрипуче подались и пятились под демпинговым натиском пришедшей «из Сибири» русской силы, уничтожающей затратные их мощности самой низкой себестоимостью тонны холодного проката в мире (дешевая рабочая сила, железное могутовское племя, потомственно не знающее никаких «условий охраны труда», кроме адского пламени), учились

выговаривать Uglanov и Russtal — тяжелые слова, природные явления, которые отныне будут иметь для них значение всегда, и уже позвонили от Миттала: встретимся? И аллеей меж старыми ильмами двинулись со стальным магараджей друг другу навстречу и сцепили с понятным друг другу значением уже будто бы равновеликие по удельному весу державные руки.

Прокопченная солнцем дальней родины предков смуглокожая морда: азиаты все кажутся нам одинаковыми и просящими милостыню — в улыбавшихся этих индусских глазах меж морщинок радушия просматривалась лишь сухая, холодная птичья зоркость, только цельное, без оболочки, господство, только сжатие вот до предела двуногих издержек — муравьиных орд индонезийских, бразильских, украинских, казахских сталеварных рабов.

«Гляжусь в тебя как в зеркало... давай не видеть мелкого...» «Это что за индус?» — Алла сонно взгляделась в спину непримечательного, наконец-то дождавшись его на лужайке Сент-Джеймского парка, меж студентов с конспектами и молодых матерей с семенящими по траве карапузами всех цветов кожи, многодетных, беременных, улыбавшихся спящему счастью в колясках... Только Алла одна, золотисто-медовая лютка, гляделась в этом царстве пришелицей, и вот тут, в ту минуту, он, Угланов почуял к ней новое, качнулось в животе и к горлу подтекло не поддающееся выражению, не вменяемое в перебираемые глупые слова: «а давай... заведем», «пусть у нас с тобой будет», «родим» — попросить у нее то единственное, что не может он сам, для чего нужны двое. И не смог ничего — и ответ на вопрос: «Ну, индус вот такой. Третья строчка в мировом списке „Форбс“». — «Ох ты господи!» — «Почему сразу „господи“? Всего-навсего Миттал». — «И ты с ним...

для чего?»

Привалилась к нему, осязала огромного, как слона, как слоновью ногу, как столб, подпирающий небо, — и смеясь, и всерьез, с поедаящей гордостью: знала, что великан, но такой... «Он хотел бы купить мой завод». Представляла себе захламленную металлоломом площадку и чумазных с баграми — оказалось, что там, на Урале, совсем уж огромное; и потом навсегда представлялось ей, дура, что это огромное там — окончательно, все для Уланова там движется само, бесперебойно, неуклонно ходят поршни, можно лежать на надувном матрасе на поднебесно-голубом подкатывающем ласковом — на несгораемый, все время восполняемый процент. «А ты?» — «А я родину не продаю». — «А серьезно?» — «Значит, родина — для тебя несерьезно? А серьезно, родная: я себя не в помойке нашел. Чтоб на задние лапы вставать за кусок колбасы. Он думает, что я ращу Могутов на продажу, а я ращу стальной огромный русский хер. Я делаю стальных детей, которые сильнее и здоровей, чем у него. Их, может, и не больше, чем способен сделать он, но мои, они будут крепче, выносливей, если хочешь, способней, талантливей». — «Ты озабоченный». — «В общем, да. У него больше дырок, у меня лучше качество спермы. Я вообще как завод молодой. Да подросток. Только-только прыщи вот сошли. Я расту, а они тут, в Европе, — давно уже нет. Как поступает молодая баба, если мужик ее перестает устраивать по старости? Уходит к молодому. Так вот, весь мир и есть такая баба. И под кем она будет через семь-восемь лет?»

Тогда они все время разговаривали. Он ей рассказывал свой день, и ей было важно, как он развивается, она тогда Улановым питалась, раскармливала гордость за него: вот мой, такой он у меня. Они не расставались, даже если надолго

разлетались по разным частям света, полушариям — тогда она рассказывала свой московский день, миланский ли, мадридский, ему по телефону, звеневшему в Могутове, Калькутте, Воркуте, Новокузнецке, Лондоне, Давосе, и он не уставал от этих теребящих, всегда несвое временных звонков и состязаний, кто опустит трубку первым. И возвращался к ней в летящем ощущении сбывающейся жизни: он настоящий, цельный, на подъеме, его любит и наделяет его силой удивительная женщина, там его пятна на ее сливовой и шоколадных шелковых сорочках, скрученных в жгут в стиральном барабане, уже не жажда, а законность, постоянство телесного со единения, срастания в одно, там его ждет и встретит на пороге, всегда новая, вечерами раскладывает перед ним распечатки проектов, образцы изразцов, драгоценные свитки портьер — все детали для сборки их дома, их домов в Биаррице, Провансе, Белгравии, зная, что он подарит ей все, что взбредет, потому что уже было сказано, выжато главное: «А давай... пусть у нас с тобой будет ребенок» — и получен безмолвный, привалившийся сладкой тяжестью тела ответ, со спокойной, ясной готовностью женщины, выбравшей, от кого и кому она будет рожать: ну конечно, себе, для себя, но ему ведь, Угланову, — тоже. И они уже начали приводить в исполнение это его «а давай», Алла — мелочнотщательно, со всегдашней своей прохладной рассудочностью, по подчеркнутым и обведенным кружочком параграфам, красным датам ее сокровенного календаря, и вот в этом ее деловом, педантичном участии в судьбе посторонней как будто бы женщины было что-то такое же обнадеживающе-верное, как в работе немецких железных дорог: радость неотменимости, прохождения в срок всех контрольных отметок. Алла будто вела этот поезд по рельсам — за диспетчера, за машиниста, за всех вместе взятых, и

Угланов впервые не рвался к рычагам и рубильникам: что он тут понимает, и нужный-то на одно лишь ничтожное дление, чтобы все началось, получилось?

Начались их паломничества в Институт акушерства и гинекологии и венскую частную клинику, потянулись седые, очкастые караваны еврейских, европейских светил по вопросу «как сделать», находила их Алла — это стало ее настоящей, единственной, главной работой — вот такой и должна быть у Угланова женщина, он не ошибся; затопили его, сталевара, свободное время хромосомы, аллели, непарные гены, онкомаркеры и спермограммы (смешно: побежал лосем по кабинетам, трубка в правой руке, банка в левой: «Качканар, Качканар, почему мне руду не дает? Самого запрягу вместо локомотива... это самое, сестры, где у вас тут сдают?» — «и одной рукой, понимаешь, ремень уже брючный расстегивает»), «исключить алкоголь и курение за три месяца до...», собиралась жена его на девять месяцев в космос... И после запланированных близостей в отмеченные дни, в один из дней обыкновенных объявила: «улетаю» — когда на солнце заискрился зернами снег стаявших сугробов и обнажились черные лоскутья мокрой, отогреваемой и сохнущей земли, вдруг раскатилась по ледянке и с разгона вцепилась мягкой тяжестью в углановскую грудь, вцепившись в плечи, чтобы устоять, и выпуская переполняющую, рвущуюся воду: есть! во мне есть!.. и завелась еще одна машинка — совсем ничто в сравнении с размерами и силой его, Угланова, могутовской машины, но такая же важная, вообще несравнимая. Словно нога в сапог, вошло в него, Угланова, оупение — неспособность вместить, осознать, что это происходит с ним, что он вообще имеет к этому какое-то отношение.

Наслушался, конечно, про истерики беременных от многодетного Ермо и

многих прочих: «мы тебе не нужны!», «хочу сама не знаю что», но в Алле ничего не поменялось: никакого террора, вымогательств внимания, рыданий в подушку, «тебе совсем не важно, что со мной происходит?» — происходило «это» с нею, а не с ним, это была ее работа, служба, доля в общем деле. Как-то ей все давалось без усилия, ясно прочерченным маршрутом, чередой оздоровительных, нестрашных процедур, даже внешне она оставалась такой же звонко-хлесткой и тонкой, словно готовилась не к родам — к чемпионату мира по гимнастике, морозно свежая, сияющая, сильная. И думал снова с узнающей, соглашающейся радостью: он не ошибся с ней, ох как он не ошибся, есть же вот женщина, которая всегда умеет быть такой, как надо, быть каждую минуту такой, какой нужно именно сейчас, нужно ему, Угланову, но в точном совпадении с тем, что ей хочется самой, — так что даже «любовью» назвать он не мог свое чувство к жене: чувство совместного сражения за общее их главное — вот что скрепляло и сродняло их тогда.

Могутов его рос вместе с растущей мировой ценой на сталь, профессора-светила лично для такого папы водили роликовым датчиком по впалому, еще совсем не изменившемуся Аллиному животу, позорче вглядываясь, кто там, словно боясь все опрокинуть в несоответствие пожеланиям отца, и подтверждали: точно мальчик! да разве может быть не мальчик у стального автократора? нет, только мальчик, точно сын!

Когда жена уже кричала «ой, мама, мамочка, умру!» и «не могу!», Угланов был приварен к пыточному креслу на совещании президента и правительства по ускорению модернизации тяжелого промышленного сектора — дрожала в нем с паскудным изводящим воем и наконец-то лопнула струна, когда — «спасибо всем»

— все поднялись по мановению президента, и ломанулся, как сквозь джунгли, на крыльцо: не имеет значения никто и ничто — сейчас ему важнее Алла, важней он сам... врубил мигалку и полетел по президентской трассе — на кукане то погасающей, то вспыхивающей связи: нормально? как у всех?.. и опять, несмотря на нытье во всем теле, совершалось все это как будто не с ним, кто из собранных в его составе двойников хотел, чтоб он, Угланов, мчался с ровным бешенством сквозь город... и долетев, вонзившись в белое сияющее царство, услышал как из-под воды: вес три кило четыреста, «он» есть, «его» ничто теперь не сделает небывшим.

«Идите, папа, и смотрите» — не про него, не с ним, он не пойдет — на сильном свете лампы лежало красное со сморщенными лапками и головой волосатой, как кокосовый орех, — мальчик его, с зачаточной пипкой с ноготок, и обессиленная так, словно вся кровь ее ушла в этот живой, горящий новизной кусок, жена его видела только их мальчика, лишь выворачивала голову, не в силах приподняться и прекрасная, как никогда ни прежде, ни потом.

Акушерка склонилась ящеркой запеленать и, завернув, передала Угланову наполненный ощутимой тяжестью кокон, и заглянул он в сморщенное личико, еще совсем-совсем ничье, будто бы чем-то оскорбленное: как его смели потревожить там, где он плескался в тесном ласковом тепле, как его смели вытолкнуть сюда?.. вот это зыбкое, неуловимое выражение на грани безутешности и примирения с открытым внешним космосом: ничего не понять, ничего еще нашего личико это не значит — не человек был, не зверек в его руках... возможно, бог... Он что-то сделал с ним, вот этим богом и царем, — и помертвел от собственной невежливости: приподнялись опухшие проклеенные веки, и из пеленочного свертка вдруг просияли

два огромных черных глаза — полных незнания, требования: кто ты? — и таких вместе с тем доверяющежадных, наполненных родностью, словно сам на себя он, Угланов, взглянул из другого, невыносимо осязаемого тельца.

Стан-5000 пошел, разогнался; оттряслась, словно в предродовых, в испытательных корчах, под давлением инертного газа бесшовная, из могутовской стали, труба, не рванула, не лопнула, и оценщики целых «Газпрома», «Роснефти» закивали согласно: берем. Начала становиться «Руссталь» мировой фокальной точкой: в Могутове собирались лучи непрерывных запросов на важное — проводящие прочности для голубого и черного золота. Но нельзя было спать, сонно жмуриться на это новое солнце, стало нужно машине втрое больше руды, мегаваттов, угля, нужно было ухватывать новые рудники и разрезы, литейные машины и плавильные печи размером с коренной, изначальный Могутов. Засел со своей избранной радой в звуконепроницаемом аквариуме и диктовал:

— Новороссийский порт, Босфор и Дарданеллы. Вадим, что у тебя с Ковбасюком? Я что-то не пойму, он кто там? Священная корова Будда Гаутама? Давай уже решай с ним силовым. Не можешь по налоговой пустить — пусти за совращение малолетних. Значит, Стас, я тебя попрошу, — среди внимающих лиц окончательно выделил человека зачистки, — чтобы я уже больше не слышал вот эту смешную фамилию.

— Понял. Только он несерьезный, — глянул ровной серостью сточно-очистного рабочего глаза. — Там один за ним думец, такой Шигалев. АКМ в мешковине в

багажник ему не загрузишь. — Иванцов просто ждал уточнений, доворота, досылки — исполнительный режущий орган, наконечник, машинка, за которой всегда остается натертое шлифовальными щетками голое «осмотр места происшествия показал, что покойный решил добровольно... в результате износа тормозного цилиндра... утратив конт роль над машиной, зацепиться шасси за стальное ограждение летного поля».

— Думца надо решить.

— Ты чего? — подавился Еρμο. — Шигалев этот — клоп, но он думский клоп, думский, едросовский. Что ж ты думаешь, не свяжут нас с этим? Тема, Тема, ау, я Земля! Год какой на дворе, отвечайте, прием! Динозавры все вымерли и лежат на Ваганьковском.

— Я использовал слово «решить». Многозначное слово. Чего ты забился умирающим лебедем? Это он пусть решает, он знает, как работать с неприкосновенностью.

— Старший сын — лоботряс. — Иванцов все улавливал первым по движению углановских глаз. — Раз в полгода с отличием посещает МГИМО. Клубы, девки, машины эс-класса. Такой очень заточенный на удовольствия мальчик. Прав себе понакупят и гоняют по улицам без тормозов. Не найдется никак просто принципиальный следак, чтобы сделать ему а-та-та по закону.

— Ну что ты на меня так смотришь? — надавил на последнего старого друга Угланов глазами.

— Карму можешь подпортить себе. И вообще... слишком много ты хочешь сейчас ухватить. И везде с ОМК, с ОМК мы стыкаемся... там, где медом намазано.

Вытер ноги об них со своим пятитысячником. Отползли, проглотили. А теперь ты у них забираешь ЗапСиб, забираешь Тагил, «Новошип» тоже хочешь отгрызть да еще вместе с мясом депутатским вот этим. Если что-то одно, по отдельности, то тогда ничего, но когда друг на друга накладывается... Да я все понимаю! Экспансия — условие выживаемости, да. Но, Тема... как бы нам поумерить. Дело не в ОМК, не в Бесстужем вот этом полутораклеточном. Только он не один. Он — Петрушка на палочке. Ты хотел автономности? Мы имеем ее. Мы имеем вообще гегемонию в самых растущих и прибыльных нишах. Что ты хочешь теперь? Вообще все в России, что имеет какое-то отношение к стали? Вообще все, что жрет электричество, уголь и газ? На хрена нам все это в России? Ты же сам говорил про Европу. Направление экспансии вот. Мы пробili с тобой Витковице, Луккини. Вот тебе вся дорожная инфраструктура. Будут русские танки в Париже. Затраты не копеечные, честные, но зато уж закупимся цивилизованно, сообразно всем нормам европейского права, выйдем в мир, как давно ты хотел!

— Ну так-то, оно будет. — Угланов представил орлиноносую фамилию Луккини, уставленные на него, русского варвара, и нестерпевшие, потекшие собачьей мольбою, надеждой глаза: вам интересно? купите? недорого! — Значит, вот что, Ерма, я тебя попрошу: ты слетаешь сначала к человеку из Кемерова, а потом с коммунистами съездишь выпьешь в Москве. Надо оптом их фракцию взять. — И загнал в вопросительный взгляд за продвинутой оптикой в роговой каплевидной оправе от «Оливер Пипл»: — Нам давно нужен собственный генератор, Ерма. Гигаваттов на шесть общей мощностью. Есть один долгострой тут в трехстах километрах в Башкирии. — И кивнул сквозь стекло на воздушную пустоту за

могутовской прорвой — на незримые, видимые только ему два бетонных циклопических блока среди желтой ковыльной степи — недостроенное поселение будущего, зарастающий буйной травой плацдарм для пришельцев с далеких планет; с высоты вертолетного, птичьего лета — два огромных дупла на могучей бетонной плите в арматурной щетине, а вокруг по весне полыхает Первомай, коммунизм распутившихся маков. — АЭС. Возведена на пятьдесят процентов, мы с нулевого цикла ничего и близко не потянем по вложениям, а тут вот она, целая, протяни и возьми. Там было как — да как везде и как всегда. В год высаживали по одному арматурному пруту. А потом в Минэнерго пришел Голощекин, и всю эту великую стройку столетия законсервировали. Обоснование, что в зоне сейсмической активности. У меня на столе заключение православных святых сейсмологии — можно, там земная кора отродясь не трещала. У «Росатома», Дрюпа, есть программа развития до 2020 года. И АЭС Агидельская в нее точно не входит. А там вложить-то нам осталось... — раздавил он в щепоти какую-то тлю. — Это чтобы уже никогда от Единых энергосистем не зависеть. Да еще и излишки с шести гигаватт по окрестным заводам распикивать. Представляешь маржу? Автономия полная.

— Тема, Тема, ты вообще сейчас слышал, о чем я говорил?! — позвал его Ермо из своего душевно устоявшего, здорового далека. — Ты ЗапСиб захотел, «Новошип» захотел... и еще давай этот Чернобыль? Я, может, что-то путаю, я, может, с Марса прилетел вчера, но вот нельзя, по действующему нашему вот этому, тут, на Земле, законодательству нельзя передавать в углановскую собственность объекты национальной безопасности!

— Ну так и выпей с коммунистами, о чем я говорю. Пусть они там поправку

небольшую. Что вообще нельзя, но кому-то немножечко можно, — уже летел двухтонной авиабомбой в реакторное жерло. — Я решу с Голощекиным, с Кириченко в «Росатоме». Мы же катим ему корабельную сталь с половинным дисконтом, драгоценные сплавы в три раза дешевле, чем инвары у Миттала, все реакторы на четырех их последних ледоколах в могутовских кожухах. Мы же в проекте для вот этих всех... квасных все, как всегда, напишем очень аккуратно: берем в совместное владение с «Росатомом», а что у нас там будет семьдесят процентов, так мы напишем что-то типа «с перспективой увеличения участия», очень размытое такое мелким шрифтом на сто пятнадцатой странице где-нибудь. Ну ты же знаешь, что у них там в каждой фракции есть специальное окошко — «на финансирование предвыборной кампании».

— Ты не слышишь меня! Ну вот продавишь ты вот эту ядерную станцию, я даже и не сомневаюсь. Но только, Тема, ты одно пойми: что законы страны — это их целиком уже дело. И там... — он кивнул в заповедное небо над всеми незримыми мириадами звезд, — про тебя поймут только одно: что ты хочешь и можешь, когда тебе надо, переделывать их основные законы так, как надо тебе. Речь сегодня об этом несчастном вот атоме, а в потенции, завтра — может, ты переделать захочешь вообще конституцию нашей страны. И не надо сейчас говорить: паранойя. Да, у них паранойя, власть есть и невозможность не подозревать. Почему ты уперся, что логика в них постоянно должна быть сильнее, чем инстинкт? Верить в силу свою, в то, что ты все уже доказал? Ты серьезный заводчик, ты работаешь на безопасность страны и нельзя тебя трогать руками? Так ты сам их такими ходами, как эта АЭС, убеждаешь в обратном. Снова ставишь себя под вопрос. Не для Бесстужего и прочей

шелупони, а ты сам понял, да, для кого! И ты меня, Угланыч, извини, но давно за тобой замечаю: чем выше поднимаешься, тем больше берега теряешь вообще. Это очень такое... чреватое, Тема, представление о том, кто ты есть.

2

Красной зоной Ишим был, краснее уж некуда. Как доползли в «столыпине» за девять суток до Тюмени, на сортировочных часах в жестяных вот этих душегубках маринуясь, как протряслись на канарейке по грунтовке, так и бросили им в карантин прямо новую сбрую, и на каждой козлиная бирка нашита: надевай, а не хочешь — так голым ходи. В четырех стенках карцера. В ноябре — как назло подгадали — дубеешь. И до полного окоченения крутят через матрас: на плацкарте в бараке одну ночь отночуешь — и опять на пять суток в замороженный карцер. Пока дуба не дашь или перед всей зоной косяк не наденешь. Две недели крутили, и сломались, конечно, на том севере многие. Трахматоз на все жабры кому заработать охота? И чего тут такого вот так-то, когда половина Ишима уже в этих красных полосках? Ну не масть воровскую же держишь. Но Чугуев стерпел, и Кирюша с Казанцем — в мужиках удержались. Не из гонора только пустого, не из глупого принципа, нет. Просто как себя в зоне поставишь, такой ты и есть. А мужик, он всегда посередке. И с блатными не дружит, и хозяевам не литерит. Ни под тех, ни под этих не стелется, на своих, вот таких же, как сам, мужиков не козлит, на блатных втихаря не ябдырит. Вот середки держись — и блатные тебя на правило тогда не поставят, и менты ни на чем не прихлопнут, если есть в них, конечно, хоть что-то от людской

справедливости.

И тут вот еще что, испокон: только раз слабину перед властной силой дай — значит, все, навсегда ты гнилой. Сам в душе про себя будешь знать, что — согнули. Раз косяк нацепил, значит, все исполняй, что прикажут. Не в позорной метле же самой по себе, что блатному как осиновый кол упырю, не в работе шныриной тут дело, а в целом: никогда своей волей уже жить не сможешь.

Власти нужно вдолбить в человека: ты — по жизни ничто. Власти слабость и подлость нужны в человеке. Раз только мелкое паскудство сделай для своего спасения человек — и уже начинает трястись навсегда, что вот это паскудство его, еще самое мелкое, первое, перед зоной раскроется, перед всеми людьми, мужиками, что уже за тебя нипочем не впрягутся, и блатными, которые за косяк люто спросят с тебя, и бежит человек уже сам с этим страхом, из души его невытравимым, — ко власти... Ну а власть-то не дура, чтобы даром его, дурака, покрывать: ты давай мне еще, говорит, принеси на продажу чего-нибудь, кто про что в зоне шепчется, кто чем живет, — вот тогда я тебя, может быть, застою. И несет на продажу еще, и воротит паскудства все новые — тяжелее все и тяжелее — трясущийся за утробу свою человек...

И опять пересчет по пятеркам, каждый день — тот же самый: как костяшки на счетах, их, зэков, контролеры в воротах отщелкивают; спрессовались обратно в брусок — и на промку, и Чугуев в последней пятерке с Казанцем и Кирюхой Алимущиным.

Только трое они и остались от бакальской бригады бурильщиков, вот троих их сюда, остающихся в сцепке одной, из Бакала закинули — рассори ли бригаду,

раскидали по зонам. Как пробились в Бакале в большую руду, так вот сразу — как Бычуткин предсказывал, так и сбылось: с перемалывающим лязгом с востока наползли на карьер мастодонты с воздетыми стрелами и шишкасто-зубастыми булавами проходческих органов — самоходная армия бога Угланова, и бакальская зона, как несколько спичечных коробков, отфутболенных сапоговой силой, перестала физически существовать. И шагали по этой бетонке уже третий год, от родных отсеченные новыми, бо льшими километрами пустошей, непролазных лесов, беспредельных степей; направляющий песню голосил пугачевскую, и другие, козлиное племя, показуху давали во всю силу горла: «Позови меня с собой — я приду сквозь злые ночи».

Цех подшипников был, и столярка, и швейка, полигон ЖБИ — на бетон их поставили, как хозяин решил, выбирая по мышцам, словно из табуна, из этапа, да Чугуев и сам не противился. Днем и ночью вращались и кланялись на гудящей, рокочущей промке барабаны смесителей, грохотал низвергавший в бункеры щебень, надрывались моторы, зудели вибраторы, вереницей втекали в ворота «КамАЗы» и «КрАЗы» — только так улетали бетонные сваи и блоки, отъедался хозяин, видно, очень неслабо на бесплатной рабсиле и не мог все налопаться, раз пинками на промке дубаки ломарей подгоняли; даже план был развешан по стендам, сколько блоков за смену обязана выгнать бригада.

Только горсть отрицаловки, черная кость, из ШИЗО по неделям, упертая, не вылезала — за отказ от работы, да еще шерстяные, спортсмены, под две сотни числом не работали — так, ходили для вида в том же строе мужицком с ухмылками, чтоб на промке чифирь трехлитровыми банками квасить, ханку жрать да в картишки

до одури резаться. Им другую хозяйин, спортсменам, службу определил — благоту, отрицаловку об колено ломать да мужицкую массу держать в послушании. Мужуку, если так-то, что за дело до ихних разберушек с блатными? Его дело — пахать, продвигаться со скоростью 24 часа в календарные сутки к окончанию срока, ни во что не вязаться, что лично его не касается, чтоб себе еще больше судьбу не скривить, и без того уже своею дурью испохабленную. Только пресс вот на них, мужиков, от спортсменов: тут и дань тебе, тут и побои, если кто плитку чая или харч из посылки отдать не захочет; шмон пройдет по баракам ментовский, а за ним шерстяные саранчой проходятся: выгребаем из тумбочек все, достаем из матрасов, что менты не забрали. И чего? Вот терпели. Ну а как возразишь? Только боем. Только общей грудью. Их три сотни на зоне, мужиков по баракам, — общей массой своей кого хочешь задавят. Только жили поврозь.

Каждый держится собственной тумбочки. В каждом — собственный страх. Кому вот выходить через год, от огромного срока лишь последний чуток и остался. Кто за шкуру трясется — что бошку проломают, если он возбухнет. И Чугуев боится — что еще раз убьет. Восемь лет изворачивался никого не ударить на зоне. Про себя понимает: руки надо по швам приварить ему намертво. Задавить, обесточить зачищенный от рождения провод, этот неубиваемо тлеющий огонек ущемленной, приниженной самости — вот каким бы ему керосином ни плюнули в душу. Превратить себя в пень... Но мертвел вдруг от стужи, обожженный предчувствием, вещи догадкой, что когда-нибудь снова не сладит с оголенной правдой достоинства — полыхнет на контакте с кем-то властным и сильным; что-то вот уж совсем нестерпимое по принижению будет, и тогда неизвестно, до чего он, Чугуев, добьет,

отпуская в удар раскаленную руку.

Вот такие, все те же предчувствия-мысли вылезали иголками, когда шастал над формами по дощатым мосткам, загоняя вибрирующий наконечник и шланг в неподатливо-вязкую серую массу, и взбивал начинавший сцепляться со сталью бетон, и вытягивал с легким усилием из бетона гудящий вибратор, чтоб еще через шаг заглубиться опять и месить, протрясать этот вязкий свинец, — как на камень бакальский бросался, так и вот на бетон этот жидкий сейчас, с ровным остервенением взбивая ненавистное время, плита за плитой, день за днем сокращая свой срок за убийство, не то сам себя будто норовя затянуть, замесить в монолит, в однородную крепость терпения, что держится на стальной арматуре «обязан точно в срок возвратиться домой», «по УДО, по УДО, после двух третей срока», дальше этого срока его ждать не будут, стариком он не нужен, не согдится уже ни на что никому, здесь его место службы — старой матери, сыну, Натахе, отцу, что и мертвый его ждет в Могутове с той же жадностью, что и живой; он, Валерка, не может их всех обмануть, он не может доверия не оправдать той неведомой силы, которую он оскорбил, погасив человека, как свечку, и которая сразу за это его почему-то, Чугуева, не погасила, почему-то дозволила быть, продолжаться, пусть и под непрерывной плитой лишения свободы, жить с задавленножалкой, почти что безмозглой, но пока — все одно — непрерывной надеждой на свое выправление и возрождение.

И вот так и не выпустил бы до обеда машинку из рук, если б крепко не цапнул Казанец его за плечо: «Перекурим, Валерка? Возле инструменталки. Ты сходи туда как бы за шлангом». Он вопросов не стал задавать — без того ясно все, знал природу

вот этого взгляда, в котором расчет на него, на Валерку, и уверенность полная, что в стороне не останется, вложится своей силой в общее дело. На разношенный шланг поглядел: вот и вправду прорвется сейчас и в замене нуждается — и пошел не спеша по участку на выход, и никто не окликнул из козлов-контролеров, куда да зачем: на убийцу не лаяли, тут не только хозбанда одна — и спортсмены его как-то, Чугуева, не замечали, обтекали, как столб, со значением на морде: «молчишь — вот и ладно».

Вот они в закутке собрались, закоперщики: Квазимодо, Синцов, Воробей, и Наиль уже здесь, и Алимускин, и зачем-то пришел Саламбек и сидит на плите истуканом, и Коробчик в проходе на шухере, знаменитый заика, кричащий на потеху всем «м-ммайна!» и «в-в-вира!».

— Значит, так, мужики. Надо что-то решать с шерстяными всем миром! — Синцов всех по кругу глазами обводит, тяжелее все и тяжелее с каждым словом заглядывая в каждого. — Вот уже просто шкалит душняк! Скоро станем в столовке за этой кодлой под столами подлизывать. Ну а пресс: сделай то, сделай се через каждого третьего. До чертей мужиков зачморили. Не согласен — в фанеру. Ну а мы все по пальмам и смотрим, лишь бы лично тебя не коснулось. Нормально? Пенталгин вон возник. Так по хребту ему лопатой — и вот кто он? Обрубок, инвалид, не встанет, говорят. А с Казбеком что было, со Стирой? И чего, будем ждать и смотреть, когда всех нас вот так одного за другим об колено? Это нам не на голову сели и срут на нее — это ж, блин, я не знаю, что такое уже! Да и что я вам буду — все давно в позе рака живем! Или мы разогнемся сейчас, или нас вообще в землю втопчут. Ну чего, кто че скажет? Валерка?

А Чугуев в глаза Саламбеку смотрел, безошибочно выделив из всех как ту силу,

к которой магнитятся все и которая всех и свела в этом месте, хотя он, Саламбек, не сказал еще ровно ни слова. И под этим вот взглядом светлых выпуклых глаз, ничего от него вот, Валерки, не ждущих, все уже про Чугуева как бы решивших, не своей будто силой, против собственной правды толкнул из себя:

— В этом деле, ребята, я вам не помощник. — Будто кто-то еще в нем, Валерке, сидящий, другой человек, оттолкнулся, отплыл, откатил, как от берега, вот от этих пустых, презирающих глаз; будто кто-то еще как бы сверху хотел, чтобы больше в забив он, Валерка, не лез, чтоб вклешился в вибратор и от гуда мотора на остаток огромного срока оглох, отделившись от крика о чести и помощи; чтобы тихой сапой, в травяной безответности он, Валерка, прополз все вот эти огромные годы до едва различимой вдали точки выхода на священную волю — там его ждет Натаха, все другое в сравнении с ее любящим сердцем не имеет значения.

— Да ты что?! — захлебнулся Алимускин. — Это ты ли, Валерка, вообще?! Мы ж с тобой вот так... — И крючками два пальца сцепил, — и всегда ты за правду мужицкую! Ну молчал, когда можно молчать, но как только душняк от блатных, не молчал же! А теперь ты чего — в уголок?! Лично меня, такого лося вот, не трогают — и ничего, значит, не вижу и не знаю?! Да кто ты есть-то после этого, скажи!

— Ведь это ж все равно добром не кончится, Валерка, — накачивающе вгляделся в Чугуева Казанец. — Пенталгину хребет вон сломали всем скопом — и никто ничего. Один раз только кровушки нашей попробовали, и теперь уже все, не оттащишь, так и будут сосать и сосать. Скольким еще путевку на больничку выпишут? Они чем вот сильны? Что, такие бойцы? Что не срубишь? Ни хрена! Страхом нашим сильны! Тем, что мы, мужики, каждый думаем возле собственной

тумбочки втихоря отсидеться. А вот только пойдя мы всем скопом — задавим! Но для этого должен же кто-то начать. Как основа. Ну полсотни, десятка хоть три тех, кто не заслабит. Ты, Валерка, мужик в зоне авторитетный — за тобой поднимутся. За Синцом вон, за Дятленкой, за Саламбеком. Встанем мы — раскачаем всю зону.

— Вот только раз себя поставить жестко до конца! — заклокотал опять Алимешкин, дурак.

— До какого конца?! — Сам себя в другом теле Чугуев увидел, дурака, каким был, — у Кирюхи в глазах. — Ты на воле, забыл, до какого конца домахался?! Не отложилось, нет, не проросла извилина, забыл?! Забыл — вдруг бойцом таким стал? Ну, я в санчасть сейчас тебя свожу! Тебе сколько осталось, чудак, до звонка? Девять месяцев, дурочка! — передернулся от неправдивой, закипевшей, как на сковородке, и легко испарившейся малости. — Как у мамки в утробе! И родишься опять! На свободу родишься, чудак-человек! — И Кирюхе щепотку под нос, растирая в ничто девять месяцев. — Год без резких движений — и в Могутове будешь, насовсем, понимаешь ты это, насовсем снова чистый, как росой умытый, мать свою обнимаешь на воле, отца! Жизнь свою еще выправить можешь, по-людски ее накрепко снова сварить! Тебе ж детей, детей еще, заочник, пока все нужные придатки не отсохли. Вот куда ты в забив? Пару-тройку годков накрутить себе хочешь? А возьмешь и заделаешь по запарке кого? До конца самого себя, обморок, в землю! До седых вот волос тут остаться — давай!

— Да кончай это все. Хочет жить он как скот — пусть живет. — В спокойный голос Саламбека капнуло презрение — он сидел, неподвижный и свободный, как царь, не достаивая Валерку даже краткого и малого нажима на глаза; литые

бицепсы теснились в рукавах бушлата, второй кожей облипшего широкогрудый мощный торс, руки с разбитыми боксерскими костяшками лежали на коленях, наполненные скрытой взрывной убойной силой.

— Да ты вообще молчи, джигит! — Он не просел под равнодушными обидными словами: то, что должно было Валерку продать, только уперлось в его новую, созревшую и затвердевшую под ребрами за годы правоты. — Хурду-мурду свою вот эту всю ты другому кому-нибудь в мозги вворачивай. И про русских баранов, которых стригут, и про вольных волков, твоих предков. Вон ты весь и в шерсти — ни за что загрызешь, погляди на тебя только косо. Оскорбление, честь! Ты в своем понимании — воин, джигит, а в моем понимании — мокрушник! Ты убил человека, пацаненка, вообще ни за что. Что он там тебе — писька что маленькая? И за это в земле лежит, из земли уже больше не встанет. Ну конечно же, ты не хотел. Ты хотел проучить. Показать: ты не скот — ты мужчина! Вот только руки — огнестрельное оружие! Вот и я точно так же, джигит, — один раз только двинул, и все, он лежит. Не встает вот чего-то, что-то хлипкий попался какой-то, бракованный. Это ж не на войне. Не твоих он пришел убивать мать с отцом и детей. Ты к рукам-то принюхайся: неужели не пахнут? А мои до сих пор не просохнут от этого самого. Не мои это руки уже, не мои. Он ночами мне снится... тот, которого я поучить вот хотел... кулаками. Без лица, понимаешь? Хочет, чтобы я вспомнил лицо его, я ведь даже лица его толком не помню. Ну а как у тебя? Или что, так и надо? Для тебя кровь — водичка? Тебе руки для этого только даны? И сейчас мужиков за собою на мокрое тянешь! Вот скотом ты меня погоняешь, а сам — человек? Я живу как свинья, ну а ты — как мясник? Посередке удержаться не пробовал?! Я вот, может, и скот, но в зверье не хочу. Я

обратно хочу, вот к родной своей домне хочу. Чтобы людям в глаза смотреть прямо: вот он я, трудовой человек. Чтобы сыну в глаза смотреть прямо. Так что не о чем — верно — нам с тобой разговаривать...

И, растерев дотянутый до пальцев свой охнарик, развернулся и двинул расщелиной тесной на выход, все голоса убрав с такой бесповоротностью, как будто вырвал провод из розетки... И опять за вибратор схватился, как в проточной воде за прибрежный надежный, негнибаемый сук, чтобы не унесло по течению на камни, и толкался в бетон булавой до обеда, и кувалдой после обеда сбивал со стальных форм остатки пристывшего крепко бетона — так и шел, покотившись под горку, еще один день из всех тех одинаковых дней, что ему оставалось отбыть, заплатить, и уже шагал строем со всеми в жилуху, даже радуясь как бы этой мерности шага, и рабочей разбитости тела, и тяжелой туманной своей голове, так как все это было порукой нормальному, неизменному и неизбывному в зоне течению жизни.

Но как только в жилуху вошли — поднатыренным слухом и нюхом почуял шевеление какое-то в зоне, бурление. Вроде все как всегда: точно так же дубаки и дежурные в красных повязках надзирали и бдели, чтобы каждый встал в строй на проверке вечерней как можно быстрее и никто по укромьям не тырился, и вели вон четвертый отряд — по отрядному расписанию согласно — в ларек: отовариться чаем и конфетами «Дунькина радость» (чай был дрянь совершенно, как в том анекдоте про лопату соломы и лопату говна, на чифирь годный чай приходил лишь в посылках, и спортсмены весь чай в тот же день отжимали), точно так же старался в колонне любой не отстать от переднего и не растягиваться, но и в этих деталях привычного быта находились какие-то признаки нового положения на зоне.

Вроде так же понуро, заморенно плелась серолицая горсть отрицаловки, но нет-нет и разил шерстяного ножевой выблеск взгляда из-под низко надвинутой цилиндрической кепки, и, неволей прислушиваясь, подчиняясь накату всеобщей неясной тревоги, все вернее Чугуев различал прораставший в строю, в толчее шепоток: «Сван» да «Сван» без конца... И еще что-то полностью не различимое, но понятное и без разбора — что несет этот «Сван»-суховея на ишимскую зону — слом порядка и лютую кару шерстяным беспредельщикам. И Кирюха принес к ним в отряд на хвосте — заезжает на зону с этапом настоящий законник, в короне, и все им тут поставит, на зоне, как надо, раз они, мужики, сами это не могут. «Ага, поставит, как же. — Казанец только сплюнул. — Да его самого в шизняке уже раком поставили. Видали мы тут много законников, на красной. Из карантина полудохлым вынесут, и будет, как и все, перед спортсменами на цыпочках шнырять».

Он, Чугуев, уже по макушку на зоне наслушался про таких-то вот лютых и страшных, у которых в знак их непокорности на коленях наколоты звезды. Звезды видел, ага. Ну а сами — обглодки. Головешки обугленные. Ну подскочит такой, пальцы веером, выедавая глазами в упор, — ну загнешь ему пальцы разок хорошенько, чтоб клешню не тянул, и завьется винтом: отпусти, отпусти, и хоть весь себя звездами от макушки до пят облепи, а все будешь как в фильме «Джентльмены удачи». Ну вот был на Бакале вор Лаврик, серьезный, но чтоб прям какая-то непонятная сила от него растекалась, что вокруг все меняет, — ведь нет же. Ну стелились, конечно, перед Лавриком тем все блатные — так и здесь вот, в Ишиме, перед Сладким спортсмены все стелются, по кивку, шевелению пальца готовые рвать, кого скажет.

Вон он, Сладкий, сидит со своей всей шоблой — все столы захватили, разбросав лосьи ляжки и локти раздвинув, вон и пайку слупили, а вставать не торопятся, и поэтому давка в проходе, мест нет, и кричит уже прапор дежурный Гайдарченко мужикам из седьмого отряда «садиться», а куда им садиться? Так никто и не двинулся с «разрешите?» да «можно?». Лишь Казанец один не стерпел: где кусок вот свободный стола увидал, туда миски свои и поставил. С еле-еле смиряемым бешенством напоказ на Казанца все зыркнули: «куда лезешь, мужик, как посмел?». И Чугуев уже не сдержался: не чужой же Наиль, чтоб его одного оставлять, — и пошел, чуя прочность и пробойную силу в себе и себя за нее ненавидя, и свои миски рядом с Казанцем поставил, и на лавку меж тушами продавился как раз против Сладкого. И уже на Валерку желваками быки заиграли, но не рявкнул никто, усидели — Сладкий, что ли, им всем маякнул, чтоб не дергались, и глядел на Валерку насмешливо, тяжелее все и тяжелее нажимая лупастыми зенками, и Валерка смотрел на него, от тарелки глаза подымая, и тоску только чувствовал, непродышную только усталость от ежедневного вот этого всего — жизни в мире животных, в котором надо тоже давить непрерывно в ответную на такие вот буркалы, напоказ наливаясь угрожающей силой и бояться, бояться: не прыжка со спины, не удара в фанеру — своих собственных рук, изначальной природы. В репортажах из «Дикой природы» показывали, как вот каждая тварь ставит дыбом все иголки свои, все шипы, капюшон раздувает, чтобы больше казаться врагу и сильней, как самцы бабуинов насилуют даже побежденных собратьев, и все эки, что в красном уголке припухали, только диву давались: как на зону похоже.

Хруст костей на зубах, визги жертв и урчание хищников прессовались,

срастались в гранитную толщу — миллионами лет, — и давила Чугуева эта плита подыхающих хрипов и бурного клекота, выжимая его из него самого, превращая в себя, в свою правду и смысл, заполняя потребностью точно так же ломать, добираться до горла и с урчанием рвать, вкус почуяв рванувшейся крови, заливающей глотку и мозг торжеством, бить и бить кулаками все равно в чье лицо, сокрушая мослами торчащие кости силы меньшей, чем ты... та же, та же потребность, что впивалась меж ребер и жгла до тюрьмы, что его потащила месить кулаками на заводе своих же ребят-работяг, как Угланов пришел и плеснул керосином в Могутов... то есть, вернее, тогда была дурь, наваждение магнитное, а сейчас вот на зоне это необходимостью было уже, неизбежностью.

Что ж за твари такие-то мы, из чего же нас сделали? Кто такими нас сделал? Вон в Ишиме часовню построили — это стало теперь обязательным, настоятельно рекомендованным в зоне: православие, церковь и Бог, точно так же, как раньше на зоне пламенели везде кумачовые стенды и торчал из земли перед крытой конторой лысолобый, покрашенный серебрянкой Ильич, и сложили ее сами зэки, часовенку, купол желтой латуной обшили, и Валерка клепал и все сделал, как надо, и затеплились свечи под строгими ликами, потянулись сидельцы под этот вот купол за прощением и с покаянием. Значит, Бог — перед ним ты покаяться должен, от него вот вся правда, как должен человек жить всегда на земле. Только что же за правда-то это такая двуличная, что же это за Бог, жизнь в природе устроивший так, что друг друга все жрут и не могут не жрать? Говорит: «не убий», возлюби и прости, а сам в мире все так и завел, как часы, что одни щиплют травку, а другие прыжком позвоночник ломают, пьют кровь — где, какое в его устройении может быть «не

убий», когда сам не порвешь, так тебя разорвут?

Сам Валерка-то в церковку не заходил — видел издалека много раз худосочного, жидкобородого попики, что на зону служить приезжал, и в глаза ему, попику, лишь на дление кратчайшее невзначай упирался. И как будто вот знал этот самый отец Николай, что Валерка спросить его хочет, и не только вот знал, и но и будто ответ ему взглядом давал: мир зверей, он, конечно, жесток, но без умысла злого; хищный зверь только так, кровопийством, и может прожить, человек же — по выбору, воле свободной. Мало было Валерке такого ответа. Вот простой был ответ, но исполнить как сложно. Где тут выбрать свободно, когда выбора нет и нельзя быть уже выше зверя?

И шагал на развод по баракам уже, и как шли мимо мощной стены шизняка, так опять шепоток по колонне прошелся, и у всех будто сами собой стали головы заворачиваться вправо, где за сеткой и проволокой Бруно дубаки вшестером выводили на зону двоих. И один из них был черномордый кавказский боец, а второй был — безрукий. Чтоб увечье прикрыть, был накинута на плечи, как бурка, очень чистый, вот только что из каптерки бушлат, и вот это был Сван, ожидаемый всеми законник: сразу стало понятно, что он — это он, вот с таким его жадным вниманием дубаки сторожили и так строго держались от него они на расстоянии, не в силах одолеть полоску разделяющего воздуха и — ровно так же, как ко всякому другому ээку, — прикоснуться. И беззащитность инвалида не меняла ничего — наоборот, усиливала будто: не подкрепленная ничем — как же он жрет и оправляется? — и потому и безусловная, беспримесная власть с осязаемой силой текла от него.

А потом, как зашли в свой барак и расселись уже кто за нарды, кто к ящику, так

и этого к ним завели, инвалида. Тонкокостный, сухой, гололобый, с горбоносим кавказским, обожженным, как в печке, лицом, сединой уже сильной и пустыми, навывкате, голубыми глазами, он вошел и уселся на первый свободный табурет в попримолкшей и налившейся жадным вниманием комнате отдыха. Он настолько все знал, что вокруг, и так все презирал, что ему ничего тут, в бараке, любопытного не было. И через миг уже метнулись, подскочили и завились вокруг безрукого шныри: что принести? я принесу что надо, Сван, — и под коротким взглядом Свана разом брызнули, как разметенные по сторонам щелчком. Внезапно что-то шевельнулось под накинутым бушлатом, словно в коконе, и у вора вдруг выросли руки: это только он их никому не протягивал, ими не шевелил, когда сам не хотел, когда кто-то хотел от него и ему говорил, что и когда он должен делать этими руками. И вот сейчас, когда он хочет сам, обвел медлительным пустым и скучным взглядом мужиков и безо всякой позы, без нажима, без удовольствия кого-то придавить сказал бесцветным, ровным, чистым русским голосом:

— Я Варлам Ахметели, зовите дед Варлам или Сван.

— Да уж знаем, наслышаны, кто на зону с этапом заехал, вон все цирики в стойку... — все, кто был, мужики забурчали с охотой и ждали, что еще скажет Сван: про порядки на зоне, шерстяной беспредел и хозяйские гадские мутки — как на это все смотрит в лице его волчья масть.

Ну а Сван уже смеркся, потух: вот совсем ему было не нужно хоть что-то мужикам растолковывать и, тем более, выпрашивать, как им в зоне живется.

— Что же к нам-то, в мужицкий барак? — из-за плеч и голов остальных потянулся Алимушкин, так и ел настоящего вора глазами, дурак: сколько лет уж на

зоне, а вся та же в башке вот блатная романтика.

— А другие-то есть? Только ваш вот мужицкий и другие козлиные. Сколько раз заезжал за последние годы, — Сван во что-то вгляделся, усмехнувшись одними глазами прошедшей всей жизни, всем своим прежним тюрьмам и зонам, по сравнению с которыми здешний Ишим — пионерский «Артек», — нет мне места нигде. Скоро, если ты не беспредел, не козел и не пидор, ни в одну уже хату не пустят. Скажут: иди отсюда, урка ты позорный. Скоро станут менты для таких ископаемых хаты отдельные строить, как вот сейчас для спидоносов и туберкулезников. Да и вы, кто по серости, — тоже вымирающий вид. Это раньше мужицкая масть была в силе и с нею считались. Вот помню, перед самой перестройкой стали тысячи на промку выгонять, огородные сетки вот эти плели, джинсы пошли на швейке, с понтом «Пирамида», — у людей прям аж слюни на мужицкие эти манжи потекли, а вот только клешни протяни — оборвут. Кровью правду мужицкую сбрызнуть могли, едва только почуют, что кто-то на шею к ним сел. А сейчас что? «Чего принести»? Перед каждым, кто сила, на цырлах? До кишок раздеваемся и кишки вынимаем, лишь бы только не резали, пусть сначала другого, пусть сперва не меня.

Вот же ведь лис: прямо с порога начинает — по самолюбию, по самому больному без обмана! Так день за днем мозг будет вынимать по-разному и вынет! Уже и так на зоне все предельно разогрето, только вот чуть еще подкеросинить. Это уже как оползень, как паводок, не зацепить его, Чугуева, не может, все началось и дальше разгоняется само — даже без воли этого вот Свана, — и не соскочишь и не угадаешь, куда тебя, закручивая, вынесет. Всех на одно — на мокрое несет!

И вот уже — словно кусок карбида в лужу, за ним еще один, еще, из целого мешка — загоготали мужики, как гуси, забурлили: неужели и дальше продолжим терпеть и молчать? — не понимая, что уже для них давно все началось, как для квашни в кадушке, как для шихты, воспламененной молнийным пробоем под колпаком электродуговой печи, и только вор один сидел незыблемо и молча — все уже зная, видя, как закрутится, — пока Наиль к нему не протолкнулся и не навис над ним, выпытываяще вглядываясь:

— Ну а вот сам ты, сам, прошу прощения, уважаемый? Как все поставить в зоне думаешь? Сам на спортсменов отрицаловку подымешь? А то вот нас подначиваешь, а сам... Вот ты зашел — смотрящим, стало быть, тебя братва поставить хочет с воли. Братъ, значит, зону должен под себя. Как только братъ вот ее будешь, непонятно. Авторитет как мыслишь удержать? А то пока одни только легенды... — И сломался в лице под прямым взглядом вора.

— Я старик, я один. За пищак подержи — и готов. Хоть сегодня вот ночью придут мне кочан парафинить. — Одно только презрение было в нажавших на Казанца глазах, да и даже презрения не было — только знание мужицкой породы. — Ты что про меня думаешь? Что заехал законник на зону и сделает бесам так страшно, что они навсегда замолчат? Воры сделают, да, чтоб вам легче жилось? Только где они, воры? Да и было бы много их сейчас тут со мной. Все равно не так много, как вас, мужиков. Испокон было так: куда в зоне мужик повернет, того зона и будет. Это надо быть полным дебилом, чтоб думать, что в любую оглоблю мужика в зоне запрячь. Я вот длинную жизнь, парень, прожил, меня старые воры учили: если зону берешь под себя, уважай мужика, никогда не дери с него по беспределу, и тогда

мужик сам принесет тебе и отдаст воровское. Вас тут триста голов. Кулаки, — на Валерку кивнул, безошибочно высветив взглядом его из гурьбы. — Вот и ставить на зоне все вам, а не мне. — Попадал раз за разом в то, что может нащупать, почувствовать каждый в себе, во что сам бы Чугуев долбал, если сам бы себя вот хотел сагитировать.

— И поставим, поставим по-нашему! — Распаленный Алимужкин выплеснул, обеспамятев вовсе, не помня про свои девять месяцев срока, про рождение заново, что так близко уже, что аж жжет неминуемость: как бы в нем вот, Чугуеве, — при таком остающемся сроке — кровь толкалась на волю, к Натахе, к Валерке, все другое, чужое, кроме собственной правды, смывая.

3

Ночь прошла незначительно, пусто, хотя точно не спал по отсекам никто. Слышно было отчетливо, как кипят по всем шконкам котелки работяг, выкипает в них все: страх за шкуру, остаться до седых волос здесь, под бетонной плитой, никогда не сцепиться в одно со своими, с единственной родностью, в одного человека с той, которая ждет, не обнять напоследок иссохшую старую мать, не зачать своих будущих, нерожденных детей... И Чугуев пластался на шконке, осязая всей шкурой эти пары и развариваясь сам в понимании: целиком он в составе, вот в этой кастрюле, крышки не оторвать и наружу не выбраться — разве только улечься на промке ему вот в железную форму, как в гроб, и зальют пусть бетоном, вот тогда уж, наверное, точно не сорвут с неподвижного места потоком, не достанут, не выскребут.

И всю ночь ждал скрипучих шагов по продолу — что придут шерстяные за Сваном и вот тут-то оно и начнется.

Но никто не прокрался, половицы не скрипнули — как всегда, в полседьмого включили над зоной время «день», невзирая на черное небо; загремели засовы, и привычный конвейер пополз, выволакивая мужиков из барака в столовку, а затем на развод на работу; так же резво стекались на плац и сбивались в шеренги козлы с мужиками, с той же мертво-цементной убежденностью в собственной силе разрезали мужицкие толпы спортсмены, так же все расступались у них на пути, не отваживаясь вскинуть глаза и нажать, но сам воздух, густея, гудел и дрожал, наполняя башку шевелящейся тягой, словно где бы ни шел ты и где ни вставал бы, всюду были гудящие высоковольтные провода над тобой.

И, отмучившись на пересчете, разводе, он почти ломанулся на свой полигон, чтоб вклешиться в вибратор над формой с бетоном и в него всем составом своим перейти. И вгонял булаву до обеда в бетонную патоку, целиком став железным, заварившись в себе и оглохнув, как он и закладывался, и ничего под ним не проломилось, словно сам создавал он сейчас эту прочность у себя под ногами и нельзя ему было сейчас останавливаться — длить и длить надо было вот эту дорожку из плит до конца всего срока.

А с обеда пришел — как-то стало дышать посвободней в изменившемся воздухе; что-то в небе копилось, копилось и лопнуло, словно разом открыл кто над зоной все краны, и отвесно обрушилась на сожженную пыльную землю вода, захлестали неистово водяные канаты и струны ломовой, обломной встали стеной, с ровным неиссякаемым бешенством разбивая цементную пыль, что лежала на всем, как мука,

как загар, и накрыв разом всех побросавших работу стропалей и бетонщиков: побежали все с гиканьем, вымокнув до кишок от тяжелого первого охлеста, под законным предлогом сачкануть на глазах контролеров: стихия! — по-детски вот радуясь натиску ненасытной, жестокой водяной чистоты, будто что-то дающей им всем, обещающей — очищение внутри. И Чугуев со всеми заглушил свой мотор и пошел под навес в тяжелевшей от ливня рубаше и глядел на кипевший несметью воронок, сразу ставший свинцовым, водяным полигон: клокотало колющее серое пламя, белизной закипала по лужам вода, и уже побежали по земле грязевые ручьи, словно страшное все унося, что готовилось, вымывая предчувствие неизбежной беды из Чугуева. Будто все изменяла вот эта вода — и его самого. Ничего не случится — на мгновение глупо, по-детски поверилось. Все, что было живого на этой земле, каждый кустик, росток и все люди вбирали промытый, одуряющий воздух июльского ливня, пили каждой жилкой и по рой долгожданную воду, до мокрой чистоты, до черной сырости напиваясь ею и окончательно размякнув и потеряв внутри себя ожесточенность, когда сошла с земли клокочущая шкура пузырярей и отдельно забили по мокрому ртутные капли.

И были легкость, и покой, и ощущение дыхания напитанной земли, с которой он дышал как целое, трава — точно такая же еще одна из тьмы одинаково крепких и цепких травинок, одинаково странно и разумно устроенных для упрямого роста, для жизни, и вот так ему освобождающе ясно стало в эту минуту, что сейчас он, Валерка, нисколько не зэк, отбывающий срок по сто пятой статье, не живущий по серости русский мужик, что боится себя самого, непрерывно боится убить человека, даже вот не убийца ничуть, а такая же точно простая былинка, раз в себя приняла его эта

земля, словно в добрые, мягкие, влажные материнские руки, отпустив его в рост и дозволив с той же тихой радостью ровно и сильно дышать, с какой дышит, набравшись воды, и сама, все живое на ней, наделенное поровну сытной лаской. Он, Чугуев, свободно, без свободы растет, точно так же, как все его травяные собратья, пробивая бетон и асфальт этой зоны, служа мостиком для муравьев и выкидывая к солнцу коленца, из себя выжимая нетвердые свежие листики; он все терпит и всех принимает, с одинаковой волей, охотой со всеми сплетаясь и никого за злой упор не ненавидя — вот потому что, по большому счету, не за что и нечем; изначальная правда всей жизни приоткрылась ему, принесенная этой обвальной проливной водой... и тут что-то сильно встряхнуло его, зацепив и качнув, как обычный репей на пути пробежавшего крупного зверя: кто-то поднятый гоном — Кирюха! — напрыгнул на плечи с разбега, еле-еле донес на бегу и выплескивал, обрываясь дыханием, в травяное лицо:

— Все, Валерка, поехало! Слышишь?! Поднялись мужики! Как один! И как хочешь, Валерка, а не выйдет в сторонке, не выйдет! По всей промке сейчас полыхнет! В арматурный давай, арматурный! И сам подорвался, ослепший, — на сучья!

Но Чугуев поймал на разлете за шиворот, придавил, как большого ребенка, к плите:

— Стой, сопляк, не пушу! Рыпнись только, сморчок, — давану тебя на хрен! Давану, раз прибьют дурака все равно! Выходить, выходить тебе, жить через год! Что в башке-то? Говно?! В арматурный пойдешь — насовсем там останешься! — И рванул с треском ниток — под вышку, под стволы автоматные, эту защиту.

И уже вот Кирюха — репей, а Чугуев — машина, за собой, дурака, его тащит.

И как будто бы снова тут ливень по земле хлобыстнул, град размером с куриное по расквашенной глине: из ворот арматурного взрывом ломанулась орда, зверем черным протяжным с ослепшими лицами. И уже не поймешь, кто такие. И в огромное это мгновение он, как ветер, почуял свое полоумное прошлое: захлестнул этот ветер и вынес из ограды, из зоны — в Могутов! в беспощадную сшибку железных, кость от кости друг друга; покатались по полю огневые шары, глыбы шлаковых чушек вразнос с косогора. Стропали и бетонщики все, на войну не метнулись которые сразу, кабанами, лосями рванулись с дороги, разбегаясь и прыгая в недра пропарочных камер, забиваясь под плиты, как лисы в нору, и сигая на мачты, на балки козловых или башенных кранов... закричал, как свинья, кто-то смятый, распоротый... К вышке, к вышке они, ломанул уже сам за Валеркой Кирюха, протрезвленный вот этой жутью, — перемалывающий топот копыт по пятам, озверелое чавканье по вскопыченной глине... вот она уже, вышка, вон они, дубаки, на воротах... и еще одна лава им с Кирюхой наперерез, захлестнула, обратно несет, и бегут они сами обратно в потоке, ноги сами несут, чтобы только не смяли, не стоптали их задние... И удар мясом в мясо, дружка в дружку вошли табуны, и рассыпались все, раскололись на кучки молотящих друг друга и секущих прутами, цепями взбесившихся.

Разорвало их сцепку с Кирюхой, руки к черепу сразу — устоять и не лечь в этой камнедробилке... Устоял и не лег и, самой зрячей кровью почуяв, увернулся от свиста стального прута, и единым, коротким и самым простым в нем, Валерке, движением, сам собою кулак его дернулся, как магнитом в магнит, безотказно, и вот

в то же кратчайшее дление о бетон громыхнула железка и согнулся пробитый под дых дуболом... и уже каратек ниоткуда берется и ногами в фанеру ему: уи-и-и-й-я!.. ничего и не понял, так это все быстро — как с цементом мешок с высоты на грудину, но вот только стоит он, Чугуев, как Ленин, а чурка от него, как от кладки, назад отлетел. Только тоже, как кошка — хоть с девятого сбрось этажа, — в ту же вспышку на мостик хлесткой веткой взлетел от земли и ногами, как бабочка, перед Валеркой машет: уи-и-и-й-я! уи-и-и-й-я! — раз ему по колену, раз в ухо... и поймал на счет три за копыто раскосого, и движением, равным по скорости току в нем крови, оторвал от земли эту кошку, всю из натуго скрученных жил, и об стенку дощатую шваркнул — и ни стенки проломленной нет, ни циркач в тех обломках уже не топорщится.

Закрутил головой, рывками озираясь, где кто, — и Кирюху у ямы, лежачего! в восемь ног шерстяные охаживают! вот сейчас в эту яму пропарочную, как в могилу, ногами спихнут! И туда он, на них, чуя, как вылезают из пасти клыки и как весь он становится клеткой для зверя или, наоборот, его в этого зверя — опять и уже, может быть, навсегда! — засадили. И, уже зарывав от рванувшей внутри безысходности, арматуру из связки рванул на бегу: хрясть прутом по клешне одного, до того, как слова подтекли к его горлу:

— Стоять! В землю, суки, урою, кто рыпнется!

И отпрянули все, откачнулись и дергались на невидимых будто эластичных резинках, раз за разом отбрасывающих из-под свиста прута... Танцевали вот только, обманки кидая и без силы рвануть в растекавшуюся от Чугуева цельную, без единого вздрога, способность убить... И убил бы сейчас, если б не наскочили и свалили

числом шерстяных мужики. Протекла сквозь потекшие пальцы железка и упала, как в воду, ничем не запятнанная, — с облегчающей, освобождающей радостью подхватился к Кирюхе своему, дураку, чтобы вздернуть рывком и принять на себя перебитобезногую, размозженную тяжесть; захватил и ощупывал, как большого ребенка, — черно-красную голову: с полбуханки размером багровая шишка сожрала пол-лица... котелок устоял — с затопившим его ликованием осязал эту вот непорученность драгоценной, обычной единственной головы человека... От нажима на ребра полудохлый вдруг дернулся, словно под током, заревел, замычал, а Чугуев уже озирался: куда? — взгляд по башенной ферме скользнул, перебрав все железные ребра до самого верха.

— Ну что, сморчок, сходил, навоевался?! Не падать мне, не падать! — У Кирюхи подкашивались ноги, и подрытым столбом на Валерку валился. — Могутов наш, Могутов на кране наверху! Могутов наш с тобой, Кирюха, мы увидим!

И уже не валился Кирюха, не стекал на колени с чугунной, перевесившей все остальное башкой — замычал сквозь зубную крошку: «ыам!». И «ыам» перекладину цапнул налившейся зрячей силой рукой, подтянулся, пополз, и Валерка за ним, подпирая, выкидывая коленце за коленцем и выжимая из себя листочки кверху, из земли — от заваленной треском и затопленной криком земли, от бетонной плиты, на которой топтались и гвоздили друг друга сотни русских мужчин, душегубов, бандитов, воров и по большей вот части несчастных, заблудившихся просто придурков... А на самом-то деле они работяги и могли бы ворочать сейчас рычагами углановских «голиафов» и «мамонтов», распикивывать лётки могутовских домен... А сейчас уже все, не вернуть, и как будто бы мстят все они за несбывшуюся

настоящую, чистую жизнь, вот за то, что не стали тем, кем были задуманы, — сами лезут под прут и на пику, лишь бы кончить проклятое это бытие, состоящее только из надрывной тоски сожаления, как могло бы все быть, если бы, если бы...

Заревела и длилась сирена над зоной, разрывая мозги дубакам и сметая их с промки под защиту железных скрипуч и решеток, стадной кучей бросив, табунками по длинным продолам, словно на водопой, к оружейке — расхватать автоматы из стоек и почуять скорей хоть какую-то прочность в вороненом стволе и нащупанном пальцем курке, в упоительном запахе смазки: ты — сила, разорвешь и размечешь взбесившихся, взбунтовавшихся всех. Вот стрелять сейчас в воздух начнут — и в Валерку с Кирюшей на жердочке, пальцем в небо, а что? с жизни станется! — смех пророс сквозь Чугуева, как бодливое дерево, просадил и царапал когтистыми сучьями изнутри грудь и горло.

— Ты-и што это, а? — иллюминатор свой Алимущкин таращит незаплывший.

А Валерка в ответ ничего из себя уже выжать не может, высотой, вольным воздухом пятиэтажной высоты задыхается, торжеством то захлебываясь, то от стужи мертвея, как вспомнит, что было и как делал он страшно внизу — все удары, которые только что раздавал, как вот этого шваркнул и того подрубил... И не верит уже, что своих страшных рук в этом вареве не замочил и по промке прошел сквозь толпу словно посуху: где ж в такой вот болтанке удар выверять и удерживать руку? И тотчас подымало Чугуева вещее чувство сбереженной своей чистоты, невозможности ухнуть еще один раз в кровь, которой сейчас — никогда! — не хотел. Ну не может так плево закончиться вся его жизнь, сознательно направленная им на искупление, переподаренная много раз ему на зоне! Ну не может ведь так скотски

глупо захлопнуться правда всей их будущей жизни с Натахой — из-за чужой потребности крушить железкой черепа, он за чужие умыслы, Валерка, не ответчик, всем своим ливером он этой бучи не хотел, всей своей силой перебивал течение поперек, но разве ж вырвешься из общего течения, когда за дело принимается — судьба?.. Всех принимает он, Валерка, перед самим собой, в помыслах, он чист...

Ну не стоять же просто ему было, когда вот этого месили вчетвером! И даже если сделалась сейчас там, на земле, под краном этим, кровь — это как пить дать запичужили кого-то — и следаки начнут дела корытитить по жмурам, то все равно, считай, все похоронено. Не раскопают, не пришьют, не обвенчают — даже такая гаденькая мысль в нем трепыхнулась. Все ж били всех, и ничего никто не видел: все до последнего козла на зоне рты заварят — то испокон и только так оно и будет. Ну а следы — да промка вся в следах, тут сколько хочешь по земле приبلуды собирай и на рояле зэковские пальчики откатывай, а все равно поверх одних еще другие будут чьи-то пальчики, а рядом третьи, четвертые, десятые — и одинаково все свежие... Не выйдет.

Ревел гудок над промкой, на землю не смотрели: кто там кого погнал и положил; Кирюха и не мог башкой пошевелить, и слышно было только взрывы криков и грохот сокрушенного материального имущества повсюду — подкатывали к ним, к решетчатой их башне эти волны, все глуше, все слабей и откатились, и больше ничего уже не слышали, живые, забитые в кровь и забытые всеми, и даже завывающий, неотключавшийся гудок звучал для них как тишина, и это продолжалось, продолжалось... И в этой тишине вдруг сухо что-то треснуло, и заметалось над всей промкой разрывистое эхо, и снова — треск рвущихся ситцев, и

заикающийся перестук колес на стыках рельсов, он разбежался от воротной вышки, и неизвестно там, какие были выстрелы — предупредительные в воздух или сразу в общую грудь взбесившегося стада. И быстро смолкло все, и снова от ворот в глубь полигона покатился топот, и закричали взрывами опять, но вот теперь уже устало, по-коровьи какие-то невидимые эки — ну, значит, все, пошли цепочками тяжелые по промке, лицом в плиту укладывая всех, кто воевал.

С новой силой почуяв свою чистоту, незапятнанность перед законом, Чугуев свесился с железного каркаса и поглядел на землю, как в колодезные недра: меж пропарочных ям и ячеек опалубки дождевыми червями, жуками там и сям шевелились избитые и недвижно пластались другие, забитые страшно... И уже через миг drobный грохот прихлынул к решетчатой мачте, и увидел Чугуев со своей верхотуры чернолицый спецназ с автоматами на изготовку: в эту «Бурю в пустыне» свою не на шутку играли, пошевеливая жестко ногами лежащих и заваливая наземь поднявшихся... И как только совсем уже близко зацокало, сразу подал он голос, стараясь его сделать дрожащим:

— Помогите, ребята! Мужики, не шмаляйте, не надо! Мы рабочие тута вот двое, рабочие эки! Безоружные оба, спускаемся! — И полез вниз по лесенке, выворачивая морду к тем троим, что закинули черные лица на кран, и еще добавлял им в лупастые бельма в круглых прорезях масок: — На бетоне работаем тут мы, бетонщики, ни хрена не вояки мы, слышь, ни во что не вязались! Под раздачу вот просто попали, как вот это вот все началось! Вот на кран сразу оба, чтоб нас не зашибли! А дружок мой не может — избили! Срочно надо в больничку, ребята, его!.. — и сорвался в нем голос: руки сдернули с лесенки — мордой в плиту!

Тряпкой, полной горячей воды, распластался под рифленным нажимом ботинка, позволяя прохлопать себя сверху донизу. И за шиворот дернули: «встал!», завернули вверх руки, нагнули, повели, отпустили, и сам побежал, зрячей кровью дорожку себе находя и как будто привычно сломавшись в хребте, враскорячку, крючком, точно так вот, как надо, как хотели сейчас от него... меж лопаток пихнули, и он полетел, притворившись, что сразу подкосились от страха и забитости ноги. Умопившись на корточках, он взгляделся сквозь режущий свет: сколько глаз хватал, стыли на корточках вокруг него зэки — в боевых свежих ссадинах, кровяных сургучовых нашлапках на бритых башках, без разбора на масти и все виноватые, — всех магнитил зрачок автомата в руках ошалелого дурня-солдатика, чьи бескровные пухлые губы всё как будто тянулись за отнятой мамкиной титькой. И прозрел он, Чугуев, уже окончательно, различая знакомые морды поблизости: лица были как будто обугленные, но в глазах жили страх и ничтожность усилия предугадать, что же с каждым из них теперь будет, как оно все теперь повернется и что им приготовят назавтра в наказание менты: обязательно стало им нужно теперь наказать за такое кого-то, и простая Чугуева мысль проломила — как же раньше-то он не почуял свиста этой бетонной плиты? Про козла отпущения, да! Надо, что ли, докапываться прокурорам до правды, кто кого наглушняк положил?! Да в любого вот, первого сколь-нибудь подходящего ткнут! Кто у нас по сто пятой? Кто сотрудника при исполнении грохнул? Валерка! Был на промке он? Был! Раз тогда человека убил, то и в этот раз мог! Кандидат подходящий! Продавила его милицейская эта вот правда: навсегда он убийца для них, для людского закона, несмываемой меткой помечен, и как только где кровь рядом с ним, то не может он быть ни при чем! Думал: все уже

знает про свою он вину, как она избывается, чем она откупается, — оказалось, что этого мало, что в любую минуту припать его могут к чужой, не его рук мокрухе. С настоящей силой почуял, чем пахнет из могилы убитый сержант Красовец, как оттуда, из ямы, добывает в сегодняшний день трупный яд, до сих пор не просохли и не высохнут руки от крови у него никогда, хоть на чем их суши — лишь мокрей и мокрей, и всегда тебя люди закона найдут и затравят по этому запаху. Вот сейчас этот день наступил, когда бились и как пить дать убили другие, а запахло сильнее, чем от них, — от тебя. И как будто уже из толпы его выхватил наведенный прожекторный свет, и вне всяких логических доводов жрал его страх, и уже будто вещь чувство окончания всей жизни заглотило его: заслужил он такое, Валерка, обращение с собой, и никто за ним по-матерински на земле не следит и не видит, как он бережется от новой нечаянной крови.

По свободной, до звона натянутой хорде неуклонно летел его поезд. На лету неумолчное радио оповестило: сегодня в ходе спецоперации сотрудников СКП и РУБОПа был задержан известный бизнесмен Николай Ковбасюк, в настоящее время генеральный директор Новороссийского морского порта, в результате осмотра автомобиля марки «мерседес» был обнаружен полимерный пакет темного цвета с пистолетом Макарова и двумя магазинами... В ходе оперативных мероприятий был задержан водитель, сбивший насмерть и скрывшийся... Им оказался сын известного политика, депутата Государственной думы Сергея Шигалева... — колесо на лету

провалилось в сопливую лужицу, подлетело и снова завращалось по ровному. Годовой оборот стивидора — сто пять миллионов тонн грузов, и Угланов погонит свою сталь через эти ворота в Аравию, Африку, Индию, никогда не затрачивая на транзит ни копейки. С этим все — время переключиться на прямую трансляцию из Государственной думы: если Новороссийский стивидор — это собственный задний проход, мышцы малого таза или как его там, то башкирский реактор — это необходимый дополнительный орган непрерывного кроветворения. На экране размером с две пепельницы мало кто копошился на привычно засеянных через пять — десять кресел грядках думского амфитеатра, появилось табло, просияло рабски все одобряющим синим, согласиём, «ЗА» — и волной подняла его и понесла сила личного атома, взятой во владение ядерной станции... разогнался и вылетел к рафинадному Белому дому.

Распрямился во весь углановский, несуразно-пугающий рост и пошел по привычной, пробитой навсегда крупным зверем прямой. Вот на этой короткой дорожке всегда чуял он свою молодость, слышал скрежет и лязг нереальных, нестрашных бронетанковых долгих колонн по натертому жирно проспекту: танки лили стальные ручьи будто сами, неуклонно и слепо, без водителей за рычагами, все поехало и разгонялось само; вспоминал оцепление из лопоухих солдатиков в непомерных, неладно сидящих бушлатах и касках, баррикады из жалкого лома каких-то словно детских площадок, песочниц, котелки, рюкзаки, плащ-палатки, гитары, кочевые костры стройотрядов на этой вот площади, рок-н-рольные гривы, спецовки и джинсы бунтарского ювенильного моря, упругие движения, пылающие лица, братания всех со всеми — «за свободу!», «весь мир насилия мы разрушим до

основанья, а затем...», сияющие ликованием прекрасные бараньи глаза влюбленного во всех неистового Бадрика, сразу полезшего на бэтээры обниматься с солдатней — с непринужденностью и ловкостью сбежавшего из зоопарка павиана: «а вот скажут стрелять в меня — будешь стрелять?», и ехидный Ермо оказался затянут в это столпотворение бесстрашных придурков, в ощущение присутствия при сотворении мира; мускулистое пламя толкается в бочках и царапает огненной пылью чернильную тьму, и уже не понять, где ты в этой центробежной воронке сейчас — то ли у стен роддома русской демократии, то ли на первой каменной стоянке человека.

И, вонзаясь под эти давно уже скучные своды, забегаая решить все, что надо решить, все равно слышал то, отголоски того молодого, что нельзя возвратить, как нельзя — замирание и дрожь первой близости с женщиной, и казалось, вот-вот сейчас вывернет из-за угла Ростропович и, гремя своей виолончелью Калашникова, смачно чмокнет тебя по-родительски в морду, как и всех до тебя без разбора. Не могли не пойти, потащило магнитной тягой 27-летних банкиров, ничего он, Угланов, в ту ночь не считал — как извлечь прок и прибыль, просто вне разумений, требухой почуял: надо быть ему «тут», здесь проходит вот в эту минуту ось мира. И вот сделалось так, что, наверное, в ту ночь с 19-го на 20-е августа — да и точно в ту ночь — они с Дрюпой и Бадриком взяли огромное нефтяное и сталеплавильное «все». Очень многое можешь ты сам, но порою за дело берется судьба. И той ночью в несмети восставшего молодого народа она их различила, судьба, воплотившись в лобастого, щуплого, рыбьеглазого Стасика Карпова: «Ох ты, ежики!.. я и смотрю, каланча — значит, точно Угланов. Молоток, что пришел. Слушай, это, Угланов, уж если ты тут, так ведь ты мне и нужен. Речь давай толкни прямо сейчас перед всеми в

защиту свободы, я же помню, ты это умеешь, вот как раз от лица народившегося класса русского предпринимательства...» — то есть Стасик уже был не Стасик, с которым они плотно терлись по кооперативным делам во Фрунзенском райкоме комсомола, а «Борис Николаевич любит, как он на гитаре играет», и повел, протащил их вовнутрь, на тот самый балкон, на котором гремел, рокотал и незыблемо высился над человеческой прорвой распертый древокольной силой Ельцин, а потом вышел к ним со сведенным в крестьянский кулак багровеющим свежим лицом. «Вы откуда? Москвич?» — «Изначально с Урала». — «Земляки, значит, с вами, Артем. Я запомню». Ничего не запомнит, подумал Угланов и вышел из Белого дома с постоянным проламывающим пропуском в Кремль и оплаченным абонементом в существующий в будущем теннисный клуб президента.

Никогда не хотел он, Угланов, проводить свою волю сквозь Останкинский шприц в миллионы мозгов русских подданных телевизора и Интернета, никогда не хотел стать пауком тайных нитей, запустив свои щупальца в Кремль; как же он не терпел эту женскую топкую русскую власть, понимая: трясину нельзя переделать, вбить в нее постоянные правила-сваи, попытаешься вбить — под тобой покачнется, жирно-вязко всосет и утянет к пиявкам на дно.

Пролетел Белый дом, нанизав на свою траекторию кабинеты министров и приемные вице-премьеров, и прочерченным резко маршрутом — на селекторное совещание президента с рассеянными по восьми часовым поясам генерал-губернаторами и князьями крупнейших российских тяжелых машин. И навстречу вдруг вывернул из-за угла и отвязанным шаром воздушным поплыл кто-то неузнаваемый, не заслуживший от него узнавания рыхлый, пузатый, вислощекий,

защитый в униформенный серый костюм от «Бриони», никто и ни о чем с советскими усами прапорщика, служащего треста... отмахнуть его в сторону, и передернуло от подплывшей вплотную землистой, предынфарктной, раздавленной в мокрое морды, от налимьих безумных, вдруг узнавших Углового глаз. Зацепился за лацкан всплывающей хваткой и повис на Углового, потащив с подыхающей силой за собой, на себя...

— Э, э, э, ты чего, мужик? Плохо? — рванулось из него, как пар, обыкновенное, то, что рвется из каждого в транспортной давке и вокзальной толпе: опрокинуть бутылку с водой на взмокшую побелевшую морду, валидол под язык, всех позвать: «есть тут врач?!», чтобы не одному, чтобы скинуть на кого-то еще это сдохшее тело.

Как в Углового впялился, так и не отпускал, пристывая глазами к последнему в жизни — с узнающей, запоминающей ненавистью! И забился вдруг в буйной агонии, бурдюк, и с каким-то пробившим запором, испражнившимся стоном попер на Углового.

— Плохо?! Это ты мне — «вам плохо»?! — выпускал из себя, даже слишком живой теперь, жутко, распухал, трепыхался, толкался у охранника Степы в руках надувной резиновой лодкой под насосным давлением; кривошипно-шатунной помпой с промывочной насадкой сквозь него прокачивали хрюкающий смех, вот сейчас от давления лопнут глаза, так он ими хотел надавить на Углового — страшно. — Ты, ты, ты меня, ты, кр-р-реодонт! Владелец заводов, газет, пароходов... раздавил, не заметил и дальше пополз! Ну вот кто я, ну кто?! Ну давай, напрягись! Да зачем?! Меня нет! А ты целый Углов! И без разницы, да, чем сломать человека, чтоб не встал человек уже больше?! Вот меня не достать, депутата, — так ты сына,

щенка...

Сдох его, что ли, выродок, управляющий кабриолетом «мерседес эс-эл-ка», под который подбросили труп бомжа на Успенском шоссе, чтоб отец-депутат был покладистей? От разрыва чего-то врожденно больного, как только завели его в камеру?

— Кто тебя вообще выродил, целый Угланов?! Понимаешь вообще ты такое: вот мать?! Мать была у тебя, креодонт, вообще? Или ты из яйца, бль, из космоса?!

Он, Угланов, привык, как забойщик к нестерпимому крику свиньи, к низким подышающим шевелениям раздавленных... Шигалев изловчился и цапнул травяной мясистой плетью его за колено. Он рванул, не терпя на себе чужих рук, и ударил ногой как в налитую грелку: получилось — холопа, в помойку, у него так всегда получалось.

— И тебя, и тебя!.. — полетело ему под давлением в спину. — 3-з-заломаем! Р-раздавим! И проедем вперед! Ты не думай, что бога за яйца поймал!.. — выпускал Шигалев от лица высшей силы, сам ничто, но в составе многоклеточного организма — и умней, и сильнее Угланова, верил в это... небезосновательно. Сколько он уже слышал, Угланов, таких вот «р-раздавим!» из своих сапоговых и гусеничных вмятин...И прошел уже метров на сорок вперед, отключив звуки канализации, и уселся согласно табличке за овальным столом из мореного дуба между липецким металлургическим князем Валерой Ключевым и заставочным, свадебным генеральным директором «обобществленного» ОАО «ОМК» Витей Зюзиным (руки Вити тряслись непрерывно, всегда, и не верилось, что покойник способен на такие приметные сокращения мускулов и страх перед будущим; уж кто-то, а вот этот

легший под федералов, представлялось Угланову, должен быть постоянно спокоен, как Марья-искусница во владениях морского царя).

Не во плоти, а лишь трехмерным призраком в естественных цветах, на огромном экране возник президент, и поехало: тарифы ЖКХ, рабочие места, износ жилого фонда в Западной Сибири, сплошные аномалии тектонической активности на федеральных трассах «Дон» и «Енисей», исчезновение средств бюджетных фондов, «...и мне кажется, кто-то из нас не справляется: или вы, или я»... Изучая подкожные голубоватые речки на своих длиннопалых ладонях, он, Угланов, все слышал, прокатывал, считывал, что спускал президент во все точки российской земли на восьми часовых поясах, сахалинской ночью, кенигсбергским рассветом, но еще кто-то в нем, ближе к сути его, к мозжечку, думал о Кашагане, самых крупных запасах природного газа, открытых за последнее десятилетие, о концессии с «Роял Датч Шелл» по строительству кашаганского трубопровода, он, Угланов, всех ближе к казахам, и расходы на транспортировку ничтожны, и его трубный лист, непрерывно сходящий со стана-5000, способен выдерживать разрывные нагрузки, как ничей больше в мире, остается продавливать цену, и давай-ка он взвинтит эту цену на треть: извините, ребята, с той, вчерашней, и надо вам было соглашаться вчера, или пусть вам «Ниппон» или Миттал через весь континент за четырнадцать гонят... И вдруг — с ощутимой силой что-то кольнуло его, засадило в реальность президентского слова: «хорошо вы устроились, наш подуглановик?» — и глаза на панель: там кому это он?

Президент, постальнев голубыми глазами, отчислял из живых губернатора Козыря:

— Все никак не налопаетесь? Что вы мне тут лепечете: нет у вас денег? А где? Где деньги, Зин? Мы вам дали возможность сократить отчисления в федеральный бюджет — так сказать, эксклюзив вот с подачи господина Углового, чтобы все эти средства оставались у вас регионе... Ну и где расселение аварийных домов? Каждый раз в регион выезжаю — мне люди говорят одно и то же: посмотрите, как мы тут живем. Уже просто дома под откос на глазах у вас лично сползают, потому что «Руссталь» расширяет карьер... — И мгновенным переводом сверлящей холодной струи на Углового: — Покажите, пожалуйста, мне Углового там. Подключайтесь давайте, Артем Леонидович. — И слышали все: у «него» есть претензии, у «него» могут в принципе быть к автоному стальному претензии; пронеслось по нейронам, по сросшимся клеткам силовых и административных структур: вот кто следующий в очереди на «его» недоверие. — Ваша, ваша, Артем Леонидыч, идея была. Вы у нас самый главный сторонник свободы региона от центра. Хорошо, есть у вас результаты. Создаете рабочие места в регионе, и рабочие на ваших заводах довольны. Но за счет вот чего этот рост и зарплаты? За счет тех, кто работает на других предприятиях, не на вашей «Русстали»? И чего мы имеем? Больницы, в которых не лечат. Или школы, в которых не учат. Отчисляете деньги в бюджет областей, а потом они снова от такого вот Козыря к вам в казну возвращаются? Есть такое, скажите? Или злые наветы? Это Козырь у нас там не умеет работать? А вы лично все делаете целиком по закону? По закону, мне тут говорят. Хотя я бы подумал и все-таки дал надлежащие распоряжения соответствующим органам... — ледяная струя пробуравила кожу до чего-то в Углового, запустившего первый простудный озноб и заставившего у себя заподозрить под шкурой последствия давних сквознячков на

промокших от потной работы рубашках, — ...разобраться как следует, что за черная это дыра — специальный внебюджетный фонд администрации. Сергей Степаныч, Виктор Александрович, поручаю вам лично разобраться вот с этим хозяйством. Все у вас по закону, Артем Леонидыч, — нет вопросов, живите спокойно.

Первые признаки простуды налицо, заболел, подхватил ОРВИ государева недоверия и подозрения, и осталось — немедленно! — выяснить, прокачать, продавить до сути: насколько серьезно и какие нужны будут антибиотики, чтобы не околеть или просто прочистить заложенные носоглотку и грудь; тут пока, как в пустой, только что заведенной медкарте, был перечень и пока не подчеркнуто нужное... и с устоявшим, не обваренным, не покоробленным лицом, не задрожавшими руками, он все же вздрагивал под ребрами от нетерпения и жажды гона, как легавая, потерявшая ясно прочерченный след, — напасть и ринуться сквозь сучья напролом за пониманием, что «он» хочет от него, что это было вот сейчас — только щелчок ему, Угланову, укол, не проходящее месяцами ощущение укола в позвоночник, чтоб «поскромнее себя вел», или уже команда псарне: разорвать!

«Он» — аккуратный и холодный машинист, не сумасшедший, не фанатик подавления всех возомнивших о себе и наглых, «он» понимает, что углановское дело — титановая спица в разбитом костяке промышленности русских, на это он, Угланов, и закладывался, это и было веществом его неуязвимости и неприкосновенности — та сталь, которую он производит для страны и экспортирует в семьдесят стран мира. Но вот сейчас он понял, что не понимает, чего на самом деле хочет президент, не понимает, как он думает. Вот он, Угланов, думает о проке, о богатстве земли как о единственном или хотя бы главном президентском

целеполагании, а этот вот — изображение на плазменной панели, быть может, думает о самосохранении, об абсолюте своей силы, который он, Угланов, ставит под сомнение, тем, как ведет себя, как дышит, как растет. Да и при чем тут президент — всего один, придавленный плитой обязательств угодить всем без изъятия русским человек, пусть хоть и первое, но все-таки лицо, от которого явно зависит не все и во сто крат на самом деле меньше, чем от лохматого вождя неандертальцев в жизни племени; «он» — на самом верху, но «он» тоже — только клетка в составе, только лобная доля в силовой ЦНС, управляет, решает, но и подчиняется целому, так, как мозг подчиняется брюху, инстинктам: не позволит нажраться телесному низу — что-то недополучит он сам; эта вот вертикаль мыслит только как целое, в силовой вертикали все кормят друг друга снизу вверх по цепи, но и сверху вниз тоже: надо псарне подбрасывать, разрешать отгрызать от таких, как Угланов, куски, а иначе отдельные позвонки в вертикаль не спаяешь и опричной опоры из дворянства не выделишь. И это не «он» захотел, президент, верховная клетка, а «им» захотели: углановской слабости, повиновения... «Они» не допускают ничего отдельного от них существования, сейчас уже никто не может быть ничьим, сейчас уже каждый — под кем-то, и он это видел, Угланов, — закон: того, кто не встроился, не существует — и чуял как воздух, как воду, как клей, в который затянуты все, с неумолимостью положенного — каждый, но не он, единственный, the special one стальной Угланов, сумевший запустить такую машину созидания, что управлять ей может только он один... Мудак! — отчетливо бездонное презрение к себе плеснуло кипятком в башку и проварило, — да ты просто зашел в 90-х на ненужное и никому не понятное кладбище металлолома, а потом они дали тебе порулить девять лет и смотрели, как

ты автономно справляешься, а теперь, когда выжил завод, когда вышел в мировые топ-10, захотелось «им» мяса, нагула, приплода, возросшего на стальных урожаях могутовской аномалии, чуда, — стало можно и нужно стальную машину у него, самодержца, от-обобществить, вот сейчас, когда все в ней построено и запущено, как безотказные, идущие с непогрешимой точностью часы. «Они» же думают, кормушечное быдло, что отменная сталь отливается как-то сама, что и дальше там как-то все поедет само, без Угланова, так же «им», как Угланову, будут рабски служить эти сто тысяч русских железных (и ведь будут же, будут — потому что железные служат заводу, земле, зная только одно назначение: разгонять существом своим сталеплавильное пламя), и не надо ничем будет там управлять и предвидеть крушения рынков, выстраивая будущее, — так и будут пожизненно неуклонно вращаться валки и крениться ковши с первородной сталью. Как же он это все, свой Могутов, любил, как отец, как ребенок отца, и убил бы любого — да и скольких растер, — кто замедлит, ослабит непрерывное это поточное пламя, навсегда ему лично, Угланову, замесившее плоть. И теперь у него, из него это все вынимают. Ну, скорее всего, не завалят, дозволят при заводе пожить — показавшей хорошие результаты подопытной крысой: пусть и дальше он крутит, Угланов, колесики, обращая стальные урожаи в луарские замки для «них»; поведет он и дальше машину одобренным на Совете кремлевских попечителей лоцманом, не спадет он с лица, продолжая так же сытно питаться, но уже навсегда не хозяин себе и железному делу, которому равен. Страха не было, вещего чувства окончания жизни — навсегда не дрожал, на себе испытывший такие накаты не раз, ощущавший все время излучение Кремля и привыкший к нему, словно к солнечным вспышкам земляные рабы своей

тряской сердечно-сосудистой; так и вышел из Белого дома без дрожи, презирая за страх давно легших под Кремль алюминиевых и железных собратьев: все теперь, разбегаясь из зала интернет-конференций и толкаясь в фойе, на него, железяку, смотрели особо, узнавая и не узнавая, с усилием вспомнить: где-то виделись мы или нет? да ну нет, точно нет, не знакомы... с похотливой жадностью и усилием понять, угадать: это рак у него или «лечится»? устоит он, Угланов, вернется в доверие?

Отползет вот сейчас и посмотрит, что они ему сделают — станут покусывать или сразу подкапывать по окружности всей землеройной техникой. Все равно же подъедут обозначить условия: как и кем тебе жить, что из твоей машины будет — «их». Впрочем, разве он будет «делиться»? «Учитывать интересы» — да, а терпеть унижение, уничтожение несвободой — нет. С ней, свободой и властью над собственным делом, — ясен пень, как с беременностью: никаких «полу-полу».

5

Им ничего не говорят сквозь наглухо завинченные двери.

— С решки упал! Вякни мне, падло! Замуровать вас за такое надо вообще! И доходите тут теперь — не жалко. Отошел от скрипухи, муфлон, я сказал! — И дубиной по стальным полотнам вместо слов, всем затыкая глотки, лай гася захлебный.

Всех в ПКТ загнали после бойни, кто костылями вот хотя бы еле-еле шевелил и на запчасти уж совсем кого не разобрали, — так и томились по бетонным душегубкам тык-в-притык: где уж тут нары отстегнуть и опустить? — переплывали

ночь стоя, и сутки, и на вторые только сутки жидкой потемничкой подкормили, и на четвертые лишь сутки загремели и пережевывающе залязгали замки, поползла транспортерная лента, стали их выводить под огромное небо, и Чугуева вместе со всеми — в скруте страха и точного знания, что хорошим не кончится, не продолжится жизнь, хоть и в драку не лез и остался в ней чистым. Свет разрезал глаза, ослепил, и прозрели когда — окружал их все тот же плечистый, чернолицый ОМОН: втрое больше нагнали, с дубиной, с корытами, автоматчиков в масках, и на кровлях чернели по периметру снайперы и пускали своей дальноточной оптикой зайчиков — просто «Буря в пустыне» и «Черный дельфин».

И опять ожидание пустое для избивших друг друга придурков — так и стынут в шеренгах, покачиваясь от бессонной, дурной долгой слабости, ничего не желая уже, только б кончилось все поскорее. Наконец, офицеры выходят к ним, стаду, — все полковник к полковнику, звезды большие, и хозяина нет вместе с ними, начколонии полковника Требника, только кум, капитан Елисеев, семенит наравне, но не вместе с комиссией, из рядов исключенный и обратно не принятый.

— Не можешь?! Слаб?! Боишься?! — превратив глаза в сверла, орет на него чрезвычайный полковник. — Ведь конфликт назревал, видел ты, отвечай! Почему не докладывал?! На самотек пустил все втихаря!.. — И уже двинул к зэкам, стерева своим криком капитана из памяти бесповоротно, — жирномысый, одышливый, со сведенным подковой ртом и тяжелой брыластой мордой цвета петушиного гребня; шел весомо вдоль строя, наливаясь свирепой взыскующей силой и заглядывая зэкам в немые, обращенные внутрь глаза, резко остановился — напротив Чугуева! примечая разбитые в драке костяшки: не спрячешься! — посопел и, давя на Валерку глазами,

начал с мукой выталкивать: — Значит, так, заключенные! Лично я убежден в том, что многие тут из вас не пропащие люди. Я уже ознакомился — и по личным делам сделал вывод: есть такие, которые честно отбывают свой срок и хотят возвратиться к нормальной человеческой жизни. Я сейчас обращаюсь к таким. Понимаю: до этой вот крови просто вас довели. Та группа уголовников, бандитов, которую тут сколотил вокруг себя авторитет Сластенин, он же Сладкий. Они вас прессовали по-черному, и начальство колонии на это смотрело сквозь пальцы. Покрывало вот этих бандитов, чего уж таить! И начальство колонии будет наказано! Все виновные будут — с максимальной жестокостью! Но! Трое суток назад здесь случилась трагедия. Трое заключенных погибли. Тридцать шесть тяжело пострадали. И те, кто это сделал, тут сейчас среди вас! Тот, кто лично взял в руки железку и лично ударил! Тот, кто первым сказал: бей спортсменов или бей мужиков! И я спрашиваю вас: эти люди должны быть наказаны?! Обращаюсь ко всем, кто еще не забыл слово «совесть»! Обращаюсь ко всем, кто мечтает вернуться домой, к матерям своим, женам, к тем, кто хочет с себя навсегда снять клеймо уголовника! У кого вся душа изболелась от того, что он только всего один раз оступился! — И глядел на Чугуева, словно в нем прозревая такого и морщась от сильного сострадания к нему. — И если кто-то что-то видел, что-то знает — я лично обещаю каждому защиту и всестороннее участие в судьбе! Молчите? Слабите?! Что с вами посчитаются, боитесь? А что себя, себя своим молчанием топите?! Никто из вас не видел, кто ударил человека арматурой, — так, значит, били все! Это в группе, ребята! Вы хотите, чтоб я вас под эту статью? Через каждого третьего чтоб по новому сроку?! Я могу вам устроить! Кто сказал «беспредел»?! — оскорбленно и бешено заозирался, убивающе глядя на

всех как на самое подлое, смрадное зло. — Кто сказал «ничего не докажешь»? Да вы сами уже на себя показания дали! Кровью, кровью себе новый срок подписали! — И, смилив в себе гнев, отревев истребителем в штопоре: — Дураки! Я ж помочь вам хочу! И найти виноватых, подонков, мокрушников! Укажите их мне! Все поедут на крытку, кого вы боитесь! И живите спокойно себе. Безо всяких накруток срока свои честно доматывайте! А будете молчать — я вас предупредил... Вот ты! — в Чугуева опять воткнулся, выделяя. — Выйти из строя, заключенный! Доложиться по форме! И, сделав шаг, как с крыши, на ладонь, уперся взглядом в грудь полковничью, как в стену, и забубнил затверженное, кто он, с тоскою выпуская из-под сердца свою радиоактивную сто пятую статью и этой сто пятой себя неумолимо осеняя. Полковник от сто пятой вконец окаменел, ужаленный, прожженный непримиримостью ко страшному падению человека:

— А вот и Расскажи! В чем лично ты участвовал. Где был три дня назад ты лично, отвечай! Был на промзоне, был?!

— Так я там каждый день, на промке, на бетоне... Башку свою вот только руками закрывал, чтоб палками ее не раскололи... А кто на нас набросился, так эти, каратеки, а кто из них там кто, поди вот разбери, все ж они, чурки, на одно лицо... — легко выплевывать, по сути, только правду в пытающие зенки властной силы, и все равно дрожала в нем с паскудным воем продетая сквозь позвонки тревожная струна, и на себе уже почуял чей-то взгляд, как бы рентгеновский и останавливающий кровь, и, замолчав, отпущенный полковником, вернувшись в строй безликих, безымянных, нашел среди прочих офицерских лиц одно простое и вроде бы ничем не примечательное, стертое — мужичка невысокого чина, который

терпеливо простаивал должное только в третьем ряду чрезвычайной комиссии, почти заслоненный плечами и калганами старших. И глядел на Чугуева он только с кислой тоской, понимая так, словно знал, как паскудно Чугуеву в эту минуту и что мучается он ни за что: я и сам, друг, терплю — ну и ты потерпи, знаю правду твою, понимаю твой страх: что помечен ты этой своей сто пятой и напрягся сейчас, что она, та мокруха, к тебе новые беды притянет; вижу, ты этой бучи на зоне больше всех не хотел и в нее своей волей ни за что не полез бы; мало, что ли, таких со сто пятой, как ты, — только раз и ударили без желания убить, и душа в вас живая, и кровит она в вас, непрерывной тоской по загубленной чистоте истекая.

И вот это объемное, точное знание в ровных, сочувственных глазках икотнуло Валерку сильнее, чем сверла и рык чрезвычайного гражданина полковника: он, полковник, сейчас наорется на всех и уедет, а вот этот, простой и спокойный, — останется. Что-то было такое в этих глазках, проблескивая сквозь нагар старослужащей многолетней тоски, вот совсем нехорошее — приметливость и цепкость нового хозяина, зашедшего на новое подворье; Чугуева он выбрал и взвешивал, словно ударный — оставшийся от прежних хозяев — инструмент, проверяя, как крепко насажен на древко боек и как ладно ложится в ладонь рукоять: хоть на что-то сгодится еще или сразу на выброс.

И катилась уже по рядам переключки: «присутствует», «есть такой», «я, я, я...», знакомой дорожкой качнулась и пошла печатать шаг отрядная колонна, и так же он, как все, размеренно помахивал руками, убираясь долой с этих знающих все про него и скучающих глазок, которые и крючками нельзя назвать, настолько они были усталыми, беззлобными, настолько не хотели никого вскрывать и расковыривать, с

такой его готовностью, Валерку, отпустили в течение отрядной общей жизни, но от того еще вернее чуял Чугуев на себе неясное значение этого вот взгляда. И это ощущение — что отмечен — не кончалось, хотя за ним никто в барак не приходил, ни в первую неделю, ни потом, вообще их запяли наглухо в бараке, и жизнь пошла, как в трюме, как в вагоне для крупного рогатого скота.

Воцарилась литая неподвижность на зоне, молчание снаружи, а внутри — шепотки непрерывные, шорох: меж собой сговаривались все, что и как говорить, как начнет их выдергивать по одиночке на допросы следак, и поврозь их опутывать, и прихлопывать каждого на нестыковках, и Валерка с Кирюшей шептались, как им надо иконы мочить: «сразу, сразу на кран мы, схлопотали вот пару тумачков по башке, и туда, и уже ничего с верхотуры не видели». Ну и слухи, конечно, текли, закипали, пузырились: что хозяина нового в зону поставили, Жбанова, и главопера нового — Хлябина. И уже посинели, пожелтели на мордах, на избитых телах синяки — впрочем, все эти метки-побои в санчасти были сняты со всех и подробнейшим образом в личной карте описаны, и костяшки разбитые на руках тех, кто очень старался в побоище, — тоже. И Валеркины, сбитые о кочаны — обо всем говорящие — тоже, так что уж не отбрешешься, что не бил никого, только падал. Надо было, что ль, бошку ему подставлять, дать себя исцелить как следует, чтоб сейчас предъявить в оправдание себе канительные ребра и скворечник раскоканый. Вон Кирюшу ожбанили как — любо-дорого, сразу видно, страдалец невинный.

И на третью только неделю стали их к следаку из отряда выдергивать, и опять за Валеркой долго не шли, и вот это как раз и тревожило — что его неправдиво среди прочих забыли — напоследок как будто с какой-то потаенной меткой

оставили. Алимущин сходил — вернулся сам не свой: как будто под водой его там продержали, макнув башкой в чан, милицейские руки; упрятал вовнутрь глаза и молчит. Валерка не стерпел: «Да что такое, что? Чего тебе следак?». — «Да то же, что и всем, — что видел, чего слышал. Ну, я ему сказал. Мне дали — я ослеп. Кулак перед своим вот носом и увидел». И лыбится щербато: мол, все, как договаривались, но только вот глаза — соскальзывают сразу, пытающего взгляда Валерки не стерпев. «А смотришь как-то так вот. Чего недоговариваешь?» — «Чего же я такого... Что-то плохо мне просто, Валерка. Как тогда при тебе отпинали, так мутит что-то все и мутит. Котелок, видно, гады, встряхнули мне здорово».

Наконец и Валерку после всех к прокурору погнали. Молодым оказался да ранним допрашник, только-только в коробке со склада на зону к ним присланный, с бодро-розовым гладким лицом и майорскими новыми, как бы жмущими, не потерявшими изначально волшебную тяжесть погонами, башковитый, нахрапистый, цепкий, раскусивший уже сладость власти и четко нацеленный на то, чтоб к своим звездочкам новые поскорее добавить. «Вы же крепкий, физически сильный мужчина, Чугуев, — из себя выпускал он с медовой тягучестью. — Вот про вас тут написано: „пользуется уважением других заключенных“. Неформальный вы лидер, выходит, Чугуев, и хотите сказать, что все это движение в зоне без вас обошлось. Хата с краю? И голову вы как страус в песок? Не похоже на правду, Чугуев. Хорошо, допускаю, боялись, отказались участвовать, ну а в сам день разборки? В арматурном вас не было, все говорят. Но вот тут у меня показания отрядника Смагина... — краснобироной гниды! подлизы прожженного, кто всегда человека впрудить пионерски готов, сука, Павлик Морозов, как еще красный галстук за такое сучку не

нарезали! — Молотил кулаками в толпе. Бросил через плечо Нуралиева. Скончавшегося в результате драки заключенного Азиса Нуралиева. Ну и что вы мне скажете? Было, Чугуев? А когда вы тогда человека убили... да я все понимаю!.. но все же: вот когда вы тогда, то вы чем человека ударили? Тоже голой рукой?» Без ножа вот Чугуева этим вопросом, и расчет, что проткнет до пробоя, до крика: «Так железкой его, Нуралийку, железкой!» — и тогда уже следующий сразу, в пробитую дырку, вопрос: «А откуда вы знаете, что железкой, Чугуев?» На такого червя пусть плотариков ловит, а Чугуев был травленный зэк, наблатыканный.

Но тянулся, тянулся этот медленный, вманчивый спрос, с подковыркой вопросцы, и в другой раз, и в третий вызывал его этот к себе, и вот тут-то он и появился — вот тот самый скучающий, простоватый, пустой мужичок с ширпотребным скуластым лицом и спокойными, ровными, дальнотерко все знавшими глазками — заскочил, проходной будто комнатой пробегая куда-то к себе, и присел на минуточку на подлокотник, с уважительножадным вниманием прислушиваясь к молодому, как к старшему, и вот это был новый главный опер Ишима по фамилии Хлябин. Посидел так немного, на Валерку украдкой поглядывая со значением: вижу, как тошно тебе, вдруг с каким-то повинным страдальческим вздохом качнулся и, пригнувшись с почтительной осторожностью к гостю, загундел что-то в нос и на ухо невнятное, не губами, не горлом — нутряным голоском, предназначенным для обнаженных и теплых «тыр-пыр» со своими, и Чугуев, напрягшись, хватывал только обрывки: не того, не того ты копаешь... Ну мента он, мента, за мента тут сидит и как раз вот поэтому тише травы: только дунь на него — и прогнется... И, оторвавшись вдруг от прокурора и загнав в Валерку

отбраковывающий взгляд, проныл сквозь зубы так, как будто выдавил Чугуева из памяти своей бесповоротно: «Да иди ты отсюда, вали!» — приподнялась, как будто вздернутая краном, и начала отваливаться с груди Чугуева плита, и не поверил неправдивой этой легкости и окончательности своего освобождения: померещилось что-то затаенно недоброе в этой хлябинской легкой, ни за что справедливости. Непростой куманек им достался вместо старого, ох непростой. И, вернувшись в отряд, не обмяк, не одыбал в промывшемся, поднимающем душу, как парус, очистительном воздухе, и все ждал, что вернутся за ним, что на этот раз Хлябин его к себе дернет, но один к одному незначительно, пусто ложились обычные дни, и уже стали их выводить на работу — восстанавливать все, что на промке порушили. Первым делом, конечно, на запретку погнали — чтобы сами себе городили по периметру новый забор: там уже громоздились рулоны колючки и рабицы и бульдозер с урчанием бодал престарелые бревна-столбы — те надсадно скрипели, натянув проржавевшие струны до звона, и кололись и лопались с пушечным грохотом.

Зачастили на зону комиссии — «по правам человека», по «качеству жизни», и повсюду затеялось на жилухе строительство, и зарылись козлы с мужиками, обнимаясь с мешками сыпучего мусора и качаясь под тяжестью кладочных смесей, сокрушая асфальт и буравя бетон, подновляя бордюры, насаждая шеренги из молоденьких елочек и прутков тополей, и Чугуев работал уже с наслаждением, то шпуря престарелый, матерый, то взбивая вибратором новый бетон, с прежним остервенелым, не слабеющим рвением вклеившись в машинку и боясь хоть на дление краткое разлучиться опять с булавой, перфоратором — перестать быть

стальным, механически точным куском, безымянной, затерянной единицей рабсилы: вот пока он сжимает рукоятку и хобот, его как бы нет, никому он не виден и не нужен, прозрачный.

Нажимал и долбил, подымал и ворочал, пока кто-то не тронул его за плечо, и мотор в нем заглох, оборвался, взорвался, когда он обернулся и уперся вот в эти ровно-сучные глазки. Новый кум на мгновение только его отключил от сети, чтобы что-то проверить, убедиться вот быстро, что нигде ничего он под шкурой, Чугуев, не прячет, и дальше пойти — оглядел снисходительнотускло Чугуева и, внезапно заметив в чугуевском запыленном, изгвазданном облике что-то, что жестоко его оскорбило, со внезапно и резко прибавленной громкостью, чтоб слышали все, кто работает рядом, ледяно, отчужденно, официально сказал:

— Кепи, кепи где ваша, Чугуев? — И не понял никто, что за «кепи» такое: вольтанулся начальник? — Вы понимаете, осужденный Чугуев, что за нарушение формы одежды, проявленное в виде непокрытой головы, я могу с полным правом вклеить вам трое суток ШИЗО? — и вонюче, чтоб слышали все, заорал ему в сцепленный рот: — Вякни мне, бандерлог! Ну за мной пошел быстро! Цоб-цобе, цоб-цобе!

И Чугуев пошел, оступаясь на ровном, в загудевшем от крови, темнеющем воздухе, коридором надраенной до хирургической чистоты оперчасти, и уже провернул Хлябин ключ в кратко хрустнувшем, словно треснули кости, замке, заводя для Чугуева новую жизнь, как часы, запуская захватный механизм и дробилку...

— Присаживайся, — изможденно упал в пухлокожее кресло, дернул ящик в столе, вырвал что-то застрявшее с ненавистью, шваркнул перед собой папку-

скоросшиватель, распахнул на заложенном, впился пчелой, сделал «бу-бу-бу-бу, э-хэ-хэ», перечитывая мигом все признаки досконально изученной неумолимой болезни: как сказать человеку, не найти таких слов, невозможно в глаза, но усилился, выжал голову, как из окопа, и глянул на Чугуева еле выносившими жжение, заболевшими глазками: — Значит, вот что, Чугуев Валерий, давай-ка мы с тобой напрямки, безо всяких там этих... Затянули тебя в тасовище, дебилы. Не хотел, а пришлось отбиваться, чтоб чердак тебе не просквозили. Ну а как? Надо жить. Для того восемь лет на коленках прополз, чтоб пришибли тебя ни за что так случайно и глупо? И на кран полез, так?.. с заключенным Алимужкиным. Отсиделись вы там до ОМОНа. И под этим вот краном был убит заключенный. Этот самый Азис Нуралиев... Да дерьма он кусок, без него на земле только чище, только вот отвечать за такое дерьмо по закону надо так же, как за человека. — И с задавленным стоном от дикой, оскорбительной несправедливости жизни: — У меня есть все данные, факты, свидетельства в отношении тебя. Ты ударил чурека куском арматуры.

Сваебойная баба вколотила Чугуева в землю. Ничего не рвалось в нем, не лопалось, не могло закричать от живой, не кончавшейся боли. Ненасытная, сильная кровь, что качалась насосами в нем все черней и черней, просветлела и остановилась.

— Есть железка, которой... ну, это вот самое... и на ней твои пальчики.

— Не-э-э-ет! — Кто-то в нем закричал, от него одним махом отхваченный и забившийся всей своей кровной силой уже не в Чугуеве — как вот носится по двору безголовый петух, еще больше живой на короткое дление, чем когда был живым. — Это ж промка, там все в моих пальчиках, все! Где их нет, лучше вот поищи, моих

пальчиков!

— Ну железка-то так, для комплектности. Показания есть бронебойные. Заключение Алимущин, бывший с тобой все время, показал на беседе, читаем: «...и тогда он, Чугуев, взял прут и ударил Нуралиева по голове. Нуралиев упал, после чего Чугуев еще дважды ударил его в область головы».

Безголовый петух в нем, Чугуеве, отпыхал — силы даже на вспышечную, отсырелой спичкой мигнувшую ненависть и потребность размазать по стенке Кирюшу в нем не было. Ну а Хлябин орал страшным шепотом непонятно кому:

— Да я все понимаю! Да я сам бы зубами! Лишь бы к дочке вернуться. Ну это у меня дочь, у меня! Я же вижу, какой ты, Чугуев! Есть в тебе что-то от человека! А иначе пустил бы тебя по конвейеру вместе с прочей нелюдью, без сожаления! Ты не хотел, ты защищал всю свою будущую жизнь всей силой жизни, но — убийство есть убийство. И судья, он как только услышит про мента твоего, про такую сто пятую, как у тебя, — это будет, как красная тряпка для быка, для него. В новый срок закатает, как репейник в дорогу. Вот что больно, Чугуев: восемь лет тебя гнули — ты вставал и вставал, запичужить хотели, а ты им не дался, а теперь пропадаешь так глупо, наглушняк тебя этой новой десяткой! И вот он я сижу перед тобой, человек, что обязан дать ход, и я в первый раз в жизни не знаю, что делать. — Корежил его долг, ломала навалившаяся глыба, но, раскорячившись, треща по швам и лопаясь, он еще мог ее замедлить, придержать... — Я могу сделать так, что все это никуда не пойдет, понимаешь? Не для тебя, Чугуев, — для себя, из справедливости, как я ее, Чугуев, понимаю. Какой-то выродок, природный каин вот, он будет и дальше дышать, а ты нет?! Не пойдет, я считаю! Но и ты помоги мне, Валерий Чугуев!

Обещание спасти еле-еле добило в глубь его нежилой головы — из земли он глядел в эти глазки, человека, который обещал ему жизнь, и с внезапной режущей ясностью на какое-то дление поймал настоящее их выражение, смысл, то, как смотрят они на него — улыбаясь, как свалившейся в яму лосиной подыхающей туше. Неживая, пустая, подземная ненависть затопила его, раздирая Чугуеву пасть, но его не меняя, бесполезно стального, огромного молотобойца, не сорвав с неподвижного места и не бросив на эти вот глазки, существо уязвимое, хлипкое, что сейчас только чвакнуло бы под его кулаком: вот когда и кого в самом деле захотел он убить и сейчас-то как раз не мог — ничего поменять, расчекрыжив вот эту поганую маковку, — возвратить себе прочность, возродиться в надежде, как опиленный тополь, на новую жизнь... И кому он, зачем, задыхаясь своим загроунованным криком, хрипел и шипел:

— Ты, ты, ты! Ты мне этот костюмчик, мокруху!

— Я, я... — поддразнили его совершенно бесстыдные глазки, в неподвижной уверенности, что Чугуев не кинется на него, как на стену. — Для тебя это что-то меняет, Валерик? Ну я! И чего ты, что дальше? Новый срок на себя возьмешь этот, чтобы тут окончательно мхом зарастить? А ведь можешь ты, можешь человеком отсюда, как надеялся, выйти! День вот в день, по звонку! Ну а может, и раньше! Вот к жене своей верной, пока молодая и ты молодой! К сыну, к сыну Валерке, что пока еще помнит тебя! Захотеть только надо — и выйдешь! Ты ж боец — где же воля к победе? Развопырился мне тут: было, не было, не убивал. Да ты убей! За жизнь свою убей! За дорогих тебе единственных людей, за волю! Всякую тварь, которая тебе мешает выйти! Да вот меня, такую тварь, за глотку, если бы это изменить могло хоть

что-то! И я бы первый понял тебя, первый! Ведь я ж тебя вижу: ты потому и цел на зоне до сих пор, что эту цель имел единственную — выйти! Так ты и выйди — можешь это, знаю! Ты помоги мне только пару-тройку раз. Давить помоги мне тут всякую шушеру... Ты послушай, послушай сперва! Стукачков у меня без тебя — по рублю за пучок. Каждый пятый козлит, пидармоты непроткнутые. Я тебя с этой швалью мешать не хочу! Я тебя о другом попрошу.

Ничего он не понял, Чугуев, и уже понял все, словно кто-то вдавил в его черепе кнопку и в мозгу его вспыхнула яркая лампа, осветив ограждения в будущем, сквозь которые должен теперь прорубаться на волю, то свое изначально звериное из себя выпуская, что в себе эти годы на зоне как раз и давил и хотел навсегда погасить без остатка — верность дикой, когтистой и клыкастой свободе, равнодушную силу, безразлично которой кого молотить и куда попадать кулаком, исполняя для Хлябина то вот как раз, что ему Хлябин шил, в чем замазал сейчас, и смывая с себя эту мнимую кровь настоящей... А на что он еще в этих глазках годился, безголовый железный колун? — только этим одним мог для Хлябина быть, сваебойкой, ковочным прессом, забивающим в землю всех, кого скажет Хлябин.

— Это что же — в забойщики, мясником ты меня?..

— Да в какие забойщики?! — Хлябин аж поперхнулся от гнева на такую крошечную дурость. — Ты б еще это самое... в палачи бы сказал. Я ж не мясник, не людоед, Чугуев. Я нормальный такой... рыболов. Я что сказал: увачкать? Да физически просто немного нажать. И главное, не на блатных, не бойся! Времена поменялись, Чугуев, — с расстановкой вдавливал, разъясняя ему, как дебилу. — Ты пока восемь лет этих чалился, безнадежно от жизни на воле отстал. — И,

проказливо глянув на дверь, подкатился на кресле в упор и на ушко Чугуеву, в душу задышал с заговорщицким стоном, выпуская назначенное для подкожного впрыскивания: — Коммерсанты, Валерик, на зоны поехали, ну жулье, торгаши всяких разных мастей. И не мелкие мошки — банкиры! Уж такие большие чинуши, что воруют вагонами. Олигархи вон целые. В свое время страну раздербанили: кто заводик себе, кто дворец пионеров, нахватали кусков, что аж в брюхо не лезет, и думали, что ни власти на них, ни закона. Ну а мы их — к ногтю! Мы, мы, мы, мы с тобой. Они сесть-то вот сели, а на воле у каждого нычки остались, миллионы в загашниках. У меня уже есть на примете такие, вот заехали двое к нам с последним этапом. Вроде мелочь, пескарики, и держал-то всего на Камчатке какой-то консервный заводик, а копнешь — мама родная, сколько в брюхе икры! Видел, как осетров-то в неволе разводят? Им такой специальной железной приبلудой брюшко протыкают, типа полрой иглы, — проверяют, созрела икра или нет. И почему бы нам с тобой, Чугуев, тоже тут, на зоне, свой собственный рыбий садок не устроить? Вот когда они сами к нам сюда, как на нерест? И людишки-то дрянь, плесень новой России, ну а главное, мягкие, о-о-очень податливые. Целиком он весь твой, как на зону зашел, всем своим гнилым ливером. Ну, быть может, по мясу погладить придется, а скорее всего, просто сунешь под нос ему кулачок сталеварский. Да он сам к тебе первый за защитой метнется. Чтоб блатные на хор его в первый же день не поставили. И он наш с тобой, наш, все впрудит, что на воле сберег и на Кипре в офшорах припрятал. Думай, думай, Чугуев. Ты не только отсюда молодым и здоровым — ты богатым еще можешь выйти. Чтобы сын твой, Валерик, ни в чем не нуждался, чтобы чище жил, лучше, никогда не отведал чтоб этой всей грязи. Чтоб

жене за все годы ее ожидания воздать самой полной мерой. От тебя же зависит, от тебя одного — как, дождется она или было все зря, даром жизнь загубила свою, красоту, для тебя одного, дурака, сберегая. — И вот это он знал, вскрыв Валерку рентгеном от горла до паха.

— Ну так я-то зачем тебе, я? Мало, что ли, охотников на такую работу? Да и сам можешь вмиг припугнуть, кого хочешь... — Значит, сдох он не весь, все еще телепался, и, еще не рванувшись, попытавшись вот только вильнуть, сразу зубы почуял на горле: слишком уж глубоко прихватил его Хлябин, чтобы выпустить и обменять на кого-то другого. Да и верь упырю. Уж вот точно, статьей за убийство его придавив, от Валерки в оплату за волю не меньше, чем убийство, запросит. Отожмет и раздавит, сольет по инстанциям, чтобы не завонял. В ту же сточную яму, что и всех до него.

— А ты, значит, не хочешь? — В голос Хлябина капнули раздражение и спешка, уморился ласкать — глазки ткнулись в Чугуева, словно вилка в розетку: я скажу тебе, что и когда делать, кем и как тебе жить. — Быть богатым не хочешь? А, ну да, я же ведь и забыл, у тебя же ведь братец в правлении целой «Русстали», ведь бывает такое! Или что — на хер нужен ему такой брат? Уж он, если хотел бы, так давно бы тебя откупил. Не паскудно, Чугуев? Родной младший брат об тебя пачкать руки не хочет. Под откос тебя, брата, спихнул, чтобы ты, кровь родная, его не забрызгал. Может, он мне еще и приплатит, чтобы я тебя тут насовсем прописал? И считаю, он прав: вот кому тебя надо такого? Он — владелец заводов, а ты — каин законный. Что я буду тебя тут, как целку, уламывать? Ишь ты, тварью не хочет он жить, мясником становиться, зверюгой. Ну а есть-то ты кто? Вот мокрушник и есть! Хочешь воли

глотнуть — так давай, ну а нет — доходи, я неволить не стану. Да, и еще, на всякий случай, чтоб ты иллюзий вредных не питал: если над собой учинить что захочешь, там потроха себе расшить не насовсем или цапку, не дай бог, отначить, так и знай: эта самая папочка, — и любовно-блудливо погладил протоколы, подшитые в полном порядке, — сразу в дело пойдет. Нету смысла, Чугуев. У нас убийцам милиционера за новую мокруху амнистий не положено. Даже по инвалидности. Так что если уж будешь вскрываться, ты давай насовсем. Кончи жизнь свою эту проклятую! Глупо, Валерик! Из-за чего такой сыр-бор, когда все можно сделать по уму? Я ж верняк предлагаю тебе, дураку. Шанс один, блин, из тысячи на рождение заново. Да, и еще на всякий случай: насчет дружка-то твоего, Алимущкина этого: ну вот слаб человек, выходить ему скоро, вот и сжег он тебя... А ведь ты ж его грел, а ведь ты его спас... Так ты это, Валерик... ну если захочешь за такое паскудство с ним сделать чего, так ты сделай, Валерик, я тебе разрешаю. По уму только сделай, прикинь, как все это обстряпать и загрузнтовать. — И, опять привалившись к Чугуеву, зашептал растрavляющим, с бабьим срывом дыхания, нутряным голоском: «ой, Валерка, не надо!» — подкатившей горячей кровяной волной покачивая в нем, Валерке, звериное и давая почуять в пальцах хлипкое горло, радость верной расплаты: — Ну а хочешь, я сам его лично схарчу? Прямо на КПП навсегда заверну, когда он, скот, на волю выходить уже будет? Вот душа на отрыв от земли — и тут на ему, на! — Не насочившись, не проев, наткнувшись на что-то в нем, Чугуеве, отдельное, чего не мог он, Хлябин, смять и растворить, вдруг оборвал свои вонючие придыхания и, отвалившись от добычи, скучно бросил: — Ну хорошо, как хочешь... Все тогда, проваливай. Уж извини, но трое суток тебе придется все-таки в кондее оттрюмачить.

Для конспирации, Валерик. Чтоб ни одна живая тварь не докумекала, о чем мы тут с тобой говорили.

Поднялся и хозяйски шлепнул Валерку по плечу. Паскудно.

Как собаку.

«Покажите, пожалуйста, мне Угланова там...» — после этого все поменявшего президентского слова непрерывно ждал первых накатов... и ничего, ни камушка еще не сорвалось с кремлевского холма: стояли каменные глыбы на тормозах с такой незыблемостью, словно там ничего не сработало и не могло — против Угланова — сработать, государь повелел «разобраться» с Углановым — и никто не услышал его.

Пятиметровой ширины новорожденные, размером с теннисные корты, огненные слябы караваном паломников в Мекку, ледоходом катились по рольгангу и плющились великанскими скалками в чистую, ровную Волгу, чьи стальные полотнища становились артериями ВСТО, «Голубого потока», шли в Аравию, Индию, Пакистан и Китай по контрактам с чудовищами мировой нефтегазодобычи, на завод караванами верующих повалили инвесторы: «Дойче Банк», «Креди Суисс», «Сосьете Женераль»; на огромном ЗапСибе тоже все задышало в общем ритме с Могутовым, и никто не уперся оспорить, аннулировать сделку в судах, предугадывая и исполняя желания Кремля, вставив на всякий случай распорку Угланову в пасть, пусть она там и треснет зубочисткой на жвалах.

Прокуратура и УБЭП вцепились в Козыря, углановского клоуна, колено в углановской системе сточно-очистных сооружений, вмонтированное на углановские деньги в губернаторское кресло, и уничтожили, как что-то от Угланова отдельное —

обыкновенное чиновное самостоятельное зло, столь же далекое от мощностей «Русстали», как сомалийские пираты и Аль-Каида.

В сентябре он по графику вылетел в Лондон на заседание топ-20 металлургов в кенсингтонских дворцовых садах Лакшми Миттала — индус как вырастил идею о слиянии своей империи с «Руссталью» в сверхструктуру, так и вворачивал ее Угланову в мозги за разом раз и всякий раз по-новому, — и вот тут и добил до английских лужаек звонок из России: постучалась к ним в дверь, поскреблась коготками в порог и зашла с «извините» налоговая, осторожно, опасливо трогая все, что дозволено, зарываясь в лежащие в кошачьих ларьках вдоль «руссталевских» плинтусов кипы отчетности: ничего не нашли, будто и не старались особо, но вот как-то совпало с его новой встречей с индусом: перспектива продажи и слияния «Русстали» с мировым великаном означала уход навсегда Угланова из-под власти законов Российской Федерации — «в мир», это им, клеткам властной вертикали, предельно бы затруднило потуги взять машину Угланова в государственную собственность.

И сперва грызуны еще только скользили коготками и зубками по отвесно текущему вверх совершенно прозрачному льду: чисто было насквозь, во всех пунктах сдачи денежной крови на благо России — и тогда они двинулись вглубь, в подземелья, в подвалы, прогрызая дорожки в затвердевшем покойническом и стариковском дерьме, начиная раскопки в предполагаемых местах доисторических стоянок человека, разбивая ломami осклизлые, полные черной жижи гробы и вскрывая свинцовые скотомогильники с перегнойной банкнотной трухой исчезнувших цивилизаций, вывозя самосвалами кладку документации за 2003, 2000,

96-й нашей эры... и ведь рыли не только в «руссталеvских» офисах наверняка, а повсюду, «где ступала нога человека», далеко за пределами зрения и углановской памяти даже, хотя он «помнил все» и засыпал негашеной известью то, что могло завонять, добивая до нюха из прошлого. Раздражали кротовье упорство и монашеское послушание, с которыми археологи в синих мундирах прорывались до нижних пластов, до реликтового, что смердело и не замерзало под каждым: «тогда все мы так жили и по-другому выживать было нельзя».

Прибегал, словно поднятый гоним, но еще не подраненный, не ужаленный сколь-нибудь ощутимой дробинкой Ермо и, швырнув на столешницу свежие сводки с фронтов, с осязаемой силой ощупывал взглядом углановский череп: ну давай же, Угланыч, ты же тут, у себя в котелке, каждый раз безотказно вынашивал и выращивал ядерный гриб, водородную бомбу, идею, что сносила ударной волной любых самых сильных, приходивших нагнуть нас с тобой, ну давай, ты можешь, и сейчас ты найдешь, как же нам отключить эту вот радиацию, от которой у нас, если все так и дальше пойдет, остановится кровь.

— Ну чего ты сидишь-то, как кот над сметаной? Посмотри, что они пробивают. Они старые наши ЗАТО пробивают. Лесногорск, Златоуст-36, Заозерск. Просеивают вручную песок. Всюду, где НДС с тобой спиливали. Все прокладки в ЗАТОшках, сквозь которые сталь прогоняли. То есть все вообще, за любое цепляются. Ты же ведь понимаешь, что так будет последовательно. Что ж ты гонишь по встрече, как бухой тракторист по проселочной? Типа делаешь вид: курс проложен, и тебя никому не спихнуть. Мы не сможем так двигаться вечно. Когда нас подгрызают. Когда, блин, вообще непонятно, от кого все вот это исходит — конкретно кого! Нет, ну понятно,

что сигнал пошел от «самого». Но ты скажи, это «он» сам тебя так разлюбил или какой-то пидорас «его» настраивает? И если настраивает, сука, то кто? Ну Бесстужий, понятно — ему мы везде перешли, но ведь сам он никто, он под Свечиным. Вся эта их компания фээсбэшная. Они же как мы — с девятого класса, опоссумы, вместе, в одной волейбольной команде играли. И если от этой компании все, тогда что им надо, размер их претензий? А если «он» сам так настроен, тогда... Хуже, если «он» сам. Если ты уже так раздражаешь «его» самого. Говорят, знаешь, что «он» сказал... — сообщал как про страшное, рак. — «Неужели никто, кроме меня, не может дать вот этому Уланову по рукам?» А я говорил тебе ведь, говорил. Все эти, блин, твои самодержавные замашки. На хрена ты хамил «ему», а? Прибаутками, блин, в «его» духе «ему» отвечал? Я, мол, лопаю так, как потопал. Ты, мол, тоже потопай, как я. Кто говорил, страной управлять должны промышленные люди, все остальные — менеджеры клининга? Это ж самое худшее, что вообще может быть. Если «он» посчитал себя лично задетым. Я звонил Вите с Сашей... если ты не желаешь звонить: мол, не царское дело... Они сами пошли на снижение: «он» ничего уже им не считает нужным объяснять. Голодцу звонил, всем — они умерли. Или мы, что верней, для них умерли. Так что ты бы кончал свои детские — не позвоню, не поползу через порог, как в Золотой Орде у хана, кверху задом. Тема, надо сейчас выходить на контакт с этой всей волейбольной командой, потом будет поздно. Ну не хочешь ты сам — ну давай тогда я, я не гордый. Пусть они обозначат — как бы это, прости, ни звучало — условия.

— Ты дебил? — отключил это хлопанье ластами. — Да «Руссталь» целиком — вот и все их условия. Зачем требовать долю, если можно взять все?

— Ну а «его», «его» позиция какая? Кого «он» видит в нас?

— А у «него» одна позиция — сверху. «Он» там как бы вообще не терзается. Все же цивилизовано. Никто же нас с тобой не ставит к стенке, не объявляет аргентинскими шпионами. Нас вообще по предварительным раскладам предполагается оставить у руля. Машинка-то нужна в исправном состоянии. Мы с тобой будем дальше работать, а они нас с тобой потреблять.

— И если не ляжем... — С девятого класса Ермо изучал устройство «Угланов»: не согнется, не ляжет. — Тогда нам надо как-то выходить через продажу. — Глаза его обшаривали завалы, скальную породу. — Как думаешь, с Митталом слиться реально? Тогда это все, это будет сверхновая, и суд ее величества тогда решает, кто мы. Да только вот хрен — сквозь антимонополку не пролезем. Вот рыпнемся только — и сразу угроза национальной безопасности России. Ну что ты так лыбишься? — И впиялился с собачьей, рвущейся в тепло, к дымящейся миске с костями надеждой — едва разглядев и давно изучив значения всех углановских ухмылок. — Придумал что? Придумал?!

— Ну уж не под Миттала лечь — это точно. Если ты даешь трахнуть кому-то жену, то ты как называешься? А если ты идешь с достойной женщиной в загс? Ты, кстати, как к француженкам относишься? — Угланов выкладывал давно припасенное, свой план пятилетки, творения «Русстали», идею, которую выносил, выточил еще до вот этой войны с русской властью, и надо было только подождать последние пять лет, пока сталелитейное французское исчадие «Арселор» утратит окончательно плавучесть. — Мы продать ключевую компанию фашистам не можем. Но жениться-то можем. На любой иностранке. «Арселор», «Арселор», — вдунул

желтое волчье пламя Андрюше в глаза. — Он потонет сейчас без подпитки ликвидностью. Там сейчас все решается. Миттал хочет давно в абсолютно крупнейшего вырасти. В идеале сожрать и французов, и нас, у него же ресурса немерено. Треугольник любовный стальной. И какая тут наша игра. Я ему обозначил, что готов с ним работать в направлении слияния, если в общей структуре у нас будет сорок процентов, и поэтому он сейчас вылетает в Москву — пробивать это дело. Ему кажется, здесь — Украина, дикарям показать можно будет стеклянные бусы, и они ему все отдадут. Это всем им немного собьет равновесие. И Кремлю, и индусу. Ну а мы, пока весь сыр да бор, тихой сапой к французам подкатим. Миттал им предлагал свои акции, фантики, за поглощение: типа он на прокорм сорок тысяч рабочих берет и потянет со дна их, а мы — пять с половиной, сколько можем живыми деньгами сейчас, и плюс все наши акции. Либо мы им подбросим вот этот кусок, либо им половину своих сталеваров к зиме сокращать и у них это кончится штурмом Бастилии. Они сделают к лету, какую мы скажем, эмиссию, как бы под привлечение, а на деле под нас, чтоб у нас в капитале была половина фактически. И у этой команды волейбольной тогда вообще нет никаких рычагов юридических, чтобы это нам остановить: мы же родину не продаем, мы для родины, наоборот, покупаем ресурс. Ну а то, что прописка у новой компании будет в Люксембурге, а не в Элисте — это уж извините, мы право имеем. Мы уж как-то, наверное, это успеем, Андрюш, прежде чем они нас подкопают в России... — перепахать построчно, выпестовать сделку, по миллиметру на коленях проползти 174 метра брачного контракта, с миноискателем, сверхчутким эхолотом на предмет выявления донных ловушек. Это будет высасывающе медленный, долгий процесс — взаимных одобрений,

несогласий, переписывания буква за буквой свода правил семейного существования, прохождения контрольных отметок «симпатия», «страсть»... до «давай будем вместе всегда» и до «я поняла, меня в этом человеке устраивает — все», он запрыгнул в кабину, Угланов, запустил этот счетчик на дни и минуты, и теперь либо он обнесет Нотрдамским собором европейского права свою собственность-«я», либо эта, родная, трясина сожрет все его напрягаемые прочности.

— Ну а если они нас... — сквозь очки заблестели глаза у Ермо, колыхнулось горячее зверье нутро, — чисто русскими методами?

— Так в России живем, — только верность свободе и злое веселье жгли Угланову ровным калением живот. — Русский — это ведь тоже судьба.

2

По свободной, до звона натянутой хорде раскраивал воздух углановский поезд, пусть и плещет теперь то и дело будильничным дребезжанием в ухо, как крутым кипятком из свистка скороварки: прокурорские крысы взрываются в клочья на прогрызенных ими местах силовой изоляции, но грызут и грызут, прорываются вглубь, и прошли уже апт-неоком, келловей, на Украине разрыли лжеэкспорт — бересту с полустертой печатью могутовской «дочки» и просьбой к Украинским железным дорогам переправить семнадцать вагонов белой жести из адреса SANKO Makina Ltd в адрес ЗАО «Завод имени Малышева» — уклонение от обязательной донорской помощи Российской Федерации и Украине в размере 40 % НДС. В закрытых территориальных налоговых могильниках Свердловск-44, Свободный,

Заозерск, Разбойник, Черный Камень, в калмыцких степях и мордовских лесах, свободных от коврового налогообложения, неумоимо копошились бригады археологов, обмахивая кисточкой фрагменты клинописных уставных табличек ООО «Бозон», «Пульсар», «Квазар»... и сколько еще было выстроено им, Углановым, молоки однодневков, необходимых только для того, чтобы десятки раз перепродать себе же самому новорожденное стальное содержимое многокилометровых железнодорожных составов и срезать все фискальные щупальца, путы, лианы Государства Российского.

Подкатали к гранитным берегам монумента императору Сталину, заползли сквозь чугунные кованые, с треугольником и шестерней «Русстали», ворота — толкнулся из-под черной брони, распрямляясь во весь двухметровый, и сразу меж привычными автомобильными спинами на стоянке приметил долгожданных гостей: две незримо как будто осиянных, лучащихся вездеходной силою туши «А8» с фэсэошным «лендрровером» сопровождения. Без звонка, церемоний вонзились — «мы решаем, когда нам с тобой разговаривать», «мы проедем к тебе, когда мы захотим», вот совсем как бандиты Сильвестра и Дедушки в позапрошлую эру валютных менял и железных ларьков с бабл-гамом: те могли его тронуть руками, и тогда он, Угланов, подрагивал от животного страха, а сейчас — в общем, нет.

Он воткнулся под своды, и тюленья головка секретарши с глазами белька пропищала ему из-за стойки вдогонку: «тут к вам из... и сказали: никому не звонить». Смысла не было в «пусть подождут», в ответных насекомых уколах броненосцам: вырвать руки и выволочь за ноги — если б это, не меньшее, мог он сделать с ублюдками... все равно он их ждал, даже зная в лицо, кто придет. «Запусти

их ко мне», — опустил за стол и еще раз прислушался: ничего не дрожит в нем под ребрами — и остался доволен равномерным и равнообъемным беззвучием сердца.

Первым сунулся в щель молодой, по папе, с гладко-стертым безликим лицом, во всем только что купленном в «Эппл-стор» и Столешникове, и без спроса уселся, безошибочно выбрав за столом подчиненное место и оставив хозяйские старшим, Константинов Андрей Константинович, хорошо не Иван хоть Иванович, проводить разговор будет он... А за ним уже длилось, тянулось трудовое больное сопение и фыркание тягача с волочащейся следом понтонной секцией, монгольфьера, амфибии на воздушных подушках — как на третий этаж поликлиники на перевязку, вперся в дверь генерал безопасности с провисшей жировой горой живота и угасающими скорбными глазами сенбернара, и прицепом за ним — больше чем ожидаемый скот и ублюдок Бесстужий, возрожденный из падали, уцелевший в строю самых незаменимых при незаменимых: свирепыми рывками озирался и зыркнул на Углового — живучей, осиянной частицей абсолютной силы, с огромным наслаждением впился и выедал Углового глазами, того, по чьей вине все сразу у него пошло, Бесстужего, не так и даже вообще остановилось — застрявшие на ленте транспортера жирнейшие куски, и вот он наконец пришел, как обещал, — чтоб выжать из Углового все масло!

— Ну что, сразу к делу, Артем Леонидыч? — Уроды развалились в кожаных летающих сугробах. — Вадима Алексеича, так думаю, — по папе поклонился раздавленному животом генералу, — представлять вам не надо. Ну так вот, нам сейчас надо с вами, Артем Леонидыч, решить вопрос о вашем будущем, не больше и не меньше. Вы, наверное, уже ощутили, как плотно работают с вашими старыми, так

сказать, контрагентами, и, конечно, иллюзий, как умный человек, не питаете, чем для вас это кончится в связи с тем, на каком это уровне все. Понимаете уж, а ведете себя... Что же это такое вы задумали с Митталом? Вот так вот взять и вывести крупнейший металлургический актив страны из-под российской юрисдикции.

— Ты-и-и што это, а?! — Генерал, пораженный в нутро, в пуповину живую, всею тушей рванул из диванных сугробов, пересиливая гнет своего живота. — Весь народ, надрываясь до кровавых мозолей, построил — чтобы ты присосался?! — наливаясь расстрельным свинцом, ненавидяще впилился в вора. — Чтоб индусу теперь ни за хрен?! На тебя отпахали уральцы-рабочие — пусть на этого хера с горы теперь пашут? Ты текущей повестки вообще не сечешь? Закругляемся мы с тобой, всё, со всеми вами закругляемся, воровавшими русские недра и гнавшими за бугор, словно бочки с дерьмом! Всех вас будем вот так вот, — захватил воображаемые сусличьи ножки, — выворачивать и вытряхать! Хватит, хватит смеяться в лицо!.. — И не мог убивать больше криком, обвалился в диванную топь.

— Вы зачем вообще это дело затеяли? — наконец-то дождавшись отлива генеральского гнева, по пате запустил вновь машинку обработки Углонова. — Вы же ведь понимаете: в этой форме, в которой вы хотите закрыться, вам никто это сделать не даст. Вариант этот, он для вас самый плохой. Вы хотите такой аргумент предъявить, чтобы всё по вам остановили? Или вы и не думали закрываться вот так? Массмедийная просто такая кампания в поддержку? Или что-то еще?

Заглянул ему все же Углонов в глаза, удостоил: знает про «Арселор»? Ничего не понять по неясным застекленным глазам.

— Вы со мной об индусе тут зашли побеседовать или?.. — поскорее ткнул в

нужную кнопку в устройстве: «что ты хочешь, чтоб я вам отдал?» — окончательно зная, родившись со знанием ответа в России: за тобой самим; чтоб забрать твоё «все».

— «Или», «или», Артем Леонидыч. — No name запустил загруженный файл с описанием программы холодного отжима под высоким давлением. — То, как вы себя ставите, сама форма, в которой вы сейчас существуете, она больше уже никого не устраивает. Это категорически. И поэтому, чтобы с «Руссталью» не кончилось так, как не надо вообще никому, — тут одно: больше вы у нас не выступаете в качестве абсолютного собственника. Все для вас хорошо может кончиться исключительно в форме передачи контроля любой из компаний с участием государства в её капитале. Скажем, пусть это будет у нас ОМК. Вот Олег Николаич... — кивок над подкачанного и распертого данной, не собственной силой Бесстужего: вырастал на глазах, свирепея, словно родина-мать на плакате, — обо всем уже договорился с Владимиром Владимировичем. — Угланова втащило под самые тяжелые в России — для каждой личной прочности — валки. — Вы хотели слияния, Артем Леонидыч, консолидации всех русских металлургических активов. Ну вот и сольемся. Велосипед изобретать, я думаю, не надо. Мы возьмем вашу схему, которую вы с успехом на Нижнем Тагиле опробовали. Олег Николаич вам тридцать процентов своей ОМК передаст, ну, с соответствующей экспертной оценкой стоимости, конечно, а вы ему — фактический контрольный.

И отчетливо что-то в Бесстужем взбурлило, наконец-то прочистился засорившийся слив, еле-еле сглотнул клокотание «ну что, сука, понял?!» и не мог шевельнуться, боясь вызвать трещины в мире, изменение магнитного поля Земли и с

трудом привыкая ко всему в себе новому: совершался внутри него термоядерный синтез, нестерпимое пламя рвалось из ноздрей, всех отверстий для жизни, растущие стальные мускулы теснились в рукавах, разрывая привычную кожу... И, стерпев, устояв, он уже будто двинулся по ковровой дорожке инаугурации, по стальному течению, полотну безотказного стана-5000 — за углановским вынутым сердцем, за стальной державой и скипетром на плывущей навстречу пульсирующей красной подушке, с каждым шагом сильней и сильней наливаясь отжатой из Угланова личной несокрушимостью. — А за вами останется место в Совете, Артем Леонидович. Я вам больше скажу: пусть вся ваша команда остается в «Русстали»... — и корячится в лаве, расширяя забой, подавая наружу, на поверхность куски. — Мы же ведь понимаем, вы у нас в крупном бизнесе собственник очень... так сказать, нетипичный. «Русский рост», «русский экспорт», «экспансия», «сталь» — через каждое слово от вас все такое вот русское. Ну и будьте с родной землей до березки. Служите. — И с паскудной улыбкой любования собою в профессии подселился к Угланову в мозг, под железные ребра, в огонь, и оттуда, из углановской донной, запаянной сути с удовольствием вытянул — как из мебельных ящиков бельевые кишки — то, зачем он, Угланов, живет: — Если вы так действительно дорожите «Руссталью», как своим кровным детищем, как своей родной матерью, — ну так в чем же проблема? Оставайтесь, Артем Леонидович, генеральным директором. Ваш бесспорный талант управленца, поверьте, очень ценится — там, — закатил глаза в небо, где сияет над мирными мириадами звезд и еще допускает прощение Угланова высшая воля. И ведь глянул в спокойной уверенности, медалист дрессированный, что Угланов, шалея от дарованной милости, по звонку поводка сразу бросится

лапами на хозяйскую грудь.

— Вот даже так? Что, правда пригожусь? Да я тогда клянусь отдать все силы делу модернизации и процветания единой России! — И по-собачьи подышал уродам в морды, свесив с оскаленных клыков дымящийся язык. — Вы там, Иван Иванович, передайте тому, кто очень ценит мой управленческий талант: либо мое — это мое, либо пусть вот оно, — дернул коротко головой на Бесстужего, — через год тонет вместе с заводом, когда цены на сталь упадут на четырнадцать градусов ниже нуля. С ними, ценами, это бывает. Как со снегом зимой. Они падают. А, Олег Николаич? — и подгрреб воздух к уху, звуковую волну, излучение бешенства, непонимания: как он может, Угланов, перерубленный заступом, и сейчас сверхъестественно ничего не почувствовать, — человечески необъяснимое отсутствие страха в позвоночном живом существе. — Отдадите себя без остатка? Обеспечите фронт русской сталию? А ну — какую будет сумма чистого убытка при себестоимости тонны в двести восемьдесят долларов и неминуемом падении цен на сталь на тридцать шесть и шесть процентов к ноябрю две тысячи десятого? Не можешь? Слаб? Боишься? Ты хоть живую домну в жизни своей видел?.. — И не мог, отвернулся от присутствующей вони, до озноба, до выворота всей своей требухи неспособный представить, что «вот это» зайдет в его дом, на его место силы, что от «этого» будут зависеть кошельки, животы сотни тысяч железных.

— Значит, в принципе вы отдаете? — с психиатрическим терпением: надо дать обреченному выпустить душу — по паме подождал и вернул его в русло. — Нам сейчас это в принципе надо понять, а ликбез вы потом нам устроите.

— Купите. По оценкам ведущих агентств. У вас есть двадцать семь миллиардов?

Вот сказал бы себе самому: сдохнет только он вместе с Могутовым, но нельзя так сказать, невозможно так сделать, потому что он строил машину так надежно и прочно, как мог, сделал все для того, чтобы эта машина не встала, когда кто-то нажмет выключатель в его голове, обрубая его личную неповторимость, и теперь его станы продолжают без него перемалывать камни.

— Мы не слышим ответа, — с интонацией «вставьте купюру в купюроприемник» проиграло устройство.

— Ну и я пока тоже. Скажите, акции «Русстали» арестованы? Счета? На текущий момент? Тогда что мне мешает «раскрошить и рассыпать»? За ближайшие сутки-другие слить активы в такие жопы мира и разума — слишком руки придется глубоко в эти дыры засовывать и закончатся руки? Ты вот тут от ликбеза сейчас отказался — значит, знаешь, как быстро исполняет такое любой выпускник ВШЭ. Как до нитки раздеть можно даже «Миттал Стил» с «Арселором» за сутки. У меня вот тут стопки, — клюнул пальцем в бумажные залежи сквозь тисненую кожу, — предложений инвесторов. Все хотят получить свой кусок от «Русстали». Подмахну пару-тройку, и будете вы разговаривать не со мной, а со Шредером, личным другом ты сам понимаешь кого. Я хоть, в общем, и русский, но ты видел кино про семнадцатый год, когда конезаводчики целые табуны чистокровных пускали под нож, лишь бы только они комиссарам не достались, родные. Вот плакали и резали. Потому что когда кто-то, сука, приходит забрать все мое, да хоть гайку с прокатного стана, я иду до конца. Пусть у меня мой дом сгорит, лишь бы у вас корова сдохла. Я, подонок и выродок, завтра буду со всей ликвидностью в Лондоне, а вам дырки от домен останутся и орава рабочих, которую вам придется кормить. — И с

проворством и автоматизмом мурыжающего поролоновый шарик наперсточника показал по паме кое-что из возможностей — рисуя в воздухе ветвящееся дерево, грибницу, проросшую в подземной сырости платежных континентов, в надмировом тумане банковских сообществ, схему одной из многих электрических сетей, по которым снуют киловатты ничьих, беспредельно свободно обращаемых денег.

— Так это... — в закипевшей башке генерала взорвался процессорный кулер. — Он свои миллиарды в офшоры сольет и в лицо нам вот это, а мы будем хлебалами щелкать?! Ну теперь-то ты видишь, Андрейка, что нельзя с этим гавриком по-человечески? Что эту гниду можно только ...ть?! Вот конкретно сейчас, до конца, включая вообще все средства! Ты, тварь, от нас ужином, а мы тебя — ломиком! Уж повод-то найдется, для каждого из них у нас всегда найдется повод! Чтоб все его обходцы хитрые крысиные... — захлебываясь лающей ненавистью ко всей углановской породе, захватил в руки плети, лианы опутавшей Родину сорняковой, ползучей, увертливой сущности: вырвать с корнем ее из земли!

Ничего он, Угланов, не будет из этого делать, из того, что вот только что им показал: забивать пустотой родовые пути и горящие матки своих вечно беременных домен и толкать под откос в долговую бездонную глотку сотню тысяч железных людей, чью извечно-врожденную видовую огромную ненависть к торгашу и буржую Угланову развернул и направил он топливом, кровью, электричеством в зачоченевшие печи завода, освободив запаянную наглухо в рабочих черепах и ребрах неубиваемую тягу к созиданию, чтоб потекла она своим законным руслом; он не может теперь их, железных, продать, деньги его больше не были и не могли стать виртуальной сущностью, не дающей себя уловить и разносимой с космической

скоростью по глобусу, — были теперь они бугристым кулаком, живой жилистой, мосластой рукой каждого вальцовщика, затекшей задницей машиниста грейферного крана, засаженного в своего огромного железного жирафа на часы, чугунной рекой, льющейся из лётки, плавильным алтарем, который в цифровые бычьи цепни не переведешь и во владения британской шапки-невидимки ни по какому спутнику не сбросишь. И если он, Угланов, все же это сделает, впихнет свое вот это туловище в «джет» и через несколько часов воскреснет в Трафальгарских райских кущах, в том же физическом обличье, с членом, с требухой, с той же огромной покупательной силой, во власти каждое мгновение оплатить любую крупную покупку от канадского сталелитейного устройства типа Stelco до футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», в то время как его наследная, углановская, русская машина созидания будет хрипеть и заходиться от неспособности вкачать хотя бы киловатт и кубометр — снова не то беспомощный ребенок-переросток, не то совсем уже в агонию сползающий старик, безостановочно просящий пить и писать у бюджета... Если он это сделает со своей стальной родиной «я», то тогда ничего не имело значения.

3

— Чаше надо на землю смотреть. Ну не в смысле с небес вот на землю, а тупо опустить хоть однажды башку и уткнуться в нее. Просто в серые эти комочки. Увидеть, какая она. Что для всех одинаковая. Для жучков, для травинки, для нас вот, венцов. И твоя жизнь ничуть не важнее, чем последнего, блин, муравья. То же войско, рабочие, строят свой муравейник-«Руссталь», тащат гусениц жирных,

запасы, закрома там, в земле, набивают. Так вот в детстве своем деревенском смотрел и все думал. Если смерть, то зачем тогда я? Ну не в детстве, а этом вот возрасте. А потом, когда семени в яйцах стало столько, что как из ружья, ну ты помнишь, хотелось все время, и вот так ведь хотелось, что нет ее, смерти. Помнишь, Бадрик всегда говорил: праздник жизни.

Он был самым живым и нормальным из нас. Мы уроды, а он был для этого праздника создан... — поживаясь в воздухе туманного, серебряного утра, шли с Ермоловым каменным городом плит и крестов, уравненных в размерах серой дымкой, меж обелисков, бюстов, саркофагов лежащих на Ваганькове актеров, писателей, светил, разведчиков и Маршалов Советского Союза, ореховских, медведковских, казанских Марков Германиков и Гаев Юлиев Калигул: чугунное кружево, мрамор, гранит, скульптурная бронза в лавровых венках — тщета, под которой не видно земли.

И Бадрика они похоронили здесь под стать и «лучше всех»: неполированный гранитный серый короб — много проще и строже и много дороже, чем весь золоченый дюралей и мрамор расстрелянных рядом, — и червячная эта грузинская вязь на плите над обычными русскими буквами, оскорбительной малостью, врезанной черточкой меж 1963 и 1996, и вот это паскудное чувство, что они тшятся что-то ему закупить в черном «там»... Гроб — палисандровый витринный экспонат на холме из бордовых цветов: то, что было всегда неумно и ртутно живым, вечно рвущимся к верхней отметке, оголтелым, ликующим, яростным Бадриком, — не могло ничего и лежало в окончательном окостенении со стыдливо-мечтательной и признательной как бы — кому и за что? — не своей улыбкой, будто брезжила там,

«впереди», для него еще какая-то невиданная новизна и окончательная радость: постарался так, что ли, скотина-гример (для родных, для живых, остающихся жить) затереть гематомы на лбу и скуле, воссоздать молодой объем щек, возвратить в лицо жизненный сок; в морге подняли челюсть, подшили, заменили оскал отвращения к «не быть», «не дышать» умудренной вот этой уступчивостью; до того было ненастоящим привитое к лицу выражение приятия и облегчения, что Угланов не мог совладать с жестким скрутом непощения, гнева на такую подделку — словно Бадрик их всех обманул, уложив в лакированный ящик свой накрашенный и нарумяненный горбоносый муляж, и не верилось, что все поверили и никто не орет: «Вылезай! Поигрался немного — и хватит!»

Каждый год в этот день, двадцать третьего, приходили к убитому другу, заходили одни, раньше всех огородников, чтобы не расшибиться, наткнувшись на окаменевшую на чугунной скамье над могилой Наташу: не могла она больше замерзнуть, чем уже она вымерзла, и смотрела сквозь них, наделяя их с Дрюпой прозрачностью, как и все, что оказывалось между нею и Бадриком; корни ее пронзительных фиалок, омертвев, больше не пили солнечную воду — только со сморщенного личика Темурчика, с рыхлых складочек, из родничка несомненно живого, горячего тельца, в котором ее Бадрик продолжился. Поселилась вот здесь, среди оград, приросла на первые недели, месяцы и годы, а потом переехала с выросшим сыном, загоревшимся стать архитектором, в Лондон, и уже стало можно не бояться столкнуться с синеглазой аэрофлотовской Талкой, валькирией: в рейсовом «боинге» грузинский князь запихивал в багажник чемодан, Талка захлопывала крышки автоматической фиксации и защемила ему руку: «Ой-ой-ой! ам

вери сорри! очень больно?!» Ему было «очень» — он был не из тех, кто не потребует первой медицинской помощи от девочки и отведет глаза от собственной судьбы.

Опустились на лавку над серой плитой и пристыли друг к другу плечами безо всяких «Ну здравствуй, вот мы и пришли»; разговаривали с Бадриком молча — вот какое-то было струение, ток; говорили друг с другом, живые: «А помнишь?» — доставая из памяти самое сильное по восторгу, по радости, по подъему на огненных общих столбах в непрерывно свободное небо, или самое страшное, или дико смешное — никаких, впрочем, «или»: смешное и страшное в общем прошлом всегда совпадали.

Их прозвали совсем без фантазии — «три мушкетерами», дети книжной галактики, эры романтиков, — с колмогоровской школы всегда были вместе. Он, Угланов, всегда был один, до девятого класса отбивался в детдоме от собратьев по участи, злобе, недоверию к жизни и обиде на мир, а потом, когда выбрали миллионным отсевом его и забрали в Москву, появились вот эти непохожие двое: сын липецких колхозников — доярки и электрика — Ермо, как рыба динамитом, оглушенный невиданной прорвой Москвы, и золотой ребенок, отпрыск знаменитого академика Авалишвили.

Большеголовый, тоще-жилистый, угрюмый, немногословный вплоть до подозрений в немоте, вечно глотавший окончания при ответах с пыточного места — потому и «Ермо», что не мог из себя выжать даже фамилии рода, настоять на своем, заявить свое «я»: «я считаю», «я думаю» — разумеется, прозванный сразу «колхозником» Дрюпа не входил ни в какие кружки в интернате, не разделял ни с кем «научных интересов», больше всего любил поспать и наибольшую активность

проявлял в столовой, всем своим видом, челюстями заявляя: вот что воистину себе отвоевал, пройдя сквозь сито всех олимпиад, — казенные котлеты и рассольник. На собеседованиях с экзаменаторами ныл: «Родился я в глухих местах Липецкой области. С раннего детства увлекался математикой и техникой. Больше всего меня из направлений привлекает физика металлов. — Ну, что нашел в районной библиотеке. — Моя мечта — когда-то в будущем изобрести материал, который по своим полезным качествам нашел бы применение в народном хозяйстве нашей родины. Работать бы я хотел инженером на нашем Липецком металлургическом заводе. — Не губите, отцы, ну куда мне тягаться с отборными выпускниками спецшкол? Отучусь в институте и поеду назад, в Академию вашу не лезу». «Больше всего мне интересна физика металлов... Сталь бывает спокойная, полуспокойная или кипящая... Ну, я сам из Могутова, там есть завод, и нас туда водили на экскурсию, и то, что я увидел, расплатило мне мозг, то, как человек приручил на заводе металл и огонь, и я понял: я тоже хочу заниматься только этим одним... А вот сами смотрите: если мы увеличиваем массу сердечника на... частоту берем семьдесят герц... и тогда при удельной теплоемкости в... это даст нам еще целых семьдесят дополнительных мегаампер...» — раскочегарившись, сопляк-Угланов растирал о доску мел в коэффициенты Пуассона, модули Юнга и удельные сопротивления марганца и хрома — мощнолобые их педагоги быстро посоветовались и сплющили их, «металлистов», в «научную группу»... Да ну нет, они сами, конечно, унюхали с Дрюпой друг друга, угадали по вечной напряженной угрюмости, ожиданию удара, отчисления, позора: нас с тобой слишком мало, а их слишком много — этих избранных, меченых, с колыбели приписанных к Академии наук.

Отборных детей колмогоровской школы растили на общих основах: песочные коржи, томатный сок, постельное белье со штампами роддома при Московском университете — у него, как и прежде, Угланова, не было ничего своего, кроме мыслей, ничего, что сказало бы: он — это он. Налопавшись в столовой, они с Ермо вертели головами: что у других, проточных миллионов, что дается другим, покупают другие, и в свободные дни и часы ненасытно носились нескончаемым Ленинским, Мира, Бутырским, равнодушной гранитной Фрунзенской, Горького, выводящей к рубиновым звездам и курантам на Спасской; небывалые вещи и их обладатели сразу били, царапали, резали — и кипятком неуголимого желания из живота плескало в голову: темно-синие джинсы с горящими медными молниями, белоснежные кеды и футболки с трилистником, превосходство и спесь рыжих замшевых курток, полноростные взрослые велосипеды с жарким хромом рогов и тугими гудящими шинами, барбарисовые «жигули», полыхавшие девственной лакировкой всего и летевшие победоносным маршрутом: «вот я!», голубой «мерседес» — вообще НЛЮ!.. растрavляющий вкусный шашлычный дымок, «эскалопы», «ромштексы», «ркацителы» и «рислинг» — за стеклянными стенами люди ненамного их старше несли к губам чашки-наперстки и бокалы с рубиновым и золотым содержимым, невозможно красивые женщины с неприступными, словно незрячими лицами задевали их краем душистого облака: и ведь кто-то же женится на таких и... живет. И немедленно мысль о деньгах, покупательной силе: как бы им поскорее начать зарабатывать? До стипендий, до Ленинских премий за великие изобретения?

Побежали по всем гастрономам в округе, овощным, промтоварным: возьмите нас в грузчики. Отовсюду их гнали... и взяли в овощной на Ватутина: загружать

вечерами машины, уходившие явно в направлении от нужд честных тружеников, — полагая: щенки не смекнут, почему это яблоки и абрикосы не ввозят — вывозят, и в охотку ворочали ящики — до мозолей, тупого нытья во всем теле: в земляные ладони легли исчезающе ветхие и до шелковой гладкости словно застиранные вожделенные трешки — навсегда он запомнил обнаженную чуткость захватившей и сжавшей поживу руки — 240 рублей за каникулы в общий котел. В день получки купили бутылку портвейна «Агдам», десять пачек ядреного «Космоса» и кило шоколадных конфет типа «Белочка»: он, Угланов, любил шоколад и впихнул в себя это кило — до блевоты.

А Ермо, ухайдакавшись на погрузках до ненависти к беспредельным родным своим липецким черноземным картофельным и капустным полям, покопался в своих представлениях о жизни и вырастил новую, «ломовую» идею: «А пошли, Углан, это... могилы копать. Там, на кладбище, знаешь, какую манчжу заколачивать можно? Через год на своих „жигулях“ можно с кладбища выехать. На покойников там уж никто не скупится. Чтобы место получше, где посуше, воды нет и мертвяк не сгниет. Там ведь очередь-то — пос-то-ян-ная. Хочешь, чтоб побыстрее, чтоб твоя бабка в правильном месте лежала — доплачивай». И пошли вот сюда, в кружевной и решетчатый город крестов: где у вас тут берут... в землекопы? И навстречу такие тяжелые выперлись бичуганы в наколках и с фиксами, что сердчишко сорвавшимся паданцем стукнуло в землю, замертвело в паху, в животе, обессиливающий сразу озноб затопил, побежали от смеха последних хозяев земли: «вы чего-то совсем, пацаны, не туда, рано, рано сюда вам еще». Параллельно Ермо думал, думал и придумал, не зная, что это судьба, — надо им подружиться с одноклассником

Бадриком, потому что у Бадри: персональная «Волга» с шофером, красный магнитофон «панасоник» и способность магическим заклинанием «сын академика Авалишвили», «вам от папы привет» открывать все московские двери — от приемных комиссий до сказочных интуристских пещер, переполненных джинсами и пластинками «Роллингов».

«Значит, задницу голдену предлагаешь лизать?» — не терпел золотых, а вот этот конкретный грузинский сынок просто резал своей чужеродностью, раздражая свою придурочной, дикой распахнутостью: «паца-аны! глянь, чего покажу!», бесконечными волнами от него растекавшегося беспричинного счастья. Вот не то чтобы Бадрик был тяжелым дебилом, занимавшим в их Сетуньском заповеднике чье-то законное место лишь на том основании, что папа — светило статистической термодинамики, но казался он тут неуместным, как слон, как павлин, как, блин, горный олень в термоядерной лаборатории: что он тут позабыл среди узко заточенных и питавшихся только задачами головастых щенков — ясноглазый, с бараньей шапкой волос и рельефной мускулатурой гимнаста красавец, обреченный, изваянный быть вожаком, племенным жеребцом в человеческом стаде, вундеркинд в чем угодно, но только не в высокой учебе, вот настолько здоровый, законченный в своей силе влюблять в себя женское все, что зачем ему что-то еще познавать и чему-то учиться.

Он и сам, этот Бадрик, казался очумелым немного от собственной силы: это мне? одному? ни за что? по случайному только совпадению молекул в двух клетках? За такое его было трудно простить, с этим существованием, присутствием в своей жизни такого чужого превосходства смириться, но в том-то и штука, что так ярко

горела в нем, Бадрике, лампа непрерывного счастья, так его распирали восполняемый восторг бытия, что хотел он своим поделиться со всеми: все берите, не жалко, я в себя все равно не вмещу. И еще одно странное, редкое свойство, что, по мнению Угланова, вообще не вязалось с человеческой сущностью, не могло быть ни в ком непритворным или не отдающим сверхусильной постной святостью: Бадрик мог и хотел любоваться другими, очевидной, явленной силой другого, будь то сила ума или мускулов, что ему самому не дана и не дастся уже никогда; чужое превосходство в чем-то его не оскорбляло — подымало; как правило, с людьми — наоборот: согревают чужие ничтожество, нищета, уязвимость, падение.

Оказалось, вот этому бивню не забыли вложить при рождении еще и мозги, в голове клокотали идеи: потекло, забурило и хлестало, сбивая их с Дрюпой с ног и затягивая в круговерть недоступного и запрещенного: Бадрик взял их с собой на другую планету, в воронки и кратеры тайно-опознавательной-значной торговли на Ленинских, в воздух сердцебиенных соприкосновений с прожигающим телом, коленками, с одним только летучим, удушающим запахом совершенно другого, не с Земли, существа.

Сам-то их заповедник по соотношению полов приближался к суворовским и нахимовским пыточным: на десяток штыков — лишь одни худосочные или толстозадые ножны, почти сплошь «очкозавры», с прибабахом отличницы, заморенные мышки, цыплята, не поднимающие блюдец спасательных кругов и прыщавых носов от тетрадей с учебниками, — и поэтому Бадрик тащил их на охоту на улицы: нужно было прорвать, продавить упругую полосу разделяющего воздуха и, пересилив немоту, заговорить с ядреной девахой-пэтэушницей или вообще

недостигаемой надменно-чопорной девочкой из десятого класса английской спецшколы, и Угланов с Ермо обреченно молчали, а Бадрик — вот на Бадрика глядя, понимали, зачем все красивые девки ходят парой со страхолудной подругой.

Неуемный грузин жег свечу с трех концов, обращая отцом привозимые джинсы и пластинки в червонцы и червонцы — в волшебные чеки, пропуска в спецзаказник «Beriozka», бесполосные чеки — в растущие стопки «левайсов» и «вранглеров», в блоки «Мальборо», «Ротманс», «ЭйчБи», насыпные холмы «Ригли спирминт» без сахара — это все улетало на Ленинских, у всех школьных и вузовских, молодой жадной порослью оплетенных порогов, принесенное ветром и павшее на советскую землю с самолетных небес, сигаретный пьянящий, навсегда изменяющий что-то под ребрами дым, пузыри каучука, которые, надуваясь меж губ, переносят в Америку.

Бадрик их в это дело втравил, он не мог без ожога, пробивающей силы разряда, обнуляющей опыт, вынимающей мозг, и придумал совсем уж бесстыдную и подсудную схему: знакомишься на смотровой площадке Воробьевых с ошалелым, отвязанным ото всего советского земного альбиносом или дегтярным негром капстраны, везешь к себе, словно медведя на кольце, вливаешь водку в пасть до дровяной, покойницкой покладистости: «ду нот инсалт ми, итс анпойланд, дринк ту зе боттем, плис, зер гуд» — и, тяжело ворочая, сдираешь с этой туши джинсы и кроссовки и, пропотев как негр, обряжаешь в свой старшекласный шевиотовый костюм; самое трудное и самое смешное — загрузка этого покойника в такси: таксисты пучили глаза на черный ужас в школьной форме и, очумев, давали по газам; самое страшное — попасть патрулю или безликим серым пастухам своих коров, но какой же внутри бушевал и окатывал стужей разбойный восторг, и маржа с

операции доходила до тысячи и рублей, и процентов. Да и страха-то не было: дети смерти не знают, тюрьма не для них, ничего никогда навсегда не кончается.

Бадрик их заразил. И сейчас вот одиннадцать лет как уже от рождения «Русстали» он лежал на Ваганькове. И они с Ерго молча сидели над ним — как никогда при нем живом, большие, как никогда при нем живом, непрочные и шаткие. Против них была русская власть, абсолютная сила, стоявшая на кремлевском холме за зубчатыми стенами. Но вот если действительно что-то такое возможно, излучение, ток, человек умирает не весь, может слышать оставшихся «здесь», Бадрик мог бы услышать: они не трясутся. И сейчас — страха нет. Уж по крайней вот мере, в самом нем, Угланове, — точно.

Живот натянулся, раздулся и вздыбился. Пододеяльные его, Угланова, идеи, любовные мечты и предложения надменно-отчужденной молодящейся Европе срослись в неумолимо давящую силу и живой несомненностью выперли в мир. Сталелитейные циклопы русских варваров и мировой цивилизации объявили о слиянии — о возможном рождении сверхновой «РусстальАрселор». Миттал был разъярен, как ужаленный в темя железной колючкой слон, и ничто не мешало ему попереть на стальную плотину «Арселора» живой своей денежной массой, предложив до 16 миллиардов за те же 38 %, — счет пошел на минуты, нужно было сейчас вылетать в Люксембург и давливать акционеров.

Когда вырос живот, всех подбросило взрывом, Кремль увидел, куда со своей «Руссталью» уходит обложенный псами Угланов. Но накрыть ледником совершенно кристальную и законно поползшую сделку — такую! — означало явить себя миру безумными, поджигающими для чего-то человечески необъяснимого собственный дом. 270 телеканалов взорвались по цепи и кричали о «стальном наступлении русских». Он, Угланов, поставил Кремль в такую позицию, что тот мог быть физически только обеими «за». И земля, как и прежде, подрагивала у него под ногами, и чем дальше ползла, продвигалась на правах достоверности сделка, тем слышней на весь мир становилось публичное одобрение Кремля, тем ясней, без

обмана казалось, что сейчас его вызовут в Кремль, в Огарево, признав его способность договориться даже с дьяволом, проседая, подавшись под безжалостной математической правдой его сталеварной машины, — позовут не брэнчанием собачьего поводка в президентской руке, а «как надо», возможно, позволительно с ним, и весомо и прямо он двинется по паркетным двуглавым орлам к президенту, чтоб услышать единственное, что тому остается: «ты все правильно сделал, живи, правь своей машиной, как раньше».

— А не думал ты, что эту сделку они могут свободно докрутить и без нас? Ты, Угланов, все им подготовил, распахал целину под посев? Или просто физически снимут нас с тобой с пробега, тормознут на маршруте, и пока мы тут будем топтаться, индус все назад отмотает? — Ерма, как и всегда, — и правильно — не верил в бесповоротное выздоровление «Русстали», в изобретенную Углановым сверхновую вакцину — не для нашей иммунной системы, обращения крови. — Я что хочу сказать, ты только пойми меня правильно... — и увидел все сразу Угланов в глазах у последнего старого друга: полыхающий, не отстающий треск валежника под сапогами, лай и хрип распаленных горячей явностью следа собак, и почуял впервые с такой осязаемой силой текущую от Ермолова, вне разума, дрожь, просто слишком глубокую, чтобы проявиться в лице и в руках, да и даже не дрожь, а отчетливый, проникающий властно в Углanova запах — запах раненой малости, слабости и потребности жить на свободе, еще более явный, настырный оттого, что он тек от здорового, только-только вступившего в пору матерого совершенства бывалого волка. — Если мы с тобой, Тема, сейчас улетим в Люксембург, то уж лучше нам будет на какое-то время в тех краях и остаться. Если что-то у нас с «Арселором»

сорвется, то тогда уж тем более. — Морщась от слабости, презрения к своей слабости, на мгновение он задохнулся и, высоко переступив порог подкатывающей к горлу тошноты, жал и жал из себя нутряное, с чем не мог уже справиться: — Ты пойми, лично я не боюсь. За себя. Но есть «не страшно», Тем, а есть... ну, в общем, жизнь твоя неповторимая. И отдавать ее я не хочу. Не хочу отдавать свое время, которое мне никто не вернет и на том свете спелой черешней не оплатит. Я хочу еще дочь выдать замуж. Хочу увидеть, как растет мой сын. Самое страшное — одна вот эта мысль: как они будут без меня. Или вернее даже: как же я без них. Буду жить где-нибудь... взаперти... и не видеть, не видеть, как они там живут. Не смогу прикоснуться, почуять тепло. Это как смерть, Углан, та смерть, которую мы, земляные, можем чувствовать, ты понял? На хрена, я надумал тут, вечная жизнь, если я никого не могу взять с собой? Ну, туда, в эту вечную жизнь, — всех своих? — Он был прав, на свой лад, и уже собирался: мародерски, грабительски двигались руки, с чуткой проворностью нашаривая что-то на столешнице, что пригодится по ту сторону, для воскрешения со своими под никогда не остывающим и никуда не прячущимся солнцем, что-то выбрасывая из карманов себе под ноги, что может выдать пачкающим звоном в рамке последнего контрольного детектора... и вдруг осекся, дрогнул под углановским, не убивавшим и не презиравшим его взглядом, сам надавил глазами на него: — Да ты пойми! Об этом просто надо думать! Да, да, соломки подстелить! Лишить этих тварей возможности однажды реально не дать нам дышать. — И напомнил, всадил, сомневаясь, что Углонова этим пробьет: — У тебя же ведь тоже есть Ленька. Подумай. Как у тебя там, кстати, с его матерью?..

У него с его матерью было, кстати, — никак. Только Ленька один их скреплял — навсегда. Он, Угланов, не вытерпел — так хотелось ему раздавить, никогда не включать этот голос, оскорбленно-прогорклые губы, шипение, молчание, любую, в общем, форму присутствия бывшей жены в своей жизни — и без спроса забрал Леонида к себе в первый день обрушения каникул: я такое тебе покажу, мы с тобой такие увидим места, по которым не ступала нога человека, и пилот за штурвал тебя даже возьмет, ну а маме потом позвоним, из Могутова. Это что значит «против»? Ты мужик вообще или кто?

Аллин голос настиг его в воздухе: «Где ребенок?! Ты выкрал ребенка! Что ты делаешь со мной?! За что?! Я с ума тут от страха схожу! Так не будет, ты понял?! Пока я жива! Я не дам тебе так надо мной издеваться, я живой человек! Леньку сделали не на твоём комбинате! Это я его сделала, понял?! Он тебе не игрушка с доставкой на дом: захотел — заказал, надоел — отослал, и полгода ребенок: „где папа, где папа?“. А такой у нас папа! Нет меня в твоей жизни? Рядом с сыном своим меня видеть не хочешь? А где ты в его жизни, ты, ты?! Ты же даже не папа воскресного дня. Папа раз в пятилетку, оторвешься когда от своей синергии и взрывного, блин, роста, и скажи, что не так!»

«Ты погавкай еще мне, погавкай! Вообще никогда не увидишь!» — полыхнуло, накапав, и врезал, лишь бы только заткнуть, вырвать жало, но и выпустил, вырвалось, как из топки, решенное: навсегда ее вытолкнуть из своей жизни с сыном. Прав Ерма бронбойно, — может, может случиться такое, что придется ему уползти

на чужбину, нужен Ленька ему будет «там»... И она это ясно почуяла, Алла, все оскалы и стойки его изучив, различая по голосу, лаю, где пустая, нестрашная, даже в радость ей, злоба, а где сразу же в действие переходят слова. Побежала в милицию, в ОВД «Горки-10»: муж похитил ребенка, неизвестно, где прячет, может вывезти сына в любую минуту из страны вообще. «Ну а кто у нас муж? — и услышав: „Угланов“, оглохли и включили ей автоответчик: — Ну не может отец выкрасть сына. У кого, у себя? Чтобы сделать с ним что? Позвонить ему можете? Вы же знаете, где они оба находятся. Что вы нам тут морочите голову? Муж лишен ваших родительских прав? Заявление инспектору вы подавали? В опеку вы по месту жительства, опеку обращались? Значит, полное право имеет родитель... Думать надо вам было, прежде чем разводиться. Отношения с мужем беречь».

Алла быстро заплакала, как всегда она плакала, налетая на что-то бетонное, целиком непонятное, говорившее ей: здесь все это твое — «ваше высокородие», «красота» — не работает... и рванулась туда, где она все могла, где ее обожали, — в телевизор, Останкино, в передачу — алтарь и евангелие для пятидесяти миллионов прожорливых пенсионеров и быдла. На студийных диванах расселись все Аллою нагнанные кочевые певицы, разведенки и матери-одиночки детей от мужчин «первой сотни», чемпионы и тренеры сборной России по синхронному плаванию, куаферыпедовки с хохолками и перьями из последних коллекций, депутаты Госдумы желудевого выкорма, адвокаты на сворках, психологи, — и весь этот табор, заслуживающий только прямого попадания авиабомбы, битый праймовый час ковырялся в углановских внутренностях, с упоением своей отвагой покусывал живущего на облаке большого человека: «не мужчина», «поступок, не достойный

мужчины». И сама она, Алла, была хороша — с бледновыпитым строгим и горьким лицом, беззащитной, болезненной кожей, неподкрашенной ниткой губ, темнотой припухших подглазий: «за собой не слежу — мысли только о сыне», нарядилась продуманно в серый чулок из последней поездки в святые места на неделю Высокой... И, давая в себе всхлипы, подрагивая молодым звонким голосом, сдержанно плакала, так что все, разумеется, сразу, миллионы, присевшие жрать из корыта, осудили богатого людоеда и синюю бороду и влюбились в нее, беззащитную и беспримесно правую в материнском порыве к ребенку.

«Мать, мать, мать», «уважение к женщине, подарившей вам сына», «мы сейчас видим прежде всего просто мать... господину Угланову попытаться поставить Аллу хоть на минуту на место его собственной матери...». Ротопрямокишечные. Ничего не имея, от чего было больно взаправду бы, ранних неумолимых болезней родителей и застывших беременностей, жать и жать из себя: от чего бы такого пострадать меж Миланом и Альпами. «Отбирают ребенка», «дался ей такой кровью». Его мать умерла его родами по-настоящему.

Приказал спрятать Леньку в Алмазове — школе для одаренных сирот и оставшихся без попечения родителей: хватит сына стального растить и закармливать как золотого, пусть немного поварится в чистом, стопроцентном лишении любви, пусть узнает, как больно бывает детским людям в зародыше, пусть получит в сопатку за «я — Леня Угланов, это мой отец все тут построил, если я захочу, я могу сказать папе, чтобы он тебя выгнал».

В измерении войны за стальной «Арселор» все решалось сегодня, и летел на собрание акционеров литейного Старого Света принимать эти роды: «тужься,

тужься, еще давай! умница!» или в экстренном контраварийном порядке взять скальпель и — кесарево! Очень крупный был плод, очень узкий был таз... понеслись в Шереметьево вместе с Ермо, телефон разрывался, Ермо отвечал на известия с Восточного фронта, повернулся к Угланову с чем-то новым в лице и взглянул, как из ямы, как из лужи разлившейся нефти — не могущей забиться в черной патоке птицей.

— Помнишь Олю Высоцкую? Ушла от нас лечиться от бесплодия. Прихлопнули девчонку на сносях. С таким вот животом, — обрисовал надутое пузо. — Все следак этот Юрьев, лимита ставропольская, за прописку младенцев живьем будет есть. И вот прямо с порога ей в этот живот: хочешь, дура, в тюремной больничке рожать? Рядом со спидоносками? Сразу с видом на морг? Ну она и захлопала. Сразу впрудила по всему, что вела у нас, помнишь? И про «Аластэр Траст», и про «Бэнк оф Нью-Йорк». И вот что с нее? Разве осудишь? Маткой заговорила. Есть живот — и мозгов уже нет. Это, Тема, уже через каждую строчку — Ермолов А Ка. И Угланов А Эл через каждые две. Так что свой трудовой контракт с родиной разрешите считать мне расторгнутым. Все, что успел. Так хорошо, как мог. — Вгляделся сквозь искры литейной пурги в железные кости разливочных кранов, в прощальный поклон полных магмы ковшей, в стальные отводы, кишки, животы все время брюхатых динасовых баб, считая от левого края до правого свои безразмерные домны — одиннадцать, возникшие все как одна, как матрешки, из чрева крупнейшей молодки Ивановны, денно и ночью трахаться с которой — как воевать со всей Россией, землей золотоносных рек и неработающей канализации, остервенелой пахоты без роздыха и сорняковой лени без пробуда. — Хорошую машинку мы построили.

— Поговори еще, поговори. Всю жизнь одна извилина: сгорим, Углан, сгорим, — нависая над шариком, он навел своей линзой солнечный луч на кусочек земли «Люксембург», выжигая горелыми буквами «Руссталь + Арселор» на спинке тамошней скамейки перед ратушей, машины с ровным бешенством неслись, стирая и вычеркивая все: рекламные экраны — окна в рай, в лазурное морское несбыточное «там», панельные окраины с засвеченными солнцем тысячами окон и гигантскими цифрами вызова ипотечного счастья, по ружейным каналам туннелей, под щиты с указанием ничтожных остающихся до Шереметьева метров...

Полыхнул, запульсировал местный входящий — «Николаев Алмазово» — значит, все-таки Ленька там с кем-то сцепился, и сейчас обрабатывают ваткой с перекисью боевые болячки обоим, зажимают носы с газированной яркой кровью. Надавил на «ответить» — вломились: задыхание, фыркание, осыпь, удары копыт, словно там прикрепили микрофон к лошадиному брюху и, пришпорив, погнали, она понесла. Покатились слова-валуны — не о нем, не его, не могло быть о нем это дикое, но кричали все это ему, разбивая Угланову череп: «Ленька, Ленька ваш, Ленька, тут на брусья они... и упал, головой на железку... на „скорой“... ничего они не говорят!»

— Куда его, куда на «скорой», говори! — Кто-то еще, живущий в нем под ребрами и сохраняющий способность закричать на незнакомом, мертвом языке, заставил дернуться Ерма от понимания, что что-то случилось впервые по-настоящему с Углановым не так: развалился на старте ракетоноситель «Протон», повело его, тащит ледник не туда, невзирая на все, что Угланов построил, закупил для рождения сталелитейной сверхновой, на будущее. — Вылезай! — просадил Ерма

взглядом. — Всё докрутишь один там, пошел! С Ленькой, с Ленькой беда.

У Ерма потерялись очки, он ослеп, как и всякий пожизненный, урожденный очкарь, когда с морды по пьяни собьют окуляры; он искал и не видел Углanova, неугадываяще вглядывался, шарил в упор, подоженной рукой вцепился Угланову в ворот:

— Как бы ни было, Тема, — не сиди до упора! Вот как только, так сразу... С Ленькой все хорошо — и ты сгинул, исчез! Все! Будет! С ним! Угланыч! Хорошо! Я тебе пожелаю... — И вгляделся, как будто вчитавшись в последний раз в книжку убитого взводного, и толкнулся один из машины, и седан, развернувшись, отбросил его и швырнул в самолетное небо...

Полетел, разрезая сиреной лавины, косяки низшей расы, в той же рабской покорности всех и всего окружавшего, так же бешено и беспреградно, но, раскраивая воздух, пространство, ничего он, Угланов, сейчас не решал, и душило его, плюща в нем арматуру, бессилие, неспособность нажать и влиять хоть на скольнибудь на обращение Ленькиной крови, общей с Ленькой их крови в отдельном чистом маленьком теле его бесподобного сына, неизвестную меру давления на неокрепшие кости, позвонки, головенку... И калил, разгонял в себе веру в то, что Ленька не мог не отделаться только поверхностным повреждением кожи, под поверхностной, местной шишкой бьется невредимое, цельное Ленькино пламя, не слабеет сейчас, не слабеет, — невозможно так скотски, так плево сокрушить его будущее, изначальную правду ребенка, его чистоту, его радость от первого снега, откровения земной красоты, он еще ничего ровном счетом, его сын, на земле не увидел... Подымало Углanova вещее чувство невозможности вырвать, отобрать у него эту россыпь

веснушек на курносой морденке, воробьиную неутомимость и ртутную живость, тот тревожно пульсирующий родничок на младенческой мягкой головке, с которого все начиналось, ощущение, сравнимое только с бессмертием... И давило, втащив меж валков, столь же вещное ледяное предчувствие правды: там уже без него все, Угланова, сделалось, просто вырвалась с корнем монтажка из зависшей над сыном бетонной плиты, отпустила в падение с крановщицких халатных небес эту страшную дуру — на кости, сын сорвался с трех метров на землю, и Угланов — такой же безрукий кусок человеческого мяса, как все, замурован он взрывом в забое, лишь незнание его отделяет от того, чем все кончится, что уже наступило для сына его.

Руки жили отдельной сущностью, шарили, нажимали на кнопки: все купить, что возможно купить, — самых лучших хирургов, Коновалова, бога... Он им новый Бурденко построит на сотни гектаров, только пусть дадут руки, способные чутать все до микрона под черепом, в позвонках его сына... и, воткнувшись в ворота, толкнулся и бежал по аллеям медицинского города экстренной помощи, разучившийся вкладываться в бег всею мускульной, жилой силой, убивать расстояния только тем, что под кожей, — за порог, в окончательный холод, в котором одинаково нищими сразу становятся — все.

Спотыкаясь на ровном, колотясь тонным сердцем о ребра, ломился меж облитых молочным сиянием кафельных стен, с оторочкой белых халатов и салатовых комбинезонов, закричавших «куда?!» и вцепившихся в руки: «туда вам нельзя!»... и впелся в незнакомую женщину в серой толстовке для прогулок с собакой и бега трусцой: жена его сидела у двери, к которой подвели и ткнули: охраняй; на лице — перепаханном мерзлом картофельном поле — жили только глаза. Подскочив, он

вклепился ей в плечи, закричал в разоренные полнотой незнания или, может быть, точного знания глаза:

— Что они говорят?! — И, затиснув, вжимая с бесполезной силой в себя пересохшую легкость, без обмана почуял, что вот они снова — или, может, впервые — как один человек, что еще никогда так близки они не были и уже никогда они ближе не будут, чем в эту минуту; не могли сейчас больше уже они Леньку делить, и прожог его смех от того, что он все-таки не сумел не подумать: никому не достанется.

Никаких «Алла, верь мне, все будет...» — протащил ее к стойке, к спасателям: не ори, только слушай сейчас, дай им впрыснуть в тебя беспощадное или то, в чем ручаются: могут, могут эту убить они смерть.

— Слушать можете, папа, спокойно? Идет операция. Травма черепно-мозговая у мальчика. Гематомка в затылочной части. — Это что — «гематомка» — презрение к ничтожному, плевому или просто про маленьких, детских людей все они в уменьшительном? — Гематома под твердой мозговой оболочкой, глубоко, понимаете?.. сгусток крови такой, удалить его надо. Это долго, и три, и четыре часа. Операция сложная. Но! Все идет пока в штатном режиме. Ситуацию, можно сказать, контролируем. Прекрасные врачи-специалисты. Хирург Владимир Николаевич Бессонов, руки — золото, руки от бога.

Бог — да, хорошая идея... для него, человека, который всегда все выстраивал сам, зная точно, родившись со знанием, что никто матерински, отцовски за ним не следит. Все свое он, Угланов, взял сам и презирал просящих за ничтожество их собственных усилий устоять, распрямиться, когда гнут на колени, но сейчас — не

заметил мгновения, когда в нем затеплилось это немим говорением: Слушай, Бог, никогда ни о чем я Тебя не просил, не с Тобой решал все вопросы, Ты прости, но вот как-то все больше с Кремлем, насчет стана-5000 и таможенных пошлин, и не думал, прости, что придется когда-то о чем-то — Тебя. Даже то, что не может взять сам человек, никогда не просил, просто ждал и дождался вот этого малого, Ленки, мозг которого режут сейчас, как капустный кочан, слой за слоем, и Тобой в первый раз я раздавлен, Господь: сам уже ничего не могу — признаю — без Тебя. Бог, вложись один раз, пожалей, дай не мне, с моей спесью и всем, что я делал против воли Твоей, против всех Твоих „не...“, означавших для меня „не живи“... Дай ему, он еще совсем чистый, мой мальчик, он — Твой, Ты еще можешь столько ему показать в своем мире, ну ведь нужен Тебе обязательно кто-то, кому бы Ты мог это все показать, в чьи глаза можешь Ты посмотреться, как в зеркало, и увидеть в них первый, самый сильный восторг, восхищение немое творением Твоим. Когда бабы рожают, то рожают не только себе — и Тебе. Различи голос мой, сделай сыну сейчас, как прошу, а со мной потом сделай что хочешь. За себя и я ответить готов: сталь свою из людей живых плавил, подплывавших баграми топил, делал, как надо мне, чтобы я вырос в силе, было все, загрызал... Так меня Ты как хочешь разбей и сгнои, раскатай по валку все, что выстроил я, если нет в этом правды, хоть на цепь посади, только сын мой пусть будет живым. Дай ему видеть все, бегать всюду, дай стоять на коньках, под дождем, на ветру в парусящей рубаше, встретить девочку, что для него одного поменяет погоду, он не должен, не может быть сломан так рано, поврежден в чемто, что ему нужно для жизни, для любви, ощущения силы Твоей, не лишай его, Бог, ничего из того, что Ты сам ему дал изначально». — Звал с такой бесстыдной,

нерассуждающей, не могущей быть не услышанной силой, что внезапно сорвался в пустое от страха: ну а что если сделает Леньке, как просишь? Если Он вправду сделается виден? — он, Угланов, не сможет жить прежним, машинистом, проходческой, счетной машиной, состоящей из необходимости плющить живые издержки и подбрасывать в топку живые дрова. Если Он себя явит таким, каким хочет всегда Его видеть придавленный непосильной бедой человек, если Он пожалеет, то тогда он, Угланов не сможет все делать, как раньше, и не сможет никак.

Жена его взмолилась по-другому, но об одном, об общем их детеныше — передавая, как она ждала, как было больно ей «на схватке начинаем тужиться» и какая по силе, чистоте благодарность затопила ее с первым соединением по эту, наружную, сторону чрева с красным сморщенным тельцем, настолько неправдиво отдельным уже от нее и настолько своим... что нет мочи отдать... Ты же, Господи, знаешь, как пусто ей будет.

Разваривались вместе на медленном огне неокончательности — распахнулись совсем уж неожиданно запретные двери, и жена его вздрогнула от удара в живот изнутри, словно Ленька был в ней и ударил ее той своей изначальной ножкой, — рука ее, как пламя, перекинулась на задрожавшую углановскую руку, проскочила сквозь пальцы искра рабьей надежды, и скрепила их сила всей будущей жизни, которую им сейчас возвратят или скажут: ничего вам не будет... Мимо, пряча глаза, подло-ловко ослепнув, пробежали сверхлюди из бригады спасателей — двое страшно студенческого, практикантского вида... Будто то, что они только что вскрыли бритвой, фрезой и резали, было не их, не их рук было делом, никому ничего они тут не должны, и никто их не ждет, чтобы с них за работу спросить...

Нутряным, мерзлым голосом он прикрикнул на них, сам себя не услышав: «Стоять!» — и один обернулся окликнутым выжившей жертвой седым ветераном СС и пошел на Углонова-Аллу — поскорей допереть то, что тащит в себе, и, избавившись, вывалить под ноги: «Выйдет врач сейчас — с ним говорите. Я — ане-сте-зиолог, я за вашего мальчика только дышал». И за общей их с Аллой спиной снова хлопнула дверь, еще раз дохнув стужей: плечистый, толстоший усталый рубщик мяса, султан гастронома, только что явно сдернувший окровавленный фартук, шел на них, и последняя, крайняя перед детской могилой власть от него растекалась, явно первого тут после Бога:

— Хорошо с вашим мальчиком все. Гематому в затылочной части целиком удалось удалить. — Алла дернулась от «удалить» и схватилась за рот, зажимая рыдания... — Бросьте, бросьте, не надо. Удалили мы то, что мешало, в этом смысл и был, все нормально. Мальчик будет спать ночь, наблюдать за ним будем...

— Можно, можно к нему?.. — Обезумела, ринулась, совершенно безмозглая сила понесла на сиявшую кафелем стену, за которой еще один раз у нее появился, зажил вновь и дышал ее маленький, весь обвитый, продетый сквозь череп проводами и трубками.

— Утром, утром, все утром, — шмякнул им, как кусок на прилавок, мясник, так увесисто-буднично, что Углонов поверил: да, утром, все закончилось просто и быстро — рядовой лудильной починкой его бесподобного мальчика... И, рванув за собой жену, побежал за хирургом, неумело подлаживаясь к шагу решившего большего, чем все, больше, чем человека, — становясь меньше ростом, сгибаясь, в первый раз за всю жизнь не стыдясь в себе этого... тронул подчиненно-трусливо

мясника за плечо:

— Извините, пожалуйста, Виктор... в дальнейшем... то, что он перенес, может как-то сказаться... — сорвались в нем дыхание и сердце — на жизни в дальнейшем?

— Это бегать и прыгать и все остальное? Я не вижу препятствий. Сможет всё, как все дети. — «Получай, что просил» — вбил Угланова в благодарение, столкнул в высоту. — Конечно, надо будет вам понаблюдаться, но прогноз, если в целом, самый благоприятный. — Беззастенчиво взглядом замерил, сколько стоит Угланов, — по часам, по мобильнику, туфлям — в измерении «там», а не «здесь», измеряется всё где миллилитрами детской потерянной крови.

— Как вас зовут, простите?.. Если что-то когда-то тебе будет нужно, Владимир, ты скажи, это будет, — подтекло и полезло из Угланова нищенски самолюбивое, на чем он — и сейчас — почему-то хотел настоять, не терпя, не прощая не отданных крупных и мелких долгов перед кем бы то ни было. — Хочешь я тебе клинику, личную?

— Да ты что? И трешку в монолите можешь? На Кутузовском? — Никто еще в него, стального, не смотрел с таким презрением. — Я тебе сейчас это скажу — просто чтобы ты сориентировался. Повезло твоему пацану, повезло. То, что он завтра встанет как ни в чем не бывало, — это как бы не я, не один только я. Обстоятельства так наложились. И что так он упал, и что «скорая» вовремя, и что я его взял, а не кто-то, уж простите, коллеги. — И качнулся к Угланову, к уху, чтоб не слышала Алла: — Как он падал у вас, это должен вообще был бы быть перелом основания черепа. И тогда уже клиники личной никому бы ты не предлагал. Не оплатит, не выйдет с этой силой он в ноль — неужели и вправду рядом с ним, с его

сыном оказалось дыхание, клочок от Того, кому он так молился, для пощады всех нас состоящему из голубой изначальной незыблемой сини? И не может Угланов сейчас Его существования вместить, что-то должен Ему он теперь навсегда, что-то делать теперь каждый день, что имеет отношение к воле и правде Его — эта правда текла в него быстро поднявшейся, прибывавшей весенней водой, но его не меняла, затвердевший железный кусок, понимавший: он останется точно таким же, как был, будет делать все то же и так же, исходя из своей личной силы и прочности, и сейчас вот за эту свою неизменность перед кем-то ему стало стыдно или, может быть, попросту страшно — так вдруг ясно почувствовал Угланов, что еще на него чем-то сверху за эту неизменность надавят, обязательно что-то прокатное с ним, передельным куском, на земле еще сделают.

III. ТЯЖЕЛЫЙ УТЮГ

Три года уже не живет своей волей, на глотке чужой холод сомкнутых зубов. Опять среди ночи со шконки в бараке встает, в котором все спят и не спят со звериной сторожкостью, — крадется, стараясь не скрипнуть ничем, к тому, кого сказано взять, — и за горло! железной дужкой в зачатке ссжимая рванувшийся крик, клокотание, бульканье: «Тишь, тишь, пупсик, рыпнись — башку отверну! — в глазастое пятно, во вспученные зенки. — Со мной пошел, без звука!»

За шею его держит. Выводит в умывальник — здорового, большого, обмякшего от вдавленного страха мужика. Вжимает его в стенку. В глаза все время смотрит — толчками и вращениями бура в них что-то разрывая, в человеке. Которого не знает. Которого не хочет давить сейчас своим всем слябовым литьем. И сам с собой внутри воюет — так не хочет. И как по стенке вмажет рядом с этой подброшенной тряской опарой — чтоб сразу в него вбить, что будет с головой, с любой костью в теле, как лопнут у него под кожей преграды, необходимые для жизни, лопнет сердце... и режет его, режет шипением сквозь зубы, вгоняя в человека не свое, чужой змеиный яд, затверженный урок: «Короче, пупсик, слушай и всасывай печенкой. Что надо тебе сделать, чтобы жить.

А то пойдешь ведь в баню — подскользнешься. Нечаянно. И кончилось кино. Все знают, кто ты есть. На зону ты пошел, а бабки заховал, они тебя на воле

дожидаются. А мы чего тут, значит, все — последний хрен без соли доедай? Не, мохнорылый, не пойдет. С людьми надо в зоне делиться. От сердца, всей душой, чтоб по ночам спалось спокойно. Чтоб самый толстый хер за щеку не достался. И не ершишь, не надо, не крути. Мол, все забрали, нету ничего. Мы знаем все! Ты „Красноярск-Спецстрой“! Такое сало в шоколаде у нас по отдельному тарифу проходит. Короче, так: на промку выйдешь — жди, тебе попкарь один на днях, ты его знаешь, прапор Коваленко, одну малявочку такую запулит. Там будет все, куда и сколько, номер счета, и к адвокату когда выйдешь, все шепнешь. Через доверенность на предъявителя сольешь. Есть у тебя шестерки с правом электронной подписи? — все пересказывал, что Хлябин в него вбил. — Ну а взбрыкнешь... — и снова в горло пальцами. — Залью тебя, мохнач, бетоном прямо в форме, и ни одна собака не унюхает. Так что давай расстанься с самым малым, только лишним. Или жизнь, жизнь, чудак-человек! Хочешь — жить?!» — уже вот от себя, из своего нутра упрашивает, клянчит, чтоб человек согнулся сразу, чтоб молотить его назавтра не пришлось — выворачиваясь наизнанку от кулачной своей же вот силы. Вот что такое в самом деле несвобода. Когда тебя в твое же собственное тело, словно в забойную машину, засадили, когда в тебе шуруют рычагами, рукой твоей двигая — пробить, сломать тобой живое существо, — и давят, давят каблуком на горло изнутри, на все, что осталось еще от надежды пожить — человеком. Вот во что его Хлябин, Валерку, вдавил: навсегда, до упора Чугуев теперь у него, как Петрушка на засунутой в... вот то самое, в общем... руке.

Хорошо, когда сразу под нажимом текли богатеи — коммерсанты вот эти, заплывавшие в зону по хозяйственным разным статьям, чтобы сразу попасть в руки

Хлябину, и Чугуев давно уж угадывал среди зашедших того, кого надо щемить и кто сразу из этих, икряных, потечет, — по тому, как идет человек, как он смотрит в глаза. Почти все эти новые люди барыжьей породы заходили на зону уже отварными до полной готовности, со всем прежним своим вольным лоском, накопцем жирно-крепкого мяса на сытных хлебах, но уже будто сняли, стесали с них какой-то привычный защитный покров на суде, и холеная белая кожа болела и вздрагивала, ощутив на себе чей-то пристальный, выедающий, давящий взгляд, словно кожа ведомого на убой небольшого животного; жрал их страх, разогретый всем, что знали про зону, наслушались: здесь живут людоеды; запустили их в новую воду и во всем их составе ничего не годилось для жизни в этой новой воде. И такие стекали в покорность мгновенно, загибаясь и пуча глаза от удушья: все отдам, заплачу, сколько надо, не бей! Но когда попадались другие — ближе к жизни, к природе, с плохо гнущимся жестким хребтом мужики, с убеждением в том, что и здесь их никто не согнет, — вот тогда он, Чугуев, задыхался от страха ударить человека всерьез... и ломал, волохатил, разделявал сильную тушу, пока та, исчезновенная, не занует, не вззоет сквозь зубовое крошево и плеснувшую в легкие кровь: хвы... хвы... хватит, не надо, не бей, я отдам!

Пятерых уже так отметелил, говоривших в санчасти, что сами оступились на промке в пропарку или ночью в бараке их так измандячили неизвестные зэки, накрыв одеялом... Ну а если прибьет, если лопнет в брюшине у кого селезенка — ведь убийца, еще раз убийца он, Чугуев, тогда! И, бывало, так корчило от хозяйских похлопываний и вонючего шепота Хлябина на ухо, что, ей-ей, еще дление — и увачкал бы тварь, лишь бы только все разом закончить, раздавив паука тайных нитей,

что сосал из Чугуева жизнь, — раскалялась рука нестерпимо, и не мог он ей дернуть вот все же, не мог.

Хорошо, еще мало таких мохначей заплывало на зону, запускали не часто, но и в эти недели размеренно и нестрашно текущей, обыденной жизни чуял он постоянно вот эту резиночку: не отпустит упырь, не отпустит, разотрет на бумаге всю его в три графы уместенную жизнь, только станет Чугуев не нужен, выйдет срок наказания, годности, службы. Впереди воли не было. И уже цепенел он все чаще, напивавшись вот этим остужающим знанием, растворялся в безликой и скотской покорности перед равнодушной силой всей жизни, закона, которая отдала его в руки такому, как Хлябин. И порой на мгновение приваривало — так и надо ему: человека убил — значит, должен и сам в зоне сгнить целиком.

Как еще не рассыпался? Собирала — Натаха. Не могла признать, что он не выйдет, что ей жить до конца — без него, что уже никогда не наступит «потом», после срока, звонка — их с Валеркой возобновленная жизнь. Ничего он ей не говорил — про то, как придавило, пошил его Хлябин по рукам и ногам, про то, как сократился до точки обещающий свет впереди, завалило породой выход из штольни: как ей скажешь такое после стольких голодных, пустых, зябких лет, опрокинув в пустое «ты напрасно ждала», «ничего у тебя уже больше не будет»?

И Натаха ждала, что пройдет его срок, три оставшихся года, смешных по сравнению с той пустой водой одиночества, что уже сквозь себя пропустила, и летела душою туда, где уже это время прошло и Валерка к ней вышел, выходит навстречу, не сожженный еще изнутри, не иссохший снаружи, все такой же, ее, настоящий Валерка. И как только им срок подходил — день и час по закону

положенного им с Натахой в зоне свидания, — здесь была уже, здесь, у ворот, прилетев на всех видах воздушного и наземного транспорта, караульной собакой у проволоки. И всегда, каждый раз их свидания разнимало Чугуева надвое: и не мог к ней пойти на глаза, и не мог не пойти — с такой силой снимала оживавшая кровь его с места; и хотелось прогнать ее, закричав: не езжай сюда больше, нет Валерки уже никакого, весь вышел, — и вот так рвуще жаль становилось ее, что нельзя ей не бросить себя, как кусок, что нельзя не затиснуть, не вклеить ее зябкую малость в себя что есть мочи.

И когда объявляли: «Чугуев! Пляши, на стыковку пошел, на стыковку», с этой болью и тягой, свитыми в нем в один режущий жгут, как белье, он вставал под горячую воду и терся лыком с остервенением от макушки до пяток, чтобы вытравить вьевшийся во все поры паскудный, окончательно неубиваемый лагерный запах — одряхления, ветхости, слабости, неподвижной давящей тоски, прогоревших под кожей надежд и просоленной по том непрерывного страха казенки; раскалялся, скоблился под почти нестерпимо горячей водой, что должна была сбить всю окалину, грязь, но его не меняла и не делала прежним, не пахнущим кровью Валеркой, первых дней и ночей их с Натахой непрерывного счастья, когда вроде и нет ничего по сусекам, в холодильнике, в брюхе, и уже есть у них, полунищих, огромное «больше, чем все», в тех местах, где сцепляются руки, в те минуты, когда они входят друг в друга, словно лезвие в ручку складного ножа: они — муж и жена, все сбылось, и все прочее, мелкое, значит, тоже сбудется завтра со страшной силой.

Нет того уже больше Валерки, отжат и задавлен Чугуевым новым, так что даже Валеркой глупо назвать его нынешнего, переплавленного и отлитого заново по

рецепту уродливого недоверия и страха, непрерывной звериной сторожкости и отсутствия всех прежних скреп, на которых держался: не бить! тех, кто много слабее и жалче тебя, доверяться кому-то, про кого знаешь точно, что он не продаст, делать дело, давать передельный чугун своей огненной родине, что с тебя строго спросит за брак взглядом старших, отца, когда самое страшное — это презрение отца... Все вот это, начальное, в нем, Чугуеве, выгорело, так что сам он не знал, на что годен теперь, кроме зверства, во что может еще в нем самом упереться и не двинуться дальше, хлестнув через край, подневольной-привитая лютость. Железяка, Чугуй, Чугунок, 36-летний, потемневший с исподу, больной, несмотря на наружную крепость, не старик, но вот будто уже и старик, со стариковской бесповоротностью уставший, не способный теперь на еще одну жизнь за тюремным порогом... И кого она ждет, золотая Натаха его? Разве этого нищего, проржавевшего, мертвого по способности дать ей достаток и выстроить дом, прождала все вот эти огромные годы, в никуда отдавая свою молодость-пламя и платя за его душегубство омертвлением женского своего естества?

Он обокрал ее до нитки, убил еще других своих с Натахой детей, могущих появиться следом за Валеркой, запустил к ней в постель пустоту вместо долгой, законной, насыщающей близости, в одиночку оставил биться за пропитание и довольство для сына, и теперь вот он ждал, что однажды она не привалится, не пристанет к нему своей огненной, не уставшей прощать чистотой, а упрется во что-то в себе, как в упавший железный затвор, и, подняв на него ненавидящие, не могущие видеть глаза, закричит нутряным мерзлым голосом: «Где моя жизнь?!»

И не скажешь в ответ на такое, отсохнет язык: я ж тебе говорил: уходи,

убирайся, нету больше Валерки, что же ты не послушала, надо было рвать сразу, как гнилой зашатавшийся зуб, прилепиться к другому, сварить с ним семью, раз не вышло с Валеркой, паскудой, сварить, а не ждать, пока вся пройдет жизнь. Несвободна была она в дикой, безмозглой, человечески не рассуждающей силе любовной своей — с той минуты, когда он схватил ее за руку тою летней пуховой тополиной метелью на танцах под черным электрическим небом и с нахальным осклабом втащил в свою жизнь под орущую музыку и слова — обещания счастья, что не может закончиться вместе со смертью: «Крыльев не обожгло, веток не обломало — мне, признаться, везло, только этого мало». Несвободна в своем неправдивом, неместимом в стандартные рамки терпении, несвободна, как рыба, что сплавляется вниз или вверх по течению на нерестилище, где когда-то возникла из икринки сама, и, икру отметав, в тот же час умирает.

Он и сам в ней не понял, Натахе, эту силу терпения, сердца, способного ждать не только живого, но хранить верность мертвому, — сразу не угадал, зная то, что железно знает каждый, немного наблюдавший за жизнью соседей: что вода точит камень и девчонки клянутся дожидаться из армии и встречают со вросшими в пальцы обручальными кольцами и тремя килограммами счастья в орущих благим матом колясках; что вдовцы, потеряв в покоренной груди железа любовь на всю жизнь, быстро женятся снова, и вдовы — не сносив плоскодонок, в которых волочились за гробом... В общем, «жизнь продолжается», «надо жить», «как у всех». Но она не могла у него — «как у всех». Раз приняв его, гада, в себя, закричавшим нутром угадала: это он, только он разжигает в ней этот костер, и теперь, и вот здесь, на трехсуточных «долгосрочных» свиданиях, на казенной кровати в гостиничном

номере зоны, на нетронутых чистых, привезенных из дома своих простынях, после пыточно-жданной, ненасытной, как будто могущей спасти и, как бритвой, обрезанной близости она мыла слезами его наконец-то разжавшееся постоянно сведенное, как кулак для удара, лицо, целовала в глаза и шептала: «Нет других и не будет, Валерочка. Я для них в этом смысле как мертвая».

И когда так шептала, то как будто могла убить смерть, заставляла поверить: еще не конец, еще может он выйти, не может не выйти — не ему это будет дано, а Натахе: жизнь не может ее обмануть, Тот, кому непрерывно молилась она, — не призреть ее малую женскую правду, не признать, что она оттерпела не зря.

И уже загибался от рвущего крика: кто вернется-то, кто?! От половинки только половинка! Что он ей может дать, ничего не умеющий, от всего отучившийся? А что сыну-Валерке?.. Он уже ничего им с Натахой не дал. Надо было сначала, «тогда», а теперь — прошло время: словно рыба в почти что порожнем ведре, чуял он их с Натахой ушедшее — и сейчас утекавшее безостановочно — время, то их время, в котором мог построить он дом и родиться их сын, чтоб расти в настоящей комплектной любви, не расти безотцовщиной, время — это такая вода, и вода это мертвая, все смывает, уносит, ничего не вернет; время — не расстояние, разорвавшее и проложившее двух людей монолитом, километрами каменной мерзлой породы, вроде той, что крушил он, Чугуев, в Бакале, прорываясь к Натахе и сыну, как к себе самому; если б время не жрало людей, то тогда можно б было терпеть и терпеть, не боясь и спасительно зная, что протянешь ты руку, одолев расстояние, а не сроки лишения любви, — и опять потечет изначальная общая кровь, и проступит сквозь горькие и сухие черты то лицо золотой синеглазой девчонки, и сын, как и прежде, в

начале, узнает тебя.

Сын в его представлении оставался тем маленьким мальчиком, так спасительно, страшно похожим на Валерку-отца, что как будто он сам на себя и смотрел с фотографий у школьной доски с букварем, с шашкой через плечо и в буденовке с красной звездой, — будто сын и не вырос из того изначального, ничего еще не понимавшего, с невесомыми тонкими ручками и большой по сравнению с остальными частями цыплячьего тела большелобой той головой, словно склеенной из многочисленных, не прижившихся толком друг к другу кусков, с выпиравшими ребрышками и бесстрашными, жадными, целиком доверявшими плосками, говорившими: «я тебя жду», «возвращайся к нам с мамкой скорей»... И к нему, вот такому, он полз через срок, чтобы стать после срока защитой этому мальчику, что смотрел на него сквозь стекло из кабины телефонных свиданий и первым хватался за тяжелую, несоразмерную трубку на тугом и упрямом железном шнуре, — все никак не мог слопать отца целиком, в первый раз открывая свое с ним родство недоумочным вещим инстинктом детеныша. Детский взгляд все менял нестерпимо, возрождал его, животворил, хоть и сразу впивались меж ребер беспощадно-прямые вопросы, не могущие быть навсегда остановленными запретительным шиканьем и щипками разгневанной матери: «Почему тебя не отпускают домой?», «А за что тебя люди посадили в тюрьму?»

Больше не было этого мальчика, а входил и набыченно плелся за матерью, на невидимой привязи словно, понимая, куда и к кому он приехал, и угрюмо молчал со сведенными челюстями — плечистый, размахнувшийся в рост, закаленный в дворовых баталиях десятилетний, что уже не хотел приезжать и в тринадцать уже

целиком, насовсем не захочет. Прятал взгляд и, не вытерпев, поднимал на чужого человека глаза, выедавая в упор и со страшной неопределенностью, задавая все те же вопросы, но со взрослой, выросшей силой: почему же ты здесь, когда ты мне так нужен, нужен прямо сейчас, как не будешь уже никогда?

Повредил сыну в самом зачатке: у пацанов — отец и мать, у всех отцы работают на огненном заводе, плавят сталь и приносят домой в конце месяца деньги (стали много железные получать от Угланова денег за стальную страду, за прокатную пахоту), и если нет отца, отец твой — не железный, то, значит, ты и сам живешь на этом свете не взаправду; никто тебя не видит, ты заразный, отец сидит в тюрьме и сам пойдешь в тюрьму — вот что видел Чугуев у сына в глазах. Он уже отбивается там в одиночку от глумливых потешек, от злых кулаков, отвечает за имя, фамилию рода, не способный пока что разбить ничего, кроме хлипкого носа, засадив со всей маленькой силы в ответную, но уже набираясь обиды и злобы, вырастая на этих обиде и злобе, а не на первородной чугуевской правде созидания отменных железных изделий, и когда-нибудь в нем это все полыхнет, и тогда он ударит — продолжая Валеркой начатое, заведенное в сыне движение — с той же страшной, ослепшей силой, с которой когда-то человека ударил отец. Вот что жгло и казнило: он отсюда не может уберечь своего пацана от вхождения во злобу. Уберечь его, чистого, — от себя, осужденного, нынешнего. Распахать и засеять: «не бей и прощай». Не одну свою жизнь испохабил. Не Натаху одну обнесчастил. И Натаха простила, а сын — не обязан. Сын, наверно, уже навсегда не простил.

Пустыней Шереметьева вел за руку он маленького сына и чувал эту руку в кулаке как небольшое, еще не выросшее собственное сердце. Только двенадцатый урок самостоятельной ходьбы, после того как Ленке вскрыли череп и удалили кровяные сгустки из надтреснутой и сотрясенной при ударе головы. Никого на пути — по другим коридорам, в сопредельной галактике шаркали и томились стоймя низкородные толпы, наливаясь учтивым вниманием перед прыщавой мордой всеильного пограничного быдла, что разглядывает их паспорта, словно шанкр сифилитика, и, поставив оранжевый разрешительный штампик, выкидывает из своей бронированной капсулы, как подавание.

Здесь пространство простерлось совершенно пустым, проходимым, проницаемым полем, где ничто не мешает прорыву ненасытного детского взгляда ко взлетному полю, к расписным белым тушам различных самолетных пород и флотилий. Сын вертел головой в хохломской красно-белой олимпийской панамке, покрывающей брито-колючий, перепаханный швами фамильный углановский череп, всю непрочность которого и незащитность, прикоснувшись, от Ленки подхватывал он с такой проводящей силой, что как будто его самого вместе с Ленкой выбрили и сейчас проводили по затылку скребком-элеватором, наподобие того, каким чистят рыбу от чешуи повара и хозяйки на кухнях. Ленка дергался, рвался, налегал и вставал на перила, прижимаясь сопаткой к стеклу и не помня, не чуя под своей затылочной костью того, что так буднично вырезал у его из-под твердой мозговой оболочки этот самый Бессонов, все зашив и поставив на место, как было.

— Эй, полегче, боец, головушку, смотри, не встряхни, — раз за разом рука находила сама эту верткую мелкую голову, торопясь уничтожить полосу

разделявшего их с Ленькой воздуха, ощутить его цельность, живое тепло, и от радости соединения с сыном забывалась другая пропажа, мирового значения поражение Угланова в силе: в первый раз за всю жизнь повалилось то огромное, что он задумал и выстроил так изящно, так стройно, — престарелое собрание акционеров сталеварного Старого Света жало, жало, давило из себя роковое и выжало осторожно-сухое решение отложить рассмотрение вопроса по слиянию в сверхновую своего «Арселора» с «Руссталью» до Нового года — притворившись, конечно, до кишок оскорбленным тем, что monsieur Uglanov лично не прилетел и не предстал перед собранием, чтоб отстоять свою стратегию и видение будущего. Миттал сделал немедленно миллиардное контрпредложение — он, Угланов, остался один, со своей изначальной машиной на огненном острове, окруженным, стоящим посреди вековой трясины непризнания собственности, против всей русской власти, вертикального биоценоза, и под ним теперь вправду закачалась земля.

Он не думал о власти случайностей, о могуществе ломкого льда, отсыревшей балконной лепнины, перелетных пернатых костей, угодивших в самолетные двигатели, нерадивости сборщиков шведских стенок в «Алмазово» — он не думал, что если бы с Ленькой в тот день не случилось беды, то тогда бы он вылетел в Люксембург, как хотел, и своей рукой все поправил, откачал захлебнувшийся замысел свой. Что теперь было думать? Да, промысел был. С первых дней его жизни заключавшийся в том, чтоб не дать ему выстроить на земле ничего своего нестигаемо прочного, и ломал, опрокидывал этот промысел он раз за разом всегда своим собственным замыслом. И теперь оставалось слишком мало пространства и еще меньше времени для разворота куда-то, и впервые за жизнь он почувствовал что-

то похожее на ничтожество собственного мозгового усилия. Кремль, ясно увидев, что слияния «Русстали» с Европой не будет, во всю мощь стиснул жвалы: вслед за Олей Высоцкой забрали Литвинову, Коноваленко, Томского, предъявили привычные русские дикие обвинения Саше Чугуеву и сбежавшему в Лондон Ерма: тот все вовремя верно почуял и вколачивал в мозг по 140 любовных эсэмэсок на дню: «улетай!», «сгинь!», «ИСЧЕЗНИ СЕЙЧАС ИЗ РОССИИ!», и Угланов теперь улетал вместе с Ленкой в Вену, где займется сыновним сотрясенным, ушибленным, вскрытым, залатанным, заживающим черепом, электрическом током, источником и причиной живой бесподобности, и еще не решил: как он сам, где теперь ему место, где сможет он жить.

План ублюдков был прост, как топор: насчитать сколько можно недоимок «Русстали» за юрский период и включить 2 % налоговых пеней Угланову в день, чтобы вышло с накрутом миллиардов под триста долгов, и уже ничего не останется: либо разорвут на куски по банкротству, либо он им отдаст всю машину свою целиком, погасив это синее море долгов абсолютным контрольным пакетом. Думал только об этом: сберечь, заложить, обеспечить живучесть и цельность машины. Рост Могутова — после себя. Он теперь допускал даже это: что живого, присутствующего на земле человека, его(!) сможет выдавить кто-то, как устрицу, слизь, из могутовской жизни, что не станет в могутовских алтарях его личного постоянного пламени.

— ...Посмотри, посмотри! Это наш самолет?

Вот кого у него никогда не отнимут: несомненно живой, невредимый, вновь подаренный безо всяких «будто» Угланову сын тормозил и тащил его за руку по пустому пространству к силуэту «Гольфстрима», и ничто не мешало проходу к этим

низко посаженным бритвенным крыльям, острой морде и снежному фюзеляжу с шестью пароходными иллюминаторами. Отборная аэрофлотовская девка с дарительной улыбкой сняла со столбика витой бордовый шнур, и Ленька побежал меж кожаных сугробов на рулежку, разгоняя отца, заражая своим предвкушением отрыва, и внезапно вот в этом привычно абсолютно свободном пространстве для Уланова сделалось что-то не то: в самом-самом углу на сетчатке возникло еле-еле являющееся пятнышко — угодившая в глаз на лету ему мошка, надо просто сморгнуть, отмахнуть этих вялых огромных лесных комаров между ним и рванувшимся к самолетному счастью ребенком. Но внезапно начавшееся роевое движение это продолжилось — совершенно отдельное, не разметенное, не убитое тотчас углановским... и — бабах! — опрокинулось что-то железное на голый каменный пол, слитный стартовый гул с дальних взлетных полей придавил, перепонки отшибло, вмуровав в пустоту, и в пустой тишине набежали, отрезали от пропавшего сына тяжелые плечи, и широкие спины, и черные головы.

Он задержал башкой, узнающе и неузнающе царапая влажные дыры, автоматные дула, обрубки белых пальцев в перчатках, — на него, прикрывая от жжения глаза и страдальчески хмурясь, шел какой-то другой экипаж, трехголовый, в двубортных ярко-синих мундирах, похожих на летные, но каких-то уродских, зная, что не убьет, что теперь не сгорят, подступив к автократору русской стали вплотную, на ходу доставая из папки юбиляра почетную грамоту, приговорный листок с государевой птичкой и свежим, непросохшим сиреневым штампом... и под ребрами что-то в Уланове лопнуло, словно полный молочный пакет об асфальт, — не от страха, а сразу, от потери стального, живого в себе: его нет и того, кто бы мог это «нет»

ощутить, тоже нет. Кто же это тогда в нем вопит? Крик разрезал от горла до паха — починенный, беззащитный, родившийся заново сын подорвался, толкался к нему сквозь тяжелые черные ляжки, бока, молотил кулачками с цыплячьей силой больших: за отца! — стиснув зубы, сведя в кулачок все лицо, не боясь, что большие страшно врежут в ответную.

— Пу-у-у-усти-и-и! — резал криком Угланова, всех, разрывая в гортани, в груди у себя что-то непоправимо, кровавые, отчаянно нежные, нужные человеку для жизни тяжи, и захлебываясь визгом придавленного колесом на дороге щенка, ненавидящим остервенелым рычанием: пересилить, убить этих черных огромных на одной чистой злобе своей...

Чернолицый сгреб Леньку в охапку, в подмышку, оторвал с залягавшими в воздухе маленькими... Отлетела панамка, открыв головенку с ремонтными швами!.. И Угланов пошел, полыхнувшей рукой вклевшившись пилоту в кадык, продавив и стоптав, как живую мясную закричавшую изгородь, — к сыну! И мясистые крепкие пальцы впились и нагнули, вылуцивая ему руки в плечах, — устоял и орал в непрерывном упоре, пока что-то рвалось в нем под кожей, напряженные мускулы, струны позвоночного, ломкого, из костей существа:

— Сына, сына мне дай увести! — выворачивал голову под придавившей пневматической лапой словно из-под воды — и рычанием, воем, межзубным нытьем — в беспробудно служилые, ровные глазки: — Отпустить! Отпустить! Он больной, ему голову резали, мозг! С ним хоть что-то сейчас если будет — своего потеряешь, всех ублюдков твоих, никого из яиц своих сделать не сможешь... Глазки дрогнули, лопнула в хватке пружина, отпустили, рванулся к ослепшему Леньке, обвалился,

схватил за цыплячьи плечи:

— Тихо, тихо, сынок! Вот он я! Посмотри на меня! Ленька, это милиция, наши, ОМОН! Мне не больно! Ничего они, Ленька, нам с тобой не сделают! Наши, наши они! Они просто приехали нас защитить от бандитов! Это ложная, Ленька, тревога! И дослать бы ему, закормить до отвала вот эти глаза: «Мы сейчас улетим! Вместе, оба!..» И не мог, Ленька все понимал, навсегда уже понял, жизнь его стала с этой минуты другой, что-то треснуло и пролилось, опустело в истерзанной, не зажившей его голове, в этой маленькой крепости, в ребрах, взорвалось и беззвучно продолжало взрываться в закричавших «не ври! они злые!» глазах, вот таких нестерпимо, предельно углановских, словно сам на себя он взглянул из сыновнего тела: по края в них плескались отчаяние и какая-то вещая горечь догадки: куда забирают отца, не конкретно куда, а по сути: забирают отца — у него, и взлетел одинокой душой в погоне за Углановым мальчик, чуя, что не догнать, разняла, растащила их с отцом равнодушная сила — на огромное «долго», может быть, вообще навсегда; больше вы не одно, он — не ты. Так мертвеешь от стужи, в первый раз догадавшись о смерти: папа не навсегда, мама не навсегда.

— И они нас отпустят?! Папка! Отпустят?! Мы с тобой сейчас полетим? И ты с ними сейчас никуда не пойдешь?! Папа! Ты их сильнее?! — всею силой вцепился и жал из отца — справедливость, единственное, чем он может сейчас надышаться, заглотить и не выплюнуть.

— Ленька, слушай меня! — взял в ладони морденку. — Ты сейчас полетишь с дядей Тошей один. И к тебе через день прилетит туда мама! А я должен поехать сегодня в милицию. Я в Могутов, в Могутов сейчас полечу! Там на наш завод,

Ленька, напали бандиты. Это долго мне с ними разбираться придется, они сильные очень... — и не мог говорить, задохнулся этой чистой правдой. — Я не сразу вернусь, через год, через два... я не знаю, когда я к вам с мамой вернусь. Но вернусь обязательно, Ленька, вернусь!.. Ну, не плачешь? Никогда не реви — ты Угланов, Угланов. Жизнь такая, она как война, я тебе говорил, постоянно нам надо уходить на войну... Наше счастье, оно вдруг кончается, прекращается... ну, на какое-то время... надо ждать и терпеть. Никогда не жалея себя, понял? Только слабые люди жалеют себя и хотят, чтобы все их вокруг пожалели. Ты сейчас это понял: никто никогда не сделает тебе, как хочешь ты. Самому надо делать. Я буду далеко, но знай, я все равно оттуда каждую минуту буду видеть, как ты живешь и как ты поступаешь. Сильный ты или слабый. Чем сильнее ты будешь, тем скорей я смогу возвратиться к тебе. Ну а будешь ты ныть, так и я ныть начну, развалюсь от нытья твоего, плаксавакса... Ну прости меня, что все вот так! Маму не обижай, у тебя теперь мама остается одна... береги ее, понял?.. Потому что никто тебя так же сильно, как мама, никогда не полюбит. Ну давай, сын, давай... — Ткнулся мордой в морденку, в приварившую родность и сразу, не стерпев, оторвал от себя, как железо от губ на жестоком морозе.

«На стыковку, Чугуев. Пошел». Побежал, как с горы, потащился с чугуном на ногах — между серых кирпичных барakov, через плац, протянувшийся белосиреневой, выжженной электрическим светом пустыней, мимо стройных шеренг свежесбеленных, тоже будто бы вышедших на переключку, отбывающих срок в

мертвой серой земле тополей... Много белого стало: бордюры, стволы — вылезая из старой, растресканной кожи, под кого-то, зачем-то обновлялась вся зона... Как всегда — «под комиссию», там и сям возгорания ремонтов — запрягли и гоняли их всех, мужиков, на все старое, нищее, проржавевшее и прохудившееся... как дожди, зарядили над зоной проверки: генералы, полковники с непрерывно о чем-то тяжело размышлявшими мордами обходили отряды, хозблоки, цеха, саморучно крутили по кабинкам в парной полыхавшие новые вентили, с красно-синими карандашами исследовали инженерные планы дренажной системы, вентиляции, канализации; перестройка, вообще непонятная, повелась не внутри — по периметру: там в запретную землю вращали бетонные плиты массивнее прежних, пропускался по новой колючке высокого напряжения ток, зачистившие в зону автобусы подвозили бригады отчетливо трезвых и хмурых рабочих в ярко-синих и красных комбезах, с чемоданчиками и баулами, полными перфораторов, сменных насадок, крепежей, разноцветных мотков проводов, черных линз объективов, нержавеющей кожухов, ящичков с электронной, видно, начинкой и еще всякой-разной невидимой, уловимой только магнитной отверткой несметной насекомой мелочью, — те шпурили заборные плиты, пробрасывали кабели, ковырялись в электрощитах с кропотливостью часовщиков, проводя, собирая какую-то новую небывалую сигнализацию, и уже к хохоткам арестантов «Не Ишим уже нам — Алькатрас» начинало примешиваться темное недоумение от чрезмерности этих усилий и предосторожностей: под какой же такой контингент, не людей, а зверей переделать решили всю зону?

А Чугуев не думал. Для него поменялось другое. Хлябин, Хлябин затих,

обернувшись исправным служакой ввиду этих всех чрезвычайных комиссий и оставив Валерку в покое, не в покое, так хоть налегке: не натравливал больше на намеченных в пищу себе мохначей, и надежда какая-то даже проблеснула в мозгу, что в связи с этим новым порядком, под завинченной наглухо крышкой кровосос больше не шевельнется вообще... И несла его эта надежда к Натахе сейчас, к одиноко стоящему серокирпичному домику, так похожему издали на их с Натахой могутовский дом, дом отцовский, в котором родился... Дом, конечно, вблизи был подделкой, гостиницей, ни по ком не хранящей исключительной памяти из трехдневных своих постояльцев, чьи отдельные запахи, шепот, бормотания, слезы сливались во что-то безличное или, может быть, вовсе не могли удержаться, улетучиваясь сразу же; тень ближайшей бетонной стены неподвижно лежала на доме; ни один вертолетик кленовый, казалось, не мог залететь на асфальтовый двор сквозь колючую путанку. Но и здесь безнадежноупрямые жены хотели спать с мужьями на временных койках как на постоянных, накормить их, скотов, жирной пищей, собой, отдавая все, что они могут отдать, — долгожданную сладость, огонь переспелого тела... И опять на ходу колыхнулась чугунно и расперла Чугуева в ребрах вина: вот что он ей, жене, на полжизни оставил, вот какой у них общий с Натахой дом... и вшатался, втолкнулся в поддельно-домашнюю комнату, и еще молодая, хлесткосильная женщина, с ровным остервенением сгружавшая в холодильник ледышки мороженных бройлеров, и колбасные палки, и прочую снедь, обернулась к нему с такой резкостью, словно стегнули, и, роняя пакеты, как ведра в колодец, подалось к нему, гаду, с перехваченным скобками страха увидеть не того, не такого Валерку лицом... к эшелону теплушек, везущему половинных и целых с

войны... И качнулась, ослабла от первой, самой сильной прохватывающей радости, что физически цел, невредим... Будто солнечный свет от Валерки ей ударил в глаза и немедленно вынес со дна их нестерпимую, неистребимую синь — все другое исчезло, кроме этой колодезной сини, пробравшей до зубной боли в сердце, кроме первоначального, юного, заревого лица, не стерпевшего и проступившего сквозь горькие черты усталой женщины, избитой перелетами меж огненным Могутовым и нефтяной Тюменью и обратно. И после долгого и краткого всего на общей временной постели она пила, вдыхала его запах, только его, чугуевский, и слышный только ей, целовала в глаза и шептала: как все трудней дается его матери короткий путь от дома до Казачьей переправы и обратно, очень сильно болят у нее на плохую погоду колени и в голове пыхтит как будто паровоз, но она его ждет, его старая мать, заложились дожидаться; что Валерка закончил без троек четвертый, правда все у них в классе закончили на четыре и пять, это не показатель, в начальных классах к ним пока что проявляют снисходительность, а пойдут уравнения сейчас с неизвестными и особенно химия, помнишь?.. вообще ум за разум заходит... Это что? Поведение хромает, вообще никому уже не подчиняется наш с тобой сынок, в дневниках замечания: «подрался», «подрался», «оскорбил в грубой форме» — вот в кого он такой, ты не знаешь?.. Молчу! Александр Анатольевич твой обещал повлиять и Валерика в новую школу устроить, хорошую... Ну, такую, Угланов построил у нас при заводе специальную, инженеров готовить чуть ли не с колыбели, и Валерика, значит, туда, ну с условием, конечно, что будет стараться учиться, а не шлендать по разным котельным и стройкам. А Угланова нашего взяли, Валерик. Ну куда — вот под суд, под арест. Телевизор вам тут вообще не включают? Ну и с Сашкой теперь

неизвестно что будет. Тоже очень боится теперь. Что творится, Валерка, у нас! Как его-то, Угланова, взяли, так весь город и встал — за Угланова. Руки прочь, отдавайте хозяина! А какая война была, помнишь?.. Ох, помнишь... чтоб его на завод не пустить. А теперь все в него поголовно, как в бога. Кто молчком, кто уже в полный голос: никакого другого не надо. Ну а как? Ведь народ не обманешь. Стал бы кто за него, если был бы он — так... Ведь завод-то поднялся, его раньше-то было, сколько помню себя, целиком не увидеть, завод, а теперь вообще — где же он там, в Сибири, кончается? Люди ходят не гнутся, смотрят прямо в глаза. Каждый новый свой вес, вот значение почувствовал. Получать сколько стали. Сорок тыщ, шестьдесят. Ну и вышли на площадь, стоят и молчат. День стоятмолчат, два, и неделю, и месяц, считай. Приварились, уперлись. Вообще непонятно, что будет, Валерочка. Как не знаю... опять воевать собрались. И теперь уже с кем? С государством. Что ж за город у нас? Аномалия просто могутовская.

Это все теперь было совсем далеко от него — что творилось сейчас на заводе: и родной его брат, оборотистый Сашка, и огромный Угланов со скучными и пустыми глазами, не видящими никого из людей, ничего вообще меньше домны, ничего легче тонны могутовской стали, и ребята-рабочие, что с недавних времен под Углановым зажили сытной и осмысленной жизнью, с ощущением честных мозолей на чистых, не запачканных кровью руках... Это все теперь было настолько от него далеко, что уже не будило ни злобы, ни зависти.

Он вообще жил нигде, от всего отсеченный, для него шли другие часы, жизнь его сократилась, свелась к постоянному страху быть затянутым в новую кровь, и одна лишь Натаха, как свечка, горела для него в темноте своим чистым лицом и шептала,

шептала, без обмана почуяв, что сам он не свой, что его чем-то в зоне совсем тяжело придавили: «Что, Валерочка, что? Ты скажи, ты мне все говори. Я же вижу, Валерочка, это! А вот то, что попался на чем-то! Ментам своим тут! И у вас тут война, я же знаю, заключенные между собою, разборки. Что, Валерка?! Я ж тебя ведь насквозь. Снова „раз только врезал — и все, он лежит“?! Это, это, Валера?! Или что, говори! Что другое тогда?! Что они тебе шьют? Ведь за самую малую мелочь прихватить тебя могут, я же знаю, Валера, наблатыкалась тут, как у вас говорят, у охраны. Может, денег хотят они с нас? За какую-то мелочь прижали? Так тем более ты не молчи! Ты скажи, мы найдем, мы заплатим, вон у Сашки зай му твоего, пока он не сбежал за границу... и возьму! у тебя не спрошу! для него эти деньги — плевок! Или дом продадим с твоей матерью, все свое продадим — проживем! Самое главное сейчас — чтобы ты вышел, ведь ты столько, Валера, уже протерпел и совсем нам с тобою недолго осталось! Только ты не молчи никогда, я прошу!»

Вынимала своей отчаянно-горькой синью из Чугуева правду, все готовая взять, как собака из рук, даже если он этой правдой ее и добьет, и шептала еще: «Ну кому, как не мне? Я должна это знать!» — пока не обессилела, приварившись к нему всей своей тревожной, чуткой тяжестью, обсыхая с ним общей кожей и боясь отпустить его даже во сне.

Уходило их время свидания, а Чугуев никак все не мог шевельнуться в тесноте их объятия, зная, что может так опоздать на развод и получить взыскание в личное дело, — ждал, пока потеряет она обнаженную чуткость всей кожи и не сможет почуять пропажи, разлучения, разора, отрыва... и стоял над ней в утренней серой, беспощадно прорезанной законным прожектором тьме и глядел на родное лицо, на

вечную страдальческую складку у дышавших ее губ, и во сне до конца не разглаженную, — все вдыхал ее, пил, золотую Натаху свою, и не мог ни напиться беззащитной, горькой родностью, ни оторваться.

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

1

Непрерывно уже чуял он этот запах, который потомственно и пожизненно держит в себе корневая система бессознательной памяти каждого русского или, может, любого двуногого зверя вообще, — запах застиранного, ветхого казенного белья, протравленного хлоркой и прожаренного в вошебойке, стократ пропитанного потом слабости и страха, запах медленных неумолимых болезней и твоей невозвратно, неостановимо сгораемой жизни, запах рвущей, сосущей осторожной тоски, человеческой малости, что не весит совсем ничего, невозможности личных, ни с кем не делимых, неотъемных вещей, запах небытия тебя лично, вне конвейера, марша, режима, расписания прогулок и корма. В общем, так пахнет смерть, та, что можно потрогать, испытывать, пить и вдыхать, и она не кончается и не кончается.

Страх не было вовсе: невозможно трястись от того, что уже началось для тебя; дальше — только погрузка, доставка, обработка, разделка; ничто не прерывало движения точных рук, находивших в нем нужные кнопки, — засадили в стального жука между черных голов и литых мощных плеч и куда-то везли... куда именно, не интересно, в какой именно ржавый рот железобетонной «тишины» его вдвинут, но зачем-то включился в башке его скоростемер, и зачем-то считал километры, минуты в дороге — весь сознательный век свой проживший в хронической недостатке летящего времени, и уже стало ясно: в Лефортово, словно это конкретное место

имело значение в общей определенности, словно нужно найти было имя для всего, что железно залязгало, закрипело, заныло вокруг, с пережевывающим хрустом, разрубающим грохотом раздвигаясь, впуская, захлопываясь. По гремящим отсекам подлодки, коридором меж голых, обожженных прозекторским светом, чем-то тухло-желтушным покрашенных стен пошатался, пополз, не сгибаясь, то и дело втыкаясь башкой в стальные уголки косяков, с этой местной поверхностной прижигающей болью почуяв: с его ростом — отсюда и уже навсегда — не считаются, не поднимутся эти железные притолоки, как всегда и везде под него раздвигалось пространство, когда он, он, Угланов, шагал и за чем-то протягивал руку.

В голой комнате-зале, заполненной студнем заварного горячего воздуха, сразу три камуфляжных устройства поднялись из-за голых столов и шагнули к нему с санитарской учтивостью самых лучших сотрудников ГУП «Ритуал»: «Лицом к стене становимся, пожалуйста. Ноги на ширине плеч, пожалуйста». И его не прожгло — не терпевшего прикосновений, — и стоял, раскорячившись, мордой к стене — в подступившем водой понимании, что сейчас началось то, что будет повторяться еще и еще, каждый день; проминая, прощупывая шов за швом его шкуры на предмет заселившихся блох и клещей, со сноровистой быстротой разделали, вынули и сложили в лоток небольшой невесомой кучкой: два стальных его вечных мобильника, полных номеров рыбащеров мирового правительства, орластый загранпаспорт гражданина Российской Федерации, бумажник с парой-тройкой кредитных отмычек от всех, от всего, распухшую от стрелок и кружков только ему понятной клинописи книжку, стальной хронометр, который остановится только спустя семь дней покойницей бездвижности хозяина, стальной «Монблан»,

визитницу, стальную зажигалку, пачку «Мальборо», «снимите ремень», «выньте шнурки» — все извлекаемые, съемные детали ставшего голым, продуваемым насквозь, вот с непривычки как бы дырчатым устройством. И теперь навсегда — так, скажут они, отведя ему место: «проходим», «стоим», где и как ему жить, чем дышать, камуфляжные особи с полиняло-облезло-потертыми, как бумажник старухи, служилыми мордами и глазами рептилий... Руки жили отдельно, исполняя, что сказано, отмерзали, текли, протекали сквозь ткань, как вода, и сквозь них протекали застрявшие в прорезях пуговицы... ободрал сам себя до резинки хлопчатобумажных «семейников», что берешь по утрам в герметичной упаковке из стопки таких же и бросаешь заперлым комком в бельевую корзину дома по вечерам; появилась еще одна особь с глазами пожилой черепахи, на ходу доставая из карманов халата перчатки и шлепнув по запястьям посыпанной тальком резиной: «Подойдите, пожалуйста. Рот откройте, пожалуйста... Повернитесь, пожалуйста. Ягодицы раздвиньте, пожалуйста».

И опять коридором, по крутому железному трапу, через каждые десять ступенек ударяя по прутьям гремющей связкой ключей, — в провонявшую хлоркой, банно-прачечным обобществленным... каптерку... позабылись названия, слова. Из окошка обритая пустоглазая башка ему выдала полосатую скатку матраца, шерстяное болотное одеяло и простыню с огромными чернозвездными штампами — казенные дары детдомовского детства общего режима, изжитого, сожженного, столь убедительно не бывшего и захлестнувшего сейчас Уланову сетчатку, — вот что его проткнуло и добило, задохнулся от смеха, человек, что судьбу делал сам, опрокидывал промысел собственным замыслом, выбирая всегда, что он будет иметь,

что держать и с какой проминающей силой двигаться. Тот, кто с ним это сделал, имел чувство юмора: колесо с прилепившимся к ободу, словно мелкий соломенный сор, человеком описало огромный полный круг и вдавило его в ту же глину, из которой он вышел, в тот же нуль своего единичного неповторимого собственного. И теперь было поздно — еще раз начинать.

2

А откуда он взялся? Как он «начинал»? Своры всех ста пятидесяти телеканалов, Интернета, таблоидов ломанулись к воротам Лефортова, в сей же миг осадив параллельно цитадели российской юстиции, всем давая желающим поглазеть на подробности русской корриды и согреться глумливой радостью маленьких от падения большого: что дают ему там, под плитой, в загоне, чем питается, как испражняется... И попутно охотились за углановским прошлым, за Углановым тем, первых детских ходов, накопления первого капитала для страшного роста до контрольных значений, регистрируемых «форбсовской» аппаратурой, и все эти авральные мыши раскопки принесли неожиданно, ожидаемо мало существенного.

История восхождения младшего научного сотрудника Института проблем безопасности Углanova А. Л. оставалась такой же прозрачной, как тема его кандидатской: «Полуэмпирические уравнения плотной плазмы металлов на основе модели Томаса — Ферми». Из тех, кто все видел, кто вместе с ним шел, остался один лишь Ермо — Брешковский и Бадрик молчали в могилах. Вместе с Дрюпой и Бадриком не протаранил — перешагнул вступительные в «свой», предназначенный

МФТИ, и вот эту-то самую предначертанность и ощутил ближе к третьему курсу как ясное, постоянное, неотменимое зло, как железную часть все того же изначального промысла, по которому должен он, Угланов, не быть, и как часть всесоветской предопределенности. Это не он — ему определили, предписали, прорезали эту дорожку: в 23 — м. н. с., в 35(!) — кандидатская, и будь хоть семи пядей во лбу — не ускоришься; может быть, вообще никогда не получишь в свои руки машину, рукотворную мощность не меньше термоядерного Токамака или огненной силы Могутова, потому что машинами здесь управляют заржавленные ветераны компартии СССР, долгожители, зомби, рептилии и не выпустят руль из иссохших клешней, пока ты не рассыплешься.

В этой стране у человека было все, кроме уверенности в перемене участи на любую другую. Делай или не делай — все пойдет, как и шло. Без тебя. Предначертанность сделала двести миллионов советских людей пусторуким сообществом нищих. О кратном повышении оклада сто лет как забыли и думать: измеренность зарплат лишила стимула — необходимости работать лучше и быстрее, платят всем не за труд — за приход на работу, личный рабочий интерес рассчитывается по изготовлению, а надо — по реализации, и отсюда дерьмо на прилавках, на колесах и над головой; потеряла значение вера в абсолютную силу единого общего дела, за пузырь в чугуне не расстреливают, и рабочие цехами, заводами положили с прибором на качество напрягаемой стали, всего. Слова «приобрести», «купить» утратили свой смысл в прошлом веке — все стояли и ждали, когда им подадут — из машины поставки всех жизненных благ, что должны были выстроить сами. И все то, что тогда они делали, вундеркинды и три мушкетера,

было вовсе не бунтом против этой системы, а потребностью жить, как растешь.

Бадрик с Дрюпой какое-то время барыжили финским сервелатом и «Мальборо», что обрушились на обезлюдевшую и помытую с мылом столицу в олимпийском году, а Угланов уже озирался: где машинка, в которую можно залезть и дать «полный вперед», что он может сейчас получить и возглавить... И нашел то, что видели все, но никто не хотел разгонять проржавевшую вагонетку по рельсам. Бригадный подряд. «Чуваки, — объявил он им в „штабе“ над Сетунью, на дощатом настиле на ветках ветлы, — вы ловите на мизере, точнее, на говне. Ну подняли вы десять кусков за три года, ну еще за три года поднимете столько же. С каждой шмоткой мудохаться будете и дрожать постоянно от каждого шороха. Да не в том дело, что погорите и что кто-то зассал вместе с вами крутиться. Просто дальше-то что? Что имеем на выходе? Джинсы можно, поляну каждый вечер с девчонками в „Узбекистане“, а машину нельзя и квартиру нельзя, потому что от партии сразу вопрос: на какие шиши? Потому что ты кто после пятого курса — аспирант, мэ-нэ-эс. И вообще: двадцать штук — потолок, на дерьме этом больше не сделаем. Вся же прибыль не с вещи — с объема. А на шмотках не мы сидим, не во Внешпосылторге, чтоб иметь с оборота. У меня две идеи: одна нормальная, вторая гениальная».

И всадил: стройотряд. «Что, тащить дальше БАМ за мечтой и туманом?» — обленившийся на легком хлебе Еρμο лишь презрительно сморщился сквозь комариные полчища и еловые лапы непролазных чащоб, на последние всполохи единения душ у костра под гитару, Бадрик всей молодой оленьей силой был готов подорваться в таежные дебри хоть завтра лишь на том основании, что ни разу не пробовал и «вообще: я — как вы», а Угланов тащил их к Кормухину, «дяде Володе»,

тому самому другу отца, уничтоженного абсолютной силой за то, что отказался давить ее гусеницами пролетарский восставший народ, — у Кормухина был под началом стройтрест, и давно он ушатывал Тему: «Может, все-таки надо чего? Не молчи, попроси — помогу».

Через их институтский комитет комсомола, что гонял всех физтеховцев на раскисшую глину капустных и свекольных полей убирать урожай, получили путевку в стройтрест, сколотили отряд из голодных до работы и денег собратьев и катались все лето по дачным поселкам Красково, Удельное, Тайнинка... И в поселок Совета министров(!) на Успенском шоссе: отставной подполковник бронетанковых войск не обманывал — строил дачи и вправду для очень непростых отдыхающих, и не надо им с Бадриком было носиться на разбитом «козле» по различным управлениям механизации и базам лесоматериалов и выклянчивать лишний-другой кубометр гнилья, экскаватор, бульдозер, бетономешалку... на Успенском шоссе наступил коммунизм. Ничего они, физики-теоретики, толком не могли изначально — разве только копать, и со всей молодой своей жадностью рыли, вычищали канавы под фундаменты тех первых нищенских дачек, а потом намонстрились понемногу и плотничать, и три лета подряд — честный пот и мозоли, официально закапавшие, побежавшие деньги: триста в месяц на рыло, пятьсот, ну а главное, он наконец-то дорвался — повести за собой первых тридцать голов, направлять их и требовать. К летней сессии третьего курса позвали в комитет комсомола: «Как ты смотришь на то, что мы сбор членских взносов в институте поручим тебе? Опыт есть у тебя оргработы, стройотряд наш физтеховский в лидеры вывел, с твоим мнением считаются». Он совсем не хотел непрерывно зависеть, по-собачьи служить — да еще

главным мытарем всех факультетов, но почуял врожденным подрастающим нюхом: он не сможет сейчас в одиночку двигать то, что он хочет, не прикрытый никем, кроме разве академика Авалишвили, вот сейчас ему надо зацепиться и встроиться, быть в составе, в системе, зарабатывая авторитет... И вообще, что-то тут, в комсомольском активе, у них затевается, они ближе к партийным рептилиям, мумиям, к этажам, на которых решается, как и чем будут жить все советские завтра.

И пошел в институтские сборщики податей на привольном и вольнолюбивом физтехе, презиравшем «халдеев»: каждый месяц был должен окучивать пять тысяч душ — люди недодавали копейки, телефонную мелочь на общее комсомольское дело — надувался такой пузырек недоимок рублей в 200–300, и в райкоме долбали: опять недобор? И, конечно же, проще Угланову было каждый месяц докладывать в кассу свои. Ну, Ерма тут, конечно, припомнил спелогубого, масляноглазого персонажа «Республики ШКИД», что ссужал попрозрачневшим с голодухи собратьям осьмушки: «я тебе дам свою пайку хлеба, а за ужином ты мне четвертку отдашь».

Вслед за Брежневым смерть сразу вырвала из рядов и Андропова, и запахло оттаявшей черной весенней землей, навозом, свиначником, и Угланов почуял: пора разогнать и вторую идею свою, «гениальную»: «Значит, так, чемберлены, закон на советской планете один: кем работаешь, то и ворует. Какие мы имеем средства производства? Только эти. — По черепу пальцем. — Тоже вот дефицит, самый непоправимый. Либо есть, либо нет. А дипломто с отличием хочется всем защитить. Это сотни дебилов. И богатых сыночков, втыкаете? Надо только работать с объема, бригадой. Позовем Айзенберга, Голдовского, Друскина, Сашу Савельева — пусть штампуют расчеты, модели и графики. Бадрик будет клиентов вылавливать... ну, там

в «Губкине», в «Плешке», в Станкине. Но дипломы — херня, для разгона. Мы же можем ведь и... кандидатские... Да какие „все сами“? Я тебе не про наших толкую. А вот есть генерал производства, от сохи, от мартена такой, он в станках понимает на ощупь, а в теории — нет, и ему надо тупо получить эту корочку, чтобы двигаться вверх. Тупо времени нет — самому. И вот как это так получается: времени нет, а из ВАКа выходят все такие с заветной корочкой? Значит, кто-то им эти пирожки выпекает. Индустрии там, может, и нет, но кустарные промыслы — точно. Нам бы только концы в институтах найти, самых мясо-молочных и заборостроительных. Ты вообще представляешь, что это уже пять процентов от Ленинской премии?». Сколотили бригаду, запустили процесс. Где-то раз в два-три месяца Бадрик приводил настороженных мрачных армян и абхазов, звериной чуткостью и гибкостью повадки больше похожих на воров-законников, чем на обычных травоядных аспирантов института им. Плеханова. Улыбчивый грузин, подъехавший на «бэлый-бэлый» «Волга» с кузовом «пикап», путался в русских падежах и окончаниях, но протянул Ермо листок с названием потребной диссертации: «Разработка алгоритмизации оптимальных решений при управлении предприятием народного хозяйства на примере Батумской чаеразвесочной фабрики». Они еще тряслись и отбивались от буйной смеховой агонии друг друга, когда грузин открыл свой министерский кейс и вколотил в столешницу кирпичик сторублевки, как первый камень в основание их энтузиазма: «Я очень прошу тебя — сдэлай. Имею дикая потребность, дорогой».

Но на этой жар-птице из солнечной Грузии все и закончилось, никаких «Ереванских коньячных заводов» на них не обрушилось, так что стригли лишь

жалкие сотни с преддипломных баранов — было жалко своих бесподобных нейронов, выжигаемых этой нищенской поденщиной. И вот тут-то он и появился, с осторожной, ласковой цепкостью сцапав Углового за руку в институтском дворе, — коренастый, избитый полетами меж какихто ученых советов, планет, не сторающий в плотных слоях атмосферы, напряженный, ссутуленный, согнутый, как бы сам себя делавший меньше и ниже неопознанный метеоритный объект: с облетевшей уже на ветру — к тридцати? к сорока? — головой, тонким клювом, лягушечьим ртом и прогорклыми, режуще быстрыми, совершенно безумными под еврейским вельтшмерцем глазами.

— Вы Углов, простите? — Пальцы сразу разжались: не трогаю, все. — Я про вас очень много наслышан, что есть такие вот ребята на физтехе, которые... э-э-э... немного помогают, так скажем, в подготовке... вообще вот гениально... — молотил и тянулся к Углову снизу озаренно-подсолнечным, жадным («наконец-то нашел вас, ребята!») лицом, не сводя любовавшихся, как бы сразу узнавших хозяина глаз, непрерывно подкатывая обнаженными теплыми волнами к скалам. — Я, собственно, руковожу большой лабораторией в ведущем институте, проблем безопасности, знаешь, конечно... — разговорился навсегда, в Углового засаживая, всеивая, кто он: две сотни крепостных, гектар лаборатории, подземные ходы выводят на Лубянку, в друзьях — все академики, творцы новейших бомб, хозяева науки, министры, генералы Шестого управления КГБ!.. Бескрайние угодья маркиза Карабаса. — Борис. Брешковский Боря. — И выбросил, как нож, в Углового дарящую рукопожатие, вцепившуюся руку с такой внезапной резкостью, привычностью, бесстыдством, что он ее схватил, Углов, защищаясь. — Так вот, есть человек,

серьезный, очень сильный, за ним большой завод, огромный, колоссальный сектор сбыта! Я сделал ему все, там как бы все готово, весь корпус диссертации, остались лишь расчеты, и нужен кровь из носа способный математик.

— Состряпать-то можно, но мой интерес? — Угланов взял фрезу и начал вскрытие черепа: что может? хвастливая дешевка? обслуживает мелких за мелкие подачки — рулоны туалетной бумаги с унитазами? — Клиент твой этот кто? На чем сидит конкретно? И вообще, я так мыслю, ты с этого кормишься. Устраиваешь защиту нужным людям. А мы давно ищем концы. Поэтому так: мы сделаем все, но ты всех клиентов заводишь на нас. Нам нужен конвейер, а разово работать мне неинтересно.

— Так в том все и дело, о том разговор. — Брешковский, со скоростью швейной машинки кладя подбородком стежки, закивал, застрял и вгляделся в Артема, любуясь: в тебе не ошибся, не мальчик, сечешь. — Потока не надо, конвейер забудь. Нужны, наоборот, удары очень точечные. — И, подавшись к Артему, как к матери, снизив голос до пододеяльного, после близости в первую брачную ночь, нутряного, дрожащего шепота, сообщил невместимое, страшное, как Гагарин, который молчал и не вытерпел: видел! видел, что Он действительно есть! — Вот этот самый человек, он из отдела сбыта АвтоВАЗа! Его никак нельзя терять, никак! Ты и тысячной доли сейчас себе не представляешь возможностей! Это будет конвейер — с машинками! — Его трясло, обвитая жгутом высоковольтного разряда рука его притрагивалась к Теме, — не запитаться маниакальной убежденностью от полоумного вот этого устройства было невозможно.

Ермо и Бадри встретили такого — скользко-вывертливого, клянчащего рубль на

бензин и заливающего про алмазные телескопические трубки — д'Артаньяна настороженно. «Нет, ты мне объясни, Угланыч, — на сутки заряжал Ермо, — я, может, сирый и убогий. Но только почему он в дело до сих пор не принес ни рубля своего? А мы ему кусок, еще кусок. Ты хоть единственного человека видел из тех, про которых он нам заливает и которым он якобы должен поляну накрыть? Для закрепления как бы отношений. Покажите мне этих людей! „Завтра“, „завтра“ все, „завтра“, пока не родил. Это ж, блин, Хлестаков натуральный! Послушать его — он в ЦК вообще одним пинком дверь открывает. Ау, Угланыч, где ты?! Это ж, блин, прирожденный... даже слова такого не могу подобрать. Материнскую грудь вот сосал и орал, что голодный».

А Угланову этот Брежневский понравился — как явление совсем чужеродное, абсолютно с тобой по устройству не схожее, то могущее делать, что ты сам — никогда, и как раз вот поэтому необходимое. Как природа наносит на кожу рептилий защитный узор, позволяя прикинуться камнем, корягой, травой, — так и Боря всем ходом эволюции был гениально приспособлен к тому, что Угланов вообще отродясь не умел. Древоточцем, лозою жил Боря, прогрызая проходы в ковровых дорожках ученых советов, комитетов, дирекций, президиума Академии наук СССР — от крыльца до стола секретарши, день за днем не пускающей к «Алексанникаич обедает», подкопами, измором протирался просачивался в услужение кому-то из решающих судьбу: квартиру в новостройке, автомобиль восьмой модели «Жигули»... Был готов послужить человеку носильщиком, рикшей, туалетной бумагой, прямой кишкой, чтоб потом только раз попросить о ничтожном... И почуяв, куда, до каких этажей сможет их протащить этот Боря, улитка (оказалось, до теннисных кортов и в

пару с багровеющим, рыкающим на партнеров Б. Н. Ельциным), он, Угланов, поставил на Борину эту способность обволакивать и подселаться в мозги, и однажды среди ночи Боря их обварил телефонным ликующим голосом: все! Бадрик может приехать за своей «восьмеркой» на Калининский утром!

Испарились неверие, презрение, начались их паломничества к жигулевским горам полыхающих девственной краской крыльев, сладко пахнущих смазкой коленных валов, хромированных бамперов, стекол, покрышек и «дворников», обходившихся по госцене, бесплатно и в Москве улетающих за дикие сотни. Бежали, как копченые индейцы майя, священным городом Тольятти на склады! И, нагрузившись до надрыва важных жил, волочили комплекты разумной цены не имевших, бриллиантовых вкладышей на проходную — перли крылья и стекла сорок метров и дохли, даже Бадрик с его цирковой гимнастической мускулатурой шатался; Брежневский тряско семенил, отягощенный «жигулевской» дверцей вперевес, приседал под железным ярмом, обрываясь почти на колени и сбиваясь с бригадного ритма, щека его уже синела от проступающей сердечной недостаточности, в глазах ныла боль — Ерма потешался сквозь слезы: да ну ее на хрен, Борь, брось! брось, а не то кишки полезут через задницу, — но Боря не бросал и хромылял, как будто оставляя за собой на асфальте влажный след, Стахановым навыворот поклявшись тут и сдохнуть, на переднем краю восьмирукой войны за стальную валюту советского мира.

Денег стало так много, что они не вмещались в старый фибровый их чемодан, больше метра в длину, глубиной по локоть, на свинцовых сберкнижках в одиннадцати отделениях имперского банка; Боря неумоимо развивал корневую

систему взаимно подпитывающих связей с беззапчастными столоначальниками, с безлошадными директорами ведущих НИИ и пророс в Комитет по науке и технике СССР... А Угланов глядел на растущие ворохи этой бумажной, не могущей подброшенной быть ни в какие костры производства листвы и закупоренно тосковал по железнореальному делу. И казалось, что все прогниет и рассыплется, но не сдвинется ни на микрон в направлении к личной свободе, так и будет все это тянуться репортажами о посевных на советском экране, мавзолейные эти, в каракулевых пирожках и ондатровых шапках, черепахи всех переживут, и Угланов нырнул за спасением в науку, хоть во что-то, что здесь и сейчас может сопровождаться осязаемым выбросом смысла, в первородную сталь и сверхпрочные новые сплавы, ближе к огненной силе, что его притянула к себе изначально, и работал над новым трехспектральным пирометром для бесконтактного измерения температуры металлов при плавке и розливе — улетел в свой Могутов и жил там неделями, подступая вплотную к чугунному солнцу с измерительным зондом в руках и почуяв обваренной кожей те высокие градусы, на которых литейная практика начисто выжигает теорию.

Появился уже Горбачев, в 104-м концертном исполнении провозгласив курс на «новое мышление», — он, Угланов, сперва не поверил, видя только набор отвращения к собственной жизни и согласия с собственным самораспадом. Богом времени стало печатное и микрофонное слово, начиналась эпоха душевнобольных, экстрасенсов, краснобаев, романтиков бунта, в репортажах с далеких планет США и Европа показали народу недоступную жизнь «настоящих», запылали журнальные разоблачения: миллионы удобрили буераки и пустоши, накормив собой светлое

будущее — настоящее наше, что имеем сейчас. Но Угланов увидел другое, реальное: воскрешение из мертвых не людей, а дензнаков.

У любого циклопа тяжелой промышленности, у любого НИИ на счету была прорва, шестизначная тьма безналичных рублей, но что именно, где и за сколько покупать из станков и устройств, устанавливал свыше сторукий Госплан, и с живой зарплатной наличностью эта виртуальная сущность не смешивалась. Обрушение «Закона о госпредприятии» (в том числе и «о временных творческих коллективах научных работников») — и в другом, загудевшем, забойном метановом воздухе он, Угланов, прозрел, как от вспышки: дело было не в том, что теперь бесконтактный пирометр, над которым работал, он может продать комбинату как свой, дело было в возможности здесь и сейчас подключиться к потоку размороженных денег; не успеешь сейчас — навсегда опоздал.

Поднял всех по тревоге: на хрен ваши покрышки и «дворники» — вместе с Дрюпой и Бадриком к Гендлину, богу НИИ высоких температур и экстремальных состояний: дайте нам сделать «центр научного творчества», и мы вам будем сами находить, Институту, заказчиков, и работу всю сделаем сами, мозговыми прорывами, штурмами молодых коллективов, ничего нам не надо, только ваше «добро». Обаятельный Бадрик источал убежденность, старший Авалишвили, академик и орденоносец, позвонил кому надо, и у Бори внезапно появилась жена — заржавевшая, ношенная, много старше Брежневского страхолюдная баба, служившая в горисполкоме и сейчас вот как раз — ну и Боря! и здесь взял приданое с процентами! — выдававшая всем разрешения на «личное творчество».

Начинались кооперативы, эпоха беспримерной торговли всем, чего не хватает и

хочется вусмерть: потянуло дразнящим шашлычным дымком, жженым кофе и сахарной пудрой из-под зонтиков «Пепси» и «Фанта», аспиранты засели за швейные «зингеры» и вываривали в чанах самопальные джинсы; ручейки, караваны непонятно с какого выезжающих дальше Болгарии избранников счастья привозили обратно компьютеры, за контрольной чертой Шереметьева дорожавшие в тысячу раз, а над этой наземной дымовой завесой существа высшей расы неслышно и незримо делили имперское «все», золотые запасы и землю — на Россию, Армению, Грузию, Украину и Узбекистан. Какое, на хрен, накопление капитала? Весь капитал, все, чем он обеспечен был, возведен и вырван из земли с 30-х по 70-е — каким-то первохристианским трудовым и подневольным рабским дрящимся усилием всех русских: сооружения гигантских мощностей, громады ГЭС, разведанная платина...

А помешавшийся Брешковский рухнул в имбецильность, в жизнь насекомых, вирусов, бактерий: раздобыл у себя в институте промышленный лазер и поволок по подмосковным выгнившим колхозам вместе с Бадриком, чтоб рассказать свинаркам о преимуществах сверхсовременной безболезненной кастрации скота: мол, хряк совсем-совсем не мучается и не спадает с туши вообще. Вообразить себе дальнейшее: белохалатные лобастые пришельцы из сопредельного недосягаемого мира научных знаний и секретных технологий сосредоточенно монтируют УСТАНОВКУ на наполненных благоговением глазах коллективного аборигена, три визжащих, ярящихся центнера грязно-серого смрадного мяса подволакивают за ноги к пушке; ультракороткий взмах отточенного лазерного скальпеля — и нестерпимый крик и вздох зарезанной свиньи, бьется в агонии гора и замирает. Борька — того... чего-то не того, давайте Борьку-2. «Ну а этот-то, этот-то че?» — «Ну, это есть у нас

такое, физиков, в науке. Ну, допустимая погрешность». Ультракороткий импульс, точечный удар — и нестерпимая животная сирена, землетрясение, судороги, сдох. Запах подпаленного мяса добивает до коллективного колхозничьего мозжечка — «специалисты из Москвы» рвут кабанами на рекорд, и за ними — табун похватавших дреколья туземцев: у-у-убью! Арендованный «рафик» притащился, как с передовой, весь исхлестанный рыжей глиной, с провалившимся задним стеклом. Боря с Бадриком вывалились из салона, словно скатки матрасов из шкафа. «Гиперкастратор инженера Гарина», — из себя еле выжал Ермо, и зашлись, загибаясь от рвущего хохота, все: и Угланов, и Боря, и Бадрик.

А потом он, Угланов, протрясся, отбрыкался, отфыркался и засел за выстраивание схемы трансфузии, обращения денежной крови, длинной, как бычий цепень, и запутанной, как нитяная грибница вспухающего из земли шампиньона.

Шаг 1. Накачать из заводов сколько можно условно-расчетных безналичных рублей. Генералам стальных производств и стройтрестов от этих чернильных миллионов в grossбухах избавиться было так же легко, как от снега зимой: их никто не хотел брать в уплату за реальные мощности и рабочие руки, все хотели расчета живой, шуршащей наличностью, и живых этих денег у всех было мало, их объемы железно фиксировались выше; виртуальная масса пустого безнала еженощным кошмаром распирала директорский череп: надо было ее, миллионную прорву, «освоить», год кончается, а триста тысяч еще на счету, и за это — разнос с верхотуры Госплана; увольняли, снижали — за «недорасход». И вот тут и заходит Угланов: не освоили полмиллиона? я вам помогу, подпишите со мной договор на «исследование алгоритма интенсификации нового мышления» — я возьму безналичными.

Обналичу за сутки через фонд своей заработной платы и пятнашку живыми рублями вам тогда отсеку.

Он, Угланов, сначала хотел делать вещи реальные — первым делом упал на Могутов: я у вас тут работал, не помните? Вот такой вам не нужен пирометр? Сталевар надевает на морду, как обычные синие очки, как бинокль, и сразу видит температуру в изложнице. И пирометр взяли за 170 000 рублей, а какая бы цифра была в шесть зеленых нулей, предложи он вот этот тепловизор кому-то в Канаде. А потом были индукционные печи, столько жравшие в день киловатт, что дешевле сломать, и они с Ермо снизили потребление в три раза, а потом стало режущее ясно, что если они так продолжают и дальше, с реальным паяльником приближая хотя бы железный — где уж кремниевый? — век, то тогда они непоправимо отстанут, навсегда уйдут вниз, а вокруг будет жир на других нарастать монгольфьерами.

Шаг 2. Стало явственно слышно подземные гулы, сотрясение; из проклепанных бронелистов, из решетчатых ферм от вибрации вылезают болты, все уже раскачалось с такой амплитудой, что — рухнет. То и будет, что денег вот этих не будет, бледно-красных червонцев и желтеньких сотен, не станет ни лобастого профиля Ленина, ни земного вот этого шарика, перечеркнутого серп-и-молотом. Им нужны были доллары. Не толкаться же было под навесом сберкассы во Мневниках, не менять по листку содержимое чемоданов вручную, обливаясь мгновенно леденеющим потом, с предвкушением удара в затылок — напалзет и накроет сейчас милицейская или бандитская сила, да и времени тупо не хватит: годовой оборот — 115 000 000 рублей, даже без восклицательных знаков, без судорог, как-то быстро привыкли, как рыба к той воде, что она пропускает сквозь жабры, так и жили с Ермо в институтской

общаге в своей голой, ободранной комнате и с удобствами на этаже, разве только носились по городу на одной на двоих полыхающей красной «девятке». В общем, надо искать что-то внешнеторговое. Он, Угланов, порыскал бессонной мыслью в железобетонных непролазных, зазубренных дебрях Гос плана и нащупал: ага! Вот лесные хозяйства, рыбпромхозы Камчатки — они за валюту продают свои сейнеры, танкеры крабов японцам, эшелоны ценнейших древесных пород, а вот мазут, и электричество, и бензопилы «дружба» покупают внутри Советского Союза по рублевому безналу. Сгреб в охапку среди ночи Брежневского с Бадриком и — в самолет, на Камчатку, в Хабаровск, и пошли по дирекциям: «Как у вас тут с безналом?» И вожди коренных покоренных народов: «Хреново, все никак не дождемся субсидий от своих министерств. Покупаем народу в Японии шмотки за баксы. Народ вот эти шмотки как-то продает. За рубли, курс выходит — 2-70». — «На хрен надо такое? Мы у вас будем брать этот доллар по пять. Будем за безналичные брать». — «Ну ты сказочник! Кто же даст вам такое — оборачивать, малый, валюту?»

Он, Угланов, — в ряды типографского шрифта новых постановлений правительства: где-то тут должно быть, как воткнуть свою вилку в розетку, продышать полынью для подледного лова. И пробило его электричеством: «разрешается организовывать... в том числе и кредитные организации». Постучаться в Сбербанк с «мы хотим учредить вместе с вами свой банк». Девять месяцев эту дорожку прогрызали в бумагах, в регламентах — учредили коммерческий банк «Революция» и погнали валюту рыболовных хозяйств через собственный счет. Через год на счету — настоящий, тот, который и в Африке

навсегда миллион, миллион.

Шаг 3. Ерма рассверлил ему череп: компьютеры. Побегали по всем выезжающим командировочным: привозите компьютеры. Стали брать у них по 30 000 рублей. По НИИ и КБ продавали за 70 000. Только скудный, конечно, очень был ручеек. А хотелось потока, тех, кто может брать тысячи штук, завозить эшелонами. Озирались, и Боря, побегав даже не по Москве — по району, провалился, как в люк, в неприметный такой «Агропромвнешторгсервис», ничего не имеющий общего с рационом воронежских земляных трактористов и тамбовских навозных доярок: там сидели и жили в наступившем для них коммунизме разьевшиися и покрытые лоском мужчины — дикари, покупавшие лично для себя за бугром, как стеклянные бусы, телевизоры, джинсы, унитазы, хрусталь. Боря вьелся и выел «трудовому крестьянству» мозги: две недели вылизывал, гладил, возил по бревенчатым баням, охотам, заказникам, подкладывая мертвые кабаньи туши под сапог и долгоногих проституток — под недолгое сопение покрывающего тела. И под шаманские радения с банным венком и под истерзанные стоны «Борька! Удружил!» учредили вот с этой мразью совместное предприятие «Энигма».

Через год обороты безналичных рублей, леспромхозовских долларов и аграрных компьютеров стали такими, что нельзя не услышать — ДнепроГЭС, Ниагара. Полоснул и разрезал от горла до паха телефонный звонок из Госбанка: это что у вас тут? кто дал право работать с валютой? — Советский закон. Не написано «можно», ну а где же написано тут, что нельзя? Скользкой рыбиной вырвались. На Коньке-горбунке из котла молока. Но котлов было три. Появился сухой и брезгливый гэбэшник Калганов. Очень крупные жвачные парнокопытные, КМС по борьбе,

чемпионы по боксу, с поглотившими шею плечами, словно с детства готовились, подкачались насосом к наступлению эры новых викингов, варваров. Позвонил Сильвестр, пригласил пообедать в «Измайловскую». Разговаривал доброжелательно. И смотрел как на узников собственной зверофермы на Тему с Ермо: «Жизнь такая, ребята. Подымаете, знаем, вы очень неслабо — надо как-то того... к пониманию нам с вами прийти. Чтоб спалось вам спокойно. Чтоб спалось не в земле. А не выйдет словами — придется ломami. Под землей, в подвальчике, отсидеться не выйдет. Все равно же ведь выйдете за сигаретами. Мамы ваши — за хлебом. Любимые женщины. По трохам-то как — не успели еще? Так ведь и не успеете».

Надо было решать, под кого — под гэбэшников или под этих, непрерывно смотревших в глаза и готовых пружиной вскочить, отчего в животе холодело и зад примерзал к табурету, как в леднике, и они как-то сразу, инстинктивным движением бескlyких, бескогтистых животных шатнулись в знакомую сторону: люди госбезопасности были рядом всегда, их пасли, вундеркиндов и будущих разработчиков боеголовок и реакторов, с первого курса — никакой паутины и липких касаний, предложений пойти навсегда на паскудство пересказов, «о чем говорили ребята», лишь прямая инструкция для «отличников по недоверию»: если кто-то подъедет к тебе незнакомый с расспросами, что ты хочешь от жизни и что выполняешь для родины, — сразу, будь так любезен, докладную записку в районный отдел. И сейчас показалось: вот с этим безликим и скальпельно точным Калгановым они смогут всегда сговориться по правилам, заключить договор оказания услуг: люди в белых рубашках подъедут и быстро откачают все септики; вся гэбистская псарня сейчас потеряла свой смысл и ищет в запустелой стране себе новых хозяев,

мастеров и хозяев вот этого времени.

Он, Угланов, совпал с этой эрой, жизнь его неспроста затолкала вот в эту эпоху, дав ему стать собой настоящим, тем, каким был задуман; целиком это было его, для него, под Угланова время — абсолютной неопределенности и великой ничейности русской земли с ее недрами и ее распыленным на атомы ошалелым народом. И теперь он возьмет вот из этих русских недр и людей в свою собственность все, что захочет, покупая стальные машины и железных людей за консервные банки и стеклянные бусы, словно обожествленный туземцами укротитель небесных собак, обладатель карманного зеркала и патефона.

3

Больше перед глазами ничего не осталось — последний узор из пупырышков бежевой масляной краски. Ничего не хотел пораженный инсультом обрубков и завидовал деду, которого — сразу, целиком и мгновенно: десять метров до стенки и взорвавшая череп огромная боль. Ну конечно, завидовал с жиру — почти не знакомый с обмочившейся мускульной слабостью парнокопытного, с беспредельной потребностью жить, позабыв холодильные камеры и стояние часами и сутками на одной деревянной ноге в промежутке меж «взяли» и «кончили». И не сдох, не загнулся, конечно, подчиняясь здоровому, жадному телу или, может быть, вложенной цели, на которой держался, как на позвоночнике: обеспечить живучесть и цельность машины, которую выстроил и которой был равен и здесь. И уже, раскаленный и сорванный с приварившего места сиреной Могутова, заломился в стальную, с

кормушкой, дверь: дайте сделать звонок его верным, клевретам и купленным, что и как надо делать с «Руссталью», замороженной, вмерзшей во льды... Но бетонный гроб наглухо запаяли снаружи: амбразура работала только на вход, лишь кормушкой, открываясь три раза, чтобы вбросить ему все равно что съестное, блевотное в нержавеющей кружках и мисках советских поездных ресторанов.

Вот что такое смерть для человека дела — отчаянная, обнаженная, неизлечимая незанятость рассудка, лишенного возможности соударения с любой вещью-ценностью, орудовать идеями машин и мощностей и даже узнавать, что с ними происходит и как там изменяется их стоимость во времени. Сесть посреди неумолимо голых стен и отключиться от всего работающего мира. Эталон пустоты, мерзлота, известняковая пещера схимника для покаяния и умерщвления плоти — провалиться в себя и часами смотреть в темноту, пока не различишь какое-то неясное свечение и тени, но он — не схимник, его внутренняя, без подключения к делу пустота, углановская, — страшная.

С соседних трех покрашенных салатовой краской коек перед его приводом явно унесли покойников, и не почуять, где кончается и переходит в воздух скальная порода этих стен, — быть может, в три, в четыре локтя шириной; свет электрический, дневного света, другого нет, нет солнца, не видно небо сквозь бутылочное тучное стекло. Ты тут один, ты даже меньше, чем один. Ты просто мутное пятно на масляной коричневой стене и тишина. Ты — стеклянная емкость песочных часов, в горле которых затвердело время. А потом тебя вдруг опрокидывают. Всегда — когда не ждешь, когда перестаешь. Стальная заслонка кормушки — как в мясо. И, рухнув сердцем, начинаешь быть сначала. И никогда не

слышишь подобранных шагов: вдоль стального настила по ту сторону склепов проложен резиновый коврик, и вертухай обут в какие-то — резиновые? — тапочки.

Адвокатов ему, разумеется, дали. Одномоментно и в комплекте с холодильником: тюк белужьей икры, пармский окорок, урожай райских куш, снежно-жирные сливки с элизийских надоев... — все, чего невозможно не дать по СанПиНу для крупного зверя, представителя «форбсовской» расы: чтоб прилично все, чтобы без вони на весь мир про жестокость содержания в неволе и попрание всех человеческих прав и свобод. Захрустели в замковых теснинах железные зубы, отвалилась стальная плита — потерявшего прочность в ногах и ослепшего от огромного света под «куполом» повели по стальному помосту то ли третьего, то ли четвертого яруса над высотным протяжным провалом, рассеченным железными сетками по этажам в дальноточном расчете на самоубийственный умысел — кинуться: будь хоть центнерной бомбой — сквозь стальные страховки до бетонного дна не добьешь.

Завели в помещение с высокими сводчатыми: там его ждали Тоша и Штоль, долгоносый, изящно худой, облысевший старик с остро-складчатым сохлым лицом и глазами всепонимающего грустного еврея. Как его тут содержат? Пожелания, жалобы, требования? Он сказал: он не чует «Русстали», не решает вопрос по «Русстали» с Кремлем, дайте линию связи; если нет — он, Угланов, истощно начнет голодать... И не жрал двое суток, а потом захотелось со страшной силой, как в молодости — под столом щипать булку на лекциях, запивая фруктовым кефиром, — и еще даже больше: оказалось, не может, не вышел из него протопоп Аввакум... Или кто там отправился в паровозную топку, на примере кого их, пионеров, учили?.. А

казалось ему: он железный, за свое, за машину может вынести он и огонь, правда «я», правда «русская сталь» в нем сильнее утробы... И сейчас загибался от близости с пыточным холодильником, полным жратвы: взбунтовались кишки, оживая отдельной сущностью, и крутил себя в жгут, до стеклянного звона в башке, до качавшейся в черепе ртутной, свинцовой, темнотой нажимающей массы, не дававшей подняться с матраса и тянувшей улечься, к земле... И уже как сквозь воду слышал лязг и скрежет замков, поворот своей шконки, как плиты на конвейере, и глазастые бледные пятна, берегущие руки куда-то его повели. Устояв, вырвал руки: он сам — значит, все-таки чуял себя еще он, понимал, оставаясь в хребте неизменным, — и вштался в какую-то новую, ту же самую будто бы камеру, номер очень такого бюджетного хостела: на застеленных свежей белизной двухъярусных нарах пластались две туши в новых, чистых и вроде недешевых спортивных штанах и борцовках — вот что было тут нового, позвоночные млекопитающие, лишенные того же, что и он; он не сказал «собратья», он — the special one.

Так «они» «там» решили под нажимом упрямого Штоля, повторявшего им: «изоляция», в одиночке держать его — ущемление и «пытки», хотя он «их», Угланов, «просил» не об этом... Неужели сумел он подумать вот это, согласиться на слово «просил»?.. Он просил связь с «Руссталью», с Кремлем, рычаги... И с порога уже отвернулся от дыхания, запахов, глаз этих двух... тех, с которыми будет делить эти... сколько? двенадцать? шестнадцать?... квадратов пространства; не терпел он вот этого больше всего — всякой формы присутствия рядом чужих, тех, кого он не требовал, не выбирал, человек общежитского, интернатского прошлого, совмещенных кроватей, делимых удобств, и охрану держал при себе лишь для этого — ничего и ни

с кем никогда не делить, свое время, пространство, дорогу; свое время и дело делил он с железными, теми, кто его принял и кого выбрал он.

Офицеры охраны с двумя — ну а как же иначе? — просветами на погонах сказали: будут вам адвокаты три часа каждый день, будет вам телевизор, если вы его купите, Би-би-си с Си-эн-эн, извините, не ловятся. И вообще: скоро с вами начнут разговаривать. И Угланов стал жрать — из корытца, сметану, прерываясь и вслушиваясь в жизнь под кожей и ребрами: уж не слишком он жадно? Надо как-то на будущее натаскать свое брюхо, приучиться давить в себе это «набей меня», изнутри разъедающее все его, человека Угланова, прочности.

Прямо здесь и сейчас надо сделать последнее, что он может еще, и достаточное для того, чтоб «Руссталь» развалилась не сразу, чтоб какое-то время еще продвигалась, жила в соответствии с углановским планом творения, и, пескарь в трехлитровой закатанной банке, он сейчас Тоше вкручивал в мозг: пусть Чугуев и Брайан выходят с официальным под камеры: мы готовы немедленно передать государству наши 44 % «Русстали» под списание всех нам насчитанных и сочиненных долгов, забирайте, владейте с условием, что никакой распродажи прокатных провинций, рудниковых колоний и ГОКов не будет, план творения и оперативное управление — наши. Ну а наша кровь — ваша.

Бросил камень в кремлевское небо — телевизор вываливал только рекламу молодильных кормов и собачьих котлет, выступавший весомо и скромно босой президент то и дело бросал на татами плечистых гигантов, мял скороспелые бока отмытого со щеткой хряка-рекордсмена на образцовой высокотехнологичной свиноферме, перетирал колосья в ласково-признательных ладонях, стоя по пояс в

золотых хлебах родного Черноземья, уничтожал словами-градинами, глыбами прожравших целевые средства губернаторов, оделял Интернетом и бальными платьями обратившихся с личной письменной просьбой сирот — никакого Могутова для него показательно, официально не существовало.

Унитаз, телевизор, привинченный стол, холодильник — надо было словами устанавливать «правила пользования», поневоле обмениваясь голосовыми сигналами с «этими»: слово сделало нас, тех далеких клыкастых и когтистых, людьми, как сказал академик И. Павлов.

Этих двух ему явно подбирали в соседи по нарам: Забалуева, мелкую лысолобую гнусь из московского департамента градостроительства, заместителя по освоению пирожных и тортовых территорий столицы с нестираемым штампом «служу москвичам» на замасленных спеленьких губках, и щенка Сашу Щипина, бледнокожего, щуплого «террориста» и «большевика» из лимоновской паствы, засаженного за хранение ржавого нагана и четырех взрывных устройств, собственноручно собранных к началу мировой резни буржуев.

Племенной, здоровей их обоих, Забалуев не спал, не сидел, не стоял, непрерывно вонюче потел, что-то жрал, испражнялся и не мог продристаться от страха, изучал консистенцию, цвет и запах своих выделений, гадая на дерьме и моче, как жрецы Древней Греции по дымящимся жертвенным скотьям потрохам о судьбе; дни его начинались с молитвы об открытии язвы двенадцатиперстной кишки и кончались молитвой о ниспослании маломучительной и несмертельной болезни, вот такой, когда сразу направляют в больницу, под домашний арест из СИЗО и,

конечно же, срок назначают условный; в среднем три раза в час замерял портативным жужжащим аппаратом давление, стиснув белую толстую руку липучей манжетой и с надеждой и ужасом вглядываясь в показания дисплея, и, что самое паскудное, не замолкал, вынимая Угланову мозг медицинскими жалобами.

Саша первое время неразъеменно молчал, презирая обоих соседних кровососов земли и народа, различавшихся только мощью жвал и размерами брюха, а потом, не стерпев, затянул с верхней койки: «Разве несправедливо, Угланов, то, что вы получили как счет, что пожали сейчас? Только счет этот вам не народ предъявил, а те, с кем вы делиться насосанным не захотели; я бы с вами не так поступил — сразу третью степень дознания: все мешки бы свои развязали в офшорах и в страну по компьютеру и мобильнику слили, самого за Урал, за Байкал... — Задыхался, захлебывался чистотой своих помыслов мальчик со следами недавних гормональных пожаров на бледном тонкокожем безусом лице: несправедливость собственной безлюбости делает мальчиков и девочек неизлечимо, обнаженно восприимчивыми к несправедливости вокруг: я обделен — мир надо переделать. Враг пеленгуется мгновенно — тот, кому „дали“, кого любят, чья закормленность так оскорбительно оплачена твоей обделенностью. — На горбах сталеваров миллиарды свои нацедили. Люди кто для вас? Мусор. Передельный чугуны. Отравили весь воздух своими заводскими дымами, углеродом и ртутью, солями металлов. Погубили природу, извели на Урале людей. Запечатали мозг поколению телевизором и упаковкой, и вот вместо того, чтоб вспороть ваше жирное брюхо, поколение вам рукоплещет, вашим яхтам, дворцам, трюфелям как нормальному положению дел. Свою горстку рабочих растлили подачками, чтоб они все молчали, когда вы, Угланы, гнете их собратьев к

земле».

— Ты хоть раз в жизни видел — живого сталевара? — отправилон в Сашу с тоской, зная, что попадет, остановит, приварит. — А я с ними мартены ломами ломал...

Саша смолк, онемел и смотрел, не вменяя, на что-то за спиной Углanova: за спиной лились новостные помои, и Угланов крутнулся к тому, что примагнитило щипинский взгляд: там — какая-то площадь Тахрир, хлебный бунт закопченных азиатских рабов, половодье, халва нескончаемых смуглых голов жгущих чучело прежнего бога и звездно-полосатые флаги. Но вот как-то уж слишком, неправдиво тепло по жаре — пригляделся — одеты там люди. И стояли недвижно и немо — валунами, бугристой угловатой каменной кладкой, все — в неярких цветах его родины: основного гранитного и стального холодного серого, голубой растворенной, застиранной сини — ряды прокаленной, литой и самой себе равной заволаживающей силы: просто так ее сдвинуть, смести, словно крошки со стола, невозможно. И Угланов почуял — прежде чем выжрал титры по низу экрана — подымавшую и выпрямлявшую огненную, с ним единую, собственную, не предавшую силу своих... И себя самого — настоящим, не могущим быть смолотым в жвалах железным: смерти нет, целиком, моментального и бесследного исчезновения с земли; его личное пламя, которое вдунул в Могутов, не схлопнулось, словно газ на конфорке, в ту минуту, когда привернули, скрутили его, в ту минуту, когда власть железным сказала: никакого Углanova нет, мы пришем вами править другого; торжество и колючая вода благодарности потекли изнутри и расперли Угланову горло.

В тот же день отрубили ему адвокатов, телевизор не сдох, но пошел роевыми пчелиными волнами, не давая сквозь шорох наведенных помех различить ничего, и на следующий день загремели замки, заскрипели лебедки в залязгавшей лифтовой шахте — и подъем на поверхность, под небо. В нашатырно прохладном приемном покое с вентилятором и панорамной плазмой на еще не просохшей от краски стене ждал знакомый по прежним беседам проводник государственной воли, Константин Константинович или как его там, аналитик-психолог, оснащенный «айпадом» и одетый в «я менеджер по судьбам мира».

— Я смотрю, посвежели, Артем Леонидович. Блеск бойцовский в глазах. — С выражением презрения к зашевелившейся падали: сам же ведь заставляешь нас нажать на тебя до упора, убирая под землю надолго. — Значит, вышел на площадь народ? Встал за правду? Ух, какую картинку вы нам в телевизоре. Солидарность рабочих завода. Просто Мартин вы Лютер какой-то, Лех Валенса от русского бизнеса. Джироламо, блин, Савонарола. Коперник. Это ж какими надо вообще... не знаю... даже не мозгами... одной вот только костью в башке и обладать...

— Ты о чем это, а? — Он хотел посмотреть, охватить, сосчитать, надышаться откровением, видением собственной силы — человеческой, живой.

— На, на, на, насладись... — разрубил Константинов рукой отлично известное им обоим зудящее, нестерпимое, неубиваемое смрадное «это», что начало расти и размножаться почкованием по вине несдохшего Угланова, сцапал пульт со стола, надавил с омерзением и стыдом за всех русских, низколобых, целинных, отмороженно непроницаемых, поджигающих избы свои, уходящих в леса... развернул на экране железное море, и Угланов подался, магнитясь, и жрал: никаких

транспарантов на речных древках, стенгазет, стариковских картонок с «помогите на хлеб» — только хлопало над головами огромное рыжее знамя с треугольной Магнитной горой в шестерне да вдоль первой шеренги железных, полыхая, тянулось полотнище с чем-то белоогромно начертанным, не читаемым в упор по складам, но, как будто услышав его, телекамеры переключились на общий и дали ему все начертание: «УГЛАНОВ! ЗАВОД ЖДЕТ ХОЗЯИНА!» Окончателность мысли железных о нем. Как прокатную полосу, что не износится долго.

Его не было «здесь», он стоял на вершине Магнитной горы и смотрел на кирпичные огнеупорные лица — ландшафты человеческой участи; он не знал поименно их всех, как герои Плутарха солдат своей армии, он не мог различить, опознать в этой массе чьи-то личные неповторимые бугры и обводы, но, царапая лица от левого края до правого, через шаг, через морду срывался в узнавание, как в яму: Скоросько, Бесконвойный, Ермоленко, Горшковозовы, Ключев, Самсоновы, Колотилин, Самойлов, Ершов, Забиякин... инженерная знать и вальцовщики первых разрядов... Создавая стальное дворянство, он платил им на 30 % больше, чем финансистам и лойерам низового и среднего грейдов московского офиса, и сейчас эти лица его окликали и как будто орали опять на него: «Да поди ты и сам посмотри, в рот едрить тебя, умник! Это ж такое может быть, что всех ... накроет! Ну а ты людей в цех! Увольняй меня нахрен — не выведу!.. Ну а станина гикнется — чего тогда вообще? Это стану конец, понимаешь ты, стану! Это деталь незаменимая! Да ты чего?! Как я тебе под клеть полезу при работающем стане?! Снова людьми живыми дырки затыкаешь! Сам к ним иди давай, скажи, куда их посылаешь! Забыл уже, недели не прошло, как трех ребят в конвертерной сварили?!» — И замолкали,

разворачивались, выдранные встречным его криком, как из земли, как зубы из гнезда, из своего рабочего «не выйдем» и «не полезем, понял?! невозможно!» «Стан остановим — жрать заводу будет нечего! Я не могу сейчас его остановить! Мне эти десять тысяч тонн нужны, как мама! Да и не мне! Тебе, заводу! Вот договор с китайцами подписан! И им посрать, что у тебя такие шпинделя! Что этот цех стоял полвека без ремонта! На твой металл, наплавленный за годы! Должен уйти состав четвертого, полмиллиона тонн легированной, должен! Или тогда такая неустойка, что лучше всем под кровлю эту встать! Пошел под клеть, пошел! Не останавливай, ты можешь! Ты ж мне блоху под клетью подкуешь на полных оборотах! Ты шпинделя мне подпружинишь на ходу! Давай, старик, давай, я знаю: можешь, бог! Ты ж ведь Чугуев, ну, Чугуев, а не хрен! Вот только в этот раз мне сделай, как прошу! И я тебе тогда стан новенький, с иголочки! Шпинделя тебе новые, муфты! Я тебе все калибры поменяю. Валки тебе титановые — хочешь?! Такие вот, что сносу нет, Семеныч! Такой запас, что внукам твоим хватит. Я привезу тебе их из Германии! Но только дай сперва на них сейчас мне заработать! Да я бы сам с тобой под клеть полез, да только руки — именно, из жопы! Давай, отец, давай, вот я башкой, а ты руками вложимся, нам десять лет, и все у нас тут будет, как в Норвегии, насадим сад и еще сами погуляем в том саду...»

— Прием-прием, Угланов, я Земля. Артем Леонидович, где вы? Устройство издавало позывные, и взорвалась на плазме чернота: тварь навалила с бешенством на кнопку: ну, поцапал глазами и хватит, не нажрешься, тебя не спасет, теперь мы тебе будем включать, что ты будешь смотреть, где и как тебе жить, время «день», время «ночь».

— Ну чему вы вот так улыбаетесь? Ведь для вас это все ничего не меняет. Отношение к вам и без этого... накалено. Дальше некуда. Хотите, чтобы с вас спросили на суде по верхнему пределу? Вы же всегда были такой логичный человек. — И заорал расчетливо: — Что ты уже сидишь, ты это, это понимаешь?! Что ты ближайших пару-тройку чемпионатов мира по футболу будешь смотреть по о-о-очень маленькому телевизору? Вот че ты хочешь?! Чем ты думал, когда свое вот это стадо велел на площадь выгнать, как на бойню?!

— Послал сигнал им ультразвуком вот отсюда, как дельфин? Проблемы ваши, имидж ваш, а я уже сижу, как ты заметил, — как бы по херу. Чего вам надо от меня?

— Чтоб ты пришел к публичному раскаянию, — тварь засадила напрямую, как «чтоб ты сдох», нет времени ни на какие уговоры и приличия. — Чтобы вот это все... — рассек крест-накрест воздух перед телевизором: остановить, убить начавшееся там, что проступает сквозь засвечивающую солнечную муть огнеупорными немymi кладочными лицами; накрыть немедленно свинцовой шапкой-невидимкой, исцелить косметическим лазером этот невозможный нарыв в общем теле российской стабильности, благодарности ста сорока миллионов, осиянных божественной благодатью Кремля: у нас страна безаварийная, у нас такого быть не может никогда. — Чтобы ты вышел к ним, вот этим всем, которые... вот так свое высказывают мнение... и чтоб сказал им через телевизор, что выходить на площадь им не надо, что прикрывать тебя подобным образом не надо. Чтоб ты сказал буквально и конкретно: да, воровал, утаивал налоги. Вдолбить им в мозг, что без тебя завод не остановится. Ну ведь не с Марса же они там — понимают...

И оборвал себя, увязнув в понимании: не понимают, что-то не работает, «там»

все его — извечная привычка русской власти выходить к безъязыкому стаду без палки — почему-то вообще не работает. И, не в силах вместить, все они там, в Кремле, приварившись к своим тронным креслам, смотрели на странное, человечески необъяснимое свечение над Уральским хребтом, над Могутовым, бесполезно по много раз вчитываясь в биографию, личное дело Углanova и выпытываяще вглядываясь в неприступно-немые рабочие лики: что же за аномалия такая могутовская? что же с ними там случилось, сделал с ними за жалких одиннадцать лет своей власти Угланов, что они, сталевары, прокаленные в трех поколениях «классовой» ненавистью, называют его, мироеда, хозяином — как один человек?

— Так, может, ты тогда к ним и пойдешь? И объяснишь, кто вор и кто не вор? — Самого по себе его не существует, но держала его на руках, на плечах несомненно живая, охлажденно-упертая сила железных: вместе с ней он продавит в глотку власти свое — не спасется сам лично, но выплавит из живой этой стали то, что надо ему и под чем русский Кремль не сможет сейчас не прогнуться. — Или чего, придется скорректировать маршруты поездок президента по стране? В обход Могутова, как будто такого города вообще не существует? А ведь его всегда в Могутове так ждали.

— С людьми, с людьми что будет, вот с этими баранами литейными твоими? Уже и так толпа нагрета до предела. Если ее сейчас подкеросинить, это будет такое, что не нужно уже никому! Силовой вариант — вплоть до крови! Ты от страха совсем тут с нарезки сорвался, так хочется в Лондон? А людей, что тебе, крысолову, доверились, — на размен, под катки, под дубинки ОМОНа, и пусть будет что будет,

это было не жалко.

— Ты попробуй пустить на них этот каток. Это ведь не какие-то либеральные саявки затыкали — это город стоит и молчит, про который все знают, что там варят сталь. Стопроцентный, кондовый тот самый народ.

— Значит, с сыном решил уже больше не видеться? — Исполняемый ублюдок извлек заготовленное и ударил Углового спицей в брюшину, в уязвимое место, которое можно нащупать немедленно в каждом, если ты не больной и не схимник, если ты навсегда не один, — засадил, зная, что попадет и проткнет до животного, влажного, кровавого внутри, что не может не взвыть, не рвануться всей силой к отнятому, отсеченному каменной кладкой детенышу. Но Углов не дрогнул: Ленка в нем болит с ровной, одинаковой силой все время, и вот эти тычки ничего не меняют, не просаживают, не увеличивают.

— Ну ты давай еще пообещай, что ты меня к зверю вот здесь определишь и позаботишься, чтоб мне на зоне самый толстый хер достался. Слушай меня, подгузник: вам по «Русстали» предложение было сделано, официальное, премьеру, в прессе и так далее. Как сделать так, чтобы в моей машине не сломалось ничего. Переозвучивать сейчас не буду. Смысл в том, что банкротства вы делать не будете. Распродавать мою машину по кускам и по ублюдочным приемным семьям вы не будете. Так передай наверх, электролит: что если Кремль принимает эту схему, то тогда я готов все пустить по линии «признание — царица доказательств»: и публично покаюсь, и сделаю все, чтобы люди разошлись по цехам. Ну а нет — значит, будете разговаривать сами. На своем языке. Ты хоть раз в своей жизни общался с живым сталеваром?

Выводили во внутренний двор, под слепящее небо. И сгибали, вжимали, засаживали в инкассаторский бронемобиль, нестораемый сейф на колесах, в вертикальный железный пенал, в туалетную, оснащенную стулом кабинку с припекающей темя энергосберегающей лампочкой, и куда-то везли в слепоте, с продолжавшими видеть в транзитной могиле глазами. Заползали в проулок, в заливчик, пришвартовывались аккуратно дверь в дверь, так что не успевали его опалить фотовспышки журналистского стада... Заводили жирафом, бигфутон, наконец-то сошедшим с гималайских вершин на глаза человечества, в нашатырно стерильный, хирургический зал производства правосудия в Святошинском, запускали в аквариум, на скамью подсудимых, отсеченную банковским бронестеклом от теснящихся микрофонов и вспышек. И садился, вставал, говорил в микрофонную змейку, подававшую голос наружу, не понимая, для чего все это — возня в изгрызенной трухе и пушкинские чтения томов — насекомое, ничтожное по сравнению с тем, что уже началось для него.

Судья Мурзилкин мерз за аналогом с пристывленным выражением отрешенности от результатов собственных решений и потаенной, косящей глазами неуверенностью напоминал рекламного страдающего мужа-импотента — то вдруг, подброшенный бесшумным взрывом, вскакивал и убегал на перерыв, словно настигнутый позывом к опорожнению кишки от спекшегося страха... Угланов так упарился в «стакане», что даже больше никого не презирал.

Он думал только о живой плотине из железных, стоящих на его, их общей с

Углановым взаимоспаянной свободе, — если какое-то равенство возможно на земле, а не в земле, если какое-то возможно уничтожение разделенности людей, то это равенство только во вложенном в строительство усилении: каждый вкладывается в общую правду созидания чем может, силой умных ли рук, мозгов ли — зная, что, как один человек, переможете и перемелете все чужеродное, что попало камнями и грязью меж стальными валами прокатной машины... и молчание Кремля они тоже смололи: через месяц литого стояния железных на площади — заскрипели лебедки, подымая Угланова на поверхность земли, и сказали ему: предложение принято, быть «Русстали» как целому, на твоих основаниях, вот тебе микрофоны и камера — сдвинь их с места, своих сталеваров.

И, обряженный в черный покойнический тесный костюм, свежeweымытый, выбритый, загримированный, опустился в массивное, вольное кресло и с какой-то сухой колючей водой в нажимных глазах говорил сквозь направленный режущий свет в обожженно-немые, упрямые лица могутовской силы:

— Господа мужики. Вас, я думаю можно вот так называть: господа мужики. Господин — так сложилось в советской и русской истории — это очень такое буржуйское слово. Но на самом ведь деле господин — этот тот, кто умеет и может переделывать жизнь под себя, делать город, в котором родился, и завод, на котором он пашет, сильнее и богаче, самого себя делать сильнее и богаче. Человек такой знает, что никто за него его жизни не сделает и судьбу его не повернет. И всему, что он выстроил сам, он хозяин. И теперь, когда вы вышли с этой правдой на площадь, с вашим весом считаются все. Вас нельзя не услышать. Потому что, когда остановитесь вы, остановится вся жизнь в стране. Вы делаете эту власть, а не она

вас. И сейчас эта власть принимает решение о смене владельца завода. Убирает меня. Уж не знаю, чем я вам так глянулся... я, который десятку из вас точно в морду заехал, Скоросько вон, Пичугину... и гонял вас в три смены шпинделя подпружинивать, и держал на голодном пайке и без света в домах месяцами... все было... но другого директора вы не хотите. И выходите с этим на площадь. Значит, суть дела в чем: что я лично и многие люди в руководстве «Русстали» утаивали от государства часть прибыли. Не платили налоги. Я не буду вдаваться в извилины юридического крючкотворства, все равно прокуроры говорят на своем языке, и нам с вами его не понять. Я буду говорить о главном — о заводе. По факту государство требует от «Русстали» заплатить огромную сумму налогов. Чтоб ее заплатить, нам придется продавать разным людям на сторону по кускам наши мощности. Рудник тому, разрез другому, шахту третьему. Разобрать и рассыпать все, что мы построили за одиннадцать лет. Все равно что детей своих собственных взять и раздать по приемным семействам. При живых вот родителях, вас. И единственный выход, единственный, чтобы этого не было, — переселился, выжал, — это будет отдать всю «Руссталь» государству во владение, в собственность. И тогда государство нам спишет все огромные эти долги, и «Руссталь» не покатится вниз и назад по накопленной силе, по прочности. Все, что нужно от вас, — пропустить на завод тех, кого государство пришлет. Я обещаю вам и президент вам это гарантирует, — расчетливо нажал на «президент», окончательность данного слова, приварившего всех к исполнению, — что все техническое руководство останется за старыми спецами. И в правлении останутся люди, которых вы знаете, кость от кости завода. И завод будет жить и расти. Это главное, а остальное — без разницы. Все когда-

нибудь ляжем в могилы, и трава на них вырастет. Что касается лично меня. Я, будучи в своем уме и безо всякого давления, заявляю: да, химичил с налогами. Государство имеет законные основания мне предъявить обвинения. Перед вами мне не в чем оправдываться. Про меня вы уже все решили. То, что вы вышли разом на площадь, означает, что Тема Угланов для вас не фуфло. Для меня это главное. То, что вы не забыли меня в тот же день, когда я зашатался и меня стало можно уже не бояться — что кого-то уволю, оставлю без хлеба. Значит, все, что мы делали, было нашей общей правдой. Я вложился не в недра, не в станы, не в домны. Я вложился в людей. Мы с вами показали главное — победили русскую лень и сломали в себе русский страх. Постоянный наш страх перед русским болотом: не шевели его, не тронь и ничего на нем ни в коем случае не строй — все будет только хуже, все отберут, что ты построил, и развалят. Вот биться лбом начнешь — могилу себе выдолбишь. Такая, мол, у нас судьба.

А судьбу эту надо ломать самому. Не смотреть на то, как все хреново и паскудно вокруг, и вот этой разрухой и ленью свою лень оправдывать. И тот, кто это понял, что-то выстроил прочное, как вот этот завод, он уже никогда не вернется в ничтожество. Я все сказал. Спасибо вам за все. — И отключился: сделал все, последнее, без пропусков, дальше железная машина двинется сама — навсегда без него, это смерть, но и еще одно рождение, и кто бы его спрашивал — с неумолимостью выдавливая из... и прожимая, втравливая в зону, в комплектный мир лишения свободы, невыносимый только в первые минуты, лишь при самом вот погружении в него.

ЧУГУННЫЙ ПЕРЕВАЛ

1

Вот оно — то, чего быть не может. Побежав от Натахи, все ж таки опоздал на развод, на короткое самое время, плевков, но вцепились, потащили на вахту составить взыскание, и ему сразу стало понятно зачем, впился в жабры крючок со знакомой силой: Хлябин. За фанерной стенкой горбился над дымящейся кружкой главопер, терпеливый рыбак в камуфляжном бушлате, мастер хитрые снасти плести для подледного лова — на Чугуева поднял дружелюбные теплые глазки, и не собственной волей опустил Валерка на стул перед сильной тварью, приготовившись, зная, что засадит под ребра ему, начинит чем опять его Хлябин.

— Значит, слушай, Валерик, внимательно слушай. Что скажу — вот от этого полностью будет зависеть вся дальнейшая жизнь твоя, вся. Или ты через год к своей бабе пойдешь, или уж тогда в зону пойдешь навсегда. — Превратил глазки в сверла и двинулся по знакомой дорожке в глубь его деревянного мозга. — Звон ты слышал, конечно, — кивнул сквозь окошко на отлично известное всем окружившее зону — все вот эти запретки, канонады-квакушки, что давно никому уже спать не дают. — Понастроили мы тут — «Белый лебедь» и «Черный дельфин». Все непросто, конечно. Очень крупный бобер к нам, Валерик, на днях заезжает. Да и где там бобер? Крокодил, рыбащер! Ну совсем уж оттуда, — вскинул глазки в надзвездный предел.

Ну конечно, давно уж все поняли, что зайдет к ним в Ишим кто-то очень серьезный, необычайный вообще постоялец... Ждали группу, конечно, террористов каких не на шутку, но вот чтобы один...

— Из него миллион, что ль, вымучивать? — «Вот такой я дурак, в голове — только кость, всю рыбалку испорчу тебе, отпусти».

— Под придурка, Валерик? Не надо. — Тварь ему подмигнула блудливо: все, мол, жалкие хитрости вижу твои. — Не налим же, сказал, — рыбацкер. Кто его вот такого мог сюда запихнуть? Да совсем только сильный, совсем. И следить за ним будут — из космоса. И за нами с тобой. И вымучивать будут из него это самое — тоже из космоса. Ну а мы исполнять по нему, что нам скажут. Обвалился на нас... как не знаю... судьба. Не отвертись, бивень. И тебя, и меня — что не так, — показал насекомое в щепоти, — раздавят.

— Это кто же такой? — хлопотнул он неживо, вообще тогда не понимая, для чего нужен он, пробивное устройство, безмозглый колун, чуя только тоску, только детскую слабость ума, как вот в детстве при мысли, что когда-нибудь вырастешь — и придется жить сложной жизнью всех взрослых, с непонятной этой квартплатой, сберегательной кассой, квитками за свет... И всезнающий змий подманил его пальцем на длину языка и, убавив в себе нутряное шипение до минуса, ультразвука вообще, продавил в него, всунул, словно ногу в сапог:

— А Угланов такой, не слышал?

На него полетела плита, пробивая насквозь этажи; ломовая летящая сила, поездной беспощадно-железный нагон от истока всех чугуевских бед, всей чугуевской дури и мерзости просадил и покрыл эти вот десять лет, и ударил Чугуева

в спину, и вынес в то, чего не бывает.

— Это что с тобой, а? Что так трекнулся вдруг? — В глазках твари, рептилии вспыхнули огоньки подозрения, знания, из чего был он собран, Чугуев, в чем сварен, что его, работягу, намагнитило и затащило сюда. — Что, хозяин твой, да? Жизнь твою повернул — за Уральский хребет? Воевать с ним ходил? Бунтовал против барина? И ОМОНОм он вас? Ты тогда вот ударил мента своего? Ну так радуйся, что и его завалили, огромного, кто вас гнул до земли и на ваших горбах миллиарды наваривал. Ту же будет баланду из того же бачка, что и ты. Вона как оно все! Справедливость! Или что — оттоптаться теперь захотел? Чтобы он, бывший бог, ощутил, из чего он физически сделан? Ты смотри мне, смотри, бандерлог! Шевельни только пальцем попробуй.

— Так зачем я, при чем?! — трепыхнулся он выдраться из-под судьбы.

— А как раз вот при том, — приварил его Хлябин. — Он же ведь будет в зоне для всех каждый день как магнит. Контингент-то какой. Сталевары, шахтеры. У которых такие, как он, все украли. Про блатных уж молчу. Он еще не зашел, а уже... как сказать-то, не знаю... всем не нравится, в общем. Это ж прямо так и подмывает такого марсианина мордой к параше пригнуть. Посмотреть, а какого там цвета у него потроха. Разобрать чисто из любопытства. Ну и как мне его тут, такого, пасти? Вот один только волос с его головы — и моя голова полетит. Ты что думаешь: мне оно надо. Пас себе тут баранов в ограде, и на тебе вдруг: присылают — слона! Говорят: береги, он из Красной, блин, книги. Для него же отдельную надо зону построить. Он же ведь сюда кум королем, богом, богом в своем самомнении зайдет, всех вокруг презирая и думая, что и здесь мы за ним будем тоже с мигалкой бегать. А

побегай из промки в жилуху и обратно за ним с опахалом! Рук не хватит на это, глаз не хватит следить! Он людей-то не видел! Для него «козел» — это еще одно название человека. Ну и будет гумазничать. Обсурлит только так! А народ-то — селитра! Поронут и не спросят! Зверя из Красной книги.

— Это что ж ты меня к нему — телохранителем? — непродышно Чугуеву стало смешно, где-то в нем, как за стенкой, в соседнем помещении для думания, закипел этот хохот.

— Ну вот видишь, — потеплел к нему Хлябин. — А еще дурачком мне прикидывался. Ты же умный мужик. Вообще ни о чем ведь таком не прошу. Строго в рамках закона. Повести себя, как образцовый осужденный. Если что-то такое с ним вдруг, на него кто-то бочку покатит — пресечь. Ну, по матери если кого вдруг обложит, мужиком не того назовет, то да се, бытовые, короче, конфликты. А ты — уши-локаторы и глаза-телескопы. Ты в засаде на случай, если кто вдруг приبلуду достанет. Вот всё тихо — и ты тоже ниже травы, только рыпнулся кто на него — и ты рядом! Мы его в твой отряд заведем, самый правильный, чисто мужицкий. И не надо мне тут: ты не справишься, не оправдаешь. Еще как оправдаешь, если выйти отсюда к своей бабе и сыну захочешь. Ты же все эти годы на стреме, наблатыкался, травленный. Ждал удара все время — закамстролить тебя хотели за мента. Из-под ковшика как шеститонного ты увернулся — что же думаешь, милый, не знаю? Ты ж не должен был жить, а вот я тут с тобой живым разговариваю. Ты ж под русскую зону заточен, как агент ноль-нольсемь! Так что делай давай, что сказал. Отработай свои два оставшихся года — и вали к своей бабе, живи!

По башке колотили сквозь шконку стальным молотком. Он когда-то любил поезда больше, чем самолеты: те давали увидеть огромность земли — так чеченский Шамиль понял, как он ошибся, затеяв войну с беспредельной Россией. Никогда не давалось ему еще столько свободного времени, и один в своей клетке, в межеумочье плыл, волочился, вмерзал в станционный, состоящий из чистой разлуки и смирения с этой разлукой воздух; воспоминания, как вагоны встречного состава, как вот этот фонарный молочный рассеянный свет напоздали, врывались, текли сквозь него, то неслись с ровным остервенением нагонявшего график курьерского... в совершенно случайном порядке.

То он видел свой собственный бронированный гроб-«мерседес», на тросах поднимаемый со дна в длинных космах каких-то заиленных водорослей и тягучих потоках слоистой воды, и чеканно-каленное на любовное бабье загляденье лицо и бараньи, полные восхищения жизнью глаза возмутительно сильного и счастливого Бадри, которого так долго вырезали автогеном из этого утопленного гроба — избитое, поломанное тело с фронтона Парфенона, поросшее густой черной шерстью, наследием примата на античном рельефе дискобола: неужели все это могло так убудочно-плево перестать быть живым, чтоб уже никогда ни единой мышцей не откликнуться на мозговой электрический штурм, на пробойную искру любого желания?

То он видел, как будто опять сквозь стекло, отрешенно-измученное, с потерявшими что-то глазами, лицо и отдельно живущие тряские руки судьи по

фамилии Мурзилкин — потрогавшего медные начищенные пуговицы на горле, как ошейник, и забубнившего по «папке юбиляра» поздравления, не поднимая застекленных глаз от борозды: «Признать Углановартемалеонитча виновным... и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет... в колонии общего режима».

То он видел согбенного, беспозвоночного Борю Брешковского, что тянулся сиротским побегом к какому-то сильному другу, как к солнцу, обвиваясь лозой вокруг него, и который, бескостный, приказал его все-таки, Тему, убить — за тюменскую нефть, исчисляемую двадцатью миллиардами баррелей... И убил неумно живучего Бадрика вместо него: многотонную фуру на мосту повело, поперек развернуло, бронированный «мерс» просадил своим носом стальную платформу, и, совместным ударом снеся парапеты, они рухнули сквозь закипевшую воду на топкое дно. Все они: и Ермо, и Угланов, и Боря. Вслед за Бадриком. Общей своей «душой».

То он видел тупое изумление на морде и прорывшую борозду в глине прожженную ногу своего истязателя Цыбы, детдомовского пахана, которому плеснул на ляжку он расплавленным свинцом из припаянной к пальцам консервной жестянки, проварив до кости и почуяв свободу убить, то он видел пустое и гладкое никакое, любое лицо, никакую безлицую голову — как такую налитую белым мутноватым свечением лампочку, и внутри этой лампочки проявлялись сквозь белую гладкость лицевые бугры и морщины всех знакомых людей государственной силы — то поврозь, то все вместе, друг на друга накладываясь и срастаясь в единое неразличимое: президента, Лукьянова, Свечина... вплоть до мелкого гнуса Бесстужего и резцовой коронки, транслятора государевой воли, исполняемого

Константинова, и вот этот, последний, отправлял в него, впихивал, досылал до отказа, как кредитную карту в стальной банкомат: «Есть, Артем Леонидович, мнение, что уж слишком вы много на старость себе оставляете. Отдаете „Руссталь“ — хорошо. А все другое, за пределами страны? Один только Луккини Пьомбино. Сталелитейные заводы в Чехии, в Италии. Поместье в Эссексе, недвижимость в Белгравии. Куда ни ткни на карте мира, всюду вы — законспирированный бенефициар. Цифра в девять нулей на счетах в Ватикане у Папы за пазухой. Вы предлагаете нам все это списать в убытки нашей родины? Нет, Артем Леонидович, родина хочет. Вам сколько лет сейчас и сколько вам осталось? До трубки в легких и обоссанных клеенок? Наука нам бессмертия не дала, в ближайшем будущем пока не обещает. Вот этот срок, который мы уже вам, он ведь не последний, он крайний. Вы на второй уже хотите круг? — И орал уже, скот, выпуская холопые свое естество: — Ты ж ведь зоны не видел еще! Ты чо думаешь, а! Там никто не посмеет тебя тронуть руками?! Прокурорский надзор, адвокатская слизь, все права человека для солидных господ высшей расы? Только очень уж это, куда ты поедешь, далеко от Москвы — глухома-а-а-ань! Просто белые пятна и черные дыры за пределами „Гугла“ вообще. Ты про общий режим-то не думай — что там все поголовно за мешок комбикорма сидят, что такие там вот мужички, как соседи по лестничной клетке: майка-треники-пузо-рыбалка-футбол. Очень, очень там разные люди, если можно людьми вообще их назвать. Так что сам закрома все откроешь и взмолишься: все отдам, отпустите! Знаешь, как они сами его называют, режим-то? „Спецлютый“. Значит, можно любое в отношении любого! Ну а мы предоставим отчет всем твоим этим „Хьюмен райт вотч“ — так и так, люди — звери, мы, конечно, накажем виновных.

Улыбаешься? Не допускаешь? Отлично. Хочешь я расскажу, чего больше всего ты боишься? Ты вот был всегда занят по полной, сливал, поглощал, ты ворочал потоками, ну а там вот не то что стального завода — даже лобзика, блин, для работы по дереву у тебя там не будет. Только голые стены. И рожи! И ты будешь смотреть в них, как в зеркало. На того, в кого ты превращаешься. Ну не тронет, допустим, руками никто. Все условия, чай-кофе, но зато пустота-а-а-а... Ты же ведь не писатель и не композитор, чтобы было тебе интересно с собой самим. Вот тогда тебе станет действительно страшно. Что угодно, родные, все мешки развяжу, только не полный срок, отпустите. Ну а мы подождем. Это время, оно же — твое. От тебя убывает. Твое неповторимое единственное время. Время жизни без сына. Да без девоклолиток, в конце-то концов, вот пока у тебя еще это работает. Так что думаю, мы к этому разговору вернемся. Через годик-другой. Да и раньше».

Тварь и вправду читала его по складам: он, Угланов, обычный, прозрачный — не готов он отдать, без следа и остатка прожечь свое время. Ленька, Ленька его — невозможность уткнуться в живое тепло меж цыплячьим плечом и разбитой, собранной заново и покрывшейся шерсткой уже головенкой. Вот уже год, как в Леньке нет его, углановского, пламени. Он, Угланов, не видит, не увидит, как сын вырастает и вырастет из оползшей его, отстыкованной жизни совсем — никакого другого у них с Ленькой времени «завтра» не будет; «завтра» вылезут новые мальчики и другие отцы полетят в ощущении: бессмертен — видя и осязая, как маленький сын все надежней, все тверже ступает по предательски скользкой земле и без нужды в твоей поддержке семенит, преследуя невиданных пернатых и кошачьих; как выпал у него молочный первый зуб, как усложнился его маленький словарь, его

копилка с брошенным когда-то в нее единственным двусложным «папа-мама», как на коньки он встал в своих доспехах и вот уже с такой хищной статью режет лед, весь ошетиливаясь крошечком в мгновение разворота.

Он и сейчас уже не видит и не знает, с кем подружился его сын за эти месяцы и как много прибавил с тех пор в той своей голенастой, цыплячьей, тонко-жилчатой силе... И летел вместе с Ленькой сейчас, как тогда, над своей уральской гранитной страной, нескончаемым каменным штормом, грядами валунов исполинского роста, чуть подернутых там, сплошь покрашенных здесь голубой и лиловой патиной, изумрудной накипью, ядовитой желтью слоистых лишайников, — раскрутив ради Ленькиных глаз вертолетные лопасти, открывая несметь за несметью градаций холодного, строгого серого, обрываясь, как яблоко с ветки, наполненным сердцем перед вспыхнувшей вдруг во всю ширь окоема прокатанной сталью, неподвижной водой, такой огромной, что уже не понять, чего больше внизу, полированной этой воды или каменной тверди... И все больше воды, отражающей небо и бег облаков: остров в озере, озеро в острове — водяные, гранитные, земляные круги немилосердным предъявлением глазу и рассудку нечеловеческого умысла, творения до нас, без нас и не для нас. И качался сейчас вместе с Ленькой в резиновой лодке на озере, на прозрачном, просвеченном солнцем до дна Тургояке, так что видели сквозь свои тени подплывавших к наживке золотых окуней с ирокезом на спинах, — Ленька умолк, магнитила вода, то, как она все пропускала, проводила в неискаженной первородной чистоте; дань восхищения немого живой водой в глазах его стояла по края... И уже через миг, через вечность верещал его сын на земле, сунув руку к надменной расплюснутой морде издыхающей щуки: из пробитого щучьим

компостером пальца, набухая, чернея, выжималась слеза, и Угланов схватил, присосался — чтоб почуять сейчас за зубами тот внезапный соленый железистый вкус, новизну своей крови, ее изначальность. Чтобы сразу почуять: сына он не отдаст, ждать не станет, когда это время пройдет, срок лишения свободы, любви, и они друг для друга станут с Ленькой неузнаваемыми — сразу и навсегда вот на этом огне началось в нем движение — протиснуться к выходу из обнявшей тюрьмы, из сдавившей земли.

Про устройство той жизни, в которую ехал, везли, знал не больше, чем новорожденный на входе. Но знал: там живут тоже люди, жрут их жадность и страх — значит, может он с ними, Угланов, работать, значит, может купить. Зона — это не скотомогильник с сибирской язвой, а тоже непрерывно работает и на вход, и на выход — как домна, просто домна иной, неизвестной пока что конструкции. В каждой домне есть свой iron dam, перевал, отделяет поточный чугун от шлака, разделяет людей на свободных и мертвых, и вопрос только в том, сквозь какую он летку, Угланов, сольется — сквозь чугунную или сквозь шлаковую.

Словно сбросили кровельный лист с высоты десяти этажей. Громыхнуло: Угланов, выйдет из телевизора прямо к ним в зону Угланов, и не то чтобы всех обморозило, нет, — все споткнулось и двинулось дальше точно так же, как шло, но уже в ожидании, что не сегодня, так завтра привезут шапито; поползли, забурили по баракам базары: это как же он будет тут жить? кем его, олигарха, по понятиям

считать, и кем сам он, Угланов, жить в зоне захочет?

— Да парашу пускай канифолит, — одни сразу цвикали отварной слюной сквозь зубы. — Ну вот кто он по жизни? Рвачило. На мужицких горбах в прежней жизни наездился — пусть теперь пошнырит, да вот чуть надави — сам опустится, сам, если только его дубаки всею сворой не будут водить и на цырлах перед ним лебезить: «кушать подано» — ну, тогда уж конечно.

— Да и здесь королем будет жить, — говорили другие. — Вот зайдет — и мы все его, может, вообще не увидим. Что, на промке, что ль, будет горбатиться? Вообще по отдельной проходит статье. Что ему мужики и блатные? И на суд-то — по ящику видели? — в инкассаторском броневике с огоньками возили. И на кладбище тоже с мигалкой поедет.

— Э, хорэ парашулить, философы. Что сейчас-то галдеть ни о чем? — Тут уже и блатные прорезались. — Черт из мутной воды. Вот зайдет — и тогда поглядим. Пусть покажет себя, кто он есть. Сам себе место определит. А пока — посередке, мужиком пусть заходит. Сван сказал: олигарх — не косяк. А вообще на хрен надо подарок такой. Нам под этого шварца и так уж весь грев перекрыли. Ни тебе марафета, ни чифа, ни пряников с шоколадной начинкой. На мобилу глушилки поставили. Шмоны. Вот какую житуху мы через него поимеем. Он еще не зашел, а уже радиация.

Радиация, точно. Он, Чугуев, почуял знакомую тягу, что его волочила куда-то, и своей уже силы в нем не было — упереться, врасти в безопасное место и хотя бы понять: вот куда его тащит? Та же самая тяга, что и дома тогда, как Угланов обрушился на Могутов, на всех, пошатнув, накренив жизнь железных людей, словно

палубу, покотив по наклонной и погнав друг на друга людей, как зверей, и тогда он, Чугуев, в слепоте своей думал и верил, дурак: это сам он, Валерка, целиком выбирает дальнейшее, участь, и идет, куда хочет. Может, и не Угланов был хозяином этой магнитящей силы, даже точно не он, точно так же, как все, увлекаемый ею и ей подчиненный, но она приходила, как ветер, всегда вместе с ним, и Угланов ее наводил на других, и опять вот сейчас на Валерку найдет, и поедет Валерка куда-то и уже не соскочит.

Остальным-то на зоне чего? Ну судили, рядили, набросившись с жадностью, но под этой клокочущей шкурой, пузырями, кипящей водой было в каждом на зоне глухое, неподвижное и равнодушное знание: ничего не изменится, срока точно уж не сократит никому, не приблизит далекую волю, крыльев не опалит, веток не обломает этим метеоритом «Угланов», потому что уже крылья те перебиты, потому что уже сам себе навсегда испохабил ты жизнь, и в другом направлении она, твоя жизнь, от падения Углanova не развернется.

Шапито, зоопарк привезли в последнюю неделю ноября и еще десять суток выдерживали в карантине с этапом, и у всех, марширующих в чернобушлатной колонне, как бы сами собой поворачивались головы и косили глаза на бетонную стену ПКТ, за которой держали небывалого монстра: какой он? что он чует сейчас, менжанулся, дрожит? или ждет, когда выведут в зону, в спокойной уверенности, что никто не посмеет к нему прикоснуться руками? Про других-то блокариков и не думал никто, мелкий мусор, сопутствующий появлению крупного зверя, — двое полуцветных, остальные по серости, вот один только был порешенный с поганой статьей и не просто лохмач, а целкарик, и пока еще вроде сказали, непроткнутый:

наказать должна зона, пропустят. Но вот будто и не было этих всех остальных: загремели затворы, захрустели замки, завалились в восьмой их отряд дубаки с белобрысым румяным начотряда-скотом Пустоглотом, прикрутили таблички с какими-то Ф. И. О. и статьями-сроками ко шконкам, как-то вспышкой вдруг потемнело и сделалось тесно в бараке — и, живой, осязаемый, каланчой, распоркой в двухметровом проеме, несуразный, нескладный, застрял и вошел к ним Угланов — в новой черной нетраченной робе с нашитой чистой белой нагрудной биркой, оболваненным коротко, как и все, по стандарту, но другим, отделенным, магнитным куском, обращенным ко всем отжимающим, не подпускающим полюсом; тот же самый, такой же, которому он, Чугуев, вклеил той стекляшкой с пяти метров в затылок и закрыть мог вот этот мыслительный глобус тогда насовсем — окажись он поближе к нему, окажись та стекляшка тяжелой, граненой... и сейчас бы его здесь, Углanova, не было, ни бакальской руды, ни застрявшего пальника в устье шпура, по которому бил он, Валерка, кувалдой, ни рекордов по выплавкам первосортной могутовской стали, ни вот этой тюрьмы для Валерки, ни паскудного Хлябина, ничего вообще.

Не вмещавшийся в стены барака Угланов шел как будто бы прямо к нему, на него, никакого Валерки не видя, никого даже не презирая, всех уже заключив для себя в одно целое и как будто бы морщась от засухи, для него наступившего времени постоянства лишения всего, в чем его был, Углanova, смысл: управлять и владеть всей могутовской огненной литьевой и прокатной мощью. Ощущалась тяжелая, неизлечимая пустота вот под этой лобной костью и вот в этих руках, потерявших все кнопки, всех железных людей, проводящих по цепи его волю; вот теперь по его

мановению, слову ничего на магнитной земле не подымется и не подвинется — так же сам он, Валерка, долго чувствовал эту пустоту в своих помнящих пику руках и тоску по родному плавному пламени, и тупой железной скобкой защемляло нутро ему, сердце, когда слышал и видел из зоны он по телевизору, что в Могутове что-то построили, завели без него там, Валерки, небывалые новые мощности, и ведь мог бы вложиться своим существом в эту силу и он. И наверное, вот и поэтому, показалось, Угланов ничего не боялся и всех презирал — потому что все самое страшное с ним уже сделали: не убили, но вырвали смысл из мозгов — обезделили и обессталили.

— Здравствуйте. Я Артем Леонидыч Угланов, — заходили какие-то в нем рычаги, собирая из звуков слова словно на незнакомом и ненужном ему языке, но придется учиться, подавать с неизбежностью что-то наружу. — Это, — дернул рукой со спортивной сумкой, — на общее. Или как это вы называете, на общинное благо, короче, — без сомнения, что кто-то из рук его примет эту сумку с харчами, а если не примет, то ему все равно, и вот точно метнулся за сумкой шнырь Василек. — Я всегда буду класть, когда мне будут в зону закидывать что-то. Брать не брать — ваше дело. Говорить, что я с вами жить буду на равных, не буду, потому что я тот, кто я есть, и пасти меня будут особо. Но вот все-таки воздухом, — без зазрения и страха скривился, — нам дышать тут одним. И кисляк я мандячу, как сказал мне вчера в карантине один, — это не потому, что все люди для меня тут дерьмо, а потому, что мне сам воздух здесь не нравится. Не терплю, когда кто-то говорит мне, как жить, что и когда я должен делать, вплоть до срать. Вот менты говорят. Как и вам. В общем, нам этот воздух делить, все объекты... хм... общего пользования, и хотелось

бы как-то без взаимного хамства. Вот и все, что хотелось сказать. Остальное — в процессе сосуществования.

И ведь слушали все, как советское информбюро, Левитана из раструба, — человека, который один выходил на сто тысяч железных в Могутове и на глотку их брал, превращавшихся в слух, и не делась сейчас никуда, не ослабла магнитная сила его: что ему сотня зэков, по всей жизни и так-то почти безъязыких от страха и усилия не совершить никакого проступка, даже слова и взгляда вот лишнего бросить, за которые в крытку менты их посадят или ночью свои же сквозь матрац поронут.

Бросил в тумбочку что-то и разлегся под пальмой, и еще с ним, Углановым, двое зашли: первый самый обычный, Известьев, первоход, но с понятием, похоже, мужик, коренастый, с накопцем такой, молчаливый, вот со 161-й статьей, ювелирку, сказал, засопорил по дурости, но второй вот, второй — этот самый целкарик решенный, белотелый и рыхлый очкарь, от всего, ото всех открепленный: жить недолго совсем человеком осталось ему, он и сам это чуял и с привычностью вздрагивал от любого удара железом и шороха. Здесь оно-то, конечно, в мужицком отряде на такое охотников нет и никто греховодника пальцем не тронет, но блатные, они не промедлят... И конечно, паскудно было всем с этой вздрагивающей кучей соседствовать: ведь свою же девчонку опомоил приемную, ягняша вот совсем, если верить, конечно, — и смотрели все, чтобы об него не зашквариться, от стола его гнали: ушел! твоя миска отдельно! Только вот ведь вся штука: к Угланову льнул, как теленок прям к матке, Вознесенский вот этот, насильник, переполненных рабской надеждой глаз не сводя со стального, большого, что его застоит, не отдаст петушить... И Угланов — как будто не видел осуждения всех: самым легким,

привычным, общественнотранспортным, право слово, движением руки прикоснулся к плечу — законтачился с пидором! И не раз и не два сделал то по оплошке и в какой-то глубокой задумчивости — хотя разницы нет, и не скажешь блатному: «нечаянно» — разговаривал с ним, Вознесенским, все время о каких-то московских неведомых стройках, пил чай, придвигал к нему кружку, позволяя на шконку усесться — свою.

Весь барак онемел: что ж он делает, а? С самых первых шагов подрывает уклад, ставит на уши зону, воровской ему ход не указ. Ведь теперь самого, самого за такое вместе с пидором этим блатные на правило поставить должны. На другого бы сразу прикрикнули: стой! сам козленочком станешь! — а с Углановым все языки прикусили, только вот от него самого уже, на вольтах анархиста, шарахаются: чтобы, шаркая, не зацепил. А тому в их отрядном строю — хоть бы хны. Правофланговым в первой шеренге по росту из локалки в локалку шагает, надо всеми на две головы возвышаясь, жердина: вот и так ото всех был в отряде отдельным, заключенным как будто в невидимый шар своей силы, навсегда ему данного, взятого им мирового значения, веса, а сейчас еще этот косяк осенил его, монстра, еще больше, пугающе выделив из отрядной колонны, и от этого только ему будто лучше, Угланову, — что теперь в умывальник заходит один, что в колонне соседи от него отстают и боятся запачкаться, что везде, где он встанет и сядет со своей ладьей и чаем, начинает вокруг него сразу расти пустота, как проталина, как дыра в простыне под упавшим горящим окурком.

Все и так двуряшились, как маятники, и друг с дружкой лаялись до хрипоты: можно брать из того, что Угланов кидает в отряде на общее, или брать от него

западло (а уж там хаванина была — и на воле такой не видали), и шипели одни: что ж, как Шарик, на задние лапы перед ним за кусок колбасы? — а другие: да где тут подачка? так оно испокон — каждый, сколько он хочет, отделяет на общее, отделил не по-гадски — чего ж вам? А сейчас-то уж точно: нельзя ничего из рук пидора брать! И гудит и дрожит напряжением воздух. Так оно-то понятно, чем кончается — с каждым. Но сейчас-то — Угланов: как с ним? Мужикам-то чего — ни при чем, сторона, пусть он сам в своей силе и спеси один перед волчьей мастью козлится, и пускай его, монстра, дубаки берегут. Вот Чугуеву только беда. Протянулась меж ним и Углановым ниточка и продета сквозь ребра, сквозь жабры его, и идет он за ней, этой ниткой незримой, словно бык за своим, через ноздри продетым кольцом: прихватил его Хлябин, закрепил за Углановым лично: каждый шорох лови, каждый выблеск меж зэковских век ножевой... И дрожит в нем вот эта пронизавшая тело струна, и еще тем паскуднее, что никто, кроме Хлябина, этого про Чугуева в зоне не знает: что все время таиться он должен, не глазами, а нюхом, вот самой своей всей зрячей кровью непрерывно любое движение в сторону монстра ловить, человека, которому он с такой дикой силой не хотел поклониться когда-то в Могутове и которому служит сейчас все равно, бережет его рабски, караульной собакой, готовою прыгнуть на каждого, кто занесет на Углanova руку.

И вот мысль в его пустотелой башке — залетев и забившись чугунной мухой: а чего он старается так, трансформаторной будкой ходячей живет каждый день в напряжении? Да пускай поронут его на хрен, Углanova, вообще запичужат! И всему тогда сразу конец, радиации этой, магниту! И чего ему будет, Валерке, за то, что не поймал, проглядел? Хлябин, тварь, ему сделает, как обещал? Вот под землю его

новым сроком зароет? Да его самого тогда, Хлябина, выметут с зоны, если только с Углановым что-то случится. И уже никакой над Чугуевым власти у паскуды не станет... Ну конечно, ага! Запустил уже Хлябин в него свое жало, и из этого трупного яда не выбежать.

И еще одна мысль в скворечник: так ведь это Угланов, Угланов все так и задумал — сам на пырло полез, специально с этим пидором вот законтачив и горючую злобу блатных на себя навлекая: вот подколют его, повредят, хоть один волосок только тронут — и немедленно все налетят, «красный плюс» и «права человека» на ранение крупного зверя, и поедет на «скорой» с мигалками в специальную личную зону с бассейном, или, может, в больничку на белые простыни, ну и срок ему сразу, конечно, за такие страдания срежут, как оно для людей высшей расы испокон повелось: с земляными, отребьем девять лет он сидеть не намерен, не будет. Ну а что от такого удара вагонетка с каким-то Валеркой под откос полетит — так Угланов как раньше никакого Валерки в рабочей несмети не видел, так и здесь, в муравьиной кучке ээков, тем более. Как же просто, легко человеку вот этому уничтожить свою несвободу, тюрьму. И, казалось, уже целиком, навсегда в нем, Валерке, прогоревшая злоба — что его понесла на Углanova в той проклятой стекляшке в тот день — полыхнула сейчас в его ребрах: вот и здесь он, Угланов, в ограде сам себе выбирает дальнейшее, несгибаемый, вечный хозяин судьбы, и своей, и Валеркиной, и сейчас вот опять, сам не зная того, он, Угланов, Чугуева тащит, навсегда убирая под землю. И опять вот, опять раскаляющим жжением в руке захотел он, Валерка, ударить — наконец чтоб Угланов почувал, что его можно тоже согнуть, как легко он, Угланов, ломается, как легко просквозить ему глобус, подвести ему дух кулаком прямо в

сердце, засадить в него страх, вынимающий все у него из нутра страх животного, бить и бить кулаками сквозь хрипы и хруст, чуя, как разрываются чисто телесные нити, все опоры и уровни в этом устройстве, чуя, что он, Угланов, такой же, сделан так же, из тех же костей, видеть кровь в доказательство, брызнувшие, как арбузные семечки, зубы... даже вот не убить, а чтоб просто почуял окончание силы и жизни своей — всей своей требухой Угланов. На раздаче в столовке подсекли Вознесенского этого, по ходулям погладили сзади пинком — скovyрнулся всей своей беззащитной, мягкой, задрожавшей тяжестью вместе с грохотом миски по кафелю и вот так сразу отяжелел, переполненный хлынувшей немощью, словно квелая тряпка горячей водой, что не мог сам подняться из разлившейся лужи шамовки, словно из-под него самого натекло, подрывался, толкался, елозил, слепо шаря по полу слетевшие с носа очки, и безного валился раз за разом назад...

А вокруг приварились все к лавкам, конечно, увлеченные жизненно важным процессом поглощения пищи; дубаки все пристыли по углам, как стоячие утопленники, и вот тут — в протяженной, далеко разносящей все звуки тишине безучастности, напряженного, жадного, потаенно-глумливого как бы внимания всех — безуcильно толкнулся из-за своего островного стола и во весь свой уродливый рост распрямился Угланов. И пошел по проходу, не почуяв упругого, злого, никого не пускавшего воздуха, и уже шевелил, тормозил, подымал перед всей волчьей мастью целкарика и все делал с таким выражением лица, что как будто в стоячем общественном транспорте или там на вокзале в проточной толпе поднимал повалившегося: что такое, дед, сердце?! ты меня сейчас слышишь, глухарь?! где лекарство, лекарство твое, валидол?! что ж ты, скот, подождать-то не мог помирать,

пока я на своей остановке не вышел?

И уж тут мог почувствовать каждый: сейчас. И Чугуев почуял: сейчас — когда их на помывку, согласно отрядному графику посещения бани, через день повели. Вон они, расписные, в котельный подвал за спиной у ослепших дубаков сквозанули. И вот что ему делать, Валерке?! На всю эту вот Сванову свору за Угланова гавкнуть и пойти молотить кулаками? Вот опять когти из-под ногтей выпускать, и гвоздить, и ломать тех, кого он не хочет, за того, кто ему лично на хрен не нужен? Чуть не взвыл сквозь зубовное сжатие, угодив меж знакомых валков: и недели еще от явления Угланова в зону не минуло, а уже зажевало и тащит его на знакомое место, в мокруху! И вот тут вдруг в предбаннике шмон: по пятеркам вовнутрь впускают, проступил, как в проявочной мутной воде, в опустившихся снежных сиреневых сумерках Хлябин, раздраженно-ленивый, как слесарь-сантехник в небогатой квартире, — походил между голых белотелых мосластых и спускавших на шмоне портки, поравнялся на дление с Валеркой и впрыснул: «Не вяжись, не вяжись вот сейчас ни во что», — и еще никогда он, Чугуев, с такой облегчающей радостью не вбирал этот гадский голосок, шепоток: расцепились, ослабли на глотке холодные зубы, на огромное это мгновение оставив его на свободе... под потекшей, горячей, заковавшей его, словно в панцирь, в родовую рубашку водой.

А Угланов — сходил нагишом на разбор, тонкорукий, костистый, обтянутый тонкими мышцами, и вернулся таким же, как гусь из воды, не оплавленным, не покоробленным, не разбитым железным куском, ничего в себе не потеряв, ни в ногах, ни под ребрами, разве только подрагивал, как собака, загнавшая крупного зверя, а не как вот дрожат все спасенные и пощаженные. И вошел, как вбежал, под

стегавшую воду, с наслаждением смывая, соскребая с себя все то грязное, в чем только что побывал, — вот с такой окончательной освобожденностью, что сразу поняли все: навсегда он, Угланов, с блатными решил свой вопрос, никого петушить и пичужить не будут.

4

Разогнулся, шагнул на ослабших ногах под огромное черное, зазвеневшее женским металлическим голосом небо. Ослепили прожекторы, подхватили мясистые крепкие руки, и расщелиной между живых камуфляжных оград пошагал, побежал к типовому фургону этой «Почты России», чуя, как он ломается посередине в хребте, что-то, тварь, в нем срабатывает, заставляя его семенить в полуприседе, что-то в каждом с рождения, что в тебе отзывается на полыхнувший подгоняющий крик спецконвоя... Значит, в поры каких-то неведомых прашуров, деда вошел и впитался овчарочий лай «коридоров»... И уже засадили, подпихнув с вертухайской сноровкой, в стакан, и свалился напротив конвойный майор: выражение глаз продавщицы сельпо, увидавшей отчетливо, несомненно столичного гостя, — все они на него так смотрели, конвойные.

И приехали быстро, протащили коротким конвейером: «медосмотр», потрошение баула и... вот они, настоящие, обыкновенные зэки. Между серых зернистых козинаковых плит, под затянутым сеткой небом томились стоймя и на корточках шестеро обхудалых и плотных в спортивных костюмах: веки вспухли и отяжелели настолько, что уже не могли шевельнуться, шевелились едва и сползали

свинцовые жалюзи на глаза, на пристывшие рыбы зенки и рачы шарики, и никто не вклешился в него, не ощупал, продавливая... лишь один сразу впился сквозь стекла в него беспокойно-больными маслячными глазками, неправдиво живой среди этих кадавров: непонятно вообще, что его затащило сюда, в наказание за что, от какого линейного ускорителя элементарных частиц оторвали вот этого 35-летнего мальчика, толстяка с админом с гладким пухлым лицом, в шерстяных, словно связанных бабушкой и натянутых любящей, самой ласковой в мире рукой на ребенка вещах. Заселился и жил в этих преданных, ищущих и впивавшихся в каждого глазках беспредельный, горячечный страх перед «больно», разрывающим «больно» неминуемой дикой расправы, посуленной ему: «за такое с тобой там сделают вот что»...

Громыхнули засовы, и быдло, подчиняясь тому, что уже хорошо изучило, друг за дружкой резво повалило наружу: «Рахимкулов... Джикия... Яровенко... Известьев...» — семенящей пробежкой, как в туалет, провалились один за другим в жестяное нутро автозака; дверь всадили на место, задраили, замахали водиле: пошел!

«Вознесенский... Уланов...» — ну да, повезут его с этим, безвредным. Этот Спасовоздвиженский дернулся, как на страшном физкультурном уроке на спортивный снаряд — пытку всех тьюфяков, ощущающих кожей презрение мартышечьи ловкого класса, — и, конечно, споткнулся обо что незримое, оборвался и клюнул откидную ступеньку с виноватым страдальческим взмыком: опять! Спецконвойные туши качнулись к нему и, как будто снимало их здесь телевидение, взбагрили тьюфяка за подмышки, заглядывая в лицо, как футболисту сборной после

верхового кровавого столкновения с противником... И полез уже сам он, хозяин телевизора, внутрь, в отсек с длинной жесткой скамьей вдоль борта. На скамье уже горбился этот, зажимая салфеткой рассеченную бровь, — кротко-коротко глянул на Угланова спрашивающими, совершенно безумными глазками, и задраили тут их одних, проложенных ничтожной полоской пустоты, но как будто незримым стальным полотном... Зарычал, загудел ровной тягой движок, и они поползли, содрогаясь на рытвинах, повернули, рванули по свободной дороге форсажем... Зябкий голый отсек на ходу прогревался от днища, и уже через полчаса тут у них наступила бензинная Африка.

Заварным студнем стыло, тряслось и качалось молчание, и на полном ходу, в ровном реве мотора он отчетливо слышал непокой и дыхание ближнего парнокопытного — излучение, просительный ток и потребность с Углановым заговорить, и не раз и не два сисадмин, крупно вздрогнув, подавшись к нему, обрывал свое это движение «послушайте!», чужая, что он, Угланов, не станет, не спросит: «что болит у тебя?». Автозак тряхануло как следует и трясло уже безостановочно — волочило на задницах, словно по стиральной доске, молотило, мотало; человека швырнуло к нему — мясом в мясо, вlepившимся мягким, упругим, как налитая грелка, плечом — и отбросило сразу, или сам откачнулся.

— Простите! — тем неслышным, не слышащим, слышащим, что его не услышали, голосом, за который всегда не прощают, смотрят сквозь, придавая прозрачность пустоты попросившему. — Обратиться к вам можно? Вы простите, не знаю, как правильно к вам...

Их обоих трясло на ухабах, но у этого щеки подрагивали так, словно он за

зубами держал свое сердце, лягушку, нестерпимо болящие глазки вымогали, молили, будто он был, Угланов, у него перед страшным последний... из взрослых, за кого еще можно схватиться... что-то детское, чистое в них, не один только ужас животного.

— Ну а раньше ты как обращался ко всем? — И хотел еще и: «ты откуда?», «где ты жил до тюрьмы?».

— В смысле — к вам, по понятиям. Мне сказали: нельзя, мне нельзя к вам в тюрьме обращаться... прикасаться нельзя ни к кому, — задохнулся в прохватившем его понимании, что Угланов ему как засадит сейчас!

— Чего-чего? — И уже понял все, что-то сразу бодливой, сучковатой корягой всплыло из донных отложений детдомовской памяти — про «обиженных», «пидоров»... и корябнуло, нет, ободрало: значит, вот кого сразу «они» подсадили к нему — чтоб, забрызганный, он подцепил и заехал на зону зашкваренным, чтобы все от него воротились, отбегали, чтоб не заразил!

— Я так больше не выдержу, вы!.. Не смогу прокаженным! Когда все, когда все от тебя убирают свои вещи, тарелки... И это! То, что делают там... — захлебнулся подкатившей к горлу блевотой от представления, — если вы... если там вы со мной... — он кричал распухающим горлом, давился, тридцатипятилетний огромный ребенок, узнавший: там, куда его тащат, живут людоеды.

— Не ори! Кто ты, что — по порядку! — Запустился в башке счетчик Гейгера, как ему самому теперь выскочить вот из этой заразы.

— У... у меня статья сто тридцать два, — не сомневаясь, что Угланов знает шифр. — Я не могу об этом даже говорить. За изнасилование... д-д-дочери, — сказал нутром, натужившись на схватках и разродившись уточнением, которое он

вообще, Угланов, не воспринял. — Семь лет ребенку, семь! Она, Дианка, ну... я не ее биологический отец, но она моя дочь, понимаешь, моя! Не как дочь, а моя! Как я мог?! Вот каким это органом, местом физически?! Это ж даже не Волга впадает в Каспийское море, это суть, естество человека! И вот это мне им приходилось доказывать: я человек! не могло, быть не может! Это мой, мой ребенок, она — моя жизнь! Вот Дианка моя и жена. Она у меня — первая, одна и навсегда! Я ж даже не поверил собственному счастью! Когда я ее встретил, мне даже стало страшно. Что мне это дается, жизнь дает мне ее, вот такую, какую я давно не надеялся встретить. И все у нас, как надо. Как у моих родителей, как у ее родителей. Дианка вот сразу ко мне потянулась... — в нем захрюкали клапаны, ринулась и по горло его затопила вода. Высоко перешагивая слезы, потащил вброд историю жизни своей, наступающей смерти, которая официально оформится завтра. — Легли в больницу прошлой... то есть этой зимой, — заключил он жену и ребенка в привычное прошлое «мы», как в какой-то сияющий шар. — Очень больно глотать, температура ночью вдруг — тридцать девять и восемь, мы на «скорой» в больницу, забили тревогу. Ну а потом в больнице нам анализы. Сперматозоиды в моче. — И передернулся от омерзения бездонного, как в миг плевка в священное их «мы», в тот самый шар сияющего счастья, внутри которого соединяются их руки и перепуганные губы приникают к исцелованному лобику самым надежным в мире градусником с кровью вместо ртути. — Нам не сказали ничего, родителям, — зачем?! Зато вот сразу сообщили куда надо! Сразу меня, меня и заподозрили! Ну кто еще-то, правильно? Отец! И началось, поехало все дальше, как снежный ком с горы, уже не остановишь. Явились следователь, тетки из опеки. Все осмотреть, Дианкины

игрушки. У нас была корзина для белья — вот всю ее изъяли. Ходит девочка в садик? Какие взрослые мужчины могут находиться в вашем доме? Ну, значит, папа! Отчим?! Так тем более! Мне как сказали, я мгновенно отключился вообще, куда-то шел, куда меня повесткой, и ничего вокруг не узнавал: все то же самое вокруг, двор, где я вырос, но я не знал уже, как это называется, забыл слова, названия вещей. Я думал, что это дичайшая, невероятная ошибка, такая глупая, что это скоро все поймут, всё прекратится это, остановится... Ну ведь могли же они там, в лаборатории, что-то перепутать, все эти баночки, пипетки свои, скляночки... чье-то еще взять по ошибке, не Дианкино... ну, там, не знаю, мальчика-подростка... и вместе с этим страх все время — что кто-то мог с Дианкой это сделать... Это в чьи же мы отдали руки в больнице ее?.. Уж мы и так ее, и смяк, чтоб рассказала, — и ничего, таращит свои глазки, обыкновенная, веселая, такая же! Да если б было что, да разве б мы в своем ребенке не увидели?! Да и врачи потом смотрели девочку... ну, там... и никаких там повреждений, все, свобода! Это огромное было для нас с Маринкой освобождение от страха, что кто-то что-то мог с ребенком в самом деле! И все равно мне предъявляют обвинение! Это потом уже в развратных только действиях. Постельное белье смотрели. Сто повторных анализов — там какие-то смывы, соскобы со всех наших трусиков — чисто! Да только следствие уперлось в самый первый тот роковой анализ сумасшедший! И экспертизы, экспертизы нам еще! И главное, вся эта мерзость на ребенка выливается! Они ж ведь за Дианку принялись! Работа с психологом! Вот где, я вам скажу, извращенцы-то истинные! Вопросы: папа тебя трогал? трогал тебя за попу или нет? на колени сажал? целовал? Нет, блин, в скафандре космонавта должен папа! Вы хоть раз в жизни видели вообще — живого

ребенка?! Который сам к тебе на шею: папка, на верблюде! И «пыс-пыс-пыс» мы делали в кустах, и сколько раз трусы меняли. Это ж ведь жизнь живая — это понимаете?! И Угланов почуял удар, мягкой легкой детской тяжестью в грудь: возвратился, вlepился подброшенный Ленька — и мужик этот вот точно так же подбрасывал и за попу подсаживал девочку на надежную нижнюю ветку, чтоб она дотянулась до медовых светящихся яблок под солнцем.

— Ну а потом они заставили Дианку рисовать, ну и она нарисовала — Мурлехрюнделя. Психологичка эта посмотрела и там такие признаки в зверюшке обнаружила, что однозначно вот ребенок подвергался... Пускай сама врачу покажется сначала! И на детекторе вопросы эти все — да ну меня на полиграфе просто колотило. Мы заплатили официально двести тысяч через кассу, а полиграф нам этот: вы дайте мне вот лично еще триста, чтоб на какой-то вас другой аппаратуре, без погрешностей.

— Ну так и дал бы.

— Дал! Но только нам сказали: поздно. Жене в глаза наш следователь: поздно!.. — Сказал: раз мы уже вот это дело возбудили, то вот такие педофильские дела у нас уже закрыты быть не могут. Что если им теперь признать, что облажались, тогда их всех в прокуратуре снизят сверху донизу. Что ты уже по всем телеканалам педофил, так что ищи для дочки нового отца, а этот твой, он сядет полюбому и назад человеком уже не вернется.

Угланов засадил без жалости в захрюкавшую гору, бил — чтобы почувствовать свою отдельность от него, себя — другим, единственным, стальным, бил — чтоб не чувствовать рванувшийся меж ребер и пробирающий обоих их сквозняк, ток

одинаковой, одной и той же боли, уничтожения, немощи, потери... и закричал в закрывшие лицо, словно пробоину в обшивке, эти пухлые трясущиеся руки:

— Предлагали тебе порешать? Говорили жене, собирала чтоб деньги? Ты кто вообще такой?! Работал кем, работал?!

— Я... архитектор... был, — закашлялся тот пылью над руинами жизнестроительного плана: затевалось на годы, как будут строиться дома, распределяться действующие силы и нагрузки по незыблемым фермам и радугам арок, но пришли взрывники с капитанскими звездами и лиловой заразой гербовых штампов — и как же это было на него, на все его, Уланова, похоже — скелеты прожитых конвертерных цехов и железное эхо рекордов по выплавкам небывало живучих могутовских марок.

— Архитектором где? Что решал ты такое? Что и где ты построил?

— Да какое значение теперь?.. — В самом деле: зачем? все одно уж теперь зажевало и тащит. И с какой-то детской гордостью и мольбой: «я хороший!»: — Ну, я много успел. «Дельфос-Плаза», «Грюнвальд», это наши проекты, на Заречном, на Сретенке...

— Как вас зовут?.. Вадим. Артем. — Он разглядывал жирное, как бы вовсе бескостное тело: ничего, что бы сразу не чвакнуло и смогло упереться, — понимая, что он приварился, Уланов, к этой мускульной слабости, участи, что так просто уже, наступив сапогом на макушку, продавить эту тушу под лед, отпихнуть от себя у него не получится. — Значит, слушай меня. На конвой я нажму вот сейчас, чтоб тебя поселили по первости не со зверьем. А потом тебя вызовет кто-то из начальства колонии, станет спрашивать: что ты умеешь, кем хочешь служить? Скажешь: ты

инженер, можешь строить, и просись на такую вот должность, не в барак, а в отдельную будку, говори, строил дачи, коттеджи, Пугачевой, Киркорову, вот и им будешь строить бесплатно. Ну а дальше посмотрим. Напрягу свои «хьюман райт вотч». В телевизоре снова покажем тебя, дочь твою, чтоб сказала, что она тебя любит и хочет, чтобы ты к ней вернулся домой. — Это не было жалостью. Ни плохим ни хорошим он, стальной архитектор, машинист, быть не может. Ощущение собственной правды в другом человеке — вот что это было.

Арматурные прутья, засовы, магниты. Трафаретные надписи на засиженных гнусом плафонах: «больше трех человек не входить». Завели в «смотровую» на прожекторский свет. Камуфляжные туши, караульные жертвы служебного собаководства подступили к нему вчетвером со знакомым уже выражением стыдящейся нищих прилавков, жадноглазо-обиженной продавщицы сельпо, но и зримо прямась, вырастая, наконецником силы, приказавшей Угланова сделать таким же, зажимаемым с той же режимной мерой жестокости, наделяемым теми же граммами пайки и квадратными метрами на человека, что и все земляные, черноробные люди-обсевки с трафаретными бирками «за разбой», «за грабеж» и т. д.

— Заключение, представьтесь. Убор головной свой снимите.

— Осужденный Угланов, — сдернув шапку без всяких, поискал основного, в чьи уши всадить. — Гражданин майор, я хочу сделать сейчас заявление. Тут со мной поступает в ваше распоряжение гражданин Вознесенский. Человек по поганой статье. Вы хотите, чтоб он прямо здесь и сейчас окочурился? Человек с большим сердцем, дохляк, истеричная личность, — не давая опомниться — в эти словно зажегшиеся новым светом глаза, под обрезанный лоб, козырек камуфляжного кепи. — Я, конечно, не врач, но вы сами смотрите: он страха почти что уже

неживой. И сейчас его в камеру с кем-то засунуть, ну с такими, конкретными — он и шуточек даже в свой адрес не выдержит. Так что я настоятельно вас попрошу, — все никак не давалось ему без усилия это вот слово: «прошу», — обеспечить защиту. Изолировать от нежелательных всяких соседей. А то ведь если что, это так завоняет. Понимаете ведь, что колония под микроскопом. Ну а тут только новый этап — и такое. Кому это надо? Я совсем не хочу вам указывать, что и как вам тут делать, но, наверное, все-таки как-то не надо доводить до такого. Чтобы сдох человек. В этом случае я не намерен молчать.

— Доведенную вами информацию принял, гражданин заключенный. — Силовое устройство наконец распознало купюру и ответило водопроводным сливным обрушением и клокотом.

— Я хотел бы и письменно сделать сейчас заявление насчет гражданина. На имя непосредственно начальника колонии. Чтобы все строго в рамках законности. Мы же ведь уважаем закон?.. Что испытывал он? Возбуждение в железнодорожном студеном будоражащем воздухе нового, незнакомого города и уже одновременно с этим какое-то вялое безразличие привычки, растворение в том, что давно началось для него, и уже не потряхивало от телесных контактов с уродами: заголиться, нагнуться, раздвинуть, присесть. Давно уже известная столетняя рептилия в прозекторских перчатках и халате диктовала под запись родимые пятна и отсутствие татуировок на коже, прямо здесь и сейчас, показалось, меняется кожа: «Сдаем, сдаем одежду, до голых мест снимаем все, друг друга не стесняемся. Двойные носки? Двойные забираем, не положено».

По ступенькам в подвал — Вознесенский тащился за ним, всею шкурой дрожа,

что отцепят. В банно-прачечной мгле среди кафельных стен разбирали мочалки и шайки, терлись лыком с кусками дегтярного мыла скользким блеском облитые спины и плечи этапа: купола и кресты, подключичные звезды, зверинец, только у одного эпидерма была совершенно чиста от чернильной проказы. Их никто не заметил, вошедших, — умели не заметить они, лишь один мощногрудый, распираемый мускульным мясом урод, приварившийся к лавке, наставил на него видовые, полорогие бычьи лупастые зенки — не участки чувствительной слизи, а еще один мускул, исполнительный орган такой — и смотрел тяжелее все и тяжелее, широко разбросав заклеяменные звездами глыбыколени и не скрыв, выставя приметный свой хобот, уже будто бы полунапрягшийся и готовый немедленно вздыбиться в боевую таранную лупоглазую стойку.

— А здороваться надо? Когда к людям заходишь? — как-то вот без угрозы, показалось, совсем: натаскали его, что ль, менты, чтоб не гавкал? — Или что, запаadlo, олигарх?.. Глянь, бродяги, с кем мы жопа к жопе! Угланов! Вот тот самый владелец заводов! А скажи-ка ты нам, олигарх, кем на зоне-то думаешь жить? Погасить это мясо — и нечем! Неужели он должен, железный, с порога учитывать, отзывать вот этому даже скоту?

— Так зайду, и братва разберет, — это кинуть ему вот сейчас, и довольно, мелочь он, шелупонь, попадет на серьезного вроде деда Гурама — так со шкурой сразу эполеты все эти отпорют, и как будто еще кто-то здесь точно так же подумал, в чьем-то кашле слышалось то же презрение к быдлу.

— Это правильно ты, — с непонятым удовлетворением. — Оба-на, пидорок... — Вознесенского, быдло, приметил: сисадмин осязаемо дрогнул и осел

животом, как на бойне, вжавшись в угол и впившись в мочалку, в сберегаемый, как драгоценное самое, пах. — Олигарх, ты смотри, прям к тебе так и липнет. Ты его часом — нет? Пока ехали, а? Или он тебе сделал? С заглотом? А чего? Он для этого к нам и заходит. Чё ты влез сюда, солнышко? Что, не терпится, да? Так давай я тебя прямо здесь отфоршмачу. Чё, не поэл?! Сюда иди, взял! Принимай, что положено, за щеку!

И волной от ног, живота Вознесенского перекинулась дрожь на Углового: обессиливающе заглодело в паху, все, что ниже спины, вмуровалось в неподъемно-бетонную мерзлую тяжесть, и в разрыв с нутряной низовой этой немочью — раскаляющим жжением в руке — он почуял потребность ударить, размозжить эту гнусь, кусок мяса, в той своей великанской, стальной, нагибающей все «Арселоры» и «Митталы» на планете руке.

— Ты бы чавку захлопнул свою, — приказным ровным голосом обыкновенным, а в руке ничего не осталось, обессталел и нечем убить... и смотрел — продавить! — глыбе мускулов прямо в глаза, и не мог сделать собственный взгляд и слова ломовыми, тяжелыми даже в своем ощущении, навсегда вот отсюда, с порога, оставшись только с тем, что под кожей, что в нем самом, только с тем, с чем родился и с чем сбросят в яму. — Дубиной по яйцам, смотрю, захотел? Рыпнись только, дебил! По углам посмотри! Чё ты видишь? Ничё? А они тебя видят, менты, как в реалити-шоу «Дом два». Или думаешь: Угол вот здесь, а менты там ослепли? Так попробуй, попробуй. Самого вот сейчас переделают в девочку. — Бил вот в эту мясную, бетонную гору, корчась от омерзения к себе: никогда еще не выступал он так дешево, так шакалы хвастливо прячась мелким дрожащим зверьком за

хозяйский сапог, за облезлых шерханов камуфляжной раскраски... Ну а что еще мог он сейчас?

Не сорвался, не смял, только вглядывался звероподобно в молчании, разрывая в Угланове что-то свирепеющим взглядом, угрожая сорваться всем своим «больше тонны не класть», но забил ему в череп Угланов, похоже, пару мерзлых гвоздей, прихватив его намертво к лавке.

— Ты ничё не попутал сейчас? — с угрожающей расстановкой. — Ты сейчас на земле, понял ты?! Тут все это твое, на земле, не влияет. Здесь с тебя может каждый за слово спросить. И зашкварился, Угол, сейчас ты по полной! На кого сейчас тянешь? На меня, Витю Ярого?! Ты на весь уклад жизни людей потянул, когда голос сейчас свой за пидора поднял! Не всекаешь, что этот пидор — решенный?! Полюбому проткнет его зона! И тебя заодно вместе с ним!

— А тебя, Ярый, как? За такое?

— Какое?!

— А за то, что его прямо здесь вот собрался. Это кто так решил? Это ты так решил? Ну а кто ты тут есть? Ты сюда от братвы за порядком следить, что ль, поставлен? Кто ты есть вообще? Я тебя, например, вот не знаю, про такого вот вора не слышал. А с людьми я общался. С Сашей Курским, с Захаром, со старым Шакро. Да уйди ты отсюда уже! — рывкнул за спину на Вознесенского — как на слабую, стыдную часть себя самого, от себя отдирая ее, чтобы не поглотила его целиком, затопив его заячьей, травоядной дрожью. — Пошел на выход быстро! К ментам беги, к ментам! — и, опять глядя твари в глаза, нажимая в ответную: — Даже я, человек без понятия, понимаю: решить должны люди. Сходняк.

— Да чего тут решать?! Все пробито давно! Курку, курку свою зафилярил родную.

— Так чего же еще на этапе его не поправили? Значит, было сомнение у людей, кто он есть и кем жить ему тут? Ну а ты, значит, взял и решил? И спросить люди могут за такое — с тебя! А с меня спросит кто за него, так я всем обосную: и кто он такой, и чего я творю.

И закончилось все, так и не полыхнув. Все возились безлико, безгласно и мляво, избитые долгой дорогой, но конечно же пеленговали, вбирали — выходя из подвала, споткнулся взглядом на мужике: никакой, стертолицый, каких тьма на черкизовском рынке с борсетками и напузными сумками с ручкой, и мужик сразу спрятал глаза: «я — пятно на стене, знаю место», но само выражение глаз, краткий выблеск: место сразу угадывается по тому, как глядит человек, — не усилие страшно глазами нажать, как горилла по фамилии Ярый, а ни в чем показном не нуждавшаяся, в дополнительной, дыбом поставленной шерсти, способность задавить и сломать... а еще он все видел, вот этот мужик, охлажденно, прозрачно, рентгеновски все понимал: сколько весит Угланов, и какой будет отзвук, вибрация, трещины от углановских первых по зоне шагов, и, наверное, даже что Угланов задумал на ближайшие дни, и недели, и месяцы... Интересный мужик — или ты никакой не «мужик»? Ни презрения, ни одобрения, ни страха в глазах его не было — для него все углановское, все, что сделал Угланов сейчас, не имело значения. Пропускать сквозь себя взгляды всех, как сквозь воздух, пустое, не отражаться в полированных поверхностях и при этом вполглаза, вполуха, в экономном режиме все видеть и слышать — вот что он выбрал сам, вот каким он хотел быть на зоне сейчас, этот

«псевдомужик».

У двери душевой напряженно томились охранные туши: вот и вправду бы тотчас рванулись на крик и на грохот падения, ударов, застояли, спасли... Покривился опять от презрения к себе. На поверхности выдали черные робы, майки-алкоголички, трусы, круглоносые боты из черного кождаменителя — все, похоже, действительно новое, но пропахшее мерзостью пайки, казенщины, гуталином и хлоркой, войной с мышами. Расписался за новую кожу свою в разлинованной ведомости и услышал: Известьев, фамилия «мужика» оказалась Известьев.

2

Спустя двое пустых, убиваемых чтением суток — в общей камере с этим Известьевым, Вознесенским, Джикией — разрубающе грохнула сталью кормушка. Вознесенский, отхваченный грохотом от спасительно сильного «друга», потянулся губами, лицом за шагнувшим на выход Углановым; повели, дали воздух и небо, праздник легким, костям, ничего не успел он увидеть: дислокации, плана, устройства — лишь заборные прутья и сетки притравочной станции. Сразу — под козырек двухэтажного белокирпичного здания: здесь засели хозяева зэковских судеб, но не собственной участи. Завели в кабинет: за хозяйским столом строго пучил налимьи глаза подкопченный кабан в распираемой плановым жировым накоплением рубашке с погонами, генеральный директор ФГУП «ИК „Колокольчик“», полковник, и приметно страдал, пораженный болезнью «Угланов»: все его повседневное, что привычно текло, остановлено, потому что прислали к нему вот сюда государева

вора, контейнер со значком «радиация», основной фактор риска для сердечно-сосудистой — на дальнейшие девять огромных и медленных лет!

— Заключение, представьтесь.

Еле он удержался от «Усама бен Ладен» — отчеканил по форме. Разрешили присесть. Тут же рядом за столиком «для посетителей» — явный командировочный, присланный от заветных трех букв, ФСБ, с ровной полуулыбкой принадлежности к силе; в уголке притулился, сцепив пальцы лесенкой, третий — лысолобый, неясный, с майорскими звездами.

— Значит, так мы, Артем Леонидович, с вами решим предварительно. Согласно распорядка, согласно распорядка... Как время карантина ваше выйдет, поступите в отряд, отряд, можно сказать, примерный, образцовый, но я вас все равно предупреждаю, чтоб не было потом эксцессов и претензий: в отношении ко всем заключенным попрошу проявлять вас предельную вежливость. Никакого вот этого вашего... высокомерия, а то эти ведь тоже не мальчики-зайчики, и на всякое резкое слово реакция может быть очень острая. Теперь касательно трудоустройства... Вы хотите под крышей в отряде сидеть или как-то вот все-таки потрудиться желаете? Вы какой специальностью, таксать, владеете?

— Человек управляющий. Я хотел бы у вас все возглавить.

— Чего?! — Жбанов потяжелел от усилия выправить заревевший, вошедший в крутое пике истребитель — нарастала, как в линзе, с погибельным воем земля.

— Ну, чего у вас есть? Швейный цех, лесопилка, метизы, подшипники? Вот все это хозяйство у вас и возглавить. Сколько у вас голов бесплатной рабской силы? Триста, четыреста, сколько? Прямое субсидирование из федерального бюджета — за

освоение только надо отчитаться. Это ж ведь золотая модель. Никакому Китаю не снилась. Мне б на воле такую модель — тысяч десять таких вот бесплатных зэков — я сейчас бы вообще был уже на Луне. Дайте мне производство и всю бухгалтерию — и я вас тупо в лидеры области выведу за то время, пока буду срок отбывать. Среди малых и средних предприятий Сибири.

— Вы это что?! — Водопроводным подышающим сипением врезал Жбанов и закричал, поозиравшись по сторонам собачьими рывками: «вы это слышали?! не только я один?» — Да ты ж за это и сидишь! — И на московского командировочного: «правильно?» — словно в единственно доступную ему отдушину в кремлевское надзвездное «туда», где про Углового, про всех решают всё. — Куда, какую бухгалтерию? Вам не положены хозяйственные должности! Мы вам, Угланов, предлагаем работу по благоустройству территории и настоятельно рекомендуем не отказываться.

— То есть в петухи меня определить вам показалось как-то мало — надо еще и через швабру протащить. Чтобы уже наверняка, по всем параметрам всей вашей публике на зоне показать: вот кем я был и кем я стал. Сделать меня неприкасаемым и сексуально притягательным для озабоченных ублюдков. И после этого меня же оградить от этих домогательств — изолировав в помещении камерного типа. Я ничего не пропустил? — читал по редким крупным буквам их мозги: как они просто все сцепили и покатили на него вот эти бочки септиков, чтобы его, Углового, согнуть.

— Да что вы нам?.. Какие петухи?! — взорвался паровозным пыханьем полковник. — Вы нам, Угланов, тут не выворачивайте! Ишь ты, нашелся тут: на

швабру он не хочет! Все тут, в колонии, осужденные — мусор, а он один такой тут господин. Мешок зерна украл с телеги — это одно, выходит, отношение, а миллиарды если воровал, тогда пылинки тут с него сдувай. Так не пойдет! О каком наказании тогда речь вообще? Вы тут находитесь на общих основаниях, Угланов! И отношение к вам здесь будет, как ко всем! Если ты вор — обязан выполнять! Значит, согласно распорядка и уголовно-исполнительного кодекса, статья сто шестая, администрация колонии имеет это право — всех заключенных абсолютно привлекать и привлекает их в порядке очередности к уборке территории. И значит, в случае отказа от работы мы будем вправе вам назначить наказание. Трое суток штрафного изолятора будет. А в случае повторного отказа — по верхнему пределу, до пятнадцати! — У меня аллергия. Жесточайшая форма.

— На что?

— На метлу. На половую тряпку и другие знаки высокого достоинства на зоне.

— Что там у вас по состоянию здоровья — это решат сотрудники санчасти, — даже без сладострастия врезал, урод: ты пошути еще мне, пошути! ты у меня теперь всегда будешь здоров, как космонавт! — Я смотрю, чуть чего — сразу сердце у них! Сразу язва у них! И откуда вот только берется? Видно, плохо на воле питались. С трюфелей вот такая изжога.

— А ваш повар готовит осьминога на гриле?

— Посещение ларька — по отрядному графику, — поматросовски жертвенно стиснув губы над целью, сбросил авиабомбу полковник. — Больше ста рублей в день тратить с личного счета заключенному не полагается.

— Вообще не смешно ведь, Артем Леонидович. — Столичный аудитор умаялся

терпеть и бросил через стол с подчеркнутой ноткой сострадания: — Давайте говорить по существу. Что сейчас вы конкретно хотите? Что сделать для вас? — С проникновенно-подчиненной издевательской дрожью: — Чтобы вы не устроили нам опять голодовку для читателей и телезрителей.

— Вознесенский Вадим Алексеевич, — надо с этим решить навсегда, с этим взрослым подкидышем, что к нему припаялся и делает уязвимым его самого. — Человек с петушиным клеймом. Обеспечьте защиту ему. Не бла-бла, а дубинкой, решеткой, стеной. Вот его в ПКТ посадите.

— Это тот, педофил, что ль, который? — покривился на новый источник заражения Жбанов, как будто не знал. — Оградить и пресечь — это наша обязанность, но... что же, мне раскладушку рядом с ним теперь ставить в бараке? У меня тут вам не это самое, не Алькатрас. У меня тут один контролер на полсотни голов. Что молчишь, безопасность? Скажи! — зыркнул на непроявленно-мутного рисовальщика галочек и кружочков в блокноте — подчиненно тот вскинул заболевшие глазки и, приметно страдая в направленном свете «отвечать у доски у нас будет...», загундел неуверенно и несвободно, выдавая сомнительное для себя самого, но уж если спросили, он скажет, кочегар, сход-развал, руки в масле:

— Тут один вариант: сразу — в сучий барак. — Вот каких-то четыре пипеточных капли — и решение вопроса. — Если сам заключенный не против...

— Да не против, не против, — сразу вклинил стамеску он в щель. — Человек — архитектор, проектировал целые микрорайоны в Москве. Где еще вы такого возьмете? Все подземные коммуникации по линейке прочертит, как надо. Неужели какой-нибудь конуры для него два на два не найдется? Чтобы тупо на ключ изнутри

запиралась? — И посматривал в ровные, стертые глазки майора теперь, понимавшие больше, чем хотели они показать: очень часто природа наносит на кожу ядовитых рептилий безобидный древесный, растительный земляной серо-бурый узор: так, корявый какой-то комочек, листок, ничего не шевелится, что могло бы метнуться и впиться, а сквозь эту обычную землю, листву за тобой наблюдают глаза... И вот этот Известьев — сосед по этапу — такой же.

— Есть такая каморочка, — выцедил шестереночный, втулочный человек безопасности по фамилии Хлябин. — Только это в восьмом вот отряде у нас — вместе с вами, выходит, мы могли бы его разместить. Ну, на первое время. И вот как-то приглядывать за обоими будет полегче.

— Там же Гуров у нас, — гавкнул Жбанов.

— Выписывается Гуров, на свободу, — протянул с сожалеющей и завистливой дембельской интонацией Хлябин: мол, мы все тут не звери — по-соседски живем; и уже с облегчением оглядывал всех: отчитался, решил, знак вопроса зачеркнут. Только ведь получалось по сути: заострил «петушиный» вопрос, заселив Вознесенского с ним, Углановым, вместе, повязав их и сплющив на глазах у всей зоны в «голубые друзья»; ничего просто так он Угланову делать не будет, начинаются шахматы — выжить Угланова из барака в ШИЗО, придавить одиночкой, напитать пустотой, чтобы сделался от вымывания податливым. И Угланов не просто начинает вторым — он не видит доски, он не знает, как ходят фигуры, видит только бетонную стену сейчас, за которой уже начались копошения, клекотание варящегося отношения эков к нему.

Словно боялись не нажраться, жрали его все. С благоговейной жадностью туземцев, сбежавшихся на огненное зарево и алюминиевую тушу рухнувшего «боинга». С какой-то детской, выпытывающей «кто ты?», невыносимой неотступностью, когда не понимаешь, каким тебя видит и что про тебя разумеет совсем еще новый и чистый, впервые как будто открывший глаза человек. (Молодых было много, почти детей, детдомовцев с губастыми мягко-округлыми, не выросшими лицами, как будто здесь, на зоне, и родившихся и ничего не видевших иного.) С подстерегающей собачьей пристальностью, волчьей, с недоуменной тупой, бычьей наволочью, с застрявшей каменной угрюмостью обочинных людей. С низкородной, холопьей, не прощающей собственной низости злобой. С неподвижным и непроницаемым недоверием крестьян и рабочих, от макушки до пяток похожих на землю, которую пашут, и чумазые шпалы, которые в землю кладут. Исподлобья, набыченно, вяло, сквозь тоску, мародерски, украдкой, ножевым тусклым выблиском, стертой, отсыревшей спичкой, мигнувшей во внутреннем мраке, из укромных углов и с удобных позиций, непойманно — жрали. Даже не выедали глазами, а внюхивались, с не приметной, но осязаемой силой вбирая, изучая движения нового зверя.

Из протяжного спального, тесного от полусотни двухъярусных коек, помещения — в «комнату отдыха» с телевизором, нардами, шашками — в умывальник, уборную всех советских вокзалов, больниц и казарм с туалетами типа «очко» — на огромный проточный, долгожданный и не насыщающий воздух под глухой пустотой

ноябрьского неба, в огороженный сеткой асфальтовый двор выдвигаясь, толкаясь, вышатываясь, чуял на себе волновое магнитное это внимание всех: надо было привыкнуть, подождать, пока новая кожа его приживется, огрубеет и полностью потеряет чувствительность или, может быть, сам он, Угланов, скорее, сотрется и смылится вот об эти глаза, станет им, «мужикам», через месяцы или даже недели таким же привычным, как они все друг другу и сами себе.

Он не чуял вот в этом внимании угрозы и не видел ни в ком совершенно глумления, низкой, гадостной радости от принижения и падения большого и сильного: ну, почуял, узнал, каково, когда вот и тебя — на баланду? Каждый был тут настолько придавлен одною на всех, одинаково тяжелой плитой-тоской, каждый был тут настолько иссосан ощущением необратимо убывающей собственной жизни — что глумиться и радоваться своему уравниению с кем-то другим, пусть вот даже с огромно-богатым Углановым, просто не было силы.

Так что он ошибался в своем убеждении, что сильных и слабых равняет целиком, навсегда лишь могила, — он не видел тюрьмы, он не видел вот этих людей и того, что со всеми тут делает время: так вымывается и оползает, пересыхает и седеет черная земля свежесыпанной могилы, неотличимой становясь от той самодовольно-жирной или сохлой, что вокруг.

И казалось ему, что его тут вообще не должны были люди заметить — пропитавшись и сросшись со знанием, что никто, сколь угодно богатый и сильный, ничего в их бытие не внесет, никуда не подвинет вот эту плиту. Но спустя невеликое время пребывания в этих вот запахах, воздухе начал он понимать то банальное, что сводилось всего к трем словам: «здесь тоже жизнь», нет ничего в пределах жизни

окончательного, люди эти хотели и здесь протянуться побегом сквозь землю, под плитой отведенного срока, и вырваться к солнцу, чтоб еще попытаться пустить и развить свои корни на воле. Не такие уж страшные были на табличках у многих сроки: и по пять, и по три — годы «ратного долга», досягаемость дембеля. А еще — и вот тоже «во-первых» — люди эти хотели жить прямо сейчас, «здесь» хотели, как «там»: набивать брюхо сытной, тяжелой жратвой, утолять алкогольную жажду, заглатывать кайф, видеть женское тело хотя б на картинках размером с почтовую марку — раздобыть себе, отторговать хоть кусок от того подзапретного, инстинктивно потребного каждому, от чего не избавлены даже скопцы, от чего несвободны в келейных своих помыслах даже монахи... И вот эта потребность нажраться, даже если заглохенный кайф, как крючок, разорвет потроха, воевала здесь в каждом с живучим, сознательным, охлажденным намерением «выйти», доползти беспрепятственно и невредимо к окончанию срока, до даты рождения.

Все делились в бараке для Уланова по своему отношению к этому «плоду»: на трясущихся за... свою новую жизнь, за рождение — и совсем безалаберных, потерявших, прожегших в себе этот инстинкт, согласившихся с тем, что не выносят сами себя, разродиться не смогут собой, или вовсе уже не желающих выбираться из зоны на вольный, обдирающий холод открытого мира, точно так же как бывшая рыба — или кто-то там в процессе эволюции выполз на сушу? — не способна проделать уже путь обратный, возвратившись в родную стихию. Та тюрьма, что снаружи, — еще полбеда, есть другая, внутри, и для многих она неприступна.

Есть такое: «отмеченность», «наложить отпечаток» — и, осваиваясь на этих ста самых первых барачных квадратах, плацдарме, он, Уланов, заглядывал в лица, в

самом деле не то чтоб отмеченные несмываемым втравленным, зримым клеймом генетического феномена «коренной обитатель тюрьмы», но за годы сидения обданные равносильной обезнадеживающей стынью, с той почти что прозрачной светлотой в глазах, что всегда означает наступившую осень и близкую травяную, древесную смерть, — лица самые разные, неповторимые: молодые, телячьи, мужицкие и почти стариковские, несуразные, просто дебильные; сработанные словно одними топором и долотом, смазливые, красивые тяжелой, не тонкой красотой любимцев поварих и парикмахерш, чеканные, точеные вот даже... он искал среди барачных людей — ну, каких? — несогнувшихся, сильных, живучих, не прохваченных стылой радостью подчинения чужой, внешней воле, с той самой верностью волчьей свободе в скрытно-жарких и жадных глазах. Он искал тех, кто мог загореться — распали, подкорми эти волчьи глаза обещанием счастья и силы на воле, — захотеть изменить направление роста: не ползти, а рвануться, не вдоль, а насквозь, сквозь плиту придавившего срока. Он искал не могущих смириться. Пробивное устройство таранного типа. Изворотливый взломщицкий ум.

Это будет, конечно, ползучий такой, очень долгий процесс: разглядеть, прокачать, проявить, а потом еще долго нащупывать в человеке под ребрами нужную кнопку — он пока что вообще был бессилен понять, как устроена эта порода, как вот этих людей переделала зона, он не то чтоб не знал языка этих мест, но никто не хотел с ним на этом языке разговаривать; он бродил среди непроницаемых, зрячих, примечающих каждое слово и жест его, стерегущих его днем и ночью, онемевших людей.

Милицейские твари с ним проделали главное: заразили его, запечатали

упаковкой «пидор» с порога, повязав с этим вот несуразным, несчастным придурком: сдать его в петухи он, Угланов, не может — вместе с ним, Вознесенским, как будто нагнут и его самого; ухватил архитектора за руку, помогая подняться, — и никто не протянет ему теперь в зоне руки: как известно, «политика — это умение максимально использовать человечьи доверчивость и недоверчивость», суеверия, веру — в справедливость блевотного правежа «лохматух», осквернителей женской и детской чистоты верил каждый на зоне с первобытной какой-то упертостью. После первой недели обнявшего его в зоне молчания повели их отрядной колонной в баню: отставали и отодвигались соседи в строю, словно что-то уже про Угланова зная, решенное пастухами вот этого стада, «в законе», отставали, хотя белобрысый альбинос — начотряда капитан Пустоглот — и покрикивал всем то и дело на марше: «Сомкнуться!» (Этот был из числа жертв армейского внеуставного порядка: «Будешь службу мне знать», «Я тебя научу уважать, сука, дедушку!») Допекал по ничтожным мелочам распорядка и формы одежды Угланова: «Заклученный Угланов, команда для всех», «Заклученный Угланов, читать мы умеем? Сигарету выбрасываем. За курение в непредусмотренном месте — вплоть до трех суток карцера».)

На ходу озирался, обшаривал стены и крыши — изучить все, во что помещен, и увидеть как целое, как настольный макет. Образцовый военгородок, страна предупредительных и запретительных табличек и инвентарных номеров на каждом мусорном бачке. Рассеченная вроде на четыре режимных квадрата заборными сетками и решетками зона жилая: в ней — компактно, короткой улицей — восемь бараков, длинных серокирпичных коровников, дальше улица ширится, справа — что-

то вроде беленого деревенского «дома культуры», слева — за трехметровой сеткой — спортплощадка с покрашенными бирюзовой краской скелетами баскетбольных щитов, турниками и брусьями; за площадкой — столовая, пищеблок с хлеборезкой, пекарней и кухней; за квадратными низкими меловыми колоннами «клуба» — двухэтажная серая вроде бы школа: очертания сверлильных и токарных станков в нижних окнах. Запустили под крышу, на кафедру, среди дежурящих прапоров сразу заметил утомленного, скучного Хлябина, забежавшего на пять минут отследить процедуру досмотра, на мгновение встретился с ровными, тосковавшими глазками, еще раз убедившись: лисица, с ним, Углановым, в зоне играет вот этот; был бы он не Угланов, а что-то поменьше, застройщик на Кутузовской миле или водочный восьмигектарный заводик «Родник» — этот Хлябин сейчас бы уже выжимал из него капли денежной сладости, вот сейчас бы его уже раком поставили и разжали бы жесткими пальцами рот, чтобы выблевал все, что он прячет на Кипре. После шмона отряд потянулся разбирать куски мыла из наволочек, Вознесенский уже вжался в стену и силился стать пятном на стене, не сводя переполненных детской жалобой и ангинальной болью заплаканных глаз с одного человека, последнего, кто его обещал уберечь и спасти. Он, Угланов, вштался в парную со своим куском мыла и лыком, поискал, где свободно, и сразу — ощутил за спиной кого-то тяжелого. И наждачным сипением в ухо, обдирая зернистой шкуркой с изнанки:

— Тихо, тихо пошли. Говорить с тобой люди хотят, олигарх... — и уже отвалился в уверенности, что Угланов пойдет.

И Угланов пошел: надо с этим вонючим петушиным вопросом заканчивать. Ничего не дрожит, но уже не вполне он командует кровью, отливающей от...

приливающей к... — как же слаб он, Угланов, без стали, только с тем, что внутри... коридором под землю, в подвал... Все как будто во сне, про него тут снимают дешевку-кино, на сюжет превращения изнеженного воротилы с Уоллстрит в супермена.

В полянке электрического света — собрание активистов ЖСК, в холодную погоду сгрудившихся в бойлерной. Навстречу взрываю кашля, наждачным голосам и сразу — в полыхнувший, набросившийся лай — почуял себя костью, кусками отгрызаемым, все кончилось так сразу, что даже не поспел с предсмертной теплокровной бессмысленной судорогой он, бараньей, куриной... срубили не его, пнув табуретку оглушительно под кем-то, — безного кто-то грохнулся и вот уже ревел, визжал свиньей в пригнувших к верстаку, ломающих руках, выпихивая вдавленное в глотку. В ушах его рванули податливую ткань — и метрах в трех, в пяти увидел он, Угланов, простейшее мясное, мускульное «все»... он видел раньше взорванных и вздернутых на крючьях, на тросах, тех, кого сам он приказал забить и вздернуть, забитых в кровь и сокращенных до подышающих оленьих судорог под придавившим сапогом, но это — извивавшийся, будто крутил хулахуп, человек, банно-белый мужской мощный зад и натертый до блеска черенок заготовленной швабры, что воткнется в срамное сейчас с простотой и привычностью распиковки живой человеческой шлаковой летки вручную, — рвотный спазм подкатил, задрожал и без жалости вывернул:

— Хватит!.. — И какие-то пальцы на глотке разжались внутри, отпустив и оставив его на свободе.

Бывшего Ярого, быка, «больше тонны не класть» — это с ним... это с ним?!..

он, Угланов, схлестнулся из-за Вознесенского — рывком поставили на подломившиеся ноги, и сугробной кучей оплыл тот, ополз на широкий свой бычий, непроткнутый зад: пролечили его электричеством, и мотал он повисшей на нитках, ослепшей башкой... неужели Угланов мог здесь «это» остановить своим словом?

— Дайте ему ведро и тряпку, — сказал из тьмы тот, кто остановил, кто-то старый, уставший от повторяемого много раз за жизнь точно такого же «пусть за собой подотрет».

Шваркнули шваброй, грохнули ведром, плеснув живой и мертвой водой на колени, — руки Ярого сами собой взлетели и вцепились в упавшее древко, в ведро — благодарно припасть и напиться, из нутра, изо рта, переполнив, рванулось и выплевывалось, как из пасти утопленника: «Я сейчас, я сейчас, я все сделаю, Сван...» — с этой шваброй, в этом ведре теперь он был готов устраиваться жить; пинками его подняли, прогнали, и гдето он возился, бренча ведерной дужкой... И Угланов смотрел уже только во тьму, из которой с ним будут сейчас говорить, — и не надо понтов, игр в боссов, которых не должны видеть люди в лицо, — сразу вспыхнула яркая лампа: меж верстаков, облокотившись на чугунные тиски, полулежал седой и высохший грузин со светлыми, почти прозрачными глазами: в них жил незамутненный ясный ум, все про Угланова давно уже решивший, и про «Углановых» как вид, и про другие виды и никогда уже не размышлявший; на кого он похож этим взглядом? на Дедушку? на всех старых воров, для которых зоны этой эпохи — «Артек» и «Зарница»? На Известьева — вот на кого, у соседа его по этапу, бараку Известьева было что-то похожее, близкое очень в глазах, словно оправленных в чужое смирно-простоватое мужицкое лицо.

— Проходи, олигарх. Ты не бойся обратно в барак опоздать — мы с тобой все быстро проведем и закончим. Я Варлам Ахметели, еще зовут Сван. Ты скажи сразу главное: ты вот это сознательно или так получилось?

— Я сознательно что? С Вознесенским вот этим, несчастным придурком, поручкался?

Началось: он, Угланов, сейчас все решит своим словом и ответит за каждое слово; голос вроде бы обыкновенный, но кровь — ломит в шею, в виски, все черней и все глуше, и каждое слово — меж ударами сердца.

— Понимал или нет, что помоишь понятия жизни людей? Когда пидора этого на глазах у всей зоны пригрел?

— Я всегда понимаю, что делаю. — Во включенном, как лампа, как направленный свет, ожидании удара заломило все кости, затылок, хребет, все, что сразу ломается в позвоночном, из мяса и костей, существе. — Я по вашим понятиям, сам понимаешь, не жил. Что мне делать, кому мне протягивать руку и кого мне считать человеком, я решаю всегда и везде только сам. Я на этом стою, и за все, что делаю, готов отвечать. Вот сейчас вы позвали меня на разбор — я пришел, хотя мог бы ломануться к охране, да давно уже спрятаться бы за ментов, поселиться в отдельном гостиничном номере, и вот хрен вы меня бы оттуда достали. Только кто бы я был? Если ты так боишься ответить за слово и дело, то тогда ты фуфло и зачем вообще тогда жить? Я хочу разговаривать с вами, а не бегать, как сямка, за защитой к тем, кто меня сюда и засадил.

— Так давай отвечай, — оборвал его Сван. — В чем твоя справедливость против рамок воров? В том, чтобы тварь, которая ребенка опоганила, не получила

тут от нас положенного ей?

— Ты бы в тумбочку, в тумбочку к этой вот твари заглянул для начала, — он достал, что давно заготовил. — У него там рисунки ребенка. Вот та самая девочка, дочь его, шлет, и цветными там карандашами: мама, папа и я. И я жду тебя, папочка, поскорей приезжай, вот ведь что ему пишет она, человеку, который ее опоганил, как ты говоришь, прокурор говорит, а вы все ему верите. Без клыков и без шерсти рисует отца, без копыт и без рыла. Это как понимать? Это, что ли, ей очень понравилось то, что папа с ней сделал? И давай его рви, петуши?! Вы чего, уважаемые? Что-то я не припомню, чтоб для вас прокурорское слово что-либо решало. Волчья масть, а туда же: вот один баран только мемекнул, и все стадо за ним. Да вы дело читали его? Белых ниток вот даже они пожалели, чтобы сшить это все, следаки. И с какого он должен отсюда человеком не выйти? К своей бабе, к ребенку? Вот и вся моя правда. Надо что-то еще говорить? — И замолк, словно выкипел, и не чуял уже ничего, кроме: сделано, засадил в безнадежные ровные воровские глаза все возможное, вколотил в мерзлоту воровского разума опоры для себя самого, чтобы не завалиться на этой земле и разбить наконец-то литое молчание всех, неприступность людей, без которых — один — ничего он, Угланов, телесно не сможет, ничего не пробьет, никуда не пролезет сквозь железно-решетчатое и бетонное «все».

— Ну иди тогда, Угол, — человек так же мерзло и ясно смотрел ему прямо в глаза, не давая и не чуя нужды продавить и заполнить Углanova чем-то своим, допуская отдельность Углanova, погруженного в воду воровского закона физически, или, может быть, просто считая, что тот ничего еще против закона не сделал.

— Я ответил, но я не услышал ответа. Это как понимать? — Он застрял, нажимая глазами на вора, навсегда разучившись, никогда не умея отбегать по команде с благодарной радостной дрожью пощаженной, отпущенной твари: никто ему нигде не смеет говорить «свободен» и «живи».

— Про кого? Архитектора этого? — В ровных мерзлых глазах, показалось, затлелась насмешка. — Про него мы давно все решили. Сразу было понятно, что девственник он. Мы сейчас не его — мы тебя разбирали. Кто ты есть, олигарх, не по ящику, а по природе. Как себя будешь ставить с людьми. Как ты с ними вообще в зоне думаешь жить. Это сразу становится ясно, и любое гнилье, оно сразу на зоне из тебя вылезает. Есть в тебе что-то от человека. Давно не встречал. Ты за всеми своими большими делами юрода вот этого на земле разглядел и беду его понял, хотя что он тебе.

— Это что же — проверку вы мне? — Затопило его на мгновение бешенство — злоба на себя самого, на то, как нестерпимо паскудно только что ныли кости его и качалась под кожей насосами кровь, на то, как только что он, Угланов, выкладывался, не почуяв, что этот обугленный урка со своей шелудивой кодлой смотрит на него, как на клоуна: это кто, тварь, вообще его будет, Угланова, мерить и взвешивать и решать, кто он есть и чего в нем, Угланове, больше, гнилья или правды? Для кого? Для вот этих обглодков, застрявших между дикой природой и зверофермой, должен он кем-то быть, совпадать, соответствовать? Должен на четвереньки вот здесь опуститься, чтобы дать им обнюхать себя и признать, чтобы не зарычали и не укусили? Сапогом по хлебалу!

— Вон как ты желваками, смотрю, заиграл. Будут урки позорные тут меня

разбирать, — прочитал Сван углановский мозг по каким-то двум-трем лицевым проявившимся меткам. — Ты большой, динозавр, это только под Сталиным можно было в России любого стереть, а сейчас телевидение и демократия, чтобы в мозг миллионы без крови иметь, и не думай, что тут кто-то этого не понимает. Только ты теперь здесь, на земле. Ты пришел сюда голый. Я тебе сейчас не говорю, чтоб ты радовался, что какие-то урки в тебе разглядели людское. Сделал, как посчитал справедливым ты сам, и забудь. Только люди ведь тоже увидели. И вот это, и все, что ты здесь еще сделаешь, тоже увидят. Никогда наперед ведь не знаешь, что тебе пригодится для жизни.

И Угланов признал окончательно: да, он зашел в зону голым, он выходит сейчас к эти людям впервые, с нуля, как когда-то пошел на сто тысяч железных в Могутове, что встречали его неприступным молчанием, с корневой промороженной предубежденностью: вор, даже не «кровосос трудового народа», а просто беспримесно чужеродный пришелец, не имеющий общего с их рабочей правдой, унижением, голодом и могутовской огненной силой, и теперь точно так же он выбежал вот на эту угрюмую горстку и должен им себя показать, предъявить, перед ними поставить себя, и никто его тут не желает вмять в землю, насладиться падением, дрожью и страхом его, он для них не ничтожество, а никакой, совершенно неопределенный пока что, небывалый и новый, и должно это нищее, совместившее в вере своей христианство и каннибализм, стариковское, детское племя про него еще что-то решить: и вот эти блатные, и отрядные все мужики со сведенными намертво челюстями и сжатыми, как кулаки, неприступными лицами; отношение к Угланову каждого — для того, что Угланов задумал, — имеет значение: никогда не узнаешь

заранее, что тебе пригодится для жизни, кто послужит резцовой коронкой тебе и надежной распорной колонкой для движения ползком под землей и рывка на свободу.

Неуязвимым, неприкосновенным жил монстр у Валерки на глазах. Это еще под Новый год блатные объявили, что все Угланов сделал правильно, за непорочного придурка в зоне встряв, что пропускать и парафинить пидором его, ну Вознесенского вот этого, не будут; вот и здесь он, Угланов, всё опять развернул, куда надо ему, вот и здесь он решил, кому жить и считаться для всех человеком, а кому канифолить парашу; про него самого речи нет вообще: как стоял независимо и отдельно от всех, так и будет. И вставал, и ложился в бараке, как все, по щелчку выключателя, и шагал по команде в отрядном строю из локалки в локалку, согласно отрядному графику посещения столовой, санчасти, ларька, или шел в одиночку сквозь режимные клетки, куда скажут ему дубаки, повинуюсь охранничким «встал» и «пошел», но как будто всегда — только если захочет он сам; не захочет — упрется, и попробуй-ка сдвинь его с места.

Перестали в отряде бояться от него заразиться, зашквариться, можно стало уже заговаривать с монстром, общаться в быту, но, конечно, не делась никуда разделенность: кто-то явно из них находился вот здесь по ошибке — или сам он, Угланов, или все остальные. Ни один человек, даже самый пустой дурошлеп, не поверил в возможность с Углановым чем-то делиться — не заветным, не личной правдой, которая в каждом тут заварена наглухо, а вот даже обычным, простым,

постоянным: мозолями, шепотом, утолением жажды, желаний недоступного кайфа, харчей и вещей, всем, чем делятся люди на зоне в «семье», хоронясь от ищеек, добывая добавку к положенной им по закону скудной пайке совместно.

Ничего из обычного для Угланова в зоне не существовало, ничего ему страшного не было из того, что так страшно владело Чугуевым, из того, что могли сделать каждому ломарю и блатному хозяева зоны, местечковые Жбанов и Хлябин и другие, пониже ищейки и цирики, — прихватить на дерьме и впаять новый срок; участь монстра была решена и сейчас продолжала решаться не здесь, а в каком-то надзвездном, немыслимом «там», куда жалкий росток разума обычного зэка не дотянется, как до Китая. Он, конечно, ни в чем не нуждался: ни в харчах, ни в лекарствах, ни в куреве — говорить даже было про это смешно, что другими владело так сильно и за что опускались иные навсегда до шнырей, соглашаясь по-рабски служить, лишь бы только затянуться охнариком или выжать из нифеля каплю дегтярного кайфа, и не то чтобы прямо заваливали через волю его хаваниной заморской и всем, что утроба его пожелает, а вот сам он, Угланов, в какомлибо лишке, кроме чая и курева, никогда не нуждался и страдания лишений в нем не было: приучил, что ли, так он себя или вот изначально особых запросов до тюрьмы не имел, только голой, чистой властью и стальной могутовской силой одной и питаясь, все другое, что можно запихать себе в брюхо, вполне презирая. И не только вот дать ничего ему было нельзя, но и взять, попросить у него — невозможно и страшно, и никто не просил из какого-то необъяснимого страха, иногда прикрываемого нищенским гонором, — ни о чем даже самом простом и ничтожном вроде чайной плиты или курева, хотя стало известно уже, что Угланов обещал

Вознесенскому волю, перешить ему дело, продавить оправдание в Верховном суде, и во скольких вот зэковских душах, услышавших это — что Угланов дает адвокатов, да еще вроде целого Падву, — трепыхнулась надежда на правду и волю, и пошли, как в нарзанной бутылке, подыматься из брюха в гортань пузыри: попроси, попроси... Даже что-то в самом нем, Чугуеве, дернулось, подступившей водой качнуло и почти потащило его к человеку, с которого все началось, человеку, наведшему на Могутов магнитную бурю: из Могутова он, заводской он, Чугуев — в сумасшедшей, дебильной надежде, что Угланов про Сашу Чугуева вспомнит, — помоги, придавил меня Хлябин, не отпустит, пока без остатка не высосет, я за все, что я сделал, за кровь заплатил справедливую цену, половину своей молодой, сильной жизни оставил вот тут...

Так внутри себя он на мгновение взмолился, захотел попросить, что как будто уже не к Угланову потянуло его за подмогой, а к какой-то последней справедливой, могущей разглядеть его силе — как к Богу. А ведь это Угланов всего, равнодушный давитьщик железных людей, еще больше их всех тут, на зоне, может быть, и вредней, и подлей людоед, — разве ж можно и стоит такому молиться? И никто не осмелился монстра о подобном просить: даже сила отчаяния и обиды на несправедливость не снимала со шконок людей, не могла дотащить до Углanova, изнутри размыкая защиты рты.

Перестали бояться зашквариться, заговаривать стали все чаще в быту «ни о чем», и шныри у Углanova стали просить докурить, зная, что, может быть, кинет целую пачку не глядя, только вот не ослабла ничуть — радиация. К февралю окончательно стало понятно, что Углanova в зоне менты не обхаживают — душат. Ну

не так, как ломали об колено обычных непокорных в спокойной уверенности, что никто ничего не слышит. Аккуратно, без палок, без рук, прогрызая дорожки в режимных инструкциях, мелочно, планомерно поддушивают — как жучок-короед миллиметрами стачивает неохватные бревна или ржавчина в сырости поедает железные кости. И Угланов пока улыбался неживой пристывшей надменной ухмылкой: мол, попробуй согни его, сделай — а любой земляной, от сохи человек, безъязыкий, ничем не прикрытый от ломающей силы закона и власти, чуял сразу, хребтом: очутись он с Углановым рядом — и его, не заметив, раздавят, будут жать на Углanova, а раздавят его; может, и не раздавят обязательно каждого, но гадать и, приблизившись, проверять на себе — никому не хотелось.

Началось все с того, что соседский чнырек Паспарту попросил у Углanova сорок и вообще помочь куревом, если богат, и вот тут дубаки налетели, как гуси на хлебный кусок, Пустоглот — самым первым: стоять! отойти от забора! руки мне показать свои, руки! — и потек этот клей, уж такая дешевка, на которую даже первоходы не лепятся и самим дубакам применять ее стыдно и лень: самовольно, Угланов, вступили в контакт с заключенным другого отряда, передача, дарение, продажа каких-либо предметов, продуктов питания, в том числе и табачной продукции, без специального согласования с администрацией... и еще километр туалетной бумаги — трое суток штрафного.

И Угланов еще улыбался, презирал Пустоглота всей своей еще крепкой и свежей, не выпитой кожей, и еще улыбался, когда, посерев и немного покачиваясь всей своей несуразной рослостью от трехдневного существования сидя и стоя, возвратился в отряд из ШИЗО, и еще улыбался, когда через день завалились со шмоном в барак

дубаки и румяный с мороза, тоже вот с неподвижной глумливой улыбкой на спеленьких губках, бугай-Пустоглот разорил его личную тумбочку, выворачивая и выбрасывая на матрац стопки книжек и папки с бумагами, рассыпая печатные и рукописные ворохи: не положено то, не положено се, кто вам дал разрешение хранить и использовать письменные принадлежности здесь? — и еще трое суток протухлого карцера. Монстр двинул знакомой дорожкой и, вернувшись, уткнулся в Пустоглотова сладкое: «Заклученный Угланов, ваша очередь мыть туалет. Труд по уборке помещений сантехнического назначения обязателен для всех». — «Ну пойдем... те», — тот отчетливой паузой разделил уважительное обращение и, сцепив за спиной ощутило свободные вплоть до удара по розовой ухмылявшейся физиономии руки, сразу встал неподвижной мордой к стене. — «Это в смысле? Куда? — Пустоглот на мгновение потерял равновесие: где он? кто кому говорит, где и как человек должен жить? — и, немедля поправившись, возвратил себе голос, чтоб пропеть с укоризненной лаской монстру в затылок: — Значит, мы от работы отказываемся?..» И еще трое суток ШИЗО, так что всем уже стало понятно, что не только не будет Угланову исключительной жизни на зоне — в берегущей от грязи, касаний личной непроницаемой капсуле, — но и туже еще, и душней, чем любому другому ничем не прикрытому земляному сидельцу, придется.

И подтаял вот снег, засочилась вдоль мокрых бордюров свинцовая снеговая вода — монстр вышел к апрелю в абсолютные лидеры по штрафным заключениям, обойдя всех матерых, протравленных, закосневших в своей волчьей марке блатных: раз ему Пустоглот предложил на полы, два ему предложил на запретку, за повторное неподчинение — неделя штрафного, и Угланов уже больше не улыбался,

вышатываясь из железного рта изолятора в зону. Вот не то чтобы так ослабел и подкашивались ноги, но осунулась и без того обезжиренная, костяная его, пусть и крепко-холеная, морда, но что самое главное: припогасли, пристыли собачьи, прежде ясные, сильные и пустые глаза: не питаемый воздухом чистым, проточным, не нашедший занятия себе, вырубался рассудок, и вот это-то больше всего его, умственного человека, корежило. Там изводит, на трюме, человека не льдистый застоявшийся холод, даже не теснота, когда пчельник набьют, как халвой, народом, — хотя этого тоже доставалось обычному зэку с избытком, и, бывало, кидали на мерзлый бетон без кишок даже в самую лютую зимнюю стынь, — а сама пустота, неподвижность, тяжесть невыносимого тела, когда будто не в пчельник, а в само твое тело тебя засадили и сидишь в нем, как в клетке, и лежишь, как в могиле.

И уж так его дешево, монстра, и бесстыже крутили через эту машинку менты, ни за что ни про что лишний раз задвигая на трюм, что во многих, настроенных прежде к нему, чужеродному монстру, затаенно недобро или просто вот чаще всего равнодушно, шевельнулось какое-то даже сочувствие — пусть и самое слабое, вялое, темное, не могущее сразу взломать и размыть отчуждение от монстра, но хоть что-то уже, раньше даже и этого не было. И еще потому шевельнулось, что многие наглотались за прежние годы гнилой, отравляющей трюмной воды и о карцере помнили шкурой, костями и больными дырявыми жабрами, и сейчас вот огромный Угланов телесно разделил с ними, маленькими, эту самую гниль, пустоту и бездвижность транзитной могилы. Получалось: по степени неустройства, лишения оказался огромный Угланов к ним ближе, постоянно зависящим скотски от власти, чем к самой этой власти. И на третий раз встретили монстра из трюма, как оно и

положено: цифирем и конфетами, чистый ватник в отряде ему, шерстяные носки. И Угланов сказал совершенно свободно, без усилия: «благодарю». «Ну а дальше-то как, Леонидыч?» — вопрос. «Посидел, как картошка в подвале, и хватит, — сплюнул мелкое что-то Угланов, и почуяли все, и особо Чугуев: не только ничего в нем не дрогнуло и не ослабло по сути, но вот только теперь и упрется он, Угланов, в десятую или сотую часть своей силы. — Письма буду в ООН сочинять. Жрать не буду».

И чего там такое Угланов писал и кому, он, Чугуев, не видел, а вареные ноги макаронные видел, на которых тащился в отрядном строю и в столовую вместе со всеми вползал шатко-млявый, приметно полегчавший Угланов: заставляли ходить его вместе со всеми в едальню, чтоб смотрел, как работают ложками, жвалами над пахучей пайковой миской другие, — тоже вот ментозавры на принцип пошли: кто кого переможет. И опять все на зоне с жестоким любопытством Углanova жрали: столько так он на голоде сможет? Словно бился под кожей на лбу у Углanova датчик черепного давления: кровь черней и черней все сгущается, заварной становится, вязкой, как деготь, а потом вообще не течет и все трубы уже как строительной пылью забиты — говорили пытавшие силы на этой дорожке... И на пятые сутки Угланов повалился у всех на глазах на пороге столовой, как подтопленный или подрывтый по окружности каменный столб. Набежали лосями — на труп?! — дубаки, Пустоглот сразу, Хлябин, и у всех в аварийных, жарко-взмокших, разгневанных лицах: куда?! за собой потянет их всех! Подхватили, впряглись, потащили в санчасть: к Станиславе! Оживляет дохлятину только она!

Голодовка казалась ему героизмом для нищих. Голодают лишь те, кому нечего жрать, для того, чтобы дали нажраться, наконец-то им бросили что-то в кормушку. Голодают лишь те, кому нечем ударить, засадить с осязаемой силой — в зубы. Христиане там, столпники — ну, еще динозавры, говорят, на земле обитали когда-то. Когда слышал и мысленно говорил «голодовка», представлял себе интеллигента с лобастым лицом академика Сахарова и в надетом поверх брюк со стрелками памперсе. Какие там «принципы»? Углановский принцип — кристалл вокруг «я».

Машину забрали, осталось лишь «я». Сорваться отсюда, когда решит сам и прежде чем мозг потечет. Пока только бессонные мечты подростка, любящего приключенческие книги и кино. «Граф Монте-Кристо» и «Побег из Шоушенка» — прорыться кротовым подкопом в объятия аббата, зашиться изнутри в покойнический мешок. Он один, он не видит людей, не работает с ними, как с глиной, он живет, как картошка в подвале: не съедят — так сгниет, не сгниет — так посадят. В общем, в точности, как обещал, передав от Кремля, Константинов: со скучной неумолимостью включилась и заработала машинка превращения Углanova в пластилин — через год или два из него смогут вылепить всё. Гарнизонное быдло, управляемое этим местечковым Лойолой — Хлябиным, выполняет программу «нарушение — взыскание — ШИЗО».

От бетонного пола тянет здесь мерзлотой, леденеет промежность, поджимаются яйца и зад, как у пса на морозе. Вонь немытого тела, многих тел одинаковой участи, льдистый запах протухшей капусты и канализации. От

окованной сталью двери до окошка, зарешеченного фонаря «дневной свет» — пять шагов. Привалиться спиной к стене и глядеть на незыблемо задранные, закрепленные в стенах поездные железные нары с бирюзовыми яркими досками: называют их здесь «вертолетами» — прилетают и эвакуируют на ночь застоявшихся, закостеневших, отморозивших ноги людей, забирают на борт и уносят в блаженное море долгожданно-законного сна, повалиться в него, пить захлеб, непрерывно лакать до подъема. Здесь теряешь последнюю «собственность» — тело, здесь над ним ты не властен, лишенный возможности выбрать самому для него положение: лечь, когда хочешь лечь, встать, когда хочешь встать. Нарушается принцип... как там это звучит?.. «неотторгаемости человеческого тела». Вот к чему здесь, на трюме, свелась вся стальная его, непрерывно растущая сила. Абсолютный, арктический холод несвободы решать самому. Знают, твари, во что его вбить.

Отстегнуть «вертолет» от стены можно только с отбоем. Отбой дают рано — вроде в восемь часов, но зато и подъем — в пять утра. Вырывают из теплого моря, звуковой волной выбрасывают на бетонную сушу несдохшее тело. Можно сесть на привинченный к полу табурет и смотреть на зернистые стены, размышляя о предназначении цементных бугорков, покрывающих плиты. Говорят: невозможно о подобную стену разmozжить себе голову.

Есть «Дом с остриями» такой в Лиссабоне, и Ленька: «Какой еще Дом Састриями?» — на солнечном припеке в январе под сенью мандариновых деревьев, и будоражащий, влекущий запах моря добивает в глубь земли, и пирожки с треской, и осьминог на гриле, и газированное «Вино Верде» за два евро за опоясанную ледяной грелкой бутылку. Вот и все, мыслей нет, есть пустая коробка для думания —

ощущаешь себя слабоумным Гудини, который крутит в жгут не бессильное тело, а мозг: как же выбраться из провонявшего морозильника-морга?

Скачать на бортовой компьютер 360 страниц — «категорически запрещено» — невыполнимого, сочиненного тварями внутреннего распорядка колонии, загружать его автоматически, не приближаться к разделительным, ограничительным, запретным, помнить время и место, где можно курить, разговаривать громко и просто общаться с соседом, испражняться, дарить, «отторгать иным способом» содержимое кишечника, каждый шаг свой сверять по часам, понимая штрафное, роковое значение каждой минуты... и все лишь для того, чтоб снова наступить в прозрачное «невыполнение», «шаг влево...»? С головой зарыться в бумаги, в каждодневное рукописание жалоб, пыльной тлею, по строчкам, по буквам выгрызая себе хоть кусок, хоть неделю простора и воздуха — да на это уйдет целиком его время, мозговые усилия каждого дня; на хрена ему после трех суток «отмена взыскания», когда он эти сутки уже потерял, дал отгрызть от своей убывающей жизни? Надо эту машинку сломать. Целиком, насовсем. Отпустить на свободу желание ударить? Кулаком, табуретом по дышащей нетаимой издевкой бодророзовой морде скота-Пустоглота, неврежимой, несмятой, как челюсти и подглазья советского скандинава-боксера в третьей части любимого Ленюкою «Рокки», — тот засадит в ответную — и тогда он предъявит повреждения своей чешуи: истязают, избили — меня! — заорет по всем оптоволоконным проросткам, опутавшим шарик. Ну и чем это кончится? Уберут Пустоглота? Остановят штрафной морозильный конвейер? Или вот самого его уберут из отряда под крышу, раз совсем он не может, Угланов, с «людьми»? Мало сбить им, скотам, равновесие — надо дать им почуять:

«мы теряем его», надо с крыши столкнуть в понимание: продолжай они с ним в том же духе — он сдохнет, не успев ни покаяться, ни показать сотни крестиков, отмечающих клады на глобусе, земляные пирожные, золото в недрах, виртуальные фантики на ватиканских и английских счетах. Да и просто не может, не должен он сдохнуть, завоняв на весь мир, динозавр.

Значит, членовредительство. Голод. Взять ублюдков измором. Должен «настоящему» он начать подыхать. Он один раз попробовал уж — в детски глупом желании «всех наказать»: смерти не существует для ребенка, решившего поиграть в «я как будто бы умер», — и сейчас сомневался, что сможет пересилить утробу, телесность свою, что вот это его, не стальное и не молодое, на сидячей работе за годы ослабшее тело его не предаст, не порвутся и сдержат давление насосы, все трудней и трудней перекачивая загустевшую кровь. Но, похоже, другого ничего не осталось: на вот этой железобетонной подложке все слова, не отлитые в материальную силу, — ничто. И еще: на него смотрят люди — что способен он сделать ради собственной правды; изначально его презирает эта волчья масть и не верит, что способен Угланов хоть чем-то оросить голословную «честь», кроме денег, которые тратить больше ста рублей в день он не может; не хотелось бы с пафосом — про «чернила» и «кровь», но приемка тут явно производится не по удельному весу, а по качеству жидкости, по чистоте.

Жбанов пучил налимьи глаза, растирая жировую прослойку и ребра, прикрывавшие слабое пожилое служилое сердце, на его заявление: «В связи с многократным помещением в штрафной изолятор информирую вас об отказе от пищи и требую...», Хлябин смирно, привычно, с выражением «я слесарь, все

решают другие, кто выше» молчал, иногда на Углового вскидывая вовсе не удивленные глазки, наблюдавшие то, что давно изучили, рефлексy: выпускаемые когти, оскал, мимирию под мертвых — ничего необычного, все ведут себя с этим электродом в мозгу одинаково, фантазия двуногих ограничена телесными возможностями, и вся разница в том, что Углов большой и его хрипы слышно далеко за пределами зоны. До сих пор он, Углов, не понял, что же в них, этих трезвых, понимающих глазках: сладострастие гона и испаривания брюха, увлеченный охотник, или просто пустой, холощенный методический «шпирлиц», по цепи проводящий государеву волю, или просто обычный, с парой лишних извилин, хитрый мент, собирающий урожай на своей ни богатой, ни бедной ишимской делянке — на кирпичный коттедж и «лендровер»... неизвестно, что лучше: маньяк, распалившись, потеряет защитные навыки, кочегар — никогда.

Проползем — и увидим, еще Хлябин покажет себя, если только вообще он, Углов, через сутки-другие проснется, не сработает черный выключатель в мозгу. Как-то раньше не думал, а теперь испытал: страх и боль исключают друг друга; когда холодно, больно, терпит тело лишения, высыхает, слабеет без жратвы и холодной воды, без горячего сладкого чая, когда жить в свой обычный, здоровый размах ты, придавленный болью, не можешь — исчезает, не жрет тогда сущностный страх — мысль о том, что когда-то не станет тебя, настоящий, единственный, бесподобный Углов, должен будешь когда-то не быть навсегда: не вместить, не смириться, не закрыться от смерти подушкой, как в детстве, не закрыться растущей массой могутовской стали, которая во сто крат долговечней и живучей тебя самого, не спасет даже мама.

Страшно — сильному и молодому. А голодному — нет. Человеку с урезанным легким, удаленным сегментом кишечника и распершей грудину сердечной болью — не страшно. Хочет он одного — чтобы кончилось, перестало болеть. Старики как-то вот не боятся. Непосильно становится жить, волочить проржавевшее тело. Недостаток глюкозы в мозгу — и арктический холод, ледяная вселенная-смерть не сжигают рассудок, глаза; человеческий вой «Не хочу! Слышишь?! Я! Не хочу!» сокращается до близоруко-животного «больно!», или «жрать!», или «пить!», или «воздуха!», слившихся в нутряное безмозглое сточное «ы-ы-ы...», ты вообще ничего уже не понимаешь: ни зачем ты, ни где ты, ни фамилии рода, ни имени сына, даже вкуса протертого яблока, смысла прилива манной каши в беззубые челюсти. Может быть, долго жить и состариться надо только для этого — чтобы перестать понимать. И огромная боль посылается только для этого — чтобы сам человек согласился со смертью и ее захотел. Кто-то это придумал для нас, чтобы мы не боялись, не думали и не были на мертвые звезды свое «не хочу!».

Это было последней углановской мыслью — за какие-то дления до того, как ступил на порог переполненной запахом хлеба и парами тушеной капусты столовой и какие-то крепкие пальцы надавили на кнопки-глаза, отключая в мозгу его бледную, вполнакала горящую лампу.

Оказалось: не нужно никакой Станиславы. Возвратился Угланов на твердых ногах, потеряв половину нагула и лоск, но не силу упора, победивший измором себя

самого, ту тюрьму, что внутри и название которой — «утроба». Наконец-то законно нажрался, осененный — вдобавок к своей радиации — вот теперь и естественным, изумленным и неподотчетным уважением многих. Волчья масть так и вовсе, приняхавшись, признающе кивала: достойно, сделал так, что всем людям сразу стало понятно: может сбрызнуть свою правду в зоне не только пустой водичкой.

Ну понятно, все сделал с расчетом, что про эту его голодовку узнает весь мир-телевизор и не смогут тогда не прогнуться менты перед ним, но сама вот готовность, способность завязать не на шутку пупок все равно уважение внушала. И когда его Тоша-Сынок как-то с пальмы спросил: «А вот что вам, Артем Леонидыч, на зоне труднее всего?», что ответил-то он: «Трудней всего, Сынок, все время понимать, что теперь ты не можешь крикнуть людям: „ко мне!“». И привыкнуть к тому, что тебя самого подзывают — „ко мне!“».

Только то им и стало понятно, что Угланов другой, не такой, каким видели, ждали и хотели видеть его. Стаял снег, и мучительно сладко запахло обнажившейся мокрой черной землей, чистотой промытого, просветленного воздуха, запустились на ветках шерстистые заячьи почки, проступили зеленой кровью в порезе изначальные слабые, чистые, липкие листья — фитильки, богомольные свечи, что еще только дление — и вспыхнут и охватят зеленым пожаром тополиные кроны регулярного мертвого строя, — и в каком-то согласии с естественным ходом весны распялось, как воздух, как лед, обнимавшее монстра молчание.

И уже не пошли — забурлили разговоры на кухне, в бытовке — о достоинствах и недостатках единственной разрешенной в отряде электрической плитки и премудростях сборки продуктов в посылке, которые попкари протыкают вязальными

спицами, словно землю в горшке под рассаду рыхля, словно курица в поисках червяка ковыряясь, и ломают и режут на части, отгрызая куски от копченых шнурков и присасываясь к банкам сгущенки; разговоры у тлеющего, но исправно дающего звук телевизора, у которого монстр временами становился цепной собакой и облаивал всех появлявшихся на экране правителей: в первый раз не стерпел, когда «Время» показало ему огневое нутро и чугунные реки Могутова, равносильную только природным явлениям вроде вулканической лавы беспредельную умную рукотворную мощь, что считал, видно, он целиком, до могилы своей: «Это ты, что ль, попробовал? У тебя получилось? Что ты сделал такого и где, покажи, на моем, тварь, заводе, чтоб теперь говорить: это я, получилось у вас?»

Оказалось, он с ними, мужичьем, говорит на одном языке, представляя, как надо вязать арматуру, и уже их расспрашивал про житейе их на промке: что там есть, и на чем разливают бетон, и по сколько они выгоняют за месяц на рыло рублевиков. И уже, пропустив сквозь свои лобочелюсти насекомую эту в сравнении с Могутовым мелочь, рассверливал черепа бригадирам, вынимая им мозг, начиная своим: «Ну чего вам сказать? Нагревает вас хозяин конкретно. На семьдесят копеек с каждого рубля, который вы реально зарабатываете. Есть графа там у них — ежегодная механизация? Вот в нее-то они загнали ваши пот трудовой и мозоли. Ну чего ты не понял, чудило сверлильное? По бумагам за вас автоматы все делают. И оплата рассчитывается вам по этим расценкам, по ме-ха-ни-зи-рованным. А должна по ручному труду. Есть у тебя на стенде эти агрегаты, видел ты их своими глазами, хоть какието, кроме совковой лопаты? Работяги живые с вибраторами и лопатами только в руках. По хозяйским бумажкам вас нет. По бумажкам вы в зоне сидите безвылазно, а не грыжу

и горб наживаете. Есть один только из десяти. Схема «мертвые души», девятнадцатый век. Сколько плит вы за смену на-гора выдаете? Под пятнадцать, под тридцать процентов сверх плана, а калым твой от этого, ну? Да чем больше ты пашешь, тем меньше на карман тебе падает».

Он, Угланов, вот так и в Могутове половине железного племени вынес мозги, расколов монолит неприступного неприятия надвое, и пошли молотить кулаками рабочие рабочих — уж Валерка-то знал: словно в прорубь с башкой, провалился в знакомое страшное: вот и здесь, агитатор, крысолов, для чего-то баламутит мужицкую горстку, под себя подминая отмороженных страхом и придавленных властной неправдой трудяг и над ними все большую власть забирая; что замыслил такое — вообще не понять. Можно было, конечно, подумать: задыхается просто без дела, без власти над машинной мощью обессталенный и обезделенный монстр, словно рыба на суше, рвется в воду обратно, хоть в лужу, не способен под крышей в бараке сидеть и стерпеться с пустотой в руках: хоть какой-то рычаг, зубочистку! Точно так же и сам он, Чугуев, без работы не мог, даже если б на зоне вообще за нее ни рубля не платили, и давно бы рассыпался, сгнил или двинулся до озверения, не корми свои мышцы и кости ежедневной тягловой радостью, ощущением высвобождаемой силы, ощущением: не растерял, не забыл и по-прежнему может, как раньше, расплющивать сталь, создавая ударом изделие, ладность — значит, все еще он человек! Но за этим простым объяснением было что-то еще — подымалось в Чугуеве от углановских слов и душило его холодовое вещее чувство: ничего он не делает, монстр, просто так, из любовного только интереса к промышленности — собирает взрывную машинку сейчас... и опять из живых нищеумных устройств, как

всегда!

И казалось ему: монстр всех изучает — от бугров вроде Демина и Колпакова до шныря Василька и придурка Антоши: что болит, где кровит, по чему ты тоскуешь и на что ты надеешься в самой своей сердцевине — отыскать в каждом кнопку под кожей, на которую можно нажать, сдвинув с места тебя и пустив землеройным отвалом, исполнительным режущим органом перед собой. И казалось: Угланов все чаще примечает его, поводя, обводя все отрядные шконки пустым, как бы вовсе не видящим взглядом.

Ощущал он, Чугуев, магнитную тягу и какой-то прицел на себя: разглядел его, выделил монстр и как будто покачивал что-то в Валерке пустым своим взглядом, проверяя на прочность. И ведь сам же он, сам, подневольный, подмываемый хлябинской волей Чугуев, притянул к себе этот углановский взгляд, проявил себя, выперся, выпал на глаза, как кирпич из немой человеческой кладки: быстро монстр почуял и не мог не почуять на себя излучение, что идет от Валерки сильнее, чем от прочих, и сейчас про Валерку уже будто все понимал, безо всяких усилий чугунок его видел насквозь: все наивные хитрости и потуги Валеркины скрыться, отвернуться, ослепнуть за мгновение до приварившей поимки, ощущал натяжение ниточки этой, продетой Чугуеву в ноздри, как стальное кольцо племенному быку, эластичной резинки, которой Чугуев к нему прикреплен, на которой Угланов день и ночь стережет или, может, шпионит за ним и ябдырит. И что это колечко вращает в нем Хлябин, направляя Валерку, наводя на волну, словно ручкой приемника, и на чем его Хлябин, Валерку, поймал, и чем пахнут Валеркины руки, как сильно в существо его въелась та напрасная, глупая кровь, как не может Валерка обогнать

трупный яд, проникающий в будущее, — все, все, все в нем, Чугуеве, видит... На какие-то краткие дления казалось, что Угланов его даже вспомнил, узнал: где-то я тебя видел, где-то ты на меня уже раз выбегал и смотрел вот с такой же собачьей мукой, словно я тебя пнул сапогом и внутри тебя что-то порвалось и не может зажить до сих пор.

Да ну нет: как он мог? У него счет на тонны железной породы, на тысячи передельных людей, нужных лишь на минуту для того, чтоб забить их башками гремучую порцию в шпур; никого по отдельности для Угланова не существует — лишь сейчас и заметил Чугуева, когда площадь покоса для него, монстра, сузилась с тысяч гектаров до двух сотен квадратов, стало можно и нужно учитывать каждого. Ну и что, мать копать его, что?! Что он хочет с Чугуева, что за прок из него может выжать? Под какую подвижную кровлю живой распоркой вбить, на какую бетонную, перекрывшую видимость стену швырнуть? Уж и так он, Валерка, его стережет-бережет, сам не свой, при любой заварушке метнуться готовый и вклепиться в любую занесенную руку. А какой со стального колуна еще прок? Что он хочет, Угланов, вообще? Ну вот смотрят уже ему в рот бригадиры: подскажи, научи, посоветуй, как быть. Только дальше-то что? Раскачать, что ли, зону мужицкую, чтоб толпа его на руки подняла, как икону, и своей общей массой ворота для него продавила... и дальше куда? Не смешно даже вот. Не бывает такого. Мужики покивают и не сдвинутся с места, даже жалобу вон, как он их поднатыривал, написать в федеральную службу — на то, как тут их Жбанов, ломарей, обдирает, — не желает никто. Лучше жить без законной копейки, сказали, чем без белого света вообще. Люди в зоне живут как трава: ветер дунул — качнулись, сапогом наступили

— поникли. Вон блатные и те — хоть и волчья масть — голым брюхом на пырло не бросятся. И настолько слабел и тупел он, Валерка, от усилия увидеть углановский замысел, что уже все, что выше бровей, у него словно было отпилено. Ничего там, выходит, и нет, никакого расчета Угланов на Валерку не строит, все ему это только мерещится, бред, помрачающий ветер из прошлого, память об углановской силе, способной поворачивать судьбы людей.

Но и в этой литой, окончательной ясности, с пустотой над опиленным черепом жрал его страх; прорастали друг в друга внутри и давились два чувства: ничего не случится, никакой своей частью не нужен он монстру — и точно, из него что-то сделает и во что-то затянет Угланов его, потащив от Натахи, от сына, от дома, растерев их с Натахой терпение в ничто.

Кто-то звал его, что-то с ним делал, волочил, подымал, разворачивал. Сквозь него, по стране его тела, под вокзальными сводами черепа загремели шаги, сапоги; кто-то бешено тер ему щеки и уши, и казалось ему, что драчевым напильником с его черепа, морды сдирают деревянный покров, а потом все потухло, исчезло... И в бесцветной, безвременной тьме для чего-то, в угоду кому-то снова вспыхнула белая лампа, свет ее вместе с режущим запахом спирта, медицинской подсобки ударил в глаза, и сквозь этот насильственный свет, сквозь звенящую стылую тяжесть своей остановленной крови над собой он увидел глазастые бледные пятна, на руке распухало неживое нажатие: кто-то сцапал когтями его исчезающий пульс, что-то

ткнулось вязальной спицей в область руки, предназначенную для инъекций и взятия крови. Все закончилось, голод его — станут впрыскивать нужное для поддержания жизни под кожу и кормить манной кашей его через зонд; дня на три, на неделю теперь его место вот здесь, в белом одноэтажном Г-образном строении, обнесённом детсадовски яркой бирюзовой оградой из намертво сваренных прутьев и обсаженным густо золотыми шарами, шиповником и маргаритками... вот такой зарешеченный остров, оазис, санаторий на тридцать приблизительно коек... «Будет жить». — Он услышал чей-то голос презрительный или просто усталый, с интонацией «не нанималась», да, женский... Обитают здесь женоподобные: контролерши, приемщицы продуктовых посылок, санитарки и библиотечарши, не имеет значения, что у них под халатом, камуфляжными брюками... И лежал в неподвижном тепле: все, что мог, уже сделал, заморил сам себя, завалился, потянув за собой, как столб, провода, что отсюда от него протянулись в Москву.

Провалился в дневной обесцвеченный сон, чугуном опустился на матрацное дно... Где-то за километры над койкой скрипнула дверь — и глазастое снова пятно, голова в белой шапочке, бледная моль. Неживые резиновые, точные пальцы подержали запястье, освеживающим быстрым движением задрали на куске человечины майку, надавили на ребра над сердцем металлическим маленьким холодом фонендоскопа — в непрерывном молчании снимая, фиксируя показания датчиков кровяного давления... И Угланов не вытерпел, он не мог уже больше лежать... чем-то, значит, «они» вот за эти часы подкормили его, чистым сахаром, что поступает непосредственно в мозг... Как же все-таки плево, смешно, униительно просто устроено существо-человек, не сложнее ближайшего

родственников, обезьяны, свиньи: углеводы, ферменты, сосущая слизь...

— Резко только не надо вставать. Голова не болит? Сердце как? В руку левую не отдает? Здесь я трогаю — больно? — опросила моль несколько соединенных в несдохшее целое мест.

Он толкнулся еще раз и сел на кровати, ничего не сказав — ничего не заслуживающему от него каменистому нежилому лицу, где глаза не важнее морщин или родинок.

— Значит, вот что, больной... — тем же намученным работой, вымученным голосом, до того заморенная, что не осталось силы даже оскорбиться. — У вас было давление за двести. Кровь у вас заварная, сгущенка сейчас. Дальше тромб и инсульт. Организм у вас сильный, хотя вы планомерно его разрушали. Не имеет значения, какой организм. Между самоубийством и подвигом умерщвления плоти есть разница. — Штампы высшего образования, «интеллигентности» — что-то хочет ему показать, свой диплом, свой патент на породу?.. Он царапнул еще раз лицо, остальное — ну да, есть какая-то тонкость в лице, птичья хрупкость костей. — И монахи пьют воду и что-то клюют, чтобы жить. — И она вот не хочет, а длит свою нищую, опресненную жизнь. — Не советую вам продолжать. Насиловать свое сердце и сосуды. — Все собрала и положила на кровать ему, на грудь, как узелок с вещами, как будильник: вот все твое, сработает, как у всех, хочешь — живи, а хочешь — подыхай.

В дверь по-мышьи мелко поскреблись, и с напряженно-извиняющимся «можно?» уроденно несмелого посетителя из бедноты не дождался ответа и всунулся в дверь нарядившийся в белый халат поверх формы, притащившийся,

выгнанный на аварию Хлябин:

— Прошу прощения, Станислава Александровна. Просто надо уже нам с Артемом Леонидычем как-то решить и прийти к пониманию, а то дальше куда уж? Доведет нас Артем Леонидович до вот этого самого, что не надо ему самому. Разрешите нам, да?.. это самое, наедине.

— Да, конечно, Сергей Валентинович, — наконец-то избавилась, отстегнули ее с поводка — поднялась, не взглянув на Углового пыльно-потухшими, не важнее белесых бровей... и хлестнула — распрямившейся гибкой, несломанной веткой: что-то вдруг прорвалось, как огонь, проступило на дление телесным мерцанием: неожиданный выгиб хребта, ощущение стремительной стати, огневого литья под покойническим эталоном крахмала и стирки... Что-то было не так с этой выцветшей, изнуренной бедностью бабой...

— Это вам повезло, — показал ему Хлябин глазами на дверь, за которой исчезла — да что там не то? — заморенная дева сорока пяти лет с институтским дипломом и штампом «не сбылось» на остатках былой. — Очень, очень такой специалист. Кто по зонам у нас? Кому некуда больше пойти. Ну а эта пришла — просто даже не верится. Это раньше у нас тут лекарство от всего было только одно — анальгин. Ээки что — мы к ней сами детей своих водим, сотрудники. Если что-то вдруг, травма, подрежут кого — операцию может сама, были случаи. Достает с того света буквально. — Ныл зачем-то с почтительной интонацией простонародья, походил и присел на дистанции, исключаяющей личные неприятные запахи. — Доктор Куин называем ее. Не смотрели такой сериал? Да ну где вам, конечно... — И запнулся, вглядевшись в Углового с запоздалой врачебной тревогой: слышишь?

пронырнул уже, дышишь, поправился? — Это самое, Артем Леонидович, чаю! Вам как раз сейчас нужно, горячего, сладкого. Хватит, хватит на голоде вам. Вот сейчас уже можно, мне кажется. Ну считайте, что мы на ваш этот протест официально, начальники, отреагировали. Принимаем условия, — со страданием выпустил, под давлением вырвалось из него со свистящей усталой интонацией избитого сверху, вибрациями телефонных звонков из московского неба.

— Это в смысле? — Угланов попробовал незнакомый, не свой после долгой неподвижности голос. — Прекращаем ШИЗО?

— Прекратить невозможно. Сами все понимаете. Что я буду вам тут — что от нас ничего не зависит? Нам спустили — мы делаем. Вот! — рубанул пару раз для наглядности по загривку ладонью — показав: моя участь, вот я весь, как он есть, борозда, блин, и лямка. — Исполняем по вам с максимальной жесткостью. То, чего вообще нам не надо. А вы нам голодовку. И чего нам со Жбановым, как? Я вам прямо скажу: вы как в этот отказ свой ушли, так я ждал и хотел, чтобы вы завалились. Разумеется, не насовсем. Чтобы что-то такое открылось у вас несмертельное, да, но серьезное. Чтобы вас красным плюсом от нас насовсем бы к хренам увезли. Потому что такому, как вы, извините, отдельная зона нужна. Пятизвездочная. И вот там и бодайтесь, динозавр с динозаврами. Не топчите людей. Так ведь нет, в демократию играют, надо им показать обязательно ра-а-а-венство русских перед законом. Посиди-ка, Угланов, на общем. Ну и дальше? Ведь руками-то трогать такого не смей. Вот вы можете мне популярно сказать, что им надо от вас вообще... наверху? Чтоб вы отдали им свое всё, что вы спрятали, так? Так нажали б нормально! Каблуком раз по пальцам — и всё, все бы деньги со спутника сбросили им, куда надо. Вот почему

когда американцам что-то надо, то они в этот свой Алькатрас в одиночку сажают любого и копать им права человека? Мордой в пол и дубинкой по почкам. Ну а мы с вами носимся, как с яйцом Фаберже. Да ну, нет, это я к не тому... но я смысл понять хочу, смысл.

— Очень хочется чаю. И булку.

Хлябин сразу же сдернулся с места: наконец-то! хоть что-то понятное — я сейчас принесу и совсем не корежит меня для тебя пробежаться, дело — прежде всего... ткнулся мордой наружу из бокса и гавкнул:

— Э, деятель! Это самое, давай заноси. — И назад, опустилс я обрадованно на табуретку, наливаясь надеждой на дальнейшие всходы победившего здравого смысла и жадности к жизни. — Это правильно, надо, Артем Леонидович.

— Что с условиями, Хлябин? Будем ждать, пока язва откроется?

— Тут, Артем Леонидыч, не язва, тут сердце. — С человеческим непониманием впился в больного: неужели не страшно, неужели не чувствуешь простого того, что сжимает в когтистой горсти сердце каждого? — Станислава, конечно, про то вам сказала? Сами, сами сейчас — только честно — скажите: ну ведь есть оно, есть, ощущение, что не надо бы вам продолжать!

— Значит, вот что. Не хотят они там это дело по мне прекратить — пусть хотя бы тогда ощутимо убавят. Увеличьте мне, Хлябин, интервалы до месяца между этими вашими штрафами.

— Ну, на том и решили. Составим для вас персональный план-график посещений ШИЗО. Чтобы уж без обид и дальнейших отказов от пищи. Это нам разрешили, — показательно вскинул глаза к потолку: сколько было уже этих самых

кивков на далекое небо, на котором решают про Уланова все. — Сделать шаг вам навстречу. Но только один. Испугались они там за вас, испугались, — протянул с интонацией наблюдателя за муравьиной кучей, много большей его самого. — Ну, Артем Леонидович, чаю? — кивнул на заползшего санитаря с подносом. — Поставь. Осторожно, горячий, — старым проводником пассажирского поезда сосредоточился на обернутом вафельным полотенцем стакане, был готов обслужить безо всяких гримас, без приметных каких бы то ни было шевелений под кожей, но на дление вдруг померещилась в этих чисто служебных, санитарно-врачебных движениях какая-то потаенная сладость: забавлялся, ласкал его Хлябин, как ласкают в последние дни и часы обреченных. — Одного только вот не пойму. Ну вот бились вы с властью, слишком уж вознеслись, без подробностей, и за это вас власть закатала по полной. Справедливо там, нет, я не буду вдаваться в оценки. По-любому у вас эти годы забрали. Ну а вы с нами бьетесь и тут. Здоровье вон, сердце свое не жалеете. Но они ж там, в Кремле, не попятятся. И следующих выборов не проиграют. И следующих следующих, так? Ну и ради чего вы тогда это все? Из гонора только — достоинство, честь? Своего, вот того, не отдам, не согнусь. Хорошо, не согнетесь, вот ШИЗО вам отменим, туалеты не будете мыть. Ну а срок-то сам, срок? Две трети от ваших восьми так уж точно. А как вы уперлись — так это вам точно не будет досрочного. А новый срок, новый, — примолк в тишине медицинского факта, могильной земли, — вполне может быть. За то, что вы покаяться в затребованном размере не желаете. Вот и не пойму вас, Артем Леонидович. За что вы цепляетесь? За деньги, которые вы увели? Достоинство, честь! А жизнь отдаете, года своей жизни, чудак-человек. Большой вы и сильный — вот принцип. Ну, люди! Вот

сколько живу и всегда поражаюсь: бывает, иной раз вот просто взяшей пихаешь отсюда кого-то на волю: иди! выходи! живи, как все люди! — И показал каким-то выкорчевывающим движением пятерни огромное желание помочь. — А он же еще сам и упирается. Сопротивляется рождению новой жизни. Ни перед кем не встану на колени. Перед кем это «ни перед кем»? Перед старостью, что ли, перед смертью не встанешь? Вот и вы — из гордыни. Ну а жить когда, жить? Уж не знаю насчет «смертный грех», но вот жизни она так уж точно, гордыня, никому еще не удлинила. Да если бы мне пришлось выбирать... — показал, как швырял бы, запихивал в жрущую топку поленья: забить, закормить на все годы вперед... — я бы все свое отдал! За возможность глотка. Порыбачить на зорьке, — раскусил и блаженно прижмурился от великой и неиссякаемой сладости обыкновенного, вертограда, земли, хрустких яблок, утоления жажды ледяной водой из колонки: неужели от этого можно самому навсегда отказаться? — Чистым воздухом просто подышать над рекой. Ну а с сыном построить своими руками вот что-нибудь, баньку. Обязательно с сыном — ощущение другое совсем, стружка пахнет совсем по-другому. Потому что он перенимает твое. За тобой умом и душой своей тянется — это ж ни за какие ведь деньги, Артем Леонидович, да? Ну и бабы, конечно, — упру-у-гие, по весне нарождаются новые, оголяются все для тебя, можно каждую, всех, вот пока еще на три пятнадцать стоит, а потом уже на полшестого всегда... Отсидишь — не вернешь, оглянешься — и старость. Вот во что обойдется вам ваша гордыня.

— Ну так я еще, Хлябин, могу передумать. Осознать, что теряю. Срок-то вон какой длинный. — Что же все-таки у милицейской вот этой лисицы внутри?

— Ну, на том и решим. Поживем и увидим. Интересно мне с вами, Артем

Леонидыч. Непонятно, чего вы хотите. Ведь на власть надавить и решить свой вопрос наверху вы не можете, а то вас бы тут и не сидело. И на что-то при этом надеетесь. Да и слово само-то, «надеяться», ведь оно вообще не про вас. Кто надеется, в церкви со свечкой на коленях стоит. — В наведенных, неспрятанных глазках на мгновение блеснуло, обнажилось нутро, и Угланов отчетливо наконец-то увидел себя этими глазками: получил его Хлябин — во власть, наконец-то его полустертая, средь бросаемых в зону обглодков и падали, мелкозубая, низкая жизнь с обрушением в зону Углanova сделалась настоящей жизнью; он, Угланов, ему дан не просто крупным зверем для гона, неизвестным науке животным для опытов — дан как шанс на подъем от земли, ощущение себя неничтожеством: если здесь он, в Ишиме, придавит Углanova сам, то тогда — не ничтожество, сила. Замурует Углanova сразу в бетон — ничего не успеет почувствовать, судорог, крови, и поэтому даст ему Хлябин по зоне побегать, наблюдая за тем, как сайгак слепо-бешено мечется меж решетчатых изгородей, выбиваясь из сил сохранить свою жизнь. — Раньше вы покупали, давили. А сейчас вы не можете. И на что-то при этом всерьез заложились. Весь вопрос только где. Где решить свой вопрос. Или все-таки там, наверху, — и на небо уже не смотрел, как отрезало, — или все-таки здесь, на земле.

— Чаю мне закажите еще, если вам так не трудно, — в осмелевшие глазки лисицы — показать ему место, хлестнуть поводком. Двинул кратким господским движением стакан к человеку, который физически ведает жизнью его долговязо-нескладного, криворукого, нищего тела.

— Это мы сейчас мигом, Артем Леонидович, — припогасшие глазки и плоская красноармейская морда не дрогнули.

Отъелся, отпился дегтярной сладостью — пластался на ватном матраце, как вещь, как багаж, в застойном и вьевшемся запахе собственной немощи. Пожарная сигнализация, система «Канонада», чувствительная к сильному порыву ветра и перелету редкой птицы над забором, взрывала тишину во мраке невидимых полей истощным завыванием: аларм! пересечение запретки теплокровным! — ревела, распухала нажатиями в углановской башке, калилась, превращаясь в тишину задолго до того, как ее вырубят, и снова прорастал сквозь тишину все тот же метрономный квакающий звук: ты здесь, ты здесь, ты здесь — и столько было в этом силы невозможности.

Наутро отпирали дверь в палату — выползал на созывающее всех кормушечно-бачковое «На завтрак!»... Толкнулся наружу, под небо — толстомордый опухший медбрат не пустил: «На прогулку выходят больные в отведенное время, покурить — на прогулке», — повторял непреклонно и скучно, отсеченный от всех арматурной решеткой; здесь решеток вообще, «на кресте», было больше, чем в обычном бараке, запираемом только на вход и на выход; кружевные стальные загородки и двери рассекали приемный покой, процедурную, коридор, кабинеты, столовку — на загоны, режимные клетки, и уколы в мучнистые ягодицы, и забор темной крови из пальцев и вен, и таблетки, и фонендоскоп — строго через решетку, из страха

внезапного пробуждения зверя в иссохших и иссосанных язвой мощах и захвата сестер-санитаров в заложники. Он исследовал все коридоры, рукава, тупики, повороты, разветвления, ниши, плотины железной и бетонной системы ирригации «Ишим», сиюсь полноразмерно охватить геометрию зоны: кое-что мог сложить, прочертить он и сам, но вот целое, «все», с высоты и насквозь, до подземных кишок — был не в силе; ареал обитания ограничен локалкой и штрафным изолятором, целиком ему зону покажут нескоро, да и вряд ли покажут так просто вообще. Это только в кино заходили в неприступные крепоститюрьмы герои уже татуированными чешуей, волшебной картой всех подземелий и спасительных воздухопроводов, да еще и могущие мигом растлить по дороге в сообщницы невозможно красивую девушку в белом халате или синем мундире, василиски с магнитящим взглядом, монте-кристо, клинт-иствуды, гении.

Ничего, он, Угланов, вот тоже обзавелся в Ишине полезным любовником: Вознесенский, несчастный придурок, спасен от петушни и поклялся ему отплатить всем, чем может, — инженерным умом, глазомером, рентгеном человека, который всю жизнь «структурировал и зонировал пространство»... Поискать, где же все-таки курят, — воткнулся в огородницу в белом халате: отшатнулись взаимно, вздрогнув от неожиданности, и, похоже, Угланов — сильнее, а она — нечем было ей вздрагивать под заветренной кожей, слишком долго прожившей без солнца, под какой-то синей лампой: в этой шапочке белой казалась она облученной, облысевшей от химиотерапий нежилицей.

— Извините, — хотел пройти мимо птичьих тонких костей, бледной мордочки, настрадавшейся, как жестяная мишень, и зачем-то еще раз: — Извините, хотел бы

спросить, — «вот зачем ты живешь?»), — а когда вы меня уже выпишете?

— А куда вы так рветесь, гражданин голодающий? — Небольшие участки открытой подмерзшей немигающей слизи, просто мускулы, да, для фиксации света, хрусталики, подчиненные необходимости постоянно на что-то и кого-то смотреть. — Вам не все равно, где? — Будешь гнить и ржаветь — с этим смыслом, наверное, сказано было, без желания ударить его, ковырнуть, без какой-либо сладости, но и без жалости.

— Да хотелось бы как-то побольше на воздухе. Ну а главное там, где я выберу сам. — Вот зачем он ей это, что она ему, эта стародевная рухлядь сорока пяти лет?

— Ну, идите за мной, — побежала на своих плоскодонках, в матерчатых тапочках: каблуки ни к чему, поднимать себе задницу не для кого, вообще не осталось желаний — что-то с этой бабой не так: очерк длинного тонкого тела двоится — то костлявая кляча, то вдруг — полыхнувшая гибкая, хлесткая сила, появляются талия, ноги... Что там Хлябин напел про нее? Режет, шьет, может все? Обвалилась нечаянным счастьем «на крест», на который приходят работать только те, «кому некуда больше пойти»?.. Затянула под свой хирургический свет в ослепивший стерильной белизной кабинет, пробежалась вдоль стеклянных шкафов для «наружного» и «внутривенного» до стола и клеенчатой белой кушетки... никаких тут решеток, разве только в окне, — не боится кусков человеческого мяса, которые чинит. — ...обнажитесь, пожалуйста.

— Верх или низ? — На хрена эти сальности с обескровленной, высохшей, протираемой ваткой со спиртом... пробиркой?

— Низ — это вам к врачу-специалисту. — Погрузилась в бумаги с лиловыми

штампами на чьих-то участках, показав ему: зря ты вот это — ничего здесь живого, животного, влажного, под крахмаленным панцирем, нет.

— Ну, я слышал, что вы — специалист по всему.

— Не совсем по всему... — зачиталась не имеющим вовсе отношения к Угланову, допахала построчно и вскинула на него, кусок мяса, рабочие, избирательно зрячие глаза, глядя только на клетку, живот, словно все остальное, голова и мужское, отрезано поездом. И опять металлический холодок медяком, подаянием припечатался к коже над сердцем, с равнодушной силой прохладные точные пальцы проминали живот, попадая в подкожные нужные кнопки, вероятные сосредоточия зреющей смерти: всё в тебе для нее — как у всех, безыскровый контакт участков кожи сквозь обеззараживающий латекс. Он улавливал запахи хлорки и камфары — ничего ее личного, женского сквозь застойную горечь аптеки, все свое из себя она вытравила, на полынном ветру испарилось само.

— Одевайтесь. — Уложив на улитку, замерив нутряные шумы и биение крови, не взглянув ему снизу в лицо, возвратилась к столу написать заключение, где Угланову жить, — два десятка чернильных извилин, которые не имеют значения, ни его, ни, тем более, ее не меняют. — Я сообщу начальнику колонии о вашем состоянии, и на следующее утро, наверное, он вам даст разрешение покинуть санчасть, — голос мерзлого овоща: ничего у нее для него больше нет.

— Ну а что со мной, доктор? — впрыснул в голос юродской стариковской тревоги.

— Вы на память не жалуетесь? Я уже вам сказала. Если вам надо что-то свое продать, постарайтесь воздействовать на начальство какими-то менее...

самопожертвенными способами. И тогда нам вообще уже больше практически не придется встречаться.

— Ну а если уже не осталось никаких других способов, чтобы давить? — Да ну брось ты ее, для чего шевелить? — Или что мне, по-вашему, надо жрать, что дают, соглашаться на место, которое мне отвели? Да только на хрена мне вообще такая жизнь? Мозговой кровоток — чтобы что делать мозгом?

— Ваша жизнь, — она бросила, словно обслюнявленный шпатель в лоток.

— Ну а ваша? Я смотрю, вы вообще всем довольны. И своим рационом питания, и местом, и мужской, — нажал он, — компанией здесь. — Для чего-то хотел уколоть ее, врезать — чтобы что-то живое шевельнулось вот в этом каменистом лице, чтобы что-то внутри, незасохшее, незамертвевшее, трепыхнулось на дление хотя бы и его захотело ударить в ответную. — У вас необычайно внутренне богатая, полезная осмысленная жизнь. Не нужен нам берег турецкий, и клиника нам не нужна.

— Будь вы на моем месте — вы бы вздернулись, — отдельно и с тоской докончила она: не жди, не старайся, навсегда ничего я не чувствую. — Это что сейчас было? Слабоумие или цинизм? — Продолжая царапать бумагу, разделявать, отчужденно, без злобы, дурнотно, с подтекающей к горлу тошнотой резанула его, загнала между ним и собой железную шторку: да исчезни уже со своим проблесковым сиренным углановским «всем»! — Что за гимн свободе такой и достоинству? Вас бросают на холод, бьют палками, льют по капле на темя холодную воду? Что вы так за себя без пощады взялись? Прямо край и последний оставшийся способ — не жрать. Биографию себе таким образом делаете? Вам чего не дают?

Холуев не дают? Крепостных и заводов? Никакого почтения? Не пускают на улицу? Раз не будет помоему, вот как я захочу, не вернут мне игрушки мои — значит, жрать я не буду. Я сейчас вам всем тут как помру. На немножечко и понарошку. Не способны действительно воспринимать? Эту, эту, в которую вас посадили? Люди ходят годами с кавернами в легких, люди спицы и гвозди глотают и вены режут вдоль всю руку, потому что их тут сексуально унизили или бьют каждый день, ну а этот... Шкурка слишком вот гладкая. Да ну что я тут это, кому?

Она как бы себя причисляла к гарнизонному быдлу, к жизни серых мундиров и черных бушлатов: я живу тут на льдине, в беспросветной реальности урожая картофеля, вечно сгорбленных спин, заготовки дров на зиму, воровства неучтенного морфия вот из этих шкафов, нам никто не поможет и не надо уже помогать, ты свалился оттуда, где нас нет и не будет, все твое здесь у нас ничего не меняет, не снимает со льдины, не выносит в другие пределы... и вот этим его от себя отжимала,ставляла из этого своего неподвижно-стерильного и пустого мирка, что сиял чистотой мертвецкой. Но, похоже, он все же проткнул ее до чего-то, способного не оскорбиться, конечно, а дрогнуть от страха обнажения собственной сути. И как раз вот такой — несомненно, нескрывая жалкой и нищей, навсегда замертвевшей в своем одиночестве и одноночестве — ей хотелось казаться, предъявлять себя всем: я — пробирка, кусачки, я — то, что вы видите, вот такой родилась, как и сотни других некрасивых, согласившихся с низостью, с местом людей-муравьев, санитарок, вахтеров, таких большинство. И сейчас не колола, не мстила ему — защищалась, глубже втягиваясь в панцирь «не чувствую» и «не живу». Ну, понятно, несчастна она, но не тем, но не так, как хотела ему показать, — не врожденной

неумолимой полной бездарностью. И с какой-то жесткой любопытной жалостью взял попавшийся первый ланцет и всадил ей еще, словно в щель между устричных створок: покажи мне, что прячешь, нутро:

— Наконец-то, спасибо, а я-то все думал: да когда ж мы до сути дойдем. Это просто я с жиру бешусь. А вот если б разок каблуками по яйцам да недельку не спать, вот тогда б я узнал, что такое действительно больно. Обожавшийся самовлюбленный урод, что поверить не может, что теперь его сила закончилась. Ну а кто я такой-то, чтобы кто-то тут передо мной корячился? Да обычный жучила и вор, ничего не заслуживающий, кроме... даже и не презрения, а просто обычной чистоплотной брезгливости. Вы же ведь вот такая — чистоплотная, да, благородная. Земский врач, польза маленьких дел, честно жить и служить и не требовать никаких воздаяний. Вот таким должен быть на земле человек, русский интеллигент настоящий. Жить в говне и жрать говно. Продлевать жизнь скоту, что на воле вообще не работал ни дня и сидит здесь за то, что старуху в подъезде железкой огрел, чтоб пропить и прожрать ее пенсию. И хотите, чтоб вас уважали за это. И себя вот считаете вправе меня презирать. Это что же, по-вашему, — это я здесь сижу? Это вы здесь сидите. Вам же некуда просто отсюда уйти. Никому вас за этим забором не нужно. Вы сидите пожизненно.

— Это вас утешает? — не подняв головы от поползших с бумаги на столешницу строчек. — Прояснили позиции? Рада за вас. А теперь до свидания. Вы и так меня слишком...

— Вы спешите домой? — получай. — Счастливый человек! Есть к кому возвращаться. Мысли только о том, что сготовить на ужин любимым. Как прошел

день ребенка. Поскорей тронуть маленький лобик: а вдруг он горячий. Или что, не сложилось? Не нашли благородного?

И попал в то, что можно почувствовать в каждом: бей сюда, в подсердечную пустоту и животное лоно, — провалился ножом со внезапной легкостью внутрь — ток схороненной, запертой боли ударил, и Угланов увидел ее настоящую, ту, которую стерла сама, наказала за что-то, скрутив себя в жгут, обескровив и высушив; сквозь вот эту облупленную жестяную мишень со всей давящей силой породы, как фреска сквозь советскую краску, не стерпев, проступило ее изначальное молодое лицо — даже и не сказать, что красивое: что запечатанный глянец инстинкт понимает во фресках? Потому-то он и ощутил в этой жилистой, окостеневшей, измученной бабе сразу что-то не то, что искал вот такие клинописные лица всегда, обещавшие что-то потом, после близости, что-то большее, много сильнее, чем телесное соединение... Вот и все его жены, две штуки с указанием «бессмертие» в приходнике, были такими.

— Возвращайтесь в палату, больной. Занимайтесь своей большой... пиписькой, — восстановленным прежним дурнотным, подневольным, измученным голосом, но с какой-то пожарной все-таки спешкой погасила его — пересилившись и устояв, провалившись и вынырнув из своего захлестнувшего прошлого, снова стала незрячей, затвердела в лице, но уже бесполезно: не скроет, не задует, как свечку, себя.

— Ну а если вдруг что-то со мной не по части пиписьки, я могу обратиться? Не откажете в помощи?

— В порядке посещения санчасти согласно отрядному графику.

— А у вас есть услуги косметолога?

Если б волю и деньги на зачистку в салонах, то сейчас бы была — вообще не отсюда: что ж она так с собою, со своим бесподобным самородным лицом и единственным временем? Что ж она так себе не нужна? Скоро ведь до конца превратится в старуху...

— Вон пошел! А то я сейчас вызову специалистов — стоматолог потребуется! — Это просто хотела она показать, как легко превращается в злобную нищую тварь. — Снова будешь мне тут голодать, чтобы вставили новые зубы?

— Да пожалуй, начну прямо сейчас. До тех пор, пока ты мне не скажешь, зачем ты живешь. — Оставался лишь труд уточнений: либо самолюбивый ребенок-хирург и кого-то зарезала, молодую растущую жизнь, либо предал мужик, либо что-то с ребенком, не смогла, «ты должна мне родить чудо-сына», и мужик ее выбросил. Вряд ли прячется здесь от кого-то, кто хочет убить. Тут душевнобольная потребность наказать себя, высечь или, может быть, столь зверским образом доказать миру-Богу, что нельзя было с нею вот так поступать, что не должен был «он» забирать ее счастье: если ты со мной так, то и я не люблю и не буду. — Вот за что так не любишь себя, что сама себя в зону на пожизненно определила.

— Врач тюремной санчасти — не слишком ли мелко для вас?

— Ну так мне ж обязательно надо кого-то давить. Я же маленький, злобный, обделенный с рождения маньяк, в школе был самым слабым и писался до девятого класса. Вы же ведь мне такую биографию придумали.

— Мне. Не надо. Про вас. Что-то. Думать, — выговаривала, как дебилу. — Я сотрудник колонии, прапорщик, только в белом халате. Капитан медицинской я

службы, ау! Вас тут нет, понимаете? Надо это вообще объяснять? Всего доброго вам, не болейте. — Старику, глухарю-ветерану. — Извините меня за такую несдержанность. Мне не стоило с вами вот этот разговор начинать. — Даже это готова была ему бросить, потопить извинением, лишь бы только исчез.

— Очень вы интересная... особь. — «Я тебя угадал, зацепил, не соскочишь». — Всего доброго вам, до свидания, увидимся. В порядке посещения санчасти.

И качнулся на выход и опять себя спрашивал: что ему эта баба, с устоявшей, невыжженной, но не нужной уже ей самой красотой? Что вообще это было? Любопытная жалость? Сладострастие гона, обнажения чужого нутра, существа? Никогда он не чувствовал к людям ни подобного вот сладострастия, ни жалости: жалость — это такая вода, что приводит к взаимной с тем, кого пожалел, человеческой ржавчине. Неужели влечение? Иногда вот хотелось не просто воткнуть, а единственной — только с этой, одной, целиком пожирающей близости, поселить у себя, одомашнить, срастись, угадав и поверив, что эта, только эта, одна, для тебя местожительство сделает домом. Неужели и к этой сейчас он подобное? Здесь? Здесь же негде, не время, здесь кастрировали всех, затолкав в умерщвление плоти, в том и смысл — не жить, никакой своей частью, никаким этажом существа. Что он хочет и может сейчас от нее получить? Вот куда ее хочет и может поволоочь за собой — потерявший хребет и засаженный в клетку, до упора, до дна обессиленный сам? Самому быть бы живу. Не прогнать и родиться еще один раз, когда выберет сам. Эта баба не входит сейчас в его замысел, как деталь из другого конструктора, как живущий в неволе беззащитный и жалкий зверек бесполезной породы. Это чисто мужская история, ему нужен сейчас человек, состоящий из верности дикой свободе

и звериной способности перегрызть свою лапу в капкане, человек не смирившийся, а она — бесполезна, жить не хочет сама. Вот и хрен с ней, пусть тухнет: ее это жизнь. Почему же вот только так тошно смотреть, как она — задыхается?

2

И опять — то, чего быть не может. Запустили на промку Угланова. Чем они там, в конторе, хозяева, думали, но вот только решили: быть Угланову разнорабочим на втором полигоне. Ну а монстр как будто только этого ждал, вот на это в конторе давил и вот это заказывал, а то тесно и душно в бараке ему деньденской, как жирафу в товарном вагоне, — и пошел от конторы со всеми в колонне, неуместный своей нескладной, свайной рослостью, возвышаясь над всеми на две-полторы головы, и колонна не то чтоб сломалась, перестав быть литой и ровной, как брусок магазинного масла, но как будто качнулась, завибрировала и загудела всей своей образцовой цельностью, словно каждый в строю стал немного разболтанной и ослабленной шайбой и гайкой исходящего оторопелой дрожью компрессора.

Ну а этот рывками уже озирает широкую зону объекта, хищным глазом хватая от левого края до правого козловые, консольные краны, пересчитывая их, как всегда, как свои, как в Могутове, как на Бакале, — та же мерзлая хищность во взгляде, разве только с добавкой презрения к здешней насекомо-ползучей нищете производства, ручного труда: что все это такое в сравнении с прежней, могутовской силой, если даже Чугуев как бывший железный ощущал себя здесь как орудующий зубочисткой в спичечном коробке великан? У него ж под началом вчера еще были дивизии

«голиафов» и «мамонтов». Но и здесь вот обшаривал, взвешивал, мерил и сцеплял в непонятное целое: штабеля бесконечных готовых панелей, горы щебня и кучи песка, трактора, экскаваторы, грейферы, подвесные бадьи, поворотные бункеры, недра двухметровых пропарочных ям, частоколы стальной арматуры и железные формы, обрюзгшие затвердевшим бетонным раствором, и бетонные плиты забора, заросшие серебристой зубастой спиралью вверх. Вот туда, за забор, и смотрел сквозь колючие дебри, перекрывшие синюю даль, как осенние злые будылья, как лес, на огромные сроки, года... Так туда они все ежедневно глядели — что, что там? Да уже ничего там! Закончилась жизнь. Может, только затем и ходили на промку, чтобы этого неба глоток, синевы, от которой сердце ломит, как зубы, и еще непродышной становится в этом напрасном надсаде, как ростку под могильной плитой, как дереву, что своей живой кривизной протиснулось и не может расти сквозь заборные прутья. Вот и монстр туда же. Как все. И конечно, с Валеркой в бригаду — Угланова! И Деркач-бригадир на такого вот новенького, каланчу, очумело глядит и отчетливо ноет сквозь зубы с досады. И конечно, не трепет, не страх в Деркаче перед этим сошествием, а мучение ума: вот куда его, дылду такого, поставить, на участок какой без боязни за дело и него самого? И обратно наряднику сбегать пытается:

— Что ко мне-то его ты, ко мне? К стропалам вон его.

— Да к каким стропалам? Там же двигаться надо. Посмотри на него. Это ж он пока сложится да разогнется, мы с тобой успеем до фильтра. От стропы разве он увернется? И чего нам тогда? Выноси его с промки ногами вперед?

— Ну а мне чего с ним? На разливку, опалубку, на мешалку, куда? Кто его вообще сюда выпустил?

— А спроси его кто! То и ясно, что не обсуждается. Так что действуй, Деркач, забирай.

И уже на Углонова тот:

— Вы вообще что умеете — делать руками? Чего-чего? Хотите овладеть? Овладеете, время придет. А пока в ваше распоряжение поступает ручной агрегат типа «совковая лопата». И позиция ваша — вот эта площадка. Самосвал подойдет на разгрузку, там бетон налипает по кузову — вот давайте, соскребывать надо. Подбираем остатки — и в бункер. побыстрее стараться дочистить машину. Ничего пока больше предложить не могу.

Не затем выходил, чтобы в зону назад восвояси. На любую работу, на лопату согласен. И уже всем веселье в бригаде — посмотреть, как хозяин земли на разгрузке физически будет горбатиться. И уже самосвал по бетонке пыхтит, со слоновьей скоростью подползая к площадке, на Углонова прет погрузневшей бетоном кузовной железной горой. «Отошел! Отошел!» — монстра лаем Деркач из стоячей зрячей спячки выводит. И уже, где стоял только что, долбодятел, начинает крениться стальная гора на одном затяжном, тяжком ноющем вздохе, превращаться в готовую к залпу «катюшу», и свинцовая масса сползает манной кашей в зияющий бункер. Сорвались, обвалились по наклонной шесть тонн, но и кузов обрюзг по бортам и по днищу припаявшейся серой растворной кашей — и вот только лопатой можно выскоблить кузов до голого блеска. Ну и монстр на бункер с совковым агрегатом встает, соскребает со стенок отложения бетонного селя — ох уж и он зарьялся в самый полный размах нерастраченных сил, вообще незнакомый, сразу видно, с любой продолжительной нудной силовой работой, так что все сразу ясно

увидели: сдохнет, надорвется в руках и спине через час. Да и где — через полчаса — великан-то он так, только вверх, кость-то в нем не широкая, жила не толстая. Ну а этот шурует — что ль, для них, мужиков, напоказ так старается: мол, не чмур он им тут инфузорный, тоже может на равных вот здесь с ними бицепс качать — или это Чугуеву только казалось: что для них, мужиков, из себя выжимает силу жизни Угланов на полную — разве ж надо ему что-то им, земляным работягам, доказывать? Это просто энергия из него прямо так по первой и стреляет. И уж, ясное дело, прошел по спине его первый жарок, от которого все под спецухой мокреет, и уже ослабели до приметной нетвердости длинные, слишком много и сразу загребавшие руки, посерел в перехваченном скобками напряжения лице — но не бросил, стерпел, устоял, отскоблил самосвал до железа.

И для всех шапито, зоопарк: поглазеть, как он дышит, рыбающий, на суше, а Валерку как будто наждачной теркой ошкурили: вот и здесь каждой жилкой теперь примечай непрерывно любое движение монстра, береги его тут возле каждой кренящейся самосвальонной горы, на кишащем людьми полигоне, где все под ногами скользит и шатается, над башками по воздуху ходят железные стрелы и бетонные сваи на звенящих натугой стропях... Ну а главное — люди, от людей береги: что там каждый из сотни, поди угадай, в глубине существа лично к монстру питает. А заденет Угланов кого если вдруг, у него же слова только так вылетают, за которые сразу отвечать всею силою жизни придется: все ж должны замолкать, когда он говорит, или сразу метнуться исполнять, что он скажет. Да и просто в чужую заварушку затянет, ни за что ни про что под замес попадет — это ж промка ведь, промка, для такого простор. Закутки, закоулки, всюду пятна слепые для крутящих

башкой дубаков. Здесь никто в кулаке уже зэков не держит, это только в жилухе они все прибитые и безвыходно смирные вследствие скученности в небольших помещениях. Там они на ладони, а здесь — разбредаются, и на горло никто никого не берет и с большим тесаком по объекту не бегают; промка — самое то, чтоб втихую отдачку прогнать, каждый штырь вон к услугам, каждый трос, каждый крюк, каждый ковш, чтобы в яму человека спихнуть; дерни вон за рычаг, на педаль надави — и в лепешку обидчика осыпью; сколько было таких вот «несчастливых» на Валеркиной памяти случаев, и кого иной раз задевало — да того, кто вообще ни при чем: под стрелу подвернулся, глазами захлопав, — и нет человека или есть инвалид.

Что же Хлябин там, а? Чем они там вообще, хозяева, думали и додумались монстра сюда запустить? Будто с этим как раз вот и умыслом — кончить. Затемнить тут втихую, раз в открытую шлепнуть перед миром нельзя. Ну а сам он, Угланов, пошел для чего — на убой? Ну а он тогда, он для чего здесь им нужен, Валерка? Для чего его надо тогда пришивать было к монстру — беречь и стеречь? Чтобы крайним его, виноватым? С понтом он его, монстра, по злобе старинной на прутья столкнул или в форму с бетоном макнул?

Вообще ничего уже не понимал. Вот совсем помешался с Углановым: пузырятся только самые дикие предположения в мозгу. Только то и понятно, как зубы на горле, что опять зажует и потащит его не туда. Вот пока все еще он, Чугуев, ползет, как побег, на свободу, в направлении к устью, на выход, к Натахе; он не может ее обмануть, он не может не дать ей себя, вот она его тянет, Натаха, отсюда, из него вымывая живой водой все мысли, что уже ни на что он, Чугуев, не годен, не способен прижиться на родной своей огненной чистой земле, снова став трудовым

человеком и стерев с рук своих эту кровь, выгнав с потом, сняв со старой кожей. И ползет он, ползет, и совсем уж недолго осталось ему, но с железной неумолимостью из-за Уланова что-то стрясется — и сомкнутся на нем до конца заскрипевшие ржавые челюсти зоны.

3

Шел бетонный поток. Надрывая движки и пыхтя, на разгрузку ползли старики-самосвалы, и уже пятый раз на Уланова задом напирала вот эта слоновья гора. Он давно не работал руками и вот так — никогда: греб и греб, соскребал вязко-тяжкую глину с бортов и протяжного днища, и сперва распирало его ощущение избыточной мускульной силы, а потом — с каждым новым гребком неподатливей и тяжелей становилась растворная масса, и уже после первой машины стал жестким, а потом и литым, обжигающим воздух, приварившийся гладкий черенок непомерной лопаты все сильнее и сильнее жег ладони, вонький уксусный пот выжимался из него, как из скрученной в жгут мокрой ветоши, лил со лба и слепил, попадая в глаза, и на третьей машине он уже ощущал на себе всю кожей презрение бригады, и оно было б ровно таким же, презрение это, если б он был не он, не Уланов, а просто неуклюжий и слабый от долгой сидячей работы, неуместный, мешающий «интеллигент». Он их всех тормозил, выпадая из ритма и, как спичка в твердеющем гипсе, увязая в тягучем этом неворовратном растворе: вот еще один только скребок — и сломается... Впрочем, место, задачу ему отвели вот такие, что никто не зависел в бригаде от его подкосившихся ног и безрукости; многорукий и многоголовый

бригадный организм жил, по сути, отдельно — необычное и непривычное ощущение для человека, от которого прежде зависели все, двести тысяч, проводя по цепи его волю — от резцовых коронок комбайнов в забое до участков обрезки летучими ножницами и клеймения новорожденных листов первосортной могутовской стали. Ждал его одного лишь водитель, лишь один грузовой мастодонт, чье нутро он выскабливал, и водила уж точно никуда не спешил, явный энтузиаст перекуров, с сигареткой в зубах наблюдая за тем, как Угланов сгибается, распрямляется, плавится в набирающем силу калении выгребного бетонного рабства.

Унижения в том он не чувствовал: сам себе выбрал эту работу, это место для жизни, плацдарм — повертеть головой, вобрать все пространство; он вообще после третьего кузова больше не думал — лишь о том, чтобы прямо сейчас не упасть, каждым новым гребком и броском возвращая себе прежний контур, выделяя из мира, отделяя чугунно тяжелым совком то небольшое, что может он своей силой подвинуть сейчас, от всего остального, неподвластного, давящего, что течет в него под раскаляющим солнцем, как клей. Совладать вот сейчас для начала только с этим ничтожным — со своей телесностью собственной жалкой, задрожавшим, занывшим, затрепавшим по швам от натуги устройством, пересилить его, переделать, зацепиться за промку, за этих людей, сохранить за собой это место, заплатив за него справедливую цену: тут берут только потом и мышечной болью, никаких других денег здесь с тебя не возьмут.

Отскобленный до голого железа самосвал, зарывав и окутавшись сизой вонью, уползал, оставляя его с неправдивой, блаженной пустотой в руках, награждая возможностью наконец-то обмякнуть, не вбивать в себя клином горячий и жесткий

злой воздух; с чугуном на ногах, с наверхувшейся на сапоги бело-серой глиной доползал до лежащей плиты, опускался, валился, накачанный дурнотой и горячей слабостью, дожидаясь, пока во всем теле пройдет глухота и как будто он вырастет из себя самого, сокращенного до растительного недомыслия, травянистого оцепенения, возвратится к зачаткам мышления приматов.

Самосвалы не шли караваном, между рейсами было на отдых у него с полчаса — озирался и схватывал, как устроено все, и хотелось забраться повыше, на штабель, на кран, только сил вот ползти никуда уже не было, да и кто б ему дал беспреградно пошастать по промке и вскарабкаться на верхотуру: метрах в трех, в четырех, в десяти проминались, прохаживались и томились стоймя камуфляжные туши с глазами — тревожными кнопками. Но и здесь было чем подкормить ему мозг: протяженное серое, населенное уймой машин и людей, запыленное, словно в пекарне, пространство простиралось нехоженой новой страной, и железные кости козлового и башенных кранов не мешали прорыву поискового взгляда к забору с серебристой кольчатой «егозой» поверх.

Он смотрел на взбивавших булавами бетон мужиков: люди прежде всего, умно-зрячие руки человеческих устройств — чтобы вывернуть плиты вот из этой земли, прокусить и прогнуть все вот это заборное и дверное железо. Он уже всех их знал, двадцать душ деркачовской бригады и сто душ восьмого отряда, — по статьям, по срокам, мере тяжести, силе удушья... Со своей плиты видел сейчас, как все делает этот Чугуев: ничего будто вовсе не могло надорваться и дрогнуть вот в этом живом человеческом слябе с пудовой булавой в облитых гладкой сталью руках — он держал булаву, как... коляску с младенцем, погружая, как в масло, и вытягивая, как из воды.

И еще тем сильнее впечатляло вот это устройство по сравнению с тем, как он сам здесь, Угланов, себя измочалил, по сравнению с углановской собственной мускульной лошадиной, оленьей дрожью в упряжке.

Он его заприметил давно — с первых дней, с самых первых ходов из барака в столовую, в баню, в ларек, — и уже и не скажешь теперь с достоверностью, что изначально его притянуло. Что, не мог не увидеть, не почувствовать давящей прочности крупного, иначе — из железа — сделанного человека? Как мужчина, как зверь примечает угрозу, соперника в стаде: этот выдавит из ареала тебя, этот сразу отнимет всех самок? Ну, быть может, и так. Вот с таких отливают и пишат жестколицых, тяжелых, исполинского роста красавцев: сталеваров, шахтеров, русских воинов-освободителей, когда надо явить всему миру и уверовать в это самим: вот такие мы, русские — переносим огонь, выжимать из камней можем воду, вот такими мы были в начале, вот такими мы будем всегда. Вот таким его жизнь и задумала, вот таким он и выплавился из любовной родительской близости — разве только на голову переростка-Углanova ниже: это были не мускулы, не рельефная вывеска — нутряная и цельная сила, что никакими тренажерами в спортзале и никакой протеиновой дрянью не наращивается — только потомственной, пожизненной, неотменимой повседневной работой со сталеварской пилой, двухпудовой кувалдой, ломом, перфоратором, буром, дровяным колуном; для вот этой работы его предназначили, слишком прочного, цельного, чтоб о чем-то еще надо было ему размышлять: для чего он, какой он и зачем ему жить. Но за этой давящей, не из мяса и кости как будто сработанной тяжестью было что-то еще, что почуял Угланов, как ток.

Бугаев-то на зоне хватало — по виду способных забросить чугунный радиатор за двух-трехметровый забор, сила мускулов «тут» ничего не решала, он, Угланов, уже посмотрел, показали, как ломаются вмиг вот такие мощногрудые глыбы, как мгновенно потек, сократился, потаял до дрожащего парнокопытного Ярый, «больше тонны не класть», так весомо ступивший за ишимский порог в убеждении, что нагнет здесь любого. Перед этим Чугуевым все расступались, безошибочно чуя не одну лишь телесную, никого еще в зоне не спасшую мощь, а способность ударить, нутряное «убью», что готово сработать в ответ на серьезный нажим, на «пришли нагибать» и «пришли убивать». По глазам можно много, конечно, напридумывать лишнего: никакой связи с тем, что внутри, с человеческой сутью, но вот что-то угадывалось на расстоянии звериного запаха в нем — затверделое, трудное, как бы высвобождаемое после долгой задержки дыхание сапера, взрывника, горняка, замурованного давним взрывом в забое. Человек задыхался — несмотря на способность ударить, несмотря на способность выносить все обычное в зоне, что давно уже смяло, истощило других. Человек нес в себе часовой механизм, постоянное тиканье адской машинки, когда каждый шаг будто бы на педаль, что спускает валунную осыпь, и при всей лицевой неподвижности жил в постоянном, не могущем ослабнуть под кожей и мышцами скруте всех зачищенных чувств и рассудка. Это не было длящимся, ноющим ожиданием удара, физической, пообещанной кем-то за что-то расправы — это нужен бульдозер, автоген, чтоб его разобрать; если дело бы было в зубах и копытах, то тогда бы вот этот Чугуев дышал, как мартен, как ребенок, в уверенности, что назавтра проснется и отпустят домой.

В немигающих, ровных, тяжелых глазах прокаленно-литого лица — вроде бы,

как у всех, безнадежно промерзших, на Углового не нажимающих и ему придающих значение тунгусского метеорита: ну обрушился в зону с самолетных небес и живет теперь с ними, ничего не меняя под крышей, в участи, — начинала просвечивать вдруг, как сквозь пыль, не могущая притупиться тревога — вот подледное будто, болевое усилие постичь затаенно недобрый, неохватный и непроницаемый замысел жизни, решившей что-то с ним здесь, Чугуевым, сделать, в добивающий, видно, довесок к тому, что уже с ним проделала. И вот это усилие слабого, бедного трудового рассудка — на какое-то дление казалось — целиком направлялось на него одного, целиком чужеродного, проживавшего выше на десять тысяч метров Углового, словно это Угловый хотел что-то сделать вот с этим стальным колуном: уничтожить, сгноить или, наоборот, отпустить на свободу — и еще должен был окончательно это решить.

Взгляд его проходил сквозь Углового, мимо, не царапая, не нажимая (тут вообще избегают подолгу смотреть человеку в глаза, не прощают прямого давления и сами не хотят нарываться, встречать), но и в этой литой безучастности, продвигаясь в отрядном строю, отделенный от Углового черными спинами и плечами других, обращенный затылком, спиной к Углову, словно магнит одинаковым полюсом к большему по размеру и силе магниту — равнодушной, взаимной силой отталкивания, — непрерывно Чугуев в Углового вслушивался, примечая, ловя каждый шорох и вздох, пересменку людей в камуфляжных охраннических куртках и зэковских робах, подходивших к Углову и на короткое время сцеплявшихся с ним в разговоре, решении ничтожных и жизненно важных вопросов: трое суток ШИЗО, три минуты на пользование «долевой» отрядной электроплиткой.

Кем-то вкрученный в этот трудовой бедный череп взрыватель и засаженный в ребра термитный заряд были связаны явно с Углановым, на Угланова замкнуты, от углановских неосторожных, нечаянных резких движений мог в любую минуту кровавым фонтаном взметнуться вот этот железный.

Он, Угланов, привык быть объектом физзащиты всегда и везде — и сейчас, в новом воздухе, охраняемый с обратными смыслом, границами, сокращенный до узника зверофермы, притравочной станции, ощутивший садняще свою уязвимость, несомненно почуял на себе от Чугуева «это», невозможное новое, позабытое старое: у него появился на зоне — слуга. Человек стерегущий повсюду таскался за ним — на почтительной, не сокращаемой, но могущей мгновенно быть покрытой дистанции, не боясь за свои арматурные кости и боясь, что ударят Угланова: вот тогда-то в нем все и рванет, навсегда изменив его участь. Как в проявочной мутной воде проступили невзрачно-служилая морда и охотничьи глазки лукавого Хлябина. Это как бы понятно — санитарные нормы, соблюдение техники безопасности крупного государева вора: может кто-то наброситься тут на него, покусать из соседей по шконке... Только будто бы что-то еще от него хотел спрятать вот этот мужик; что-то не заживало, не могло зажить в этих тяжелых глазах — окликая Угланова словно из общего прошлого; что-то этот Чугуев про него уже знал, понял раньше, чем Угланов зашел в эту зону, что-то будто Угланов уже ему сделал когда-то. И конечно, Угланов не видел его никогда и нигде, единичного этого человека, лица, никогда не спускался к нему со своей высоты, выделяя из сотен закопченных могутовских(?) ликов; у него была армия вот таких сталеваров, чтобы помнить их всех; помнил он поименно, в лицо разве тысячи три отличившихся, лучших, отборных железных — рекордсменов,

зверей, мастодонтов, умнозрячие руки, способные оживить закозлевшую домну, не сбавляя при этом ничуть форсировки, и спасти от усталостных переломов прокатные становые хребты, позвонки оживавшего под рукой Угланова мегалодона. Может быть, он когда-то вот этого малого и зацепил, не заметив, дальнобойной ударной волной одного из своих судьбоносных напалмовых и ковровых решений: никаких малоценных хрящей, только правда железного дела — невозможность кого-то отдельно из ста тысяч железных жалеть. Надо было понять — смысл этого страха в Чугуеве, притяжения и отторжения, проклиная жалобы, хорошо сохранившейся ненависти или, может быть, просто потребности из-под Угланова выбраться. Что застряло давнишней пулей посреди трудового вот этого черепа? Кто он?

Слишком плотно был занят Угланов судьбой, физзащитой несчастного дурака Вознесенского, а потом своей собственной голодовкой и вязкой тяжбой за свободу от карцера, одиночного плавания в трюме, чтоб заняться еще и вот этим. Трое суток вот этот человек стерегуший оставался еще для него безымянным, а потом проросло в разговорах ничего не сказавшее имя — Валерка, а потом и фамилия рода: «Заключенный Чугуев! Ко мне!» — и, конечно, его резануло, обожгло дуновением могутовской огненной силы: помнил он старика, настоящего чернорабочего бога прокатного стана во Втором ЛПЦ, испокон на заводе служили Чугуевы, рекордсмены, рабочая знать; слабый Саша Чугуев, которого он, Угланов, не выбросил в 96-м с ископаемого остова, кладбища проржавевших и закоченевших машин, взял с собой, на службу, в топ-20 могутовской власти... Ну и что — что Чугуев? Мало, что ли, среди русских Чугуевых, Кузнецовых, Хабаровых, Клюевых? Иванов бы

царапнул? Но обличье, порода: в том, как движется он, как он работает, проступало нестертое «Сделан в Могутове», все дышало в Чугуеве неубиваемой родственностью, соприродностью огненной силе, земле, о которой Угланов знал все и которую мыслил своей, без нее уже не существуя. И, быть может, вот это родовое клеймо механически, неподотчетно Угланов приметил, заподозрив в своем — своего: как есть родство по крови, так есть родство по стали, по тому, чему служит, чем жил человек. Ну не «братья», конечно, но вполне «император» и «гвардия» были Угланов с железными, и вот даже бескровное Ватерлоо устроили эти гвардейцы контргайки и шпинделя, когда русская власть начала задвигать его в небытие, — вся страна, миллионы телезрителей в мире, онемев, наблюдали вот это аномальное, необъяснимое проявление любви пролетариев к эксплуататору, единение мозолистых рук и натертых хомутами загривков с запрягающим и погоняющим иродом: что же с ними такое там случилось? радиация, метеорит?.. А скрепляло их в целое и магнитил Угланов одним — созиданием прочностей на единой земле, и не важно, под кем богатеет земля, лишь бы вправду, вещественно, с ощущением сытости в брюхе, она богатела; только производением можно уничтожить извечную разделенность людей по родам, по способностям; уничтожить саму разделенность он, Угланов, не брался — нельзя, а вот злобу и лень, страх и зависть рабочего люда и презрение «хозяев» к нему, человечьи ржавчину, гниль, что растут вот из этой раздельности, — можно.

Но сейчас, за колючкой, в бараке, когда от ста тысяч железных остался один непонятный, не проявленный, темный Чугуев, вот как раз разделенность он чуял — исходивший чугунной волной от Чугуева, отжимавший его от Чугуева страх. И

Угланов подумал, что ему было проще тогда, в 96-м, раскатать неприступную кладку не признавших его, не пускавших его на завод всех могутовских тысяч, чем сейчас что-то вытащить из одного непрозрачного этого зэка, расцепив его мертво сведенные челюсти. Разделяло их точное знание, какой он, Угланов: помнил этот Чугуев, навсегда прояснил для себя неспособность Углanova замечать, различать и, тем более, считаться с единичной правдой тех, кого давит, разгоняя машину свою. И чем больше Угланов приглядывался, тем вернее казалось ему, что когда-то он все-таки видел вот это лицо, как-то раз на него налетел и споткнулся, как о камень, дорожный «кирпич», и вот даже почувствовал от столкновения мелкую, раздражившую, краткую боль... Ну конечно, не это ровно-серо остывшее, словно под слоем окарины, вот с каким-то усталостным зримым изломом лицо, с затверделой гримасой застарелой и незаживающей боли, или, может, обиды на жестокость судьбы, или, может, отчаянных и напрасных усилий из судьбы этой выбежать, — а начальное, то, молодое, бесстрашное, с белозубым каленым оскалом и веселыми, наглыми, ясно-чистыми до пустоты бунтовскими глазами кумира девчонок района... И казалось еще, есть и вправду какое-то сходство с Чугуевым Сашей, и вот если бы Саша не взмыл в господа, а наращивал возраст в горячих цехах или тут вот, на зоне, точно так же окрепли бы и огрубели у него лоб и челюсти, скулы похожей нарезки и такими же точно канатами натянулись бы мышцы на шее. Сколько он уже здесь просидел и за что он сидит?

Для начала Угланов прошелся меж шконок в бараке, словно вдоль одинаковых ниш колумбария, и царапнул глазами табличку со статьей и годами лишения свободы: 105-я! вот так да, душегуб с 96-го и уже почти полностью все свое отсидел,

заплатил «справедливую цену» за кровь, взял свой вес и пронес, не согнувшись до трясущейся твари: «Что сделать?! Я все сделаю, Сван, принесу!», и уже замерцал в подземельной туннельной темноте встречный свет, раскаляясь затяжками, и должны заскрипеть через самое жалкое время проржавевшие челюсти зоны, выпуская на волю его, и вот тут-то его, не согнувшегося, обрушением и придавило — он, Угланов, его придавил.

Все равно все еще ничего не понятно. Вот боится чего? Ну пришел его Хлябин к Угланову, прихватил на каком-то обычном дерьме: или грамм запрещенного, или железка с отпечатками пальцев и пятнами крови. Ну и что? Ну походит за Углановым эти два года. Стукачом, пеленгатором, что ли, приставили — непрерывно ловить, доводить до нешумного Хлябина каждое слово, что Угланов уронит, — так ведь это таскать из пустого в порожнее, да и сколько их тут без него, барабанщиков штатных, щуплых до неprimетности, неразличимости. Что ж ему тогда велено сделать с Углановым, от чего он, Чугуев, вот так задыхается, — может, наоборот, отмесить кулаками до крови, до раскрошенных, шатких зубов, до животной покладистости, а потом объяснить эти зубы и кровь своей «личной неприязнью» к буржую Угланову. На мгновение даже обессиливающе заголодело внутри и заныло в затылке, в ставших тонкими, ломкими, как у птицы, костях, как представил себе массу на ускорение этой кувалды. Так чего же он медлит, Чугуев, тогда? Под рукой у него же Угланов всегда — в уязвимом для боли физическом облике, всю дорогу ничем не прикрытый, кроме собственной кожи. Ждет отмашки, нажатия на кнопку пульта дистанционного управления роботом?..

Шуранули над промкой обед. Ухайдакавшись, стек Угланов на корточки,

задницу, привалился спиной к панельному штабелю и сидел, пропуская сквозь себя многоногое ползучее шарканье и смотря снизу вверх на мужицкие запыленно-чумазные лица: ломари побросали свои булавы и по-рыхлому припустили к кормушке, обтекая Углового, словно пенек. Кто-то коротко взглядывал на него, как на выброшенную вязко-тяжким бетонным прибоем на берег дохлятину, но в то же время и с каким-то уважительным и жалеющим недоумением: вот зачем ему это? неужели от той же тоски и безделья, что изводят здесь каждого? И Чугуев надвинулся всем своим давящим твердосплавным литьем, мощногрудой глыбой, сталеварской статуей — не взглянул, не промедлил, но что-то в нем дернулось, поползло и споткнулось какое-то будто движение — вот не то протянуть ему руку, Углового (вряд ли!), не то засадить ему в череп с ноги, чтобы уж без обмана отключить излучение, вышибить, словно мячик футбольный, из жизни своей навсегда.

Что же именно он ему все-таки сделал, Углового? Как-то это все было увязано: и сегодняшний день, и придавленность этого малого здесь, и та давняя и не имевшая срока давности смерть, за которую здесь Чугуев сидел, и какое-то из стародавних проявлений углановской воли... Надо было понять это, вспомнить, это раньше никто по отдельности из железных значения для него не имел, важный только в составе могутовской силы, а сейчас, «на безрыбье», когда «в подчинении — ноль человек», важен был ему каждый со своей отдельной судьбой и правдой.

Пересилив разбитость, толкнулся, потащился прицепом вот за этой чугунной спиной, за бригадой своей; голова была смутная, ни хрена не варила, носоглотка шершавилась, словно наглотался наждачной бумаги, и хотелось горячей воды, чуть

подкрашенной сладкой чайной этой бачковой воды с сильным привкусом гнилости, ветоши... Дикушин и Царьков вдвоем забрали из раздаточной все миски на бригаду, Дикушин, щуплый парень с лицом призывника из сельской местности, привычным кратким жестом двинул по столешнице к Угланову конструкцию из мисок, накрытую двумя ломтями черного, — как двинул бы к любому другому из бригады, и снова он, Угланов, привычно поразился вот этой простоте движения навстречу, тому, как они быстро его приняли — совсем иначе сделанную особь, существо с летающего острова, впустив его, вобрав в свое житье-бытье, как в каменную раковину моллюска; невидимый свинцовый колпак молчания всех, накрывший его в зоне, распаялся, давно уже к нему протягивались эти татуированные руки с полными чайными дымящимися кружками и пригоршнями шоколадных конфет — к человеку, который ничего никогда не просил, навсегда не нуждался в протянутых: из ШИЗО его встретили раз и встречали всегда уже «гревом» — накрытым с русской нищенской щедростью поминальным столом: это был прям какой-то египетский ритуал погребения, с приношением даров, обрядом в чистое, свежее всё, с той лишь разницей, что не сплавляли «туда», а встречали «оттуда», отмечая рождение твое, воздавая за голод и холод, просто так повелось тут у них испокон, установлен закон: «греть» любого «с мороза», претерпевшего что-то от лагерной власти, ну не каждого, да, а того, кто показал «человека», «людское» в себе, и закон исполнялся со скучной, сухой неуклонностью, может, вовсе без чувства живого, хотя именно это, живое тепло, он, Угланов, от них и почуял, очень слабое, но и предельное по возможностям этих людей: греем тем, что имеем, больше нет ничего, эти ток, излучение тепла не спасают, не выносят на волю, не дают прекращения и

ослабления властного пресса, но хотя бы вот так, хоть на каплю дегтярной обжигающей крепости, шоколадной нацеженной сладости мы тебя подкрепим, а потом подкрепим и другого, когда подойдет его очередь отправляться на трюм. Был Угланов другим и чужим, «не отсюда», но сама одинаковость воздуха, та же мера придавленности, удушения живого, не старого и могущего долго еще жить человека — все, что чувствовал каждый в себе, на себе, — убивало вот эту раздельность. Чувство общего было врага — и совместного сопротивления медленным, пережевывающим каждого челюстям зоны. Все они тут, положим, сидели заслуженно, получив по делам своим каждый свое, но от этого власть, что щемила их в зоне, вовсе не становилась беспримесно праведной и имеющей право делать тут с ними все.

Он придвинул обратно к Дикушину миску с перловкой: «тебе» и хлебал неостывшие, еще даже горячие кислые щи с лохмотьями и жировыми облачками омерзительной тушенки, и ничего, не вывернуло, жрал, забивая рот кляпом из капустных соплей и разваренной мыльной картошки, ощущая рост сытной, подкрепляющей тяжести в брюхе. Кое-что он уже этим вот мужикам показал: прилетел не с Луны, заводской он, промышленный человек, понимающий, как поставить железобетонное дело, и уже потянулись к нему бригады: процентовочки бы посчитать нам, Артем Леонидович, а то что-то никак все не сходится, котелок закипает... Ну а как без простоя, когда арматуры на стенде осталось с полтонны, ну по ГОСТу на куб сто пятнадцать вот стержней уходит, вертикальной укладкой делаем... ну все правильно, да, номинальный диаметр умножаем на плотность и длину умножаем на массу удельную... да вы что? да ну

ладно? это что ж мы тогда?.. ну спасибо, Артем Леонидович. Скоро станут всё делать, как скажет им он, на пяти насекоморазмерных гектарах промзоны, если только, конечно, милицейские сторожевые не заташат его на колющем ошейнике с промки обратно в барак. Он, хозяин совковой лопаты, почуял смешное подобие прежней своей управляющей и разгоняющей силы: два десятка, три сотни людей подались, потянулись под властную руку его; пусть вот только на этом земляном пятачке, пусть в одном только этом измерении готовы ему послужить, и нигде и ни в чем уже больше, но все же: есть такое дебильное слово «лояльность» — ни один не желает Угланову сдохнуть.

Один только Чугуев каменел со сведенными челюстями, да еще этот вот пропускающий свет, пропускающий взгляды и как будто и вовсе растворенный в воздушной пустоте без остатка Известьев оставался ему непонятным, совершенно Угланова не замечая... Он хлебал свою пайку и взглядывал на сидящего прямо напротив, выскребавшего миску до блеска Чугуева, нажимая глазами на выпуклый лоб, и Чугуев, не выдержав, взглядывал со вполне быковатым, «естественным» выражением «какие вопросы?», тяжелее все и тяжелее, до нытья в лобной кости, до щекотного жжения в углановских яблоках нажимая глазами в ответную, как оно и положено «быдлу», для которого пристальный взгляд равнозначен усилию согнуть. Но за этим давлением пряталась детская мука беспомощности, и, пожалуй, проглядывала донная память, что бывает за то, что попрешь на Угланова буром: раз уже он так сделал, залупился на гору и теперь уже будет последним вот здесь, кто подымет на Угланова руку из одной видовой только ненависти... Где же я тебя все-таки переехал, железного?

Несмотря на комплектность, несомненную цельность, живучесть, лишь подчеркнутую застарелыми распахавшими шкуру белесыми шрамами, видел перед собой Угланов калеку, нутряную придавленность, неполноту: что-то с ним здесь, Чугуевым, непоправимое сделали, что-то сделалось с ним тут за годы лишения свободы само. Ну так он не кило гвоздей вынес из цеха — убил. Интересно, кого и за что. И спросил шепотком у Антоши-Сынка на воскресной прогулке. И Антоша, давно уж впитавший всю правду про всех, с кем сидит третий год под барачной крышей, Угланову вывалил: «Да цветного, мента, говорят, завалил по запарке, уж не знаю, там как и с чего вся заводка... вроде, при исполнении, по форме был мент. За мента и пыжа могли дать, непонятно вообще, как он цел до сих пор, вот менты его за своего не прихлопнули. Раньше чалился на строгахе под Челябиной где-то, а потом вот сюда его, к нам. Мутный он вообще-то какой-то, отец, так-то с виду обычный, ломарь ломарем, жопа в мыле, пашет, пашет на промке за десятерых, да вот брат у него, говорят, из серьезных, тоже типа тебя вот хозяин заводов, точно я не в курсах, но уж очень на правду похоже, что вот брат мохнорылый его от ментов откупил, забашлял, сколько надо, просто так, согласись, ничего не бывает».

Многовато уже совпадений: знал когда-то Угланов такого «владельца заводов» по фамилии Чугуев и с отчеством Анатольевич даже. Да ну бред — Саша бы откупил, если брат, целиком, дал полтинник зеленых следаку и полтинник дежурному оперу, мелочь из-под ногтей, или вывез из зоны потом бы, года так через два, через три, по лиловой печати о смерти и новому паспорту... Неужели побрезговал, не пересилил омерзения к родному австралопитеку, убийце, отхватил от себя тупиковую ветвь, с содроганием нормального, высшего глядя сквозь заборные

прутья на того, кем бы мог стать он сам, если б как-то немного иначе сцепились изначальные клетки, кислоты?

«И еще одна маза, отец, — по дорожке нашептывал Тоша, — сам опять же вот свечки, признаюсь, не держал, только ходит слушок, что у Хлябина он мясником... Ну вот месит на зоне, кого ему скажут, бабки, бабки из коммерсов для него выжимает. Может быть, и парашу сейчас на него я тебе прогоняю, но вот кто-то уж точно это дело для нашего куманька исполняет, мохнорылых прессует, чтоб бабло свое вынули. Вот и все, что могу я тебе про Чугуя, так-то он не ершится, не бычит, тихо-мирно живет, уж куда ему бычить под такой статьей и с такой колотушкой — знает все про себя, изнутри запаялся и ходит, не сорваться бы только еще один раз. Я уже на таких насмотрелся: тут, на зоне, мокрушники — вот, как правило, самые смирные люди. Но и сам за усы его тоже не дергай. Он вообще-то семейный, жена к нему ездит, и пацан у них общий растет».

Значит, было его кому ждать, значит, было к кому продвигаться все эти огромные годы. К своей собственной крови, текущей по нежным и маленьким жилам. Значит, должен он, права не имеет остаться здесь после звонка. Или, может быть, наоборот — стало не к кому больше ползти. Он, Угланов, не верил в силу вечной любви, в материнскую — да, а в собачью преданность любящей женщины — нет, лишь на том основании, что собаки так долго, человеческий век, не живут. Ну а сын — сын, тем более, «к тому времени» вырастет, вырос уже из отцовской позорной, искореженной жизни: на хрена ему нужен проржавевший от крови и воздуха зоны отец? Десять лет представлялись Угланову сроком, за который сгорают, сгнивают, отмирают все родственные и любовные связи, обрубить в одночасье их

стальным полотном «осужден» иногда невозможно, но дальше — дальше действует время, ненавистно-всесильное время-вода, проникает по капле и точит, разъедает телесные нити двоих; и на свободето у всех кончается одним: беспощадной старостью и невозвратностью, иссыханием яичников, семени, силы, а когда разделяет людей нескончаемый, через годы ползущий бетонный забор...

Он, Угланов, сверялся с собой, со своими годами неволи, примерял на себя ту же участь, подставляя хребет под давление того, что уже начало его вдавливать миллиметрами в землю: как же все-таки страшно, смешно одинаковы участи всех, кто попал под вот этот завал. Все теряют одно, одинаково всю свою силу и правду; всех убьет одна смерть — он, Угланов, согласен исчезнуть, все равно ж ведь придется согнуться под гнетом общераспространенных болезней, не дождавшись «таблетки бессмертия», проржаветь изнутри и рассыпаться, но ведь это потом, это лет через ...дцать, а сейчас у него еще целая жизнь, и она убывает — сейчас, так паскудно бесследно и пусто, жизнь, которую мог бы прожить вместе с сыном, за которую столько построить всего, — с этим он неспособен смириться. И вот этот Чугуев, уже потерявший, заплативший, отдавший половину мужского здорового, полносильного века, все равно до сих пор не согласен на эту, прежде времени, заживо смерть — смерть, которую в зоне живешь и которая тут в тебе, нестерпимо живом, продолжается, а иначе сейчас бы уже ничего у него не болело, Чугуева, и Угланов, к нему приближаясь, не чувал бы ломового гудения запертой крови, гнет живой этой боли, что, казалось, разломит вот-вот изнутри этот сляб.

Это лишь для него было внове — платить за возможность простора, обзора трудовой усталостью тела, мозолями, потом, тем же обыкновенным, чем платили здесь все. Для него, человека, который ничего тяжелее мобильного и обшитого мягкой кожей руля вездехода двадцать лет как в руках не держал и орудовал только идеями денежных, электрических, сталеплавильных и живых человеческих сил. Это лишь у него ныли шея, лопатки, все мышцы, к окончанию смены забитые каменной болью, а потом началось: каждый новый гребок унимал, заглушал, разбивал эту боль добавляемой новой, живительной болью; ощущал он под кожей появление новых каких-то туго скрученных, толстых и способных выдерживать большие разрывные усилия тяжей, и уже не подламывались ноги, и чугунный совок больше не выворачивался из припаянных к древку ладоней; все, что прежде, недавно в составе его исходило ледащей лошадиной дрожью и кричало: не можем, прекращай это все, а не то мы полезем сейчас из тебя, — начинало теперь удивляться себе, добавлению стального в состав, и настывший по днищу, выгребному бассейну свинцово тяжелый, вовсе не поддававшийся мышцам бетон с каждым днем отрывался все легче, становился могущей свободно быть перелопаченной нормой. Извлекал из лопаты он прок, из железной коробки, в которой поместился теперь неожиданно — весь. Вылупяться он будет из этой железной самосвальной личинки.

Наконец он увидел Ишим целиком. Не четыре локальные зоны, не жилой городок, обнесенный трехметровым бетонным забором, не шахтерский поселок с центральной площадью-плацем, со своей двухэтажной школой, санчастью (клеткой для Станиславы), пищевым комбинатом, котельной, баней, а все восемь гектаров неволи и землю, на которой построили зону. Вид сверху: два неравных квадрата —

вдвое меньший жилой, рассеченный заборными сетками и застроенный тесно бараками, и большой, с лоскутами забеленной цементом земли меж бетонными плитами и пирамидами щебня. Жилой квадрат лежал южнее (юго-запад?), промзона — севернее (северо-восток?), своей северной границей примыкая к промзоне вольной, истинной, огромной: там сразу следом за забором начинались задворки сдохшего ремонтного завода — со штабелей Угланов видел поеденные ржой и заросшие травой одноколейки и протяжные стойла депо, из которых выпирали чумазыми тепловозными мордами поездные составы: все покрылось лишайником и никем не лечилось, но откуда-то издалека долетали до слуха железнодорожные стуки и вздохи; близость этой товарной? узловой? сортировочной? станции подымала внутри него рвущий простор, совершенно звериную тягу, дававшую ложное ощущение телесной всесильности: разбежаться, взлететь, разом перемахнуть, приземлившись, как кошка, по ту сторону зоны, и таким вот ничтожным казался трехметровый слоновий забор со стальными штырями-«ресничками» и зубастой армированной «егозой» по гребню.

Всего в каких-то трех часах ровно-остервенелого автомобильного лёта, в 160 километрах отсюда, пролегла граница со степным Казахстаном, непрерывная только на бумаге и в «Гугле» и расстрельно, решетчато, высоковольтно перекрытая только на железнодорожных путях и потоковых трассах — совершенно бесплотновоздушная на протяжении сотен километров степных большаков: там никто не живет, там пространство, земля служат уничтожению, а не нуждам двуногих. Засадили его вот сюда, выбрав точку на карте подальше от обеих столиц, миллионников, и не важно, поближе к чему, — не подумав, в арктическом знании,

что Угланов — животное целиком кабинетное, что не может мужчина никогда забеременеть, а Угланов — физически взять и уйти.

Ну а может? Снимок местности в «Гугле» на планшете открыть? Федеральные трассы, речушки, равнины? Закупить себе аборигенов, что протянут дорожку сигнальных огней и подгонят машинку под задницу, раздобудут моторку, схоронят под ельником? Мозговую полнейшую чуял он нищету, неспособность начинить своей волей вот это пространство, пустыню, страну, так живущую, словно никакого Углanova нет в ней и ее география для Углanova — точка.

В этой точке, засаженный в собственную черепную коробку (нет надежней тюрьмы), он пока обживался, марш за маршем в отрядном строю изучая все детали того, как устроена зона на въезд и на выезд. Восточная заборная стена, отчетливо видневшаяся между штабелями готовых ЖБИ на первом полигоне, была пробита мощными железными воротами с караульной, подъятой на сваях над забором кирпичной вышкой: стальные 20-миллиметровые листы раздвигались с натужным поскрипыванием, запуская на промку порожние панелевозы и груженые щебнем, песком самосвалы, заползавшие то вереницами, то в одиночку, выпуская — просевшие на рессорах под тяжестью взятых армированных плит и огромных железобетонных колец; мастодонты хребтового и кассетного типа с пережевывающим хрустом и пыханьем подползали к закрытым, открываемым с пульта на вышке воротам, накрывали своими кряхтящими днищами смотровые траншеи — муравьи-контролеры копошились под ними, ковырялись в капотах, в кабинах, придавая значение всем звучащим пустотам, всем узлам, сочленениям, трубкам, всем возможным вместилищам для чего-то размером... ну максимум с

кошку; сквозь железные кости держательных, ограничительных ферм, на скелетных платформах все и так было видно: продукция, и заглядывали лишь для проформы в ничтожный зазор меж панелями; никаких установок ультразвука, конечно, чтоб просвечивать эти железобетонные сэндвичи; если б были сыпучие грузы в контейнерах, то тогда бы до днища, наверное, протыкали баграми. Посмотрел он на это сочетание полной прозрачности с абсолютной непроницаемостью — и в башке его щелкнуло: вот! Все машинное-железное и человеческое сцепилось в безоткатный и непогрешимый в своей простоте механизм — как в ускоренной съемке, перемотке строительных пятилеток и геологических вечностей, как в рекламах российских нефтяных монополий и промышленных монстров: горизонт зарастает высотными мачтами башенных кранов, и несутся по небу заводские дымы, облака, и свинцовая хмарь запустения и неустройства смывается навсегда наступившей солнечной синью процветания и изобилия: увидел, как ему вмуровать себя в этот бетон и на этих колесах, в железном скелете уползти за ворота. Известковой пылью дымилась меж раздвинутых створок бетонка, вот по ней доползти до Ишимки (выводила на берег реки, упиралась в песчаный карьер), ну а дальше...

Никакого нет «дальше». Тут должна поработать бригада, двое-трое хотя бы рабски преданных, рабски зависимых от него человек, что сколотят ему, под него этот гроб, заколотят, залиют по поверхности жидким бетоном... и никто не готов, не согласен, конечно, на зоне на него поработать вот так, подставляя себя под стрелу, под плиту, прочность всей своей будущей жизни на воле, с теми, кто их там ждет, как Чугуева, и кого они любят. Послушание закону, конвейеру зоны — вот на что они все заложились, мужики с небольшими сроками за украденный где-то с повозки мешок

ячменя и за пьяную драку с увечьями; все, что нужно от них, — отсидеть три-пять лет мерзлым овощем, и тогда приговором придушенная, полустертая жизнь снова станет законной, невозбранной всамделишной жизнью, здесь таких большинство, ну а что до «тяжелых», «зверей в человеческом облике» — это здесь они, в зоне, а не «там», в позабытом, позабывшем их мире, устроены: здесь дается им все, пропитание, место для жизни — на хрена им «туда», где не могут уже ничего? На хрена им впрягаться в углановский замысел? Волчья масть? Волчью масть не выводят на промку, вор на промке работать по понятиям не должен. Так что пусть эта мысль-идея — наивная — уползти за ограду невидимым поживет в его черепе как зеленая искра, росток под плитой, получая какие-то воду и пищу по зрительным нервам извне, чтоб развить свои корни, или не получая совсем ничего, — и тогда она быстро зачахнет. Пусть, возникнув, растут рядом с нею другие, упираясь, давясь и доказывая свою жизнеспособность хозяину.

А какие другие? Вспомнил про «своего» архитектора, не забывал — Вознесенский, спасенный, не порванный, со сведенным навеки со лба петушиным клеймом, надышался неприкосновенностью и носился по зоне надутым углановской волей шариком, обмирая, потея, подтаяв от тепла человеческих душ: здесь вот тоже, оказывается, люди! Пощадили, не тронули, поняли, и Угланов — какой человек! — обещает ему пересуд и свободу, возвращение к любимым двум женщинам. И спешил теперь делать этим людям хорошее, «обустроить пространство для жизни людей»: благодарно взвалил на себя всю проектно-расчетную каторгу по строительству и капремонту объектов и дренажной системы колонии. И бежал сейчас по полигону с планшетом и размерными характеристиками для бетонных панелей под мышкой —

близорукий, беспомощный добрый придурок, самый первый из всех душ на зоне, кого он, Угланов, без сомнения (?) может наполнить сумасшедшим своим.

— О, Артем Леонидович... — Он, Угланов, сидел на бетонной плите, дожидаясь еще одного самосвала; две дубацкие туши покачивались на расстоянии, убивающем звуки. — Ух вы серый какой. От бетона вот, в смысле — цемента. Ветер, ветер какой!

— Сядьте рядом со мной. Вот, курите.

— Так ведь я не...

— Сигарету возьми, — надавил на чернильные, беззаветно, бессмысленно благодарные глазки и в голос: — Хоть убейте меня, не пойму, в чем величие вашего Нормана Фостера. Он, по-моему, только ворует у Шухова, нет? — Пусть услышат соседи, мужики, контролеры: «ну, хай-тек, он действительно очень во многом восходит...» — двое «интеллигентов» на минуту слились в непонятном и понятно безвредном, пустом щебетании. — Тихо, тихо сейчас говори. Ты, наверное, уже изучил эту зону, Вадим. Как инженер, как спец.

— Ну да, спасибо вам — можно сказать, работаю по специальности.

— Мне нужен план зоны, Вадим. Мне нужно, чтобы ты мне подсказал... — выпускал из себя в воспаленном спокойствии, бредил, оскальпированным черепом установив, осязая, кто где, на каком расстоянии стоит и что может слышать, — где тут тонко и рвется. Где можно прорыть. Две точки, две дырки, по ту и по эту.

— Вы?.. Вы?.. — вперился в Угланова, словно тому проветрила череп сквозная дыра, полезла на морде звериная шерсть и может Угланов теперь лишь рычать, пустившись обратной дорожкой с лестницы людской эволюции, вниз до упора.

— Вадим, не надо это осмыслять сейчас. — Смотрел в неспособность вместить. — Ты пойми для себя: ты ничем не рискуешь. Никто не узнает, не въедет. Никто не докажет, что мне это — ты. Полгода всего, ну год вот от силы — и ты уже будешь в Москве. Уедешь вообще из страны. Твой образ как несправедливо пострадавшего, он уже сформирован сейчас во всех СМИ, и этого уже назад не отмотать, никто ничего тебе сделать не сможет.

— Да ну при чем тут это?! — скомкав в мусор свое, тварный страх за себя, прокричал Вознесенский задыхавшимся шепотом. — Нереально, Артем! В смысле: я-то скажу, не проблема, тут любой первокурсник заборостроительного... — Голос вырос, окреп: наконец-то впервые за столько потных месяцев страха очутился в своем измерении силы, мастер однопролетных стремительных арок, хозяин пространства, точно знающий, как выпекался и в каком направлении можно прорезать вот этот земляной и бетонный пирог. — Но физически как вы, физически?!

— И не надо, Вадим, ничего представлять. — Слышал он осторожный, глухой земляной плотный стук зрелых яблок, срывавшихся с ветки, — вынимаемых словно из кладки расшатанных первых гнилых кирпичей в месте том, где укажет сейчас Вознесенский.

— Да, не надо. — Вознесенский поставил диагноз, признал: вот сидит рядом с ним совершенно иначе устроенный, параллельная ветвь эволюции. — В общем, я вам скажу, ну а дальше... — задрожала под белой, мягкой кожей кровь, и с какой-то детской гордостью взятого в хулиганский набег на запретные кущи коллективных садов, вот во взрослое грехопадение младшего зашептал обрывавшимся голосом: —

Место только одно подходящее. Это санчасть. Жбанов хочет сейчас новый корпус — ну так я посмотрел и уперся неожиданно в канализацию. Вот так идет санчасть, — указательным пальцем провел по плите. — Под прямым углом флигель, в нем сортир и рентгенкабинет. Левый дальний вот угол рентгенкабинета, если брать от двери. Только дальше уж чудом каким, я не знаю, если вы попадаете в подпол, то тогда надо рыть параллельно стене торцевой. Двадцать метров — и вы упираетесь в эту трубу. И по этой трубе метров сорок — и она вас выводит на речку. Вот санчасть, если так, — это жила. Это старая канализация, не тюремная, а городская, про нее и не помнит никто. Все другие возможные... точки — это вам уже как до Китая. Кто же пустит вас только туда? Там же всё на замках и в решетках. Да и кто это будет для вас? Умозрение это. Это надо, чтоб все были в курсе, это надо купить будет всех. — Глазки дрогнули, вспомнив об углановской дикой покупательной силе. — Так ведь вы их не купите. Случай не тот. Вы, вы, вы — не тот случай. Вы — заложник, Артем, своего же размера, значения. — Зачитал тот диагноз, что, закинув башку, прочитать может каждый, как по огненным буквам реклам над высоткой. — Тоже очень смешно получается. Квод лицет Йови. Тот есть наоборот. То есть люди обычные, низовые, несчастные люди, им никто не поможет, но и вам ведь никто. Все боятся. Даже палец о палец для вас. Вы очень теперь, очень, вот даже как-то страшно одинокий человек, — взгляделся в Угланова из своего бессильно-сострадательного теплого далека — в безнадежность усилий оторвать зад от вечной мерзлоты Заполярного круга. В графе «причина смерти» напишут ему это — «одиночество».

— Зато я сногсшибательный мужчина, — усмехнулся качнувшейся мысли о маленькой, высыхающей необратимо хозяйке санчасти, не желающей жить, а тлеть

Станиславе: как в любой голливудской дешевке, бесцветная мошь обернется красавицей, неправдиво мгновенно растленной в сообщницы, ну а кто сказал, что он не может вот в такую дешевку попасть? Неслучайно царапнула сразу его эта баба: вот, оказывается, что он почуял — обещание, возможность отдушины, вкус проточного воздуха, вот сейчас обернувшийся запахом земляного кротовьего лаза. Может быть, эту бабу запустили сюда неспроста — для него, под него обнесчастлили, вырвав что-то (пока непонятно, что именно) у нее из нутра, чтобы он мог, Угланов, заполнить пустоту, разоренное место.

— Идут! — Близорукое парнокопытное вздрогнуло, перестав в него преданно-непонимающе вглядываться: из-за бункера вывернул двухголовый патруль и пошел прям на них, с каждым шагом наливаясь всегдашними неудобством и необходимостью обращаться на вы и не гавкать на главного узника зоны.

— Все, давай, разбегаемся, — протянул Вознесенскому руку и зачем-то покрепче сдвинул детски пухлую эту ладонь: чтоб вдавить в него, что ли: «молчи», завари в себе наглухо это, про подкоп и санчасть, «не предай» — и смотрел в побежавшую жирную спину, понимая, что этот всё выпустит сразу, потечет, вот как только надавят и скрутят, половой станет тряпкой в умелых, тех же хлябинских поднаторевших руках... да ну нет, просто в голову никому не придет... Разве только что Хлябин своим лисьим нюхом почует, чем пахнет архитектор, которому дали изучить инженерный план зоны, и тогда уже точно прикрутят Угланова к койке ремнями как буйного и пошлют эсэмэску в Москву: «Этот ваш — невменяемый».

А пока надо срочно ему «заболеть», «зацепиться за крест», изучить Станиславу. «Фам фаталь» в белом чепчике. Обучился не то чтобы доверять Провидению: жизнь

дает ему, дарит всегда, раз за разом обязана что-то дарить, а в любое случайное — не для него — совпадение возможностей, в мясо инстинктивно вцепляться: было «ваше», а стало — для меня, под меня.

5

Хлябин будто забыл про него насовсем. Не выдергивал больше из отрядного строя, не подтягивал на зазвеневшей, натянувшейся леске к себе, чтоб проткнуть чем-то новым, засадить приказание новое, отменить приказание старое. А Угланов, жить рядом с которым было словно под высоковольтной мачтой ЛЭП, каждый день выходил по звонку на промзону и Чугуева больше не видел: посмотрел, посмотрел на Валерку, словно силясь припомнить со своей высоты, где он все же Чугуева видел, да вот так и не вспомнил, конечно: сколько было таких раздирающих пасти в «долой!» сталеваров, разбивающих лбы, кулаки о стальные затворы плотин, о порог его белых домов и кремлей, — да несметные тысячи, шихта, передельный чугуун, человеческий лом для могутовских жрущих, ненасытных конвертерных глоток. Непонятно вот даже, для чего вообще на Валерку позыркивал — ну почуял, не мог не увидеть прикованной, подневольной Валеркиной службы: что повсюду Валерка за ним своим слухом и нюхом влечется, за иголочкой ниточка, и не может того вот в лице своем скрыть. Усмехнулся, наверное, только этой хлябинской мутке: что и здесь вот, на зоне, закрепили за ним бугая, берегут его голову, шкуру — и придал ей значение не большее, чем лесной мошкаре.

Неужели все так, только так и продолжится — с той ставшей привычной

режущей ниткой у Валерки в ноздрях, что другим концом на руку монстра намотана, — безо всяких событий, без встрясок, отклонений от серой бетонной прямой, без ударов Валерке колуном по башке? Так вот и доползет он, Валерка, до звонка на свободу? Ну а как же еще? Ничего он, Угланов, не хочет и не может хотеть от него; здесь никто ему, в зоне, не нужен из немых работяг, согласившихся со своей виной и судьбой, той, которую сами себе своей дуростью определили. Ну не стены же, в самом вот деле, пробивать хочет их головами.

Здесь никто не подымет на него даже, монстра, глаза, поглядев ненавидяще или просто с тяжелым угрюмым неприятием монстровой властной неправды, здесь никто не почувствует в себе кипятковую и глухую потребность ударить — вот за то, что и здесь он, Угланов, навсегда больше их и сильней, и за то, что тебя даже не презирает. Он, Угланов, у них ничего не украл — они сами у себя все украли; это все понимают, ощутив, как смешна и глупа эта злоба на сильных и наглых по сравнению с долгом возвратиться домой, по сравнению с верностью ждущих тебя по ту сторону любящих или просто с плотком невместимого, нестерпимого вольного воздуха, с правом беспреградно идти по земле, куда выберешь сам... и ему не придется, Валерке, перехватывать бьющую руку, с кулаками бросаться прикрывать драгоценную монстрову голову; вообще смысла нет в том, что Хлябин ему приказал исполнять, — непрерывно следить за углановской целостью и невредимостью.

Дорогой из бетонных плит ложились дни, такой же и еще один точно такой же, и дегтярный чифирь, на короткое время подымавший бурление внутри, отуплял и глушил, простегав тело толстой ватой, и звенела в башке пустота. Вот одно лишь и было развлечение на промке. Аттракцион «Труд сделал из обезьяны человека».

Смотреть за тем, как монстр осваивает вибратор. Негнувшийся, нескладный, он воевал с вибратором, Угланов, как с электрическим железным псом, валтузящим и треплющим ватнонабитую поживу так и эдак: пробирала, трясла его, монстра, непрерывная дрожь, длинно-тонкие руки едва не вылущивались от натуги в костлявых плечах и локтях; царь железной России — что недавно одной силой мысли управлялся с прокатной Волгой стана-5000 — еле-еле тягался с бетонной лужей, вот с одной только этой ручной машинкой, которую здесь любой работяга усмирит без труда; все тряслось, тонкокожие впалые щеки — так, словно колотилось в нем, монстре, огромное сердце, и казалось: еще один вздрог и рывок — и вибратор завалит вот это стропило в бетон... Но Угланов держал, не валился, забрызганный от копыт до бровей беловатой кашей, ошметками; с каждым днем становилась все легче, послушней булава в понемногу наливавшихся крепью руках — ох уж он и упрям оказался, жердина, — не ломался, не гнулся, не отшвыривал в бешенстве: на хрен! мне оно, на хрен надо?! — вибратор.

От безделья не хочет свихнуться под барачной крышей, мужики все на зоне считали. Так ведь занят он был, мог заняться всегда мозговой работой — вот как раз по себе, по нутру своему. Приезжали на зону к нему адвокаты его, журналисты, как паломники прямо к святому, ага, уж такому страдальцу за весь мировой капитал; подымали его попкари на свидание, возвращался в барак он с какими-то папками и похожими на телефонные справочники тяжеленными книгами, перепахивал их выходными построчно, подымал и ворочал, наверно, в башке тяжеленные глыбы законов — в том вот, в том неземном измерении, воздушном, орудовал, хотя и представлялась Валерке как раз почему-то земля — как вот если бы небо «там»

было землей и в земле той воздушной тоже были прорыты кротовьи норы и тянулись какие-то корни, разветвленные нити белесых грибов, и по этим корням и сочились все эти бесплотные «перечислено двести миллиардов туда-то», пробивали дорожки себе грызуны, хлопотливые, вечно голодные и какие-то... мелкие, точно так же устроенные, как обычные мыши: ухватить свое зернышко «сто миллиардов», утащить его в норку. И Угланов жил «там», слал сигналы «туда», торговался по спутнику, закупал свою жизнь и свободу у власти, окруженной кремлевскими стенами: он, Чугуев, кого представлял — президента и безликих людей по фамилиям «коррупция», «дефицит» и «инфляция», для него телевизор навсегда уравнивал всех российских правителей в достоверности с теми сморчковыми нетопырями-пришельцами, чьи останки показывали в телепрограммах «Очевидное — невероятное» и «Необъявленный визит» как доказательство существования иной и высшей формы жизни. Настолько они были высоко, настолько они были сами для себя, что лично он, Чугуев, вообще не чувствовал их силы, теплового воздействия власти на свою земляную, непутевую, гадскую жизнь. Но за этой мышьиной грызней в верховных этажах русской власти весь обложенный книгами и бумажной трухой Угланов замыслил явно что-то и здесь, в человеческом измерении зоны, вот на этом режимном клочке окруженной забором земли, на которой все материально и каждый твой шаг задевает соседа по шконке: ничего никогда он не делал и не сделает здесь просто так, и вот этот вибратор Угланову нужен не для «здоровья», не затем, чтоб заполнить избыточную пустоту жизни здесь, в отведенном ему в наказание месте. На само это место он, монстр, не согласен. Вот казалось, и деться-то некуда, и никто навсегда уже больше не слышит всех его «не хочу», «я, я, я,

настоящий, огромный Угланов, не желаю оставить тут свои восемь лет, не согласен с законом, решившим, что я должен не жить восемь лет» — повалила его, погасила еще больше его абсолютная сила, лично сам президент, отобрали Могутов, перебили железные сваи, на которых Угланов держался, ничего не осталось — прекратить свое существование, потому что без собственной силы и воли никакого Углanova не существует, и ждать, отдавать свое время, пока с этим временем (одряхления, старения) не ослабнет, не сменится милостью гнев высшей власти и не станет Угланов, потерявший потенцию, зубы, безвредным. И вот вроде бы и пропитался Угланов пониманием, что жить ему здесь, понял, как понимают простые, обязательные к исполнению вещи: «начинается осень», «наступила зима» и «надеть надо шапку». Но за этой углановской внешней подчиненностью «осени», «времени года» прозревал он, Чугуев, по каким-то неявным приметам иное: не признал, не простил своей немощи, нищеты этот вот человек, что всегда целиком ведал собственной участью, выбирал себе место, забирал в свои руки все, чем хочет владеть. Тут ведь главное — взгляд. Взгляд остался таким же застарело упертым, ничего в этом мире не видящим, кроме того, во что надо вклекнуться, тем же самым, с которым объявился Угланов тогда на Бакале и смотрел сквозь людей на одну лишь гранитную рваную рану в земле, на железную жилу, которую надо вспороть для подпитки могутовской — его собственной — силы. Ничего, даже зона его не изменит. Зону будет он взламывать. Изнутри вот, ручными инструментами взлома, раз не может решить, изменить свою участь он «там», в эшелонах кремлевского неба. Больной. Даже жалко до смеха Чугуеву стало на какие-то дления его — человека, который не видит действительности, человека, который по-детски

привык, что действительность — это набор пластилина в руках: из нее может вылепить все, что угодно. Ничего ж ведь не сдвинется в зоне, как он ни нажимай: люди здесь затвердели, приварились по шконкам, из людей получаются самые прочные прутья, люди воском становятся в хлябинских только руках, это Хлябин из них отливает то, что нужно ему. Ничего тут, на зоне, как на мерзлом болоте, ногою не тронь, вешек, вешек держись, коридоров, проложенных русел, позабудь, задави в себе жадность ко всем человеческим сильным проявлениям жизни, все потребности тела, утробы и достоинство, гонор в себе задави, изначальную дикую тягу к свободе, даже жалость вот к слабым не смей выпускать, к тем, которых стирают на глазах твоих по беспределу. Шевельнешь — будет хуже, провалишься. Испытано на людях, на себе. Кто ж его-то, Угланова, тут пожалеет? Кем он будет, Угланов, вот чьими руками распечатывать зону? Только сам он и не понимает, что — некем. Но за этими смехом и жалостью к монстру забирал его сразу, Чугуева, страх: это все же Угланов, Угланов. Раскачавший в Могутове сотню тысяч железных. Это ж ведь крысолов, каких надо еще поискать, — кого хочешь за собой потащит на дудочке. Может быть, вот уже совратил. Вон Антоша, придурок, при нем неотлучно, вон с Известьевым этим по углам шепотки. Ну а вдруг ломанет на запретку по подставленным согнутым спинам, как по мостику, как по ступенькам? Ну и пусть его, пусть! Он, Валерка, при чем? А при том, что всегда он, Валерка, «при чем». Вот сейчас при Угланове — за сохранность башки его всей дальнейшей жизнью своей отвечает. Вот как только заварит он что-то, Угланов, ломанется из рамок народ, раздолбать чтоб основы порядка, — так опять он, Чугуев, вот в этом потоке, как проклятый! Как всегда, отлетевшим чурбаком ему по голове!

Ну а дни проходили незначительно, пусто — никаких вот примет нездоровья душевного в монстре, и уже сам себе он вопрос: это кто помешался еще? Может, сам он, Чугуев, — и в Угланове видит то, чего быть не может? Зарядили над промкой дожди, превратив полигоны в цементный кисель; монотонно, без сбоев полз серый конвейер, в сентябре захрустели в командных этажах рычаги, подавая на зону осужденных новых, и двоих из этапа завели к ним в отряд — быковато-угрюмого Хмызина и юнца-полуцвета Конька. Славка этот Коньков схлопотал пятерик на дерьме: магнитолы из тачек выдерживал, ну а Хмыз, коренастый, квадратный, со скуластым широким татарским лицом, с мускулистыми длинными грабками — за разбой и грабеж восемь лет. Цинк пришел: старика-ветерана этот Хмыз вот пытал-молотил, чтобы тот ему пенсию, гробовую заначку достал из заглашника, да еще и медали, чешую фронтовую у деда помыл, чтоб потом за какие-то деньги спихнуть: думал, золото. Тут никто уж, конечно, никому не судья, он, Валерка, — тем более: сам людоед, но какая-то сразу всеобщая к Хмызу гадливость. И какой-то он весь подпружиненный, на пять-шесть постоянно, под током, невзирая на крепость и грузность: за порог-то спокойно, весомо ступил, вот с клеймом «не буди», «они спят» на глазах, вот с презрением даже к мужицкому племени, а потом: как увидел в бараке кого — лихорадиться начал.

У Чугуева глаз-то натертый: или вот наркоман на ломах, или иггранный, или уж у блатных под чертой — за собою косяк какой знает и трясется, что вылезет этот косяк. Ну и шут с этим чертом из мутной воды: из одной с ним посуды не кушали, не ершится, не пенится, не бросается ни на кого — вот и ладно.

Дни ползли незначительно, пусто, сапоговым привычным перестуком и

грохотом опрокинутых тумбочек по бараку прокатывались шмоны, только ради Угланова одного вот, казалось, теперь и чинимые: все его фотографии, письма (ну, наверное, есть и у монстра семья или что-то похожее — как-то вот про него вообще в этом плане почему-то Валерке не думалось), принадлежности личные чуть не каждый день кряду выбрасывали дубаки на матрац, и уже за компанию с имуществом монстра перетряхивались для порядка пожитки ста зэковских душ, как сопутствующий жизни большого Угланова человеческий мусор. И конечно, от этого хруста и стука выдираемых ящиков и особенно треска распоротых, раздираемых тут же матрацев и наволочек начинались утробные вздрагивания в каждом, и взлетала иная немая душа к потолку в безраздумной молитве тому, чьи законы нарушила: прнеси, помоги в этой малости мне, пусть они ничего у меня не найдут, ты же знаешь, там, в шовчике, у меня загрунтовано это... Ну а «это» и было-то всего-навсего ниткой с иголкой, половинкой лезвия на кипятильник, ну и мойки, конечно, ну и шарики кайфа — кто без кайфа не может.

Вот за этим-то кипешем он, Валерка, и не ухватил то мгновение, когда... облегченно обмякнув, потянулись все в комнату отдыха погрузиться с башкой в разожженные в телевизоре новости и дебаты хозяев земли или клоунов Государственной думы: «Жирик, Жирик, во чешет!», и вот тут-то и лопнуло ни с того ни с сего: «А-ааааа!» — обернулись на грохот обрушенных стульев: Угланова! — охлестнуло Чугуеву стужей живот, полыхнула в глаза невозможная кровь: половины лица у Угланова не было, и Угланов кричал непрерывными взрывами, словно раненый лось, от жалильной, полосующей боли, выставя свои руки-жерди длинно перед собой, на каком-то в нем вспыхнувшем, не своем,

первобытном инстинкте, как в пожаре, в воде, ими дергая, закрывая лицо и живот и лоя, подставляя ладони под нож, под иголку взбесившейся швейной машинки... и засаживал сам кулаками в ответную: Хмызину в голову! И попал один раз так, что Хмыза мотнуло, на какое-то дление отбросило... И уж тут и Валерка всадил себя клином меж ними, сцапал руку вот эту с ножом и загнул, выдирая из мяса, как ногу куренка: безного повалился под чугуевской лапой, вольтанутый, и ревел: «А-сукааааа-а! Рука! Рука, рука, рука! Пусти меня! Убью-уууу!» — над сердцем что-то лопнуло, оставив на свободе, давая крови вольно, просторно колотиться в чугуевском огромном, исполнившем, что надо, существе... Вломился в стены грохот пожарных сапог: «Лежать всем! К стене! К стене, я сказал! Руки все показали, чтоб видел!..» — Обоих их вдавили с хрипящей и воющей тушей Хмыза в пол, успел еще он выжрать Угланова глазами, заламывая бошку, Валерка, напоследок: с распоротой щекой, блестяще-жирно залитый такою неправдивой, обычной, как у всех, кричаще яркой кровью, Угланов делал все, как просто поскользнувшийся и вымазанный в глине человек: и стыдно, и противно — лупился на Валерку безумным, пьяным взглядом. «Пустил его, лежать!» — кричали на Валерку, гасили его криком, а он уже потух, Чугуев, целиком, стал ватным одеялом, наброшенным на Хмыза; дальнейшее все делалось само — раздирались на полосы простыни, тряпки, расплывались на белом, пожирая его целиком, кровяные кричащие пятна — затыкали порезы, ликвидируя течь, обернули портянками руки по локоть, налепили на морду огромный клочок ваты, повели по натежкам на дощатый пол лужицам — к Станиславе, немедленно к женщинеКуин, пусть заштопает этого краснокнижного зверя! Крови как со свиньи! Щеку, щеку на место пришить! Окривеет к хренам! Если

глаз, если нерв! Перекосит на левую сторону морду, челюсть на хрен отвалится! Пайка будет обратно из пасти валиться! Это ж как мы его с такой мордою завтра предъявим — россиянам и миру?! Маску, что ли, теперь на него надевать?! Да на этого, этого надо намордник, сука... Ганнибал! Вот загубник железный! На хрен вырвать все зубы, чтобы нос никому не отгрыз! Ты че сделал, чувырло?! Ты зачем на него с тесаком?! Вот за что ты его, говори! Понимал, на кого, сука, тянешь вообще?!

Хмыз безногим обрубок врос в пол, будто самое главное жизни исполнив, что кому-то он пообещал и к чему подбирался всю жизнь, и теперь ожидая погрузки и сброса в последнюю яму, — оставалась лишь боль в переломанной и державшейся словно на одной только коже руке, и от этой вот боли, нянча руку в здоровой, он начал раскачиваться и, заняв сквозь сведенные зубы, слепил из нытья непонятное, человечески необъяснимое вовсе свое:

— Ненавижу! Ливер, сука, хочу у него посмотреть, вот какого он цвета! Чтобы знал, сука, знал, а то думает, кровь у него не течет... — прорвало и блевал, выворачивая из себя нутряное гнилье без остатка: — Всю породу еврейскую их ненавижу! Всех их, всех, пидорковских, углановичей, сука, все улыбочки их, что тебя, сука, нет, пыль у них под ногами, все одно они будут всегда наверху, он и здесь, сука, с этим значением смотрит: для него тебя нет, он тебя вообще тут не видит — сука, жри это, как вафлеглод, жрите все тут, а я жрать не буду! Сука... насосал миллиарды и думает: все, он уже на Луне и земля... не тянет! Это... тут его, сука, место под шконкой! Это он мне сейчас тут с проглотом исполнит! Ну а нет, сука, — на! Посмотрел, сука, — на, гнида чмошная! Рыпнись только, пархач, — запичужу! Я другой раз достану! Сразу, сука, гасить, только так! Чтобы он не дышал, не

дышал!.. — задыхался он криком, тем же самым по смыслу, с которым Валерка тогда, в прошлой жизни, бросался всей своей безмозглой таранной, пробойной тяжестью на Углового и на случайных, незнакомых людей, вырываясь из чистых и честных рук отца своего, чтоб достать кулаком до Углового, равнодушной, не видящей никакого Чугуева силы, и сейчас он, Чугуев, смотрел в эту морду — как на шерсть, что полезла тогда из него самого, словно в гиблый колодец своей же природы, нутра... и не верил совсем, что такая, не людская и даже не звериная злоба — потребность доказать свое существование кровью — подняла его и понесла в ту минуту на Углового, словно на стену.

И не верил тем более, что и Хмызин сейчас вынул нож вот из этого рвущего чувства ничтожества своего перед монстром: Хмызин бился башкой о стену, клопоча, выпуская с вареной слюной изо рта подыхающий хрип, и вся эта агония-ярость его целиком и насквозь была деланой, обезьяньей неправдой — он, Чугуев, уже насмотрелся на такие блатные истерики: на испуг и на жалость работа, бесогонство пустое с игристой пеной шампанского.

Если б все было правдой, то давно уж себе бы язык откусил и башку размозжил бы о шконку, ну а так лишь скулил и орал от взаправдашной боли в руке, руку эту терзая расчетливо, чтобы крик из него выходил натурально. Не Углового он запичужить хотел вот сейчас, а себя так спасал от кого-то, кто ему красный галстук тут, в зоне, повяжет. А кого так боится, сильнее, чем Углового, — это Хлябин пускай вот теперь из него вынимает кусачками.

Ну а сам он, Валерка, что надо исполнил. Погасил, обезвредил. Неужели за это с него Хлябин спросит — что вот дал он Углового ранить, когда тот целиком должен

быть невредим? Неужели вот только за порчу углановской шкуры — разотрет на бумаге Валеркину всю без того полустертую забубенную жизнь?

6

Все так сделалось быстро. И закончилось раньше, чем Угланов увидел и сознал как «мое» свою кровь, неуместно-внезапную, дикую, поразившись, как много и сразу ее натекло — вот как если бы выбрался он из бассейна и зашлепал, не вытершись, обтекая, по кафелю. Все закончилось раньше, чем нащупал себя сквозь всю колото-резаную, под скулой, в руках распухавшую боль на клеенчатой белой кушетке в санчасти. Даже страха животного перед «не жить» не успел он почуять — только буйные судороги сильной, неожиданно сильной оказавшейся твари-себя, только скотскую муку от жалящих, пробивающих шкуру тычков безо всякого чувства окончания жизни, просто драка вот, бойня, что-то самое только простое и само себе равное, как петух на чурбане, как баран под коленом, что всегда видел раньше он только извне и внутри чего весь очутился. Два живых куска мяса с направленной в одну сторону острой железкой между.

Выставлял вперед руки ладонями — и звериной правдой действия отправлял кулаки в неприкрытую безымянно-безликую голову. Все когда-то дрались — с неотвратимостью положенного каждому растущему мужскому существу. Дрался он со второго на третий, Угланов, до девятого класса и потом еще, вспышками, где-то до третьего курса — с долгопрудненской гопотой, приходившей к общаге физтеха их бить за столичные джинсы и патлы. И сейчас чем-то всплывшим со дна,

перегнойным, из прошлого, опытом положился на длинные руки: вот тогда удавалось худо-бедно держать бритолобых ублюдков на длине этих рук, молотя, попадая с наслаждением в хайло кулаками, но сейчас — неизвестно, от каких до каких бы его распороли, до чего бы проткнули, если б этот Чугуев, гора, не качнулся и единым, рабочим, выкорчевывающим руку движением не согнул на колени и мордой в пол полоумного.

В набухающих кровью обмотках, с разрывавшейся будто все шире и шире щекой «человека, который смеется», завели, затащили его в снежный кафельный гулкий нашатырный покой, в грохот склянок, лотков и целебных жестоких ножей, поливали пахучей терпкой болью проколы и порезы различной длины, глубины, что-то впрыснули для ослабления резей под кожу, и вбежала она, Станислава, — показалось, так быстро, так сразу, словно здесь ночевала, проживала все время и ждала на невидимой привязи этого кровопролитного бедствия с ним, будто дом ее — здесь, нет другого у нее вовсе места для жизни. Сквозь багровый фонарный распухающий отсвет — исходивший от левой щеки, от его раскаленного, с прорванной изоляцией, нерва — видел он ее злое на то, что ее разбудили, лицо: ничего оно не выражало, кроме профессионального хищного, безразлично, к какому куску человеческого мяса, внимания; ничего он другого не видел, полулежа в стоматологическом кресле с безобразным, позорным лицом, выражением боли и немощи или, может быть, даже мольбы: «помоги», просто рыхлым блином, что раскатан по черепу и пронизан какими-то нервами; рот наполнен кровавой вязкой солонью, и она это дело ему вытирает. Говорить он, конечно, от боли не мог: шевельни только челюстью — начинала рывками расстегиваться заедавшая молния в

ране, расширяться вот эта прореха: уйёооо! А она просто штопала кожу его, как свиную на портновской, сапожной болванке, на своем, ему всунутом за щеку пальце — как-то сразу от этих холодных стальных и резиновых прикосновений перестала его резать боль; чуял только холодные стеклянистые скобки, мышьи мелкие зубы, крючки; он сейчас ей не страшен, ничего ей не сделает, не ковырнет — она даже к нему привалилась своей тонкокостной легкой тяжестью, приварилась коленом к колену — для удобства, упора, для «закончить всё с ним побыстрее», ничего под прохладным крахмаленным белым халатом не дрогнуло.

— Куда вы от меня уходите? — «Ты что, меня теряешь?» — Не надо отстраняться от меня. — Вот она что ему — с приказной интонацией «стоять!», вот какой между ними полыхнул пожирающий секс... И уже с ним закончила, сшила, заморозила, обеззаразила... Скажет хоть одно слово еще? — Если вы за свой габитус испугались — не бойтесь. Ничего у вас не перекосится. Вообще обойдется без пожизненных меток.

Так вот ей захотелось ответить что-нибудь про Алена Делона и «лишь бы из рта не вываливалась каша» — и не мог ничего промычать. И уже отстранилась, толкнулась, словно вырвала провод, отключив все немногое, краткое, что между ними, — постоянный, нережущий, будничный ток человеческой боли, конвейер по починке разбитых костей и распоротых шкур, обхудалых и дряблых, до костей уже смыленных зэковских тел; он, Угланов, такой у нее 120-й, 275-й за последние три года службы... Ничего, все равно ты придешь снимать швы или что-то такое, и тогда мы с тобой пообщаемся. Слишком многое значила для него вот теперь эта баба, так что был он не прочь к ней попасть «на прием» и ценой своего ширпотребного

«габитуса». Слово, блин, еще выбрала — как для зверька, словно скомкав и выбросив в мусор его(!) единственное и неповторимое лицо, а Угланов такого никому не прощал... Будто кто-то сейчас — и тем более эта, убитая, — еще может почувствовать тяжесть его непростения.

Видел он в ней теперь лишь живую отмычку — от решеток, дверей, отделявших его от рентгенкабинета? Психиатры вот говорят: двух мотивов быть у человека не может. Либо «польза», «прибыток», «отгрызть», либо тяга, «любовь», обладание самим человеком. Чувство к ней было скручено из какой-то горчащей, скребущей (пропадает зазря, отцветает без солнца красота ее, редкостность) жалости, прагматичных тяжей (принесла чтобы эти ключи — и выходит, сама она неинтересна ему, не нужна) и чего-то еще, что не мог он в себе распознать или, может быть, просто не хотел признавать. Никогда не нуждался в единственном взгляде, который ничто не заменит, в человеке, чей взгляд говорит тебе: ты — это ты, ты единственный, в человеке, которому нужен, как... матери. Никогда не нуждался — было не до того: притянула стальная земля, распирало планету несделанное, ощущение «ты — великан, правишь миром», все железные скрепы и сваи, на которых стоит человеческий мир, скоро будут твои, от тебя; вот машина «Русстали», сто тысяч железных, были его, углановским, неодинокчеством — материальным доказательством того, что он на самом деле существует... Сын — конечно, но сын... это, в общем, другое, в сыне любишь себя, а сейчас обессталенный, голый, пустой, в сорок пять захотел, чтоб его... пожалели, чтоб кому-то, единственному, было по-настоящему больно за то, что он здесь.

Нуль любви, Заполярье, арктический полюс, на котором он чьей-то безличной

волей родился, — снова он это все так подетски огромно почувствовал сейчас, снова в ней, изначальной мерзлоте, очутившись, без плавильного жара могутовских топок. Никогда еще так он не чувствовал «нет женщины», не близости, не тела, не здесь, а вообще, на свете — никого, единственного ждущего, растущего с тобой, застывшего с тобой на весь срок лишения свободы человека.

Тишина, время «ночь», отгремели, отцокали в коридоре шаги аварийной команды, но никто там, конечно, на вахтах, теперь не уснет: поскользнулись все разом на углановских лужах, цепенели по клеткам в охватившем воздушном «не уберегли!», запиликала, задрезжала телефонная сердцебиенная, потная жизнь, и в Москве замигали тревожные датчики, и не гас, до утра не погаснет у Хлябина свет: с официальным визитом нарисует завтра, а сейчас потрошит невменяемого этого Хмызина, вынимая крючком никому не понятную правду: зачем? Или все уже понял, заранее знал, что кипело у Хмызина в черепе, и позволил Угланова резать? Эти нож и кровяки были просто железным основанием для Хлябина заселить в одиночку Угланова, окончательно загрунтовать на двенадцати метрах пространства — в целях предотвращения дальнейших, исключения угрозы для жизни!

И ведь вот что еще он, Угланов, обратным чутьем смог понять: этот Хмызин его ведь не бил, не засаживал наверняка, метя в печень и в сердце, а скорее подкалывал мелкими болевыми тычками: крови, как со свиньи, а под ребрами, в брюхе все цело; надо было один раз ударить его так, чтоб всем вокруг сделалось страшно, — и ублюдок всадил ему пику в лицо, очень красочно, но несмертельно. И конечно, Угланов сейчас бы подумал «на Хлябина», что подрезал его этот Хмызин «от Хлябина» и весь смысл был в том, чтобы ссыпать Угланова мерзлой картошкой в

подвал, но Угланов все видел. Хмызин бил не «от Хлябина», а «от себя». Подошел к нему молча и ударил без слов, безо всякой пещерной видовой-тире-классовой ненависти. И Углanova выбрал-то он для того, чтоб не надо потом ему было ничего никому объяснять: полоумный он, Хмызин, тут держать его больше, на зоне, нельзя, можно только лечить — вот что сразу должно было стать всем понятно.

Этот Хмызин зашел к ним с этапа в отряд в совершенном спокойствии заматерелого урки: знает он все устройство, язык этих мест, равнодушно-лениво повел немигавшими зенками — и сломался в лице, налетев на незримое страшное, никому не понятное что-то. Заболел, начал жить в непрерывном ознобе, в излучении радиоактивном, которое не отключить, — с равнодушной силой на всех смотрел прямо, но не мог посмотреть — на Известьева. На другого, «того», настоящего, проступившего только для него одного сквозь привычно по лестничной клетке соседскую пыльную серость: где-то с ним, а вернее, под ним он уже, Хмызин, жил в запираемом, тесно набитом людьми помещении, в ожидании взгляда и слова, которые для него все меняют. Без сомнений: друг друга узнали они, и не должен был Хмызин вот этого делать — показать хоть единой жилкой, мышцей и тем более заголосить, что давно уже знает другого Известьева; вообще был не должен очутиться в Ишиме со знанием, что Известьев — другой, у него все другое: порода, предыдущие подвиги, сроки, статьи... может быть, даже имя.

Он, Угланов, ведь сразу — до Хмызина — ясно увидел: человек вот с такими глазами никуда не заходит трясущимся парнокопытным, никогда не сгорит в сорок лет на дешевке такой, как грабеж ювелирной лавчонки, чтобы сдернуть с бордовой подушки в форме сердца блестящую побрякушку — «для женщины»; если он это

сделал, Известьев, — раскокал витрину, — то затем же, зачем этот Хмызин только что вынул нож и хрипел «ненавижу»: спастись, самого засадить себя в зону, чтоб за что-то на воле его не порвали автоматными очередями. Есть такие вот особи, да: поселяется в многоквартирном доме вдруг простолицый, опрятный, корректный сосед — неизменно, столкнувшись с тобой на марше, здоровается, сторонится в подъездных дверях, пропускает навьюченных сумками женщин вперед, помогает мамашам с колясками, через месяцы, год оставаясь для тебя все таким же скучно-неинтересным, и непроницаемым, и привычным, как серая майонезная банка с окурками на подоконнике. И совсем никакой вероятности, мысли, что окажется кем-то объявленным в розыск, боевую чеченскую бороду сбрившим, затаившимся подрывником генерал-губернаторских броневинов или многоквартирных домов на Гурьянова. Вот каким он, Известьев, хотел и умел быть на зоне сейчас. И блатные в Ишиме его не узнали, тут никто не знал вора по фамилии Известьев. Слишком уж из кино эти игры с анкетными данными, папиллярными линиями и лиловыми штампами на фотокарточках в профиль. Но и в жизни, бывает, люди делают пластику и сбегают в Бразилию по подложному паспорту.

Он уже заговаривал с этим «соседом» — ни о чем, о «политике» перед маленьким их телевизором в комнате отдыха, о вседневном житье, о посылках из дома, протыкаемых спицами в пункте приема; почему он, Олег, не выходит и даже не просится на работу в промзону — словно ждал в ответ чистосердечного «вор по жизни работать не должен». «Так ведь мест пока нет, жду вакансии». — Лжемужик оставался прозрачным и непроницаемым, своим прошлым-бедой, если спросят, делился легко и свободно: промышлял дальнобойщиком, фуры с техникой через

Сибирь из Находки гонял, один раз стопанули на трассе ребята — отобрали товар на сто тысяч «зеленых», а хозяин товара был тоже бандит и включил два процента им в день: продавайте квартиры, все, что есть, доставайте, и вся жизнь под откос, чем сильнее барахтался, тем только больше в долгах и подсудной грязи увязал... — молотил по разведческой, в общем, легенде, натурально по жестам, по всем интонациям, только взгляд выдавал, оставаясь пустым и холодным, — совершенно отсутствующим в том, в чем он якобы, ломовик, побывал, что должно и сейчас для него продолжаться, как контузия, как инвалидность, которую никогда с него больше не снимут. Если вот у Чугуева вправду болело внутри, по загубленной жизни, то у этого — нет, ничего не болело.

Начало у него уже что-то сцепляться из деталей «Известьев», «Чугуев», «Воскресенский», «Вошилова» (фамилия Станиславы была не Куин, а русская, Вошилова, он уже приказал на свидании с Дудем про нее все узнать, до детсадовских утренников, до роддомовской бирки на крошечном пальце). Показалось, не спал, проносились, ползли, волочились грузовыми составами мысли, но проснулся от лязга засовов и рабски-осторожного стука в открытую дверь.

— Извините, Артем Леонидович. Разговаривать можете? Доктор Куин мне сказала, что в принципе можете. — Хлябин всунулся в щель и страдальчески, загнанно, обреченно ввалился: избивали звонками его из Москвы, телефонной трубкой всю ночь; зацепил на ходу табуретку, подсел и разглядывал сверху Угланова с омерзением к себе самому и стыдом за все эти бинты и нашлапки: как он смел, Хлябин, не устеречь, как могло здесь при нем совершиться кровавое психбольничное, скотское это?

— Не жалеет меня ваша Куин...

— Ну мы кратенько, кратенько. Доигрались мы с вами, — Хлябин сморщился от застарелой, копившейся и прорвавшейся вони, — в демократию и равенство перед законом. А ведь я говорил им наверх, говорил! Что все этим закончится. Говорил, контингент у нас сложный. Что не мальчики, блин, колокольчики. А!.. — разрубил рукой то, что уже не имело значения, и спросил, словно только проснулся, испуганным голосом спьяну наломавшего дров человека: — Что хоть было-то, а? Из-за чего заводка началась?

— У дебила спроси.

— Ненавижу, кричит. Натурально трясется. Косит, косит, сучок, — поделился ночными врачебными наблюдениями Хлябин. — Я так мыслю, из зоны хочет слиться на дурку, так боится здесь в зоне кого-то. Еще больше боится, чем ударить Угланова.

— Мне оно как бы по херу.

— Не знаете кого? — Хлябин как бы совсем без надежды взгляделся в Угланова: понимаю, конечно, для тебя они все — насекомые, мусор, но каким-то вдруг промельком, вылезшим, как иголка, охотничьим смыслом во взгляде дал понять ему: вижу, вскрыть могу тебя глубже рентгеном, чем думаешь ты; для тебя они все теперь, зэки, имеют значение, для тебя они все — пластилин, только вот не умеешь размять, как умею размять его я.

— Знаю, — откровением на откровение засадил в эти честные глазки. И в ответ на насмешливое вопрошание «кого же?»: — Только ты мне сначала зарплату и прочие льготы от конторы своей вот пробей, и тогда я с тобой поделюсь. Как насчет

сокращения срока за готовность сотрудничать?

— Неужели и вправду, Артем Леонидович, знаете? Нет, вы просто скажите мне: да? — И с каким-то игривым уже восхищением, любованием всмотрелся в Углового и, заметив в лице над повязкой что-то убедившее и подтвердившее: знает, погрозил ему пальчиком: — Да! Вникли в жизнь насекомых! Только вот не пойму: а и вправду зачем оно вам? Вам, такому большому, зачем?

— Чисто на автомате. Что-то вроде курения — думать привычка. — Может вскрыть он Известьева? Может. У него есть для этого все рычаги, база данных МВД-ФСБ. Может быть, он уже его вскрыл? И тогда для Углового этот Известьев потерян, провалившийся мостик, перебитый хребет, надо будет искать для подкопа кого-то еще. — Срисовал же я вашего моего незаметного телохранителя. — Показать: не слепой, для него все, что делает Хлябин, бирюльки. — Должен вам за него вот, наверное, в свете этих последних событий спасибо сказать. Пригодился Чугуев.

— Да не тянет, не тянет вот что-то Чугуев, — со слесарской досадой на собственный брак, на вколоченный криво непрочный крепеж протянул без зазрения Хлябин, плутоватые глазки не дрогнули: все равно он, Углов, не видит, не прочитывает, как он еще может, Хлябин, безголовую эту болванку «Чугуев» использовать — в вечно зыбкой, изменчивой схеме живых пловцов, донных ям и привязанных над косяками переполненных ведер с цементом. — Ему как было сказано? Ни один чтобы волос. Ну а он что исполнил? До утра ж ведь барак отмывали, вашу кровь, извините, все тряпками стягивали. Как обивку когтями вот кошка драла, дал изрезать вас так. Ну а если б не в щеку, простите, а в глаз? Я кого бы сейчас россиянам показывал? Ну танкист он, Чугуев, — чего с него взять? Очень

долго доходит. Как до бронепоезда. — Ис с врачом участком: — Заменить его вам?

— Ну а вы, что ли, ждете повторения эксцесса?

— А как сами считаете? Да вот после того, что случилось, вообще у нас с вами один вариант — убирать вас под крышу с концами. Со всей очевидностью: ну не можете вы в окружении экзот. Это вот уже вашей кровью написано, — показал, не таясь, как он может легко уложить его в спичечный коробок одиночки. Был Угланов готов, с первых дней ожидал этот самый простой и надежный из всех вариантов, но сейчас все равно, презирая себя за приливную кровь, за испарину страха, закричал, разрезая себе щеку бритвой:

— Ты попробуй мне это, попробуй! — А чего ему было скрывать? Вот обычную ярость и спесь заземленной в правах, не признавшей оглобли владетельной твари? — Голодовки и вонь той тебе было мало? Ну так я не тебе на кадык надавлю, а кремлевским, под чью дудку ты тут извиваешься. Придушить-то, конечно, их не придушу, но вот пищеварение с аппетитом испорчу. Бойцы вспоминают минувшие дни: как вместе пилили статьи федеральных бюджетов они.

— Ну а как еще, как с вами здесь мне прикажете? — Хлябин им любовался — вскрытым мозгом размером с крысиный на предметном стекле, заревевшим подраненным лосем, одинокими, жалкими, несмотря на калибр тунгусского метеорита, усилиями вскрыть, расшатать изнутри то, во что засадили его; эта самая несоразмерность, расстояние «Солнце — Земля» меж явлением «Угланов» и Углановым голым, ошкуренным, человеком из кожи, жуком, умещавшимся «здесь», на ладони, и была для уроды не изведанной прежде забавой и сладостью. — Что ж вы

думаете, в Хмызине дело, в обезьяне вот этой? Мало, что ли, желающих, кроме него, залепить вам по кумполу? Что же, не замечали? То, как смотрят на вас? Тут же каждый из них перед вами — ничто. Зона есть, существует, потому что — Угланов. Ишимская колония имени Угланова. Психология, Артем Леонидович. Всех униженных и оскорбленных. Да вот с этого, так, между прочим, весь семнадцатый год начался. Люди не согласились с отведенным им местом. Захотели стать всем те, кто были никем. Ни хрена вот не стали, но зато уж нарезались вдосталь, человеческой кровушки голубой наглотались. И в своей захлебнулись. Вы же тут одним только своим физическим присутствием определяете им место: вот ты где, что ты вешишь, ничего ты не вешишь. Я вот сам из простых, я по жизни внизу, участковый я мент, и я так вам скажу, по себе: ох и жжет все внутри, когда кто-то такой вот, как вы, неизменный хозяин всей жизни, выходит навстречу. — Даже в этом сейчас мазохистски сознался: сладость, вот в чем сладость-то вся для меня — затравить тебя, крупного, силу. — Хмызин что вам кричал? Он ведь правду кричал, если так-то. Он как резать-то вас уже начал, так и вправду забыл, для чего и за что он вас режет. От души, от себя уже бил: ощутить наконец-то, что он — не ничто. Это ж просто они тут никто не показывают вам. Давят, давят в себе. Возмущенный, блин, разум кипящий. А давление — штука опасная. Тот же самый Чугуев, — ввернул вдруг Угланову в череп: не спать! интересен тебе он, я знаю, а уж как ему ты(!) интересен, Чугуеву. — Вот вы думаете, кто он? Ну такой, больше тонны не класть, очень, очень простой, ну пришиб там кого-то своим кулачищем по пьяни, как у быдла бывает, и всю жизнь теперь плачет, невольный убийца, ну а так-то — не зверь. Ну все так, да не так. Он же помнит, Чугуев, на всю жизнь вас запомнил. Вот вы где

у него, — растопыренной лапой, когтями показал на себе закадычную, подсердечную неизвлекаемую злобу, едкой слизью обросший печеночный камень, который с годами все растет и растет. — Крепостной ваш могутовский. Это — узнали? Что ходил он тогда против вас воевать? Не пускал на завод олигарха московского? Не хотел очень гнуться, ложиться под вас, унижение так жгло, на ОМОН с кулаками пер буром, больше всех там старался, вот тогда и прибил, не кого-то — мента. Получается вот — из-за вас. Так вот из какого горячего прошлого выперся сквозь года и позднейшие льды и в Угланова взглядом уперся этот вот несомненно могутовский сляб с осязаемым сердцевиным изломом — затопили углановский череп на мгновение топот побоища, крики; не заметил тогда он, конечно, тех сотен поломанных, наводнивших вповалку больницы, не заметил троих? пятерых? или скольких там? насмерть забитых, осужденных, исчезнувших с аномальной магнитной земли, из железных — в зэка, в ржавый лом производства. И теперь он, Угланов, упал на Ишим — и Чугуеву в душу с новой силой впилось... могли этот потерянный, выбракованный, вырванный из родного завода, машины железный ненавидеть его с той же силой — сейчас? Да ну нет, это то, что так страшно и необъяснимо его раскалило тогда, подымало магнитной волной и тащило, несло на убой, под откос, эта та его злоба должна была, по уму, показаться ничтожной ему и смешной сейчас по сравнению с тем, что сломал, потерял, по сравнению со слитой в шлак молодой его силой, невозможностью жить своей волей, делать что-то по сердцу, нутру своему, отливая из пламени осязаемо-железные прочности, выплавляя из близости с бабой новых детей, проживая единственную свою жизнь не бесследно, не пусто.

— Ну а вдруг он захочет сейчас отыграться? Вот он — вы каждый день рядом с ним, — не знаю даже, как вас и назвать, человек вот, который, короче, во всем виноват. Ну конечно, вольно ж ему было тогда так стараться. Только сам он-то, сам — понимает вот это? Кто вы есть для него? И вот главное, кто он для вас? Что он видит? Как он был для вас мусор, так теперь и остался. Как тогда в три погибели гнули его, так и здесь из-под палки вам служит, стережет вон, вибрирует, ни один чтобы волос не упал с головы. Вот опять, навсегда вы хозяин ему. Самому-то вам как — не жимжим? Неужели не екнет нигде? Это вам уж не Хмызин с заточкой и криками. Этот раз молотнет — сразу траурный марш и венки с креп-сатином от близких. Против «тайсона» выставить — «тайсона» жалко. — Вот с какой-то коннозаводческой гордостью любовался Чугуевым Хлябин — намекая ему на возможность и вправду натравить на Углового дрессированный этот асфальтоукладчик?

— Что ж он ждет-то тогда, человек ненавидящий? Вот давно бы тогда молотнул, если б жгло его так.

Для чего вообще начал Хлябин так длинно про Чугуева с ним? Неужели хотел впрыснуть в кровь ему страх — перед чугуевской взбесившейся кувалдой — чтобы вне разума Углов затрясся и взмолился Москве: прекратите, от меня уберите вот этого страшного, всех? Да смешно, не работает, навсегда он, Углов, неприкосновенен... Ну а эта вот кровь и бинты — не смешны?

— Так держу я пока что его на колючем ошейнике. — Сам себе удивляясь, Хлябин словно подергал на прочность, на предел растяжения элементы кровавозазубренной упряжи. — Так ведь этот ошейник, он тоже впивается, душит.

Вы не знаете этой породы или, может, забыли: долго терпит он, долго, даже сам про себя понимает вполне, что нельзя вот ему без узды, не срывайся, не лезь, напряжение шестьсот киловольт по колючке, но уж если его довести... Обреченность, она, как известно, отключает мозги. — Сам-то как, не дрожит, зверовод, дрессировщик, выходя на стального Валерку один и без палки — или, может, надеясь на маленький уравниатель с патроном в стволе? — Так что я вам, Артем Леонидович, не поручусь...

А ведь это, пожалуй, искусство, пилотаж, филигрань — управлять, усмирять парой точных, до сердца протыкающих слов человека, который сильнее тебя и могущего каждое дление вклеваться в твое хлипкое мелкоживотное горло, лишь бы только не длить непродышную неокончателность, ожидание и неизвестность, что ты завтра решишь сделать с ним. Вот она — для уроды — ни с чем не сравнимая сладость работы крючками и скальпелем по живому нутру — раскатать, раскалить вот такого, уже раз испытавшего, что такое «убить», человека и заставить его сделать то, чего больше всего тот не хочет, навести и толкнуть на Углanova, как вагонетку, тепловоз, разгоняемый собственной силой отчаяния. И с Углановым хочет проделать он что-то похожее: просто так тебя бросить в бетонную одиночку-коробку мне не интересно — нужно мне что-то более тонкое, блюдо, пирожное, запах пота, бессилия, прогоревших расчетов, надежд, завонявшего сладким паленого мяса, вот мочи и дерьма из расслабленных концевых и кишок, нужно, чтобы ты сделался передо мной, Угланов, — как Чугуев, «как все».

— Что ты хочешь-то, а? — Он хлестнул поводком по вот этим дружелюбным, пытливым, осмелевшим вконец, ничего не скрывающим глазкам. — Там чего, в

Москве, что ли, решили применить ко мне третью степень дознания? На дощечке отбить молотком, чтоб приобрел необходимую податливость? Ты сначала за это, — вскинул руки в обмотках, — давай отчитайся. А потом мне рассказывай про быков на своей звероферме и какие ко мне они нежные чувства испытывают. Или, может, ты лично от меня что-то хочешь? Там на новый коттеджик или «лексус» жене не хватает? — Есть у тебя жена? Можешь ты человечье, обычное — или мутант? — Или, может, ты хочешь, чтобы я тут дрожал? Лично перед тобой? Так давай не стесняйся, скажи. Может, чем помогу. — Пнуть с привычной скукой мразь сапогом.

— Да какое уж «лично», Артем Леонидыч? — Хлябин тронул натертую вечной веревкой служилую шею. — Что я делаю лично, так это за вас головой отвечаю. Чтоб никто никуда и не вздумал здесь, в зоне, сорваться. — И глянул, то ли голосом вот передал, не таясь: «чтобы ты никуда не сорвался», целиком, до конца чтоб почувствовал бессилие поменять свое место для жизни, судьбу. — Вот и вся моя власть. — Все готово: приборы, инструменты, ножи, остается лишь вынуть из Уланова мозг, вынуть душу, тут разделка, готовка, процесс, разумеется, много увлекательней и неожиданней по проявлениям предсмертной активности, чем принесенное блюдо. — Просто чтобы вы знали: Чугуев вам совсем не чужой человек. Да и в общем-то и без него чудачков тут хватает. Так что, может быть, все-таки мы вам — комфортабельный люкс? Безо всяких там ужасов карцера. Телевизор, питание, белье, свежий воздух, прогулки — это сколько угодно. И людей подберем для общения вам. Вознесенского вон. Ну зачем вам тереться — ну, такто — с шантрапой, обглодками, нюхать?

— Ну а как насчет равенства перед законом? Ведь Москва же отчетливо нам

обозначила, что Угланов сидеть должен в зоне, как все. — Этим он его сбил, заставляя отпятиться в норку, все словесные игры, лианы на этом кончаются. Хлябин был ему ясен насквозь, Хлябин был ему нужен на этом вот месте таким, как он есть, человек безопасности с личным, нездоровым и неизлечимым отношением к Угланову — точно такая же незаменимая деталь для сборки углановской проходческой машинки, как и все.

Хлябин вышел, исчез со своим «поправляйтесь», он остался пластаться на ватном матраце и думал о могутовском слитке, человеку, которому он «не чужой» и который здесь так задыхается. Как страшно много он уже, Чугуев, отдал, заплатил по счетчику несложенных бревенчатых венцов и неродившихся детей, расплачиваясь с тем, уложенным им в землю человеком десятилетним омертвлением своего щедро способного к работе и войне, детозачатию мужского существа; как много он оставил здесь, но и как много в нем еще осталось силы жизни — тридцатисемилетнем, не источенном и не надломленном никакими болезнями, только вот и вступившем в матерое совершенство двуногом украшении земли: вот таким бы ее и пахать и вскрывать до железных разрушистых жил, побеждать неустройство, запустение русской страны, а не здесь задыхаться, в чахоточном, обмороженном зэковском стаде-строю. Отдал все, что велела отдать ему «Русская правда» за кровь, — и живет здесь отмеченным будущим опозданием на волю, как входным пулевым, в точном знании, вещем предчувствии, что не будет он вовремя встречен женой на месте, в день звонка на свободу не сцепятся руки и не скажет она привалившимся телом своим: «отомри». И случится с ним это, не начнется нормальная жизнь только вот потому, что на этой очутился он зоне, угодил под особый закон, придавил его

Хлябин на какомто дерьме и Угланов обрушился с самолетного неба — сюда.

Этот цельный, простой, как топор, и живучий, как дуб, человек непонятно, знакомо магнитил его, как всегда его, с детства, тянуло к другим, по-другому задуманным, сделанным людям, наделенным всем тем, что ему самому при зачатии не дали и в себе никогда сам не вырастит, не разовьет, как тянуло к умеющим драться, наводить своим взглядом и одной телесной тяжестью оторопь и животную дрожь на любого, кто твякнет на них, к осязаемой силе в другом: вот таким должен быть человек. И сейчас было жалко вот этой затиснутой, бесполезно ржавеющей и могущей ослабнуть и сгнить без остатка страдающей силы в другом человеке, как всегда было больно, корежило видеть замордованные литьевые машины и прокатные станы на пределе износа, предпоследнем изломе железных костей — великанов немереных сил, что могли бы еще жить и жить, если б не угодили во владение скотов и дебилов.

Он не мог себя вытащить из ощущения несправедливой беды, провалился в которую этот железный: все вот это огромное время он честно не жил (заплатить справедливую цену за взятую жизнь невозможно, только «око за око»), но хозяева зэковских судеб не зачили ему честной отдачи, рудокопного рабства на зоне, и казалось Угланову, будто он сломал этого бивня, наехав тогда, в 96-м, и его не почуяв под своим колесом, — и сейчас еще раз наматает на обод вот эту судьбу. Говорил он себе: он не должен затягивать малого в замысел свой или даже цеплять ненароком: может он обойтись без него — есть другие, найдутся, кто послужит зубами, когтями, ступеньками, — и уже понимал, что неволей затащил он Чугуева в свой механизм. Есть еще ведь и Хлябин: дерутся паны — лбы трещат у холопов. Может быть, и

задолго до явления Угланова в зону захотел этот Хлябин Валерку сожрать, так и так бы всю высосал из Чугуева кровь. И такая вот мысль еще вылезала иголкой: он, Угланов, Чугуеву должен — человеку железного племени, человеку, который вызывает в нем тягу, восхищение своей живучестью, очутился который вот здесь в том числе и его произволом. Он, Угланов, привык с 96-го считать себя лично ответственным за Могутов, за землю, за племя как целое, и за целое было отвечать ему проще, чем сейчас вот за этого одного человека, которого, отвечая за целое, он тогда не заметил.

7

Наконец он, Угланов, дорвался и уселся к ней в профиль. Облученная, выжившая после всех добровольных испытаний вакцин на себе, безволосая женщина-врач, не подняв головы, выводила чернильные приговоры кому-то в бумагах.

— Посмотрим, — с разворота накинула на Угланова уничтожающую его «я» простыню, совместив прорезь в ткани с ранением, занавесив глаза, чтоб они не мешали, — умела сокращать человека до того, что болит. — Вы себя уже видели в зеркало?

— Видел и не узнал. Это просто какой-то Делон, — сплюнул он припасенную пять дней назад, перегнившую в пасти прогорклую шутку. — Чудеса вы творите.

— Я смотрю, неудобств при движении мышцами не возникает. Ощущения в ране инородного тела?

— Улыбаться вот все-таки как-то по-прежнему больно.

— Я бы на вашем месте вообще не задействовала соответствующие мышцы.

— Ну я бы на вашем... Смотрю вот и думаю...

— Есть ли что-то живое во мне вообще, — знакомым ему голосом подземного растения со скучной, остуженной готовностью продолжила она, — нет во мне ничего, вся давно умерла.

— Ну да, ну да. Кем родилась, на то и пригодилась. Это мы уже с вами прояснили со всей окончательностью. Есть такие вот люди. Которые не признают себя несчастными. Это надо еще разобраться, чья жизнь настоящая — ваша или та, в телевизоре, жизнь преуспевших. — Длинно, длинно он что-то — Станислава спала, оставаясь замороженно-непроницаемой пересушенной девой, словно и не являлась ему никогда уцелевшим под старой казенной штукатуркой собственным подлинником в беспощадно-каленной чистоте своих черт. — В общем, я разговариваю с овощем, смысла нет у вас спрашивать: вот за что вы себя так не любите. А вернее, когда-то так вдруг невзлюбили? — И не ткнул — полоснул ее наспех: вскрыть криком: — Что вы делаете здесь вообще? Вот хирург, для которого это, — ткнул себе пальцем в щеку, — стейк с кровью. От кого и чего вы сбежали сюда? — И шершаво-зазубренной ржавой консервной кромкой: — Зарезали в Москве кого-то по запарке? — Ничто в закаменелом лице ее не дрогнуло. Не хотел ее резать, только как еще, как? — Не того, кого можно, не ребенка простых, а богатых и сильных, тех, которые могут пройти и прошли за ребенка катком по карьере... — опустилась под воду и молчала, боясь захлебнуться, замертвев, чтобы он не услышал, как она закричала внутри. — Говоришь им: мы сделали все, что могли, так бывает, так может

случиться с любимым, но богатые не признают медицинского факта, деньги — это бессмертие, рай, это их был ребенок... — бил ее, не давая опомниться первым делом себе самому, и не мог посмотреть ей в лицо, чуя: если посмотрит, то уже бить не сможет; был бы кто-то другой, а не эта, то сейчас бы разглядывал точно без жалости, проверяя: попал? обнажилось уже кровяное желе? — Впрочем, может, все было не так. Что ж мы сразу-то так: затравили вас, выжили — будто сам человек не способен раскаяться в том, что наделал, будто сам не способен сбежать в глухомань. Если б гнали поганой метлой, так ведь не до Ишима бы гнали. Не на столько же лет. Отсидеться какое-то время, пока там затихнет. Покупаем диплом в переходе, скальпель в руки и снова за стол. Если руки дрожат, то тогда в терапевты, в провизоры... Только что-то вот я на себе не заметил, чтобы руки дрожали. Значит, совесть, душа. Это матка, взгляд матери, из которой все вынули вы, вы своей рукой лично, ага? Вот где был приговор, пустота вот такая, что ее не измеришь никакими годами лишения свободы. Только вот все равно непонятно. Знали ведь, куда шли, понимали, что чем больше хирург, тем обширнее кладбище. Что ж вы сразу сломались под этим-то взглядом? Значит, личное что-то, не совсем вот чужой чей-то взгляд... Она молчала так, что он не сомневался: сила задавленной, невысказанной боли душу разорвет и качнет наконец ее, вырвет словами; это в ней, что он тронул, не может зажить — и рывком подняла на него убивающие, разоренные вскрытием глаза, задохнулась шипением:

— Зачем?! Все узнал, скот, — зачем?! Вот куда лезешь, скот?! Просто так захотел?! Разобрать, как машинку, — посмотреть, что внутри! Наизнанку — доволен?! Просто нравится, да?! Заглянуть в человека? Ты, наверное, очень охоту

любил, для души. С вертолета, вид сверху — смотреть, как овца под тобой там мечется. Ты от этого, что ли, кончаешь? Только так можешь, да?!

— Да, такой вот урод. Но я живой урод, живой. Я жить хочу, выйти отсюда хочу, не важно, для чего... Чтоб на баранов с вертолета... Чтоб просто жить, где я хочу и как хочу. И я хочу и не могу. А ты можешь! Не хочешь! Тут рядом люди, звери, твари, человека убили за кайфа кусок, за старухину пенсию — все они хотят жить. Ну а ты вот сама засадила себя в эту зону, под землю, и не виной своей ты живешь давно, а страхом — страхом выйти отсюда и оказаться никому не нужной там. Ты наказать себя хотела, ты сказала себе: не имею я права такого — хотеть, чтобы было у меня, как у всех, ты решила стереть себя всю, навсегда, но только вот в пределах жизни не существует окончательных решений. Если скажет себе человек: не хочу и не буду я жить, не могу, не должна, это ведь абсолютно не значит, что он через время не захочет жить снова. И ты захотела! Только в зеркало глянула: кто там? Там другая, не та, что была. Постарела, поблекла, решила: старуха. Там, за колючкой, в мире, в телевизоре, в который ты выглядываешь, как старуха из окна, милуются и жрут товары из кормушки только молодые, все мужики охотятся за молодыми, ну а ты, ты не хочешь просить подаяния. Мы ж на мужской обмылок не согласны. Ты привыкла с девятого класса: это ты выбираешь, а не кто-то тебя, к мужикам подходила ты очень придирчиво: в том породы нет, в этом души, про себя понимала, что дано тебе... нравиться нашему брату, как одной из немногих, и теперь по-другому ты себя не поставишь. — Он как будто забыл про тот скальпель и руки, остановившие единственное сердце человека... Впрочем, все это рядом, одно, этажи лишь различные одного, что зовется самоосуществлением; вот куда бы сейчас ты ни бил

— все равно упираешься в матку, в любовь... И рывком к ней качнулся с кушетки и сцапал ее запоздало ожженную, полыхнувшую руку. — Посмотри! — Дернул к свету, под какую-то словно беспристрастную лампу, заставляя ее разглядеть пересохшую, травленную реактивами тонкую кожу, негашеную известь, проказу старения. — Посмотри на себя! — Схватил за подбородок, расплющивая пухнувшие губы — пусть брызнет сок, пускай она почует, как задрожала сразу в ней, вне разумений, жадно-слепая сдавленная кровь. — Для кого это все? Для чего это все тебе было дано? В жизнь тебя запустили вообще для чего? Это же все не делось никуда! А просидишь еще пять лет — и денется, превратишься в старуху тогда без обмана! Вот сперва отомрут твои чувства, душа и потащат на дно за собою и тело. И тогда сможешь только скулить по ночам. А сейчас ты еще можешь все! Понимаешь ты, все и сейчас! А потом вот захочешь — не сможешь! — И разжал, отпустил, отвернул от себя чуть ли не кулаком: не могу на тебя, вот такую, смотреть, не нужна, раз сама ты себе не нужна.

— А меня ты спросил? — вот таким безучастным, промороженным голосом, что у него заныло сердце: бесполезно, скреб и будет скрести, как вдовец по граниту когтями. — Что во мне сейчас есть, что хочу, не хочу. Это можешь ты знать? Это ты сейчас будешь решать, что мне делать с моей — моей, слышишь? — жизнью?! Что и как я должна? Вот кому я должна-то? Тебе?! Бог, мессия ты, кто?! Ходит тут воскрешает из мертвых. Мнет руками своими погаными: из тебя я, пожалуй-ка, вылеплю вот что. Зубы смотрит, лошадику, оценил, скот, породу. Указал время жизни, срок годности. Заповедуй еще мне сейчас размножаться. Знаю, как ты страдала, делай как говорю, и тебе будет счастье. Это кем надо быть? Я же вроде

тебя уже многократно обследовала — все же вроде бы как у людей, никаких микросхем! Ты откуда вообще прилетел, Электроник? Мама с папой были у тебя вообще? Ты с живыми людьми хоть раз в жизни общался? Вот которые могут хотеть для себя не того, чего хочешь им ты? Это даже скотина, и та — не заставишь вот спариться, когда надо тебе. Ты — никто! Слышишь, ты?! Ты сидишь и сиди. Тебя нет! Это моя жизнь, моя!

— Кто же спорит-то, а? Не захочешь — никто не заставит. — Он не знал, что сказать, — может лишь повторять, заколачивать, впрыскивать то же самое в мертвую стылость. — Хочешь знать, почему я полез в сапогах в эту вот твою жизнь, абсолютно чужой человек, робокоп, электроник, мутант? Потому что смотрю на тебя и мне даже не жалко тебя, а не знаю вот, как и сказать... Ну паскудно смотреть, как ты гасишь, планомерно стираешь себя. За себя, за себя мне вот стыдно и за всех мужиков — что никто не возьмет тебя за руку и не вытащит — да хоть силком — вот отсюда. Уж прости за такой шовинизм, только это мужская задача — наполнить твое бабье существование смыслом. Я смотрю на тебя, и я вижу: вот такой тебя сделали, каких нет и не будет уже никогда. В эту жизнь запустили тебя неспроста и со мной, если хочешь, столкнули тебя неспроста. Ну а если останешься ты тут одна и пустой, это будет какое-то извращение замысла, что ли. И вот я, человек, который уже сам не может ничего и который оставит вот здесь девять лет своей жизни, говорю тебе: ты-то, ты-то хоть выходи вот из этой тюрьмы, из скита. Если я не могу, ты-то хоть за меня поживи. Мне вот как-то от этого будет... не пусто.

— Знала я одного вот такого... наполнителя бабьего существования смыслом, — глядела сквозь Уланова в свое опустошенно-замертвелое, разграбленное

прошрое. — Очень, очень на тебя был похож. Не сосед твой по «Форбсу», но суть. Все куплю, все могу. Верил в свою способность воскрешать из мертвых, не говоря уже о мелочах вроде врожденных патологий сердца и так далее. И меня вот намыл, как блестяшку в песке, тоже мне говорил: ты такая одна, все в тебе, как ни в ком... наполнял, в общем, смыслом. Взял меня и поставил к себе на каминную полку и с собой в нагрудном кармане носил, чтоб при случае показывать всем собратьям по разуму: вот какая она у меня, а у вас такой нет. Все должно было сбыться по его плану счастья, так, как видит все он, и сбывалось все в точности до какого-то времени. Он ведь так и задумывал, чтоб жена у него не была, как у всех, поварешкой, домашней клушей, а сама из себя что-то да представляла: хирург... — не своей будто силой из себя выпускала, открывая свидетельство о регистрации брака, рождении, то, чего он не ждал от нее получить вот так сразу, и почуял он с хищной, запустившей когти в живое нутро, но и стыдной, коробящей радостью: она больше не может оставаться одна, надо ей, чтобы кто-то еще знал сейчас, что тогда с нею сделали; вот сейчас она выпустит душу и обратно ее уже не заберет, изнутри не закроется. — Говорил: ты должна мне родить сына-богатыря... — задрожал как живой ее голос, на мгновение став воем, вновь открывшимся кровотечением. — Не смогла ему богатыря, это первое несовпадение с тем, что у него было в плане, что указывалось на этикетке, сын поставлен был с браком: он не мог его просто поднять и подбросить — провода вот какие-то тянутся и уходят под кожу, под ребрышки, на зарядку все время надо аккумулятор, раз в четыре часа. Ничего, мы же сильные, это только другие, остальные склоняются перед природой, а сильные, богатые не признают ее ошибок, все же можно купить, если дело упирается в руки хирурга, то

есть, в цену вопроса, да, Артем Леонидович? — Ткнула без ненависти, никого не хотела ни за что наказать, никому сделать больно — одной только себе, но Угланов услышал на мгновение режущий, ненавидящий голосшипение бывшей жены: на какое-то дление Алла проступила вот в этом лице — для него они соединились в одну. — И такой была эта убежденность его, он такой наделял меня силой, которой я сама за собой не знала и никогда бы не поставила себя на это место — все равно что бога... ну почему он, почему меня не бросил вместе с Темочкой еще тогда, в ту самую минуту, когда ему нас показали и не позволили взять на руки ребенка?.. И все тогда бы было по-другому. Но он сказал: мы можем, ты решишь. Он как-то так меня вот к этому подвел, что я сама как будто захотела. Я, я, меня никто не заставлял! Я и сама теперь не знаю: есть в медицине этому какое-то объяснение? Ведь это твой, твой мальчик, и тебе совсем-совсем не страшно его резать. Упоение, так скажем, могуществом — как, не знакомо? Можешь ты быть сильнее всей жизни, решившей, что нашему сыну настоящей, обычной, полной жизнью не жить. Мы как будто дрались с нею, жизнью, мы хотели побить ее нашим ребенком, и наш Темочка был и оружием, и полем боя — таким крошечным вот полем боя, размером с его сердце, которое еще не выросло, а мы его уже так страшно занасиливали.

Он не чувствовал боли, не плакал, плакал лишь от того, что он не понимал, почему не дают ему бегать, носиться, как всем остальным... То есть я не сходила с ума от желания облегчить ему боль, это был не тот случай, когда хирургически вмешиваться необходимо, делать надо немедленно, а потом будет поздно, не тот!.. Сотни, сотни детей пресвободно с таким же пороком живут, ну, не так, не свободно, но живут ведь, живут, и ведь я это все понимала... как врач, но как будто ослепла, мы

оба, мы не видели нашего сына, живого, мы видели лишь то, каким он должен быть... Кому должен? Нам?! Нам, нам, нам, нас вот этот порок не устраивал, нам как будто доставили на дом в пеленках совсем не такого, не того мы заказывали, подавай нам другого, мы хотим — полноценного. И за это мы были наказаны. Что ты смотришь-то так на меня? Видишь бабу-мутанта впервые за жизнь, что сама взялась резать?.. Ну сама не сама. Выбирала стратегию, прости господи, — я. Самомнение, гордыня. Я вот ему, скоту, хотела доказать, что он во мне не обманулся, быть для него той самой, совпадать, мочь чудеса, дать сыну то, что не могло ему принадлежать, и я его убила. Все эти страшные истории про матерей, которые родят и бросают потом на морозе, в помойку, зарывают живьем, продают, пропивают материнский инстинкт, и, конечно, все сразу кричат про мутантов — вот лишить таких тварей способности к живорождению, ну а я-то кто, я? Я ж такая же, хуже, только те с нищеты, беспросветности гробят своих, а я с жиру! Я ж его не спасала — я его переделывала, Темочку. Так, как я захочу. Захочу — Ихтиандра. Есть такие вот люди вообще? Ты мне в зеркало, да, говоришь, посмотри? Ну я посмотрю и тогда понимаю: да, есть. Не приснилось мне все это, было. Мой Темочка — был. Я не могла так жить. Он, конечно, не понял. Ну беда, потеряли мы с ним, не разбитая машина, конечно, все намного серьезней, но ведь мы же остались, молодые, здоровые, сильные, мы родить себе можем еще. Уж лучше б обвинил и не простил. Нет, он молчал, жал из себя, цедил великодушие. Так и сказал: давай мы заведем — настоящего, нового, вместо. Это сюда уже он приезжал. И говорил все то же, что и ты. Жить надо, жить. Тут даже урки выпускают голубей надежды, которые должны найти дорогу к дому.

— Мы в прошлой жизни часом не были женаты? — Он только это мог, почуввав, как скомкалось резиновыми складками его позорное лицо — в щеку врезались швы, что она наложила ему, словно чтобы сейчас его морда от стыда наизнанку не вывернулась.

— Что, хочешь снова все начать? — И посмотрела прямо на него пристывшими, не прогонявшими, но и не обнадеженно-собачьими глазами.

А чего же он ждал? Прыгнет лапами сразу на грудь? Полетит как с горы в распутившихся запахах мокрой и готовой под пахоту жирной весенней земли, вербных почек, сирени, из себя на лету выпуская все, что накопилось и давит, всю силу нерастраченной и незатребованной, наконец-то нашедшей хозяина, на кого бы излиться, любви? На кого? На пришитого к месту вип-зэка, краснокнижного узника зверофермы ишимской, который отличается от остальных только редкостью и воняет таким же бессилием, что и все остальные?

— Ты хотела себя наказать — ты уже наказала, ты хотела не жить — ты уже не жила, чем живут все нормальные бабы и матери, — разогнанный, как поршень, как сверло ублюдоочной какойто пыточной машины, он врезал в то же место, об одном. — Это так все паскудно звучит: можно жить, надо жить, завести себе нового, вместо, не насиловать больше себя, наслаждаться вот даже, спешить: мол, упустишь возможность сейчас — никогда не нажрешься потом. Есть еще много новых товаров, детей, в которых исправлены все недостатки предыдущих моделей. Тот твой мальчик — единственный, никогда его больше не будет. Только что же вот делать с любовью? Той, которая вся назначалась ему и которая ведь никуда из тебя не девалась? Зэкам, что ли, раздашь ее всю в виде маленьких порций? Так ведь нет, не отдашь, она

поровну, эта любовь, между всеми по пробиркам не делится. И кому будет лучше, что ты ее никому не отдашь? Никого из нее не возникнет уже, ну из близости, да, с мужиком, не святым же все духом. Ты вот врезала мне: а была ли у меня вообще мать? Не была. Вот втравила меня в это дело и к ангелам: заражение крови. Мы все жили в казенном питомнике — каждый ждал, что за ним обязательно кто-то придет, чтоб оттуда забрать: ни за кем не придут, а за мной — обязательно. А иначе пусть все тогда сдохнут, всех убить, если я не найдусь. Мы все ждали — тебя. И сейчас кто-то ждет — не родившийся собственный твой или брошенный кем-то чужой... — отдал ей в свой черед он свидетельство о рождении, душу: вот, смотри, я живой, тоже что-то когда-то болело во мне, и сейчас, навсегда я могу понимать, знаю цену материнской любви... И корежился от своего охлажденного, головного паскудства: все затем лишь, чтоб выдавить, вытащить из нее вожаденную связку ключей от рентгенкабинета, принесла чтоб в зубах, как собака, ему... И такой же холодной, отчетливой мерзостью подкатил уже страх: вот почует сейчас она — да, время жить, отдаваться, рожать — и сорвется отсюда, забыв про него; ну, не с ним же, Углановым, не от него. Бросит все, кроме главного, сердца, утробы, сбросит эти ключи от санчасти в чьи-то руки, которые он, Угланов, не купит... И не мог посмотреть ей в глаза и не мог не смотреть на нее: в бледном закаменелом лице проступил, как протиснулся с холода в обещание тепла, беззащитный продрогший зверек, позабытый, потерянный на вокзале ребенок — сам со страшной силой захотевший найтись и с такой же силой не доверяющий, не способный поверить, что может кому-то быть нужен, и вот это ее недоверие, точное знание: каждый хочет отгрызть от нее то, что нужно ему, и тем более Угланов — из нее выжать пользу —

пересилили в ней, проморозили эту детскую, вне разума, надежду.

— Крысолов, крысолов... — наконец-то прозрев, провалившись во что-то в Угланове взглядом, что сделало окончательно невыносимым его, зашипела она, с совершенно кошачьим омерзением отпрянула. — Всем играешь на дудочке, и они за тобой. Вот на самом простом меня, да? Ну а что еще бабе? Вот это! Не живи в пустоту, быть не можешь пустой. Разглядел еще, главное, он меня по-мужски. А потом начал: ма-а-ама, пусть мама услышит, пусть мама придет. Показал, как, оказывается, просто воскреснуть. Ну а ты подтолкнешь, ты поможешь, денег дашь на зачистку мне кожи и рожи. Чтоб успела запрыгнуть еще на подножку уходящего поезда. Чтоб ребенка мне сделал кто-нибудь в тридцать пять. Ну а я зацеплюсь — как же тут не вцепиться, если видно, что баба ночами кусает подушку? купишь мне билет в счастье? Ну а что тебе — я? Я же вижу ведь: надо! Не стесняйся, скажи! Я ж куриным умишком сама не дойду, что за белый билет я должна тебе выписать.

— Дура! — Он заныл от привычного бешенства, как на свою, как орал на жену, распаленную стерву и Ленькину мать: охренела! не слышит! забыла, кому всем в своей жизни никчемной обязана! — Ты вот, дура, скажи! Что мне надо сейчас, того взять у тебя я сейчас не могу. Что саму тебя надо — ты этого не допускаешь? Что ты можешь мне быть интересной — вот ужас! — только через постель? В Электронике, знаешь, вот тоже иногда прорезается... — И со страхом почуял: целиком она больше ему не чужая, поселилась внутри, просто так ее выпихнуть из себя, своей жизни ему не удастся, началась, завелась, как часы, и пошла в нем, Угланове, эта, навсегда от него не свободная жизнь, для которой придется качать ему кровь: с нею стал он слабее, с ней — железный не весь, каждый может ударить теперь его в это уязвимое

место. — Или что, так воротит тебя от меня? Вообще не рассматриваешь? Не гожусь, чтоб за мной, как жена декабриста, не стою того? Поздно мы с тобой встретились. Ты и так слишком долго отсидела вот здесь, чтоб еще и со мной отбывать восемь лет. Так сама беги просто отсюда, сама! И ищи благородного. Что такого тебе я могу, что не можешь сама? Денег дать на автобус до Тюмени отсюда?

— А жена-то, жена? Есть, по слухам, такая. Или что — полевая нужна, то есть тюремная? Без претензий особенных? — И хабалисто — делано — расхохоталась, глядя с тем же кошачьим, не могущим понять, угадать, что же надо ему от нее, омерзением, оборвала себя и врезала с понятным им двоим, выпытывающим значением: — Что не может такого тебе она дать? Того самого? Ведь должна же, наверно, давать по контракту...

На столе у нее подорвался и звенел телефон, датчик вызова: он взрывался и раньше, через каждые пять разделяя их зудом «свидание окончено», нажимая на темя распухающим напоминанием, во что они заключены, и они его просто не слышали, размозжала она через каждые пять это вот дребезжание будильника трубкой; почему-то боялись дубаки к ней зайти, постучаться: тут она выбирает, во владениях своих, на кого из больных сколько времени тратить, но сейчас распалились, скоты, окончательно: эй, вы что там? отставить, заключенные, личную жизнь!

— У меня только сын. Его мать мне давно совершенно чужой человек. — Он стерпел неотступный, вымогающий правду и уже все решивший — почудилось — взгляд и, как мог, показал ей глазами и кивками с ничтожным размахом: да, да, есть такое, что можешь сделать тут для меня только ты, я скажу тебе это, как только

смогу, и тогда ты решишь, что ты сделаешь со своей отдельной, замкнутой жизнью и моей дальнейшей участью... Только можешь ты это теперь — в одиночку спастись, снявшись с этого места? Можешь что-то ты сделать с собой — без меня?

8

Все споткнулось на зоне с углановским резаным криком — поронули сурмыло! — и поехало дальше, поползло по привычному руслу кропотливых кротовых, паучьих дознаний и молчания рыбьего зэков в ответ. И погасло бурление, сошли пузыри, и опять побежала пустая вода, одного лишь Валерку не снимая со страшного места, распирая проточной тяжестью жабры, неизвестностью, что же с ним будет. И бояться-то вроде ему было нечего: сделал все, как велел ему Хлябин, и сам Хлябин его от себя чуть не сразу прогнал, явно занятый большим, чем Валеркина участь: делай все, как и раньше, Чугуев, только в следующий раз мне смотри, чтоб не как в этот раз — крови, как со свиньи, и обивка вся в клочья.

Ничего не всадил в него нового Хлябин, но и старого в нем не ослабил. Так Чугуев надеялся, что теперь заберут его монстра отсюда к хренам — увезут на другую, специальную зону, под охрану, замки, под особую сигнализацию, от чугуевской жизни отцепят, и зачем он, Валерка, тогда будет Хлябину нужен? Разве только из сладости власти — до конца растереть его жизнь. Да уж както, наверное, после Углanova он, Чугуев, невкусным покажется. Да не будет вот только жизни «после Углanova». Починила его Станислава, заштопала, загустел, задрожал снова воздух в бараке — каланчой, самоходной сваей на Чугуева прямо пошел, на него

одного нажимая глазами и уже окончательно все про Валерку решив: подо что приспособить достаточно прочной распоркой или, может быть, ломом его. И впервые так близко подошел и навис над Валеркой на расстоянии запаха, человеком из кожи, с задышавшими порами, со своим свежим шрамом, прорезавшим щеку от скулы до зубов, и с последнего метра — полоски магнитозахватного воздуха — без сомнения сбросил в Валерку, как в бункер:

— Я видел. Как ты этого буйного вылечил. Я сказать тебе должен спасибо, хотя на хрена оно нужно тебе, от такого «спасибо» ты бы лучше держался подальше, ведь так? — Что угодно бы мог в него сбросить — да вот хоть про вчерашний футбол и Аршавина мертвого — с той же силой Чугуева бы накренило, провернуло сквозь годы против бы часовой. — Ты ж, Чугуев, тот самый Чугуев, из моих заводских крепостных, для меня это многое очень меняет. Подходи как-нибудь, почирикаем. — И пошел уже дальше, своротив его с рельсов и заметив в чугуевском загудевшем от крови лице то, что вызвать на нем он хотел, — хорошо различимую трещину...

И как будто и времени не прошло никакого — поравнялся с Валеркой перед съемом с работы и плеснул обварившим, пробирающим пыханьем на ухо:

— Плохо, плохо меня бережешь. Шкуру дал мне попортить. Я тобой недоволен, Чугуев.

— Чего?! Чего гонишь такое? С кем спутал? — рыкнул голосом обыкновенным, почуяв, как разом затрещала обшивка у него на лице и над сердцем, открывая опоры, насосы, поворотные муфты простого устройства его, вот и так для Уланова полностью и до скуки прозрачного.

— Да тебя разве спутаешь? Ты же личный мой телохранитель, лично Хлябин

приставил ко мне — драгоценную бошку беречь. А ты что-то совсем сбился с нюха, Чугуев. Я не только не вижу усердия с твоей стороны — я считаю, ты это намеренно не спешил и давал меня резать. Ты хотел, чтобы он меня вообще заporол. И с какой огромной радостью ты бы сам придавил меня в темном углу. — Равномерно дышал, выдыхал, не давая Валерке на ходу повернуть головы — как в тисках: просто рядом идут вот у всех на виду, вяло машут руками, и нельзя сейчас резких им делать движений, и казалось, уже он Чугуева тащит по проложенным рельсам, куда надо ему. — Ведь тебя ж просто корчит мне, гаду, служить. Это ж я погубил твою жизнь, повернул вот сюда, за Уральский хребет. Надо было тогда мне, Чугуев, служить. И тем более сейчас проявить расторопность и прыгнуть на гада. Ты же знаешь, что я за такое всегда делал с вами. С теми псами, которые пасть на меня раскрывают или что-то хотят утащить из моих закромов. Как я вашу породу с завода вместо шлака из домен сливал. Ты считаешь, сейчас для тебя что-нибудь поменялось? Обрядили Угланова в робу — и нету Угланова? Нет, мужик, ты везде и всегда от меня будешь смертно зависеть. — Бил и бил молотком по чугуевской зазвеневшей пустотной башке, словно только того и хотел, что пробить до гремучего студня, до взрыва хорошо сохранившейся сотрясенной в Чугуеве злобы, непризнания себя червяком под вминающим в землю его сапогом, до того, что тогда, в той стекляшке, затопило Чугуева, вырвав все из нутра, кроме — бить, засадить свою правду Угланову в голову; подмывал его просто, ушатывал точно так же вот дернуть рукой сейчас — но сейчас он, Чугуев, был пуст и тащился за ним все равно что безрукий.

И путем многократных плевков керосина в Валеркин движок убеждался Угланов, что Чугуев сейчас безобиден, как плюшевый, и его можно мять и трепать,

как захочется.

— Дальше, дальше идем, не сворачивай.

Встали перед самой будкой с красно-белым шлагбаумом, на глазах у бригады, у всех и как раз вот поэтому очутились одни на асфальтовом острове, под колпаком наведенного яркого белого света, как вот кто поумней выбирает для шалостей не последнюю — первую, перед носом учителя, парту: хорошо же он тут все уже изучил. И каким-то другим, ослабевшим и шатким, пересиливающим голосом покати́л на Чугуева новые, непонятные волны, с непонятным болезненным выражением глядя Чугуеву сверху в лицо:

— Я не помню тебя, извини. Вас тогда было много таких, ползавода. Дравших глотки: «Долой!», «За Чугуева!» Вам же было тогда всем на площади сказано, я к вам вышел и вам говорил, как поставлю железное дело. И кто уши имел, тот слышал — и сейчас честно пашет на свой возрожденный завод и всегда получает за свой пот и мозоли достойные деньги, кормят семьи свои, поднимают детей. Ну а ты не слышал, Чугуев. Как же было слышать, когда я треть из вас сразу под сокращение — как траву под покос.

Тридцать тысяч отсе́в. Кто ж согласен? Ты ж не скот, ты не шлак, чтоб тебя выливать через эту вот лётку. Но иначе нельзя тогда было, нельзя. Это вечный, Чугуев, абсолютно железный закон: что нельзя взять на борт корабля больше, чем он, дырявый такой, на текущий момент может вынести. А иначе потопишь завод целиком. Понимаешь ты это, Чугуев? Ну не может быть так, на одну чтоб исправную в цехе машину — лишних десять, пятнадцать, тридцать пять человек. Управляет машиной один и на хлеб себе сам зарабатывать может один. Или скажешь, я

трюфели жрал в это время и мулаток под пальмами трахал? Я у конвертеров по суткам ночевал с такими же, как ты вот, работягами. И с инженерами башку ломал, как из дерьмового угля и ржавого металлолома не ХРЖ отлить, а что-то хоть похожее на сталь, такую, что она и в мерзлоте не разорвется. Я не мог вас жалеть, никого по отдельности, честных, нормальных, кость от кости завода, не мог. Сталь — это невозможность никого жалеть. И я сейчас хочу тебе сказать, что ни за что прощения не прошу. Если б я делал как-то иначе тогда — мне прощения сейчас бы просить вообще было не у кого. А сейчас мой Могутов кормит сталью полмира, и все люди завода вот даже не сыто, а со смыслом живут. В телевизоре видел? Все, все за меня. Как один человек.

Непрерывно смотрел он в пустого Валерку, в глаза, и искал в них себя, отражение свое и себя в них не видел, хоть ничтожной задержки своей правды и силы в чугуевском взгляде: не имел для Валерки уже в этом плане никакого значения он. Рост родного завода, превращение его в великана, с которым считается мир, не имели значения: целиком был оторван от этого роста Валерка и не рос вместе с собственной родиной все эти годы, сокращался на зоне, ржавел, не могущий почуять отсюда вещественной силы углановской правды.

— Что ж молоть-то теперь? Перемолото. — Он зачем-то толкнул из себя, хотя всё было ясно обоим и так, и уже закричали дубаки им «построиться!», полосатый шлагбаум с табличкой «Стоять! Запретная зона!» поднялся, и со скучной неумолимостью серый земляной и бетонный конвейер пополз, потащив их обоих в составе безязыкого стада в жилуху; по всему должен бы вот теперьто Угланов насовсем от Валерки отстать: для чего вообще он завел разговор о былом, что тянуло

к Валерке его, что он мог из пустого Чугуева выжать?

Но опять — в умывальнике, выбрав время, — навис:

— Что же брат тебя, Сашка, не вытащил? Мог же ведь откупить от судьбы с потрохами?

— А тебя, видно, сильно боялся, — бросил в эти пытавшие никому уже больше не нужную правду глаза.

— Это как он меня, я не понял? Ну мента ты, мента. На площади тогда перед заводоуправлением, когда на приступ взять меня хотели. Ну и что мне тот мент? У меня сто вагонов ментов таких было.

— Да потом уже было — мента. А сначала тебя я, тебя. До тебя самого докопался. — Даже спичечного огонька разумения в глазах не зажглось у того. — Что тебе это помнить? Не надо. Там, на трассе, в стекляшке, где ты с Сашкой в сговор секретный. Вот бутылкой тебе хлопнул в голову.

Рука его, Угланова, качнулась, и потрогал обритый затылок, пытаюсь оживить ту далекую комариную боль, ощутить ту потекшую малую кровь: да была ли?

— Нет, не помню. Забросали гранатами ту бутылку твою, извини. Если б ты на больничную койку меня, вот тогда бы запомнил. Ну а мент где тогда и откуда?

— Что тебе этот мент? Что вот я тебе, я?! — Вся давящая мука неопределенности, распиравшая жабры, рванулась наружу. — Что ты душу мотаешь-то мне: что да как да за что?! Было, значит, и было: свою жизнь за три дня поломал, за минуту вот только одну. Человека под землю убрал ни за что, вот которого даже не знал. Жизнь чужую забрал и свою отдаю, как оно и должно, справедливо! Вон он я, обит кожей, букашка! На твои все расклады не влияю никак! Ну у Хлябина клоуном,

у него на руке, как Петрушка, по гланды! Так не против тебя же оно! Твой же телохранитель, ты уж не сомневайся: заслоню, пропасу, если вдруг какой псих...

— Ну спасибо, теперь я спокоен. Отработаешь, значит, честь по чести два года. Потом? Что, отпустит тогда по звонку тебя Хлябин? — Знал, конечно, что режет без ножа его этим вопросом.

— А зачем я ему? Отработал — и хрен со мной: что на волю, что в шлак — для него все одно. Тут теперь только ты. Ты большой, ты вкуснее, ты — целый Угланов, мы теперь для него все невкусные — нашу кровушку пить. — Кипятил в себе эту убежденность в своем неминуемом освобождении, но не мог довести до кипения, сделать правдой даже для себя самого.

— Если б так было просто, Чугуев. Поменяться все может в любую минуту. Спустят сверху команду ему — отмесить меня или зарезать. Кто месить меня будет? Хмызин в дурке, отмучился. Значит, следующий ты. Ты для этого дела подходишь, ты в Могутове против меня воевал и попал через это на зону. Значит, можешь хотеть отомстить. На тебя стрелки Хлябина: у тебя, мол, мотив. И тебя приберут после этого сразу по-тихому, с понтом, это ты сам себе брюхо вспорол. Не похоже на правду? Да хрен со мной, хрен, вот не станут они ничего со мной делать и тебя подводить — для тебя самого разве что-то меняется? Ты ж его изучил уже, Хлябина. На себе испытал, что он делает в зоне с людьми, как ему это нравится, власть над тобой. Он на чем тебя держит? На мокрухе, не меньше? Железяку, заточку накопал с чьей-то кровью и твоим отпечатком? Что-то ты же ведь делал для него тут особое? Про него много знаешь, чего никому знать не надо, — разве он тебя с этим отсюда отпустит? Наломал новых дров ведь, дурак, — тут кого-то мудохал, кого он

укажет, — на статью себе новую. У него, поди, в сейфе заявления лежат от всех тех, кого ты по его уже указке ломал. Только так довернет до пожизненного — в пятьдесят выходить уже смысла не будет. — Заколачивал гвозди чугунные в мозг, глядя прямо Валерке в глаза, с мерзлой силой, без сладости, удовольствия видеть Чугуева сломанным — просто делая то же, что делал с людьми он всегда, вынимая им мозг и вбивая свое. — По природе он тварь, кровосос. По всей жизни был маленький, серенький, а такие, как я, подымались наверх и окурки об него вытирали, и все девки на танцах уходили с такими, как ты, и ему никогда не давали. Ну вот он и пошел в надзиратели, чтобы всем отомстить за свою нищету и убожество, чтобы жизнь человека, такого, как я, и такого, как ты, получить в свои руки. Я, Чугуев, большой, повкусней буду, да, но и ты для него ведь не маленький. Он на зоне и дня бы человеком не прожил — от животного страха за свою требуху, ну а ты десять лет простоял, не согнулся. Если снять вот погоны с него, что останется? Да слизняк бесхребетный. Он всегда будет чувствовать это, когда рядом с ним ты. Ты для него ходячее оскорбление. А еще тебя ждут, тебя любят, та девчонка, которой ты в Могутове жизнь покорежил и простила тебя все равно и ждала, пусть ей все говорили, что ты в зону ушел, как в могилу. Ты бы умер, Чугуев, — все равно бы ждала как живого тебя, а его, слизняка, разве стал бы кто ждать хоть два года из армии и, тем более, так, как она тебя ждет, как одна только мать может ждать вообще. Вот за что тебе верность такая, а ему ничего? И вот этого, этого он тебе не простит. — Проходило сверло в нем, Валерке, пустоты — что тут скажешь? Молчал. — И чего? Дашь сожрать ему жизнь? Жизнь, которая с нею должна у вас скоро начаться? И выходит, тогда ничего не имело значения? Что ни с кем свою

жизнь не связала, с другим мужиком, никого не убившим, нормальным и честным, и в себя его семени не приняла, потому что не надо ничьего ей другого? Для тебя одного, дурака, береглась и тебе свою молодость через эти решетки скормила — это как? Это, значит, напрасно она? Не выйдешь к ней — добьешь ее, Чугуев.

— А я могу?! — рванулось из нутра. — Так и так не дождется! Нет правды! Что могу против буквы закона? На бумажке букашка! Тут умишком же надо, мозгами, деньжищами, тоже сила не меньше чтоб хлябинской силы! А где?! Я всю жизнь тупой козлик, изпод палки вот вашей все делал, как скот! Это если б война, на руках, кулачках — от меня бы, от жилы, от упрямки зависело! Вот в забой меня, в шахту, в Чернобыль — давай! Вот тогда бы я сделал. Ну а так я обрубок! Даже ты — тоже здесь!

Выедал замолчавшего монстра глазами — человека из мяса, из пористой кожи, с выпиравшими сквозь эту кожу мослами, в той же майке казенной хлопчатобумажной, что все здесь, человека, который никогда не почует той же меры бессилия, от которой вот здесь задыхается он, земляной, скудоумный Чугуев, человека огромной давящей, покупательной силы, погрызающих все лобочелюстей — и уже получалось, Угланова жалобил, вымогал, вынимал из него: «помоги!», признавая без внутренних корчей за Углановым силу решать, кому жить, потянувшись впервые к Угланову и готовый уже целиком подчиниться ему, исполнять, проводить его волю своим существом, лишь бы только помог, — и смеялся вот в ту же минуту над своей дебильной наивностью, задыхаясь презрением к себе и к Угланову и не веря, что этот, так плево порезанный ножиком, сам посаженный в зону и ржавеющий в ней человек может что-то — теперь, вот отсюда,

из клетки — изменить даже в собственной жизни... и в какую-то стенку в себе упирался с разгона: не верь, нет к тебе и не может в Угланове быть никакого участия, занят только своим, лишь своей большой свободой и силою он.

И Угланов как будто слышал, да заранее это все знал:

— Можешь, можешь, Чугуев. Я и здесь вот, в загоне, кое-что все же тоже могу. Вознесенского видел, придурка, — пидорасить хотели его? Через месяц-другой, ты увидишь, повезут его на пересуд, и мои адвокаты докажут, что девчонку он ту даже пальцем не тронул. Это все ему я. И тебе то же самое! Но с тобой сложнее: в зубах ты у Хлябина. Так что ты должен тоже кое в чем мне помочь.

— У тебя, значит, клоуном?! Что у него Петрушкой был, что у тебя! И все одно по оконцовке тут останусь!

— Оставайся и Хлябину верь, — уморился Угланов.

— И тебе, и тебе... еще больше не верю!

— И правильно. Что я добрый такой. Я не добрый, Чугуев. У меня своя правда. У меня тоже сын, восемь лет пацану. Я не хочу с ним встретиться, когда ему будет семнадцать. Я не хочу отдать свое единственное время этим сукам, не хочу отдать сына, который сейчас забывает меня и забудет совсем, и я буду не нужен ему... никогда, никогда. Твоему сейчас сколько? Сколько бабе твоей? Лет на восемь, на сколько моложе тебя? Понимаешь, что в этом мы с тобой совпадаем, что у нас эта правда с тобой — одна?

— А я знал! Знал ведь, знал, что ты это... Волком, волком смотрел за колючку! — Вот та самая, первой в его нищем мозгу проскочившая дикая и смешная догадка об углановском замысле оказалась единственной правдой, проступила в

углановском, потерявшем как будто бы кожу, оструганном до болезненной и незащитной сердцевины лице: только это и было одно под углановской лобной костью, выпиравшей наружу в одном непрерывном усилии — просквозить, проломиться, подняться на волю безразлично по скольким и чьим головам... — И меня на колючку, как ватник, чтобы не исколоться! Первым перед собой на мины. Да только хрен тебе, другого барана поищи! Мне два года осталась, год, год! Хоть чего говори — не полезу! Правда, ишь ты, одна! Кочергой внутрих прям шурует! Хавал ты мою правду и ей не давился! — резал водопроводным, обдиравшим гортань кипятковым сипением Углanova — и в углановском горле в ответ тоже вентиль тугой поворачивался:

— Уговаривать даже не буду вот из этой могилы ломами тебя выковыривать. Сам со мною попросишься, сам.

9

Что же он так вклепился в Чугуева? Взял кусачки и тянет мужика, словно зуб из гнезда, в свой «состав преступления», словно, кроме Чугуева, взять ему некого, ничего без Валерки ему не собрать. Лишним, наоборот, даже взрывоопасным для углановской шаткой затеи был вот этот заблудший, по башке отмолоченный властной неправдой мужик, раздираемый надвое, занасилованный вечным страхом не родиться на волю. Вот же, вот под рукой Углanova — превосходный, породистый, состоящий из нужных звериных ухваток Известьев, вот уж кто ему нужен воистину, прокаленный и травленный истинный вор, подключенный к единой системе

обращения крови «братва», вот кого уж не жалко и кого он, Угланов, приручит по законам служебного собаководства. А Чугуев зачем?

Так-то все оно так, да не так. Если что-то в намеченной схеме «Известьев — Станислава — санчасть»... Станислава — вот его уязвимое место, Угланова, не прижившийся и не заживший кусок его кожи? души? существа?.. Забуксует, споткнется, сломается, если что-то унюхает Хлябин, то тогда человек будет нужен в промзоне — Чугуев. Он, Угланов, ведь все же немного посложней дождевого червя, чтобы сразу всей слизистой плотью толкаться и втягиваться в земляную расщелину, прорываться всей силой в одном направлении сквозь землю — может и показать «вправо-влево», пару-тройку обходов, одновременно ложных и истинных, запустить одновременно два часовых механизма — нужен, нужен Чугуев ему, и распахивать и засеивать нужно это вот поле «Чугуев» сейчас.

Никогда он, Угланов, не думал о ком-то дольше двух-трех минут — в смысле: о человеческом теплом нутре, о единственной правде, содержимом кого-то из своих пехотинцев и, тем более, тварей, «врагов»: с кем живет, кого любит, над чьей кроватью склоняется тронуть маленький лоб целовальным термометром, с кем он там говорит на понятном лишь двоим в целом мире сюсюкающем языке глупых ласковых прозвищ, мог он этого раньше не видеть, не чувствовать, материнских, сыновних, отцовских дрожаний, вовсе не существующих в измерении железного дела, а теперь было мало ему Станиславы — он и этого полного боли живой мужика, человека-убийцу не мог сократить до стального, пустого куска и свести к пробивному устройству таранного типа, уместить целиком от макушки до пяток в «основание и выбор параметров землеройной машины». Эта самая баба чугуевская. Он ее ведь

увидел, Угланов, недавно, сквозь заборную сетку у «дома свиданий» — вдовы просто и глухо одетую, как-то сразу поняв, без подсказок: Чугуева, для него, под него, словно жизнь изначально задумала этих двоих, отлила друг для друга, друг из друга вот даже, как из одного самородка, куска; он, Угланов, привык здесь, на зоне, к отцветающим, рыхлым, расплывчатым, а она — устояла, было ей врождено устоять в своем контуре, долго не отдавая ни грана, ни градуса изначально живой своей силы беспощадному времени, — не весенний размах, а пшеничное, золотое и синее плодоносное лето; было что-то такое в величии благодатного крепкого, звонкого тела, от чего ни один не ослепший мужской человек не останется рядом спокоен, шевельнется покойник, монах согрешит, педераст пересмотрит наклонности, и у всех серолицых шнырей и прокислых дубаков на воротах шеи разом сворачивались набок: и ведь ездит такая к кому-то проржавевшему в зоне и дает год за годом — себя.

А она же дернулась, сорвалась от удара в живот изнутри, услышав: твое время, входи — захлебнувшись своим горьким, кратким, по минутам отмеренным счастьем, побежала увидеть живым своего; вот такая собачья, материнская жадность заплескалась живой водой в ее потерявшихся, ищущих, будто бы на военном вокзале новобранца, калеку, живого, глазах, что Угланов щекотно, щемяще почуял, как она бережет, подымает, спасает Чугуева и как сам он, придавленный хлябинской протокольной кипой горе-убийца, начинает толкаться навстречу жене — к полынье, что она, его баба, продышала над ним, столько лет не давая подернуться пленкой, сковаться, и впервые за жизнь он, Угланов, почувствовал что-то походившее на настоящую зависть: никогда у него такой женщины не было, что его бы тянула, зная,

что без нее пропадет, не она — так никто его больше не вытащит, не накормит, не вымолит; за него бабы шли и ложились под него как под сильного, вырастая в глазах своих собственных, возвышаясь, любуясь собой: вот такой у меня он, Угланов, вот таким должен быть настоящий мужской человек, чтобы я захотела, отдавалась, гордилась — и никто его слабым, обесстеленным, жалким не видел. А поднять из канавы, из гусеничной, сапоговой подошвенной вмятины человека — не хочешь? Ждать полжизни собакой у железных ворот — человека, который обнесчастил тебя, — прибегать под заборную сетку и не дать себя этому человеку прогнать: убирайся, нет больше никакого Валерки, жизнь свою свари с новым, пока молодая; в эту землю врасти, когда все перестанут находить за бурьяном калитку, за которой он скрылся на кладбище. И у этой вот русской Пенелопы он мужа, Угланов, сейчас заберет, затянув в свое дело, машинку, в 50/50 вероятности, что в прорытом туннеле не «выстрелит» над башкой гранитная кровля и Чугуев-распорка не сломается первым, приняв на себя ломовую обвальную тяжесть породы. И не то чтобы прямо проломила Угланова правота, правда сердца вот этой Натальи, но все же полезли иголками и язвили порой не совсем чтоб по-детски вопросы: кто сказал, что его, господина Угланова, тяга на волю много больше, важнее чугуевской, тоже единственной, жизни? Да сама постановка вопроса смешна — каждый весит, как давит, сколько веса набрал; он, Угланов, на это полжизни работал — весить больше, чем каждый другой, согласившийся с низостью и не поправивший изначально своей невесомости; изначально вот так разделяются люди — по «данным», по мозгам, лобочелюстям, и Угланов давно навсегда ушел вверх, и Чугуев уже навсегда не поднялся, справедливости нет, все законно, потому что — непреодолимо.

Нужен, нужен ему, но сейчас занялся он Известьевым, нагишом ступив на мокрый кафель в банно-прачечном общем вагоне и подсел вот к такому же голому и покрытому шерстью, просто так, невзначай, на свободный край лавки; тот, конечно, не дрогнул, не налил тревожной, угрожающей тяжести и глядел прямо перед собой, отмокая: кожа чистая всюду, без чернильной проказы, но Угланов приметил уже на лопатке небольшую такую... «знак почета», тавро. Ударяли по кафелю струи воды и с шипением резали воздух, отсекая от них, заглушая все звуки, — подходящее место, наилучший момент, он теперь постоянно, Угланов, держался поближе к источникам громкого звука, методичному гуду и зуду вибраторов, переливам, шипению, обрушениям водопроводным, зная, что могут слушать его дубаки с маниакальным бессмысленным тщанием: каждый шаг, каждый вздох, каждый выхлоп кишечный; впрочем, слушают там, в адвокатской, с Дудем, наведенным лучом по вибрациям стекол оконных подключаясь и считывая, что пошлет он отсюда — «туда», управляя своими ракетными установками СМИ и деньгами, а здесь — под проточной этой звуковой изоляцией — без сомнений качнулся к Известьеву и:

— Интересная татуировка, Олег, у тебя... — Неужели никто из ишимских блатных до сих пор не приметил вот этой полустертой звериной оскаленной морды? Всех же тут раздевают они и читают, как книгу, сверяясь с гербовником волчьего племени: самозванец, порвать, как порвали вот этого Ярого за самовольно нанесенные «звезды», — значит, с кем-то уже он, Известьев, в контакте и сцепке, сразу узнанный кем-то на зоне, раскрытый... — В зону лучше с такой не соваться, мне кажется. Ведь со шкуркой отпорют, не так?

— Ну а вы разбираетесь? — Подчиненно-почтительно «вы» — ничего не

затлелось в глазах, хорошо он командует кровью. — Да по дурости, дурости молодой наколол, а потом вот сводил, как впяли. Ничего, оказалось, — люди тут понимающие. Положенец наш, Сван. Живи, сказал, чего. Если с каждого спрашивать вот за такое, все давно бы без кожи ходили.

Неужели еще не почуял, что Угланов его полоснул до стола, вскрыв от горла до паха?

— Ну а смертнику, фуфелу, что на острове Огненном вместо тебя, что, такую же сделали? Под копирку на левой лопатке? — засадил сразу острым, тяжелым в хребет, и обмылок, баран из мужицкого стада, сразу сделался тем, кто он есть, и взглянул в него тем же запыленным, погасшим и новым, словно из камышей — на охотника, взглядом:

— Не пойму я, про что вы. — Ничего необычного, все как всегда: раскаляется лежка под брюхом; он, Известьев, умел потерпеть, не сорваться, за собой не поднять сразу бешеный гон.

— Поражаюсь я все-таки русской системе. Всюду Сколково, датчики, рамки, биометрия, чипы, штрихкоды — ничего не работает, только одно: дашь полтинник зеленых инспектору спецотдела СИЗО и полтинник главоперу, чтоб они там руками переклеили пару фотокарточек три на четыре, и уже едешь не в Белозерск на десятку, а в Ишим на два года, срок, который ты тут на одной, блин, ноге прстоишь — и рождение заново, жизнь. Под другой фамилией. Да, Гела?

— Ух какой ты! Рентген. — С оттенком удивленного шутливого отчаяния (?) вор покачал потяжелевшей головой: вспорол меня, купил — не тратился ни долькой на зверские гримасы, продавливающий взгляд: он ведь не обезьяна. — Разведка у тебя,

конечно, — по ресурсу. Как выкупил так быстро, вот просто интересно? По Хмызу, шелупони?

— Так ведь дочь у тебя поизвестней, чем ты. — Захотелось похвастаться нюхом: как читает мозги по значению взгляда, по невольным движениям губ, кадыка, заглянуть может сразу в нутро и достать человеческую душу, заповедное самое, суть. — На эстраде сейчас. Очень, очень такая... — поискал для отца подходящее слово, — настоящая девка. Что-то есть в ней живое среди всех окружающих силиконовых доек. И голос. Ника Бакуриани. Видел, видел, как ты хотел ее из телевизора достать. Ты, наверно, живьем вообще ее толком не видел? Хотя знает, что отец — это ты? — надавил сапогом на кадык, в уязвимое место, которое сразу нащупываешь в каждом: лягушонок, глазастая гусеница — стала яблоней, плетью, лозой, красавицей девятнадцати лет, незнакомой, не знающей о живом человеке, что сидит здесь, в Ишиме, перед пыточным телеэкраном и не может коснуться своей новизны, чистоты, продолжения.

— Поздно ей что-то знать. Пусть я лучше останусь героем-полярником, — выцедил вор сквозь сведенные зубы с застарелой, остывшей болью и с каким-то добавочным шейным усилием, словно что-то мешало, тиски, или голову наново слишком туго пришили, повернулся к Угланову, глянув в глаза так же пусто и сильно, не зверски: — Ну, дальше? Мы же с тобою не соседи по пищевой цепочке даже близко.

— Никогда ими не были, но сейчас жопой к жопе вот паримся. — И достал припасенное, главное: — Подорваться отсюда хочу. Вот с твоей, Бакур, помощью.

— Эх как тебя скрутило-то в неволе — сразу на четвереньки и зубами в

решетку. — Ни на дление, ничуть не сломавшись в лице, не отпрянув от белой горячки, вор смотрел в него без изумления и жалости, так, словно началось что-то давно и хорошо известное ему, что только и могло в Угланове свариться, в засаженном сюда устроенном, как он, Угланов, человеке. — Смотрел вчера по ящику про дикую природу? Что вся теория Дарвина — фуфло и крокодил не превращается в процессе эволюции и никогда не превратится в птицу, гад ползучий. — Смотрел на параллельную ветвь рода человеческого: здесь все твое, с чем ты родился, не работает — нужна тотальная замена мозга и рефлексов и выжечь прежние инстинкты невозможно. — Ты понимаешь мою мысль?

— Более чем, о том и разговор. Что не могу я сам, то для меня исполнишь ты. — И рассмеялся этому редчайшему в живой природе случаю перекрестного и равносильного в обоих существах презрения: здесь и сейчас они друг друга презирали и не могли: вор — расцепить на своем горле впившиеся зубы, а Угланов — сомкнуть на этой глотке жвалы окончательно. — И не надо бла-бла. Только «да», под венец. Не ответишь взаимностью — я сейчас шаг из строя и вложу тебя, вора. И не надо мне, что после этого в зоне долго не проживу. Ведь тебе оно будет совсем уж без разницы, когда ты по железной дороге отсюда обратно поедешь и по счетчику будешь с накрутом платить. Срок на сколько умножат твой, на два? Так что сделай мне, вор, что прошу. — Бил, хлестал поводком песью морду с воскресшей умелостью: все срываются с места, когда он скажет «фас!». — И вообще, если так-то. Ты-то здесь себя стер, в мужиках растворился, ну а там, в Белозерске, — долго громоотвод твой продержится? Ведь в любую минуту посыпаться может, как бы он хорошо все повадки твои с биографией ни заучил. Да и Хлябин наш здешний —

очень, очень нюхастый. Он тебя еще не ковырял?

— Было дело — пощупал. — Провалился в себя и простукал вор днища, борта, заключив окончательно: ничего он не может ослабить неподвижной углановской хватки на горле; невидимкой снова не станет, загорелась земля под ногами, и на этом вот месте ему оставаться нельзя. — Ну и что ты себе представляешь? Ты на шею ко мне, ножки свесил, и я проведу тебя, как по паркету?

— У меня же ведь есть кой-какие начатки мышления, даром этот вот год не сидел. Руки, руки нужны и носы. Как вот вскрыть изнутри эту банку, я, быть может, придумал, а вот кто до границы меня доведет и, тем более, через нее. Вызвать «скорую помощь» я сюда не могу. Нужен твой воровской телеграф. Сван-то с местными знают конечно же, кто ты.

— Ты смотри, наблатыкался, — хмыкнул вор безнадежно-насмешливо, еще раз смерив взглядом Угланова, как покинувшего ареал представителя фауны. — Ладно, сгинь, не сверкай. А то вон как все зыркают — все шнифты об нас стерли. Я к тебе подойду, перетрем это дело — как они, крокодилы, летают.

Приручил и добавил к безрукой, близорукой своей он, Угланов, вот эту нюхастую и клыкастую силу... И свалился на шконку выслушивать рукоблудный бред Тоши-Сынка: молодой организм, проминавший кроватьную сетку над ним, постоянно хотел, мог часами говорить о своем переполненном спермой и наглухо заткнутом низе: затолкать насухую по корень, в порошок стереть клитор, порвать; как обходятся в зоне без упругих, тугих раздающихся тесных — как при ясной погоде голодные урки наводят зеркала, окуляры и линзы на окна и балконы ближайших домов по ту сторону: там для них «по заявкам» раздеваются, в окнах, и поглаживают грудь и

промежность перезрелые, пышные, тонкие, разные, в минимальных халатах, в кружевных negligé; как сношают собак, свиноматок, отливают из гуммиарабика, лепят из оконной замазки эластично-тугие влагалища, напускают на шляпу муравьев, пчел и шершней, кусающих хобот до каменной твердости... Он, Угланов, какой-то шторкой отсекал от себя эти мясо и слизь, студенистую мерзость, плевки, содрогания закаченных белым и оскаленных рож... И проснулся, включился на царапнувшем, вскрывшем его: «Вот поэтому я так своей и сказал: ни в коем случае сюда ко мне не приезжай — уж как-нибудь три года обойдусь, уж лучше так, чем мою женщину какой-то хряк здесь, в зоне, поимеет, ей своего хорька вонючего заправит тут на каком-то... обоссанном диване, а я и знать не буду, ты ж не скажешь, и буду думать постоянно: было, не было. А то вон будет, как с чугуевской, и все...» — и распрямилась в нем, Угланове, пружина: пнул сквозь матрац Сынка коленом, обрывая, — вмиг захлебнувшись, с пальмы тот слетел, очумело лупясь на Угланова пьяными зенками:

— Да вы чего копытами-то, а?!

— А ну-ка сядь, щенок, не голоси! Что про Чугуева такое ты, Чугуева?

— Да ну чего — то самое, по слухам. Если жена красивая, то все, только об этом надо думать постоянно. Я ж говорю, насчет попользоваться многие... — голос Сынка потаял до приказанного шепота. — Вот все менты слюной исходят просто. Ну там, конечно, вшивый прапор — что он может? А у кого побольше звездочки, там опера, хозяин с кумом, — могут. За просто так такую поиметь — кому же неохота? Это ж в открытую порой даже бывает: вот подойдет он, опер, к зэку, так по плечу похлопает паскудно: а ничего такая баба у тебя, окорока рабочие, огонь, а зэк стоит

глазами хлопает и не поймет никак, к чему он это, опер, а как поймет, так вззоет: сука, сука! Ведь ничего ж не сделаешь, в чем гадство. Разве зубами падлу только грызть. Ну а многие живут и не знают. Кто и чем им УДО заработал.

— Про Чугуева мне, про Чугуева! — Вспомнив все: как смотрели на эту огневую, красивую бабу дубаки на воротах... и Хлябин, он нажал на Сынка с кровожадной унюхавшей радостью и попершей в горло выворачивающей мерзостью вместе. — Видел, слышал, сам свечку держал?

— Не держал, но слышал. — Поворотами бритой башки на соседние ярусы установив, кто и что может слышать оттуда, подержал за зубами ухваченный где-то кусок чужой жизни и подался к Угланову, схваченный словно под челюсть: — Я не знаю, отец: может, мне и парашу запарили. Только очень уж многое с разных слов совпадает. И водилы-вольняшки, и шнырек вот один, было дело, расставил локаторы, что ее будто Хлябин... — Он на Хлябина так, «ниже пояса», никогда не смотрел, почему-то решив, что вот этот пациент порносайтов и «Сауна. Отдых» не может, не хочет никого «фаловать на житуху», сублимируя всю свою слизь только в сладость дознания, гона, потрошения рыбины, пыточных опытов... Как же он не допер, что урод забирает у каждого все, у богатого силой любовной Чугуева — бабу, без сомнений, без страха может брать и берет господином у рабски стоящих на коленях безруких, безъязыких острожников, как оно испокон повелось в русском племени, в человеческом роде вообще. — Это ж палец о палец ему. Гвоздь задрынить в башку, чтоб легла и раздвинула. Вот заходит она, и с порога ей в лоб: хочешь, чтобы твой муж хорошо в зоне жил, вообще чтобы жил — так давай мне, спасай. И куда ей, овце? Под него. Надуханит, конечно, ее, запугает: новый срок, то да се, не увидишь

вообще.

— А ему самому неужели никто не сказал про такое, Чугуеву?

— Ну я как бы не смертник, отец. Сам я как бы не видел, а парашки пускать... Да и если цветное бы выкупил, все равно бы, тем более про такое узду закусил. Ведь скажи ему — грохнет. Это будет такое уже, что умри все живое вообще! Да и так-то — ведь жалко Валерика. Как не знаю... осиноый кол ему в сердце. Как лопатой — хренак! Червяка сразу надвое. Как ему тогда жить? Это ж ведь если бабу твою поимели, то считай, что тебя самого поимели. Нет уж лучше я буду молчать — пусть живет и не знает. Да и было оно? Хотя знаешь, вот жопой чую, что было. Слышал это про Хлябина — что таким промышляет. Я не просто же так вот своей приезжать запретил.

— Хорошо ты молчишь, милосердный. Только так мне, обдолбыш, впрудил. И ему точно так же — не ты, так другой. Обязательно вылезет, разве не так? — Протечет, разбежится по проросшим единой корневой системой мозгам, доползет до Чугуева выдавленным из норы, из чьего-то нутра червяком, ну а может, он, Хлябин, все так и задумал — перед самой свободой Валерке всадить: вот что было с твоей, вот что я с тобой сделал — выходи вот теперь на свободу, живи.

— Ну так, может, и вылезло уж. По самой ней он, может, заметил — по тому, как в глаза ему смотрит. Может, есть подозрение, но не хочет признать. Человек, он же ведь до последнего сам догадаться боится.

Нет, не знает Чугуев: если знал бы, узнал, то тогда бы уж дров наломал и могутовский бунт бы его тепловозным свистком показался по сравнению с силой позора, унижения, что понесла бы человека на стену сейчас, — он, Угланов, почуял в

ладони рычаг, отпускающий бетонобойную бомбу в падение — проломить этажи, сокрушить черепа, и рычаг этот вот приварился к руке навсегда: что ему было делать с этим страшным позорным непрошеным знанием? Он ему не хозяин, не один только он: даже если не вздумает он Чугуева сам подорвать — доползет от других до Валерки со временем, может, даже и от самого твари-Хлябина... и давила его изнутри, не вмещаясь, беспредельная мерзость от попытки представить, как скалилась и извивалась вот эта слизнячья ослепленная морда, толкаясь в чужую, целиком подчиненную одному человеку жену, все равно что святую в своей силе терпения и верности, по-звериному вставшую, лишь бы только не видеть, не смотреть ни на что, стреноженную сползшими по щиколотки чистыми трусами, упертую в столешницу поломанным, замертвелым лицом; как в ней все выворачивалось от распухавшей в животе чужеродности — насилующих блевотных судорог, помойного плева. Это его, его — отрезанного полностью, не причастного волосом даже к чугуевской правде — так корежило и распирало неутолимое желание изувечить эту тварь, а с какою же силой проварит до «порвать», до «убить» самого, навсегда, вот казалось, безрукого, смирного в зоне Чугуева.

Как же он не дрожит, эта погань, перед живым, не окольцованным Чугуевым, не утратившим слух и в любую минуту могущим узнать?.. неправдиво какой-то хладнокровный ублюдок... И вздрогнул — так внезапно меж шконками вырос Известьев-Бакур:

— Извините, Артем Леонидович, не отвлекаю? — с подчиненно-внимательным и готовым отпрянуть, исчезнуть лицом, снова стал, оставался для всех сероштанном, безликим картофельным клубнем. — Это самое мне... посоветоваться бы.

— Ну пойдём, что ль, покурим, — щелкнул тумблер в башке, опустился железный затвор, отсекая живого Чугуева: надо двигать свое, разгоняя машинку производства свободы своей, никакого Чугуева нет... Пошагали меж шконок и выползли под белесое небо воскресного дня.

В асфальтированном приборачном загоне проминался, латался отрядный народ — кто попарно, кто кучками, гомонили, бубнили, тянули каждой порой прозрачный, студёный, не кончавшийся, не насыщающий воздух, и Чугуев курил в уголке: нет, не знает, конечно, — слух отшиб ему Хлябин, целиком погрузив его в страх не вернуться... к жене, и Угланов своим появлением добавил, добавил в земляную глухоту ко всему, что творится вовне, за пределами зоны, барака...

— Что смурняк-то мандячишь? — Вор зацапал когтями заборную сетку и подергал, как будто проверяя на прочность.

— Так тебя ждал, извелся. Что скажешь?

— А чего я скажу? Весь я твой. — Вор потрогал веревку, незримо сдавившую шею. — Думал, как нехер делать на одной ноге срок простою, а теперь этой самой одной ногой еле-еле под собой табуретку нащупываю. — И с беззлобной издевкой выжал: — Не губи, пожалей. — Он умел говорить не губами, не горлом — нутряным дополнительным органом речи, так, что сам он, Угланов, все слышал отчетливо, а чужие — ни слова. — Ребятишек я в зоне, допустим, устрою. Сван поможет: для него если в зоне кто пятки вострит — это музыка.

— Что ли, старый знакомый?

— Короновал меня в Потаповском центре. — Вор посмотрел мимо Углanova в свое извилистое прошлое, самому себе прежнему, молодому волчонку, — в глаза. —

В общем, сделает, что попрошу. И на волю спецам отпишу, чтобы местных для тебя запрягли, раз ты сам теперь больше запрячь ни душонки не можешь. Помозгуют, пощупают тут по округе, отшлифуют все до заусенца, как тебя провести за бугор чисто как по проспекту. Если завтра начнут, так к весне уже кончат.

— Это я. Ну а ты?

— Ну а я б тебя кинул к хренам и один вот отсюда, без тебя подорвался. — И быстрее, чем закончил, трепыхнулось в Угланове рыбиной сердце, так вот ясно представилось правдой это — что Бакур без него. — Ты ж, как ядерный чемоданчик. Ведь со спутника сразу всю землю до границы накроют. Ну чего? Снова скажешь, что вложишь меня, если я без тебя зашуршу? Отомстишь, на том свете достанешь?

— Ну а как ты насчет новой жизни? — Купить, посулить золотые вершины ему, чтоб раскрыл пасть до хруста, — ведь обычная он мелкозубая жадная тварь и устал уже бегать давно, оставляя на сучьях клочья шкуры, ошметки кровавого мяса, от колючих мигалок, света фар по пятам, вездеходных колес, от своих молодых, заступивших на смену волков, что бегут по кровавым следам и бросаются рвать, только ты зашатаешься. — Окончательно смыть запах зоны не хочешь? — И рвануть в голубое приморское «там» апельсиновых рощ и массажных кушеток и пожить подругому, в беззаботном покое, не оскаливая зубы и не загрызая никого из живущих.

— Это ты меня озолотишь? — потянул он ноздрями тот воздух, «оттуда», насмешливо приняхиваясь к запахам обещанного рая. — Ты сперва мне одно скажи, главное: как вообще оторваться от родины думаешь? За бугор, в Казахстан, разорвем эту нитку — так Россия за ней не кончается. Казахи — не грузины, их Назарбаев с нашим Путиным — пхай-пхай. Только так тебя снимут с пробега. Посольство,

самолет, оркестр — все это будет где?

— Так далеко я не заглядываю. — Оскалился своей пока что не воскресшей прежней силе, которой воздвигаются дворцы и открываются с вершины царства мира. — Чисто технически нам надо выйти к озеру Акуш. Как — пусть твои аборигены голову ломают. И уже там, на южной оконечности, нас подберут, челюскинцев со льдины, — и ощутил он тяжесть этих стен, и расстояние, и время: как далеко до заозерного степного, непредставимого, невиданного «там», в ста тридцати каких-то километрах. — Там есть одна голландская компания, они хотят там отношение поиметь к тому, к чему могу пустить их только я. — И поконкретнее — в пристывшие глаза, что на него нажали со значением: «ты мне Лапласа тут по экспоненте не выписывай». — Месторождение там мое. Они меня за это золото, как далай-ламу, от границы понесут. Только когда я буду в Абу-Даби, я свой пакет им за копейки отпишу. У них дипломатические паспорта, особый статус. И заколотят нас с тобой, как Джоконду, в непробиваемые plombированные ящики и увезут «лирджетом» в Эмираты. Главное, нам, — и заглянул в глаза: нет отторжения чужеродных тканей? — состыковаться с ними у границы.

— Со спутника им сбросишь, чтоб встречали? — Вор без издевки изучал иную форму жизни: локаторы, антенны, вмонтированный в череп излучатель: орбитальная станция «Мир»! я Земля!

— На словах передам людям через своего адвоката. Не открытым вот текстом, конечно, — кодировкой под ключ. Уже проверено: контора слушала и ничего не понимала, птичий щебет. Мой человек поймет.

— Ну а захочет понимать? Друг, что ли, да, по жизни вместе? С института, с

яслей? Он там сейчас на всем твоём хозяйстве — на хрена ему ты?

— Ну без меня хозяйство то не загребешь и на внуков своих не оформишь. Да и все, кто хотели продать меня, те давно уже продали.

— Ну и что — день и час сообщишь? Кодировкой?

— А зачем день и час? Будет времени года достаточно, месяца.

Ведь они же золотоискатели, эти голландцы. Вышлют с понтом геологов в нужный квадрат, разобьют там палаточный лагерь. В приграничный район они сразу не сунутся, но и время подлета ничтожное — я так думаю, сорок минут. Джи-пи-эс-маячок ребятишки твои раздобудут. Что я с ними, голландцами, общее что-то имею, так про то в мире знает от силы пять-шесть человек, и молчать — это хлеб их, профессия.

— На словах оно складно, — признал человек, но свободнее, легче не стало ему: сам бы он, в одиночку, пробежался бы запросто вот по этой степи, до заветного озера, до вертолета — на плечах был Угланов, огромно тяжелый, нестерпимо вонючий, радиоактивный...

«Закончили прогулку, заключенные». — Дубаки их погнали изпод неба в барак; через пару часов он крутнул в умывальнике оба крана над мойкой, выпуская шипение, хлорные струи, и с начищенной пастью и щеткой в зубах обернулся на шаги за спиной и знакомо по-зверьи свободное и расслабленно-чуткое тело.

— Ну чего, продолжаем? — Бакур встал к соседнему зеркалу. — Как вскрывать изнутри мыслишь эту коробочку? Ну давай, не томи. Интересный ты кадр, Угланов, — никогда не встречал. Ну, из вашего брата. Это вы у себя там, в бизнес-планах, качаете: поглощения, слияния, акции, рост-падение по экспоненте, синергия

по гипотенузе, а к земле чуть пригни — и гнилой, дурачок малахольный. Ну а ты вот и здесь росмахистый. Волевой, — продавил с издевательским уважением сквозь зубы, показав словно бы, как Угланов, стиснув жвалы, стоит, упирается, поворачивает жизнь и судьбу.

— Ты посмейся, посмейся, — огрызнулся он в зеркало. — А потом послужи. В общем, так: есть лазейка и сливная труба под забором. Прямо в речку по ней.

— Ну, хорек, — проблеснули в глазах у того огоньки, на мгновение выросло волчье желтое пламя. — То-то я и смотрю, Вознесенского этого так с порога берег, перед Сваном тогда за него качал бицепс. Показал архитектор?

— На санчасть показал, — отдал все, что держал за зубами, кадыком, поразившись, как просто, и вздрогнул от настигшего шороха, скрипа и ползучего шарканья: кто там?! Бригадир их Деркач и отрядник Попов с полотенцами через плечо завалились и воткнулись глазами в неожиданную сцепку Угланова с этим Известьевым: что они тут такое? Ничего не могли уловить и, тем более, понять, и Бакур тут уже для отвода — в полный голос, но вот без фальшивого крика — поделился с Углановым:

— Я ее понимаю. Ну зачем я теперь ей такой? Ну сказала мне, да: таких даже собаки не ждут, ну а я и подавно тебя ждать не буду. — Нес чего-то про бабу и «общагу кондитеров» складно. — Ишь, локаторы, падло, расправил, — прошипел в спину красному активисту Попову. — Завтра к куму уже побежит, что меня с тобой видел.

— Там рентгенкабинет, из него надо рыть. — Все поехало дальше, по рельсам, сердце снова пошло, уменьшаясь в размере, вырастая до нормы.

— А чего ж сразу не из конторы? Даже если на куст упадут ребятишки — как они там внутри? Это ж чистая крытка, все скрипухи закованы, санитары, лепилы — мышка не прошмыгнет. А ты им предлагаешь — ломами? Каждый день на работу? Метрострой в полный рост?

— Своего человека там в белом халате. Сlepки сделать с ключей даст твоим медвежатникам. И в санчасть их пристроит по-умному по каким-нибудь липовым грыжам. А решетки все эти, клетушки — в них не зэки, по сути, а медсестры сидят, как кассирши в сберкассе, от буйных. Запирается только входная железная дверь. Стационар отсекается от поликлиники тоже решеткой. А палаты, они на ночь не запираются, без особого распоряжения начальства, в туалет чтоб никто не стучал, не просился. — Разогнавшись, не чуял уже ничего на зубцах, под резцовой коронкой живого, был живым только сам, на вершине, говорил в непрерывно шипящие водопроводные краны, как в змейки микрофонов с трибуны, — пробивая проект, вынимая инвесторам мозг, засевая извилины семенами-идеями: через пять лет на этом заболоченном мерзлом куске будет город.

— В коридоре медбрат вот один или старая клуша сидит-дрыхнет в клетке. Ну и камера есть — только кто в нее смотрит, если там меня нет? Вынуть надо всего-то жалких двадцать кубов. Почва видел какая под зоной? Супесь. Лишь бы только без шума полы разобрать.

— Ну а твой человек? Доктор Куин? — Вор без жалости, без блудливых подмигиваний посмотрел ему прямо в глаза — со спокойным, холодным, сухим узнаванием: все жрут других, полет нормальный. — Ну ты деятель. Когда только успел. — Подманить на длину языка изголодавшуюся бабу с диагнозом «не

встретила достойного» или «бесплодие после раннего аборта». — Погоди. Ты ее уже сделал? Или только кадришься пока? — И оценивающе, взвешивающе, как самец, тварь, к самцу, пригляделся к мужскому в Угланове: может он ее захомутать и?.. Сделать так, чтоб собакой бросалась на грудь и вылизывала морду? — Ну а если она бортанет тебя, а? Не пойдет в декабристки?

— Бортанет — тогда ты будешь думать. — Он откуда-то знал, по глазам ее: «да», скажет «да», все исполнит, отдаст, — по тому, как смотрела она на него в ту минуту, их свидания последнего. — Дорожка реальная. Даже мысли такой нет у них, что вот там, под крестом, что-то есть. Если ночью уйдем, — через силу далось ему это «уйдем», как горячие кости собаке, что не может их взять из дымящейся миски, — то наутро лишь чухнутся. То, что надо, по времени, идеальный задел.

— Да кино это все. — Вор ощупывал головоломку, кирпичный и железобетонный кубик Рубика, плотно населенный людьми, замерял и покачивал переплеты, решетки, интенсивность движения, темп муравьиных потоков, ручьев — и опять посмотрел на Углanova без презрения, но и без жадности заплывавших в глазах огоньков. — Стены, стены стеклянные. Идеальная слышимость. Что ж ты думаешь, кум не всечет, как твои шестеренки цепляются, для чего ты любовь с этой вот королевой Марго закрутил? Будешь ты к ней похаживать на медосмотры с пристрастием — и никто ничего? Ты про Хлябина этого вроде правильно думаешь. Эта хитрая нерпа сейчас, может, смотрит, как мы тут с тобой гомозимся, и смеется над нами.

И Угланов почувствовал не мозговое бессилие, а отчаянно неизлечимую здесь, на зоне, прозрачность свою: вот не то чтобы здесь сняли кожу с него, ничего не

скрывает, как в нем движется кровь, как пузырятся мысли-идеи в мозгу, а все делает он как внутри трехлитровой стеклянной запыленной, заросшей серой плесенью банки: есть налет убежденности, что никуда он не денется, не способен он здесь шевельнуться, но нечаянно только один раз мазни — и увидишь все его смехотворное копошение внутри. Поживем — поглядим. Глубже в землю его все равно уже не продавить. Он не может признать свою смерть, даже если та уже наступила и этого просто он не заметил.

IV. МОЗОЛИ И ШЕПОТ

Подошел и навис, как магнитный захват, над чугуевским теменем:

— Отойдем перекурим? — потянул за собой к промерзлому и седому от снега бетонному штабелю. Привалился спиной к стене и смотрел ему прямо в глаза, будто бы собираясь, решаясь сделать что-то с Чугуевым непоправимое. — Ну, кому сейчас служим, пролетарий прикованный? Гниде-Хлябину, без изменений? А ты, часом, не знаешь: он, Хлябин, женат? — Как-то трудно давались Угланову эти слова — говорил вот и морщился, словно готовясь блевать. — Ну, морковку-то надо вот как-то ему. Что ж ты думаешь, так вас имеет — и хватает ему? А не думал такое: не тебя одного, самого он имеет? А в комплекте с родными? С нею, с нею, твоей... — и кривилось, ломалось лицо его — безо всяких глумливых подмигиваний. — Что сюда приезжает она — и сама целиком в его власти? — И стамеской впилась эта правда, продавив с равнодушной силой вовнутрь и проткнув до чего-то, в чем кровь собиралась его, чтоб очиститься, и откуда текла, разбегалась по жилам, уже не снабжая, а оповещая существо его с каждым сердечным ударом, жив ли он еще как человек или кончился, — как чужое дыхание в нем, чей-то голос, Натахин и Того, кто Натаху ему ни за что подарил, вопреки и задолго до его душегубства послал, не забрал... Сокрушил мягкий молот всей собственной крови его изнутри, понесла сила этой внезапной, окончательной правды его на Угланова — поршнем вдвинуть в

расщелину меж бетонными плитами монстра, и уже были кость его, локоть на углановском горле, хряще, в пустоте:

— Что сказал про нее сейчас — знаешь?! Знаешь что или нет, говори! — И продавит сейчас до конца и себе вместе с ним разом дух подведет.

— Хы-и-и-и! Хы-и-и-и!

Тот вклеился в чугуевский рельс и не мог нинасколько ослабить его, осознав, ощутив: отожмет до избоины его этот железный сейчас. И не мог устоять, когда рельс отвалился, но как будто остался на горле его, вся грудина и горло забились цементом, штукатурной смесью, и не мог ее выхаркать в выворачивающем кашле, и не видел уже никого, забивая в себя твердый воздух, кусая, набирая его широченным зевком... а когда наконец продышался, то увидел, как дышит железный, только что не убивший его человек: будто он не его, предъявившего правду Углanova, а себя самого придушил, и сейчас он, Угланов, задышит как ни в чем не бывало, а Чугуев уже не поправится.

— Говори. Знаешь что от кого или так?! От кого, кто парашки пускал, говори!

— Ну а что, не похоже на правду?

— Придавлю прямо здесь тебя — вот будет правда.

— Слухи, слухи, Чугуев. От Антоши-Сынка, спьяну, спьяну, под кайфом мне выложил. А тому Васильков нашептал. И шоферы-вольняшки что-то в городе видели. Паука с цокотухой. Лещ, Лоцилин, такой у вас вроде водила. Ветер носит, не остановить. Все равно до тебя бы дошло. Лучше я тебе это скажу, пролечу тебя здесь, в закутке, чтобы ты разорвать его сразу не кинулся. Слышишь?! Рано, рано звереть еще, рано! Все пустое пока, слышишь, нет?! На меня посмотри! Неизвестно еще, это

было ли, не было! Я тебе пожелаю, чтоб не было! Вот такой с вами несправедливости. Только надо же знать все равно. До конца тебе это придется. Если не было... этого — радуйся. Если не было, это не значит: не будет. Что уже никогда эта тварь ничего твоей бабе не сделает. Очень даже осмелится, очень даже захочет. Ты же знаешь его, ты смотрел в его глазки. Как с женой тебе повезло, но и не повезло. Я тебе говорил: у него такой нет и не будет, кошка драная с ним не пойдет забесплатно, а ведь хочется твари — такой, как твоя. Он не только тебя самого держит в лапах — и ее вот, ее. В лоб, под дых ей, без жалости: погорел твой мужик, снова в зоне кого-то пришиб, и она же ведь сразу поверит, что ты это сделал и тебе новый срок теперь ломится. Ведь она тебя знает, какой ты — селитра! Ну а он намекает, что замнет это дело, и не денег попросит с нее за тебя, а ты понял чего. Может он это сделать всегда. Не вчера — так сегодня, каждый следующий раз.

И во все предыдущие мог! — вот что его, Чугуева, сщемило: как же раньше не думал об этом совсем, не кольнуло ни разу его — за Натаху?!

Мысль о том, что же было с ней это сделано, одно только сомнение, незнание и потребность узнать понесли его с места, протащили сквозь руки и шипение пустого Угланова «Стой!», и шарахался по полигону, в ртутно-тяжком наплыве, расплаве, заглядывая в лица могущих что-то знать про него, про Натаху, разгоняя, накручивая веру в себе, что не может так хрюкающе скотски, вот в такую издевку над Натахиной жертвой кончиться вся ее верность ему, не должна, не могла жизнь того допустить, попустить может Бог, что Натаха, отдав ему столько, Чугуеву, сердца, отдала бы и это последнее — тело, чистоту его, право делать с телом своим, что захочет сама, а не кто-то согнет и покроет ее против правды ее естества... Пусть его самого тут,

Чугуева, — ведь давно же согласен на это, просил — пришибут или жарят, как положено, на сковородке: кровь на нем — не на ней, почему же она быть должна опоганена? И уже подымало его как бы вешнее чувство невозможности ни для кого прикоснуться помойной рукой к ее чистоте и нарушить, и тотчас начинало казаться, что все вокруг смотрят на него, очумелого, как-то особо, с презрением и жалостью, словно все уже знали, что он, обреченный, узнает последним, знали точно, давно, но боялись ему говорить.

«Про Натаху что знаешь, говори, про Натаху?!» — вот с чем он хотел в каждого встречного зэка вклеваться. Вспоминал все последние, сколько мог захватить, их с Натахой свидания, ворошил и ворочал, чего в ней появилось чужого, незнакомого, нового, ну а он не заметил, не почуял, паскуда, тогда — ведь должно было что-то проступить в ней другое, как становится все не своим, словно бы подмененным у побитого или заболевшего чем человека: и лицо, и глаза, и повадки, и голос... Вспоминал, как она обернулась и шагнула навстречу ему в прошлый раз и еще до того, в прошлом годе, на него поднимая свою безутешную горькую синь, и не мог ничего различить в ней другого, отличного от той гложущей жадности и понимающей нежности, что творились всегда в ее чистом лице, от того, как всегда она припадала к нему, охлестнув, обнеся, как стеной, своим телом: ничего не мешало им склеиться, ничего, что бы жгло и впивалось при тесных движениях, делая невозможной их близость; с той же пристальной и ненасытной, набиравшейся впрок, испытующей силой, не могущей обманутой быть, а не то что его обмануть материнской зоркостью неотрывно смотрела в лицо ему и сама в нем искала приметы запрятанной боли, нездоровья, беды, целовала в глаза и шептала, что скоро

все кончится, потерпеть им осталось немного совсем — и держала их сила всей будущей жизни, общий век, непочатая прорва общих чистых, законных дней труда и покоя, что они откупили терпением своим у судьбы, отстояли от времени, как от врага.

Ломари деркачовской бригады баклушничали — развалясь под навесом, сушили рукавицы и шкуры на печке, кое-кто и балдел, извернувшись и хапнув на глазах дубаков чифиря из затыренной банки, — и один только он жрал глазами пустоту вдоль бетонки до самого края и как будто тянул на себя тот застрявший, надорвавший движок самосвал. И увидел: ползет наконец, нарастая чумазой мордой, — и выглядывал: кто там, в кабине. За баранкой горбился Лещ, и едва он себя усмирил, чтоб не кинуться сразу у всех на глазах и не прыгнуть к нему на подножку, и терпел этот долгий надсадный разворот мастодонта, крен железной горы, сход бетонной лавины... Лещик спрыгнул на землю, припустил к штабелям, видно, справить нужду. Наконец-то в нем лопнул, Чугуеве, трос — подхватился заследом и сцапал Леща за загривок.

— Ты-и што это, а?! — чуть не лопнули зенки. — Эй, чего он мне тут?! — взмыл подтаявший голосом, чтоб слышали все, что Чугуев его убивает.

— Вякни только — свисток перекрою! Про Натаху, жену, ты трепал! Железняк про нее это знаешь или так, от балды разбубонивал, ну!

— Пусти, Чугуй, скажу, я все тебе скажу! — С натугой оторвал от горла отпустившую чугуевскую руку. — Только это ты, слышь, не дури! Чего я-то, меня ты чего? Ну вот было, Валерка, ну видел. Чего видел, скажу. А чего я такого? Ну, твою с нашим кумом у автовокзала. Из кафешки они выходили. Туда проехал — вижу: за

стеклом, а как обратно пер порожняком, вот как выходят вместе они, видел. И он ее в свой джип, куда, зачем, не знаю. Вот села или нет — того уже не видел. Твоя, твоя — не перепутаешь. И джип его не перепутаешь, «паджеро». Ну, думал, что — ну тянет из нее. Как со всех родственников — средства. Я как бы дел твоих не знаю, что ты тут. Что за секретность только вот такая, я не понял — все так и так идет у них по прейскуранту, почему УДО, почему свидание дополнительное, так?.. Мог бы и в зоне с ней, наверное, об этом пошептаться. Ну, в общем, мысль проскочила, что не в деньгах тут дело, не в деньгах. Но только мысль, Валерка, — дальше я не видел! А дальше сам уж думай, без меня. Тут ведь чего еще, я вот сейчас подумал: уж если б там все дело было в бабулетах, то ты бы знал, ты сам бы ей сказал, чтоб для тебя вот эти бабки собирала. А тут такое — ты меня трясешь. Что ж ничего тебе про кума не сказала? Так что ты это у самой нее спроси. Или забудь, наоборот, и никогда не трогай, если сможешь... Ну, я пошел? — И скорее бочком между стенкой и Валеркой протиснулся, одного в этой нише бетонной оставив.

И еще только больше его придавило — только вспомнил, что через неделю приезжает она, и все эти вот дни ничего не ослабнет до минуты, когда загрохочут засовы, и «Чугуев, пошел на стыковку» не подымет его ей навстречу, и Натаха, спиной угадав за порогом шаги, не метнется с сердечным обрывом к нему — и не выпустит все, что держала в себе всю дорогу, все огромных последних полгода: деньги, деньги, Валерочка, он сказал: пятьдесят тысяч долларов, если мы не заплатим, он добавит нам годы, у нас нет таких денег, и Саша уехал, не успеет прислать, не успеем продать, он сказал: надо столько не ему одному, почти все он относит кому-то наверх, я не верю, ты слышишь, что ты в зоне еще раз человека

убил, ты не мог, ты уже никогда не посмеешь ударить, как тогда, человека рукой... Ну а он деньги взял и теперь говорит: что-то там у него наверху не срослось, эти просят еще, где нам взять их еще? — как же он расхохочется над ее безутешностью, задохнется свободой от мысли, что урод опоганил Натаху саму: да похерим, Натаха, никого не убил я и теперь уже точно никого не прибью, за тебя — не прибью! Только этого ждал от нее, только этой вот освобождающей правды, а услышит другую, ту, которой не хочет, боится, ту, которой не вытравить из Натахиной сути, из тела, — вот тогда уже точно убьет, сам себя, человека единственного, кто во всем виноват, разбежавшись и вмазавшись темечком в стенку, самой тонкой костью в башке, чтобы брызнуло.

2

Ощущение нажима, придавившей, как рельсом, чугуевской кости на горле осталось, долго не проходило, словно что-то застряло железное между челюстью и кадыком. Все же это он сделал, Угланов, с Чугуевым — только этим одним расшатать мог и сдвинуть Чугуева с места, засадив, проломив его правдой: вот что сделали здесь с твоей чистой любовью — и уже под откос, безо всяких промежуточных станций, тормозных башмаков и развилок полетит человек, все сотрет и пропадет чернозем напрямик до обрыва: неужели мог верить Угланов теперь — с этой вот следовой, впечатанной болью на горле, — что достанет ему словколодок, слов-клещей, костылей и железобетонных отбойников, чтобы остановить или перевести в бесконечный тупик потерявшего все тормоза, все опоры

Чугуева.

Он когда-то мог словом своим разогнать по цехам сталеваров, превращая то место, с которого говорит он, Угланов, в алтарь, и пространство, затопленное проклинаящим гулом, ненавидящим слитным молчанием, — в церковь: «я скажу вам как жить», но сейчас он не чуял в себе этой силы, за собой, внутри — правоты: совладать, удержать, развернуть одного человека. Подтолкнуть вагонеткой того под откос, а потом побежать вслед за ним и задабривать шлаком, дешевкой: «живи!», «жизнь на этом, чудак, не кончается!» — а на чем же вообще она, если не на этом, кончается? Может жить человеком человеком, если он не порвет тварь, которая... так его поимела? Дело было не в Хлябине. Он, он, Угланов, человека хотел вот сейчас поиметь, заставляя Валерку работать на чистых унижении и боли, раз уже ни на чем другом больше Чугуев работать не может. Да и будет он разве работать теперь — на Угланова? Лишь свободу звериного действия он, Угланов, в Чугуева вдунул, никакой другой больше свободы впереди для него не осталось, никакой другой больше тюрьмы, кроме тела, в которое он заточен, сердце заточено, и свобода для него лишь в одном — в остановке.

Это он, он, Угланов, не мог уже остановиться. Раз в неделю, в четверг, по железнодорожному графику посещения санчасти рвался он к Станиславе: за покрашенной белой краской кружевной решеткой ведал участью зэковских легких, желудков, кишечника рыбьеглазый, похмельно трясущийся фельдшер Назаренко или измученного вида медсестра, не отдыхавшая от мыслей об огороде, заготовке дров и ужине: «Терафлю тебе, да? Может, тебе еще и ко-о-олдрекс?» — Он, Угланов, знал много пугающих слов и вкатил: «боль в подложечной области», «желчный

пузырь», «черепное давление», «пятна в глазах» — в голове у Назаренко отказал кривошипно-шатунный механизм, и она к нему вышла, фам фаталь тридцати пяти лет со спокойно-измученным неподвижным лицом, с презрительным и небрезгливым выражением «опять?» и глядящими мимо и сквозь него, не могущими дрогнуть глазами. Ничего не осталось в глазах от ребенка, озябшего в продувной ледяной подворотне зверька, от собачьей и детской надежды найтись; зажила, огрубела опять ее кожа, скрыв, как вздрагивает кровь, ожидая запрещенных углановских прикосновений.

Повела в смотровую, полоснула, отрезала взглядом дежурного прапорщика, что с сопением было прицепом потащился за ними: «Вы куда? Натоптать мне хотите? Сколько раз говорила, чтоб в обуви с улицы... В вестибюле идите сидите и ждите». — Холодовой волной растекалась от нее несомненная властная сила; сколько в ней вообще было силы держать себя так, быть в любую минуту и с каждым такой — замороженной, нищей, какой она хочет себя показать и какой ее видеть привыкли, без сомнений уже, без надежды на то, что есть хоть что-то живое, горячее в ней... А она ведь, пожалуй, и с ключами не дрогнет, без пожара все сделает, с ровно бьющимся сердцем, без ослепших куриных метаний — с любованием паскудным, как оседланной лошадью, думал ей в спину и себя оборвал от знакомого омерзения к себе.

— Раздевайтесь, больной. — Забежав в кабинет, обернулась и уперлась в него убивающе: ну! говори, что хотел от меня... Смотрела на него неузнающе, словно в зеркало: неужели вот эта в нем — я? не могу, не хочу становиться такой.

— Не сбежала еще? — Он оскалился так, что лицо заболело, словно

свежеоструганное. — Печень где у людей, не подскажешь?

Что-то справа под ребрами две последних недели болит. — «Подсадили сюда „они“ к ней насекомых прослушки?»

— У людей печень справа, а у вас — я не знаю. Раздевайтесь уже и к окну проходите. — Все она поняла и — за кафельную загородку, к окну, к рукомойнику, кранам, крутанула на полную, зная, как вода заревет, затрясет проржавевшие трубы — ключ на старт, взлет ракеты, закуток затопили байконуровский гул и отбойная тряска каких-то сочленений в стене: дур-дур-дур, у-и-и-и-и... значит, точно не хочет она, чтобы он с самых первых шагов провалился под лед, погорев на словах, колебаниях связок, и уже ему служит, и почуял опять воровскую, позорную радость: моя, подо мной.

— Ну, быстрее, скотина! — впилась, обернувшись к нему изуродованным жадностью и отвращением лицом, в тесноте встали близко друг к другу, как еще никогда, и Угланов не мог сделать шаг и коснуться, вот такой чугунной бесправностью налились его руки.

— Помоги мне, — закачалась под кожей в лице плотоядная масса, пересилился и, посмотрев ей в глаза, продавил сквозь стесненное горло: — Дай ключи от рентгенкабинета. Я отсюда могу, из твоей вот больнички, уйти, провалиться, исчезнуть. Ну, давай теперь — кто я! Впрочем, лучше молчи. Ты уже все сказала. Сразу — да или нет?

— Пульс у тебя хороший, как часы. — Никогда ни один человек не смотрел в него так — с понимающей горечью и свободной прощающей жалостью, словно что-то расслышал внутри, под стальной арматурой, за давящей силой его и потерей

этой вот силы, за всем тем, что торчит, выпирает из него, словно рог носорога; ум и сила — снаружи, это может увидеть, почувствовать каждый, а вот что внутри... — Сердце — как ты его не жалеешь. Гонишь, гонишь его столько лет уже без остановки. На рекорд, на рекорд. Как оно надрывается, бедное. Рвет финишную ленточку и снова. И все ради чего? Первый, первый, опять всюду первый, больше всех вообще и сильней... Гнал, бежал беспрерывно и сюда прибежал.

На руке запоздалым, ни разу не изведанным им — может быть, материнским по силе — теплом разгоралось до ровного постоянства пожатие — зацепившей его пульс руки.

— Ну теперь-то отсюда, отсюда! — в ответную захватил ее плечи и вlepил в свою грудь задушившим рывком. — Для того, чтобы жить, просто жить. Я всегда что-то строил, подо мною менялась земля, только в этом всегда был мой смысл. Стася, мне сорок пять — сколько мне еще до выпадения в осадок осталось, ты же знаешь как врач. Дождаться от них разрешения жить я не буду. Это сердце отсчитывает время, и каждый удар — это минус один. Удар — и нет тебя, нет твоего единственного дня, который ты бы мог прожить, как хочешь ты, по-настоящему. И никто этот счет не оплатит, не будет никакого потом. Каждый удар, он должен быть с отдачей по смыслу. Смысл не в том, чтобы нажраться, чтоб загрести и напихать в себя всего по верхнему пределу. Смысл в созидании, смысл в выделении тепла. Я всегда любил только железо, первым делом железо... А людей, в общем, я в основном на растопку. Передельный чугун. Ну так я ведь и сам, все мы, все — на растопку. Весь вопрос только в том, для чего и какие пары разводить. А отсюда, вот здесь, где мы есть, человек ничего, никого не растопит собой — только смылится

сам без остатка. Сердце бьется и только отсчитывает время, никуда не бежит, ничего за собой не тянет. А оно должно быть как шатун в паровозе, забивать должно сваи. И любить... как-то вот успевать. У меня же ведь сын, я железный не весь. Это так все звучит: я, я, я. И ты спросишь: а где же здесь ты? Что-то будет — тебе? — И, вдавив ее, втиснув в себя, задышался своей нищетой, беспорядком что-то жать, выжимать из нее. — Я найду тебя там. Если я это — да, то тогда... мы тогда сварим жизнь. — И от этой вот малости, меньше, чем ничего, пообещанного руки сами собой разжались, опустели и рухнули.

— Нереально, Угланов. Побежишь и убьешься и во мне все убьешь. — Сказала как готовое, с бесповоротностью зачавшееся в ней, от него забеременев этим: безнадежно, не сбудется это, не выносить, но уже ничего не попишешь — внутри.

— Знаешь, сколько раз в жизни я слышал такое «нереально» от всех? Да как рыба про воду — я в этом живу. Как бы ни было, это не значит, что не надо и ножками дрыгать. И тем более сейчас, потому что есть ты. Я ж тебе буду должен за это... В общем, ты поняла. Ты уйдешь по-любому отсюда. Ты свое отсидела, тебе-то уж точно пора. Я все сделаю так, что они ничего тебе, наши заповедные власти, не сделают. Не успеют они ничего тебе сделать. Я скажу тебя пару фамилий, двух уроков. И один из них кто-то придет вот сюда, на прием. Ты положишь ключи. Можешь ты потерять на секундочку бдительность, да? Отвернешься нечаянно, повернешься и сразу положишь их в сейф. Ну а дальше они, эти двое, будут гвозди глотать, ничего, у них глотки и желудки луженые, так что не положить их сюда, в стационар, ты физически просто не сможешь. Вот исполнишь врачебный свой долг. Хорошо бы их класть только вот через стенку от рентгенкабинета, чтоб они не пилили по ночам

через весь коридор.

«А еще вскрой живот поперечным разрезом и достань потроха».

— Что рабочий, рабочий рентгенкабинет — не подумал? У меня рентгенолог в него — график «вторник-четверг», уборка влажная, техничка через день... — не ослепла, не бредила, обезумев от счастья наполненности, — с ледяной головой предвидя скрип разошедшихся там или здесь половиц под тишайшей урочьей поступью, выбирала, считала, как лучше, оказавшись такой, как надо ему, и еще даже лучше, сильнее, отважней — той самой верной женщиной, заложившейся перемолоть вместе с ним эти камни, проползти вместе с ним эти три самых главных, удушливых месяца, прорываясь в одном направлении — из-под земли, до свободы их общего вздоха; никогда такой не было женщины у него и не будет.

— Так и лучше еще, что рабочий, что все ходят насквозь каждый день, вот тем более, значит, все будут слепыми... — И щеотно намокли глаза, и сщемило Угланову сердце от того, что едва началось это чувство совместного боя, прорыва, как уже, может быть, иссякает, с каждым пульсом слабеет, кончается — не протиснуться к выходу из-под земли, потерять может сразу, в зачатке, это неодинокчество он. — Это ж физиология, ну. Глаз стирается полностью. Постоянно одной дорожкой когда человек, брось под ноги бумажник ему — не заметит. Там же тент у тебя — занавесят, подотрут за собой хорошо эти урки.

— Буратино какой-нибудь носом проткнет.

— Ну проткнет. Ты-то, ты-то при чем? Урки скажут: мы дверь эту ногтем открыли. Ничего про тебя, ты же знаешь, хоть режь их — и молчат все равно. Ну стянули ключи у тебя со стола. Ну халатность, уволят. Все равно через месяц ты

уедешь отсюда, и никто до тебя не дотянется, — бросил ей эту кость. — Все, ушел я, нельзя больше нам. Сам тебе все скажу. Если кто-то из зэков полезет к тебе, скажет, что от меня, — ты отшей его сразу: вы о чем, заключенный? Никаких и ни с кем разговоров. И туда нипочем, в кабинет, уж не суйся, что бы ни было — шмоны, проверки, комиссии. Ты меня поняла? Я и так уж тебя на съедение.

3

Так и жгло всю неделю. Ежедневное кровотечение — про Натаху, вонючий плевок в чистоту ее, женскую суть, и боялся быть вызванным к Хлябину для секретных расспросов, разговоров сейчас или просто нечаянно столкнуться с ним, тварью, — надавить и увидеть в ублюдочных глазках то самое: было!

И ведь как не наткнуться — выворачивал из-за угла, вырастал из земли человекоподобный, с виду неотличимый от прочих служилых человеческих лиц кровосос — приближался к Чугуеву, двигаясь мимо и давая взглядеться в обычное, то же лицо со все тою же полуулыбочкой вороватого слесаря, со все теми же скучными, стертыми до каких-то прозрачных мозолей, скрытно цепкими, зоркими глазками. Ничего, что Чугуев не видел бы раньше, ничего, кроме сладости полной, окончательной власти над твоей душой, существом, только до задыхания было сейчас непонятно, от кого и чего эта сладость — только вот ли от страха в Валерке самом или от беззащитной Натахиной слабости. И хотелось ослепнуть на Хлябина, и против воли он, Чугуев, въедался глазами в него, и чем дальше, тем все откровенней мерещилось: улыбается тот вспоминаяще тому, как брал чужое,

паскуда, как толкался своим куском слизи в поживу, — и сейчас ничего не боится, глядя прямо Валерке в глаза, говоря ему: да, брал твое — и как будто уже под кулак подставляя беззащитную, хрясткую морду то одной, то другой щекой для удобства: да на! хочешь — мне в котелок кулаком, хочешь — сам давай кумполом в стену. И впивалась потребность ударить, но какая-то сила надежды смиряла его — или, может быть, даже не сам он брал себя раз за разом в тиски и приваривал к месту выплавляемым, выжатым из своих истощенных запасов припоем, а Натахино сердце его окликало: стой, Валерка, не смей, я тебе запрещаю — колотилось на дальних поездных перегонах, и бежало к нему по железной дороге, и толкало в него все чернее и туже волны собственной крови, и молилось, просило об одной еще встрече — посмотреть ей в глаза и увидеть в них все самому: что всего непрерывно растущего скотского, смрадного, что ему про нее нашептали, с ней не было, с ними не сотворил здесь на зоне никто, ну а если и было, то оно, даже бывшее, не имеет значения, не коснувшись и не опоганив ее: чистота ее неубиваема.

Вот на этом одном продержался неделю, пока вдруг подо всей его кожей не вспыхнуло чувство, что она уже здесь, и быстрее он услышал, чем открыл рот дежурный дубак: «В низком старте, Чугуев? Пошел» — и пошел с затвердевшим дыханием, еще в силах пожить собой прежним, уместить в себе то, что пока не случилось, не пробило дыру в нем размером с него самого... Как в бреду, как во сне, когда перед тобой открывается то, что не должно открываться, и в поляне прожекторного ровно-белого света вырастает времянка-гостиница... И жена обернулась к нему, рухнув сердцем и выронив ледяные булыжники бройлерных кур, — как всегда! промывая Валеркину душу живой водой своего «как всегда»,

ненасытно, бесстрашно в Чугуева впившись и сверяя с его с прошлоразовой прочностью: жив? И качнулась к нему, чтоб схватить и вцепиться, и тотчас налетела на что-то, как на мебельный угол в потемках, — расшиблась о его вынимающий правду, позорный, ненавидящий взгляд и, схватив свой живот, как беременный, выкорчевывающе охнула и стекла, ослабев всею кровью, перед ним на колени:

— Валерочка! — поползла к нему так, словно так ей и надо, поделом, что она обезножела.

А он, гад, шевельнуться не мог, не своим унижением и позором затопленный, даже не разрывающей жалостью к ней, — он это, он убил в ней все, он подложил ее своей рукой под Хлябина еще тогда, когда ударил человека, и вот ползет она без ног и обхватила его чугунное колено, словно дерево, припав щекой к его пустой руке — бетономеса, нищего, убийцы, вот того, кем он сделал себя и кого все равно безнадежно прощала она, — и сейчас вот смотрела в него сквозь корежащий собственный стыд и позор, заклиная, взмолившись с такой чистой силой, что он на мгновение почуял: смирится, если просит она, даже это вместит и задавит в себе то, за что не убить никого невозможно.

— Ходила к Хлябину, ходила?! Он что тебе, что такого сказал, что ты ему, ты... овца ты степная, что ж ты с собой сделала?!

— Пос-садит, пос-садит... еще раз... пос-а-а-а-адит!.. — Как будто подержали под водой и начала толчками из груди выплевываться вода — из опрокинутой бутылки, слишком полной, чтоб из нее вода рванулась сразу вся... И прорвало: — Валеро-о-очка! Родно-о-о-ой! Прости меня, прости! Ты все равно не делай ничегоо-о! — Лягушечьи задергалась захватившим его у колена распухающим, хлюпким

поломоечным телом: сколько ни отжимай, все мокрей и мокрей от мольбы. — За убийство, убийство еще тебя он! Десять лет! До упо-о-о-ора! Когда тут у вас бунт был, война, накопал на тебя и сказал: вот захочет — поса-а-адит! Ты не ты это был — шишки все на тебя, доказа-а-ательства-а! Хочешь снова увидеть, чтоб вышел, чтоб жил, — так решай давай, ну! Для кого бережешь? Мне не дашь вот сейчас — вообще давать некому будет. Как молотком меня по голове — я ничего уже не понимала! Валерочка, родной, прости меня, прости! Ну за что тебе это, за что тебя так?! Ты ж не убил... еще раз... и за что?! Столько лет с тобой перетерпели — и ты должен не жить?! А я могу, могу, он у меня возьмет, и ничего с тобой не будет, выйдешь, будешь жить! И не прощай меня, как хочешь, только выйди! Ну не забудется такое, не простится, будешь со мной и лечь со мной не сможешь... Ну и не надо, раз вот я такая... Ты только, главное, не делай ничего! Вот все равно прошу, Валерочка, последнее! Имею право — нет?! Имею, я считаю! Ведь ты ж убьешь, совсем себя убьешь!

— Чек не взяла с него, расписку?! Что вот дала, и он теперь отпустит?! Как только жить смогу — там это не написано?! Не тебя, не тебя он — меня!

И захлебнулся собственной помоечной мерзостью: сам в нее плюнул, целиком неосудимую, по правде любящего сердца сделавшую все, — и сквозь все грязное поганое, самым им, гадом, на Натаху навлеченное, тут на него, Валерку, хлынула одна, все остальное вымывающая родность, потащила к Натахе его, на колени — затиснул и вминал ее бедную, полную чистой воды, разоренную слабость в свою навсегда бесполезную прочность: ничего не сберег, даже тело вот это, живот, не хватило ума в его нищей башке на одно очевидное соображение: чтоб и думать

забыла приезжать к нему в зону одна, на похотливые глаза властей предержащих и приохоченных к уступчивому мясу — раньше хоть пятилетнего сына Валерку могла она выставить перед собой, так что мог бы смутиться иной распаленный похотник перед бабой с малым ребенком, беззащитной чистой детской малостью: есть же даже в последней паскуде что-то от справедливости, от чистоты, что-то от своей матери в каждом... Только это тогда в зоне не было Хлябина, люди были вокруг и держали в руках их с Натахой жизнь, а не Хлябин... Вырвать хобот ему!.. Да себе лучше вырви, себе потроха! Весь пупок у него развязался на Натахиных этих взмолившихся, ненасытно глодавших глазах, под губами ее, что тянулись к нему и тянулись, словно первые самые, до нетвердости чистые, но живучие очень листочки, вылезая из лопнувших почек, горя, вымогая: «Обещай мне, Валерочка, только это одно вот сейчас! Ты смоги, надо смочь — или зря столько мучился, за убийство платил, половину здесь жизни оставил. И моей половину. Ну прошу... или тогда не знаю, что с собою сделаю. О Валерике нашем подумай — с кем он?!»

Захлебнулась — потащил словно из-под воды и понес на руках, как утопленницу, — на кровать, на пружинную сетку с матрацем, без трехсуточной, временной, ненасытной, могущей как будто спасти, не спасающей близости, без предельности соединения в одного человека, когда, будто лезвие в ручке складного ножа, словно ложка в другой приварившейся ложке, они были друг в друге. Повалился с ней рядом, не в силах коснуться: весом со всю чугуевскую жизнь чугунная плита отделила, отжала его от Натахи — ничего он не мог ей сейчас обещать; что бы ей ни сказал он сейчас, окончательным это не будет. Остается он здесь — каждый день смотреть твари в глаза: весь сочащийся сладостью власти

насильник жены выходить к нему будет без страха, без палки, в совершенной уверенности, что Чугуев задавит в себе человека и зверя... Это тогда, тогда, в Могутове, он должен был терпеть углановскую силу... не знал тогда, не знал, бедовая башка, как могут изнасиловать его, чугуевскую, жизнь, не знал, за что воистину не может не убить, сознательно, всей силой своей жизни. И каменно сидел на краешке постели — с упорной растительной жадностью нашла его руку Натаха сама и, сдавив прорастающей, бьющейся кровью, одиноко, настойчиво бредила... Даже в сон провалившись, боялась его отпустить, на слепой произвол раскалявшейся в нем, Чугуеве, больше, чем злобы, и метаться, толкаться во сне начинала, с новой судорожной силой вцепляясь когтями Чугуеву в руку, как в нагнутую с берега для спасения ветку, прикрепив, привязав его к месту, где он может спастись, и вот эта ее неослабная хватка раскаляла Валерку, но его не меняла, ничего в нем, решенного за пределом ума и жалевшей Натаху души. Трое суток долой, и железный стук в дверь оторвал от жены, закричавшей глазами все то же: «Не смей!» — и в соответствии с неумолимым графиком свиданий выгнал его на свет прожекторов ишимской зоны, асфальтовой пустыней простертой перед ним.

Ноги не шли, и конвоир толкнул его, как дерево, остановившееся в росте, и только крик, внезапный крик ребенка «Папа!» вырвал его из одеревенения — словно его, Чугуева, окликнул, словно к нему сорвался со всех ног его, Валеркин, собственный Валерка, тот, из прошлого, маленький и согласный еще на любого отца, ничего еще не понимающий мальчик, словно сам он, Чугуев, времен фотографий на школьном дворе и в буденовке с красной звездой закричал и метнулся к отцу своему — на кратчайшее дление стало их, Чугуевых, трое, в зазвеневшем от детского крика

пространстве, в непонятно каком воскрешающем всех и сводящем всех вместе Чугуевых времени... обернулся на крик: в яркокрасной, кричащей со льдины в самолетное небо куртешке малек лет восьми, разбежавшись, летел на него, как с горы, с дыркой рта, верещавшего клюва, раскрытого до вот этой мясной нежной красной висюльки, трепещущей в горле, до железки и ватки с люголем, до гланд, и затягивал воздух в себя до ангины, промежуточной маленькой неокончательной смерти с высокой температурой; так орал на бегу вот, что лопались, показалось, какие-то влажные, важные перепонки в цыплячьей груди, — резал каждого, взрослых, упустивших его сквозь какую-то щель в регулярном, запретном, зарешеченном царстве, очумелых от дикости незнакомой с режимом детской маленькой правды: не заткнуть же никак, не поймать, не ударить!.. Он не видел Чугуева даже в упор, очень, очень похожий на кого-то Валерке знакомого, как бывают вот страшно похожи иные сыновья на отцов, и хвалебное, произнесенное над семейным альбомом, облезлое «копия!» — в данном случае полная правда: как много твоего, от плоти, существа останется на свете после смерти, на земле без обмана — еще один ты!.. и, с Чугуевым не разминувшись в проходе, налетев и воткнувшись в него, наподдал что есть маленькой силы большому: «сд-дорроги!» — кому-то старшему и сильному, отцу, железу в голосе отцовом подражая. И вот тут уж Чугуев узнал, угадал окончательно, чей он, этот гневный щусенок, прежде чем оглянулся и увидел высокого, незнакомого как бы в лицо человека, который оказался Углановым: с близорукой, сморщенной, как от света в упор, как от солнца в плавающей печи, обожженной мордой, неуклюже Угланов присел, не умея подладиться под неудобный рост-возраст ребенка, протянул задрожавшие руки и

дождался, когда сын воткнется в него разогнавшимся мягким живым взрывпакетом и оба на разнос задохнутся.

Он был должен идти мимо них — единственной ведущей в зону от гостиницы дорожкой, — существование прекративший человек, хотя тело его и не сдохло. Во всей зоне сейчас было двое живых — только эти, Углановы. Обхвативший щусенка Угланов ослеп — и не так, как всегда, когда видел сквозь прозрачных людей только домны или ржавый от крови как будто кусок обнаженного рудного тела, приращение стальной своей прочности, — распирала другая Угланова сила сейчас: неугадывающе трогал затылок, снегириныные щеки пацана своего, вспоминая, боясь пропустить пусковые, сигнальные родинки, на которые он нажимал, как на кнопки, чтобы впрыснуть в себя свою новую кровь; с благодарной, радостной мукой находя, открывая, ошаривая проступившее в сыне, выросшее за все время разлуки небывалое новое — оперение, мясо на костях того голого и смешного птенца, что оставил два года назад без защиты своей, попечения...

Обыкновенное сейчас с Углановым творилось, что и во всех, болело точно так же, как и в Чугуеве болело, — правда рода. Не хотел и не мог он, Чугуев, на эту их радость смотреть: когда видишь чужую короткую радость долгожданной подачечной встречи на зоне — убавляешься в силе, в живучести сам, про себя понимая: не скоро увидишь своих; он, Чугуев, и так был сейчас сокращен до предела, потеряв то единственное, что держало его и служило оправданием ему, доказательством, что еще все же он человек. И оставил уже тех двоих за спиной, ткнувшись под козырек и неживо распахнув для досмотра на вахте бушлат, разве только подумал с тупой рассудительностью: если сын, то и баба, жена у него — вот уж кто за свою раздавил

бы любого, кто хотя бы поднимет глаза и приблизится к матери сына его, хоть одной грязевой нечаянной меткой заденет не саму ее даже, а ее сапожок, что-то вовремя не принесет, не попятится и не расстелется перед ней, чтобы ног не запачкала даже по острый каблук... как обещают перед свадьбой все носить на руках своих золотых... И застонал сквозь стиснутые зубы от навсегдашнего бессилия уберечь, от того, в какой мере не сдержал обещания, клятвы, и, может быть, еще бы устоял под этим новым внутренним нахлестом и протащился бы в жилуху механически, но за порог ступил и сразу взглядом — в Хлябина!

Тот торчал у окна и смотрел на Углановых, усмехаясь понятному — сокращению большого Угланова до того, что есть в каждом, кто сын и отец, защемленному сердцу и колюче намокшим глазам... И на шорох шагов обернулся, не сломавшись в лице и не дрогнув глумливой ухмылкой:

— Ну чего, отоспался на своей с голодухи? Пирожное? — Неужели в уверенности, что Чугуев от страха настолько оглох и ослеп и по жизни тупая скотина, что не сможет понять и сейчас настоящего смысла вот этого взгляда и слов: «Жрал ты после меня, что оставил в кормушке тебе?..» И вот тут только что-то качнулось и затлелось в спокойно улыбавшихся глазках — понял все по чугуевской ноющей тяжести, но не дрогнул и здесь, не отпрянул, не забегал глазами, озираясь, кто где и как близко подмога, — лишь как будто кивнул не кивая: ну да, я с тобой это сделал, таким тебе жить. И, уже погасив задрожавшие было в глазах огоньки, подмигнул на окно по-соседки: — Нет, ты видел? Какого он выродил? Вот щусенок совсем и туда же: «С дороги!», пшли вон, а не то вас мой папка зароет. Вот немедленно чтобы по его становилось. Хоз-зйчик! А знаешь, откуда его привезли?

Из Швейцарии! В швейцарской частной школе он растит его, с детьми арабских шейхов, султаненка. Сто тысяч человек в России на Урале спины гнули, чтоб один маленький сопляк на пони там катался. Конное поло — спорт аристократов... — И вот тут уж попятился, как Чугуев пошел на него, и скакнул, как корова напролом через изгородь, через опрокинутый стол, подхватился, как поднятый с лежки кабан, и Чугуев — за ним сквозь какие-то заросли-руки, убить... в настигающем грохоте, шарканье, спотыканиях чьих-то сапог...

И почти дотянулся до него на бегу кто-то из дубаков, цапанул пустоту, растянулся... И еще кто-то длинный по газончику наперерез — промахнулся налетом и следом бежит, самый близкий, упорный из всех: «Стой, мудило! Кого?! Ведь ее же, ее ты убьешь! Не его! Ты ее изнасилуешь, ты! Ты ее вот сейчас насовсем!» — по затылку гвоздил, доставая словами раньше, чем на бегу дотянулся руками, то крича, что в Чугуеве было самом, и добил сквозь чугунный расплав, затопивший Валерку и плескавшийся в нем через край, как в ведре на каком-то несущем его коромысле, зацепил и повис на Валерке осадить и свалить, продавить и зажать, и уже опустел он, Чугуев, потеряв в себе силу убить, но за дление кратчайшее до того, как ослаб, до того, как прозрел, в беспредельном чугунном калении дернул своей тяжелой рукой — в груди, и обмяк человек на плечах его, напорвшись с разбега на локоть, на рельс... И, прохваченный стужей предсмертия, обернулся и обмер Чугуев, перейдя в распростертое длинное баскетбольное тело своим существом, снова видя то самое: рухнул и лежит, не встает человек! Захватил обмороженный череп и упал, как подрубленный, перед бревном:

— А-а-ы-ы-ы-а-а-а! Стой, куда, гад?! Не надо! Ты чего это, а?! Я ж тебя... не

хотел! И отставить, не смей!.. Ты куда-а-а-а?! Я прошу, брат, не надо! Не хочешь?! Будешь жить, сука, будешь! — И последнее сделал, что мог, — кулаком ему в сердце — вбивал то, что выбил из Уланова он только что. — Будешь, будешь, паскуда! — Разогнался до бешеной частоты сваебойки, так страшно, что никто подступиться не мог из сбежавшихся, молотил, пробивал, сотрясая разрядом мясную упрямую, безответную сущность, без надежды совсем на спасение, но делал. — А-ы-ы-ы-х!.. — и струной натянулась лосиная туша под ним, сердце в землю ушло и вернулось, запустив то, которое он молотил, — никакое, пустое лицо распахнуло глаза и всосало прорвавшимся ртом в себя воздух — как пробитой сливной дырой всю налитую, наконец-то ушедшую из Чугуева воду.

НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ

1

Трогал кожу и ребра, прикрывавшие будто бы новое, до конца не прижившееся, неудобное сердце. Да, никто из железных на него еще так не выкладывался, как Чугуев взбесившимся ковочным прессом сейчас, никогда в такой мере еще не зависел Угланов от чужой чьей-то силы — это было смешно, и Угланов смеяться не мог, так мешало ему слишком крупное и тяжелое новое сердце, так в себе он его теперь слышал, слишком близкое к коже и как бы хранящее оттиск чугуевского кулака на себе. И, пластаясь на шконке в отдельной палате, все думал о том, как справедливо и несправедливо поступила с Чугуевым жизнь, обошелся с ним «бог» или Бог за тот глупый кулачный удар и нелепо причиненную смерть, не убив его сразу милицейской пулей, наемной заточкой, наказав его верностью и терпением жены, прилетавшей все и прилетавшей на зону к нему, пока не наравалась на блевотного плотоядного Хлябина. И ведь все бы могло быть иначе, ничего бы вот этого не было бы, если б этот железный колун согласился исчезнуть из зоны бесследно еще в самые первые годы, задолго до его перевода в Ишим и явления Хлябина. Мог же Сашка его откупить от судьбы, сильный брат, для которого двести тысяч зеленых — плевков, и не только вот мог, но и пасть ему рвал, как уздечкой, этой самой свободой, разворачивал мордой к воле: беги!

Ведь неделями раньше Угланов спросил у него: «Что же Сашка тебя все же с

зоны не вытащил? Тупо через больничку и морг — тьфу два раза ему. Жизнь давно бы сварил свою заново, а не зубы стирал вот сейчас от бессилия, ну?» И услышал простое в ответ: «Так ведь за человека сижу, — не своей единственной личной правдой, вытесняющей прочие правды, а чужим, проводимым, записанным голосом воспроизвел — изнутри, из железного тела, из мускульной и наполненной кровью тюрьмы: нет темницы надежней, чем сам человек. — Я его молотнул — он в земле. Мать его на суде, Красовца, и жена — на меня обе смотрят. Сын остался двухлетний. И чего — сразу жить? По земле как ни в чем не бывало ходить и без разницы, что человека под землю убрал? Тоже должен не жить. Тоже, значит, под землю. Не насовсем, а хоть и насовсем. Но какое-то время не жить — обязательно».

Он, Угланов, впервые увидел, как человек сам хочет заплатить справедливую цену за то, что он сделал. Он судил по себе и не верил в силу нравственных мук, в беспощадность человеческой совести, в негасимое адово пламя — внутри: что-то там «вопиет», ноги сами приводят на место убийства, пахнет кровь на руках, выжимается и выжимается, и так далее по списку русской литературы, которую он прогулял, больше склонный всегда к сопромату, овладению и обладанию. Или как в житиях: совершается что-то в «душе», открывается бездна, крошечная тьма полносильного, победоносного грехопадения, стыд и смрад всего, чем ты себя сделал сам, сделал силой, взошел на вершину, загоняют в землянку, в дупло, и тоска по единственной искре милосердного божьего света такова, что не может физически жрать человек. Он судил по себе. Он, конечно, Угланов, — «решал». Воевал, отвечал на удары. Приходившие впиться и отгрызть от земли его жирный кусок, помешавшие люди были брошены в шахты и засыпаны известью. Сожжены и утоплены. Вот не

только зверье, все в шерсти и клыках, вроде Толика Курского и Михася, приходивших за данью в Могутов и разорванных тотчас, как и должно, на псарне. Было многое, разное, не сводимое к необсуждаемости «кто с мечом к нам придет...». Ну и что? Никогда ничего. Не вминала в постельную топь сапоговая сила раскаяния: после этого ты должен тоже не быть. Для него это было искровым и пробойным, электрическим «взять!», для него это было ударом по клавише. И своей рукой, наверное, тоже бы мог. Если б встал так вопрос, как вставал он в детдомовском детстве, когда пригибали башкой к унитазу его и когда он всадил Цыбе в мясо тот трехгранный напильник без ручки. Это место в коробке, под ребрами, отведенное для «не убей», в нем могло быть, Угланове, только пустым. Не всегда пустым, нет, а тогда, когда надо пустым, когда сделать другого в войне за живучесть машины нельзя. Смысла нет вообще обсуждать. О конвертерных шлаках в производстве цемента и о методах гальванизации стали он готов спорить до хрипоты, а об этом... он сюда ведь зашел не покаяться, а его затолкали, отжав из него, вырвав, как позвоночник, железное дело, отобрав у него близость с сыном и у Леньки — отца, и не Бог это сделал, а земные правители — из предельно далеких от Господа соображений и не связанных с Божьим законом инстинктов.

Была одна история распятия человека, выбиравшего между всеми царствами мира и должным, возложенным, — про это до сих пор рассказывают миллиардам: ведите себя правильно, тянитесь, уподобьтесь, сравняться с ним по жертве не может человек, но хотя бы немного приблизиться, и тогда появляется шанс у любого не сдохнуть целиком, не сдохнуть навсегда. Ну и что человечество, «мы»? Сподвиглись на торговлю — эсэмэску со словом «ДОБРО» для рожденных больными детей и

отстаивать службы на Пасху... Чаевые, короче, какие-то Богу, осторожные очень вложения в бессмертие, потому что — вложившись нормально, самому на земле не прожить. Кровь не пахнет, не жжет, душегубы в святых как-то очень уж нехотя эволюционируют. И сейчас он впервые за сорок лет жизни увидел в Чугуеве — пусть и слабое, очень кривое и темное, но подобие той силы, не в мощах, не в сухом старце в рубище, а в стальном, трехобхватном, не старом, а тогда вот и вовсе молодом мужике, сотворенном на бабье любованье и плотские радости. И ведь был у Чугуева выбор: в безысходности совесть молчит, не грызет (а вот просто убитый, повалившись в могилу, потянул за собой телеграфным столбом провода из свободного будущего, из убившего — жилы, убившего — за собой в ту же яму), побежать «по закону», из-под палки закона на бойню скотом — это еще-уже не покаяние. Ведь не раз и не два ему «дьявол» являлся в обличье родного всемогущего брата и ушатывал просто: беги, выходи и свободно живи на земле, я купил тебе необсуждаемость, неподсудность дальнейшего существования, лишь одно твое слово, темница отомкнута, ну не делай Натаху свою ты вдовой при живом тебе, муже, молодой еще, ринься, люби, жизнь, чудак-человек, возвращаю тебе, ты сейчас это можешь еще, а потом будет поздно, наляжет и расплющит тебя, вдавит в землю плита...

И ничто не держало Чугуева в зоне физически — только лютый зверь совести, когти внутри: вот в чем сила была настоящая этого пролетария прикованного.

И теперь этот вот человек, доведенный до точки свободной силой вины и стыда, заплативший за взятую жизнь справедливую цену, полетел под откос убивать и убиться, ничего не осталось ему. Все могло бы закончиться прямо сейчас, на

запретке меж локальной зоной и ишимской «гостиницей», если б не насекомая буква режима и не маленький Ленька, который увидел отца из открытой калитки и взхлебным забегом своим не нарушил методический ход пропускного конвейера. И они уже с Ленькой сцепились, по букве режима заработав себе трое суток ШИЗО и отмену свидания, и уже пошагали, скрепив ненасытное рукопожатие, в оплаченный номер гостиницы (800 рублей в сутки), и Угланов, конечно, не чуял уже ничего, кроме Ленькиной цепкой руки, что сжималась в его кулаке, словно маленькое зачастившее сердце, — как за ними погнался дежурный дубак, чтоб Угланов вернулся на вахту для какой-то чернильной отметины, занесения в личное дело. И, метнувшись назад с «я сейчас, Лень, сейчас», он увидел — кабаном побежавшего Хлябина и сорвавшегося с постоянных магнитных захватов Чугуева, — запустил это он, он, Угланов, надавив безотказную кнопку в чугуевском черепе, и сорвался железному, словно поезду, наперерез, сделал все, повалился с копыт в пустоту и не мог понять, кто и зачем бьет его молотком по груди прямо в сердце.

Ничего не поправил для Чугуева — только продлил. Никакого Чугуева, может быть, вот сейчас уже нет. Простыней накрыто навсегда неподвижное тело с какой-нибудь трещиной в темени; вот последнее, что он, Угланов, увидел — как ему заворачивали руки и коленом давили на хребет дубаки, вчетвером упирая Чугуева мордой в асфальт, хотя тот уже был живым трупом; другие, словно мухи дерьмо, облепили и вились над Углановым, задыхаясь огромным облегчением: жив! запустил его все-таки железяка своей кувалдой! И еще очумелый от счастья спасения Хлябин, секачом, русаком простегавший асфальт до упора в караульную вышку, притащился назад и стоял в пяти метрах за живой стеной из охранных задыхавшихся, загнанных

туш, посеревший и взмокший от мускульных, кровных усилий животного выбежать из «сейчас разорвут», из «не жить», и уже усмехался одними глазами тому, как же глупо, на банановой корке, только что могла кончиться жизнь... Его такая прочная, во власти над Ишимом, всеми, сосчитанно неуязвимая, обкатанная жизнь и большого Углового существование — тоже, по вине все того же озверевшего от унижения быдла: повалился и сдох бы сейчас от разрыва пробитого сердца Углового, еще им до конца, лично Хлябиным, не уничтоженный... И уже протрезвевшие, охлажденные глазки уроды шныряли на живого Углового с падали, замертвевшей чугуевской туши, ковыряли, раскусывали, щелкали, как орешки, значения, выражения двух лиц (хотя уж тут какие быть могли выражения?), зацепить норовили крючками незримые струнки, резиночки между обыкновенным скотом и живущим в неволе крупнейшим бронтозавром российским: на хрена это целый Углов метнулся под поезд, проложив его, Хлябина, с этим скотом своим собственным телом, что за приступ такой человечности, что за прок ему в этом Чугуеве?

Хотя что ему было гадать? Никакого Валерки для Хлябина больше не существует и привязки к Углову тоже: Чугуева нет, все, что мог, он уже из Чугуева выжал, ободрал, обобрал, и обглоданный этот костяк уже двинулся сам под откос, сам загнется от корчей в ШИЗО, прогорит без отходов, без вони из черной крематорной трубы.

Он, Углов, мог вытащить сталевара из-под протокольной плиты «нападение на сотрудника при исполнении», но заставить Чугуева жить он не мог — запустить ему сердце. Даже если бы мог, то бежать к нему с дефибриллятором и месить онемевшее тело надо было — сейчас; убегали минуты предсмертия, пока он здесь,

Угланов, в санчасти, лежал под замком, отделенный кирпичными стенами и от Чугуева, что сейчас, может быть, примерялся башкой к стене, и от Леньки родного, который набивал синяки о похожую стенку, безутешно обманутый, остановленный в цельном порыве к отцу и зареванный. И, казалось, сейчас лишь о Леньке мог думать, о своем отсеченном стеной единственном мальчике, что все эти два года огромных жил там, за великой прорвой европейской России, в тишайшей Женеве и стоял, может быть, среди ночи у окна босиком, налегая щенячьей грудью или, может, уже животом на лицейский ледяной подоконник и как будто толкая всей глупой силенкой землю от себя в направлении к сидящему «там», за дегтярной тьмой на востоке, отцу. Если есть в нем, Угланове, все же «душа», то она не резиновая, чтоб принять в нее, кроме своей собственной крови, кого-то еще, кроме опустошенной единственной женщины, что сейчас оживает на зоне для него вместе с ним... Но сейчас он не мог себя вытащить из-под Чугуева, вот не то чтоб с какой-то сильной тревогой и болью за эту забубенную голову думал о нем, но, наверное, все-таки — с сердцем, с подключением, обнаружением будто бы нового органа, словно вбил сталевар кулаком в него что-то, чего раньше не было. Отпечаток чугуевского кулака не горел, но и не проходил.

Вой каких-то железных качелей и пожарный спасательный топот, дверь в палату истерзанно визгнула — Станислава вошла, как вбежала, со своим затверделым дежурным неприязненным мерзлым лицом, не дрожа, но не скрыв — благо не от кого — обнаженной, отчаянной тяги, материнского гнева и страха в глазах, что впились и мгновенно нажрались его целостью и невредимостью... И за ней сразу Хлябин — с пожарно-тревожным лицом кочегара, начальника смены... И подсела к

нему, двинув с грохотом стул, молча сцапала пульс и вдавила металлический круглый холодок ему в ребра. И не слушала — слышала сердцем сердце сквозь кожу, как бы просто свою выполняя работу, пеленгуя тона и шумы расширений и сжатий, глядя мимо Углового чисто, глядя внутрь себя чисто профессиональным отсутствующим взглядом: как же ей вот хотелось сейчас на него закричать: «Что ж ты делаешь?!» — ничего не могла, даже крикнуть глазами в глаза.

Хлябин вглядывался в них с остывающим нетерпением: «Ну что там?», как бы тоже прислушиваясь к пульсу и дыханию главного своего пациента, а на деле, блевотный ублюдок, шарил глазками, щупал, примечая невольные не служебные, не пациентские, выдающие что-то движения в лицах, замеряя тепло, натяжение невидимых ниточек между Угловым и сердитой, холодной как рыба врачихой.

— Ну что? — сразу жадно качнулся к Станиславе, как только удалила наушники, — показал, как боится за шкуру, себя: ну не надо, пожалуйста, никаких ему асистолий и тяжелых нарушений сердечного ритма.

— Будет жить. — Станислава с презрением потомственной и пожизненной нищей вгляделась в Углового и отрезала: все, я свое отработала. И ссыпала в лоток замороженными в холодильнике кубиками: «...нужен полный покой» — вот что клонуло в череп Углового, и позволил себе он на то разъяриться.

— Ты же знаешь, майор, — с нескрываемой гадливостью надавил он глазами на умную мразь, — там меня ждет мой сын. Сделай так, чтоб я вышел к нему прямо сейчас.

— Это исключено, — мерзло-мстительным голосом обреченной бездетной вдавила в него Станислава.

— Ты слышал меня? — Так хотел посмотреть ей в глаза и смотрел лишь на Хлябина, будто никакой Станиславы здесь не было. — Или я тебя больно ударю. Может, и не убью, но в системе уже не удержишься. Станешь телезвездой — в СКП свое место уже не откупишь, сексуальный маньяк.

— Да ну что ж вы так сразу? Ведь для вашего все же здоровья! — со служилой готовностью пострадать, быть избитым — «за дело», уважительно, но непреклонно начал увещевать его Хлябин: никакого приметного добавления страха в глаза. — Вот ведь врач говорит, — потащил Станиславу в союзники, уважительно и подчиненно сверяясь: все правильно?... — не вставать и не двигаться первое время рывком. Два-три дня потерпеть — никуда от вас мальчик не денется! Раз все так, бандерлог этот вас прямо в сердце, как лошадь копытом, не по вашей — по нашей, по нашей вине, признаем... мы свидание ваше просто перенесем. Я вам официально сейчас обещаю: трое суток мы вам предоставим минута в минуту! Пребывание в гостинице мальчику без дополнительной платы продлим. — Издевается, тварь: восемьсот рублей в сутки — ничего здесь, Угланов, ты не можешь купить. — Мы ж ведь тоже не звери — понимаем, как долго вы с сыном ждали этой минуты. Что ж, назад нам теперь заворачивать вашего мальчика? — Захочу — заверну, полетит твой щенок, захлебнувшись соплями, — вот он чем его ткнул. — Ну хотите, сейчас по мобильнику пообщайтесь с ребенком, объясните ему, попросите набраться терпения.

— Терпения набираются, кого... а это мой сын. Завтра утром меня к нему выведешь. — Мало весят слова его, никого он не может убить. — Уважаемая, — посмотрел Станиславе в глаза: уходи и прости, — дайте нам пообщаться, пожалуйста, с гражданином начальником наедине.

— Да пожалуйста, — «отомстила» Угланову взглядом таким, словно он напустил под себя стариковскую лужу.

— А хорошая... врач, — со значением «все знаю» проказливо подмигнул скот на дверь, за которой скрылась она: вскрыл рентгеном своим, тварь, рентгенкабинет? Да ну нет, это слишком, это надо быть гением просто вербовки и розыска. — Как-то слишком уж вы с нашей женщиной-Куин обращаетесь...

— Хватит, — обрубил эти щупальца, слизь. — С Чугуевым, Чугуевым там что?

— А чего с ним такое? В кондее, — посмотрел укоризненно-недоуменно, извиняясь за то, что не сменил человеческого облика она шерсть и клыки.

— Прикрутил его к шконке ремнями или пусть головой об стенку молотится?

— Ну у нас тут не дурка какая, чтоб подобные меры насилия, — ничего не скрывая, смотрел ему прямо в глаза: надо разве тебе объяснять, как пожизненно делятся люди? Ты чего это вдруг, я не понял, засмушался на пятом десятке? Уж не ты ли, огромный Угланов, их, Чугуевых, сотнями сбрасывал в шлак, гнул, и гнал, и нахлестывал на рекорды по выплавкам, отжимал их бригадами в жрущую глотку своей непрерывно растущей капитализации? Ну вот и у меня есть небольшая ресурсная машинка и такая же полная власть над полуторатысячным стадом с их приплодом и бабами. И все эти Чугуевы здесь или там, в алтаре бога Хлябина или Угланова, будут вечно зависеть от «нас», «мы», такие, как «мы», люди силы, будем тыкать в их жен, выбирая, «мы» себе навсегда все позволили.

— Ну так пошел к нему в ШИЗО и сделал эту дурку! — врезал он на копейку и отдельно продавливал в эти устоявшие, ровные, по-рептильи бесстрашные глазки. — Ты же вроде слышал меня только что? Если он над собой что-то сделает

там, если ты ему шить начнешь нападение на опера при исполнении — псов своих к его бабе пошлю, сразу парой Падву и Резника выпишу, чтоб она написала заявление, как ты домогался ее, президенту на почту, на айфоне откроет за завтраком и почитает, он у нас постоянно в онлайнe с народом... И система не сможет тебя после этого для своего очищения желудка не выблевать, невзирая на все твои прежние боевые заслуги.

— Ну так, — Хлябин вроде признал, покивал под весомой тяжестью опытных знаний, как оно все в системе устроено, — только толку, Артем Леонидович? Он теперь все равно не жилец, — констатировал без сладострастия, взглядевшись с насмешливой укоризной в Угланова: неужели не ясно, что теперь даже ты этой падали не расшевелишь? — Пристегнул я его, пристегнул, попкая на двери посадил, — поспешил успокоить: знал заранее, что ли, что Чугуев Угланову нужен и готов он, Угланов, ударить за этого бивня всерьез? — Только дальше-то что? Это только продлит. Вообще вне зависимости от моих нежных чувств. Вы же видели, вы на себе испытали — навсегда у дебила отъехал колпак. Говорил, говорил ей... ну, ей, чтобы рот залепила себе, а не то только хуже всем сделает: это ж враз все рамсы перекроет барану, если он от кого-то узнает. — Выдал в лоб на себя показания и поморщился тотчас от стыда за позорно-смешное, недоумочно-дикое «все», что его, человечью особь с извилинами, превратило в дрожащее парнокопытное и заставило так пробежаться от смерти. — Сам стыдобу устроил эту, да. Вот виноват, не устоял. Взял ее раз, не насовсем. — С блевотнейшим значением «не убудет», «поднимется, утрется и умоется». — Вы б ее видели, да видели, наверное. Такая прям... — и покачал с тугим усилием головой, показывая, как сопротивлялся страшной тяге и все

равно не совладал с распершим его кровью вожделением. И оборвал себя, очнувшись, и посмотрел в Уланова участливыми глазками, дав понять: приступает ко вскрытию черепа. — Ладно, было — и было. Я одного сейчас вот не пойму. С чего вдруг забота такая, Артем Леонидович? Что ж вы кинулись так под него, сам себя не жалея? Близко к сердцу так приняли, что сейчас с этим сердцем лежите. Сына, сына родного, кроме шуток, забыли.

— Я что, перед тобой отчитываться должен? — Просто бить и отпихивать от себя эту морду, не скрывая гримасы гадливости и болезненно-неутолимой потребности пнуть. — Нечем мне с тобой больше обмениваться. Я ж с тобой разговаривал все это время без особой брезгливости. Думал, ты — умный мент, с парой лишних извилин сверх нормы, а ты кем оказался, человекоподобное? Ты зачем вообще, недоделок, живешь? Ты хоть с бабами жил, можешь жить вообще? — С последней надеждой добраться до чего-то, способного почувствовать ничтожество. — Или с детства пошло, с подростковых прыщей — ни одна не смотрела, на таких, как Чугуев, как одна залипали, у него все большое, а ты маленький с маленьким? — И ничего не видел в ровном, не смявшемся лице — ни малейшего промелька, нутряного толчка, обнажения в глазках запрятанной сути пациента хотя бы из рекламы таблеток от мужского бессилия, никакой кинохроники детства и юности гусеницы, слизняка Чикатило в перемотке обратной до детсадовских утренников: Хлябин все про себя понимал и то, чем он как медицинский факт являлся, его полностью устраивало, как устраивают и не смущают червей и бактерий другие, посложней, формы жизни — уже в силу полнейшей неосведомленности, что другие какие-то, кроме них, существуют.

— Длинно, длинно, Артем Леонидович, и ни к чему. Перчик маленький, да — от других много слышал такое до вас. Ну положим, упырь, только это ведь дело свое делать мне не мешает. Пресекать вероятные поползновения кого бы то ни было к нарушению режима. — И совсем уж в открытую глянул на Угланова как на подопытного, на наивные хитрости и усилия крупного узника зверофермы спастись. — В этом деле ведь главное что? Перебдеть. Мне оно как маньяку положено. — Никуда не спешил, наслаждаясь углановской ключевой прозрачностью: а вода-то, вода-то какая — до дна! — Вижу что? Заключение Угланов с его ярко выраженной установкой лидера проявляет большой интерес к заключенному Чугуеву с его четко выраженной установкой ведомого, — поиграл еще, тварь, эфэсбэшными канцеляризмами; неприятное очень от них ощущение: тебя проявили, сосчитали и классифицировали.

— Ну, возьми то себе на заметку, отстучи по начальству. — Угланов не дрогнул, он давно уже опережал представлением каждое действие Хлябина, и ублюдок их производил, эти действия, в ту же секунду или время спустя в подтверждение того, что Угланов все видит. Но и Хлябин пока все движения Угланова так же угадывал, зная каждое следующее. — Заключение Угланов питает к Чугуеву известную слабость, педераст он латентный. Или что ты себе представляешь? Вот на что я его подобью? — Впрыснул в глазки паскуде: да жри! хочешь партию в бритоголовые шахматы? — Он сейчас там, в ШИЗО, дверь откроет булавкой, ногтем, передавит охранников и по крышам в санчасть и за горло тебя, зажигалкой с крыши помашем и за нами сюда — вертолет? И уйдем по веревочной лестнице в небо. На другую планету. Это хочешь Москве сообщить? Там сидят шизофреники? До такой прямо

степени, чтобы рассказать всему миру, что бояться, что я превращусь в Спайдермена? Ну, допустим, поделишься с ними ты своим опасением, и они мне под крайне благовидным предлогом тупо сменят прописку. От границы подальше. А то мало ли что? Вот казахи упрутся и не станут России меня выдавать. Только где же здесь ты, лично маленький Хлябин? Как же ты без меня сможешь жить? За Чугуева снова возьмешься? Так ведь он уже после меня не жуется, невкусный. Нет уж, так не пойдет. Ты умишком со мной потягаться решил. Посмотреть, как я буду барахтаться. Только знаешь, что самое обидное? Я ж вообще передумать могу. Колупаться и тыкаться. Ты что думаешь, я в самом деле свой вопрос буду так вот решать, на земле? На чугуевской шее — больше средств не осталось? Так ведь нет — обсуждаю в верхах понемногу размер откупного. Ты мне все говорил: жизнь дороже, чистый воздух, рыбалка на зорьке. И ты знаешь: я с сыном обнялся сейчас и действительно понял: вот главное, все мешки в виртуальных закромах развяжу, лишь бы только вернуться к нему. Оно стоит того, чтобы гордость забыть, на колени упасть и покаяться. Три смешных, жалких года как-нибудь потерплю — и в оплаченный рай по амнистии. Или ты полагаешь, в моем отношении власть проявит железную принципиальность? Ну, ты просто не знаешь размеров. Ты уж не сомневайся: помилуют, захлебнутся слюной на все мое-то. И останешься ты на хозяйстве своем тем же самым, чем был, понимая, что ты навсегда есть ничто и согнуть можешь только таких, как Чугуев, да и то лишь на этом кусочке земли. — Врал, конечно, сейчас беспросветно, зайдя в эту зону с железным, приваренным знанием: ни за что он не купит условно-досрочной свободы в Кремле, никаких разговоров по сути уже с ним не будет, лишь по маленьким частностям: плюс сколько лет, этот срок ему не

сократят, а вот новый — за «жадность», за «гордость» — завтра могут добавить вполне; это только воров власть прощает, лишь бы каждый из этих воров был под кем-то, пропуская всегда часть ресурсных потоков наверх, а Угланов стоял на своей автономности, головой упираясь не в чью-то подошву, а в небо, оставаясь прорехой в зоне покрытия абсолютной силой Кремля, и за это состарят его показательно, на все девять, минута в минуту, по счетчику... Весь вопрос только в Хлябине — понимает ли он, что Угланову край? Может в нем колыхнуться сомнение в том, что Угланов смотрит «в лес» с ледяной волчьей бесповоротностью? И, похоже, болезненно дрогнули у рептилии глазки — поверил, что не он, не один только он целиком держит участь Углanova в лапках... или лишь показалось Угланову это?

— Все унизить, Артем Леонидыч, хотите? — улыбался опять.

— От иллюзий тебя в свою очередь вылечить. И Чугуева чтобы забыл. И чтоб все твои псы, кто вчера видел, как он за тобой побежал, тоже это забыли — приснилось.

— Да забыли уже, — с очень правдоподобным радушием выдохнул Хлябин: забирай эти кости, дохлятину, оживляй, если хочешь и сможешь; я свое уже взял у Чугуева — все. — Очень надо оно нам — за такое ЧП схлопотать от начальства. — И, поднявшись, пошел налегке, обернулся в дверях, словно вспомнив, и взглянул на Углanova с теплой звероводческой лаской: — А ведь это, Артем Леонидович, вы, вы ему намекнули, Валерику, — ну, что я его бабой разок... это самое... попользовался. Вы его на меня, как кабанчика, подняли. И туда же — меня еще совестить. Ну а сами вы что ж — на забой ведь его, дурака. Лишь бы только меня отключить — лобовым вот тараном, крушением поезда. Я так думал! А вы снова в последний момент все

назад отыграли. Значит, все-таки жалко? Или жалко у пчелки?

2

Сам в себе он сидел, обнесенный своим прочным мясом с костями. Ничего не осталось внутри непродышно здорового тела, тем острее никчемного, что никуда не ушла из него пробивная, подъемная сила. Ничего не осталось снаружи бетонной коробки. Приварился ко шконке и смотрел на зернистую стену в упор: вмажься в стену такую башкой — ничего не получится, только кожу на темени об эти острые бугорки и сорвешь, толстой кости в башке не расколешь, так, чтоб лопнуло все, чем ты можешь себя понимать, человека, который сам с собой уживаться не может.

Коченела внутри пустота, как чугун в закозлевшей могутовской домне, которой от рождения был придан, у которой когда-то он был человеком, и не слышен Натахин был голос: жить одной ей теперь уже точно, доживать и тянуть его сына, который уж давно про него позабыл, из Чугуева вырос, стыдясь, что он тоже Чугуев и тоже Валерка, носит эту фамилию рода и имя отца, ничего не вернуть, ни за что не воздастся Натахе — эта боль в нем, Чугуеве, стала настолько постоянно-привычной, что как будто и не было боли, вот того, кто ее должен чувствовать, не было.

Словно из-под земли слышал, как загремели засовы, и делал, что ему говорят: руки за спину переместились, такие же мертвые, как браслеты, которыми скованы, и пошел по продолу, не сдохший, скотом, как всегда, и куда — не имеет значения, но когда завели его... к Хлябину, ожил, заломила кровь все-таки в голову, словно в плотину: даже сдохнуть не может он собственной волей, не смотреть никогда чтобы

в эти неподсудные, неуязвимые глазки, видя в них то живое ходячее все, что не может простить он не им, а себе.

Хлябин поднял тяжелую голову от пустого стола и смотрел только в грудь и в живот, словно выше у Чугуева все отпилили, или так, словно сварка мигала у Валерки в лице, чрезвычайно болезненная для страдающих хлябинских глазок, — избегая попасть, провалиться в чугуевский взгляд из какой-то совсем уж ненужной теперь деликатности к потрошенной поживе, к заштопанной и зачем-то поставленной на ноги падали.

— Значит, слушай сюда, заключенный Чугуев. Я не знаю, как с тобой говорить, — скомкав морду, заныл сквозь зубовное сжатие: больно мне, больно. — Вот он я снова перед тобой, тварь, которая так тебя... ну, оскорбила. Жену твою, святую простоту. Вот веришь, нет, а понимал ведь, понимал, что даже пальцем к ней, такой, не должен прикасаться, напололам вот так и рвало, — и удушил невидимое горло в кулаке, показав, как себя он, паскуда, держал и не смог пересилить. — Я ж ведь себя, Чугуев, трижды останавливал. Трижды, трижды ее отпускал! Говорил себе: нет, что ж творю я такое? И все равно не смог, спаскудничал, скотина, вот такая она у тебя, как назло. Я ж на других и не смотрел! Ну а твоя, твоя прям захлестнула! Ну такая она — тронешь только... глазами, и все, перемкнуло! Вольно ж ей было приезжать к тебе снова и снова! Думал: тайно возьму у тебя только раз, и никто не узнает. — И поморщился от омерзения к себе. — Что не скажет тебе, ни сейчас, ни потом не признается. Ведь она ж для тебя это все. В жертву, в жертву себя, ну а как еще скажешь? Что ж ты думаешь: не понимаю?! Да я все понимаю! Понимал, что я делаю, тварь! — И хватил кулаком по столу — так его

затрясло, поднялось и захлюпало в горле запоздалое то, чего в твари такой быть не может, — и взглянул ему прямо в глаза с беззащитной дикой улыбкой, словно стал навсегда для Чугуева слабым и жалким, самому себе тошным до того, что сейчас прямо вывернет... И, как будто очнувшись, сломав на лице эту пьяную жалкость, отчужденно и трезво толкнул: — В общем, было, Чугуев. Не видео — назад не отматаешь. Что теперь? Жить не хочешь? Мочить меня хочешь? Вот ее, свою бабу святую, окончательно хочешь добить? Ну давай — бей ее, добивай! Я не буду препятствовать. Очень нужен ты мне — обвинилку тебе подводить, новый срок. Хочешь жить с этим всем на душе — так живи, а не можешь — давай доходи: или шлепнут тебя при попытке, или сам себе тыкву раскокаешь. Жизнь твоя, и ее испохабил ты сам. Я тебе мстить не буду — за что? Да я сам бы себя, будь я ты, точно так же мочить бы пошел. Я тебя вообще бы теперь-то уж больше не трогал и в глаза лишний раз не смотрел. Чисто из дискомфорта! Ничего мне с тебя уж не надо. Мне лично. — Произнес как «я сыт», «отработал — и в шлак», не таясь и устав от ненужных добавок сердечности в голосе. — Только я ж ведь тут как бы на службе. Государство мне лично задачу поставило. По нему, — сообщил как про вечный огонь, про погоду, про зиму, — чтобы он тут сидел, как на клее «момент». И опять ты мне нужен, Валерик, никак без тебя. И не я уже это, а он тебя выбрал, Угланов. Это ж он про жену тебе, он намекнул — чтобы меня побежал мочить, двинутый. А теперь он тебя за собой потащит, а вернее, впереди тебя пустит — первым, первым по минному полю. Чтоб дорожку ему проложил — ну, ты знаешь, откуда куда. Так на промочку рвался — зачем? Потому что там ты, там на промочке всё: и рабочие руки, и весь инструмент, декораций вон сколько на каждом шагу, чтоб меж ними

скользнуть незаметно. Он же ведь инженер, голова, для него — тьфу два раза придумать. Только руки нужны ему, руки твои. Все другие его не слушают, ну а ты — ты меня даже не ненавидишь, а не знаю теперь даже, как и сказать. Потому-то он так и вцепился в тебя. Сам же понял давно — что я буду тебе? Для тебя-то теперь это все не имеет значения, ничего ты не хочешь, ты меня придавить уже даже не хочешь. Только ты извини, я тебя сейчас реанимирую. — Верил, верил всерьез, что физически только не сдохший Валерка зашевелится и подчинится, в силе он и теперь его, Хлябин, раскатать и погнать, куда надо ему. — Что? Смеешься? Ну а как вы, Чугуев, отнесетесь к тому, — надавил он на новую кнопку и протягивал тросом сквозь Валерку слова, — что мной лично в ходе плановых мероприятий была задержана гражданка Чугуева Наталья Николаевна и при досмотре передачи у нее изъято запрещенное для передачи в зону вещество? Пакет с тестообразным веществом зеленого цвета, сокрытый ухищренным способом в продуктах? — Вот чем его, Чугуева, продрал и заорал расчетливо — стереть и доломать Валерку до живого: — Сам хочешь сдохнуть — хоть о ней, хоть о щенке своем сперва подумай! Хочешь, чтобы она завтра в зону пошла и подстилкой там стала для коблов и таких вот, как я, и чтоб вышла оттуда больной, измочаленной рухлядью? Так ты с нею за верность, за жертву? Тронул я ее раз — так пускай ее в щепки теперь раздракуют?!

И вот кто-то еще в онемевшем, неподвижном Чугуеве, находящийся в нем, но ему посторонний, не поверил тому, что Чугуев до сих пор остается приваренным к месту, кровь куда-то ушла из него, а не ломится в голову, в грудь, в кулаки, подымая волной и бросая на уroda, на стену — не пробили на черепе кожу рога, не полезли клыки, раздирая пасть в реве... В нем — еще одна жизнь, в нем — Натаха и сын, он

— условие их невредимости, он не должен тащить их за собой в могилу — вот что вбил в него Хлябин, вот каким безотказным, кровавозазубренным ключиком вновь Валерку завел, как часы.

— Ну, загрызть не бросаешься — так уже хорошо, — со спокойным удовлетворением бывалого собаководы поразглядывал результаты работы своей: двух десятков вколоченных в голову слов, двух затронутых родственных участков, душ, протокольной бумажки хватило на новое воспитание раба, на обычное чудо воскрешения из падали.

И должно было жечь, продирать, но не жгло его это спокойствие сильной, не дающей ему даже сдохнуть, рвущей-неприкасаемой твари — словно в нем появились какие-то новые скрепы, невозможная прежде охлаждавшая сила терпения или, может быть, новые уровни скотской покладистости, только это уже не имеет значения — какой он и что из него Хлябин сделает, лишь бы только остались они друг у друга, Натаха и сын.

— Смысл ты уже понял. Простучи мне его, — потянулся к нему безмятежной, разглаженной мордой Хлябин, впиваясь и впитываясь. — Покажи, что ты с ним, что купился на мутки его. Что меня ненавидишь с самой лютой силой. Вот они, твои руки-домкраты, — к услугам его. Он, конечно, тебя будет долго прокачивать, перед тем как открыть тебе душу. Про меня будет спрашивать — что я тебе. Ну так ты ему честно скажи... ну не честно, а «честно»... что тебя я насадкой к нему: или ты его выкупишь мне с потрохами, или я тебе хуже, чем смерть, новый срок до упора. Все равно по-любому ты чувствуешь, что с живого тебя я не слезу, не простил я тебя, тварь, которая руку на меня подняла, так что выход один у тебя — вместе с ним

подрываться. Про жену ничего только не говори, завари в себе намертво — помни, что в столе у меня протокол об изъятии и в любую минуту дам ход, если что. Ты пойми, ничего я ей делать, твоей, не хочу. Но ты же мне не оставляешь другого выбора, Чугуев. Как еще тебя захомутать? Простучи его, дятел. Пусть на ушко шепнет, что задумал такое, а ты мне в сей же миг — и свободен. Вот она первым делом свободна! Ну зачем она мне, если так-то? Я и так уж ее... виноват перед ней. — И опять не прожгли, не проткнули Валерку вот эти слова и не вырвали из неподвижности: все равно он ее не коснулся, паскуда, все в Натахе как было, так и есть, с той же силой святое и чистое и еще даже больше, чем раньше... Ну а Хлябин еще, может быть, и подставит, потеряв осторожность, Чугуеву голову, бок для удара и тогда, тварь, узнает, как ломается сразу телесная прочность его... Только пусть вот сначала Натаху отпустит с железной гарантией.

— Я ж по жизни тупой охламон — ты в шпионы меня, — еле смог протащить и наружу подать сквозь тугие валки, так его изнутри придавила и дух подвела наступившая необходимость хоть как-то сообщаться с уродом. — Что он мне там такое нашепчет, а я это тебе? По ушам мне проездит — и чего тогда, кто виноват?

— Ну понятно, опять прибеждаемся. Вековая крестьянская хитрость. Ты мне, главное, в клюве принеси, что он скажет. Ну а там я уж сам как-нибудь отфильтрую в своем сепараторе. Простучишь — хорошо, а на нет и суда нет, живи. Помни, главное, служишь кому. Вот с хозяином не ошибись, чтоб в земле с боку на бок потом не ворочаться — сделал я с твоей бабой страшное или не сделал. Под Угланова ляжешь — автоматом ее в ту же землю уложишь.

«Кума, кума хотел мочить, двинутый!» — побежал по шнуру огонек, шепоток по пятам за Чугуевым, целым и невредимым когда вышел в зону после жалких, смешных десяти суток трюма, ничего себе не раскроив, ничего не могущий с собой своей собственной волей сделать, потому что теперь каждый шаг — или на удушение родного, или на ослабление петли на Натахином горле. И уже не корежило больше его от насильной, словно чуждым железным каркасом вживленной в него, обтянувшей и вваренной собственной целости, невредимости, прочности; слишком он отупел, волочился, как зомби, в отрядном строю из жилухи на промку; все смотрели вокруг на него так, как будто уже был помечен входным он отверстием, — понимали, что Хлябин готовит ему беспредельные кары, безо всяких дознаний, судов и сроков, только случая ждет, чтобы сделать все чисто, или, может быть, медленно будет его доводить.

Он и взглядов всех этих особо не чувствовал — лишь один взгляд, углановский, человека, который продлил ему жизнь, а не то все уже бы закончилось и сейчас никакого Чугуева не было б. И Угланов смотрел в него прежним своим, немигающим и намагничивающим взглядом: я скажу тебе, как и зачем тебе жить — но и с новым каким-то непонятным значением, словно что-то узнал и решил про Чугуева новое, словно что-то в себе с недовольством и даже болезненным неприятием ощупывал, то, что вбил он, Чугуев, в него кулаком, запуская Угланову сердце.

И таскались в молчании врозь по бараку, и шагали в отрядной колонне, разделенные черными спинами и плечами немых работяг, погружались в знакомый

гул и грохот стальных механизмов и работали рядом, вклепившись в вибраторы, протрясая, взбивая плиту за плитой и друг с дружкой у всех на слуху и глазах перекидываясь соображениями, почему это после заливки даже малости масла в «Калибр» булава вообще прекращает вибрировать, и Угланов считал, что все дело в эксцентрике и поэтому надо попробовать собирать агрегат без какой-либо смазки вообще.

По бетонным дорожкам прохаживались и надолго вставали над душой дубаки, по-собачьи тревожно, как на шорох, на запах, вертя головами и натасканно-часто поглядывая на огромно-нескладного, неудобного главного зэка — да пропал бы он пропадом, гробанулся с концами в бетон, намозоливший им глаза так, что вообще уже не закрываются, наказание ходячее, ось вращения всей жизни на зоне. И ни слова живого с Чугуевым — все «эксцентрик» один да «эксцентрик». Но работа сама, полный ход ее, логика, с ровным остервенением идущий слитный шум производственной музыки позволяют им головы сдвинуть на какое-то время виском прям к виску, и тягает Угланов за Валеркой пудовый мотор — за убийцей несостоявшимся жертва — и на ушко, дорвавшись, ему наконец:

— Ну, живой до сих пор — прямо даже не верится. Хлябин жить заставляет?

— Да, да. Чтобы втерся к тебе. А ты знаешь уже. — И опять потянулся, получалось, к Угланову, скот, за спасением, к лобочелюстям этим, которые могут растянуть, перегрызть всю железную путанку, потянулся совсем без надежды на то, что Угланов способен гражданку Чугуеву вызволить, но теперь все равно уж к Угланову, к силе последней... и как вой испустил то простое, что держало когтями его, на мгновение вырвавшись не на волю пускай, но хотя бы на неодинокство,

перестав жить один, взаперти в своем нищем уме и не думая, что для Угланова все родное, больное, святое его не имеет значения, мусор: — Он Натаху, Натаху под суд! Наркоту ей пришил! Или выкуплю все про тебя — или в зону ее он, на срок!

— Ну тогда уже точно давай под стрелу становись, — показал тот глазами на плывущую в небе плиту. — Вот теперь не без пользы. Ты — всмятку, и Натаха твоя на хрена ему будет нужна? Он ее уже взял, — без пощады всадил в то же место, что уже заржавело от крови в Чугуеве. — На хрена ее дальше терзать? Чтоб тебя наказать на том свете? Так что можешь пойти и сказать, что я все про тебя уже понял, даже срать с тобой рядом не сяду. Он и сам это знает. Сука, давит морально меня. Показал мне, сморчок, что мне эта дорожка закрыта, что теперь ты на промке за мной будешь шастать повсюду, словно нитка с иголочкой. Будешь ты ведь меня сторожить лучше всех дубаков — за Натаху свою, чтоб он в зону ее не засунул? Или в петлю решишь? Я, Валерик, уйду все равно. — И нажал на Валерку глазами со всей той же проходческой силой: все едино продавит и проедет вперед, но еще что-то влажно-животное, беспокойное, жалкое в них проступило, как в глазах у собаки, обваренной возле кухни крутым кипятком, — тем больше поверилось, что Угланов не шутит. — Пацана моего видел в зоне тогда — без отца вот которого ты едва не оставил? Он один у меня, я ему обещал: через год я вернусь. Ну а ты чего, ты?

— Так и так, десять лет вот уже не жилец.

— А Натаха твоя? Будет жить? Сможет жить, если ты к ней не выйдешь? То, что он наркоту ей вот эту, — херня, для нее, для нее не имеет значения. Без тебя ей что воля, что неволя — одно. Да могла бы она без тебя — все закончилось бы в ту минуту еще, как судья на суде тебя в гроб молотком. Сколько было тогда ей?

Двадцать пять? Двадцать три? Того меньше? Ну повыла немного бы для порядка в подушку и новую жизнь с мужиком себе новым сварила, и вот кто бы ее осудил, что тебя не ждала? Человека, который сам во всем виноват? А держала тебя на плаву, захлебнуться тебе не давала терпением своим. Так что права, Валерик, не имеешь такого — не выйти. Если так, то тогда ничего не имело значения. Он ее вот, паскуда, испачкал, только больно-то ей не от этого, больно ей еще будет — от того, что тебя не увидит. Вынешь сердце ей ты! — в том же духе продолжишь: не могу, не жилец. Что не можешь-то, а? Землю носом не можешь, прутья гнуть вон руками? В инвалидной коляске ты, да, нету рук, нету ног? Сляб могутовский, бивень, головой если в стенку, то сломается стенка. Что, мозгов нет? Своими я с тобой поделюсь. Ну отпустит, положим, тебя эта сука, срок придет твой — и выплюнет, как изжеванную промокашку. И ты выйдешь и каждый свой день будешь жить с пониманием, что тебя он согнул, поимел. И жена твоя будет тебе вечным напоминанием, что он с нею сделал. Ты ему не ответил! Сука, не возразил! Значит, есть ты ничто. Этот стыд будет жечь тебя до скончания дней. Хорошо, даже этого гада отбросим, вот, допустим, он сдох, наказал его бог, хотя верится слабо. Вот ты вышел, вернулся в Могутов. Как ты жить со своей святой Натахой будешь? Чисто материально? Ты же должен за целую жизнь ей воздать, полной мерой, с процентами. Сыну сколько ты должен. И куда ты пойдешь? На завод? И родной завод примет? Не примет. Не побрезгует, нет, не за то, что убил и не смоешь такого ничем, а вот просто от жизни ты, Валерик, отстал. Ты же знаешь, по ящику видел отсюда: я в Могутове двигал прогресс. Вот ты доменщик, да? Только домен тех наших, ивановен, там, в Могутове, скоро не будет. Электрика! Я ж завод на дугу перевел, первородную сталь безо всякого чугуна передельного

плавим, отменяя весь доменный старый процесс вообще, потому что так чище и дешевле в разы, землю, землю свою перестанем загаживать, воздух. Там уже совершенно другое, молодое, в Могутове, племя железных, и по знаниям каждый — профессор, вот и химик, и физик, и компьютерщик, и... Ломоносов, короче, двадцать первого века. Время, время стирает тебя из живущих безжалостно. Ну и как ты на хлеб зарабатывать будешь, новый дом как построишь? Вместе с чурками глину на стройке? Жилы рвать за копейки? Сын какими глазами на тебя вот такого, отсталого, непригодного, нищего, будет смотреть? Приговор вот в глазах его будет. А ведь это все можно поправить — сейчас, понимаешь ты это, сейчас. Когда ты уже все заплатил, отсидел свое честно, был мокрушник и снова ты чистый... Я не знаю, уж там перед кем, перед Богом, людьми, но, мне кажется, чистый. Можешь жить человеком! Деньги, деньги, Чугуев, подъемные. Закрепиться на первое время. В Казахстане, там тоже много русских людей. Ну а дальше уж сам — хоть в бурильщики, хоть в сталевары, научишься новому, «голиафом» и «мамонтом» править, не под хер же ведь руки заточены, будешь лить первородную сталь или золото из земли выкорчевывать человеческим честным нормальным трудом. Только если со мной уйдешь. А иначе ты умер, не жил. И она не жила. — Разбирал, брал словами-ломами Чугуева, как допотопную кладку, безнадежно морально устарелый мартен, колуя промерзлые огнеупоры, добывая сквозь мертвую стынь до нутра, и вовнутрь пустого Чугуева обрывались и сыпались первые крошки-отломки, но его самого почему-то становилось не меньше, а наоборот: изнутри ли него самого, от Угланова ли потекла эта сила, та же самая сила, которую он почуял в тот день, когда вечный, молодой отец взял его в первый раз на завод — посмотреть на чугунное

солнце в печи и на правящих алой магмой людей с закопченными лицами и руками, отлитыми вместе с оружием, инструментом, который сжимают. И отец его вел по заводу, человеком, который все знает, великаном, хозяином «здесь», и рука его маленькая вырастала в отцовой ручище, и слышал: проводи, разгоняй эту силу своим существом, и она тебя выведет в люди, подымет, если ты хорошо ей послужишь, — вот каким отголоском, из времени детства, детской веры в отцовскую руку, до него доходили тяжелые эти слова.

Стася сделала все, что в нее он вложил, с ледяной, не вздрагивающей, скальпельной точностью. Молчаливый, безликий Известьев-Бакур показал ему взглядом: есть ключ — и, виском к виску встав в умывальнике, в ухо: молодец твоя женщина-Куин, все без кипеша и мандражей, корифей уже завтра волчатку смастырит, пусть теперь ждет врачаха больных и поближе к рентгенкабинету кладет; им бы только некипеш полы разобрать, ты ее попроси, чтоб она их там как-то прикрыла, ну на первую ночь или день — не овца, что-нибудь там придумает, карантин или синюю лампу, не знаю, чтоб никто на шумок не ходил... Ну чего ты шнифты свои выкатил? Раньше, раньше икру за нее надо было метать, а теперь уже поздно вибрировать: что ж, не знал, во что втравишь, — вот жалеешь теперь?

Ежедневно и ежеминутно обитала она там, в санчасти, в совершенной прозрачности, в эпицентре магнитной активности между оштукатуренным потолком и натертым до скрипа линолеумом, бессменным часовым, овчаркой охраняла углановское дело, крысиную нору, отдушину в углановское будущее — вот что резало и угрызало сильнее всего. Мысль даже не о навлеченных на нее уголовных мучениях и карах (хотя вовсе не факт, что на русском суде даже самая верткая адвокатская свора отстоит ее, вытащив, исключив предварительный сговор, оправдав слепотой, халатностью, видовыми болезнями всех государственных служащих, — всех, кто

связан с Углановым, судят особо), а о том, что она это все для него, ну а ей, будет что-то когда-нибудь — ей? Ну понятно, сперва все должно получиться, как надо, вот с этим подкопом: он, Угланов, — уйти, стать собой самим, перестать быть бессильным, безнадежно безденежным, и тогда даст ей все, оплатив, выйдя в ноль... Только ведь это «завтра» может не наступить, земляное метро — обвалиться, и тогда — ничего никогда. Пусть пока стережет, бережет на переднем краю его замысел, недрожавшей рукой выправляя разрешения, обоснования землеройных работ для явившихся к ней от Углanova «на излечение» проходчиков, изощряясь в увертках, отгоняя от страшной двери контролеров и нянечек, а потом «поглядим», и ни разу его не спросила она: что там завтра, Угланов? будет что-нибудь — мне? И понятно, конечно, что в этом был теперь ее смысл, только так, лишь теперь механичная, вхолостую ползущая по часовой полустертая жизнь ее стала настоящей, полной жизнью — счастьем вздрагивать от колокольных сердечных ударов и мучиться. Все равно был во всем, что он сделал со Стасей, позорный, будто мехом вовнутрь и слизью наружу, оскорбительный выворот: поменялся он с ней полюсами, засаженный в аномальное место земли, слабым став и ее сделав сильной, и хотелось быстрее вот это поправить, и пока ничего он поправить, конечно, не мог и еще только больше мочалил ее этим будничным страхом враждебных шагов, и контрольных осмотров, и влажных уборок помещения силами рьяных шнырей, чье любое чрезмерно широкое телодвижение со шваброй могло вызвать взрыв.

Все ключи были только у Стаси — от всех начиненных дорогой японской и немецкой аппаратурой и набитых лекарствами строгой отчетности помещений, шкафов, за такими ключами ходили все к ней, и в колючем ошейнике «материальной

ответственности» надзирала она за уборкой рентгенкабинета, не могущая кинуться ни на кого караульной собакой с непонятным «не тронь! ну-ка, фу! там не надо!», разве только с правдивым раздражением поторопить, нараставшим по мере приближения тряпки и ног к запыленной клеенке и продолбленной лунке в углу: «хватит, дырку протрете — сколько мне с вами тут?».

И два раза в неделю приезжала на зону в санчасть рентгенолог — боящаяся заразиться от отребья бациллами специализированная тетка в защитном прорезиненном комбинезоне ликвидатора чернобыльской аварии, коридор заполнялся отарой заподозренных в туберкулезе, и площадка подпольных землеройных работ оглашалась ползучим, перхающим шарканьем «следующих». Рядом с новой немецкой оптической мониторной рентген-установкой там в углу под клеенкой пылилась, обрастала седым мхом и старая — декорацией вечной, бельмом на глазу этой пришедшей, у судьбы на полставки работающей тетки, в пяти метрах от места, ареала ее обитания в рентгенкабинете расширялась бетонная лунка в полу — от размера с кулак до размера со взрослую голову. И Угланов, не видя, представлял неизбежный сопутствующий мусор: ну осколки там, крошево, отпечатки строительных землеройных подметок на чистом — хорошо еще пестром и сером — линолеуме. Как они, «шныпари», исхитрялись прибраться там во тьме среди ночи? Или, может быть, это она, Станислава, раньше всех по утрам приходила туда — на свету все обшарить глазами, ухватить все отметки, грязевые нашлепки, разводы, царапины и своей рукой все стереть, отскоблить до «как было»? Он не мог это даже спросить у нее — все равно ведь не скажет ему, не сознается и по-своему делать продолжит. Впрочем, все понимает она — что не надо ей лезть лишний раз.

Мог увидеть ее раз в неделю, в четверг. Все хотели в отряде попасть на прием к Станиславе: «она — человек, айболит настоящий», и седьмому отряду с недавней поры зафартило: получали с привычной неотвратимостью Станиславу саму, справедливость ее приговора каждым эковским жабрам, желудку, кишкам, и, конечно, уж ясно почуяли многие, что выходит она к ним, простым, рядовому отребью, потому что в отряде — Угланов, и уже поползли, забурлили, запенились слухи в Ишине, растекаясь, как бабья, старушечья безобидная сплетня: наша, наша-то с нашим... и, конечно, уже Хлябин знает «про них» и, быть может, уже отстучал или скоро отправит в Москву: установлен контакт охраняемого с... — как нам с этим работать, разрешить им «контакт под контролем»? Там, в Москве, ничего не споткнется, конечно, от такого известия, и к настройкам системы добавится разве только брезгливое недоумение из-за пробуждения инстинкта в Угланове: «нашел время и место любить». Разве только вглядятся в минутном раздражении попристальней, поискав обновления в сети, тупо перегружая свои не рассчитанные на такую «любовь» навигаторы: ишь, чего отчебучил, нет бы чтоб приезжала раз в квартал нормальная, паспортная, с колбасой в баулах, соплями, сопляками, рожденными в незаржавевшем законном, — так ведь нет, все не как у людей.

Посчитают скорее это признаком слабости, неминуемо-скорого выпадения в осадок: появляется в каждом человеческом устройстве в условиях нищеты и неволи потребность в любовном тепле — старики начинают подумывать о стакане воды на агонию, озираясь: кто ж им поднесет? Это Хлябин «отсюда», с расстояния звериного запаха, ни за что не поверит, уже не поверил во влажные трепеты одиноких измученных, изголодавшихся душ, в человечесье — в Угланове, знает: треплет он

Станиславу «для дела». Это Хлябин решает, какую правду про Станиславу сообщить в головную контору, — он и сам пока, умная, дальнзоркая тварь, этой правды не видит: для него санчасть — гроб, врытый в землю, обрешеченный и загрунтованный наглухо, и корпит по ночам над разложенными инженерными планами: ну должно же быть что-то под этой землей, что Угланов нащупал. Если свяжет санчасть с Вознесенским, архитектором, то... Ну а может, уже все сцепил и увидел углановское близоруко-наивное «все»? И сейчас в монитор, как сквозь лупу, наблюдает смешную хлопотливую жизнь насекомых, их со Стасей потуги укрыться, спастись, наслаждаясь их рваным дыханием и мускульной дрожью.

А машинка уже побежала — подкоп урки начали рыть в первых числах апреля, под буравящий натиск и остервенелый стук капельной воды, в пьяных запахах талого ветра и под ставшим живым, обитаемым небом он, Угланов, уже будто начал слышать здешнюю землю — вот вчера еще намертво скованную ледяными глубинными связями, неподвижно-упертую, вечную, как мерзлота, а теперь задышавшую жадно, бередяще и разбереженно уступчивую, как увлажнившееся мякотное бабье естество: где-то там, в глубине, под устойчивым гнетом уложенных человеком бетонных панелей, в жирно-влажной, оттаявшей тьме прорывались незримые русла и бежал все сильнее живительный сок: «бери меня», «впусти», «теперь-то я живая» — вот что паром и запахом исходило от черных, унавоженных будто газонов в жилухе и растущих проталин на промке, вот что теплилось ясным немим говорением всюду у него под ногами.

Он и раньше, проходчик, чуял пение русских глубинных, непчатых, беременных недр — слитный гул нефтяных площадей и магнитную силу железного первоисточка,

ломовое движение рудной и топливной крови в незатронутых венах земли — и вибрировал весь от желания вспороть и вобрать эту кровь в личный свой, со второй космической скоростью, рост, и тогда было в нем торжество присвоения и овладения природной мощью, подымала его, великана, все большая сила, ощущение бессмертия, невозможности вытравить след его из земли. А сейчас — сокращенный по силе, по проходческой мощности до дождевого червя — ничего не хотел он присвоить бесконечного, несоразмерного своему существу, он хотел и вот даже как будто просил одного — чтоб земля приняла его, сберегла, схоронила его под собой, сквозь себя пропустила; он, как слизень, как тля на капустном листе, продвигался теперь лишь в ничтожном, тончайшем верхнем слое земли — ничего уже больше другого не нужно, ничего не имеет значения, кроме червячного лаза на верную волю. Ничего бесконечного после не надо — просто жить там, где выберешь сам, вот еще одну встречу и близость с родным человеком, а потом целиком в эту землю — согласен.

2

Вроде все так прозрачно и ясно — и никак не сцепляется. До утра просидел в полянке раскаляющего лампового света, рисуя на листке прямоугольники и стрелки: «Стан-ва», «Чугуев», «Сван + блоть», «Возн-кий», «Известьев» (три знака вопроса: очень, очень такой... ни за что не подцепишь: ни яги, ни ягнят, ни порочных наклонностей вроде коцаных стир или дури, даже вон чифирем не грешит — коммунизма строитель, прореха, ни на чем не припух, в кабалу ни к кому не попал,

удивительно для первохода, и с Углановым часто при этом в умывальнике трется и в бане).

С этой чушкой уже все понятно: он для монстра, Чугуев, — уже не деталь, ни во что уже быдло нельзя посвятить... или, может быть, верит Угланов, что Чугуева держит и ведет сила ненависти к Хлябину, человеку, который жену его взял? Да ну нет, разве только сивуху в Чугуя зальет, но по этому пню сразу будет понятно, что правда, что деза, — очень просто, дурдизель, устроен: снаружи — несгораемый шкаф, а внутри — чисто малый ребенок. Две копейки закинуть сквозь прорезь во лбу — и все выдаст, автомат газводы, потечет: ах, Натаха, Натаха, не надо, не бери ты ее у меня насовсем.

Прицепить его к монстру, муфлона: пусть сечет каждый шаг, каждый шорох на промке, а потом и придавить это быдло за то, что на хозяина руку занес, за испарину страха и дрожь в животе. Декабристку вот эту надо было понять, Станиславу. Выходило окно кабинета его прямиком на беленый брусок, палисадник санчасти: тут транзитный вокзал для единственного, неподвижно и немо голосующего пассажира, через эту Воцилову все он, Угланов, задумал проделать: потеряла ребенка, зарезала и себе не простила того, засадила себя в эту зону по месту рождения — и сейчас, очумелая от одиночества, мертвой хваткой последней безмозглой любви в мастодонта вцепилась, ослепленно и радостно все готова для монстра исполнить: им же ведь, благородным, простого человеческого счастья не надо, обязательно жертвовать надо, обрядить свое бешенство матки во что-то высокое... А Угланов вот все же ее растопил по-мужски, замороженную, — это тоже отдельно покалывало Хлябина, как и всякая сила в ком-либо другом.

Вознесенский — две стрелки, от Уланова и декабристки, вели к архитектору, инженерной башке — при контакте, сложении с молотилкой монстра получаем подкоп или что-то похожее. В месте хлябинской силы отребье частенько выбирало крысиные способы бегства — говностоком, котельной, дренажной системой... Хлябин дергал, вставал на чугунные крышки всех люков и сразу упирался в «заварено», «стоп»: сводный план инженерных сетей не показывал ни единой железобетонной кишки, никакого сквозного прохода — в ста пятидесяти(!) метрах во всех(!) направлениях от жирно обведенной в кружочек санчасти. Это надо долбаться пол монстрова срока лишения свободы, да и кто будет грызть для него эту землю, чьи зубы? Старый Сван со своей волчьей сворой обнюхали монстра еще в самые первые дни и, отпятившись, больше к нему не цеплялись, с монстром сосуществуя, вернее соседствуя, как зверье в зоопарке с каким-нибудь гиппопотамом: этот вот — не из наших степей и лесов, жрет другое, других и вообще просто слишком большой.

Он, конечно, вполне допускал: мог Уланов кого-то из урок купить, посулить сразу столько всего в заповедном голубом океанском сияющем «там», что до хруста разинется пасть. То, что нет никаких шевелений, ни о чем еще не говорит: уж кто-кто, а он, Хлябин, давно изучил эту волчью породу: никогда и никто еще в зоне, даже самый нюхастый, матерый главопер, не сумел уловить всех их, урочьих, цинков и пропулей, неприметных мгновенных сцеплений хлопочущих рук и немых маяков — это ж как муравьиная куча, как блохи — это вам не со спутника, не с ночных беспилотников обнаруживать по тепловому излучению в пустыне подвижные пятна; никакие деревья из видеокамер, насажденные в зоне, не помогут поймать упреждающий выблеск заточенных урочьих глаз. В зоне, как и на кладбище, нет

инноваций, исполняется все по старинке, руками. Не фиксировать надо, а опережать, знать и видеть, как думает тот и другой человек, и тогда ты поймешь, что он сделает, что не сделать не может. Очень просто звучит, а исполнить — это надо вот Хлябиным быть.

За свои четверть века караульной сперва, а потом разыскной песьей службы перевидал он тысячи хитрых, простодушных, трясущихся тварей всех пород и мастей, и теперь каждый был для него словно «купрум» или «феррум» в таблице — сразу видно, в какие может соединения с другими вступить и какие с Углановым образовывать сплавы; люди, в общем-то, все одинаковые, каждый — всего несколько мест для удара молотком или спицей: одного вон киянкой по пальцам или член покажи — и он сразу же брызнет, как мозгляк Вознесенский, а другой — переносит огонь, все физически вытерпит, но ударь по родному, пригрози сделать больно ребенку, жене — и уже ничего от терпения и силы его не останется, целиком будет твой, как Чугуев.

Есть и воры, такие как Сван: ничего не боятся. Новый срок — так они коренные, воздух зоны сквозь жабры пропускают всю жизнь и живут здесь, на зоне, не пайкой, а красной икрой да еще и тебя коньяком угощают. Дотлевающая головешка он, Сван. По весне кожа не обновляется — как в мультфильме про Маугли был вот этот питон и смотрел на азартный огонь молодых угасающим взглядом: и Угланов-то был для него молодым и смешным со своим суетливым близоруким желанием самому выбирать себе участь. Но ведь и не спалит никого этот Сван и своих ребятишек дерзающих не прищемит, если кто вдруг из жадности или прочих душевных болезней за монстра впряжется. Значит, надо смотреть за Гурамом, за

Квасом, за Дыбой и еще даже больше за литерками их, вроде Миши Самородка и Вити Полуторки, — если что, шевелить будут рогом они, под заезд всё на зоне готовить... И пока никаких шевелений. Станислава одна на него, как собака, глядит и прикидывается мертвой. Ну а что, кроме взглядов и вздрагивающей кожи? Вот ведь будет порнуха, если монстр ее в самом деле зажмет — перестанут стесняться своих чувств окончательно! Подсадил к ней жучка в кадку с фикусом, толькодохлый все номер — все равно найдут время и место для шепота. Это уж тогда целую роту фээсбэшников в зону с локатором — это будет уже не игра, не его это, Хлябина, будет охота. И вот главное, гроб же — санчасть: как с подлодки, оттуда деваться им некуда. На каталке, понятно, не вывезет, простыней накрыв, и на утреннем «УАЗике» вместе с пробирками с зоны — это на КПП обезьяну вообще посади, и она вскрыет их «красный плюс», как консервную банку. Ну а если решил — «по болезни»? Скормит что-то такое Станислава ему, что проест дырку в брюхе, и откроется кровотечение, несмертельное, но — «мы теряем его», потеряем в условиях зоны, и погонят спецрейсом Магомета к горе — в областную тюремную. А на трассе подрежут свои, передавят бойцов, отобьют... Да смешно это все, из кино. Уж если его, монстра, отсюда повезут, то уж в таком броневики, с такой группой «Альфа», что никаких «боевиков» не хватит, чтоб отбить.

На какие-то дления казалось, что Угланов задумал такое, что вообще за пределом ума, всего опыта жизни «отличника по недоверию» Хлябина, да еще вот над ним потешается, говоря, что за ним прилетит вертолет, странный огненный шар, вообще НЛО — унести на другую планету, и костями подбрасывая Хлябину Станиславу, Чугуева, всех. Может быть, все они, эти люди, и вправду — детали для

сборки, но вот как все они будут сцеплены, приводные ремни и шкивы коленвалов, как сработает каждый — того не понять. И вот тут же себя обрывал сам от смеха: он в своем месте силы, за пультом, рычагами того, что давно изучил до руды; ото всех здесь живущих, в Ишиме, протянуты паутинные нити, собираются в хлябинской воле, руках, и вся зона бараков, санчасти, котельной, пищеблока, цехов, полигонов для него — трехлитровая банка, в которой копошатся и ползают все. В том и сладость ни с чем не сравнимая, что большой теперь он, мальчик с лупой над муравьиной кучей, а стальной великан, бронтозавр, рыбаощер — целиком, от макушки до пяток, внутри, это он ему, Хлябин, позволяет поползать меж другими такими же по размеру смешными насекомыми вроде Чугуева и снестись с этой самкой, молью, не потравленной хлоркой и дихлофосом, — не залил его сразу в этой банке... сиропом, не загнал его скрепкой в спичечный коробок одиночки ШИЗО.

Никогда он не думал о себе как о псе, пехотинце, присягнувшем на верность частице государственной Силы (разве только в начальное время вылупления из школьной личинки — перед скудным советским экраном, на котором со скучной неумолимостью, терпеливо, опрятно вращала свои шестеренки постнолицая машина добра: «ЗнаТоКи», «Огарева», «Петровка»; мечталось стать таким же чистоплотным одним из...). Сила — да, быть в системе означало стать сильным. Только так — для Сергея Валентиновича Хлябина, уроженца Тобольска, из неполной рабочей семьи, мать парилась и слепла аппретурицей среди сотен таких же двуногих придатков валяльных и сушильных машин ткацкой фабрики. Нигде не занимал первого места — ни в школе, ни в дикой дворовой природе. Последним подходил к резиновому черному «канату», свисающему с потолка огромного спортзала, — с предчувствием

позора в животе, вцеплялся, выжимал, с четвертой или пятой трясущейся попытки вымазывал ладонь в победной потолочной побелке, как и все, — никто уже не видел, не смотрел, глядя только на первого и отворачиваясь от остальных, безгрудые девчонки с бубликами кос и в их числе одна, которая своим присутствием меняет время года. Щемяще он чувствовал прозрачность свою — чем дальше во взрослую жизнь, тем отчаянней. Пугался своих отражений в глазах, в зеркалах — казалось, все взрослые смотрят особо, как будто бы зная, в кого Хлябин вырастет, никто ничего ему не говорил, пока наконец не услышал, подслушав: «А что вы хотите? Ведь мальчик-то из...» — и дальше, страшнее про «дар», про «генетику» из пасти дворняги с дипломом о высшем, дающем ей право, патент на породу... Не понял тех слов целиком, до конца, но понял их смысл и понял, что — правда. И даже обиды в нем не было, того, что назвать можно детским летучим, легко испаряемым словом «обида». Так кто-то решил про него: «не дано», такой есть закон, безжалостно действующий всюду на всех с минуты зачатия, раньше еще; ему предначертано стать одним из... сработанных, сваянных, как промтовары, вахтеров, обходчиков, проводников чужого летящего дальнего следования, работать, соседствовать с точно такими же, жрать то же, стоять с такими же в тех же пожизненных очередях за теми же курами и холодильниками, с такой же создать для того же семью, таких же родить, передав по наследству свои трудовые мозоли... И все б ничего, если б все жили так, никто бы иначе не мог и всем поровну, — но были другие, которым «дано», и ладно дано было б как-то заслуженно, ну, там, по усилиям, прилежной учебе, а то ведь задаром, совсем ни за что, в мгновение соединения двух клеток в зародыш, а ты как ни сился — все рыбой об лед: вот что не поправить, чего не

простить.

Он с пятого класса уже примечал, как делятся люди. Значение, место угадывались по выражению глаз и только потом — по одежде, и есть ли машина, и часто бывало, что громкий и наглый в ондатровой шапке и рыжей дубленке враз как-то сжимался, теряя лицо, смываемое бледностью вместе с глазами, перед настоящей, большей силой. Тут было непросто понять, кто сильнее, за счет чего именно один заставляет другого неметь и мертветь — каким видом власти, физической мощью, оружием, званием — и сам, только что бывший сильным и страшным, немеет и прячет глаза перед кем-то, кто больше него самого. Он, Хлябин, учился сличать и угадывать, читать человека по буквам «глаза — походка — повадки — машина — одежда»... И где-то к десятому классу угадывал непогрешимо, что может достать человек из кармана — бумажник с червонцами, нож или ксиву, в которой написано, кто он. Вот это ему природой все-таки было дано — тщедушному, с непримечательным, сработанным наспех в столярке лицом — прочитывать силу и слабость людей и даже своим представлением опережать любое движение каждого: чем может ударить тебя человек. Вот этот, понятно, дрожит навсегда, а этот все может достать и купить, а этот способен убить, не задумавшись.

У них на Косторезке было много расписных, учивших шпану заклинанию: «всегда отвечай на слово, которым назвали, и делай так страшно, чтоб все понимали, на что ты способен». А он в себе не чувствовал способности ударить всей силою жизни в ответ, боялся вот очень физической боли: никак не совладать со скрутом страха в животе, с потребностью тотчас упасть и только закрывать руками голову и мягкие, необходимые для жизни, уязвимые места, с такой привычной дрожью, что

самому понятно становилось: трясется навсегда, и тщетно вымаливать у собственной природы простейшее для многих умение идти за собственную правду костью в кость. А во-вторых, вот как-то сразу стала ему ясна в блатных их обреченность: их выворачивающий кашель, их гнилые зубы говорили о том, что их скоро не будет, что сломаются много быстрее, чем живущие в скотском послушании режиму сероштантные люди-трудяги и, тем более, много быстрее, чем немногие властные и богатые сильные. Редко их удавалось увидеть — проживающих выше пустынных продмаговских полок директоров универсальных магазинов, продовольственных баз, ткацких фабрик, главврачей роддомов или смертных больниц и тем более уж пассажиров черных «Волг» с осетровой икрой в пайках, чьи возможности, власть назывались словами «райком» и «горком», — зато часто встречал он на танцах в центральном ДК позолоченных выроdkов их, обладателей кожаных курток, синих джинсов, кроссовок или даже подаренных папами баклажанных и красных «восьмерок», и вот тут уже с непоправимостью ощущал себя тенью, окурком под чудеснейшей американистой белой кроссовкой; волнуяще распухшие, дельфиньи тела в распертых грудью батниках и юбках с мучительным разрезом вдоль бедра, красивые дичащиеся лица его не замечали — смотрели сквозь него все девки на «пришельцев», и весь он становился плотиной для чего-то слепого, бушевавшего внутри, — решимости, заклада на то, что обязательно он, Хлябин, когда-нибудь всех этих, живущих в ощущении, в сознании «все — им», ломает и заставит вылизывать до мокрой чистоты ему ботинки.

Накатывало, жгло — грабительно-тишайше подстеречь и вмазать чем-нибудь тяжелым по затылку. Придавливало, останавливало знание: на этом все и кончится

— полуночным звонком участкового в дверь, «канарейкой», обмахивающей синей мигалкой асфальт у подъезда, точно так же мгновенно и бесповоротно, как кончалось для всех его нищеумных погодков, которым кипятком заливало мозги, кулаком и железкой возразить так хотелось против собственной низости. Он налег на учебу — замахнулся на экономический нефти и газа. Отвечал на вопросы билета, как из пулемета, но зашел кто-то из мохнолапых божков, и в приемной комиссии не выдержали проявлений родительских чувств, вбив на место сермяжного Хлябина местного золотого сынка, ну а Хлябина сразу призвали исполнить ратный долг перед Родиной. Поезд шел двое суток и привез его в карагандинскую степь, в островную страну караульного лая и вышек, врытых в землю бетонных заборов и табличек «Запретная зона! Проход воспрещен», в 23-й конвойный полк тюремной охраны. И тогда он не знал, что вот так, в кислом запахе рвоты, в тоске началась его новая, настоящая жизнь — тут его место силы, тут решать будет он, кому жить. Ведь с чего началось-то — с «конца», с «легче сразу не быть», с ощущения себя, своего мягко-квелого тела таким притягательным для удара большим кулаком или кирзовой сапоговой ногой: в учебной роте били его страшно, били весь их призыв, салабонов, все должны были встать по продолу в шеренгу и ждать по цепи своей порции — каждой ноющей ниткой под кожей, струной в животе изготавясь принять и стерпеть подводящий дыхание удар, ощущая всю ломкость и слабость свою, и стоящий по росту предпоследним в шеренге Хлябин мучился дольше других, дольше ждал неминуемого от сержанта Тагирова или Максудова, обмирая и вздрагивая с каждым новым ударом в чужое, соседнее тело и зубовно затиснутым стоном пробитого, и росло, словно тесто в кадушке, его рыхлое, слабое туловище, и хотелось уже одного:

лишь бы кончилось все побыстрее. И, схватив наконец свой удар и готовно сломавшись в коленях, сквозь ломящую боль, безвоздушность чуял он и свободу: он свое на сегодня уже получил, после этого целые сутки мучений не будет.

Сразу понял одно: безответность — условие жизни, невредимости, целости здесь; бьют их сильно, но жизненно важное в них не ломают, а вот если упрешься, тогда очень сделают больно персонально тебе, так унижат, что будешь носить в себе это до скончания дней, — и за все салабонство ни разу не поднял на старших ни с каким выраженьем глаза: и когда мыл ночами туалет в свой черед, и когда его били за то, что он делает это без должного рвения, и когда Георгадзе или тварь Васнецов на помывке швыряли ему свои неуставные носки со словами «отдашь в роте чистыми». В этом душном казарменном мире работал закон вымещения боли, слишком древний и близкий к человеческой сути, чтоб его отменить, — он, закон, прямо сразу, с порога затягивал и устраивал всех, как и всякое «поровну»: первый год бьют тебя, а потом будешь — ты, став взрослее на год марш-бросков с полной выкладкой и постиранных деду носков, и не важно, что ты возвращаешь пинки и затрещины не тому, кто гонял и волохал тебя, а другому, который ничего тебе ровно не сделал. Это знание о неизменном укладе всей жизни как бы анестезировало салабонские муки гарантированной сладостью будущих силы и власти; только он, Хлябин, дальше смотрел, много дальше: эти сила и власть ненадолго и закончатся вместе с армадой, будет дембель — и что? и опять ты ничто?

А потом он увидел, почуял. «Внимание, заключенные! Шаг вправо... считается побег, конвой стреляет без предупреждения». Он, малорослый, щуплый, малосильный, всегда так остро чужавший свою телесную непрочность салабон, вдруг

ощутил нигде ни разу прежде не уловленный едко-чесночный, корневой в неизменяемой природе человека запах страха. И это не был страх перед ощеренными и обслюнявленными мощными клыками надрывавшихся лаем овчарок и даже перед черным выключателем, беспощадным зрачком автомата, что магнитит готовым ко взрыву вселенским, окончательным мраком. Это не был огромный, пожирающий ужас животного перед «не жить», разжимающий сразу все пружины в ведомом на убой человеке, так что тот испражняется, мочится, подышает еще до того, как свинцовый кусок разорвет его неместимой мгновенной болью. Это был постоянный — как вода в рыбьих жабрах, — наводимый на зэков неясной силой, подчиняющий страх: никаких автоматов, патронов не хватило бы горстке сопляков-желторотиков, ломались вся колонна на них общей грудью или брызги сейчас на маршруте во все стороны разом, но вот что-то такое держало, спрессовало, спаяло в безликий брусок эти триста обритых голов. Не извне, а внутри них самих. Хлябин понял одно: это он сейчас держит, «ушастая жопа», в своих руках жизнь вон того и вот этого, каждого, всех; он сейчас скажет «стой» — и они прирастут всей колонной к месту, он сейчас скажет «лечь» — и они распластаются; он отводит им место и время на отдых, где им можно расслабленно, вольно стоять, разговаривать, громко смеяться; может он тут любого ударить, может даже убить, надавив на крючок, швейной очередью вырывая из тела клочья ваты и мяса. Рядовой срочной службы, он может не все, наделен этой силой не навсегда, а вот те, контролеры со звездочками лейтенантов и прапорщиков, постоянно живут в этой полной, окончательной власти над зэком: что угодно и сколько угодно можно делать с любым, потому что у «них» уже нет права требовать человеческого, справедливого отношения к себе, ничего

«они» вовсе не весят и висят в пустоте весь свой срок; одинаково каждый трясется внутри, украл ли он мешок зерна с колхозной риги, или закомстролил пятерых, или был вообще генералом, министром до того, как сгорел на хищениях. И уже с безотчетной, а потом и осознанной жадностью шел в караулы: вот стоишь ты на шмоне и видишь, чуешь перед собой существо, которое ты можешь ободрать сейчас до голой кожи и даже заглянуть ему во влажное нутро, приказав раскрыть рот или даже стать раком; которое встает на расстоянии тревожного дыхания от тебя, подымая заученно руки и давая прохлопать себя по бокам, каждой каплей своей примечая любое твое телодвижение и выражение глаз, превращаемых в сверла, в паяльник, в крючки...

Каждый пятый в цепочке, которую ты пропускаешь сквозь руки, что-то спрятал под черным х/б на себе и в себе, вот в резинке трусов, за подметкой, в ноздре — похожий на оконную замазку, овечье дерьмо комочек сладкой дури, который стоит трех(!), пяти(!) лет несвободы, — потому и разит от штанов и подмышек ни с чем не сравнимым, все густеющим запахом твари, скота, что не может никак даже в зоне совладать со своими желаниями и в котором инстинкты удовольствия и сохранения скручены, словно полоски крепкой кожи в хорошем ременном кнуте, и ты видишь насквозь это слабое горе-устройство, дрожащую душу, все наивные хитрости и потуги ее утаиться, непрозрачной остаться, можешь ты отпустить ее, дав пожить безнаказанно еще целые сутки, можешь выбрать для этой душонки дальнейшую участь — вне зависимости от того, как взмолилась и чем давит на жалость она; можешь ты целиком, навсегда эту душу поставить в зависимость и заставить платить за пронос запрещенного в зону, за молчание твое, слепоту... Но тогда он, ушастым

салабоном, особо не думал о таком вот прибытке, кормушке, жирке, хотя видел, конечно, как торгуют деды с вышки водкой и закидывают грелки со спиртом в зону через забор.

Как собака берет след добычи и, даже от рождения слепая, никогда ошибиться не может чутьем, так и он побежал за продетым сквозь ноздри распалющим запахом власти — сам попросился, когда стукнул дембель, на сверхсрочную. Конкурса двести человек на место не было, и, как мешок картошки, что негаданно свалился с отъезжающей машины, был затиснут в объятиях отцов-командиров: «Вижу — тут твое место! Поздравляю, сынок!» Он уже прокачал в себе, Хлябин, вот это, столь дорогое сердцу командира, определяющее свойство — все исполнять, не спотыкаясь и не спрашивая «как?», и даже делаться телесным продолжением старшины, его портянкой, подворотничком, шинельной скаткой, подложенной под задницу для более удобного сидения; ни разу не было такого, чтобы в месте предполагаемого нахождения младшего сержанта Хлябина оказывалась прозрачная воздушная, незамедлительно не отвечавшая «так точно!» пустота. И отличником по недоверию рыскал по зоне, находя по всем щелям хитроумные урочки схроны, выворачивал каждого враз наизнанку, даже самого верткого и сторожкого зэка, и уже скоро весь Карабас знал железно, что вот этот сержантик с простецким лицом и белесыми жалкими бровками — самый страшный из всех, кличку дали ему Яйцещуп (потому что и там он шмонать не стеснялся), все запомнили имя, фамилию, стал для двух тысяч душ он впервые постоянным условием, обстоятельством жизни, климатическим фактором, изменявшим цвет неба, погоду.

Проверял раз машину, вывозившую с промки бетонные блоки, и один ему что-то

не понравился, верхний, — простучал и немедля задохнулся восторгом, ощутив пустоту под неровной бетонной коркой, мимикрией халтурной. Отошел с обрывавшимся в ноги и толкавшимся в горло грохочущим сердцем и откуда-то из живота подозвал на подмогу других дубаков: раскололи ломами бетонную стяжку, раскурочили доски, и из этого ложного монолита, из ящика вылупился, словно из скорлупы, его, Хлябина, первый — пропотевший и вонький, как лисица в норе. Хлябин жрал его поедом, провалившись в глаза, из которых что-то вырвали непоправимо, вырвал — он, лично Хлябин, и вот агония всех человеческих усилий добраться до воли прожигала его несравнимо сильнее и глубже, чем животная нищая судорога и плевок в липко-тесную бабью нору, в пустоту равнодушного топкого лона. И, плеснувший наружу крутым кипятком, в ту минуту почуял: навсегда он без этого, Хлябин, не может.

3

В первых числах апреля гражданин Полубота Михаил Николаевич по уголовной кличке Миша Самородок с отравлением технической жидкостью зацепился за «крест». «Изъязвление кишечника» — был приговор Станиславы. И ночным коридором прошмыгнул невидимкой в рентгенкабинет — вооруженный коротким, с две столовые ложки, сработанным из арматурины «бимбером» и упрятанной за щеку бритвой «рапира», со сноровкой разрезал от плинтуса обветшалый линолеум, отодрал, отогнул и по грану разбивал своим жалким ручным инструментом бетонную стяжку, со звериной, вработанной в мышцы и кровь, обнаженной

чуткостью сразу ловя все отличные от его собственных стуки и шорохи: нарастающий цокот каблуков по продолу или дальнее шарканье шлепанцев — замирая надолго, становясь только серым пятном на стене. Тишина, темнота то, наверное, переполнялись сердечным колочением о ребра и морскими прибоем и откатами крови, то пустели на всем протяжении гулко-го здания, беспредельно огромного и размером со спичечный коробок одновременно.

Не могущий приблизиться даже к объекту землеройных работ, а не то что увидеть, потрогать ту растущую оспину в древнем бетоне, он, Угланов, себя занимал представлением, что за токи проходят по хребту Самородка, как он там обмирает после двухтрех ударов и снова оглушительно долбит бетон, пробивая отдушину не себе самому. Непрерывно он чувал прозрачность, проводимость ишимской среды, подключенность и связанность каждого с каждым. Хлябин, умная тварь, неправдиво ослеп. Или, может быть, просто пока для него оставались обычными все движения в санчасти, подселения в стационар новых зэков подозрительных, не травоядных пород; вот пока еще двое землекопов углановских не зачастили на «крест» — отравляться, болеть, но уже через месяц с неизбежностью Хлябин приметит повторы: что-то часто уж ходят в санчасть и надолго остаются в ней эти вот двое, почему-то Вошилова их привлекает особо среди десятков таких же ходячих поражений желудка и печени.

Через две календарных недели Самородок уже исцелился, и на смену ему заступил Шпингалет, он же Вова Малыга, по-мальчишески щуплый, вертлявый, с желтокожим лицом из рекламы о вреде подросткового пьянства и просмотра мультфильмов под клеем «момент», — представлялся Угланову не подходящим для

дела, чересчур уж похожим ухватками на новобранца, который обречен подорваться на первой гранатной растяжке при зачистке какой-нибудь груды кишлячных камней, но, наверно, Бакуру, инженеру-наладчику эковских душ, было много видней.

Ближе к лету они разобрали полы, провалились в подполье и кротовьи-беззвучно вгрызались в податливый, рыхлый суглинок — страх «несчастливого случая» испарился, отлегло, но прозрачность осталась — холодное знание о мыслительной хватке и лисьем обонянии Хлябина. Заглянуть этой твари в глаза и понять, как работает в хлябинской лысолобой башке искажающий фильтр инженерного знания: что санчасть — это гроб из земли и бетона, что дорожки с «креста» для Углового никакой быть не может. Прочитать в этих глазках глумливый намек: все я вижу сквозь вскрытый рентгеном твой череп. Но урод не давал ему этой возможности, больше не посещая и не приглашая к себе или пряча глаза и молча в уголке под бубнение безмозглого начколонии Жбанова.

В первых числах июня прокатилась проверка по всем кабинетам и палатам санчасти — не от Хлябина, вроде бы, нет, а «хозяйственная», с переписыванием инвентарных номеров на шкафах и бачках (но, скорее всего, все же Хлябин натравил эту свору на Стасю — пощупать). Он, Углово, все видел, как раз вот запущенный со своей пятеркой в приемный покой: темно-синие мундиры и халаты комиссии двинулись по проложенной одноколейке, потащив за собой по продолу, дотолкав Станиславу до железной двери под плафоном с загорающимся «НЕ ВХОДИТЬ», — и не мог дальше видеть, сквозь стену, как она там без дрожи, с раздражением и видом «поскорее отмучиться», отстраненно вгрызается в скважину оригиналом ключа, заводя часовой механизм, запуская взрывную машинку — может быть, вхолостую, а

может, и нет; как же в ней колотилось сейчас, обрываясь, как яблоко с ветки от собственной тяжести, сердце, как же лопалась кожа у нее на лице, пока голосом обыкновенным отвечала скотам и походкой твердой довела до окна, до угла двух майоров и откинула тент с допотопной рентгеновской трубки в углу, отодрав, словно бинт от зажегшейся раны.

Огонек сожрал шнур до тротила — и зону не сотряс ни мгновенный, ни отложенный взрыв: никому не спалило глаза и не выбило пробки, никакого обвального грохота шмонов, ни ползучего шороха точечных скрытых прихватов, Шпингалет с Самородком остались «на воле», взгляд Бакура — таким же пустым и пристывшим; мог туннель их и дальше расти с той же скоростью, но не каждые сутки; пахло верностью дикой свободы, но с какой-то зубной ломотой в сердце, словно от окатившей ледяной, из колонки, воды, он, Угланов, почуял: сейчас — должен вытолкнуть он Станиславу из зоны. Хватит, хватит с нее этой мускульной, кровяной и сердечной стахановщины; попадетсЯ с поличным в забое — не выпустят, замотают ее, измочалят, протаскив сквозь валки заседаний суда, будут, как в зоопарке, показывать, опаляемую фотовспышками через стекло, отведут ей на многие месяцы место для жизни — может, даже посадят, за Угланова не пощадив.

Он, конечно, рассчитывал: предъявление Стасе такого обвинения в суде означает сирену; если вскрыют углановский этот туннель, то система не станет, не захочет все это выносить на расклеив средствам массового поражения, разглашать на весь шарик, проросший сетями 3G, — факт «попытки побега», своей близорукости и, в конечном вот счете, бессилия: не смогли придавить хорошенько одного мозгляка, воровавшего русскую сталь вурдалака, ничего, даже это, наказание зоной,

у них не работает. Им важнее — молчание, Станиславу не тронут взамен на публичное их с Артемом молчание. Но тягали же ведь на допросы они и сажали в СИЗО многодетных, беременных, Воскресенскую ту же вот Олю... В таких случаях часто инстинкты заглушают теорию. Он не может отдать Стасю им для подобных вот опытов. Он, в конце концов, так и задумывал — до пожарной сирены посадить ее на самолет, и сейчас он почуял — будто раньше не чуял, скотина! — предел, насочилось и вспыхнуло под углановской кожей: «время!», «сейчас!», может эта сирена над зоной зареветь уже завтра, в любую минуту...

И шагал ей навстречу в отрядном строю занедуживших, усмиряя себя, укорачивая шаг под приглядом двоих контролеров-погонщиков. У него было «сердце», основание для жалоб, подозрений на сердце, которое в нем Чугуев сотряс кулаком. Может, Хлябин сейчас думал так: Станислава что-нибудь сочинит для него про какие-то «микроразрывы» — срочно необходимо направить Угланова на УЗИ современной аппаратурой на предмет всех возможных последствий механического повреждения грудины — рвется он из больнички в больницу, Угланов, чтобы сделать все «там», чтоб его по дороге «туда» у конвоя отбили... Ну а что? ведь не более дико, чем любые другие ходы. Надо бросить эту кость, что-нибудь пошептать в телефонную трубку Дудю под прослушку, в духе «что-то себя плохо чувствую, помнишь, мы говорили насчет этой штуки? Надо как-то решить по вопросу обследования, чтоб не в местном ветпункте, ну ты понял меня» — сбить немного животное с нюха и, быть может, вот даже заставить вцепиться в пустышку, поверив, что Угланов решать будет все за пределами зоны, Станислава — лишь мостик для проезда «туда», из нее выжимает Угланов три десятка чернильных извилин для

вызова группы захвата, что засядет в ближайшем придорожном лесочке. Ледяная и строгая, не лицо — полоса отчуждения, вышла навстречу: «ну пойдете, Угланов» — ежедневным разменным, копеечным голосом, за собой потащила в кабинет на невидимой привязи, своей властью с Углановым делая еженедельное то, к чему все уже в зоне привыкли и гадали уж, верно, давно: да когда ж он, Угланов, ее, Станиславу... притиснет.

— Стася, надо кончать с этим всем, — завалившись, с порога плеснул в спину ей, расплескал то, что нес, чем был полон по горло. — Надо нам с тобой это... оформлять отношения. Пожениться, ага, — засадил до того, как обернулась она, — то назревшее после взаимных проверок и трений носами долгожданное «самое главное», что мечтает ночами услышать от мужчины любая, получить этот точный укол узнавания и счастья, чтобы после сердечного взбрыка наконец утоленно расплакаться: вот теперь у нее, «как у всех», ты признал наконец, что она оказалась той самой женщиной, и история ваша из сомнительной стала священной.

— Ну, ты... оригинал... — обернувшись, смотрела на Угланова с хохотом, с проступавшей соком сквозь марлю улыбкой отвращения, жалости и бесстыдного счастья: пусть уродливо, пусть наизнанку, но сейчас она с ним тут живая. — Самый, самый большой, невозможный из всех. Это что, значит, буду теперь совмещать? И лечить тебя, и... вот супружеский долг? Как-то слишком уж, нет? Раздеваемся, муж! На кушетку проходим.

— Ничего совмещать ты не будешь, — еле он пересилился, чтоб рывком не вклеить ее легкую, тонкокостьную тяжесть в себя на глазах у торчащих под окном дубаков, на слуху у стоящего за стеной контролера. — Заявление сегодня, сегодня

напишешь, что ты больше не можешь... вот как раз совмещать, у тебя к заключенному отношение личное. А потом подадим заявление... в загс! Просим нам разрешить сочетаться. Убирайся отсюда, исчезни! Не могу на тебя я здесь больше смотреть! Ты меня поняла? Если мы с тобой им заявление про наше полыхнувшее чувство, никаких уж претензий к тебе не возникнет... сейчас.

— Ну а кто тогда здесь... заниматься твоими болячками будет?! — выедала глазами: кто же будет тогда сторожить твой подкоп, запускать в эту клетку твоих землероек? кто тебя самого, когда надо, положит на «крест»? — Ты ж больной, ты забыл? Я одна тут такой специалист!

— Ты про это забудь, специалист! Ты меня уже вылечила! Пригласят мне другого врача! Без тебя, знаешь, тоже обо мне тут заботятся граждане Хлябин со Жбановым — сразу скорую помощь и постельный режим, если что, ты не бойся. — Пластался на кушетке, полуголый, выдерживая обескровленные, стерильные ее прикосновения, те, которые им дозволялись в неволе, и не те, что хотел от нее, — вот телесный предел несвободы, проходящий по коже, кастрирующий... Или как называются полные инвалиды любви? Он, Угланов, ползет, они оба бегут и за этим — вернуть свое тело себе. — Я ж тебе говорил уже, ну! Скоро про отношения наши напишут в газетах! — Столько времени вместе нельзя им — толкнулся с кушетки и нагнулся висок к виску к ней: — Все загубишь — останешься. Надо с нюха их сбить. Нет на зоне тебя — мне вот это больничное все ни к чему. То — уже все готово, готово. — И для всех закричал, кто мог слышать: — Жди меня теперь с фронта, из зоны, в шоколаде, жена. Пусть все видят, чего?! Поживи наконец для себя!

— Убираюсь, исчезла, — словно из-за стены простонала от смеха она, глядя

так, словно им напоследок торопилась нажраться, и качнулась так, словно потеряла в себе что-то важное и одной теперь не устоять, — припадет, показалось, сейчас к нему, вцепится, словно перед распахнутой пастью теплушки, переполненной пушечным мясом, но и здесь пересилилась и толкнула наружу, от себя отрывая Угланова, дверь.

Он шагнул на свободу, на условно-досрочное освобождение от ее ненасытно выедающих глаз, от лица — и уперся в сидящего прямо напротив двери терпеливого Хлябина: словно в каждом дежурном он мог воплотиться, размножиться, как в «Матрице», тварь, открывая портал там, где надо ему, проявляясь с Углановым рядом цветной голограммой тогда, когда хочет... И лупился, паскуда, на них со своей звероводческой изучающей лаской, улыбаясь Угланову, как охотник матерому зверю, и Стасе — как детенышу нерпы, перед тем как ударить промеж глазок багром.

— Начинаем подглядывать в замочную скважину? — презирая себя за приметный вздрог от неожиданности, перебарывая омерзение, бросил ублюдку.

— Значит, вот что хочу вам сказать, заключенный... — Подымаемый силой присяги, Хлябин скомкал лицо в выражение служебной жестокости: есть порядок, режим, долго он закрывал на «все это» глаза... — И у вас, Станислава Александровна, лично спросить: чем таким у нас снова заболел заключенный Угланов?

Может, я что-то не понимаю, но, по-моему, вы тут не личный пока еще врач господина, чтобы им заниматься так плотно. Я уже не могу как начальник безопасности дальше молчать: возникают вообще-то, согласитесь со мной, подозрения. Понимаю, живой человек, одинокая женщина, — тварь! — очень вас

уважаю как сотрудника, специалиста. Но у нас здесь режимный объект, и санчасть суть такой же объект и не место, чтобы тут проявлять свои личные... Вы сегодня в рабочее время чаи распиваете с гражданином Углановым у себя в кабинете, а завтра? Вы из личных симпатий какие нарушения здоровья у него обнаружите? Чтоб устроить ему здесь, в санчасти, курорт? Доверять мы уже вам не можем.

Нет, ну если действительно у Артемлеонидыча что-то серьезное, дайте нам официальную справку, докладную на имя начальника ИТК и так далее. Примем меры, пойдем вам навстречу, вообще, надо будет, рассмотрим вопрос перевода в специальное медицинское учреждение, если здесь невозможно помочь человеку, — ткнул расчетливо в предполагаемый нарыв и взгляделся в Угланова, проверяя: попал — в средостение смысла?

Надо было Угланову дернуться, задрожать напоказ, дав увидеть ублюдку смятение, потащив вот по этой дорожке в пустое, только он не умел что-то делать с лицом, разве, наоборот, каменеть и не вздрагивать ни от чего, как за покером.

— Ну-ка фу, Хлябин, все, уезжает от нас Станислава. Сделал я предложение ей.

Оставалось лишь за руку взять ее с «благословите», и услышал, как расхохоталась с неподвижным лицом и сведенными челюстями она, смех потек изнутри, продирая, и силится Стася удержать, удержать в себе эту сухую, колючую воду: сделал ей предложение того, что не может ей принадлежать, и разъедутся из-под венца, из пропахшего зоной, холодильного загса, немедленно в разные стороны, так и не прикоснувшись друг к другу, не сцепившись в одно чем-то большим, чем стерильные щупальца, руки в перчатках, ликвидаторы словно Чернобыля, космонавты в незримых скафандрах, инопланетяне, так и будут глядеть друг на друга

из плена, из своих мягких тюрем, переполненных кровью: он когда-то вот думал, что «ни дать ни взять» — это про бабьи колготки, оказалось — про зону: отдала ему все, что возможно воздушным путем, ну а он вообще залезал все вот это ползучее время в долги перед ней и совсем неизвестно, отдаст ли.

Ну а Хлябин не дрогнул — предвидел: что в железном Угланове заскребется утробная жалость к бельку, слабой, маленькой, нищей, обнесчастенной бабе, кровь наполнится криком «что ж ты делаешь с ней?» — или просто Угланов, окажись целиком он железным, увидит, что вот эта дорожка ему перекрыта: продолжай он движение это — перебьет ему Хлябин хребет... И поэтому только:

— Ну что же? Поздравляю, Артем Леонидович.

В «белом доме» Ишима рты и двери заклинило взрывом: хряк с глазами копченого омуля, Жбанов, онемел в своем кресле: как все это вообще называется? эта степень свободы подонка и вора? Что ни день, то все новое «я хочу, дайте мне»... Жениться захотел, играй его гормон! И чего, мы и это ему на подносе, золотые, блин, кольца, когда ясно сказано: он сидеть здесь на общих(!) основаниях должен! Да в штрафной изолятор его за сношения с сотрудником! Вощиловой — служебную проверку по факту нарушения служебной дисциплины! Возбудить уголовное дело! Это надо еще разобраться, чем его эта Дуся снабжала!

— Да ну брось, Николаич, — загнул примирительно Хлябин и взглядывал со значением «ладно, пусть живет» на Угланова: «отпускаю ее, оцени», «в этом раунде пусть у нас будет с тобой нулевая ничья, без взаимных ненужных утомительных кровопусканий». — Если так-то, на общих основаниях взять, то имеют же право. Свои судьбы связать, если очень им хочется. С кем угодно гражданка России... —

«Никогда вам не жить там, где выберешь ты», «будешь с ней, как Чугуев со своею, весь срок», «буду я говорить тебе, где и когда вам сношаться».

Запустил он машинку скрипучего освобождения Стаси от пыточной должности — с пережевывающим хрустом завертелась рулетка, барабан чрезвычайной проверки санчасти на предмет выявления ухищренно сокрытых пробоин, крысиных ходов; все споткнулось и замерло в придушившем предчувствии вскрытия, взрыва: легче сдохнуть, чем ждать и висеть в пустоте неизвестности... И в парной банно-прачечной мороси, в копошащемся столпотворении мучнистых мощей и телес прихватили за локоть знакомо-железные когти, и на ухо проныл сквозь сведенные зубы Известьев-Бакур:

— Что ж ты делаешь, порчъ? Ты ж вложил, ты по полной нас вложишь. На хрена?! На хрена тогда рылами землю пахали ребятишки мои на таких мандражах всю дорогу? На хрена для тебя все метро городили? Говорил тебе, поздно жалеть ее, ну! Так ведь ты и ее на «кресте» вместе с кабером нашим спалил. Тебе люди поверили, вазелином очко, считай, смазали, ну а ты продаешь, как редиски пучок. Кровь вообще у тебя не течет? Я тебе кто? Баран на бойне? Чтоб ты один решал, что делать и когда? Что ты можешь, кому тебя надо? Сколько ты земли вынул оттуда бы, если б не я?

— На какой отвечать из вопросов? — Без нытья в животе, предвкушения удара уселся на лавку рядом с плотным, тяжелым, обнаженным во всех смыслах телом, вбирающим все постоянные и переменные токи на зоне. — Хлябин, Хлябин все видит. И пока она здесь — на санчасть все внимание. А теперь у нас с нею любовь официально, уезжает отсюда она, баба-дура. Ну и вывод отсюда: либо я с ней вообще

ничего не мутит, либо заднюю дал, за свое испугался, то, чего он не знает. Будет шмон? Так ведь были уже? Каждый вторник-четверг табунами народ — и вот хоть бы один обо что-то нечаянно споткнулся. Сколько раз говорить: это мусорный бак — кто копаться в нем будет?

— Он теперь там под все половицы заглянет.

— Сталин Гитлера тоже вон подозревал.

— А на «крест» человека, тебя, наверняк кто положит?

Растирались, скоблились разлохмаченным лыком, не глядя друг другу в глаза, — просто двое законных, случайных соседей, увлеченных сражением со вшами.

— Это ты меня спрашиваешь, коренной обитатель тюрьмы? Как понос, что ли, вызвать, не знаешь? Мне вон морду твой Хмыз расписал — и куда меня сразу? В санчасть. И другую вот щеку подставляю, для хорошего дела не жалко. Сколько там еще делать осталось?

— Так спасибо тебе, еще много, тихаримся теперь, ни хрена не по графику. Не сдадим эту станцию к августу в эксплуатацию — люди там ждать не будут.

— Ну а кто говорил, три куба?

— Так ты вынь их еще, три куба. А то только мобильник в руках и держал, дирижер. И вообще: что-то мутишь ты, а? — посмотрел вдруг в Угланова — ковырнуть его, вскрыть. — По-другому закручиваешь. Все с Чугуевым этим в гляделки играешь и на промке все время с ним в связке одной. Из петли вынимал его — прямо влюбился.

— А с собой хочу взять его — правда влюбился, — надавил на Бакура глазами, и Бакур, все поняв, сразу не засмеялся углановской этой нешутке.

Хлябин сразу почуял: жизнь заранее лепила его лишь для этой единственной встречи, и все бывшее с ним вот до этой минуты было только одной сплошной многолетней «первой ступенью», вылуплением его из личинки, вызреванием для настоящего — затяжного сосуществования с монстром.

Он, Угланов, зашел сюда голым, потерявшим все внешние прочности, уязвимым, смешным человеком из мяса и кожи, и сначала он, Хлябин, медлительно впитывал эту необычную сладость послушания большого человека, который вчера переделывал землю, ландшафты, заставляя планету считаться со своей несомненной личной тяжестью, а теперь открывал каждый день с новой силой: «нельзя», «так теперь с тобой будет всегда» — невозможность напиться холодной воды, закурить и оправиться там, где захочешь. Хлябин пробовал эти оттенки унижения монстра на вкус, но уже через месяц-другой стало ясно: опустился не монстр — это все здесь они, люди силы, это он, Хлябин, не подымается от низкородной, холуйской кормушечной радости, торжества постового, вахтера, не пускающего в туалет человека без пропуска. Монстру было не больно. Он и здесь, на земле, над собой не чувствовал силы большей, чем сам. Силы этой не чувствовал — в Хлябине. Он не ведал сомнений, что и здесь, под плитой, сможет собственной волей отключить эту боль: «тебя нет, каждый день не живешь, каждый день умираешь», разложение, ржавление, испарение собственной жизни; время — вот самый сильный из всех растворителей, вот ему от чего здесь, Угланову, больно: времястарость сожрет его силу, исключительность, неповторимость, время-старость по капле насочится в

него, как грунтовая вода в отсыревший кусок штукатурки, собираясь в одно ощущениемысль: «никогда» — никогда он уже не надышится беспредельной обычной простой свободой, что довольно любому из живущих на этой земле.

Хлябин видел, как люди на зоне смиряются с абсолютной, безличной волей закона, решившего, что «отсюда досюда» ты должен не жить, Хлябин знал, что смиряются — все, но Угланов на то был и монстр: никакое «помилуют», никакое «дадут» с добавлением «быть может», навсегда не способен Угланов принять, нипочем его не переделать, не вдавить в него с непоправимостью: «жить начнешь ты вот с этого дня». Если б мог себе монстр свободу купить, то давно бы купил уж, вообще бы здесь не оказался. Если выйдет отсюда, пересилив не Хлябина, а предначертанность, то тогда — царь и бог навсегда. Если нет, навсегда он ничто: не вернуть себе власть над судьбой для Углanova было большим, чем смерть, — абсолютным прижизненным небытием, погребением заживо. Хлябин понял, что монстра убить может он. Сделать то, что не может вся русская власть. Потеряло значение все: миллиарды сгораемых кубометров и тонн в русских недрах, русский Кремль и все то эфемерное, что зовется «большой политикой», — с этой самой минуты в Ишине для обоих них с монстром находилась ось мира, на вот этих немногих обнесенных колючкой гектарах решалось, кто из них станет кем навсегда: кто хозяином жизни, кто падалью.

И теперь все сошлось на санчасти, на голодной вот этой, не заполненной мужем... дыре, Станиславе. Санитарный народец, фельдшеришки, Пилюгин, что сбывал благодать марафет с его, Хлябина, ведома, доносили ему обо всех шевелениях внутри — никаких шевелений. Разве только обглодки Шпингалет с Самородком

приохотились к клею БФ и техническим жидкостям, чего раньше за ними как-то не замечалось, и подолгу валялись теперь на «кресте» — как-то сразу он, Хлябин, отвернулся от этой мушиной скукоты, комариного зуда, отвлекавших его от догадки, что монстр заложился уехать из зоны по воциловской справке о внезапно открывшемся внутреннем кровотечении, оставалось лишь ждать, когда это почтовое уведомление ляжет Жбанову на карандашное «не возражаю», и помещивать в ложечке чай, наслаждаясь наивностью крыс. Но когда монстр дернул стоп-кран и с внезапной жалостью выдавил замуж за себя Станиславу, все споткнулось для Хлябина в мелком, заскребшемся изнутри подозрении, что все это: санчасть, декабристка, болезни — целиком декорация, дешево и по-детски вот даже раскрашенная, в ознобившем его понимании, что последнее время он, Хлябин, вообще ни на что не смотрел, кроме белых халатов и чернильных следов этой курицы в карте Углового — не смотрел на кишашую муравьиной жизнью промзону с ее самосвалами и торчащими выше трехметровых заборов железными балками кранов, с непрерывно-поточным завозом цемента и вывозом человеческого мусора. Можно было, конечно, склониться к тому, что Углов просто ясно увидел, что ему Станиславиной норкой не скрыться, не родиться на волю, только Хлябин себе не прощал слепоты даже местной и временной — и к себе сразу дернул Чугуева: что там монстр на промке?

Тот ввалился на вахту, с оторочкой двух дубаков на тяжелых, как рельсы, руках, с диким темным бессмысленным взглядом быка, на продевшем сквозь ноздри кольцо побежавшего, не упираясь, на бойню; с осязаемой, слышной натугой хрустели в железном куске рычаги, словно кто-то сидящий в Чугуеве налегал на них, дергал,

поворачивая и поднимая башку, открывая глаза, — заглянул ему Хлябин в нутро, еще раз проверяя на податливость душу, — опустил глаза первым муфлон, не стерпел: так обрубков зубами скрипит на того, кто во всем виноват, машиниста, водителя, оператора крана, и, чернея от злобы бессилия, кровь его бьется тупиково в культах. Ну вот что может этот, с виду цельный, живучий, инвалид от него утаить, чем таким — начинить его монстр, что бы Хлябин не вскрыл, разобрав эту душу, устройство, как машинку для младшего школьного возраста?

— Ну, Валерик, давай, — в трезвом, послеобеденном сытом спокойствии начал выемку сведений из прикрепленного к монстру живого своего самописца. — Как он там себя чувствует? — Знал, конечно, что к ленте, скорее всего, ничего не прилипло, но любые случайные шорохи, посторонние примеси тоже могут иметь отношение к загроудинным шумам испытываемого монстра.

— Он меня теперь цербером, только так погоняет, — заскрипели, заныли шестерни в черном ящике, собирая из хрипов и стонов слова и с тягучей натугой подавая наружу. — В паре с ним на бетоне все время, как нитка с иголкой. Сам ко мне в пару просится у Деркача — над тобой издевается... Про Натаху он мне... — С не могущей ослабнуть, остыть, но и будто смирившейся болью — силы даже на ненависть в нем не осталось — посмотрел на мгновение Хлябину прямо в глаза, человеком контуженным, ничего вокруг не узнающим, потерявшим и ищущим свой оторванный взрывом, отнесенный куда-то волною кусок.

— Что такое?

— А вот то... Что под срок ты ее и меня через это скрутил. Догадался он, сам догадался. Говорит, может, лучшего ей адвоката. Вырвать жало тебе, если что. —

Очень было похоже на правду: для Угланова тоже ведь этот железный дровосек как машинка для первого класса — сразу виден насквозь со всем старым и новым, что забил ему в голову Хлябин.

— Чтобы ты ему что?

— Ничего. Вот тебе чтоб привет от него передал. Ну а мне: ты всю жизнь был тупой железякой — вот и дальше ей будь, говорит. Ходишь всюду за мной — и ходи. Но не очень вникай. Ну а будешь вникать — я тогда тебе не адвоката... — и вот как-то совсем на себя не похоже, стариковски изношенно, подышающе хныкнул, — а несчастье с твоей овцой случится. Со щенком твоим, главное. Вдруг машина собьет. Так что лучше оглохни сейчас, чтоб в могиле потом с боку на бок в вечном сне не ворочаться. Вот в твоём точно духе! — И приваренным к месту безруким обрубком разрывал внутри Хлябина что-то, глядя так, словно Хлябин и монстр срослись для него в одного человека, в непрерывно растущее, окончательно неубиваемое равнодушное властное зло.

— Что-то крутишь, Чугуев. Поумней ничего не придумал? Подковал же тебя он, как пить, разъяснил, как дебилу, на пальцах, что никак не могу я ее посадить, твою бабу.

— Посадить?! — захрипел скот навстречу. — А зачем посадить?! А в СИЗО ты ее до суда — разве нет?! Вот сюда, по соседству — у тебя все завязки-крючки! И чего там с ней сделают — по натырке твоей?! Ведь тебе ж, твари, это — тьфу два раза всего, не подавишься! Ты же не человек! — И почти что сорвался, качнувшись на него с табуретки так резко, что у Хлябина лопнуло все в животе, не оставив сомнений в чугуевской искренности. — Ведь приедет, приедет сюда еще раз! С

передачкой! И ее ты за жабры! Я-то, может, подкованный, подковал меня монстр, да она невменяемая! Я уж так ей и сяк: не живу с тобой, все, презираю, убирайся, не выйду, смотреть не могу — все равно ж ведь придет, как рыба на нерест, такая она!.. И вот как мне?! Не служить тебе, гаду?! Вот как мне молчать?! — Пересох, из себя этот выпарив крик, и взглянул вдруг на Хлябина без надежды спастись и с одной только парнокопытной угасающей болью в глазах.

— Это о чем таком молчать? — не набросился Хлябин, не впился — все равно подкатило под давлением к горлу и полезет сейчас из муфлона само.

— А о том, что подслушал, не хотел, а узнал! Что метро вроде строит, метро, — припечатал его обушинским, поленом, отключив на мгновение в башке переводчик с языка на язык — с невозможного на человеческий. — Ну, с Известьевым этим вот тёр. Дружка дружку на горло они. Тот ему про какую-то, слышу, трубу, до трубы, мол, какой-то им недолго осталось. Целиком я не понял, но смысл — кабеурщики. Кабер нижний, в стене, кто-то ралит для них. И Олег ему втык: под чехты он, Угланов, их всех, шухер шмонный навел.

— Ну, еще! Все, что слышал, дословно! — Вот теперь уже впился, не одыбав как следует слухом, рассудком еще, но почуяв то, что никогда не обманывало, — запах.

— Непонятное слышал. «Рентген по винту».

Взятый пять лет назад им на крюк гегемон, вскрытый и препарированный так, чтобы дожил до этой минуты, из себя выжал каплю последнюю: «непонятное» клюнуло Хлябина в темя, и с рентгеновской ясностью он увидел сошедшееся, без обмана совпавшее втулками, поршнями и цилиндрами «всё», все живые детали для сборки углановской землеройной машины: архитектора, курицу в белом халате,

Известьева, вспышкой вспомненных сразу этих двух зачавших на «крест» под крыло к Станиславе обглодков... Никакой из санчасти, по плану, подземной дорожки, трубы — земляной монолит на сто метров во всех направлениях — проломилось под ним, он забился, клокотал, словно в проруби новичком в моржевании, взвизгивал и постанывал от удовольствия и стыда за свою слепоту: как же дешево, просто едва не купил, не убил его в зоне Угланов — на глазах, в совершенной прозрачности, вахтенным методом загоняя в санчасть двух своих землекопов, на которых вот разве жилеток оранжевых не было с трафаретной надписью «Метрострой» во всю спину... и с какой же брезгливостью все это время прикасался к матерому, сильному Хлябину, вороша недоверчиво пададь ногой: неужели не видит? неужели так просто оказалось мне с ним поменяться местами? неужели моей наслаждается, крыса, наивностью?

«Ой, мудака, ну, мудака!» — словно вынырнул из полыньи и не мог надышаться никак, раскрывая на полную рот, еле сглатывая больноватые спазмы, — напугал даже чушку вот эту, Чугуева, понимал, что еще никогда этот скот и никто его в зоне ни разу не видел таким, но не мог все равно усмирить себя сразу, позорника: смех его выворачивал, смех качался насосами с хрюканьем сквозь, смех поднявшейся и подступившей водой снял его с табуретки и понес убедиться на ощупь в том, что это убогое, невозможно-душевнобольное существует, растет под землей и сейчас Шпингалет или Миша Самородок уже выгребает из туннеля последние комья суглинка или, может быть, даже уперся железякой, клыками, когтями в трубу, позабытую, не обозначенную на имевшемся в распоряжении Хлябина плане инженерных сетей (потерялась советская миллиметровка, на которой проложен в

двадцати жалких метрах от санчасти маршрут, истрепалась и стерлась бумажная, карандашная правда, как у русских оно испокон все теряется), в вожденную гулкость железобетонной кишки, по которой свободно можно сплавиться в реку, и осталось лишь выломать из нее по размеру, ширине человеческих плеч тяжеленный, отсырелый, продетый арматурой кусок.

В оплетенную цепкой, зубастой «егозой» санчасть он, конечно, не ринулся, обошел стороной — чтоб сейчас не вспугнуть шебуршащихся крыс, — как ни в чем не бывало поехал домой и не спал до утра: шевелились остатки волос на макушке, и земля ощутимо подрагивала под охотничьими сапогами, подымало его предвкушение всесилия, перехода на следующий уровень: он никогда уже не станет прежним, никогда не вернется в ничтожество.

Вышел в зябкий студеный, будоражащий воздух туманного утра, загрузил в свой «паджеро» надувную моторку и пополз по разбитой грунтовке к Ишимке, за спиной по правую руку оставив поселок ни низких, ни высоких кирпичных коттеджей, подкатился к воде по пологому склону, повозился с насосом, оживляя резиновую шкуру, браконьерски тишайше (с чего? что ль, из страха, что монстр, отделенный от него километрами, сквозь бетонные стены и хрипы полусотни барачных животных — услышит?), как по маслу сволок налитую, звенящую лодку к урезу, пропихнул сквозь высокие сивые камыши на открытую воду и погреб, не решившись вспороть тишину первым взревом движка, рвать и рвать тархтением даже самого малого хода. Замирал, увлекаемый несильным течением и вслушиваясь в проводящую бережно каждый звук тишину — отдаленный, неясного происхождения всплеск, всполох крыльев какой-то встрепенувшейся птицы.

Еле-еле светлело зеленцой на восходе почти полностью черное, непроглядное небо, и в невидимой зоне еще не врубили подъем, и, наверно, Угланов не спал, чуя близость звериной свободы; луч фонарика клином высвечивал неподвижную гладкую темную воду, с берегов наступал и седой клочковатой ватой скатывался в реку туман — ничего не видать, а потом сквозь белесую мглу промерцали ослабевшим под утро накалом огни и по правому берегу проявились засвеченные очертания зоны. Угловая квадратная вышка с упрежденным, чтоб не шуранул среди ночи тревогу, попкарем-желторотиком (было время, и Хлябин вот так же стоял над остывшей степью и вымершей зоной в ночи) плавно выплыла лодке навстречу, и прожекторный свет ему хлынул, хозяину зоны, в глаза, прохватив представлением, что почувствует монстр всей своей остановленной кровью, когда невозможный рентгеновский свет его выхватит из такой окончательно купленной, поглотившей его без обмана спасительной тьмы — что почувствует рыба, речное животное, очутившись в прозрачном предсмертии светового колодца.

Бетонная стена забора незыблемо торчала из земли и как будто текла под-над берегом всей своей бессмысленной толщиной и слоновьей массивностью. Сквозь речную упругую свежесть потянуло знакомой вонью, застарелой, заквашенной, залежной старицовой, покойницкой сранью. Хлябин взял ближе к берегу, к вони, боком перевалился через туго спружинивший борт, свесил ноги в раскатанных до яиц сапогах, тронул вязкое, жирное дно и побрел по-бурлацки вдоль берега, перебарывая омерзение, — забирая все ближе к средоточию вони, лез и лез сам в дерьмо, запрокидывая голову кверху, когда подступал рвотный спазм, и подхватывая ртом верховую воздушную свежесть, что какими-то тонкими струйками дотекала до

пасти с белесого, просветлевшего неба.

В нетерпении и спешке, в ознобе позабыл прихватить респиратор, не подумав вообще о дерьме, но уже ничего не могло его остановить: зверь в норе непременно вонюч, и была в этой вони для Хлябина сладость, что сгустилась сейчас, показалось, предельно, — в этом месте он встал и попер уже в глубь непролазного берега, раздвигая руками в прозекторских белых перчатках камышовые заросли, стены, увязая, проваливаясь по колено в дерьмо, со всё большим усилием выдирая из топи тяжелевшие и тяжелевшие ноги. Продавился под самый забор и уперся в бетонное жерло: вот она без обмана дыра, из которой появится «завтра» голова воскрешенного монстра. Родовые пути, совмещенные с задним проходом.

Вонь, в которой утоп, вся куда-то исчезла, без жалости смытая разливавшейся от живота трепетавшей волной: задрожал он в паху, как в минуту первой близости с женщиной, с невозможным, немыслимым телом, с потаенной слизью, трясинной, и трепещущий луч фонаря заскользил по колодезным кольцам трубы в глубину, освещая желейную массу на днище до упора в кромешную предродовую пустотную тьму.

Как же просто убить. Мог он прямо сейчас раскрутить ручку адской машинки и обрушить породу в кротовьем забое, запечатать рентгенкабинет неразрывной полоской бумаги с похоронным сиреневым штампом — унизительно буднично, беспощадно и скотски, как «Ушла на обед» на железной кормушке перед русской очередью за подаванием. Мог начать под санчастью раскопки, чтоб Угланов увидел, как проворные, точные руки счищают могильную землю со ржавого костяка его будущего. Или взять Станиславу за ломкое птичье горло — чтобы монстр увидел, как

плачет она: вот что сделал он с ней, послужившей ему, как собака, засадил ее даже не вместо себя, а с собой, в ту же землю, под ту же плиту — заскреблась в нем утробная боль, затряслись его губы... впрочем, нет, это вам не Чугуев: что ему эта баба, влагалище? Потому-то и впился в нее, что ключи у нее от свободы, для того и любил на безрыбье, чтобы с радостной мукой, с задохнувшимся стоном благодарности выпустила изо рта со слюнями то, что нужно ему от нее, — любит только себя, свою силу, огромность, сопляка своего и опять же себя, свою кровь в сопляке, возвращаемую тяжесть шагов, под которой должна прогибаться земля, жизнь, которую должен он, Угланов, прожить в нестигаемой власти.

Так что пусть он поверит сначала, что рождается заново, что себя снова сделал огромным, задохнется сперва этим вот торжеством, вольным холодом, духом беспредельной свободы, и вот тут-то, на этом восторге, на выходе вот из этой трубы и накроет его невозможная, непонятно откуда возникшая высшая воля, Хлябин-смерть, Хлябин-бог. Все должно быть исполнено чисто. Пусть капкан пахнет только речной водой, камышами. Пусть вот в эту клоаку он втянется — весь.

И уже в совершенном спокойствии, погасив свою жадную дрожь, он уселся за столик в закрытом для других посетителей ресторане высокой, космической кухни — с видом на сковородки, открытый огонь, наблюдая за тем, как Угланов готовит для него сам себя, сам себя потрошит, выдирает кровавые стейки у себя из боков, отделяет наточенным зверски ножом от себя Станиславу — малоценной живой требухой, субпродуктом производства свободы и силы своей, как встает каждый день по звонку и выходит в промзону со своей бригадой, с волочащимся следом конвойным-Чугуевым, смирно двигаясь по отведенному руслу меж бетонных

заборов и решетчатых изгородей, скрыв от всех, кроме Хлябина, страшное натяжение жилых покоев и гудение бешеной крови, подмывающей прямо сейчас ломануться на «крест», наглотавшись слабительного и окрасив поносом свои шкуру и простыню. Как он каждое мгновение чувствует свое лосье, жирафье тело плотной для вот этого вещного чувства невозможности остановить, отменить его новую вольную жизнь, закупил он которую полностью и которая словно уже началась для него.

Как за тросом бетонные плиты, волочились тяжелые, душные дни — последней жарой иссохшегося августа; полсотни человек в погонах от полковника до прапора обеспечивали полное письменное и устное молчание Угланова на зоне; все внимание — на плоскость стола меж Углановым и адвокатом, приходящие монстру от еврейских писателей письма: «мы желаем вам мужества в вашей борьбе». Он и это включил тоже в замысел свой — всех заставил свихнуться на прослушке его разговоров и мелочной перлюстрации бумажного мусора, переписки с «известными», обитателями телевизора и хозяевами славы. Ну а Хлябин намыл в этой мути, коммутаторном треске одно: монстр вдруг попросил присылать ему новый сорт кофе, «Эль Инжерто» какой-то вместо «Маунтин Блю». Ну а что? Вот он знак: «выползаю — встречайте». Там, на воле, конечно, у него под рывок все готово: навигаторы, джипы, спец, раскладной хитрый планер с мировым чемпионом по высшему пилотажу в кабине... и ушел бы, ушел ведь — да хоть пехом, броском по нехоженой дикой степи, котловинам, распадкам Ишимского края.

Значит, скоро. Сейчас. С Борей Сомовым, рыжим командиром ОМОНа, он, конечно, рыбачил, бил уток на ишимских озерах, баня-водка-футбол... И под водочку

в бане, оттирая от жирных, разрумяненных раков и вареных картофелин руки, намекнул Боре на предстоящую скоро охоту: «на такого — двуногого». Оставалось лишь ждать... и ага! заключенный Известьев, папиллярные линии которого, наложившись на кальку, совпали с отпечатками смертника острова Огненный Гелы Бакуриани по кличке Бакур, на себя опрокинул ушат с кипятком — до багровой волдыристой, вспученной красноты продержал костыли в нестерпимо крутом, стиснув вафельное полотенце зубами, и с какой-то естествоиспытательской жалостью к существу с электродом в мозгу Хлябин ждал, что же следом Угланов над собой сейчас сделает, вот какую готов стерпеть боль и с каким куском собственных шкуры и мяса расстаться.

Ничего радикального — как он и ждал, монстра попросту вывернуло. Декабристки его на «кресте» уже не было. Ведущие прием сквозь амбразуру белые халаты предложили Угланову активированный уголь и общение с парашей в бараке. И Угланов завыл: больно, больно мне, больно, по приказу Кремля отравили полонием! Промывание желудка немедленно мне, положите на «крест», разорву, твари, прокуратурой, журналистами и адвокатами! И в полнейшем спокойствии следопыта, обкладчика — сквозь потекший по ветру от Углanova запах — что-то слабо кольнуло его, Хлябина, в сердце, что-то легким морозцем коснулось затылка: слишком уж напоказ он, Угланов, ослепленно бросался на «крест» и цеплялся за койку в трех шагах от крысиного лаза, неправдиво забыв про живого, неослепшего Хлябина. Ну а разве он сам, Хлябин, не был вот так же до недавнего времени слеп?

Лишь короткое дление подержали его в ледяном подозрении на «что-то не то» мыши мелкие когти и уже навсегда отпустили, разжатые распирающей правдой

окончательной власти над монстром. Все же шло для Угланова в точном, проверенном, опытном знании, в многомесячном и ежедневном подтверждении, что Хлябин ослеп, что вот этот туннель из рентгенкабинета не вскрыть — запечатал мозг Хлябину сводный план инженерных сетей навсегда.

Каждый час замерявший кровяное давление Жбанов (никогда никакого решения по монстру — без звонка в фээсбэшное небо, никогда — без подсказки, решения Хлябина) прокипел полчаса в телефонных молитвах «просвети и наставь, будет воля твоя»... и по хлябинской воле, по московско-небесному «не возражаем» приказал запустить монстра в стационар.

Хлябин больше не мог усидеть за столом — точно так же, как монстра из койки, корчевала из кресла его сила точного знания «бог — я», каждый верил из них целиком в свою силу, победу, у того и другого все было без пропуска, без изъяна готово — за вторым КПП, в километре от зоны раскалилась на солнце «газель» с зашторенными наглухо окошками и системой видеонаблюдения внутри: на семи черно-белых экранах фотоснимками стыли совершенно пустой коридор омертвелой санчасти и заросший высоким камышом запомоенный берег реки — вожделенный углановский тот, воскрешающий свет, застарелая масса дерьма над зияющим жерлом. Километрах в пяти по течению выше от зоны в скрытом в ельнике ПАЗике от жары изнывали бойцы; половина из них разлеглась на траве, накрыв морды газетами и фотографиями жоп и грудей. Боря Сомов, обряженный и снаряженный, как в фильмах про охоту зверей на людей (травоядных заманивают в глушь на убой и не знают, что в стадо затесался герой-одиночка, эталон первобытного навыка выжить, что пойдет с острогой и ножом из лосиной лопатки против снайперской

оптики и АКМов), проминался, прохаживался по зеленой прогалине с рацией в лапе: накачанные бицепсы теснились в футбольных пятнистых рукавах, людоедских размеров зазубренный нож был пристегнут к груди меж карманов разгрузки — подвалил со своим ожидаемым: прочесали руины прибрежного разоренного автоприцепного, никого, установлен визуальный контроль.

Еще было светло, полчаса до отбоя, и Угланов пластался недвижно на пыточной койке: будет ждать темноты, в тупике, в жаркой тесной могиле, меж залитых воспаленным вишневым свечением слизистых, все мокрей становясь, все вонючей, изнутри расплавляясь, как железный кусок в твердосплавном выносливом тигле, непрерывно вбирая все шорохи, оседания, стуки в коридоре за стенкой, ничего уже больше не слыша сквозь удары растущего сердца, колотящегося во всем теле...

Ждали все в комарином нытье: хуже нет — только если отменится все, то тогда еще хуже. Приварился он, Хлябин, к пеньку, приварил недрожащие руки к коленям — в совершенном, казалось, змеином спокойствии, но нет-нет и срабатывал будто в животе его виброзвонок, словно кто-то звонил на зашитый в нутре телефон, сообщая: «я здесь, я иду» — и гудела земля под ногами.

Будто кто повернул выключатель — не поймали мгновения, когда небо стало из серого иссиня-черным, зазвенели, защелкали, затянули свое бесконечное «ир-ир-ир» насекомые рати в траве; из «газели» ему говорили: нет движения, нет... ядовито-зеленые цифры минут на беременном силой запястье незаметно сменяли, теряли свои перекладины: 22:45, 23:04, обнуление полное и... вскрыв грудину над сердцем, взорвалась треском рация, и мальчишеский голос собрал из подрагивающих звуков слова и из этих слов — нового Хлябина: есть движение по коридору! готовность!

Хлябин вбил в себя воздух и долгим, коротким, переполнившим вмиг его кровью движением показал своим псам на разглаженную, непрозрачную, темную воду... И пошли, натянув и раскатывая маски на лица, выставляясь, теряясь в шелестящей незримыми листьями тьме; раскачал Боря лодку, с сопением завалившись за Хлябиным следом. Отвалили, гребли в тихо плещущем мраке — только в пестрой от звезд, как несущка, мукомольно засыпанной звездами бездне-вселенной было холодно-чисто, бесполезно светло... Лодка ткнулась резиновым носом в урез и застряла в тяжелом, незыблемом смраде — в десяти метрах от заповедной трубы. В камышах он заранее, Хлябин, прорубил себе щелку для взгляда — не пропустить мгновения, когда из родовой прямокишечной тьмы покажется еще более темным пятном голова и рептилия, шваркая ластами, выползет полностью, раскрывая на полную рот и кусая затхло-гнилостный воздух свободы.

— Ну ты, Хлябин, меня и втащил. Это че тут такое? Все говно твоей зоны от первого до последнего зэка?

Время шло без сердечных обрывов, без боли, не растягиваясь, не замирая, шло со скоростью хлябинской крови, ему подчиненное. И уже будто слышал далекие шорохи, стуки подползающей к выходу исключительной твари: тишина оживала, наполнялась шуршанием, трением, цоканьем, подчиняясь его слуховым ожиданиям, и опять выстывала, мертвела, пустела, и немедленно он находил тишине объяснение: там ему еще долго придется, нескладному монстру, уминаться и втискивать, втягивать свое длинное тело в нору и потом еще долго продвигаться сквозь землю до этой трубы, червячными извивами, рывками, сокращениями, в раскаленной выбешивающей немощи, слепоте и удушье толкаясь, упираясь локтями, затылком,

лопатками в земляные откосы и кровлю туннеля... Так ему ведь впервые приходится, монстру, — сократиться до крысы, земляного червя, пробираться ползком, а потом еще на четвереньках, да еще и по локоть, быть может, в покойницком недоокаменевшем дерьме, в затопившей трубу, загустевшей до плотности студня, разрезающей зенки, раздирающей глотку убийственной вони, запрокидывая голову из положения раком и тотчас упираясь затылком в бетонный — не дающий вздохнуть ему — свод... Может, там его вырвало прямо сейчас, и пока монстр вынырнет с задохнувшимся стоном из мерзости, переборет ее, проблюется... и простейшего этого объяснения хватало первых десять минут, и пятнадцать, и двадцать, и сорок...

Может, этот Известьев-Бакур придавил его к кафельной стенке сейчас, затащил в туалет переждать шевеления дежурного санитара в продоле. Но и этих поправок на все привходящие начало не хватать и к 0:59 не хватило совсем. Натекло, словно газ из открытой конфорки, и от внутренней искры в нем вспыхнуло понимание «что-то не так» — подающий конвейер не просто споткнулся, а сломался совсем: зверь почуял металл в камышах и не вылез, отпятился, и придется теперь ему, Хлябину, начинать все сначала. Монстр знает, что он, Хлябин, знает. Когда это понял? И зачем же тогда вообще так цеплялся сейчас за больничную койку и Бакур без обмана себя обварил? И еще он придумывал с легкостью, Хлябин, объяснения всему: это хлипкая стойка сломалась в забое под тяжестью грунта и земля завалила проход или, может, одно из бетонных колец опустилось за столько-то лет под все тою же тяжестью — и уперся Угланов в железобетон и рычит там сейчас, задыхаясь бессилием, его затопившим похлеще и вонючей дерьма всего мира: все придумал, построил, до

точки довел и уже думал, бог он, Угланов, — и уперся, как жук, как червяк, в роковую случайность и нечеловеческую равнодушную волю, решившую, что ему на свободе настоящим собой не жить.

— Что-то я не пойму. — Боря долго скреплялся, и теперь под давлением вырвалось из него, словно проткнутого. — Это че, Хлябин, а? Ведь сказали: выходят клиенты. На картинке чего, на картинке? Семин, слышишь меня? Что у вас?.. Без движения? Ну понял. И на том берегу тоже глухо. Что молчишь-то — кто мозг? Нет, мы можем с ребятами и до утра, только нам понимать бы...

Час ноль пять, час семнадцать... И опять ткань в ушах и над сердцем рванули: объект в коридоре, возвратился в палату... Возвратился второй. С пустотой внутри, с пустотой под ногами, под буравящим натиском тишины, понимания, непонимания, что же с ним там, Углановым, все-таки сделалось, сам себя с поводка не спустивший, не вцепившийся в мясо, ненажравшийся Хлябин из себя еле выжал команду: снимаемся.

Не исчез — слишком рано и мало для полного прекращения существования, — но налитые дрожью желания неутоленного руки погрузились в резиновый борт, словно в воду, так себя ощущает простывший, начинающий заболеть человек: ненадежность шагов, неправдивость и зыбкость всего осязаемого, неспособность нащупать себя самого. Из кустов выбирались отсыревшие, злые бойцы — расступались с отчетливо ощутимым презрением, пропуская дебила, инвалида к «газели». Хлябин брел и надеялся переболеть: ну простуда, нестрашное, отопьется, как раньше, кисло-сладким горячим питьем, что-то выпишет врач, чтобы снять это жаркое, нарастающее неудобство.

Кто-то, словно боясь заразиться или ранить его (оторвется рука), сострадательно и осторожно щипнул за рукав: «Наблюдение мы продолжаем? Сергей Валентинович?» — «Продолжайте», — он выбросил «в мусор», и дежурили у мониторных бойниц еще сутки, обессмысленно пялясь в скриншоты санчасти, по которым вдруг кто-то пробежал муравьем, насекомой цепочкой тянулись ублюдки на завтрак и ужин; монстр все это время либо бегал со скрутом живота в туалет, с неподдельным позывом, настоящим поносом, либо просто лежал на боку носом к стенке.

Хлябин перебирал варианты и опять, раз за разом упирался в одно: удержала Угланова в зоне «непреодолимая сила» скучных военкоматовских бледно-зеленых повесток; человеку единственному, состоящему из влажно-жарких «хочу» и, тем более, Угланову, состоящему из мозговых «знаю как» и железных «могу», не под силу смириться с безучастной, безличной властью случайностей: по капле насочившихся в трубу грунтовых вод, перелетных костей, угодивших в турбину, — и, наверное, вот от чего уж теперь был понос у Угланова, от чего он блевал, что его выворачивало: «все твое не сработало, ты останешься здесь до упора». И хотелось теперь ему, Хлябину, чтобы монстр отделался малой кровью, не утратил еще целиком убежденность, что может пересилить судьбу, не прожег еще верность себе самому — и тогда у них будет еще одна партия, месяцы затяжной и ползучей холодной вой ны.

Монстр вышел в отряд утром третьего дня — брел аллейкой меж тополей широко и нетвердо, словно только на третьи сутки извлекли его из-под завала, из шахты. Хлябин ждал на границе локалок, оказавшись у нужной калитки

«нечаянно», — оглядеть и ощупать душевнобольного как лечащий врач, оценить состояние, рефлекс, реакцию неподвижных зрачков на направленный свет. Сильно спавший с лица, посеревший, измятый, со стальной стерней трехдневной щетины, монстр видел и не узнавал его, Хлябина, — или только прикидывался? не хотел дополнительной, добивающей пытки разговором и взглядом? Мало смысла вообще разглядывать больного ли, избитого — слишком сильно пухли глаза, слишком сильно разбито лицо, чтоб сквозь гной гематом, сквозь усталость, разглядеть, что же в нем, что же в них. Уничтоженные опускают глаза — Угланов устоял и надавил на Хлябина участками открытой мутной слизи с заварной, спитой коричневой радужкой, поглядел, как и прежде, всегда, со знакомой проходческой силой, на липучее кровососущее насекомое — Хлябина, на трясину, на вязкую плотоядную массу, но на дление кратчайшее Хлябин увидел в заблестевших, сочащихся гноем глазах — того, кем стал физически этот человек в самом деле: провалившимся в волчью, выгребную, компостную яму, обломавшим все зубы, уставшим от всего стариком, вдруг почуявшим: «хватит», так состарило за трое суток его откровение, что он сам ничего изменить в своей жизни не может. И такой окончательной показалась вот эта усталость, так пахуче, так явно пропитался Угланов подземным бессилием, что не мог даже Хлябин поверить: неужели вот «это», больное и старое, так могло угнетать его, Хлябина, заставляя болезненно, неизлечимо желать унижения, уничтожения монстра?

Хлябин все, разумеется, знал о приемах мимикрии двуногих на зоне: о припадках расчетливо буйнопомешанных с мыльной пеной у рта и изжеванными в промокашку раскровавленными языками, о распоротых ложками брюхах и

проглоченных вилок, ножах, шпингалетах, отупении, окостенении, ослепших глазах, о химизме процессов, описанных в пунктах «передозировка» и «побочные действия», — на что только не шли, чтоб прикинуться падалью, вызывающим только брезгливость невкусным, несъедобным куском, и усталость Угланова не показалась ему неестественной, деланой — так единственно закономерно вытекала вот эта покорность из всего предыдущего: после стольких усилий разведки, вербовки, удобрения, поливки, стольких дьявольски купленных, примагниченных душ, пробуренных, прокачанных скважин и отомкнутых сейфовых дверей в нем могла быть, Угланове, только опустошенность.

Оставалось теперь монстра «понаблюдать»: монстр ползал по зоне, выбривал подбородок и щеки, начищал зубы пастой, скоблился под горячей водой на плехе, следил за телесной своей чистотой (гигиена — прибежище, первое доказательство, что ты еще человек; запускать себя и опускаться нельзя, от запущенного до опущенного — расстояние в зоне ничтожное), выползал каждый день сквозь ворота на промку — чтоб собрать себя в ком, не рассыпаться, трудовой усталостью склеить себя, каждый день для него начинался с убеждения себя самого, что железный завод в нем не кончился, и уже разжимала зевота терпеливому Хлябину челюсти — отворачивался от убожества, вонь начинавшего заживо гнить динозавра.

Лже-Известьев, сваривший ступни в кипятке, тоже падалью ждал своей смерти, которая официально регистрируется завтра, — за него, насекомую мелочь в законе, он получит еще одну звездочку, Хлябин. Подступала тоска и не вздрогнул, когда в кабинетной тишине закричал телефон — как всегда, каждый день в полшестого, виновато-стеснительным писком «накорми, без тебя нам никак», как всегда,

обнаружен под шкурой у кого-то из стада какой-то запрещенный сопутствующий мусор, нищий зэковский кайф за подметкой или в дупле, неизбежный и скучный, как репей на коровьем хвосте после выпаса... И придавленный, стиснутый, смолотый, как бы крошащийся от неверия голос лейтенанта Шалимова всыпал:

— Таарщподпоковник! Углонова... нет. — Задыхнулся, застряло, разрывало пасть то, что не мог уместить. — Нету на перекличке. Углонова нет! — И его не заполнило, Хлябина, сердце, не выросло — так он сыто уже, обожравшийся, отяжелел, заручившийся знанием, что железобетонно — отсюда и уже навсегда — будет он решать, Хлябин, где Углонову жить... И никак все его не проламывали покотившиеся по наклонной слова: — Сигналка не срабатывала, слышите! Движения к запретке не замечено!.. Нет его и Чугуева! Полигон мы, цеха! Арматурный, столярку! Все пропарки, все бункеры! И нигде их пока что, нигде! Вся бригада — не видели, суки, не знаем, хоть ты их на запчасти, не телятся! Аварийку врубать?! Приказанья, Сергей Валентинович?!

Разбивал его кто-то, из земли выкорчевывал ломом, и не собственной силой толкнулся, потянул себя из тесноты, выгибаясь дугой, и обваливался раз за разом на кресло-пловун... Наконец себя выдрал из топи, разогнулся, качнулся, устоял на разбитых ногах. Как за стенкой, в каком-то соседнем отсеке, как во вставленном в голову чайнике, закипели, взбурлили слова:

— На погрузке, погрузке, на выезде что?! Транспорт, транспорт с панелями выходил уже, ну?! — Еле-еле выплескивал это кипящее клокотание спроса — с кого? да с себя самого, уже мертвого!..

Побежал, словно кто-то еще, а не сам он бежал коридором по шатким мосткам,

через вымерший плац и проходами меж загородок, налетая на сетки, втыкаясь в калитки, сам теперь, как лисица в желобах и отсеках притравочной станции. Сила непонимания, как Угланов исчез, растворился — с ЧУГУЕВЫМ, на бегу колыхалась в башке и разламывала череп.

В краю подъемных кранов, бетонных штабелей, египетских гор щебня и песка он, вырвавшись, как из туннеля, озирался — особенная зрячая слепота неузнавания, когда забыл названия и назначение всех вещей: распуганные взрывом, запаленные, шарахались по промке дубаки, заглядывая в пропарочные недра, в окруженческой жажде ничком припадая к земле — словно напиться из козлиного копытца. Загоревший на ядерном солнце, кроваво-обваренный Жбанов секачом набежал на людей и, безумно лупясь, выжигая с земли лейтенантов, раздирал в крике пасть и стирал до сипения голос:

— Вы чего сотворили?! Угланова! Каланчу вот такую — куда?! Ты был с ним, ты сегодня при нем постоянно, головой за него отвечал, должен был каждый шаг, каждый чих его, сука, а ты-ы-и-и?! Видел, чем он был занят, по минутам, секундам?! Испарился он, телепортировался?! Не бывает такого! Не бывает провалов во времени! Ну а ты, где был ты с твоей чуйкой, Сережа?! — наконец-то набрел и дорвался до Хлябина. — Ты! Ты, человек, который знает все!.. — Заревела над зоной, распухла нажатиями в хлябинском черепе, тишиной новой стала сирена; раскалял его, Хлябина, зуд аварийный, но его не менял: ничего уже больше не изменит его и не сделает прежним.

Побежал, обгоняя трупный яд, к тесно сбившейся черношкурой отаре, собригадникам, сменщикам монстра и выплевывал в зенки увидевших чудо:

— Где работал Чугуев?! Что конкретно в бригаде у тебя выполнял? Ты куда его ставил последнее время? Почему на опалубку?! — Поражаясь, как точно, в суть дела загоняет он гвозди, но при этом совсем вот не чувствует желания спастись, оправдаться, погнаться, настигнуть, загрызть, потому что уже все решилось, лично он не поправится — монстр с первых минут разминал его, как набор пластилина, и вылепил из него то, что надо ему. — Ну-ка где, покажи!

Шарил взглядом по свежееоструганным доскам, что светились еще желтым сливочным маслом, по стене штабелей в трех шагах от последнего места работы Чугуева! Под нажимом собратьев вмялись в землю все нижние блоки, типовые могильные плиты, и рука его, словно подкачанная, ожила, постучала костяшками по деревянному гробу без крышки, а потом по бетонной плите — и в собачьем его, с электродом, мозгу наконец-то бессмысленно вспыхнула белая лампа: он увидел глаза, умиравшие прежде всего остального глаза своего ненаглядного первого — карабасского зэка Разлуки, которого вынюхал четверть века назад сквозь бетонную корку и доски.

Доштался до пульта: все казалось теперь нарисованным — кнопки этого пульта, рубильники; по цепи оживали, заходясь и захлебываясь писком, телефонные трубки, словно за взрывом самого реактора на зоне разрывалось по швам все другое, поменьше, вырывало гидранты, разносило газгольдеры — он стоял среди пламени, что должно было сжечь, но не жгло, и зачемто снимал друг за другом — заткнуть, задушить, словно птичьи горла, — вот эти горластые трубки... и обваренный голос прорвался сквозь запорные клапаны и прорезал его до чего-то живого: тарщоковник, Попова на кресте поронули... мы туда, ну а тут... в кабинете они

изнутри, тут железная дверь! вот болгаркой только! Ну в рентгенкабинете... А-а-а, суки!.. суки, суки!.. ушли-и-и-и!..

Хлябин вздрогнул и трясся от внутренних молотильных ударов, смехом било его изнутри, затопило, рвало на глазах у счастливых врожденной и пожизненной пустоголовостью тварей:

— Подкоп! Арматура стальная! Вот такие бетонные кольца! В говне, в говне там ползал под трубой, пасть раскрыл — монстра жрать! Ы-ы-ы-а! Не полез — значит, все, завалило, плита, не полез, и никто не полезет! А там... даже проволокой не залатал, паутинкой. Наблюдение в обычном режиме! Я, я, я это схавал! От кого?! От скота, от Петрушки на палочке схавал! Чугуева! От совковой лопаты, на которой он мне вот такое говно!.. — И не мог ничего из себя больше выпихнуть, изнутри освежеванный хохотом, — проминали его, поднимали за кости рывками, протискивали к выходу, на воздух, из земли:

— Ты чего это, Хлябин? Отставить! Ты вообще меня слышишь, Сергей Валентинович?!

Но никакого больше Хлябина Сергея Валентиновича не было.

Мир сократился, опустился гробовой доской на лопатки. Червячными извивами, рывками, сокращениями протискивал себя вперед башкой в щель, упираясь в ступень из чугуевских кованых, гидравлических рук, поливаемый будто бы собственной кровью и слабеющий с каждым рывком в тесноту. Чувал то же «пора», «мне тут больше не место», наверное, «выпускай, не губи меня, мать!», что и каждый рождавшийся в мир человек, мягкотелая склизкая гусеница, то же самое, что сорок пять лет назад чувал в тесной утробе, терзая нутро своей матери, убивая ее, чтобы жить самому, — с той лишь разницей, что лез «обратно» сейчас. И шибало навстречу смоляным духом свежееоструганных, мертвонамертво пригнанных дружка к дружке досок, да и гроб был задуман как братский — следом ткнулся железный, цепляясь за отверстия в плитах и вбивая в них, дырки, для упора носы; подтянулся и вдвинулся с паровозным прерывистым бешеным пыханьем.

Плечи терлись, трещали — не умея все сделать, как один человек, как одно насекомое, бог знает что, уминались, друг дружку щема, в тесноте неудобного типоразмера: он дополз до упора, Угланов, и сжался, сложил до предела свои журавлиные, лосьи ноги, подтянув к животу, сколь возможно, колени, чтобы дать негативу, близнецу своему развернуться башкою ко входу — свесить руки наружу, нащупать прислоненную к штабелю самую важную часть их транзитного гроба,

восьмидырную крышку-затычку, покрытую отверделым бетонным раствором... уж такую дешевку, конечно, но об эту бетонную серость все давно уже стерли на промке глаза... все могло лопнуть прямо сейчас, сердце было во всем и везде, колотилось в соседние ребра, в приварившееся своей тяжестью смежное тело, человека, который один сделал всё, что Угланов задумал, и сейчас еще делал, довершая, последнее — в три коротких рывка втиснул намертво крышку с торца, отдавив внешний мир до упора, до особого мрака внутри, чуть продетого светом сквозь дыры.

Вонючие, как козлы, и мокрые, как мыши, они были огромно, едино-одинаково живыми — оттого еще больше живыми, что сверху и снизу, отовсюду давила, налегала на гроб тишина, монолит, неподвижность всего, что вокруг; словно поезд в железных костях мостового туннеля, грохотало, ломило тяжелое сердце; общей кожей ждали далекого взрыва — нестерпимо знакомого взрева движков и растущего вала железного скрипа и лязга, хруста щебня, шуршания, цоканья под ногами поплетшихся к ним стропалей... — всё должно теперь было продвигаться снаружи само, по проложенным рельсам, по замеренному по секундам им, Углановым, графику, обгоняемому только бессмысленным сердцем, которому не объяснишь, что бежать никуда ему больше не надо. 15:25 — бригада Деркача заканчивает цикл, единый многорукий организм с Углановым в составе рассыпается, ручейками и каплями расплываясь от бункеров и опалубки на перекур или к инструменталке с дырявыми шлангами. 15:25 — Чугуев ждет искры зажигания, поворота дежурного обходчика за штабель. 15:26 — в три шага покрывает три метра пустоты между пыточным местом и щелястой бетонной панельной стеной, вгоняет себя в щель и исчезает, заученным маршрутом крадась меж штабелей к дешевому вот этому их

ящику, стоящему тут третьим с краю под погрузку. 15:26 — Угланов, перекинув шланг через плечо, идет обыкновенной походкой разбитого работой человека навстречу дохлоглазому, сомлевшему на августовском солнце дубаку, ступив на подвесной как будто мост: проваливаются доски с каждым шагом — на солнечной конфорке за часы из туши камуфляжной выпаривается бдительность, остатки настороженности в донных прокисших отложениях наставленного взгляда: «Куда?» — «В инструменталку», — не слыша сам себя и слыша, что орет: «Не будет завтра шлангов — сегодня разберут»... не сорваться и не полететь, чтобы следом не ударили, не покатались слова-валуны, обгоняя и смяв, расколов ему череп на вы: «это самое... минуточку, стойте... я кому говорю, гражданин?»... и сорвавшим резьбу поворотом башки оглянувшись — на всеильную мелочь, вахтера, забивает себя клином меж штабелями и тоже, обварив все нутро своей стужей, — сюда. 15:35 плюс-минус три минуты — бригада стропалей выходит на погрузку, 15:35 плюс-минус три минуты — на полигон вползают два панелевоза... и сейчас, на 15:35, все, что надо, что должны были сами исполнить, они уже сделали — схоронились и встроились в эту машину погрузочных, поднимающих в небо, опускающих ящик ребром на стальную платформу, перевозочных нудных работ; ничего не прибавить, как нечем вложиться зародышу в первый поток, поработать теперь вот должны акушеры, заорать кто-то: «тужься», «дыши».

Тишина не взрывалась, не рушилась, простиралась и длилась, то вмуровывая их в мерзлоту, то, напротив, расплавляя в себе, словно два куска студня, и уже не понять ему было, где кончался Чугуев и где начинался он сам, и чугунный Чугуев как будто вытеснял его и замещал своей большей удельной плотностью, прочностью, и,

конечно, он знал, понимал, что «так много прошло» и «так медленно тянется все» лишь в его ощущениях, человека, которому хочется поскорей сняться с места, поехать, разорвать пуповину с тюрьмой, — все равно за пределом ума тяжелее все и тяжелее давил его страх, ощущение, что время — 16:00, и 16:05, и 16:15 уже, и душило предчувствие, что ничего тут сегодня не двинется, не сработает так, как работало день за днем столько месяцев кряду, неуклонно, неостановимо. И уже вот сейчас контролеры-скоты, ощутив непривычную обесточенность места, закрутили башками: а где? где наш зэка особого учета?! За месяцы, как жиром, заплыли толщей знания: исчезнуть ему некуда, повсюду — на глазах; стояли они так и двигались такими патрульными маршрутами, козлы и дубаки, что каждый был уверен, что если он не видит Угланова вот в эту секунду и минуту, то кто-то из братьев по соседству за монстром обязательно следит, ведет его, стоит под этой каланчой, и если нет его, Угланова, над формой, то значит, он в вагончике над сметой с Деркачом, а если нет в вагончике, тогда в инструменталке... начальная вот эта обнаженная, пожарная сверхчуткость от пятки до загривка за первые шесть месяцев прошла, как зажила, и больше не таскались прицепами повсюду за Углановым... продержит их топкая сила привычки семь-восемь минут, и жир начнет плавиться, начал уже — в нагретом мозгу ощущение «что-то не то», и кто-то один, не видящий «что-то уж долго» Угланова в своем поле зрения, захочет проверить: а кто его видит сейчас из братьев? Лениво начнут перелаиваться в рации: «Он где? У тебя?», «К тебе он, к тебе со шлангом пошел. Да как это — „не проходил“?» — пройдет по цепи и замкнется на «нет», «не видит никто», и первым, не страшным, не ядерным взрывом всех вырвет из студня спокойного знания, что «где-то быть должен». Еще минут пять

тянуться все будет ползком, вперевалку, довольно ленивыми спросами с зэков, а дальше — завоюет противоугонка, проскочит сквозь все черепа, позвонки команда задраить на выезд ворота, и все остановится, гроб их останется приваренным к этому месту под небом, и это, казалось, уже наступило, осталось дожидаться взახлебного лая натасканных псов... Им тут добавляют, Бакур говорил, эмульсию в воду, всем зэкам на плече, уж раньше-то точно текла из всех кранов такая вода, въедалась всем в кожу, незримо и неосязаемо пятная: не чуют вот этого запаха люди, собака — сквозь землю, спустя даже годы лишения свободы почует в тебе, отмытом, овеванном свежими ветрами, зверя, которого надо порвать и загрызть... Как будто чесночного запаха страха в паху и подмышках от них недостаточно, обильного пота, которым был залит сейчас по глаза, так, что во всех выемках, ямках ключичных стояли паскудно-пахучие лужицы.

И вот, когда ждать перестали уже, все стало терпимым вокруг, что давило, уже безразличным как будто вообще — взбрыкнуло вдруг сердце в их сваренных вместе костях от взрева машинных движков вдалеке, и вот уже общей кожей, хребтом вбирали знакомые звуки: скрипучий ход долгих тяжелых платформ за берущими ровный напор тягачами, хруст и шорох щебенки под ногами бригадников... заскребли по земле ножки подмостей, придвигаемых к штабелю рядом, слышно стало охрипшие голоса, хохоток... и уже к ним по лесенке влезли и уже попирали их гроб стропали — как же все-таки накрепко, намертво, до фальшивой бетонной незыблемости сколотил этот ящик Чугуев — вот зачем был он нужен, руки, руки его, прирожденного каменотеса и плотника... кто-то страшный, огромный, невидимо вставший над гробом, всунул лом в боковую монтажку, надавил, ковырнул, проверяя

на прочность, и тугие две ветки могутовской стали класса А240 в сантиметре от уха не дрогнули, и не треснула вроде бетонная корка, и уж точно не скрипнули, не заплакали толстые доски, и почувал тяжелую тень он, Угланов, ажурной стрелы в высоте, просвистела над ними стальная стропа, и, железной дужкой впившись Угланову в сердце, защелкнулся захвативший стальную петлю карабин — все поехало, с неумолимостью, вот сейчас снимет их с непродышного страшного места и вздернет в высоту трехэтажного дома... Ну а вырвется с корнем монтажка?.. И тогда рухнут мощи их, туши, и взорвется в башке земляная чернота навсегда или хуже — продолжать будешь, дышать, понимать с перебитым хребтом... Многоногим суставчатым ледяным насекомым пробежали под черепом коэффициенты надежности и динамичности, угол строп к горизонту... И вместо обрыва — кто-то к ним постучал, словно в дверь, без сомнения, что отзовутся, и голос затопил льдистым холодом морга обоих их с Чугуевым, как одного человека:

— Эй, вы там, подрывальщики! Кто вы? Ты, Чугуй? Говори! Голос дай — или скинем балласт! Сразу видно — панелька бракованная!

— Стира, ты?! — под прокатным усилием из Чугуева вырвалось — нутряной мыший писк из стального куска.

— Я, Валерик. Мы ж видели ящик этот твой сразу, как только ты его под погрузку поставил.

— Ну так и подымай... Надо, Стира, прошу! Или нет меня, все, смерть от кума тогда, ты же знаешь, я мочить его, суку, хотел! Я ж тебя от спортсменов отбил тогда, вспомни, как толпою ломать тебя в плехе полезли!

— Это уж я запомнил, Валерка. Ну а этот — с тобой? — с интонацией

неразличимой — какой? наступившего в мерзость, в дерьмо? или вот помертвевшего от огромного страха не жить, заплатить за большого Углового всей своей маленькой жизнью?

— Отгружай, Стира, время! Или брось, закопай!

— Сами тянете, сами! Ну, с тобой, говори!

— Ну так сам если знаешь... да, да... — Правда разодрала человеку сведенные челюсти.

И молчание в ответ. Слишком много он весил, Углов, — отрывают руки, станковые хребты искривляются, участь, и Чугуева в сцепке с Угловым не потянут они, ломари, одного — еще да, а с Угловым — перевесит своей неправдой Углов всю правду Чугуева, соприродность Валерки вот этим рукам и мозгам: с одинаковой силой внятный им всем, ломарям, дух мужицкой неволи, все, что было в Чугуеве, из чего был Чугуев отлит, не имело значения сейчас по сравнению с весом угловской несправедливой, наворованной силы, смерть была в его имени, если не ненавистном, то отчетливо, неубиваемо чуждом — народу, не железным могутовским людям, а русским вообще, этим людям, стоящим над ними сейчас в неприступном молчании.

Натянулась до звона стропа, вызволяя его и Чугуева из мерзлоты, и колючая вода потекла изнутри и расперла Углову горло — заплакал, во второй раз за жизнь — в первый раз, как увидел в изоляторе по телевизору затопившее площадь рабочее море, железных, чье литое молчание было в защиту его от суда и тюрьмы, распускаясь в нем огненной силой ненаправленности, непустоты, навсегдашнего неодионочества, постоянства, живучести правды его, но сейчас, в этот раз было чистое вещество

благодарности, несмотря на железобетонное знание, что сейчас отпускают, поднимают «они» не его, а Чугуева: он, Угланов, в комплекте отгрузки идет, продвигается вместе с чугуевской правдой, приварившись к нему, и никто одного, самого по себе его не пожалел бы, нет совсем просто времени вот у этих ребят откреплять от Валерки позорный балласт... никогда он не чуял еще такой радости от своей нераздельности с кем-то.

Только благодаря нераздельности этой сняло с места подъемной тягой их гроб, понесло по воздушной пустоте, куда надо, поворачивая набок с лица; упираясь лопатками и коленями в стенки, они крепко держались в пенале живыми распорками... и уже опускались на ребро меж решетчатых ферм, зная, что не качнется их ящик, коснувшись железного дна, не завалится, не накренится в железных упорах... Зазвенели, запели под хватками проворных ладоней железные кости платформы — такелажники лезли по фермам отстегнуть карабины от ушек... И опять в неподвижности сделался слышимым ход, перемалывающий стрекот убывавшего времени — до сигнала тревоги, до взрыва, но сейчас он откуда-то знал за пределом ума: ничего уж теперь не сорвется и не остановится, помогают им люди, впряглись, солидарные только с Чугуевым.

И последняя в кузов на ребро опустилась плита, настоящей тяжестью, под которой просела на рессорах платформа; многосильный тягач, вхолостую фырчащий, всхрапнул, заревел, потянул за собой кассетник, попирая колесными парами землю и толкая ее от себя. В самом странном, нелепом из всех положений — валетом, на боку, друг на дружке, сардинной укладкой — подчинялись они тесноте и рывкам: оказался Чугуев своей чугунной радиаторной тяжестью сверху,

он, Угланов, — внизу и ногами вперед... поднялась, завевалась в кильватере земляная, цементная пыль, набивалась вовнутрь, душила... Метров триста пройти по дороге из плит, и не взывала пока над промзоной сирена... Грузовой мастодонт туго вздрогнул — упершись в ворота! — и застыл, как приваренный, подгоняюще, гневно урча и сопя, усмиряя свои лошадиные силы в цилиндрах и патрубках... Кто-то там, впереди, восседающий на водительском троне, кричал: «да харэ!..», и какой-то невидимый и неведомый прапорщик, страшный, словно последний царь земли, размышлял над зеленой и красной кнопкой: которую выбрать. И нажал: что-то дрогнуло перед мордой панелевоза и поехало в сторону с вязко-натужным поскрипыванием. С отставанием от крови, от сердца мастодонт заревел и тянул сквозь ворота платформу, протяжную, словно мост через Волгу... И, окутавшись дымом сладчайшего, как для бабы беременной, выхлопа, наконец выполз весь и пошел выжимать сантиметры от ишимской стены, от магнита, пересиливая злую возвратную тягу, пробивая упругую толщу запретного, спертого воздуха... и уже — с ровным остервенением, словно вырвавшись из-под земли.

Он ничего уже не понимал: ни где он есть, ни что за тело, существо над ним, в чьи кости он своими упирается, ни кто везет их, ни куда — зачем вообще все это происходит и кто он сам, с которым это происходит. Он ничего уже из прошлого не помнил — вернее, помнил каждую подробность своей простой и самой тяжелой в жизни плотницкой работы, когда с каждым ударом молотком по гвоздю кровь

ломила в башку, как в плотину, и лопалась кожа на лице, на затылке, над сердцем еще более страшно, чем когда забивал он кувалдой в шпур боевик для того, чтобы разворотить до большой, настоящей руды корневую гранитную толщу, но уже будто не понимал связи этой недавней последней работы с настоящей минутой и будущей жизнью, с деревянно застрявшим вот в этом пенале собой. Или, может быть, просто поверить не мог в то недавнее все, только что совершенное, довершенное им и приведшее к этой дощатой тесноте и удушью, к непрерывному реву движка и открытому току великой неопределенности, — в то, что он, он, Чугуев, это все-таки сделал, столь предметно-земное, простое и обыкновенное, подо что у него от рождения заточены руки, что Угланов вложил, вбил Чугуеву в мозг парой-тройкой ершенных гвоздей, что расклинились в нем и ничем их уже из Валерки не вырвать: «Ящик сделай мне, ящик — по размеру панели, ну, понял? Нам с тобой по размеру. Самый наш ходовой в зоне типоразмер. По обоим торцам выполняешь отверстия. Чтобы можно нам было дышать. Мы ж на месте отверстия не зачеканиваем. Крышку надо с торца, чтоб закрыться самим изнутри. В последний путь с оркестром провожать никто не будет. Когти в дырки — рывком на себя. Туго-натуго втиснуть, как пробку. Без зазрения будешь работать, у всех на глазах. Дюбель с Дятленкой — все, по звонку с чистой совестью. На их место, скажу Деркачу, чтоб тебя. Даром, что ли, я вам пробивал процентовки по сдельной — как думаешь? Чтобы он, как отца, меня слушался, чтоб бригада пахала на свой кошелек, как на Сталина в годы великих побед, и пустырь этот вот сплошняком штабелями заставила к августу. Декорацию, ширму воздвигла тык-в-притык к твоему верстаку. Там вставай и сколачивай с понтом опалубку. Кто там что разберет? А Деркач понимает, ты знающий — над

душой не будет стоять. Твоя просека третья от центральной аллеи.

Полчаса до обеда осталось — каждый дробит, как хочет, — и ты сразу туда, в штабеля. На ребро и в проход до упора. Ну а я отвлеку, с дубаком вон полаюсь, чтобы слышали все, или в яму нечаянно схерачусь, тоже крик подыму: помогите. Как наверх нам его, этот ящик, закинуть, на штабель — вот вопрос смертной важности. Одному нереально, Чугуев, не обхватишь вот просто пианино такое, рояль. Значит, вместе придется. Со мной — с кем еще? Пятый ряд, третий штабель запомни. На одну будет выше, конечно, но там, если третий брать штабель, все нормально за счет самой нижней панели получится — сильно в землю ушла, перепад небольшой. Уложишь в три недели, Чугуев. Плюс неделя — и гроб под погрузку встает. Это я посчитал. Две машины берут по четыре панели и приходят два раза за смену. Пальцем пересчитай — раз, два, три. Вот как раз под вечернюю езду двадцатого августа. Когда руки уже у людей отрываются и на ощупь что двести кило, что две тонны — стропалям один хер. Ну а дальше загрузка кассетная, вертикально, стоймя, между фермами. Неудобно вот только внутри».

Обрывалась земля под ногами, когда он уже больше не мог выдавать стенки сборного гроба за щиты и распорки обычной опалубки и затаскивал их по одной в холодильную щель меж рядами панелей, не зная, что ответить такое, если кто-то, увидев его, обморозит вопросом: «Куда? Ты чего, вольтанулся, Чугуев? Право-лево уже потерял?» Продвигался в теснине рывками, поливаемый собственной кровью и слабеющий так, словно вся его кровь на рывке уходила в тяжелевшие и тяжелевшие доски, — обмирал, покрываясь вонючей испариной, с каждым новым ударом доски о бетон, слышным будто на весь полигон, и уже будто слышал за спиной глумливое

чье-то причмокивание, опечаленный и сострадательный хохот плутоглазого Хлябина, что следил за ним все это время, невидимый.

И теперь вот лежал на боку, на какой-то мясной, костяной неподатливой... сущности, распухавший, растущий вместе с ней, как квашня, в тесных стенках пенала; в провонявшей соляркой тьме бледно вспыхивал солнечный свет, и в гудящей чугунной башке вместе с этой прерывистой светлотой замигала аварийная первая мысль — что сейчас он, тяжелый, собой человека раздавит; задохнется и сдохнет сейчас человек тот единственный, кто знает все: и куда они едут, и кто их отсюда достанет, и в каком они месте пойдут на отрыв и взлетят над равнинной русской землей, чтоб сменить ее, русскую, на любую другую... и вот если загнется под чугуевской тушей сейчас, то чего тогда, как? В голове у Валерки — пустыня. Уж тогда и ему здесь остаться, спаявшись с этим вот мертвецом, и казалось уже, что Угланов не дышит, как-то слишком покорно уже принимает живую он тяжесть Чугуева, и от детского страха покинутости все сильнее хотелось позвать, шевельнуть: «Ты чего это, а? Не молчи! Ты ж мне должен еще. Для чего я тогда это все, для чего нас тогда мужики отгрузили?»

А тягач все катил по прямой, тяжким плугом раскатывал надвое воздух, за все время дороги только раз сбросил скорость, потащив за собой платформу налево. Сколько так они перли неостановимо? По чугуевской ошупи — прорву, часы... страшным было тягучее замедление перед невидимой неизвестной преградой, полосой, плитой запретного воздуха, страшным был разорвавший воздушную толщу гудок, содрогания наката стальных мощностей и весов: на обычном они переезде застряли, пропуская ползучую стену груженных вагонов, и теперь-то уж точно

заревела и длилась над зоной сирена, растекалась тревога от места пропажи во все концы области, подымая ментов и солдат по казармам, по цепи заводя вездеходы и раскручивая вертолетные лопасти, — и пока что он просто, только в силу своей неподвижности не почувствовал зайцем себя, как почувствовал бы на просторе перед всей совокупной массой облавщиков, керосина, солярки, моторов, высоченных протекторов, цейсовских глаз, мощностей, позволяющих охватить и накрыть всю огромную степь...

Разогнавшийся панелевоз вдруг по-барски приривкнул и ревел и ревел со своей высоты, от лица своей массы и мощи на какую-то низкую мелочь: ты кто? куда лезешь? раздавлю и смету, грузовой богатырь и хозяин дороги. И вдруг большегруз покривился к обочине — тормозные колодки сщемили нутро, существо, и со всхлипом сорвав в нем, Валерке, дыхание, их обоих рвануло вперед, обдирая до мяса колени, и остановило вместе с намертво вмерзшей колесами в землю машиной. Словно разорвало перепонки, он не слышал совсем ничего и не мог сказать, сколько это все продолжалось, и понять, что вовне происходит, а потом мастодонт торжествующе-освобожденно взревел и толкнулся вперед как ни в чем не бывало, и Угланов, живой, не задохшийся, наконец подал голос под ним, задыхаясь песочным дыханием и торжеством:

— Все, Валерик, приехали. Мы сейчас с тобой будем — дышать!.. — и зашелся в наждачном выворачивающем кашле, ничего не могущий сделать для облегчения — повести чуть рукой и ударить пару раз себя в грудь кулаком.

В пасть и вправду как будто натолкали горящую паклю, от которой не освободиться, не выхаркать, и хотелось уже одного — насосаться, вбирать во все

жабры отворенный проточный, вызволяющий из непродышности воздух, только этого, жить, жить сейчас, как любое существо на земле... Разевал он на полную рот, и Угланов под ним — точно так же, с той же силой жадности, жажды: доставалось ему здесь с Чугуевым поровну, не хватало для жизни того же и так же.

А машина все шла с ровной силой напора по той же прямой, словно тот, кто сидел за рулем, их совсем не жалел и за них не боялся, словно в ней вообще никакого водителя не было, и когда замертвели их общие жабры совсем, начала, наконец, замедляться: голова отклонилась от прочего, от стального хребта, потянув за собой платформу в тягучий поворот под уклон, и колесные пары завращались, похоже, по голой земле, захрустела под ними щебенка и сменилась опять вроде твердой гладкостью, на которой с натужным скрипением и визгом мастодонт всею массой замер совсем. Загремели шаги, загудели, затенькали под хватками незримых ладоней железные перекладыны ферм:

— Эй вы там, брутто-нетто, живые? Голос, голос подайте, чтоб мы знали, где вы!

— Тут мы, тут... — разодрав запеченные губы, не могли обнаружить себя, выпуская какое-то водопроводное только сипение из ободранных и зашершавленных глоток, но каким-то их образом, разевающих пасти, как рыбы, слышали.

— Потерпите — сейчас вас достанем. Уши там береги — разбивать сейчас будем... давай! — И обрушились сверху удары. Ломом брали бетонную корку, что казалась сейчас настоящей плитой на слух... и над самой его головой стальное острие просадило расщепленную доску, и невидимый кто-то налег на железный рычаг, нажимая, корчуга, и доска, наконец, отвалилась — и хлынул свет неясного

времени суток и воздух! Обморозил его, затопил...

Внутрь всунулись руки, схватили, и не мог он, Чугуев, протянуть и вклеваться в ответную, словно все его мясо, все мышцы заместились одной только костью и его самого нужно было разбивать сейчас ломом, как гипс. Зацепили за ворот, плечо и тянули его, выдирали из дощатого узкого и глубокого рва, пересилили тяжесть и дернули волоком в нестерпимом калении белого дня, протащили и бросили на незыблемом ровном, без конца и без края протянувшемся плоскостью месте.

Чугуном, батареей, колодой он пластался под небом, одним только огромным, нигде и ничем не обрезанным небом, ледяной чистый ветер свистел в его ребрах, и уже ничего и еще ничего, кроме этой свободной очистительной силы, в Чугуеве не было.

Сам ничего уже не мог. Извлекли, уложили на ровном под небом — и не мог вместить нового существования, огромного по силе настолько, что все прежнее, что он себе присвоил, купил, отторговал, заложил, основал, запустил: все стальные машины, все станы, все домны — навсегда стало малым... может быть, даже ложным и лживым: все, что он, самодержец «Русстали», построил за прошлую жизнь, чтоб убить свою смерть, чтоб ржа не сточила железные кости с клеймом его «я» без следа, не могло заменить ему этого нового, что открылось сейчас, что добыл сам себе он сейчас.

Навсегда позабытая радость первых собственнвольных шевелений в матрацной пустыне, в одеяльной глуши меж решеток манежа, самых первых шагов по земле без поддержки — откровение и беспредельное изумление детеныша: я могу это САМ, я пошел и не падаю сам — в нем смешалась с тугой песочной переполнившей болью стариковской разбитости, уходила вот в эту тяжелую, сухогрузную боль, как в песок, не могла ее смыть, растворить, унести. Он родился — уже стариком, но сейчас он в обратной прокрутке начнет молодеть, шаг за шагом, безногий рывок за рывком, набираясь железных проходческих сил. Мазутные мозолистые руки вложили ему в клюв бутылочное горлышко — нечистотепловатая несвежая вода разломила грудину сильнее ледяной с деревенской колонки, родниковой, колодезной, всей и любой, и

уже ему лили на темя долгожданную, ненасыщавшую воду, поливая, как землю, сбивая с обожженного черепа крепко присохшую корку; все теперь получило неведомый или, может быть, просто промытый до своей изначальности вкус, все достигло саднящей, пробирающей, режущей силы первого раза: нестерпимый земной этот воздух, вода, дым табачный сквозь вставленный в зубы обслюнявленный фильтр, запах гончего пота, солярки, мазута, разогретого битума... — вот что возвратил он себе, и уже обрывал с плеч, как цепкие плети лианы, помогавшие руки: дальше он уже сам, целиком, навсегда — своей собственной волей и силой. И сидел, озираясь, на покрытой заплаканным битумом крыше: метрах в трех из земли выпирали железные фермы, что держали их вскрытый, по ребру взятый ломом и фомкой гроб; трое черных от пыли туземцев в камуфляжных штанах и борцовках копошились вокруг, и Чугуев каменел на заду в трех шагах от него, словно вытащили только что из чего-то горевшего, и смотрел сквозь него в пустоту, на промытое до нестерпимости небо, как на зарево, как на пожарище — вот настолько не знал, что ему делать дальше с собой, вот настолько не видел, как можно умереть для закона и сделаться и остаться для мира живым.

Эти смерть и рождение были еще не закуплены, и, упершись вот в эти глаза, он, Угланов, почуял, как тесна для него еще эта земля. Беспредельное небо снова стало завинченной наглухо крышкой, землей, надо было еще это небо пробить, запустив вот сюда настоящие воздух и свет... Счетчик тикает, секундомер, заревела в Ишиме сирена, и на сто километров вокруг все задвигалось, завертелось, захлопали лопасти, многокилометровые дыры на границе с Россией сжимаются и заживают, как сигаретные прожоги в простыне — и упавший окурок в перемотке обратной

возвращается в пальцы.

— Одыбал, ну! Вставай! По-рыхлому, по-рыхлому, уходим! Скидай давай с себя все до кишок. Не по звонку же вышли — вы чего?

Содрал с себя казенную присохшую, присоленную шкуру, сбивал ботинки с ног: приклеились, вросли... Чугуев распрямился, вырос голой глыбой: катались, катились под мокро сверкавшей кожей стальные валы, ловили руки тряпки, кроссовки из времен, когда на «стрелки» ездили в китайском «адидасе». И как-то вдруг разом день отдал свою светлоту, как будто прорвало плотину на востоке, и в затопивших местность сумерках — шаг с крыши — с воскресшей обезьянней, детской умелостью по ребрам причалившего к крыше мастодонта — и сорвался на новую землю, как когда-то с забора в запретные кущи коллективных садов с райским белым наливом и спелой вишней, и бежал уже вслед за Чугуевым к борту «газели» под чумазым израненным тентом с логотипом «Сибирской короны». Вцепился, подсадили, перевалился через бортик в кузовную, тошно пропахшую бензином и мясной тушей тесноту, что-то мягкой пулей вlepилось в висок — вездесущие мухи помоечные, меж стальными пивными бочонками протолкнулся в глубь кузова, в нишу, уместился спиной к кабине; еле втиснулся рядом Чугуев, но в сравнении с дощатым их гробом — тут рай... Ключ на старт, затряслись, закачались, выбираясь из этих руин... Разогнал его снова, Угланова, кто-то другой, чьего имени даже не знает, в чьих руках вот сейчас — его жизнь, потянуло на скорости свежестью, ветер вырос, забил в загудевший, захлопавший тент, прорывался вовнутрь, охлестывал, и вдыхал его вместе с Чугуевым, пил, на рывках упирался, утыкался плечом в неподвижно-стальное чугуевское — поглядел сталевару в лицо, и Чугуев в то же

самое мгновение повернулся к нему, как к магниту магнит, и не страх был в его вопрошавших глазах, живших будто отдельно от всего остального в кремневом лице, а одно только точное знание, чувство предела, за которым не может решить он, Чугуев, ничего уже собственной силой. Да Угланов и сам, несмотря на всю точность расчета, сейчас чужал эту, эту огромную, с ледяную вселенную, внешнюю волю, власть несметн случайностей, совпадений молекул и атомов, клеток-звезд в многоклеточном надмировом организме.

— Я не знаю, Валерик, не знаю, — все еще не своим, не вернувшимся голосом, еще более шатким от тряски на незримых мослах и колдобинах. — Есть по времени нужный задел. Пока там они всё перекроют, по уму мы уйдем уже, всё.

— Но жизнь, она не по уму. Она сама, неуправляемо.

— Это твоя, твоя неуправляемо. А моя — по уму.

— Стропали нас наклюкали — по уму оно вышло? — И хохот в глазах. — Отгрузили нас все-таки, подняли в небо — тоже знал, что так будет?

— Не поверишь, а знал. Что ж ты думаешь, только они простучали нас в ящике? А родная бригада, Деркач? Что ж, не видели, что ты химичишь? Ну не сразу — потом можно было понять, что за ящик. И поняли! И молчали и делали вид, что не видят. Да еще прикрывали тебя. Я вот это, Валерик, и знал, потому-то и выбрал тебя, что тебя они точно не продали бы. И меня заодно, потому что был ты. Потому что у них с тобой правда одна. Потому что они с тобой вместе, наравне с тобой в зоне задыхались и гнили. Бог не Бог, а должна быть какая-то для тебя справедливость.

— Все равно только что сам сказал: до конца ты не знаешь.

— Ну уж прям до конца...

И встряхнуло, мотнуло обоих, треск кабанов в ближайших придорожных кустах, кто-то ткнулся башкой под тент и свалился вовнутрь в то же самое дление, как водила ударил опять по газам. Повалилась на них между кегами новая туша, шибанув, вынув воздух из кузова вонью — перегнойных, могильных отложений дерьма. Ну уж этого ждал он, Угланов, — человека, который оказался — и мог оказаться по запаху — только Бакуром:

— Вышел с зоны естественным, значит, путем. Слушай, вор, а вот если и в нем ты не тонешь, то кто тогда ты?

— Значит, я не оно. Выворачивало так... И глаза — думал, все, видеть больше никогда не смогу. Обмакнул ты, конечно, меня. Не составил компанию, жалко. — На него смотрел зоркий, остуженный, остужавший Углanova глаз, полный ясно-насмешливого понимания, как же просто вернуться в то гнилостно-смердящее, из чего он, Бакур, загибаясь от мерзости, только что выполз. Сквозь не смываемую даже речной водой застойную вонь пробивался другой острый запах, тот же самый, который растекался сейчас от Углanova и Чугуева тоже — запах бегства и верности волчьей свободе, запах жизни самой.

— Слушай, вор, у меня сейчас просто куриная слепота понимания, где мы.

Он хотел загрузить карту-схему, гибрид, всю вот эту ишимскую местность большаков, котловин и дегтярных озер, проявив на пятнистой, как коровья шкура, изумрудно-каштаново-серой пустыне ствольные артерии, паутинные жилки дорог, словно мог он мгновенно вот это ночное пространство вобрать и обжить, перестав быть живым грузом в кузове, крупным скотом, и уже своей волей повести сейчас эту машину.

— А тебе не один хрен? — Вор обмяк, наливаясь покорной тяжестью, целиком отдаваясь течению. — Все равно не прозреешь. Уж побудь наконец-то немного бараном. Нас Орех повезет по своим маякам, без дороги. И кончай кипятиться.

Трасса выла, сквозила, гудела — моментальной жутью свирепого гула накатывал встречный грузовой мастодонт, проносились какие-то встречные, обдавая слепящей своей белизной сквозь тент, — и не верилось в то, что водила вывел их на такую стрелу, магистраль, и они беспреградно летят и летят, и никак не взовется над трассой сирена, и все катится так, как вчера и как будто нет еще никакого Углanova — в мире.

И уже покатались под горку, затряслись по грунтовке опять — заскребли по кабине, по тенту какие-то ветки, тормоза кратко визгнули и — останов. Все так делалось быстро теперь, обгоняя его ожидания намного, — пригибаясь, пополз на отдаленных ватных ногах и последним за Чугуевым прыгнул в крошечную темень, всю звеневшую тихим кристальным бесконечным «ир-ир» насекомых; заметался фонарика луч по траве, выхватывая из темени зернистые, ячеистые диски высоченных подсолнухов за штакетным забором, угол белокирпичного частного дома, деревянную, дощатую нищету сараюх и покрашенные серебрянкой листовые ворота. Человек без лица, в плащ-палатке, Харон, потянул уже створку, запуская всех беглых в кирпичный гараж, на какое-то дление Угланов остался под небом один — посмотрел в небо, полное звездной половины, звездных зерен, муки, что просыпалась из худого мешка ввысь по куполу, и не смог этой прорвы вместить, стоя будто по горло в звездах близких, как снег, что касается глаз и лица и не тает, в подавании, манне всем и каждому, кто еще дышит и еще только должен родиться на этой

земле... Никогда не смотрел, разве с Ленькой два раза, купив пацану телескоп, — ничего интересного там — распирало вот эту планету несделанное: опоясать ее в девятнадцатый раз по экватору собственной сталью... И уже побежал по шлепку меж лопаток под крышу, в электрический свет, в пустоту без машины.

Там Чугуев с Бакуром уже что-то жрали: помидоры, куски колбасы, черный хлеб на газете, куриные ноги... цапнул кружку с щербинами в белой эмали, плотнул — снова как из колонки, колодца, — обжегся неожиданным водочным пламенем, вгрызся в жилы, хрящи, оборвал до костей и продавливал внутрь куски так, что слезы выжимались из глаз, не хватало ему пары рук, растяжимости пасти и брюха... Не нажрался — стегнул его криком Орех, в плащ-палатке вот этот, с сожженным, потерявшим как будто все мышцы лицом и пристывшими рыбьими зенками, и с последним застрявшим закадычным куском ломанулся в дегтярную тьму... Что-то джибообразное на высокой подвеске — «козел» под брезентовым тентом... Еле втиснулся рядом с онемевшим железным на заднее.

Старый абориген плавно выжал сцепление и попер со двора с невключенными фарами, видя, словно сова, в темноте, пер и пер напролом, как комбайн, проминая полынны заросли и давая Угланову оценить силу этой подвески, мускулистых пружин, вездеходных протекторов, провалился в канаву, продавился на голое ровное место, растянул раскаленный белый плат перед носом по убитой грунтовке — двум едва различимым земляным полосам в ковылях, — и пошли, полетели полуночным пустынным отрезком «Парижа — Дакара», ледяной твердый ветер засвистел под захлопавшим тентом, и земля уже больше не мелькала шершаво, каменистыми кучами — натянулась, разгладилась под колесами, как барабанная кожа, словно

брючина под утюгом, в бесконечную ровную серость, где не видно ни рытвин, ни кочек, ни косматых нестриженных шкур ковылей; вдруг пахучей масляной горечью, крошевом на лету ему брызгали прямо в лицо, словно из-под газонокосилки, ссеченные травы, и уже ничего, кроме чистого ветра, вновь не было, и обрезанный тентом кусок черно-синего неба со всею зернистой, пылевой звездной массой равномерно пульсировал, падал, взмывал, отлетал и опять возвращался все тот же. Налетавшая пятнами темень — чернее еще, чем повсюдная тьма за бортом, — означала овраги, распадки, котловины, в которых водой стояли потемки. Перешедший весь в руль, рычаги и педали, весь — зрение, весь — ничтожное, минусовое время отклика на перепады ландшафта, самоучка и ас бездорожья Орех часто-коротко дергал руками, огибая незримые взгорки и впадины, костенел на кратчайшее дление в хищном пригибе к рулю и опять выворачивал, дергал его, обходя буераки, — степь ишимская не простиралась без конца и без края доской, по которой пили и пили по прямой, — вся морщинисто-складчатая, рассеченная трещинами многокилометровой длины, заставляла петлять, прорываться к озерам зигзагами, отклоняться от курса на прямые углы и лететь параллельно российской границе. И не мог все ужиться Угланов с куриной слепотой своей, электрической внутренней тишиной на лету, неспособностью полной что-либо самому разогнать и приблизить.

Подлетали, теряя на пару саженей землю из-под колес, из-под задниц, и рушились, пробивая подвеску, казалось, уже до железа... Гасли огненной пылью минуты, время неуловимого беспреградного лета и возможности быть невидимкой в черной степи, и уже никаких мириад, туч мерцающей млечной мякины ввысь по

черному куполу не было — показалось, что небо уделяет уже больше света земле, посерело уже, посветлело... Полетела навстречу седая косматая мгла, меж разорванных ватных полотнищ, сквозь дымку стало видно летящий с ровным остервенением ландшафт, травяные лоскутья, проплешины, проносились седые метелки полыни, вылетали навстречу, вымахивая из тумана одинокие ветлы с раскидистой кроной — означая одно: близость белого дня. И не вытерпел, тронул Ореха за гудящее ровным напряжением плечо:

— Сколько, сколько еще до озер?! — Ветер сразу забил ему глотку, заткнул.

— Не дрожи, все по графику, — показал на мгновение кончик носа Орех. — Тридцать где-то осталось километров России, вжик — и ты уже на небесах. — И опять лишь обритый затылок его и движения острых локтей, точных рук — разрывали в молчании туман с разгонявшей в Угланове кровь ровно-бешеной тяговой силой... И вдруг — словно вырвались в новый, поменявшийся воздух: с рулевым их, пилотом — даром, что ль, ему дали собачью кличку? — осязаемо сделалось что-то не то: он — почуял, и не стук под капотом, не надрыв в механическом сердце, не обрубленный шгуцер — другое. Не в машине — в пространстве, вокруг, в вышине. Забирать начал вправо, непрерывно вертя головой и вслушиваясь в небо, в китайские провинции светлеющего неба, и Угланов, еще ничего не услышав, почуял — присутствие, накрывающий и обнимающий холод, эфира: чей-то ищущий пристальный взгляд плыл высотным рассеянным светом с востока с той же скоростью, что они мчались, а может, и большей. Неживой, не природный отдаленный разрывистый рокот стал явственен, рос и рос и накрыл помертвевших от стужи узнавания всех, и уже не хватало движка, лошадей, чтобы вырваться из-под

этого стрекота, грохота, переполнивших воздух паскудных хлопков, надавившей на темя воздушной плиты, — ослепляюще грянул, раздался, захлестнул их с кормы белый свет, затопив все пространство и вспыхнув в углановском черепе, так что он на мгновение увидел себя с высоты, как жука в коробке: это было то самое — хрестоматийное, типовое изгнание из рая, ледяное мгновение отнятия свободы, предсмертие, но они все неслись, ничего почему-то еще не закончилось и не кончалось, нестерпимый свет длился, не сбавляя каления, но не сжигая, — вертолет висел сзади и слева по курсу, луч прожектора наискось бил в мозжечок.

В раскаленной, светлее, чем день, белизне он поймал взгляд Чугуева — не было в нем закапканившего понимания: «всё!» — лишь безмерно-безумная прочность упора, закладки все едино ломиться на выход своим существом, силой сжатой пружины, которую это он в нем, Угланов, завел, — и пробил его стыд, человека, что всегда себя мнил лучшим мастером и хозяином собственной участи: как же сразу все лопнуло в нем, как же нищенски, скотски и рабски сразу он замертвел под захлопавшим в небе «кранты!».

— Не видят они нас еще, не видят!.. — стравил Орех давление сквозь стиснутые зубы. — Пока что мы им только показались. Держись только, держись!.. — И втопил под уклон по пологому долгому склону, в клочья ваты, во мглу... Белый свет вертолета отрезало, подлетели на горке — и все, горизонт завалился и уже не поправился.

В огромное мгновение он увидел, как Орех круто вывернул руль в направлении заноса, сделав страшное то, в чем еще быть могло и всегда прежде было спасение, и они поползли под откос, что-то хрястнуло, сплющилось с жалобным воплем,

неживое, стальное, машинное — на затылке, в том месте, где череп садится на шею, у него раскололи орех, и все сразу слилось в черно-белом вращении земли, словно бы в самолетном неистовом штопоре, — молотило его отовсюду, швыряя на железные кости в невозможно затянутом, долгом предвкушении разрыва в любом месте тела, и успел еще даже подумать с тоской: «да когда ж это кончится?», и последний удар бросил грудью на спинку переднего кресла, наконец вколотив целиком в тишину.

2

В звенящей тишине не видел ничего — исчезающе слабый остаток или, может, зачаток белесого света. Мерно тенькали, шмякались о железо тяжелые капли — проклевывали Чугуеву череп и вспыхнули пониманием в нем, что течет из пробитого трубопровода и сейчас вот, сейчас может все полыхнуть, — запустился движок, наполняя избитое тело червячьей способностью извиваться, толкаться, выворачиваться из жестяной тесноты: выжал тело большое свое из гнезда, не почуяв лишней рук или ног, разрывающей боли, полежал, все еще не могущий нащупать себя, возвратиться в живую, настоящую силу, и, расслышав хлопки в вышине, перемалывающий стрекот вертушки, пополз, приподнялся на локте и сел перед всей накренившейся горкой машинного лома, осознав: там остался Угланов, выбирался он из-под него — и опять изнутри молотнул его страх, словно мягкой кувалдой всей крови, что Угланов сейчас вот сгорит, человек, без которого тут же остается сгореть самому, и от этого вздрога, удара распустилась в нем сила, растекаясь волной от

почек к рукам и ногам, потерявшим все мышцы, все жилы... Луч прожектора слабо добивал в глубь земли, резал поверху, шарил по степи где-то там, за оврагом... И пополз под висящими в воздухе задними скатами, всей остатней, новой, возвратившейся силой толкнулся и встал на дрожащие, шаткие ноги, устоял и вклешился в костлявую долговязую тушу: «ну, лось!» — потянул и свалился с Углановым вместе на обе лопатки и кусал, набирал в себя воздух росяного холодного утра, придавленный безответной, страшно безвольной углановской тяжестью... И опять поволок за собой ползком на спине, упираясь локтями и пятками в рыхлую землю, — вот и кость в нем, Угланове, неширокая вроде, но откормленный, бивень, с накопцем, или это он сам так сейчас ослабел.

Кое-как протащил метров пять на себе — ничего там, в машине, не вспыхнуло, насочившись, накапав на нагретый чугун, подвиг был вообще мастерства рулевого — что не закувыркался «козел» под откос и не перемололо их всех в кувырках... Или, может, все сделалось слепо, само, их оставив с Углановым целыми... А водила, водила где сам? где Бакур?.. И как будто в ответ затрещали кусты: кто-то там заметался, в высоченных будылях за машиной, зарывшейся мордою в склон: «Кто живой там, сюда!»... Ну а как им «туда»? Ну а если сломался Угланов, до сих пор не одыбавший и безголосый?! Так-то вроде на ощупь ничего не торчало наружу углами: если б руку ли, ногу в осколки, то тогда уж орал бы... Ну а если уже целиком он того, что-то оторвалось, порвалось от удара в грудину, в брюшину, затопив изнутри его кровью, тогда... Ткнул Угланова в ребра кулаком посильней — где-то ж в туше должно быть у него, как под током!

— Встать, Угланов, вставай! — прорычал в аварийные, все равно что слепые

глаза. — В зону, в зону сейчас вертолет заберет — полежи еще тут! Ну, где воля к победе?! Вставай! И вот сам уже первый толкнулся, всунул руки в подмышки, рванул замычавшего лося, подпер, и на голос, зовущий: «сюда!», пошатались, ввалились в ближайшие рослые дебри — рулевой их, Орех, на коленях стоял над Бакуром: тому выдрало мускул из ляжки — там зиял и блестел кровавой черный ров глубиной в полноги. Не уйдут никуда с ним теперь, вот таким, — вот что первым плеснулось у Валерки в башке.

— Подымай его, бык! — поводырь просадил его взглядом. — А не то сейчас всех эта сука летучая накроет. Вон туда по овражку пошли, под уклон до упора! — дернул вора под мышки, и Чугуев, подставив спину, как под мешок, навалил на себя застонавшую и заскулившую тяжесть... Стрекот вырос, навис над самими, казалось, уже головами, но нет — свет пока оставался таким же далеким и бледным, не залив еще трещины, по которой ползли муравьями они.

— Пробивай, пробивай!

Поводырь и оживший вполне, невредимый Угланов проминали, топтали, разжимали дремучие чертополох, лопухи и крапиву, выдирались насилу из цепких травянистых капканов, через шаг спотыкаясь и падая... Захвативший в замок его шею Бакур, помогавший Валерке здоровой ногой, начинал кричать взрывами, словно из ноги продолжали выдирать ему мясо... Заглубились в такую непролазную глушь, что Орех повалился как подрубленный в заматерелый бурьян, с головою в нем канул:

— Садись! Счас зайдет он на нас, сука, ящер летучий! Собирайте вокруг себя сено шалашиком.

Осторожно, как мог, опустился он вместе с Бакуром, но Бакур все равно,

повалившись на землю, заревел сквозь зубовное сжатие с усталой, угасающей мукой парнокопытного.

— Ничего, друг, ниче, потерпи, мы сейчас... — Из Валерки рванулось дебильно-напрасное, и не знал, что такое можно сделать сейчас и куда они с ним, мертвым грузом, самим понимающим, что уже не ходок, и стирающим зубы, быть может, не только от боли, а еще от бессилия, понимания, что лично для него уже кончилось всё... И не бросишь ведь тут одного подыхать...

И вот в это мгновение хлынул настоящий, безжалостный свет: над оврагом завис вертолет и погнал к ним волну за волной по бурьяну — тек и тек этот ветер, вынимая напором из оврага весь воздух, пригибая к земле, как лопатой, и вжимая Валерку в пахучую землю; сердце билось во всем его теле, толкаясь сваебойкой в землю все глубже и глубже, добивая туда, где живучие, цепкие корни травы, — перейти целиком в эту землю хотелось, прорасти отворенной кровью, впитаться — чтоб в себя вобрала, затянула тебя плотоядной силой своей, материнской тучной лаской, сжалилась, скрыв от этого ветра и белого беспощадного света... И когда, вмерзнув в землю, перестал ждать чего бы то ни было, ничего не желая уже — ни высотного звона металла «Выходи и сдавайся, паскуды, и тогда вас Россия помилует!», ни огромной по силе свободы от этого рева и грохота, — вот тогда вертолет пошел дальше, убирая прожекторный луч, и живой водой, земляной могильной стылостью, вечным покоем затопила овраг по края неподвижная тьма. А они еще долго лежали, припаявшись к земле и вбирая утихавшую где-то на западе дрожь, и опять первым ожил, раскидав свой шалашик, Орех:

— Сидор где мой, мешок? Посвети, — бросил чем-то в Уланова и возился уже

над Бакуром, загремели в коробочке ампулышприцы... — Потерпи, брат, сейчас будет кайф. — Прямо ампулой в ногу и ткнул. — Подыми ему ногу, держи. — Затолкал в рану ватную шкурку сноровисто и окручивал споро и яростно ляжку бинтом.

— Как мы с ним теперь дальше? — заработал в Угланове клапан запорный, выпуская сипение, нутряной шаткий вздрагивающий голос, луч фонарика дергался, колотило всего. Показалось, сказал, как про падаль... А когда он, Угланов, стыдился кого?.. Да и что еще было ему — пожалеть? Ну а что она даст, эта жалость?

— Да вот тут прям и бросим, доходит пускай, — мерзло хрустнул в Орехе какой-то рычаг. — Не кипи, шопенфиллер. Деревня тут близко, потаганим туда, все наметано, корешок в домовушне схоронит, у него там погребец такой — бункер Гитлера, ни с какими собаками лягаши не найдут.

— Это крюк сорок верст? Перекроют нам все! Вообще уже наглухо! — Так смотрел на Ореха Угланов, словно кнопку искал у того в голове, что отпустит его с засосавшего топкого места, разожмет и расцепит все лямки между ним и подраненным, вяжущим по рукам и ногам человеком. — Может, все тогда разом в подвал? И сидеть там до атомной бомбы! Дай ему телефон... Есть же ведь у тебя, с корешком этим чтобы связаться... И води нас без всяких крюков, слышишь, ты, а иначе никто, ни один не уйдет! Слышишь, кто-то один, хоть один обязательно должен уйти! Ну скажи ему, вор! — заглянул выкорчевывающим взглядом в Бакура. — Ну вот так всё — прощения у тебя мне за это попросить?! Ты сломался, ты, ты! Мог бы я точно так же, мог он! Я сейчас бы лежал ровно с тем же успехом на одном костыле! Ведь на равных мы шли, даром что ты по горло в говне. Кто-то

должен уйти! Согласись, справедливо! Он вот, он, — на Валерку мотнул головой. — Десять лет тут ржавел, половину тут жизни оставил и другую оставит, если ты его будешь вязать, уж прости, по рукам и ногам. Вообще вот тогда он не жил! Я ж тебе ничего уже больше сейчас не могу обещать — денег нету таких, посмертно ничего не надо никому! Отпусти! Отпусти его с нами, Ореха! Или что — если сам ты не смог, инвалид, то и нам тогда, значит, не жить?! Ты такой справедливости хочешь?! Я подох, ты подох — значит, вместе мы живы?!

— Подымай его, твердый. — Орех видел только Чугуева и углановских всех заклинаний не слышал, все решив для себя еще там, у разбитой машины: только он здесь решает, кому куда двигаться, никого не держа и не тратясь на тяжелые взгляды в глаза и пустой перебрех.

И Угланов, слепой и потерянный в этом месте земли, мог сейчас лишь затиснуть в себе все свои «я, я, я...» и бежать за Орехом, с точным знанием, что только так, доверяясь туземному нюху, сможет он себя вытащить, может быть, из ничтожества... ну а он уже пер на себе онемевшего вора, Чугуев, — сквозь колючий бурьян, сквозь туман, что свалившейся ватой сползал в пересохшее русло... шли и шли по протяжной извилистой трещине глубиной где в три, где четыре, где, наверное, в пять этажей, перестав продираться сквозь цепкие дебри.

Все равно телепаться приходилось, конечно, с чугуевским грузом по неровностям этого бесконечного дна, и светало уже, и так быстро, что как будто бы солнце было шаром воздушным с какой-то реактивной горелкой или даже ракетоносителем, просто слишком далеким, чтоб услышать его байконуровский рев, и уже густо-розовым светом озарился обрывистый склон, стало видно его рыжину,

пестроту, обнажились цвета каменистой земли и травы, засинели цветки, и зайдя вот сейчас вертолет на овраг — нипочем бы уже не укрылись. И куда они, как среди белого дня? Если ночью уже стрекотал над землей птеродактиль, то сейчас уж тем более зависнут над границей России вертушки и почешут солдатики цепью, но от этого знания ноги его не подкашивались — был Чугуев свободно-пустым, жизнь уже раскачала его, как валун, и толкнула под горку, и сейчас он, Чугуев, катился до далекого неразличимого, неизвестного дна, навсегда сам себя не могущий поставить на тормоз, но и сам разгонял и усиливал эту тягу своим существом. Смысл был для него в самом беге, в усилии выбежать из себя самого, из судьбы, смысл был в несогласии на участь, а не в том, что ее пересилить нельзя и иной для Чугуева не предусмотрено.

Русло выгнулось вверх, выводя напрямик их в густую посадку, и сразу проступили сквозь буйную зелень голубые облезлые прутья ограды, поразив его близостью человеческого устройства, жилья, и повел их Орех, как по следу, по запаху, сквозь крапиву по пояс, лопухи со слоновье ухо, меж березовых косм и кривулин шершавых стволов, меж железных крестов и заросших травой оплывших могильных холмов, мимо бедных надгробий, металлических, крашенных серебрянкой воинских звезд и эмалевых фотографий в овалах, на которых налитые соками жизни стеснительно-робкие молодые губастые лица будто сами еще до сих пор не уверились, что они уже здесь и отсюда, из земли, им уже никуда; вот такие же точно лежали в земле трактористы, слесаря, комбайнеры, механики вечных двадцати пяти лет, каким сам был Чугуев до зоны и каким был угробленный им милицейский сержант Красовец — гладко-розовым, кровь с молоком вырвидубом, ошалевшим

чуток от избытка своей неумеренной немереной силищи; громоздились вповалку, как бревна развалившегося от естественной старости дома, серебристо-седые, щелястые и погнившие до черноты в основании кресты, попадались пустые бутылки поминальных распитий в траве, пестрели на могилах россыпи конфетных приношений, насыпанная на расклев пернатым пшенная крупа, пластмассовые хвойные венки с линялыми бумажными цветками, а живые живучие, жадные, однолетние вечные полевые цветы и трава все опутали и заглушили, что когда-либо было посажено в эту могильную землю и принесено берегущими память о мертвых руками.

Меж березовых косм, сквозь зеленое пламя листвы завиднелся лоскут перепаханной трактором под картошку земли, и вот если б открылись там белые льды, беспредельная Арктика или Луна, то не так бы в Чугуеве дрогнуло всё — как споткнулось и рухнуло, налетев на обычность, яснопамятность чистой, законной трудовой человеческой жизни, неизменной, незыблемой, невозбранно идущей по кругу дождей и снегов, раскаленных чугунных закатов и розовых зорь: неизвестные русские люди здесь росли, как трава, и сходили с земли в предначертанный срок, как растаявший снег, и ведь этого, этого он, Чугуев, себя и лишил с потрошащей бесповоротностью — правды свободы, потому что свобода обретается только в способности жить, как растешь. Ну а дальше за полем протянулась лужайка между длинным сараем и банькой-мазанкой, поперек — паруса с кружевами, бельевые веревки на воткнутых в землю шестах, и вот тут только все и увидели, повалившись без ног на опушке, друг на друге багровые свежие ссадины и надутые кровью набрякшие шишки и почуяли всей своей общей шкурой, как они все избиты

машинным железом и изодраны с ног до макушки непролазной дикой природой Ишима, вот не то чтобы просто равнодушно-глухой и упрямой, а способною чувствовать, постигать человека, что внедрился в нее со своей душой и грузом всего прожитого. И сейчас будто эта природа не желала пустить их ни к этому дому, ни на волю вообще, словно нет и не может им быть от земли никогда уже больше прощения, ни большому Угланову, ни простому Чугуеву — слишком много на них несмываемой грязи и крови, слишком уж запоздалым, навсегда опоздавшим за убойным движением руки и не нужным уже никому было в нем, дураке, покаяние, слишком уж тяжело самомнение, самолюбие было в Угланове, чтоб земля захотела их по-матерински принять, своевольно ломящихся из отведенной им зоны, из участи.

— Покурите пока, — цыцкнул им поводырь и, толкнувшись, пошел, как к соседу сосед, в полный рост через поле.

Вор пластался на палой листве, проминая ее так, как будто лежал здесь давно и они его здесь и нашли, и глядел в небо так, словно небо для него, уходившего в землю, — земля; что ли, сильный укол так убавил, отключил вообще его боль и моральную силу страдания от невозможности воли, воскрешения под новой фамилией в дальней голубой, вечно летней стране... Или, может, само, без лекарства, это сделалось с ним — затопило его безразличие к судьбе, не смирение даже, а просто усталость. А Угланов, тот, наоборот, гомозился, подрагивал, дергал головой, как собака, которая рвется в тепло или, может быть, чует потекшую сучку, и поглядывал то на растяжку с пеленками, за которой скрылся Орех, то на вора, который смотрел в пустоту, как из кучи песка, ни о чем не прося, ни о чем не жалея.

Он, Угланов, хотел, верно, что-то увидеть вот в этих глазах — обращенное лично к нему: обвинение, зависть, угрозу, уверение, что сам он, Угланов, на своих невредимых двоих не уйдет много дальше, чем этот калечник, — и не вытерпел, дернулся, подъезло к Бакуру, встав над ним на коленях и заглядывая вору в лицо с непонятной горечью:

— Вот и все, вор, вот так. Попрощаемся, ну.

— Ты уже все сказал. Все заняли места согласно купленным билетам.

— Где б я был без тебя, ребятишек твоих, — для чего-то Угланов завел, понимая и сам бесполезность. — Это я ведь тебя на все это прогнул... Когда ты тихой сапой мог бы эти два года...

— Неужели жалеешь теперь?

— Я хотел, чтоб ты тоже, ты тоже ушел! — вот с таким омерзением к сказанной правде, не сраставшейся, не приживавшейся ко всему, что он знал про себя, вдруг позвал человека Угланов, что Чугуев не мог не поверить сейчас в его искренность. — Ну прости меня, что все вот так.

— Рано просишь прощения. Это я еще, может, вот здесь схоронюсь и воскресну потом с чужим глазом, а тебе под вертушки сейчас. — Без насмешки, без боли смотрели глаза, отпуская Угланова дальше, как пушинку, несущую семя, пропуская Чугуева мимо, как кленовый листок на текучей воде.

И уже к ним шагал через поле с каким-то амбалом в тельняшке Орех — и пошли, побежали, не боясь, что окликнет их вор, зная, что не окликнет... Скатились по короткой тропинке на дно пересохшей речушки и бежали по этому руслу под лиственной крышей: хорошо бы и двигаться так до упора — много ниже древесных

корней, под ковровой верхней зеленью, еле-еле прорезанной солнцем, и, конечно, все так и задумал Орех — продвигаться все время распадками, непрерывно заросшими буйной крапивой и татарником в рост человека, так что можно на каждом шагу повалиться и кануть в траве, только-только-только заслышишь паскудные в небе хлопки. И природа опять их драла и кусала, но зато хоронила от тех, кто их ищет, справедливую плату за то с них взимая, заставляя платить только сорванной кожей и малой кровью. Помогала им местность теперь вот сама — потрудились заранее ветры и ливни для них, беглецов: непрерывным разломом тянулись овраги — только-только терял вот один глубину, как за ним открывался еще один новый, и такой же протяжный, и такой же глубокий. И конечно, бежали бы поверху много быстрее, и, когда можно было, позволял им такое Орех, так и делали ровно, бежали по степи по-над самым обрывом, вдоль извилистой трещины этих оврагов, не кончавшихся и кончавшихся, уходивших за край однородной ковыльной земли, а потом он опять их сгонял под уклон, исходя из одних своих нюха и опыта и решая, где им и когда подыматься наверх и сбегать вплоть до самого дна в буерак. И подолгу пластались вровень с сохлой травой на склоне они, и надолго Орех прикинул к исцарапанному полевому биноклю и, прикрыв стекла высохшей закопченной ладонью, шарил по горизонту, видя так же отчетливо каждый, наверное, куст и травинку вдаль, как Чугуев — ковыль у себя перед носом.

Набирались впрок воздуха, силы, наливались из фляги тепловатой водой, и Чугуев жал щеку к морщинистой, то совсем равнодушной, то будто бы доброй земле: на какие-то дления слышными становились ему утаенные близко от уха, от вдоха силы тихого роста корней и движения соков под сохлой каменистой серой коркой —

видел он эту травку, как до этого видел всего два-три раза за жизнь... лишь с отцом на рыбалке разглядывал так же в упор, тот, из прошлого, маленький мальчик, что когда-то впервые увидел и великую реку, и цвет полевой, и текучую сталь, как явление заместившего кровь ему пламени... И сейчас вот опять видел это сплетение несметы одинаковых жил, одинаково странно, непонятно разумно устроенных для прорыва корнями все глубже в нещедрую или вовсе безводную землю, для того, чтобы тянуться коленцами к солнцу, выжимать из себя голубые цветки и ронять семена отведенного им однолетнего смысла.

Он лежал на горячей, пахучей земле, отделенный от этой всеобщей разумности — слишком долго живущий на свете не по правде вот этой травы, не по правде свободного роста любви человек, чтобы в нем, как в начале, нуждалась земля, чтоб его приняла, согласилась носить, но еще одно дление живой неподвижности — и земля уже волнами начинала вздыматься под ним, под ударами сердца его, матерински над ним будто все-таки сжалившись, принимая, качая и глядя по щеке травяными перстами.

И опять подымались по тычку и шипению Ореха и бежали по ровной степи над оврагами, и вот сколько бы так ни ломили во весь свой размах, все равно оставались как будто в той же точке земли: расстиралось все то же, одно серебристо-седое ковыльное море вокруг — ни приметы, ни звука человеческой жизни, отголоска далекого вертолетного стрекота, только слева по самому горизонту виднелась нитка ЛЭП или что-то такое и один раз запнулся о что-то костяное в траве — о рогатый растресканный череп, что уже под ногой крошился, как мел. Лишь пернатые твари взмахом полоскали горло синей солнечной высью и в траве оглушительно щелкали,

стрекотали, спускали пружины кузнечики, непрерывным напором насекомой несметн звенела вся степь, и уже воздух сделался кипячено-горячим, приходилось его разрывать, словно студень, заполняющий весь раскаленный простор до краев, где сходилась высокое небо с холмами.

Солнце жгло и, казалось, отвесно уже било в темя, в оголенный, заваренный, закипающий мозг, воздух в жабрах твердел, становился песком, штукатурной смесью, свинцом, забивал и разламывал грудь с каждым шагом, сердце било в глаза на бегу, и еще горячее и туже, чем расплавленный воздух, катилась под кожей кровь...

Измочалив себя и не в силах продавить уже плотность окружающей жизни, спотыкались, валились в ковыли разом трое или просто вставали, сломавшись в спине и дрожа каждой жилкой в согбенном упоре в колени, изготовившись словно блевать и зернистой шкуркой обдирая на вдохе распухшее горло и грудь изнутри.

— Сколько... х-хы-и-и... нам осталось еще, поделись... — наглотавшийся пакли горящей Угланов не мог говорить и стоять, не шатаясь, не мог, но продавливал взглядом Ореха, и Чугуев, хотя и молчал, выдыхал тот же смысл-вопрос к горизонту.

— Напрямки-то всего семь кэмэ, но сейчас мы не можем уже без крюков.

— А над озером, озером что? Под вертушки идем вот уже или как?

— Ну а как ты хотел? До утра не ушли — значит, все. — Ничего не угадывалось в полинявших, поживших глазах — ни отчаяния, ни надежды, ни презрения даже к Угланову — лишь сухая холодная птичья зоркость. — Только где мы объявимся — пусть угадают. Столько нету вертушек, чтоб сразу накрыть. Это озеро видел? Не Байкал, но вот тоже. Устригут даже с воздуха — все равно есть запас. Он в овраг-то

не сядет. И на поле в подсолнух не сядет. И на зыбень не сядет. Так что не бзди, трухнуть еще успеешь. Ты в детстве книжки про Котовского читал? Там как красные Крым штурмовали? По гнилому болоту прошли и явились, откуда не ждали.

— Проведешь, значит, да, по гнилому? — жрал Угланов Ореха глазами, как собака хозяина, шарил нищенским взглядом по лицу его, как по кострищу, выворачивал словно обветшалый бумажник с железной мелочью навыков, никому и нигде, кроме этого места, не нужных.

— Что сказать? Все могу, исполняю желания? Это к Богу вопрос. И к нему, может, тоже. Должен он отвернуться, сделать вид, что не видит.

— Очень, очень господина я этого... — покривился Угланов, — не люблю, когда он начинает решать.

Поводырь поломался в лице, повалился и снизу подкосил их обоих:

— Ложись!

Перекатом свалил сам себя под откос, не жалея, и Чугуев с Углановым следом покатались в овраг валунами, разбивая колени и локти, пробивая до дна затрещавшие стены будыльев... Сразу торкнувшись сердцем сквозь покровную боль и разбитость, превратился он в слух: вертолетных хлопков, сколько мог охватить, в отдалении не было; пялясь в небо, в растянутый над оврагом платок синевы, он услышал иное: мягкий стук по земле, травяной нарастающий шорох и какое-то звяканье, фыркание, храп — и уже через миг увидал продвигавшийся рысью над обрывом кусок темноты, то, чему не нашел он так сразу названия: черный лоск, сетку жил в ровно плещущей коже, резкость мускулов, твердых и крепких, как кость, — человек, одинокий пастух непонятных своих интересов, в белом

выжженном пыльнике и такой же кепчонке, ехал прямо по гребню и смотрел неотрывно на них сверху вниз, с тем же незнающим, вопрошающим ужасом и какой-то вместе с тем скукой, что и лошадь под ним.

Не замедлился и не прищепил, протрусил со значением «не было вас — и меня для вас не было», показав им белесую спину с косицей кнута; за кобылой молча, безучастно-невидяще пробежала собака со свисающим набок отварным языком, и уже был пустым снова воздух над гребнем.

— Откуда — всадник без головы? — еле перешагнув задыхание, хрипнул Угланов.

— И в Сахаре свои бедуины, чудак. Ну наехал — исчез и забыл.

Тут ведь разные шастают. Из России, в Россию. Конопель на заимках растят, анашой барыжат. Ну, встали. Да куда ты вверх — по овражку давай... — И опять пошагали извилистым руслом, прорубаясь сквозь заросли зверобоя, татарника, целый лес уже рослых, деревянно упертых репьев, уже вовсе не чуя изодранной, сорванной кожей новых укусов, вырываясь на голое место и сильнее припуская свободной, бестравной дорогой, пробавляясь глотками тепловатой воды, а когда помелел, вывел их на поверхность естественным ходом овраг — ослепляюще прямо в глаза им ударила совершенно другая земля, вся сожженно-седая и горящая, словно сырцовый кирпич; никаких больше трав, разнотравья, кроме однообразных клочков ковыля, — будто бы уже вовсе человеку тут не было места.

— Ну теперь уж давайте — заломили рога, как от смерти. Тут уж надо по голому месту, — наставил Орех.

И Угланов всмотрелся в Чугуева как-то незнающе-безумно и сорвался из всех

самым первым, ломанулся, как лось в брачный гон, — несуразно огромный и ставший вдруг по-своему складным, как любое живое существо, что подхвачено тягой своего естества и способно уже делать то, чего раньше оно не могло, не умело; точно так же, хватая ртом воздух, ломанулся по ровному месту Чугуев — выбивали копытами пыль, сердце било в глаза, застя черными вспышками свет, ничего не давая увидеть вокруг, — будто только по ветру, по запаху, не могущему их обмануть, находили дорогу, и Угланов хрипел уже прорванно, но бежал и бежал наравне, не теряясь фонарным столбом за спиной, силой в нем заведенной в минуту захода на зону пружины, той же остервенелой, туго плещущей рысью... и уже прыгал рядом пологий пыльно-выжженный склон, наскочили, взлетели, и с этого гребня сквозь горячую мутную наволочь просияло, открылось огромное непостижное новое что-то — ослепительный наст, ледники, вот зима среди жгучего лета, ясно-синее зеркало незамерзшего озера: это было оно!

И, сорвавшись уже под уклон и не в силах ничуть задержаться, сдавить тормозными колодками ноги от пяток до паха, пролетел он, Чугуев, почти до самой воды, и, казалось, ворвался уже в эту воду, и не сразу увидел, что идет по земле и что ноги уходят в эту землю, как в воду. Провалился уже по колено, по ляжку и не мог дотянуться до кромки, застряв в трех шагах от уреза. Рядом в топкую глину воткнулся Угланов, стал рывками короче, как свая под невидимым дизельным молотом, обезножел, упал в перевес на лопатки.

Он нащупал, Валерка, недвижимое, твердое место, уперся ладонями, выжал тело из зыби, все еще удивляясь такому явлению природы: неподвижная прорва влекущей воды от него совсем рядом была — так хотелось сейчас разбежаться и пасть с

головой в нее, как набитая пылью дырявая сохлая ветошь: пересохшая глотка шершавилась, каждый вдох наждаком проходил по горлу... раз притопнул, другой — и земля не прогнулась под ним, удержала... подступил наконец к самой кромке и по-зверьи припал всею тушей к земле, погрузив морду в воду — лакать, пить блаженно море холодной и чистой... заглотил что есть силы — и тотчас, захлебнувшись мгновенной мерзостью, выблевал пламя. Зачерпнул со дна пригоршню грязи, взгляделся: на ладони блеснули крупицы, кристаллы — со столовую ложку поваренной соли.

— Ну чего, бесогон, наакался? — поотставший Орех, как по тверди, спустился к нему по зыбучей земле. — На-ка вот, — протянул ему флягу с плеснувшим на дне пресно-горьким остатком. — И за мною след в след — или будем вертушку?

А Угланов толкнулся, ощерившись, — и как будто какая-то сжатая им через меру пружина на рывке этом лопнула в нем, оборвался назад, приварился обезножившей тяжестью к твердой земле, провалился в себя и неверяще щупал себя изнутри, напрягая все мускулы, раскочегариваясь: все должно откликаться мгновенно сейчас, что под кожей в нем, не вернуться не может что-то необходимое сильное, что не мог он нащупать в себе; обтянутое мокрой, замасленной кожей костистое лицо перехватили скобками морщины — унижения непоправимого, гнева на свое это длиннокостлявое тело, что ему вот сейчас, когда надо это больше всего, отказалось служить, — и, завыв, простонав что-то нечеловечье стиснутым ртом, молотнул кулаком по колену: убить! то, во что засадили его, обнеся этим подлым, бракованным мясом, заменить это тело, машину — так ребенок, споткнувшись, колотит скользкий пол, ненадежную землю, что во всем виноваты... И взглянул на

Чугуева из самой страшной, примыкающей к мозгу костей, не могущей быть взломанной мягкой тюрьмы — с непощением, с огромной по силе безнадежной, страдающей завистью:

— Тварь! Не могу, не могу... — задыхался, давился омерзением к себе самому, на свою вроде левую ногу кричал, на колено. — Ы-ы-ы-а-а!..

Возвратился Орех и, упав на колени над углановской немочью, со врачебной безжалостностью изучал распухавшую кочку под задранной грязной штаниной:

— Во и ты теперь стал об одном костыле. Обессилел, богатый.

— Коли! У тебя там осталось от вора — коли, промедол этот свой или что из армейской аптечки! — Когтями впился урке, спасателю в плечо, притянув, подтянувшись всей остатней силой лоб в лоб. — Сделай что-то со мной! Ну! Сделай!

— Куда? По-любому коленка рассыплется.

— А ты так замотай — пусть рассыплется, пусть, но потом, слышишь, урка, потом! — Без пощады, сомнения, что и теперь сможет он, как всегда, пересилить любое — вот и это свое ненавистное тело сейчас. — Я пойду, я не буду вас с ним тормозить, ну а если вот буду, тогда уж бросайте. Вот же, вот оно, озеро! Километр последний... ну, сколько?! — и заткнулся от боли, потому что Орех засадил ему ампулой в ногу: да на! — повалился с ощеренной пастью и смотрел неподвижно в пустое, так, как будто хотел попасть в небо, пробить этажи, в самом верхнем отделе все решить про себя, сговориться там с кем-то верховным, последним.

Не взмолился, не звал — никогда не нуждался ни в чем, что не может взять сам, и не мог после стольких лет смеха над всеми просящими, верящими, что за ними оттуда по-родительски кто-то следит, попросить не на шутку, выжжен этот инстинкт

был давно из него ощущением собственной набранной мощи или, может, с рождения в него не вложили... И взглянул на Чугуева снова с разломившей лицо полоумной улыбкой, словно что-то Чугуев узнал про него, что Угланова делает с непоправимостью жалким, — потянулся рукой к нему, и Чугуев, не думая, ничего не почуяв к Угланову ясного, эту руку схватил, на себя принимая долговязую тяжесть и немощь, передав ей толику своей неразобранной силы, без которой Угланову не устоять.

И пошли очень медленно, потому что теперь приходилось след в след и Угланов теперь хромылял, и Чугуев шагал замыкающим, с осторожностью по этой подлой, то надежной, то зыбкой земле, совершенно обычной на вид, и как будто теперь состругали с Чугуева кожу — таким было голым, без конца и без края открытым вот это солевое, озерное, ледниковое место: ни единого взгорка, ни кустика, ничего не мешало движению поискового взгляда, обутого в оптику; застучи в раскаленном зените вертушка сейчас, появишься поисковые силы, солдаты — и не деться уже никуда, разве только уйти с головой в эту землю.

Еле-еле ползли по бескрайней доске — так и так бы пришлось, без углановской даже ноги, продвигаться с ползучей скоростью, проверяюще щупая каждый клочок, — но внезапно в огромной, беспощадно прозрачной для них пустоте появился камыш у воды, потянулись кусты высоченного тальника, непрерывной живой преградой, защитой от глаз, — ворвались в эти сивые дебри, поводырь продавился к стоячей воде, обернулся, мотнул головой приглашающе:

— Пей давай, бесогон, прохладись, — и кивнул на всю ту же солевую озерную воду.

Раскаленным припоем стояла вода и магнитила лживой своей чистотой и прохладой — тяжелея от жадности, стек на колени, зачерпнул и лизнул из горсти еле-еле на пробу — настоящую, пресную! Ошарашенно ткнулся в Ореха, получить чтоб в ответ:

— Чего только такого не бывает на свете.

Повалился Угланов с ним рядом, припал — одним ртом они пили, пропускали сквозь жабры до брюха ломовую холодную воду — растекалась от глотки к лопаткам возрождавшей волной, обводя, как ножом, благодарное сердце, набирали и впитывали каждой малой ворсинкой в нутре, все не в силах никак ни насытиться, ни оторваться.

Полежали короткое, долгое время тяжело и безвольно, как тряпки в поломоечном полном ведре, распухая от неги, огромные, так что и не поймешь, где кончается тело твое, все растущее, и Угланов толкнулся вдруг первым с земли, возвращаясь в свои берега: отвердело по скулам обмяклое, рыхлое, никакое лицо, постальнели глаза, подымая Чугуева следом. И пошли опять сквозь камыши, сквозь упругие, гибкие ветки хлеставшего их и бодавшего тальника, забирая все дальше от берега, и, казалось, уже потерялись, заплутали совсем в этих дебрях, но Орех, как и прежде, шагал за клубком, покотившимся в сказку: вдруг ивняк поредел и открылось опять им пустое пространство — метров двести примерно от кустов до другого, широко заблестевшего озера.

Поводырь обернулся, уперся в Угланова теми же беспощадными, скучными, но и новыми будто глазами.

— Что, что?! — пересилив разбитость в ноге и ужаленный болью, Угланов

качнулся к нему, сам шагнул в это новое, сам угадал по глазам, что — пришли.

— То, то. На что молился всю дорогу. Вон России конец, — прокатив под морщинистой кожей острый ком кадыка, с силой вытянул шею и кивнул на далекое, близкое озеро. Под Чугуевым дрогнула, волнами заходила земля, провалилась, поехала вниз, как над самым обрывом — не могущим сдержать отколовшимся под ступившей ногой краевым истонченным, разрушистым, рыхлым куском. — И теперь давай думай, только быстро, богатый. Твои ждут тебя в тридцати километрах отсюда к востоку. На твоём костыле сможем только до той вон воды, если прямо сейчас не развалишься. Надо их вызывать на себя. Так и так уже криво пошло, как в овраг сковырнулись с Бакуром. — Распахнул на груди душный пыльник, потащил из-под взмокшей тельняшки и вытянул на шнурке вместо крестика что-то не из этого мира — глянцевитую черную ладанку с насекомым кусочком электронных мошей.

— Засекут, все живое поднимут — сколько времени будет у нас? — Ничего не осталось у Угланова перед глазами, кроме этой лежащей в ладони пусковой насекомой машинки с кнопкой вызова будущего.

— Вазелин вот, конечно, рулетка — кто быстрее прилетит, только как еще, как? Уж с твоей ногой никак. Место гиблое это, гнилое, пограницы не суются суда, потому-то и небо над нами до сих пор тут пустое. Им так просто на это болото не сесть. Так что делайте ставки. Но тогда если мы уж за лыжи зацепимся, то считай, уже нет нас вообще на Земле.

— Ну давай, все, давай!

Весь Угланов затрясся, на костистом упрямом лице проступила решимость — задрожавшей, рвущейся, норовящей протиснуться из мороза в тепло песьей мордой,

и вот в это мгновение боли в Угланове не было вовсе, отгрызающей ногу, могущей повалить его боли — близоруко сощурившись, словно над намытой крупницей золота, поводырь зацепил черным ногтем на ладанке что-то незримое, и жучок на ладони его запищал за пределом человеческого слуха, посылая из тальника паутинный сигнал прямо в космос: я Земля, я Земля, я Угланов! прилетайте за мной, заберите меня!

Так его колотило, Углanova, что не верилось, что на Чугуева от него это не перекинулось, — коченел он, Валерка, в каком-то слабоумном спокойствии, состоя из единой давнишней готовности всей нетраченной силой вложиться в рывок и умея простое то, чего не умеет Угланов, — доверяться течению неуправляемой жизни, не вставая ему поперек и не силясь его развернуть, куда надо тебе.

Ломанули по голому месту, прорывая последнюю горе-полоску не кончавшейся и не кончавшейся русской земли, что простерлась пустыней стоячей воды и коричнево-желтой земли в ослепительных бельмах, льдистых панцирях, белых разводьях солевого налета, и душила его на бегу безнаказанность этих последних скачков, неспособность представить, вместить эту близкую, нараставшую с каждым сердечным ударом возможность еще одной жизни в раскаленном, слепящем, подсолнечном «там, где кончалась Россия», ни о чем он не думал и не чувствовал даже — ни о том, на что может он «там» пригодиться, ни о том, есть вообще ли такая земля, на которой ему все простится и не вспомнится прежнего, где дозволено будет ему навсегда наконец-то зажить неубийцей, не железной опилочной крошкой, которая раз за разом магнитится властью, судом, неслабеющим спросом за кровь, не ходячим болящим сгустком вечной вины (хотя эта вина в нем останется, будет жечь до скончания дней справедливо, им самим ощущаемая как огромная боль,

причиненная им чьей-то матери), а трудящимся честно заводским человеком, которым изначально задуман он был и рожден. И не думал уже о Натахе, о сыне, что сейчас его ждут в Кустанае, где найти должен их с чужим паспортом, и Натаха тогда за него выйдет замуж по новой, — что он может им дать или, наоборот, может чем повредить, заразив своим ядом, виной, от которых им лучше держаться подальше...

Метров сто оставалось до новых высоченных густых камышей, и Угланов, конечно, со своей перебитой пружинной отстал, и бежал за Орехом Чугуев один, все слабей и слабей слыша трудные выдохи монстра и боясь всего больше сейчас вот услышать — и уже будто слыша — вскрик немоги, подрубающей боли у себя за спиной, что вопьется в него и отбросит назад на невидимой будто резиночке, тресе...

Крика не было, не было, не было, но зато вместо этого воя бессилия застучали, захлопали лопасти в небе — не вдали и не близко, не где-то в одной стороне, а как будто везде, во весь купол, словно кто-то там в небе ткнул нужную кнопку, словно все это время над ними висел птеродактиль и они его просто до этой минуты не слышали.

Под Чугуевым вдруг провалилась земля, в том же месте, которое только что припечатал подметкой Орех, — и стоял в ней уже по колено, как кол, словно ложка в сметане, пробивая все глубже и не чувствуя дна всей своей обращенной ему на погибель телесной тяжестью, и уже обогнал его, припадая на левую ногу, Угланов — не видя!.. С каждым третьим углановским шагом прорывалась под ним, уступая нажиму, земля, и, наверное, со стороны показаться могло, что невидимый молот забивает Чугуева в зыбень, как сваю. А не так ли все было с самых первых минут: он,

Чугуев, — ступенькой, голова его, плечи — ступеньками для углановских ног, погружаясь все глубже под вминавшей углановской тяжестью в землю? И так ясно увидел он это — будто раньше не видел! — всю свою под Углановым жизнь, что не мог даже крикнуть, позвать и не чувл уже ничего, туго сдавленный в поясе этой землей и безмозгло, безотчетной звериной тягой выжимая себя из нее, — ни проклятья, ни гнева на такую недолую, отголоска чугунной той злобы на большого Углanova, что его захлестнула в могутовском «там», отрывая от домны, от отца, от Натахи, ничего, даже дикой утробной тоски по пропащей свободе, даже жалости к собственной плотницкой нудной и страшной работе, ко всему, чем вложился в волшебное их с Углановым исчезновение из зоны, ничего — только близость покоя в подступающей к горлу земляной тесноте.

3

В обнимающем мерном вращательном грохоте, близком, как кожа, вперевалку бежал по пустыне, ладони, до предела сжимая пружину в ноге и молясь, чтоб не лопнула. С каждым скоком в колене надрывались какие-то жилы, последние, и колено страшней и страшней выбивалось из вскрывавшейся сумки суставной, из кожи — как же быть хорошо хоть трехногой собакой, как же мало, до нитки обирающе мало, дано человеку по сравнению со зверем телесно, предает тебя тело тогда, когда только одни мясо-кости и нужны тебе больше всего, и ломается жизнь вместе с местным разрывом ничтожного... Но сломался не он, а Чугуев впереди стал рывками короче, обрубком, по колено забитый в обычную землю. С загрызавшей,

рвущей болью в ноге обошел этот колышек, столб, монумент сталевару и узнику собственной совести, за спиной оставив немой, не успевший рвануться из глотки, нутра крик несчастного случая на производстве: сколько их таких было — сталеваров, полезших в горнило заменить электрод, верхолазов, летевших до земли сквозь железные кости могутовских будущих прочностей — исхитрился, сумел не услышать его и ломил за Орехом, уже ясно увидев в нерусском, приграничном отделе свободного неба винтокрылую точку, отрывая от ляжки чугунную голень, выбивая колено с каждым новым моментом толкающей силы и боясь обезножить раньше, чем стрекоза увеличится в небе до размеров хотя бы коровы... с отсекающей будто стальным полотном от всего остального, заварившей наглухо изнутри его силой почуяв: есть один только он, есть его лишь, Угланова, маленький сын и его несчастливая верная женщина — важность их не отдать, не заставить их ждать, важность не замешать свою правду, бесподобность живую с чужой обреченной немощью; силы этой телесной пружины достанет ему на один лишь рывок, до спасающих рук, до спустившейся лыжины, и ничто не впилося в него выше колена, к месту не приварила его благодарность, стужа верного знания: должен он вот этим железным рукам, для него сколотившим, построившим «все», и земля под ним не провалилась, не проламывалась в наказание... Бежал, но уже — в направлении к Чугуеву, еще сам не поняв того и не заметив, — словно кругом гончарным под ним повернулась земля и его развернула к обрубку лицом... Пал ничком и пополз, точно зная откуда-то, что лежа не провалится он. Дотянулся, вклеился в стальное литье выше локтя, сразу хватом почуяв: не дно, опускается в землю все глубже неподъемный могутовский сляб — потянул на себя, на бессильном рывке

провалившись в чугуевский очумелый и неизлечимо не верящий взгляд.

— Ты-и-и што это, а?.. — В земляной тесноте задохнулся Чугуев от смеха, не могущий узнать его в морду, что трещала по швам от натуги нос к носу, не способный вместить в себя существования такого, не ушедшего в небо давно уж Угланова.

— То, то, утопленник, давай! Думал, все, нет меня на земле? А вот хрен тебе, хрен, малышок!

— Так ведь я все, добегался, а ты... Ты — это ты, Угланов ты, Угланов!

— Я, я... — и вминался лежа уже сам в понемногу уступавшую землю, пока лопались струны в руках и спине в разрывном натяжении. — Ну давай, малышок, вылезай!

И в могутовском слитке, обрубке, самоваре чугунном наконец что-то торкнулось, словно оживший движок, — протекло из Угланова сквозь сведенные пальцы в него керосином, огнем, восполняющей кровью не имеющее ни подобия, ни названия что-то — полыхнув, распустилось в Чугуеве новым напором живучести, и уже заревев и ревя непрерывно так, словно отгрызали кусками его, выдирали сам себя на локтях из земли, извивался в тугом зыбуне с такой силой, что как будто там бился, в земле, ниже пояса шланг ошалевшей под диким давлением золотодобытчицкой водометной машины... И выжался весь, повалившись на твердое место с Углановым вместе, как один человек, и уже ничего будто было не надо ни делать, ни видеть — ни куда подевался Орех, ни как близко вертушки, своя и чужая... И вот тут только в уши вломился вертолетный вращательный грохот, оторвал от земли, притянул взгляды к небу: из России пришедший за ними птеродактиль висел добросовестной

военнослужащей мордой к югу и со скучной неумолимостью рос, надвигался гладким блеском стеклянных фасеток навывкате. Шел на них, как корабль по реке, — без сомнения, что рабски стоящие на коленях наземные двое никуда уже больше не двинутся. А на юге, в густых камышах, метрах где-то в пятидесяти на невидимой будто цепи бесновался Орех, раздирая пасть в крике беззвучном и махая руками: ко мне! — а за ним, камышами, в нерусском, беспредельно простершемся небе черной точкой застыла спасательская стрекоза, так и не увеличившись до размеров коровы.

— Встать, Угланов, вставай! — И Чугуев теперь в его руку вклеился.

Потянулся за ним — и сломался с капканной болью в колене: больше левой ноги у Углanova не было.

— Все, Чугуев, теперь я уже все. Уходи, ну! Пошел! — и дыхание в нем сорвалось — словно бык на рога, его поднял Чугуев, переростка огромного. — Брось, чудило сверлильное, брось! — забрыкался, как девка, выворачиваясь и вырываясь из рук, потянул за собой, на себя всей тяжестью — на колени Валерку, к земле, и опять повалились и теперь не могли уже встать, как один человек. — Брось, чудило, — зачем?!

— Ну а ты меня, ты, ты, Угланов, — зачем?!

— Уходи, скот, уйдешь — или рядом обоих положат! Я им нужен, я, я! Я жираф, я большой, сверху видно меня — на хрен нужен им ты, коротышка?! К бабе, к бабе своей, или нет навсегда ее больше! Вот опять кто-нибудь ее завтра, как Хлябин, возьмет! Поимеет! Твою! И опять будешь ты виноват! Уходи, вон вертушка моя за тобой, все оплачено. Заработал, Чугуев, очистился ты! Я же ведь говорил тебе, ну! На тебе хотел выехать я, человеку, который очистился! Да, видать, так нельзя — на

твоим вот горбу на свободу! Уходи — и живи человеком!

— Прости меня, прости... — глодали его, жрали чугуевские зенки — так, словно его кто-то, Чугуева, оттаскивал от сдохшего хозяина на впившемся железном поводке.

— Прощают не за это. Там, у своих прощения попросишь.

Скажешь им еще все своей жизнью. Пошел! — И пихнул кулаком его в бок, словно выбив какой-то последний подпирающий клин и спуская со стапеля лодку, и остался один, на свободе, глядя, как рвет Чугуев полосу земли и вонзается бомбой в те камыши, невинно и с бесповоротностью канув.

Закипело все озеро, рябь по воде разбегалась кругами, ветер резал глаза, прибывал безвоздушностью — осумасшедшая мельница надвинулась и накрыла его своим черным-зеленым, расчлененным заклепками брюхом. С борта кольцами сбросили снасти, и по ним заскользили плечистые трое с автоматами дулами книзу — отпустили концы, устояв на земле, и, дорвавшись в три скока, спасательски и спасенно вцепились, подымая его, подпирая, измочаленно-полуживого, в родовой грязевой, по костям обтянувшей рубашке, этот смертный кусок своеволия, про себя понимающий все, сознающий минутность своей силы, когда-то способной опоясывать Землю по экватору сталью, и сейчас окончательно не пересиливший в одиночку судьбу.

Понесли на руках, словно тренера сборной победивших в финале дебилов, космонавта, которого извлекли только что вот из капсулы, — из-под неба втащили под железный проклепанный свод, распластали на днище, и сквозь рев, слитный гул, разрывавший ему перепонки, расслышал: «Вякни мне еще, вякни — „валить“! Как

бы ты его шлепнул, стрелок ворошиловский?! Если оба в прицеле они, оба, оба все время?! Да и хрен с ним, вторым. Вот он, вот он, Угланов, на кого тебе Родина — „фас“! А того мы не видели, не было — помните, не дай бог кто из вас вдруг что вякнет». — «А ушел ведь, ушел из России почти! И ведь как же ломил до последнего, из штанов аж выпрыгивал». — «Так ведь было же ради чего. Еще чуть...»

Еще чуть — и единственный женский его человек, осудивший себя на вдовство при живом муже-зэке, обернулся рывком бы на шепот: «Жена». Еще чуть — и его бесподобный, единственный мальчик на школьном дворе ощутил без обмана бы: «Папа!» — И, увидев, сорвался к нему, полетел бы назад в справедливость и вцепился бы мягкой тяжестью в грудь, сокрушив невместимой родностью.

Это все теперь дастся не ему, а Чугуеву. Слышал он подступавшее море и чуял сквозь катившие волны спокойную, заработанную, охлажденную радость от того, что последний железный схоронился от тех, кто искал его, и найдет теперь тех, кто его сохранит. Он, Угланов, убил его смерть. Сам, казалось, сейчас вырастая — уходя из земли, а не в землю.

2009–2014